

# Д.Н.МАМИН СИБИРЯК

Д.Н.  
МАМИН  
СИБИРЯК

8

## Annotation

Мамин-Сибиряк – подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности – мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнелюбие. Мамин-Сибиряк – один из самых оптимистических писателей своей эпохи.

В восьмой том вошли романы «Золото» и «Черты из жизни Пепко».

<https://ruslit.traumlibrary.net>

---

- [Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк](#)
  - [Золото\\*](#)
    - [Часть первая](#)
      - [I](#)
      - [II](#)
      - [III](#)
      - [IV](#)
      - [V](#)
      - [VI](#)
      - [VII](#)
      - [VIII](#)
      - [IX](#)
    - [Часть вторая](#)
      - [I](#)
      - [II](#)
      - [III](#)
      - [IV](#)
      - [V](#)
      - [VI](#)
      - [VII](#)
      - [VIII](#)
    - [Часть третья](#)
      - [I](#)
      - [II](#)
      - [III](#)
      - [IV](#)
      - [V](#)
      - [VI](#)
      - [VII](#)
    - [Часть четвертая](#)
      - [I](#)
      - [II](#)
      - [III](#)
      - [IV](#)
      - [V](#)
      - [VI](#)
      - [VII](#)
      - [VIII](#)
    - [Часть пятая](#)
      - [I](#)
      - [II](#)
      - [III](#)
      - [IV](#)
      - [V](#)
      - [VI](#)
  - [Черты из жизни Пепко\\*](#)
    - [I](#)
    - [II](#)
    - [III](#)

- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)
- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)
- [XXVII](#)
- [XXVIII](#)
- [XXIX](#)
- [XXX](#)
- [XXXI](#)
- [XXXII](#)
- [XXXIII](#)
- [XXXIV](#)
- [XXXV](#)
- [XXXVI](#)
- [XXXVII](#)
- [XXXVIII](#)
- [XXXIX](#)
- [XL](#)
- [Комментарии](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)

- [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
-

**Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк**  
**Собрание сочинений в десяти томах**  
**Том 8. Золото. Черты из жизни Пепко**

**Золото\***

## Часть первая

*Посвящается Марусе*

### I

Кишкин сильно торопился и смешно шагал своими короткими ножками. Зимнее серое утро застало его уже за Балчуговским заводом, на дороге к Фотьянке. Легкий морозец бодрил старческую кровь, а падавший мягкий снежок устилал изъезженную дорогу точно ковром. Быстроту хода много умаляли разносившиеся за зиму валенки, на которые Кишкин несколько раз поглядывал с презрением и громко говорил в назидание самому себе:

– Эх, вся кошменная музыка развалилась... да. А было времечко, Андрон, как ты с завода на Фотьянку на собственной парочке закатывал, а то верхом на иноходце. Лихо...

Это были совсем легкомысленные слова для убеленного сединами старца и его сморщенного лица, если бы не оправдывали их маленькие, любопытные, вороватые глаза, не хотевшие стариться. За маленький рост на золотых промыслах Кишкин был известен под именем Шишки, как прежде его называли только за глаза, а теперь прямо в лицо.

– Только бы застать Родьку... – думал Кишкин вслух, прибавляя ходу.

Дорога от Балчуговского завода шла сначала по берегу реки Балчуговки, а затем круто забирала на лесистый Краюхин увал, с которого открывался великолепный вид на завод, на течение Балчуговки и на окружавшие селение работы. Кишкин остановился на вершине увала и оглянулся назад, где в серой зимней мгле тонули заводские постройки. Кругом все было покрыто белой снежной пеленой, исчерченной вдоль и поперек желтыми промысловыми дорожками. На Краюхином увале снежная пелена там и сям была покрыта какими-то подозрительными красновато-бурыми пятнами, точно самая земля здесь вспухла болячками: это были старательские работы. Большинство их было заброшено, как невыгодные или выработавшиеся, а около некоторых курились огоньки, – эти, следовательно, находились на полном ходу.

– Ишь, подлецы, как землю-то изрыли, – проговорил вслух Кишкин, опытным глазом окидывая земляные опухли. – Тоже, называется, золото ищут... ха-ха!.. Не положил – не ищи... Золото моем, а сами голосом воем.

Кишкин подтянул опояской свою старенькую шубенку, крытую серым вытершимся сукном, и с новой быстротой засеменял с увала, точно кто его толкал в спину.

По ту сторону Краюхина увала начинались шахты: Первинка, Угловая, Шишкаревская, Подаруевская, Рублиха и Спасо-Колчеданская. Кругом шахт тянулись высокие отвалы пустой породы, кучи ржавого кварца, штабели заготовленного леса и всевозможные постройки: сараи, казармы, сторожки и целые корпуса. Из всех этих шахт работала одна Спасо-Колчеданская, над которой дымилась громадная кирпичная труба. Где-то отпыхивала невидимая паровая машина. Заброшенные шахты имели самый жалкий вид, – трубы покосились, всякая постройка гнила и разваливалась. Кишкин оглянул эту египетскую работу прищуренными глазками и улыбнулся.

– Одна парадная дыра осталась... – проговорил он, направляясь к работавшей шахте. – Эй, кто есть жив человек: Родион Потапыч здесь?

Из сторожки выглянула кудластая голова, посмотрела удивленно на Кишкина и, не торопясь, ответила:

– Был, да весь вышел...

– Ах, чтоб ему ни дна ни покрышки! – обругался Кишкин.

– Ступай на Фотьянку, там его застанешь, – посоветовала голова.

– Легкое место сказать: Фотьянка... Три версты надо отмерить до Фотьянки. Ах, старый черт... Не сидится ему на одном месте.

– На брезгу Родион Потапыч спускался в шахту и четыре взрыва диомидом сделал, а потом на Фотьянку ушел. Там старатели борта домывают, так он их зорит...

Кишкин достал берестяную тавлинку, сделал жестокую понюшку и еще раз оглядел шахты. Ах, много тут денежек компания закопала, – тысяч триста, а то и побольше. Тепленькое местечко досталось: за триста-то тысяч и десяти фунтов золота со всех шахт не взяли. Да, веселенькая игрушка, нечего сказать... Впрочем, у денег глаз нет: закапывай, если лишних много.

Дорога от шахт опять пошла берегом Балчуговки, едва опушенной голым ивняком. По всему течению тянулись еще «казенные работы» – громадные разрезы, громадные свалки, громадные запруды. Дарового труда не жалели, и вся земля на десять верст была изрыта, точно прошел какой-нибудь гигантский крот. Кишкин даже вздохнул, припомнив золотое казенное время, когда вот здесь кипела горячая работа, а он катался на собственных лошадях. Теперь было все пусто кругом, как у него в карманах... Кое-где только старатели подбирали крохи, оставшиеся от казенной работы.

Сделав три версты, Кишкин почувствовал усталость. Он даже вспотел, как хорошая-ттристяжка. Лес точно расступался, открыв громадное снежное поле, заканчивавшееся земляным валом казенной плотины. Это и была знаменитая Фотьяновская россыпь, открытая им, Андроном Кишкиным, и давшая казне больше сотни пудов золота. Вдали пестрело на мысу селение Фотьянка. Но ему дорога была не туда, а к плотине. Сейчас за плотиной по обоим берегам Балчуговки были поставлены старательские работы. Старатели промывали борта, то есть невыработанные края россыпи, которые можно было взять только зимой, когда вода в забоях не так «долила». Наблюдал за этими работами Родион Потапыч Зыков, старейший штейгер на всех Балчуговских золотых промыслах. Он иногда и ночевал здесь, в землянке, которая была выкопана в насыпи плотины, – с этой высоты старику видно было все на целую версту. В Балчуговском заводе у старика Зыкова был собственный дом, но он почти никогда не жил в нем, предпочитая лесные избушки, землянки и балаганы.

– Эге, дома лесной черт! – обругался Кишкин, завидя синенький дымок около землянки.

Он издали узнал высокую сгорбленную фигуру Зыкова, который ходил около разведенного огонька. Старик был без шапки, в одном полушубке, запачканном желтой приисковой глиной. Окладистая седая борода покрывала всю грудь. Завидев подходившего Кишкина, старик сморщил свой громадный лоб. Над огнем в железном котелке у него варился картофель. Крохотная закопченная дымом дверь землянки была приотворена, чтобы проветрить эту кротовую нору.

– Мир на стану! – крикнул весело Кишкин, подходя к огоньку.

– Милости просим, – ответил Зыков, не особенно дружелюбно оглядывая нежданного гостя. – Куда поволокся спозаранку? Садись, так гость будешь...

– А дело есть, Родион Потапыч. И не маленькое дельце. Да... А ты тут старателей зоришь? За ними, за подлецами, только не посмотри...

– Все хороши, – угрюмо ответил Зыков. – Картошки хошь?

– В золке бы ее испечь, так она вкуснее, чем вареная.

– Ишь, лакомый какой... Привык к баловству-то, когда на казенных харчах жир нагуливал.

– Ох, не осталось этого казенного жиру ни капельки. Родион Потапыч!.. Весь тут, а дома ничего не оставил...

– Не ври. Не люблю... Рассказывай сказки-то другим, а не мне.

Кишкин как-то укоризненно посмотрел на сурового старика и поник головой. Да, хорошо ему теперь бахвалиться над ним, потому что и место имеет, и жалованье, и дом – полная чаша. Зыков молча взял деревянной спицей горячую картошку и передал ее гостю. Незавидное кушанье дома, а в лесу первый сорт: картошка так аппетитно дымилась, и Кишкин порядком-таки промялся. Облупив картошку и круто посолив, он проглотил ее почти разом. Зыков так же молча подал вторую.

– А ведь отлично у тебя здесь, Родион Потапыч, – восторгался Кишкин, оглядывая расстилавшуюся перед ним картину. – Много старателей-то?

– Десятка с три наберется...



Работы начинались сажнях в пятидесяти от землянки. Берег Балчуговки точно проржавел от разрытой глины и песков. Работа происходила в двух ямах, в которых, пользуясь зимним временем, золотиносный пласт добывался забоем. Над каждой ямой стоял небольшой деревянный ворот, которым «выхаживали» деревянную бадью с песком или пустой породой двое «воротников» или «вертелов». Тут же откатчики наваливали добытые пески в ручные тачки и по деревянным доскам, уложенным в дорожку, свозили на лед, где стоял ряд деревянных вашгердов. Мужики работали на забое, у воротов и на откатке, а бабы и девки промывали пески. Издали картина была пестрая и для зимнего времени оригинальная.

– Ишь, ледяной водой моют, – заметил Кишкин тоном опытного приискового человека. – Что бы казарму поставить да тепленькой водицей промывку сделать, а то пески теперь смерзлись...

– Ничего ты не понимаешь! – оборвал его Зыков. – Первое дело, пески на второй сажени берут, а там земля талая; а второе дело – по Фотьянке пески не мясниковатые, а разрушистые... На него плесни водой – он и рассыпался, как крупа. И пески здесь крупные, чуть их сполосни... Ничего ты не понимаешь, Шишка!..

– Да ведь я к слову сказал, а ты сейчас на стену полез.

– А не болтай глупостей, особливо чего не знаешь. Ну, зачем пришел-то? Говори, а то мне некогда с тобой балясы точить...

– Есть дельце, Родион Потапыч. Слышал, поди, как толковали про казенную Кедровскую дачу?

– Ну?

– Вырешили ее вконец... Первого мая срок: всем она будет открыта. Кто хочет, тот и работает. Конечно, нужно заявки сделать и прочее. Я сам был в горном правлении и читал бумагу.

В первое мгновение Зыков не поверил и только посмотрел удивленными глазами на Кишкина, не врет ли старая конторская крыса, но тот говорил с такой уверенностью, что сомнений не могло быть. Эта весть поразила старика, и он смущенно пробормотал:

– Как же это так... гм... А Балчуговские промысла при чем останутся?

– Балчуговские сами по себе: ведь у них площадь в пятьдесят квадратных верст. На сто лет хватит... Жирно будет, ежели бы им еще и Кедровскую дачу захватить: там четыреста тысяч десятин... А какие места: по Суходойке-реке, по Ипатихе, по Малиновке – везде золото. Все россыпи от Каленой горы пошли, значит, в ней жилы объявляются... Там еще казенные разведки были под Маяковой сланью, на Филькиной гари, на Колпаковом поле, у Кедрового ключика. Одним словом, Палестина необъятная...

– Известно, золота в Кедровской даче неочерпаемо, а только ты опять зря болтаешь: кедровское золото мудреное, – кругом болота, вода долит, а внизу камень. Надо еще взять кедровское-то золото. Не об этом речь. А дело такое, что в Кедровскую дачу кинутся промышленники из города и с Балчуговских промыслов народ будут сбивать. Теперь у нас весь народ, как в чашке каша, а тогда и расплзутся... Их только помани. Народ отпетый.

– Я-то и хотел поговорить с тобой, Родион Потапыч, – заговорил Кишкин искательным тоном. – Дело видишь в чем. Я ведь тогда на казенных ширфовках был, так одно местечко заприметил: Пронькина вышка называется. Хорошие знаки оказывались... Вот бы заявку там хлопотнуть!

– Ну?

– Так я насчет компании... Может, и ты согласишься. За этим и шел к тебе... Верное золото.

Зыков даже поднялся и посмотрел на соблазнителя уничтожающим взором.

– Да ты в уме ли, Шишка? Я пойду искать золото, чтобы сбивать народ с Балчуговских промыслов?... Да еще с тобой?... Ха-ха...

– Не ты, так другие пойдут... Я тебе же добра желал, Родион Потапыч. А что касается Балчуговских промыслов, так они о нас с тобой плакать не будут... Ты вот говоришь, что я ничего не понимаю, а я, может, побольше твоего-то смыслю в этом деле. Балчуговская-то дача рядом прошла с Кедровской, – ну, назаявляют приисков на самой грани, да и будут

скупать ваше балчуговское золото, а запишут в свои книги. Тут не разбери-бери... Вот это какое дело!

– А ведь ты верно, – уныло согласился Зыков. – Потащат наше золото старателишки. Это уж как пить дадут. Ты их только помани... Теперь за ними не уследишь днем с огнем, а тогда и подавно! Только, я думаю, – прибавил он, – врешь ты все...

– А вот увидишь, как я вру.

Наступила неловкая пауза. Котелок с картофелем был пуст. Кишкин несколько раз взглядывал на Зыкова своими рысьими глазками, точно что хотел сказать, и только жевал губами.

– Прежде-то что было, Родион Потапыч! – как-то особенно угнетенно проговорил он наконец, втягивая в себя воздух. – Иногда раздумаешься про себя, так точно во сне... Разве нынче промысла? Разве работы?

– Что старое-то вспоминать, как баба о прошлогоднем молоке.

– Нет, всегда вспомню!.. Кто Фотьяновскую россыпь открыл?.. Я... да. На полтора миллиона рублей золота в ней добыто, а вот я наг и сир...

Кишкин ударил себя кулаком в грудь, и мелкие старческие слезинки покатались у него по лицу. Это было так неожиданно, что Зыков как-то смущенно пробормотал:

– Ну, будет тебе... Эх, что вздумал вспоминать!

– Да!.. – уже со слезами в голосе повторял Кишкин. – Да... Легко это говорить: перестань!.. А никто не спросит, как мне живется... да. Может, я кулаком слезы-то вытираю, а другие радуются... Тех же горных инженеров взять: свои дома имеют, на рысаках катаются, а я вот на своих на двоих вышагиваю. А отчего, Родион Потапыч? Воровать я вовремя не умел... да.

– Было и твое дело, что тут греха таить!

– Да что было-то? Дадут три сторулевых бумажки, а сами десять тысяч украдут. Я же их и покрывал: моих рук дело... В те поры отсечь бы мне руки, да и то мало. Дурак я был... В глаза мне надо за это самое наплевать, в воде утопить, потому кругом дурак. Когда я Фотьяновскую россыпь открыл, содержание в песках полтора золотника на сто пудов, значит, с работой обошелся он казне много-много шесть гривен, а управитель Фролов по три рубля золотник ставил. Это от каждого золотника по два рубля сорок копеек за здорово живешь в карман к себе клали. А фальши-то что было... Ведь я разносил по книгам-то все расходы: где десять рабочих – писал сто, где сто кубических сажень земли вынута – писал тысячу... Жалованье я же сочинял таким служащим, каких и на свете не бывало. А Фролов мне все твердит: «Погоди, Андрон Евстратыч, поделимся потом: рука, слышь, руку моет...» Умыл он меня. Сам-то сахаром теперь поживает, а я вон в каком образе щеголяю. Только-только копеечку не подают...

– А дом где? А всякое обзаведенье? А деньги? – накинулся на него Зыков с ожесточением. – Тебе руки-то отрубить надо было, когда ты в карты стал играть, да мадеру стал лакать, да пустяками стал заниматься... В чьем доме сейчас Ермошка-кабатчик как клоп раздулся? Ну-ка, скажи, а?..

– Было и это, – согласился Кишкин. – Тысяч с пять в карты проиграл и мадеру пил... Было, А Фролов-то по двадцати тысяч в один вечер проигрывал. Помнишь старый разрез в Выломках, его еще рекрута работали, – так мы его за новый списали, а ведь за это, говорят, голеньких сорок тысяч рубликов казна заплатила. Ревизор приехал, а мы дно раскопали да старые свалки сверху песочком посыпали – и сошло все. Положим, ревизор-то тоже уехал от нас, как мышь из ларя с мукой, – и к лапкам пристало, и к хвостику, и к усам. Эх, да что тут говорить...

– Кто старое помянет – тому глаз вон. Было, да сплыло...

## II

Зыков чувствовал, что недаром Кишкин распинается перед ним и про старину болтает «неподобное», а поэтому молчал, плотно сжав губы. Крепкий старик не любил пустых разговоров.

– Ну, брат, мне некогда, – остановил он гостя, поднимаясь. – У нас сейчас смывка... Вот объездной с кружкой едет.

На правом берегу Балчуговки тянулся каменистый увал, известный под именем Ульянова кряжа. Через него змейкой вилась дорога в Балчуговскую дачу. Сейчас за Ульяновым кряжем шли тоже старательские работы. По этой дороге и ехал верхом объездной с кружкой, в которую ссыпали старательское золото. Зыков расстегнул свой полушубок, чтобы перепоясаться, и Кишкин заметил, что у него за ситцевой рубахой что-то отдувается.

– Это у тебя что за рубахой-то покладено, Родион Потапыч?

– А диомид... Я его по зимам на себе ношу, потому как холоду этот самый диомид не любит.

– А ежели грешным делом да того...

– Взорвет? Божья воля... Только ведь наше дело привычное. Я когда и сплю, так диомид под постель к себе кладу.

Кишкин все-таки посторонился от начиненного динамитом старика. «Этакой безголовый черт», – подумал он, глядя на отдувавшуюся пазуху.

– Так ты как насчет Пронькиной вышки скажешь? – спрашивал Кишкин, когда они от землянки пошли к старательским работам.

– Не нашего ума дело, вот и весь сказ, – сурово ответил старик, шагая по размятому грязному снегу. – Без нас найдутся охотники до твоего золота... Ступай к Ермошке.

– Ермошке будет и того, что он в моем собственном доме сейчас живет.

Приближение сурового штейгера заставило старателей подтянуться, хотя они и были вольными людьми, работавшими в свою голову.

– Эх вы, свинорои! – ворчал Зыков, заглядывая на первую дудку. – Еще задавит кого: наотвечаешься за вас.

По горному уставу каждая шахта должна укрепляться в предупреждение несчастных случаев деревянным срубом, вроде того, какой спускают в колодцы; но зимой, когда земля мерзлая, на промыслах почти везде допускаются круглые шахты, без крепи, – это и есть «дудки». Рабочие, конечно, рискуют, но таков уж русский человек, что везде подставляет голову, только бы не сделать лишнего шага. Так было и здесь. Собственно Зыков мог заставить рабочих сделать крепи, но все они были такие оборванные и голодные, что даже у него рука не поднималась. Старик ограничился только ворчанием. Зимнее время на промыслах всех подтягивает: работ нет, а есть нужно, как и летом.

От забоев Зыков перешел к вашгердам и велел сделать промывку. Вашгерды были заперты на замок и, кроме того, запечатаны восковыми печатями, – все это делалось в тех видах, чтобы старатели не воровали компанейского золота. Бабы кончили промывку, а мужики принялись за доводку. Продолжали работать только бабы, накачивавшие насосом воду на вашгерды. Зыков стоял и зорко следил за доводчиками, которые на деревянных шлюзах сначала споласкивали пески деревянными лопатками, а потом начали отделять пустой песок от «шлихов» небольшими щетками. Шлихи – черный песок, образовавшийся из железняка; при промывке он осаждается в «головке» вашгерда вместе с золотом.

Кишкин смотрел на оборванную кучку старателей с невольным сожалением: совсем заморился народ. Рвань какая-то, особенно бабы, которые точно сделаны были из тряпиц. У мужиков лица испитые, озлобленные. Непокрытая приисковая голь глядела из каждой прорехи. Пока Зыков был занят доводкой, Кишкин подошел к рябому старику с большим горбатым носом.

– Здорово, Турка... Аль не узнал?

Турка посмотрел на Кишкина слезившимися потухшими глазами и равнодушно пожевал сухими губами.

– Кто тебя не знает, Андрон Евстратыч... Прежде-то шапку ломали перед тобой, как перед барином. Светленько, говорю, прежде-то жил...

– Турка, ты ходил в штегерях при Фролове, когда старый разрез работали в Выломках? – спрашивал Кишкин, понижая голос.

– Запомнил как будто, Андрон Евстратыч... На Фотьянке ходил в штегерях, это точно, а на старом разрезе как будто и не упомяну.

– Ну, а других помнишь, кто там работал?

– Как не помнить... И наши фотьяновские и балчуговские. Бывало дело, Андрон Евстратыч...

Старый Турка сразу повеселел, припомнив старинку, но Кишкин глазами указал ему на Зыкова: дескать, не в пору язык развязываешь, старина... Старый штейгер собрал промытое золото на железную лопаточку, взвесил на руке и заметил:

– Золотник с четью будет...

Затем он ссыпал золото в железную кружку, привезенную объездным, и, обругав старателей еще раз, побрел к себе в землянку. С Кишкиным старик или забыл проститься, или не захотел.

– Сиротское ваше золото, – заметил Кишкин, когда Зыков отошел сажен десять. – Из-за хлеба на воду робите...

Все разом загалдели. Особенно волновались бабы, успевшие высчитать, что на три артели придется получить из конторы меньше двух рублей, – это на двадцать-то душ!.. По гривеннику не заработали.

– Почему в контору сдаете? – спрашивал Кишкин.

– По рублю шести гривен, Андрон Евстратыч. Обидная наша работа. На харчи не заработаешь, а что одежды износим, что обуя, это уж свое. Прямо – крохи...

Объездной спешил и, свертывая сигарку из серой бумаги, болтал с рябой и курносой девкой, которая при артели стеснялась любезничать с чужим человеком, а только лукаво скалила белые зубы. Когда объездной хотел ее обнять, от забоя послышался резкий окрик:

– Ты, компанейский пес, не балуй, а то медали все оборву...

– А ты что лаешься? – огрызнулся объездной. – Чужое жалеешь...

Ругавшийся с объездным мужик в красной рубахе только что вылез из дудки. Он был в одной красной рубахе, запачканной свежей ярко-желтой глиной, и в заплатанных плисовых шароварах. Сдвинутая на затылок кожаная фуражка придавала ему вызывающий вид.

– А, это ты, Матюшка... – вступился Кишкин. – Что больно сердит?

– Псов не люблю, Андрон Евстратыч... Мало стало в Балчуговском заводе девок, – ну, и пусть жирует с ними, а наших, фотьянских, не тронь.

– И в самом-то деле, чего привязался! – пристали бабы. – Ступай к своим балчуговским девкам: они у вас просты... Строгаль!..

– Ах вы, варнаки! – ругался объездной, усаживаясь в седле. – Плачет об вас острог-то, клейменные... Право, клейменные!.. Ужо вот я скажу в конторе, как вы дудки-то крепите.

– Скажи, а мы вот такими строгалями, как ты, и будем дудки крепить, – ответил за всех Матюшка. – Отваливай, Михей Павлыч, да кланяйся своим, как наших увидишь.

Между балчуговскими строгалями и Фотьянкой была старинная вражда, переходившая из поколения в поколение. Затем поводом к размолвке служила органическая ненависть вольных рабочих ко всякому начальству вообще, а к компании – в частности. Когда объездной уехал, Кишкин укоризненно заметил:

– Чего ты зубы-то показываешь прежде времени, Матюшка? Не больно велик в перьях-то...

– Скоро вода тронется, Андрон Евстратыч, так не больно страшно, – ответил Матюшка. – Сказывают, Кедровская дача на волю выходит... Вот делай заявку, а я местечко тебе укажу.

– Молоко на губах не обсохло учить-то меня, – ответил Кишкин. – Не сказывай, а спрашивай...

– Это верно, – подтвердил Турка. – У Андрона Евстратыча на золото рука легкая. Про Кедровскую-то ничего не слыхать, Андрон Евстратыч?

– Не знаю ничего... А что?

– Да так... Мало ли что здря болтают. Намедни в кабаке городские хвалились...

Кишкин подсел на свалку и с час наблюдал, как работали старатели. Жаль было смотреть, как даром время убивали... Какое это золото, когда и пятнадцать долей со ста пудов песку не падает. Так, бьется народ, потому что деваться некуда, а пить-есть надо. Выждав минутку, Кишкин поманил старого Турку и сделал ему таинственный знак. Старик отвернулся, для видимости покопался и пошабашил.

– Ты куда наклался? – спрашивал его Кишкин самым невинным образом.

– А в Фотьянку, домой... Поясницу разломило, да и дело по домашности тоже есть, а здесь и без меня управятся.

– Ну, так возьми меня с собой: мне тоже надо на Фотьянку, – проговорил Кишкин, поднимаясь. – Прощайте, братцы...

Дорога шла сначала бортом россыпи, а потом мелким лесом. Фотьянка залегла двумя сотнями своих почерневших избенок на низменном левом берегу Балчуговки, прижатой здесь Ульяновым кряжем. Кругом деревни рос сплошной лес, – ни пашен, ни выгона. Издали Фотьянка производила невеселое впечатление, которое усиливалось вблизи. Старинная постройка сказывалась тем, что дома были расставлены как попало, как строились по лесным дебрям. К реке выдвигался песчаный мысок, и на нем красовался, конечно, кабак. Турка и Кишкин, по молчаливому соглашению, повернули прямо к нему. У кабацкого крыльца сидели те особенные люди, которые лучше кабака не находят места. Двое или трое узнали Кишкина и сняли рваные шапки.

– Кабак подпираете, молодцы, чтобы не упал грешным делом? – пошутил Кишкин.

Сидельцем на Фотьянке был молодой румяный парень Фрол. Кабак держал балчуговский Ермошка, а Фрол был уже от него. Кишкин присел на окно и спросил косушку водки. Турка как-то сразу ослабел при одном виде заветной посуды и взял налитый стакан дрожавшей рукой.

– Будь здоров на сто годов, Евстратыч, – проговорил Турка, с жадностью опрокидывая стакан водки.

– Давненько я здесь не бывал... – задумчиво ответил Кишкин, поглядывая на румяного сидельца. – Каково торгуешь, Фрол?

– У нас не торговля, а кот наплакал, Андрон Евстратыч. Кому здесь и пить-то... Вот вода тронется, так тогда поправляться будем. С голого, что со святого, – немного возьмешь.

– Дай-ка нам пожевать что-нибудь...

Как политичный человек, Фрол подал закуску и отошел к другому концу стойки: он понимал, что Кишкину о чем-то нужно переговорить с Туркой.

– Вот что, друг, – заговорил Кишкин, положив руку на плечо Турке, – кто из фотьянских стариков жив, которые работали при казне?... Значит, сейчас после воли?

– Есть живые, как же... – старался припомнить Турка. – Много перемерло, а есть и живые.

– Мне штейгеров нужно, главное, а потом, кто в сторожах ходил.

– Есть и такие: Никифор Лужонный, Петр Васильич, Головешка, потом Лучок, Лекандра...

– Вот и отлично! – обрадовался Кишкин. – Мне бы с ними надо со всеми переговорить.

– Можно и это... А на что тебе, Андрон Евстратыч?

– Дело есть... С первого тебя начну. Ежели, например, тебя будут допрашивать, покажешь все, как работал?

– Да что показывать-то?

– А что следовательно будет спрашивать...

Корявая рука Турки, тянувшаяся к налитому стакану, точно оборвалась. Одно имя следователя нагнало на него оторопь.

– Да ты что испугался-то? – смеялся Кишкин. – Ведь не под суд отдаю тебя, а только в свидетели...

– А ежели, например, следователь гумагу заставит подписывать?! Нет, неладное ты удумал, Андрон Евстратыч... Меня ровно кто под коленки ударил.

– Ах, дура-голова!.. Вот и толкуй с тобой...

Как ни бился Кишкин, но так ничего и не мог добиться: Турка точно одеревянял и только отрицательно качал головой. В промышленном отпетом населении еще сохранился какой-то органический страх ко всякой форменной пуговице: это было тяжелое наследство, оставленное еще «казенным временем».

– Нет, с тобой, видно, не сговоришь! – решил огорченный Кишкин.

– Ты уж лучше с Петром Васильичем поговори! Он у нас грамотный. А мы – темные люди, каждого пня боимся...

Из кабака Кишкин отправился к Петру Васильичу, который сегодня случился дома. Это был испитой мужик, кривой на один глаз. На сходках он был первый крикун. На Фотьянке у него был лучший дом, единственный новый дом и даже с новыми воротами. Он принял гостя честь честью и все поглядывал на него своим уцелевшим оком. Когда Кишкин объяснил, что ему было нужно, Петр Васильевич сразу смекнул, в чем дело.

– Да сделай милость, хоша сейчас к следователю! – повторял он с азартом. – Все покажу, как было дело. И все другие покажут. Я ведь смекаю, для чего тебе это надобно... Ох, смекаю!..

– А смекаешь, так молчи. Наболело у меня... ох, как наболело!..

– Сердце хочешь сорвать, Андрон Евстратыч?

– А уж это, как бог пошлет: либо сена клок, либо вилы в бок.

Петр Васильич выдержал характер до конца и особенно не расспрашивал Кишкина: его воз – его и песенки. Чтобы задобрить политичного мужика, Кишкин рассказал ему новость относительно Кедровской дачи. Это известие заставило Петра Васильича перекреститься.

– Неужто правда, андел мой? А? Ах, боже мой... да, кажется, только бы вот дыхануть одинова дали, а то ведь эта наша канпания – могила. Заживо все помираем... Ах, друг ты мой, какое ты словечко выговорил! Сам, говоришь, и гумагу читал? Правильная совсем гумага? С орлом?..

– Да уж правильнее не бывает...

– И что только будет? В том роде, как огромный пожар... Верно тебе говорю... Изморился народ под канпанией-то, а тут на, работай, где хошь.

– Только смотри: секрет.

– Да я... как гвоздь в стену заколотил: вот я какой человек. А что касаемо казенных работ, Андрон Евстратыч, так будь без сумления: хоша к самому министру веди, – все, как на ладонке, покажем. Уж это верно... У меня двух слов не бывает. И других сговорю. Кажется, глупый народ, всего боится и своей пользы не понимает, а я всех подобью: и Лужоного, и Лучка, и Турку. Ах, какое ты слово сказал... Вот наш-то змей Родивон узнает, то-то на стену полезет.

– Да уж он знает! Я к нему заходил по пути.

– Ну, что он? Поди, из лица весь выступил? А? Ведь ему это без смерти смерть. Как другая цепная собака: ни во двор, ни со двора не пущает. Не поглянулось ему? А?.. Еще сродни мне приходится по мамыньке, – ну, да мне-то это все едино. Это уж мамынькино дело: она с ним дружит. Ха-ха... Ах, андел ты мой, Андрон Евстратыч! Пряменько тебе скажу: вдругорядь нашу Фотьянку с праздником делаешь, – впервой, когда россыпь открыл, а теперь – словечком своим озолотил.

Они расстались большими друзьями. Петр Васильич выскочил провожать дорогого гостя на улицу и долго стоял за воротами, – стоял и крестился, охваченный радостным чувством. Что же, в самом-то деле, достаточно всякого горя та же Фотьянка напринималась: пора и отдохнуть. Одна казенная работа чего стоит, а тут компания насела и всем дух заперла. Подшибся народ вконец...

В свою очередь Кишкин возвращался домой тоже радостный и счастливый, хотя переживал совершенно другой порядок чувств.

### III

Течением реки Балчуговки завод Балчуговский делился на две неравные части, – правая Нагорная и левая Низменная – Низы. Название завода сохранилось здесь от стародавних времен, когда в Нагорной стоял казенный винокуренный завод, на котором все работы производились каторжными. Впоследствии, когда открылось золото, Балчуговка была запружена, а при запруде поставлена так называемая золотопромывальная мельница, в течение времени превратившаяся в фабрику. Другая золотопромывальная мельница была устроена в Фотьянке – месте поселения отбывших каторжные работы. Самое селение поэтому долгое время было известно под именем Фотьянской мельницы.

Нагорная сторона Балчуговского завода служила настоящим каторжным гнездом и всегда сторонилась Низов, где с открытием золота были посажены три рекрутских набора. Промысловые работы, как и каторжное винокурение, велись военной рукой – с выслугой лет, палочьем и солдатской муштрой. Тогда все горное ведомство было поставлено на военную ногу. Поселившиеся в Нагорной каторжане, согнанные сюда со всех концов крепостной России, долго чуждались «некрутов», набранных из трех уральских губерний. Эта рознь сохранилась главным образом в кличках: нагорные «варнаки», а низовые «строгали» и «швали». От прежних времен на месте бывшей каторги остались еще «пьяный двор», где был завод, развалины каменного острога, «пьяная контора» и каменная церковь, выстроенная каторжными во вкусе Растрелли. Нагорные особенно гордились этой церковью, так как на Низах своей не было и швали должны были ходить молиться в Нагорную. Населения в Балчуговском заводе считалось за десять тысяч.

Зыковский дом стоял недалеко от церкви. Это была большая деревянная изба с высоким коньком, тремя небольшими оконцами, до которых от земли не достанешь рукой, и старинными шатровыми воротами с вычурной резьбой. Ставилась эта изба на расейскую руку, потому что и сам старик Зыков был расейский выходец. Когда и за что попал он на каторгу – никто не знал, а сам старик не любил разговаривать о прошлом, как и другие старики-каторжане. Да и всего-то их оставалось в Балчуговском заводе человек двадцать, да на Фотьянке около того же. Гораздо живучее оказывались женщины-каторжанки, которых насчитывалось в Нагорной до полусотни, – все это были, конечно, уже старухи и все до одной семейные женщины. Мужчинам каторга давалась тяжелее, да и попадали они в нее редко молодыми, – а бабы главным образом были молодые. Первая жена Зыкова тоже была каторжанка. Она умерла рано, оставив после себя сына Якова, которому сейчас было уже под шестьдесят. Свою избу Зыков ставил при первой жене, которую вспоминал с особенным уважением.

Вторая жена была взята в своей же Нагорной стороне; она была уже дочерью каторжанки. Зыков лет на двадцать был старше ее, но она сейчас уже выглядела развалиной, а он все еще был молодцом. Старик почему-то недолюбливал этой второй жены и при каждом удобном случае вспоминал про первую: «это еще при Марфе Тимофеевне было», или «покойница Марфа Тимофеевна была большая охотница до заказных блинов». В первое время вторая жена, Устинья Марковна, очень обижалась этими воспоминаниями и раз отрезала мужу:

– А не сказывала тебе твоя-то Марфа Тимофеевна, как из острога ее водили в пьяную контору к смотрителю Антону Лазаричу?

Зыков весь побелел, затрясся и чуть не убил жену, – да и убил бы, если бы не помешали. Этого он никогда не мог простить Устинье Марковне и обращался с ней довольно сурово. Отношения с женой родней тоже были довольно натянуты, и Зыков делал исключение только для одной тещи, в которой, кажется, уважал подругу своей жены по каторге. Дома старик бывал редко, как мы уже говорили. Он выходил домой в субботу вечером, когда шабашили все работы и когда нужно было идти в баню. Он ночевал на воскресенье дома, а затем в воскресенье же вечером уходил на свой пост, потому что утро понедельника для него было самым боевым временем: нужно было все работы пускать в ход на целую неделю, а рабочие не все выходили, справляя «узенькое воскресенье», как на промыслах называли понедельник.

Вечер субботы в зыковском доме всегда был временем самого тяжелого ожидания. Вся семья подтягивалась, а семья была не маленькая: сын Яков с женой и детьми, две незамужних дочери и зять, взятый в дом. Сам старик жил в передней избе, обставленной с известным комфортом: на полу домотканые половики из ветоши, стены оклеены дешевенькими обоями, русская печь завешена ситцевой занавеской, у одной стены своей, балчуговской, работы березовый диван и такие же стулья, а на стене лубочные картины. В уголке стоял таинственный деревянный шкаф, всегда запертый на замок. В нем, по глубокому убеждению всей семьи и всех соседей, заключались несметные сокровища, потому что Родион Потапыч «ходил в штейгерах близко сорок лет», а другие наживали на таких местах состояние в два-три года.

Собственно ответственными лицами в семье являлись Устинья Марковна и старший сын Яков. Еще поднимаясь по лесенке на крыльцо, Зыков обыкновенно спрашивал:

– А где малый?

Яков Родионыч под этой кличкой успел поседеть, облысеть и нажать внучат. Весь завод называл его Яшей Малым. Это был безобидный человек и вместе упрямый, как резина. Жена у него давно умерла, оставив девочку Наташу и мальчика Петю. У себя дома Яша Малый не мог распорядиться даже собственными детьми, потому что все зависело от дедушки, а дедушка относился к сыну с большим подозрением, как и к Устинье Марковне. Из всей семьи Родион Потапыч любил только младшую дочь Федосью, которой уже было под двадцать, что по-балчуговски считалось уже девичьей старостью: как стукнет двадцать годков, так и перестарок. С первой дочерью Марьей, которая была на пять лет старше Федосьи, так и случилось: до двадцати лет все женихи сватались, а Родион Потапыч все разбирали женихов, – этот нехорош, другой нехорош, третий и совсем плох. Сама Марья уже записала себя в незамужницы.

Была еще одна дочь, самая старшая, Татьяна, которая в счет не клалась, потому что ушла замуж убогом за строгаля в Низах по фамилии Мыльников. Это был настоящий mesalliance, [1] навсегда выкинувший непокорную дочь из родной семьи. Вот уже прошло целых двадцать лет, а Родион Потапыч еще ни разу не вспомнил про нее, да и никто в доме не смел при нем слова пикнуть про Татьяну. Болело за непокорную дочь только материнское сердце. Устинья Марковна под строжайшим секретом от мужа раза два в год навещала Татьяну, хотя это и самой ей было в тягость, потому что плохо жилось непокорной дочери, – муж попался «караштерный», под пьяную руку совсем буян, да и зашибал он водкой все чаще и чаще. У Татьяны почти каждый год рождался ребенок, но, на ее счастье, дети больше умирали, и в живых оставалось всего шесть человек, причем дочь старшая, Окся, заневестилась давно. Выпивши, Мыльников не упускал случая потравить «дорогого тестюшку» и систематически устраивал скандалы Родиону Потапычу раз десять в год. Взятый в дом зять Прокопий был смиренный и работящий мужик, который умел оставаться в тестевом доме совершенно незаметным. Его связывала быстро прибывавшая семья, – детей было уже трое. Работал Прокопий на золотопромывальной фабрике в доводчиках и получал всего двенадцать рублей. Родион Потапыч почему-то делал такой вид, что совсем не замечает этого покорного зятя, а тот в свою очередь всячески старался не попадаться старику на глаза. Собственно, вся семья Родиона Потапыча жалась в одной задней избе, походившей на муравьище. Преобладание женского элемента придавало семье особенный характер: сестры вечно вздорили между собой, а Устинья Марковна вечно их мирила, плакалась на свою несчастную судьбу и в крайних случаях грозилась, что пожалуется «самому». До последнего, положим, дело не доходило, но эта угроза производила желанное действие. Главным несчастьем всей своей жизни Устинья Марковна считала то, что у нее родились все девки и ни одного сына. Этим она объясняла и нелюбовь мужа. Вон «варначка» Марфа Тимофеевна родила всего одного, да и тот сын...

В последнюю неделю в зыковской семье случилось такое событие, которое сделало субботу роковым днем. Дело в том, что любимая дочь Федосья бежала из дому, как это сделала в свое время Татьяна, – с той разницей, что Татьяна венчалась, а Федосья ушла в раскольничью семью сводом. Верстах в шести от Балчуговского завода разлилось довольно большое озеро Тайбола, а на нем осело раскольничье селение, одноименное с озером. По соседству балчуговцы и тайболовцы хотя и дружили, но в более близкие отношения не вступали, а число браков было наперечет. Замечательной особенностью тайболовцев было еще и то, что, живя в золотоносной полосе, они совсем не «занимались золотом». С



последним для раскольников органически связывалось понятие о каторге, «некрутчине» и вообще неволе.

Федосья убежала в зажиточную сравнительно семью; но, кроме самовольства, здесь было еще уклонение в раскол, потому что брак был сводный. Все это так поразило Устинью Марковну, что она вместо того, чтобы дать сейчас же знать мужу на Фотьянку, задумала вернуть Федосью домашними средствами, чтобы не делать лишней огласки и чтобы не огорчить старика вконец. Устинья Марковна сама отправилась в Тайболу, но ее даже не допустили к дочери, несмотря ни на ее слезы, ни на угрозы.

Это обстоятельство точно оглушило Устинью Марковну. Она ходила по дому и повторяла:

– Вот уж воротится отец с промыслов и голову снимет!.. Разразит он всех... Ох, смергынька пришла!..

Да и все остальные растерялись. Дело выходило самое скверное, главное, потому, что вовремя не оповестили старика. А суббота быстро близилась... В пятницу был собран экстренный семейный совет. Зять Прокопий даже не вышел на работу по этому случаю.

– Что уж, матушка, убиваться-то без пути, – утешала замужняя дочь Анна. – Наше с тобой дело бабье. Много ли с бабы возьмешь? А пусть мужики отвечают...

– Ишь, выискалась?! – ругался Яша. – Бабы должны за девками глядеть, чтобы все сохранно было... Так ведь, Прокопий?

Прокопий по обыкновению больше отмалчивался. У него всегда выходило как-то так, что и да и нет. Это поведение взорвало Яшу. Что, в самом-то деле, за все про все отдувайся он один, а сами, чуть что, и в кусты. Он напал на зятя с особенной энергией.

– Вот вы все такие, зятя! – ругался Яша. – Вам хоть трава не расти в дому, лишь бы самах не трогали...

– Я, что же я?... – удивлялся Прокопий. – Мое дело самое маленькое в дому: пока держит Родион Потапыч, и спасибо. Ты – сын, Яков Родионыч: тебе много поближе... Конечно, не всякий подступится к Родиону Потапычу, ежели он в сердцах...

Это была хитрая уловка со стороны тишайшего зятя, знавшего самое слабое место Яши. Он, конечно, сейчас же вскипел, обругал всех и довольно откровенно заявил:

– Дураки вы все, вот что... Небось, прижали хвосты, а я вот нисколько не боюсь родителя... На волос не боюсь и все приму на себя. И Федосьино дело тоже надо рассудить: один жених не жених, другой жених не жених, – ну, и не стерпела девка. По человечеству надо рассудить... Вон Марья из-за родителя в перестарки попала, а Феня это и обмозговала: живой человек о живом и думает. Так прямо и объясню родителю... Мне что, я его вот на эстолько не боюсь!..

– Ты бы сперва съездил еще в Тайболу-то, – нерешительно советовала Устинья Марковна. – Может, и уговоришь... Не чужая тебе Феня-то: родная сестра по отцу-то.

– И в Тайболу съезжу! – горячился Яша, размахивая руками. – Я этих кержаков в бараний рог согну... «Отдавайте Федосью назад!» Вот и весь сказ... У меня, брат, не отвертишься.

Напустив на себя храбрости, Яша к вечеру заметно остыл и только почесывал затылок. Он сходил в кабак, потолкался на народе и пришел домой только к ужину. Храбрости оставалось совсем немного, так что и ночь Яша спал очень скверно и проснулся чуть свет. Устинья Марковна поднималась в доме раньше всех и видела, как Яша начинает трусить. Роковой день наступал. Она ничего не говорила, а только тяжело вздыхала. Напившись чаю, Яша объявил:

– Ну, мамушка, Устинья Марковна, благословляй... Сейчас еду в Тайболу выручать Феню.

– Дай тебе бог, Яша... Смотри, отец выворотится сейчас после свистка.

В критических случаях Яша принимал самый торжественный вид, а сейчас трудность миссии сопряжена была с вопросом о собственной безопасности. Ввиду всего этого Яша заседлал лошадь и отправился на подвиг верхом. Устинья Марковна выскочила за ворота и благословила его вслед.

Дорога в Тайболу проходила Низами, так что Яше пришлось ехать мимо избышки Мыльников, стоявшей на тракту, как называли дорогу в город. Было еще раннее утро, но Мыльников стоял за воротами и смотрел, как ехал Яша. Это был среднего роста мужик с растрепанными волосами, клочковатой рыжей бородачкой и какими-то «ядовитыми» глазами. Яша не любил встречаться с зятем, который обыкновенно поднимал его на смех, но теперь неловко было проехать мимо.

– Куда такую рань наклеялся, дорогой деверек? – спрашивал Мыльников, здороваясь.

В окне проваленной избышки мелькнуло испитое лицо Татьяны, а затем показались ребячьи головы.

– Да так... в город по делу надо съездить, – соврал Яша и так неловко, что сам смутился.

– Ну, ну, не ври, коли не умеешь! – оборвал его Мыльников. – Небось, в гости к богоданному зятю поехал?.. Ха-ха... Эх вы, раздуй вас горой: завели зятя. Только родню срамите... А что, дорогой тестюшка каково прыгает?..

– И не говори! Беда... Объявить не знаем как, а сегодня выйдет домой к вечеру. Мамушка уж ездила в Тайболу, да ни с чем выворотилась, а теперь меня заслала... Может, и оборочу Феню.

– Хо-хо!.. Нашел дураков... Девка мак, так ее кержаки и отпустили. Да и тебе не обмозговать этого самого дела... да. Вон у меня дерево стоеросовое растет, Окся; с руками бы и ногами отдал куда-нибудь на мясо, – да никто не берет. А вы плачете, что Феня своим умом устроилась...

– Да это бог бы с ней, что убогом, Тарас Матвейч, а вот вера-то ихняя стариковская.

Мыльников подумал, почесал в затылке и проговорил:

– А это ты правильно, Яша... Ни баба, ни девка, ни солдатка наша Феня... Ах, раздуй их горой, кержаков!.. Да ты вот что, Яша, подвинься немного в Седле...

Не дожидаясь приглашения, Мыльников сам отодвинул Яшу вместе с седлом к гриве, подскочил, навалился животом на лошадиный круп, а затем уселся за Яшей.

– Да ты куда это? – изумлялся Яша.

– Как куда? Поедем в Тайболу... Тебе одному не управиться, а уж я, брат, из горла добуду. Эй, Окся, волоки мне картуз...

На этот крик показалась среднего роста девка с рябым скуластым лицом. Это и была Окся. Она как-то исподлобья посмотрела на Яшу и подала картуз.

– Ну ты, дерево, смотри у меня! – пригрозил ей отец. – Чтобы к вечеру работа была кончена...

Окся только широко улыбнулась, показав два ряда белых зубов. Чадолюбивый родитель, отъехав шагов двадцать, оглянулся, погрозил Оксе кулаком и проговорил:

– Уродится же этакое дерево... а?..

## V

До Тайболы считали верст пять, и дорога все время шла столетним сосновым бором, сохранившимся здесь еще от «казенной каторги», как говорил Мыльников, потому что золотые промысла раскинулись по ту сторону Балчуговского завода. Дорога здесь была бойкая, по ней в город и из города шли и ехали «без утыху», а теперь в особенности, потому что зимний путь был на исходе, и в город без конца тянулись транспорты с дровами, сеном и разным деревенским продуктом. Мыльников знал почти всех, кто встречался, и не упускал случая побалагурить.

– Ну, Яшенька, и зададим мы кержакам горячего до слез!.. – хвастливо повторял он, ерзая по лошадиной спине. – Всю ихнюю стариковскую веру вверх дном поставим... Уважим в лучшем виде! Хорошо, что ты на меня натакался, Яша, а то одному-то тебе где бы сладить... Э-э, мотри: ведь это наш Шишка пехтурой в город копотит! Он...

Они нагнали шагавшего по дороге Кишкина уже в виду Тайболы, где сосновый бор точно расступался, открывая широкий вид на озеро. Кишкин остановился и подождал

ехавших верхом родственников.

– Андрону Евстратычу! – крикнул Мыльников еще издали, взмахивая своим картузом. – Погляди-ка, как Тарас Мыльников на тестевых лошадях покатывается...

– Али на свадьбу собрались? – пошутил Кишкин, ослабившись. Он уже знал об убоге Фени.

– Горе наше лютое, а не свадьба, Андрон Евстратыч, – пожаловался Яша, качая головой. – Родитель сегодня к вечеру выворотится с Фотьянки и всех нас распатронит...

– Бог не без милости, Яша, – утешал Кишкин. – Уж такое их девичье положение: сколь девку ни корми, а все чужая... Вот что, други, надо мне с вами переговорить по тайности: большое есть дело. Я тоже до Тайболы, а оттуда домой и к тебе, Тарас, по пути заверну.

– Милости просим, Андрон Евстратыч... Ты это не насчет ли Пронькиной вышки промышляешь?..

– А ты пасть-то свою раствори, Тарас! – огрызнулся Кишкин. – О Пронькиной вышке своя речь... Ах, ботало коровье!.. С тобой пива не сварить...

– Только припасай денег, Андрон Евстратыч, а уж я тебе богатство предоставлю! – хвастался Мыльников. – Я в третьем году шишковал в Кедровской, так завернул на Пронькину-то вышку... И местечко только!

У самого въезда в Тайболу, на левой стороне дороги, зеленой шапкой виднелся старый раскольничий могильник. Дорога здесь двоилась: тракт отделял влево узенькую дорожку, по которой и нужно было ехать Яше. На расстани они попрощались с Кишкиным, и Мыльников презрительно проговорил ему вслед.

– Шишка и есть: ни конца ни краю не найдешь. Одним словом, двухорловый!.. Туда же, золота захотел!.. Ха-ха... Так я ему и сказал, где оно спрятано. А у меня есть местечко... Ох, какое местечко, Яша!.. Гляди-ка, ведь это кабатчик Ермошка на своем виноходеце закопачивает? Он... Ловко. В город погнал с краденым золотом...

Раскольничье «жило» начиналось сейчас за могильником. Третий от края дом принадлежал скорнякам Кожиным. Старая высокая изба, поставленная из кондового леса, выходила огородом на озеро. На самом берегу стояла и скорняжная – каменное низкое здание, распространявшее зловоние на весь квартал. Верст на пять берег озера был обложен раскольничьей стройкой, разорванной в самой середине двумя пустырями: здесь красовались два больших раскольничьих скита, мужской и женский, построенные в тридцатых годах нынешнего столетия. Вид на озеро от могильника летом был очень красив, и тайбольцы ничего лучшего не могли и представить.

– Подворачивай! – крикнул Мыльников, когда они поровнялись с кожинской избой. – Дорогие гости приехали.

Ворота у Кожиных всегда были, по раскольничьему обычаю, на запоре, и гостям пришлось стучаться в окно. Показалось строгое старушечье лицо.

– Летела жар-птица, уронила золотое перо, а мы по следу и приехали к тебе, баушка Маремьяна, – заговорил Мыльников, когда отодвинулось волоковое окно.

– Заходите, гости будете, – пригласила старуха, дергая шнурок, проведенный к воротной шеколде. – Коли с добром, так милости просим...

Двор был крыт наглухо, и здесь царил такая чистота, какой не увидишь у православных в избах. Яша молча привязал лошадь к столбу, оправил шубу и пошел на крыльцо. Мыльников уже был в избе. Яша по привычке хотел перекреститься на образ в переднем углу, но Маремьяна его оговорила:

– У себя дома молись, родимый, я наши образа оставь... Садитесь, гостеньки дорогие.

Изба была оклеена обоями на городскую руку; на полу везде половики; русская печь закрыта ситцевым пологом. Окна и двери были выкрашены, а вместо лавок стояли стулья. Из передней избы небольшая дверка вела в заднюю маленьким теплым коридорчиком.

– Ну, начинай, чего молчишь, как пень? – подталкивал Яшу Мыльников. – За делом приехали...

Яша моргал глазами, гладил свою лысину и не смел взглянуть на стоявшую посреди избы старуху.

– Нам бы сестрицу Федосью Родивоновну повидать... – проговорил наконец Яша, чувствуя, как его начинает пробивать пот.

– Не чужие будем, баушка Маремьяна, – вставил Мыльников.

– А на какую причину она вам понадобилась? – ответила старуха.

Старуха была одета по-старинному, в кубовый косоклиный сарафан и в белую холщевую рубашку. Темный старушечий платок покрывал голову.

– Мы с добром приехали, баушка Маремьяна, – отвечал Мыльников, размахивая рукой. – Одним словом, сродственники... Не съедим сестрицу Федосью Родивоновну.

– Ладно, коли с добром, – согласилась старуха и вышла в маленькую дверку.

– Медведица... – проговорил Мыльников, указывая глазами на дверь, в которую вышла старуха. – погоди, вот я разговорюсь с ней по-настоящему... Такого холоду напушу, что не обрадуется.

Вошла Феня, высокая и стройная девушка, конфузившаяся теперь своего красного кумачного платка, повязанного по-бабьи. Она заметно похудела за эти дни и пугливо смотрела на брата и на зятя своими большими серыми глазами, опущенными такими длинными ресницами.

– Здравствуйте, братец Яков Родивоныч, – покорным тоном проговорила она, кланяясь. – И вы, Тарас Матвейч, здравствуйте...

– Вот что, Феня, – заговорил Яша, – сегодня родитель с Фотьянки выворотится, и всем нам из-за тебя без смерти смерть... Вот какая оказия, сестрица любезная. Мамушка слезьми изошла... Наказала кланяться.

– Крутенок тестюшка-то Родивон Потапыч, – прибавил Мыльников. – Таку резолюцию наведет...

– Что же я, братец Яков Родивоныч... – прошептала Феня со слезами на глазах. – Один мой грех и тот на виду, а там уж как батюшка рассудит... Муж за меня ответит, Акинфий Назарыч. Жаль мне матушку до смерти...

Она всхлипнула и закрыла лицо руками. В коридоре за дверью слышалось осторожное шушуканье, а потом показался сам Акинфий Назарыч, плотный и красивый молодец, одетый по-городски в суконный пиджак и брюки навывпуск.

– Вот что, господа, – заговорил он, прикрывая жену собой, – не женское дело разговоры разговаривать... У Федосьи Родионовны есть муж, он и в ответе. Так скажите и батюшке Родиону Потапычу... Мы от ответа не прячемся... Наш грех...

– Вот ты поговори с ним, с тестем-то, малиновая голова! – заметил Мыльников и засмеялся. – Он тебе покажет...

– И поговорим и даже очень поговорим, – уверенно ответил Акинфий Назарыч. – Не первая Федосья Родионовна и не последняя.

– Да про убог нет слова, Акинфий Назарыч, – вступился Яша, – дело житейское... А вот как насчет веры? Не стерпит тятенька.

– Что же вера? Все одному богу молимся, все грешны да божьи... И опять не первая Федосья Родионовна по древнему благочестию выдалась: у Мятелевых жена православная по городу взята, у Никоновых ваша же балчуговская... Да мало ли!.. А, между прочим, что это мы разговариваем, как на окружном суде... Маменька, Феня, обряжайте закусочку да чего-нибудь потеплее для родственников. Честь лучше бесчестья завсегда!.. Так ведь, Тарас?

– Ах, и хитер ты, Акинфий Назарыч! – блаженно изумлялся Мыльников. – В самое то есть живое место попал... Семь бед – один ответ. Когда я Татьяну свою уволок у Родивона Потапыча, было тоже греха, а только я свою линию строго повел. Нет, брат, шалишь... Не тронь!..

Закуска и выпивка явились как по шучьему веленью: и водка, и настойка, и теңериф, и капуста, и грибочки, и огурчики.

– Господа, пожалуйста! – приглашал Акинфий Назарыч. – Сухая ложка рот дерет... Вкусим по единой, аще же не претит, то и по другой.

Яша тяжело вздохнул, принимая первую рюмку, точно он продавал себя. Эх, и достанется же от родителя... Ну, да все равно: семь бед – один ответ... И Фени жаль и родительской грозы не избежать. Зато Мыльников торжествовал, попав на даровое угощение... Любил он выпить в хорошей компании...

– А где баушка Маремьяна? – пристал он. – Хочу непременно с ней выпить, потому люблю... Феня, тащи баушку!..

Старуха для приличия поломалась, а потом вышла и даже «пригубила» какой-то настойки.

– Как же теперь нам быть? – спрашивал Яша после третьей рюмки. – Без ножа зарезала нас Феня...

– Чему быть, того не миновать! – весело ответил Акинфий Назарыч. – Ну, пошумит старик, покажет пыль – и весь тут... Не всякое лыко в строку. Мало ли наши кержанки за православных убогом идут? Тут, брат, силой ничего не поделаешь. Не те времена, Яков Родионыч. Рассудите вы сами...

– Оно конечно, – соглашался пьяневший Яша. – Я ведь тоже с родителем на перекосях... Очень уж он канпании нашей подвержен, а я наоборот: до старости у родителя в недоносках состою... Тоже в другой раз и обидно.

– А ты выдела требуй, Яша, – советовал Мыльников. – Слава богу, своим умом пора жить... Я бы так давно наплевал: сам большой – сам маленький, и знать ничего не хочу. Вот каков Тарас Мыльников!

– Перестань молоть! – оговаривала его старая Маремьяна. – Не везде в задор да волчьим зубом, а мирком да ладком, пожалуй, лучше... Так ведь я говорю, сват – большая родня?

– Какой я сват, баушка Маремьяна, когда Родивон Потапыч считает меня в том роде, как трюродное наплевать. А мне бог с ним... Я бы его не обидел. А выпить мы можем всегда... Ну, Яша, которую не жаль, та и наша.

С каждой новой рюмкой гости делались все разговорчивее. У Яши начали сладко слипаться глаза, и он чувствовал себя уже совсем хорошо.

– Что же, ну, пусть родитель выворачивается с Фотьянки... – рассуждал он, делая соответствующий жест. – Ну, выворотится, я ему напрямки и отрежу: так и так, был у Кожиных, видел сестрицу Федосью Родивоновну и всякое прочее... А там хоть на части режь...

– Он за баб примется, – говорил Мыльников, удушливо хихикая. – И достанется бабам... ах, как достанется! А ты, Яша, ко мне ночевать, к Тарасу Мыльникову. Никто пальцем не смеет тронуть... Вот это какое дело, Яша!

Когда гости нагрузились в достаточной мере, баушка Маремьяна выпроводила их довольно бесцеремонно. Что же, будет, посидели, выпили – надо и честь знать, да и дома ждут. Яша с трудом уселся в седло, а Мыльников занес уже половину своего пьяного тела на лошадиный круп, но вернулся, отвел в сторону Акинфия Назарыча и таинственно проговорил:

– Уж я все устрою, шурин... все!.. У меня, брат, Родивон Потапыч не отвертится... Я его приструню. А ты, Акинфий Назарыч, соблаговоли мне как-нибудь выросточек: у тебя их много, а я сапожки сошью. Ух, у меня ловко моя Окся орудует...

– Хорошо, хорошо... – соглашался «молодой». – Две кожи подарю. Сам привезу.

Гостей едва выпроводили. Феня горько плакала. Что-то там будет, когда воротится домой грозный тятенька?... А эти пьянчуги только ее срамят... И зачем приезжали, подумаешь: у обоих умок-то ребячий.

– Перестань убиваться-то, – ласково уговаривал жену Акинфий Назарыч. – Москва слезам не верит... Хорошая-то родня по хорошим, а наше уж такое с тобой счастье.

Яша и Мыльников возвращались домой в самом праздничном настроении и, миновав могильник, затянули даже песню:

Как сибирский енерал  
Да станowego обучал...

На тракту их опять обогнал целовальник Ермошка, возвращавшийся из города. С ним вместе ехал присковый доводчик Ераков. Оба были немного навеселе.

– Ох, два голубя, два сизых! – крикнул Ермошка, поровнявшись с верховыми. – Откедова бог несет?.. Подмокли малым делом...

– А тебе завидно? – огрызнулся Мыльников. – Кабацкая затычка и больше ничего.

Ермошка любил, когда его ругали, а чтобы потешиться, подстегнул лошадь веселых родственников, и они чуть не свалились вместе с седлом. Этот маленький эпизод несколько освежил их, и они опять запели во все горло про сибирского генерала. Только подъезжая к Балчуговскому заводу, Яша начал приходить в себя: хмель сразу вышибло. Он все чаще и чаще стал пробовать свой затылок...

– Который тепер час? – спрашивал он.

– А скоро, видно, три... Гляди, уж господа тепер чай пьют. А ты, друг, заедем наперво ко мне, а от меня... Знаешь, я тебя провожу. Боишься родителя-то?

– А ну его... Побьет еще, пожалуй.

– Н-но-о?..

– Верно тебе говорю.

Яшей овладело опять такое малодушие, что он рад был хоть на час отсрочить неизбежную судьбу. У него сохранился к деспоту-отцу какой-то панический страх... А вот и Балчуговский завод и широкая улица, на которой стояла проваленная избенка Тараса.

– Гли-ко, гли, Яша! – крикнул Мыльников, выглядывая из-за его спины. – У моих-то ворот кто сидит?

– И то как будто сидит.

– Да ведь это Шишка... Верное слово!.. Ах, раздуй его горой...

У ворот избы Тараса действительно сидел Кишкин, а рядом с ним Окся. Старик что-то расшутился и довольно галантно подталкивал свою даму локтем в бок. Окся сначала ухмылялась, показывая два ряда белых зубов, а потом, когда Кишкин попал локтем в непоказанное место, с быстротой обезьяны наотмашь ударила его кулаком в живот. Старик громко вскрикнул от этой любезности, схватившись за живот обеими руками, а развеселившаяся Окся треснула его еще раз по затылку и убежала.

– Ох-хо-хо! – заливался Мыльников, подъезжавший в этот трагический момент к своему пепелищу. – Вот так Окся: уважила Андрона Евстратыча... Ишь, разыгралась к ненастью! Ах, курва Окся, ловко она саданула...

V

Ожидание возвращения с Фотьянки «самого» в зыковском доме было ужасно. Сама Устинья Марковна чувствовала только одно, что у нее вперед и язык немеет и ноги подкашиваются. Что она будет говорить взбешенному мужу, когда сама кругом виновата и вовремя не досмотрела за дочерью? Понадеялась на девичью совесть... «Вековушка» Марья и замужняя Анна, конечно, останутся в стороне. Последняя, хотя и слабая, надежда у старухи была на мужиков – на пасынка Яшу и на зятя Прокопия. Она все поглядывала в окошко, не едет ли Яша. Вот уже стало и темнеться, значит, близко шести часов, а в семь свисток на фабрике, а к восьми выворотится Родион Потапыч и первым делом хватится своей Фени. Каждый стук на улице заставлял ее вздрагивать.

– Хоть бы Прокопий-то поскорее пришел, – вслух думала старушка, начинавшая сомневаться в благополучном исходе Яшиной засылки.

Вот загудел и свисток на фабрике. Под окнами затопали торопливо шагавшие с фабрики рабочие, – все торопились по домам, чтобы поскорее попасть в баню. Вот и зять Прокопий пришел.

– Нету ведь Яши-то, – шепотом сообщила ему Устинья Марковна. – С самого утра уехал... Что ему делать-то в Тайболе столько время?.. Думаю, не завернул ли Яша в кабак к Ермошке...

Прокопий ничего не ответил. Он закусил у печки вчерашнего пирога с капустой и пошел из избы.

– Ты куда, Прокопий? – окликнула его в ужасе Устинья Марковна.

– Я пойду Яшу искать, – ответил он, глядя в угол. – Куды мы без него? Некуда ему деться, кроме кабака.

И теща и жена отлично понимали, что Прокопий хочет скрыться от греха, пока Родион Потапыч будет производить над бабами суд и расправу, но ничего не сказали: что же, известное дело, зять... Всякому до себя.

– А что же в баню-то сегодня не пойдешь, что ли? – окликнула Прокопия уже на пороге вековушка Марья.

– Успеется и баня, – ответил Прокопий. – Пусть батюшка первым идет...

«Баннный день» справлялся у Зыковых по старине: прежде, когда не было зятя, первыми шли в баню старики, чтобы воспользоваться самым дорогим первым паром, за стариками шел Яша с женой, а после всех остальная чадь, то есть девки, которые вообще за людей не считались. С выходом Анны замуж «первый пар» был уступлен зятю, а потом шли старики. Убегавший теперь от первого пара Прокопий показывал свою полную нравственную несостоятельность, что и подчеркнула своим вопросом вековушка Марья. Она горько улыбнулась, когда захлопнулась дверь за Прокопием, и проворчала:

– Тоже, мужик называется... Оставил одних баб. Разве так настоящие-то мужики делают?..

– Молчи, Марья! – окликнула ее мать. – Ты бы вот завела своего мужика да и мудрила над ним... Не больно-то много ноне с зятя возьмешь, а наш Прокопий воды не замутит.

– У тебя нет лучше Прокопья, – ворчала Марья.

– Ты у меня поворчи! – крикнула мать. – Зубы-то долги стали...

За убогом Фени с Марьей точно что сделалось, и она постоянно приставала к матери, чего раньше и в помине не было.

Время летело быстро, и Устинья Марковна совсем упала духом: спасенья не было. В другой бы день, может, кто-нибудь вечером завернул, а на людях Родион Потапыч и укротился бы, но теперь об этом нечего было и думать: кто же пойдет в баннный день по чужим дворам. На всякий случай затеплила она лампадку пред скорбящей и положила перед образом три земных поклона.

Родион Потапыч явился на целых полчаса раньше, чем его ожидали. Его подвез какой-то попутный из Фотьянки.

– А где Феня? – спросил он по обыкновению, поднимаясь на крыльцо.

– В соседи увернулась, – ответила Устинья Марковна, ни живая ни мертвая от страху.

– Не нашла время...

Старик вошел в избу, снял с себя шубу, поставил в передний угол железную кружку с золотом, добыл из-за пазухи завернутый в бумагу динамит и потом уже помолился.

– Это на какую причину лампадка теплится? – спросил он.

– А воскресенье завтра, Родивон Потапыч... Банька готова, хоть сейчас можно идти.

– А Прокопий когда успел в баню сходить?

– Да он потом, Родивон Потапыч, он тоже увернулся по делу.

– Порядков не знаете?! – крикнул старик и топнул ногой. – Ты у меня смотри, потатчица...

Он сразу почуял что-то неладное и грозно посмотрел на трепетавшую старуху, потом хотел что-то сказать, но в этот критический момент под самым окном раздалась пьяная песня:

Как сибирский енерал  
Да ста-анового о-бучал!..

Устинья Марковна так и обомлела: она сразу узнала голос пьяного Яши... Не успела она опомниться, как пьяные голоса уже послышались во дворе, а потом грузный топот шарашавшихся ног на крыльце.

– Батюшки, да никак и Тарас с ним! – охнула Устинья Марковна, опрометью бросаясь из избы, чтобы прогнать пьяниц.

Но было уже поздно. Тарас и Яша входили в избу, подталкивая друг друга и придерживаясь за косяки.

– Родителю... многая лета... – бормотал Мыльников, как-то сдирая шапку с головы. – А мы вот с Яшей, значит, тово... Да ты говори, Яша!

Родион Потапыч точно онемел: он не ожидал такой отчаянной дерзости ни от Яши, ни от зятя. Пьяные, как стельки, и лезут с мокрым рылом прямо в избу... Предчувствие чего-то дурного остановило Родиона Потапыча от надлежащей меры, хотя он уже и приготовил руки.

– Так мы, значит, из Тайболы... – объяснил Мыльников, тыкая шапкой вперед. – От Федосьи Родивоновны поклончик привезли.

– От какой Федосьи Родивоновны? – повторил старик, чувствуя, как у него волосы поднимаются дыбом. – Да вы сбесились, оглашенные?.. Да я...

– А ты не больно, родитель, тово... – неожиданно заявил насмелившийся Яша. – Не наша причина с Тарасом, ежели Феня тово... убежала, значит, в Тайболу. Мы ее как домой тасили, а она свое... Одним словом, дура.

Тут уже Устинья Марковна не вытерпела и комом повалилась в ноги грозному мужу, причитая:

– Уж и что мы наделали!.. Феня-то сбежала в Тайболу... за кержака, за Акиньку Кожина... Третий день пошел...

Зыков зашатался на месте, рванул себя за седую бороду и рухнул на деревянный диван. Старуха подползла к нему и с причитаньями ухватилась за ногу, но он грубо оттолкнул ее.

– Да вы... вы одурели тут все без меня? – хрипло крикнул он, все еще не веря собственным ушам. – Да я вас... Яшка, вон!.. Чтобы и духу твоего не осталось!

– А ты не больно, родитель, тово... – дерзко ответил Яша.

– Что-о?!

– А вот это самое... Будет тебе надо мной измываться. Вполне даже достаточно... Пора мне и своим умом жить... Выдели меня, и конец тому делу. Купи мне избу, лошадь, коровенку, ну обзаведение, а там я сам...

– Правильно, Яша! – поощрял Мыльников. – У меня в суседах место продается, первый сорт. Я его сам для себя берег, а тебе, уж так и быть, уступаю...

Старик рванулся с места, схватил Яшу левой рукой, зятя правой и вытолкнул их за дверь.

– Да ты не больно!.. – кричал Мыльников уже в сенях. – Ишь какой выискался... Мы тоже и сами с усами!.. Айда, Яша, со мной...

В этот момент выскочила из задней избы Наташа и ухватила отца за руку, да так и повисла.

– Тятя, родимый!.. Я боюсь!.. Тятя!..

– Ну, вот... – проговорил Яша таким покорным тоном, как человек, который попал в капкан. – Ну что я теперь буду делать, Тарас? Наташка, отцепись, глупая...

– Тятенька, миленький...

Яша сразу обессилел: он совсем забыл про существование Наташки и сынишки Пети. Куда он с ними денется, ежели родитель выгонит на улицу?.. Пока большие бабы судили да ряздили, Наташка не принимала в этом никакого участия. Она пестовала своего братишку



смирненько где-нибудь в уголке, как и следует сироте, и все ждала, когда вернется отец. Когда в передней избе поднялся крик, у ней тряслись руки и ноги.

– Наташка, перестань... Брось... – уговаривал ее Мыльников. – Не смущай своего родителя... Вишь, как он сразу укротился. Яша, что же это ты в самом-то деле?... По первому разу и испугался родителей...

– И ты тоже хорош, – корил Яша своего сообщника. – Только языком здря болтаешь... Ступай-ка вот, поговори с тестем-то.

Мыльников презрительно фыркнул на малодушного Яшу и смело отворил дверь в переднюю избу. Там шел суд. Родион Потапыч сидел по-прежнему на диване, а Устинья Марковна, стоя на коленях, во всех подробностях рассказывала, как все вышло. Когда она начинала всхлипать, старик грозно сдвигал брови и топал на нее ногой. Появление Мыльникова нарушило это супружеское объяснение.

– Ты... ты зачем? – грозно спрашивал его старик.

– А дело есть, Родивон Потапыч... Ты вот Тараса Мыльникова в шею, а Тарас Мыльников к тебе же с добром, с хорошим словом.

– Говори скорее, коли дело есть, а то проваливай, кабацкая затычка...

– И не маленькое дельце, Родивон Потапыч, только пусть любезная наша теща Устинья Марковна как быдто выдет из избы. Женскому полу это не следует и понимать...

Зыков сделал знак глазами, и любезная теща уплелась из избы, благославляя на этот раз заблудящего и отпетого зятя.

– Дело-то самое короткое, Родивон Потапыч... Шишка-то был у тебя на Фотьянке?

– Ну, был...

– Опрашивал он тебя касаясь допрежних времен и казенной работы?

– Пустой он человек. Болтал разное...

– Ну, так слушай... Ты вот Тараса за дурака считал и на порог не пускал...

– Да не болтай глупостей, шалая голова!.. Не люблю...

– Донос Шишка пишет, вот что! – точно выстрелил Тарас. – О казенной работе, как золото воровали на промыслах. Все пишет. Сегодня меня подговаривал... Значит, как я в те поры на Фотьянке в шорниках состоял, ну, так он и меня записал. Анжинеров Шишка хочет под суд упечь, потому как очень ему теперь обидно, что они живут да радуются, а он дыра в горсти. Слышь, и тебя в главные свидетели запытил, и фотьянских штегеров, и балчуговских, всех в один узел хочет завязать. Вот он каков человек есть, значит, Шишка. Прямо так и говорит: «Всех в Сибирь упеку».

– Не пойму я тебя, Тарас, – сурово проговорил старик. – А ты садись, да и рассказывай толком...

Мыльников с важностью присел к столу и рассказал все по порядку: как они поехали в Тайболу, как по дороге нагнали Кишкина, как потом Кишкин дожидался их у его избышки.

– Сперва-то он издадека речь завел, – рассказывал Мыльников. – Насчет Кедровской казенной дачи, что она выходит на волю и что всякий там может работать... Известно, соблазнял, а потом и подсыпался: «Ты, Тарас Матвейч, ходил в шорниках на Фотьянке? Можешь себя обозначить, ежели я в свидетели поставлю, как анжинеры золото воровали?..» И пошел. Золото, грит, у старателей скупали по одному рублю двадцати копеек за золотник, а в казну его записывали по четыре да по пяти цалковых. И пошел, и пошел... И нынешнюю, грит, кампанию заодно подведу, потому, грит, мне заодно пропадать. Вот он каков человек есть, Шишка этот. Самый зловредный выходит...

– Ну, а еще-то что?

– Да все тут... А ежели относительно сестрицы Федосьи Родивоновны, то могу тоже соответствовать вполне.

– Ну, это не твоего ума дело! Убирайся...

– Только и всего?

– Достаточно по твоему великому уму... И Шишка дурак, что с таким худым решетом, как ты, связывается!..

– Ну и дал бог родню! – ругался Мыльников, хлопая дверью.

Выгнав из избы дорогого зятя, старик долго ходил из угла в угол, а потом велел позвать Якова. Тот сидел в задней избе рядом с Наташей, которая держала отца за руку.

– Ты это что за модель выдумал... а?! – грозно встретил Родион Потапыч непокорное детище. – Кто в доме хозяин?.. Какие ты слова сейчас выражал отцу? С кем связался-то?.. Ну, чего березовым пнем уставился?

– Из твоей воли, тятенька, я не выхожу, – упрямо заявил Яша, сторонясь, когда отец подходил слишком близко. – А желаю выдел получить...

– Какой тебе выдел, полоумная башка?.. Выгоню на улицу, в чем мать родила, вот и выдел тебе. По миру пойдешь с ребятами...

– А уж что бог даст... Получше нас с тобой, может, с сумой в другой раз ходят. А что касаемо выдела, так уж как волостные старички рассудят, так тому и быть.

Родион Потапыч с ужасом посмотрел на строптивца, хотел что-то сказать, но только махнул рукой и бессильно опустился на диван.

– Пора мне и свой угол завести, – продолжал Яша. – Вот по весне выйдет на волю Кедровская дача, так надо не упустить случая... Все кинется туда, ну и мы сговорились.

– Что-о?..

– Сговорились, говорю. Своя у нас канпания: значит, зять Тарас Матвеевич, я, Кишкин...

– Вот так канпания! – охнул Родион Потапыч. – Всех вас, дураков, на одно лыко связать да в воду... Ха-ха!..

Старик редко даже улыбался, а как он хохочет – Яша слышал в первый раз. Ему вдруг сделалось так страшно, так страшно, как еще никогда не было, а ноги сами подкашивались. Родион Потапыч смотрел на него и продолжал хохотать. Спрятавшаяся за печь Устинья Марковна торопливо крестилась: трехнулся старик...

– Так канпания? А? – спрашивал Родион Потапыч, делая передышку. – Кедровская дача на волю выйдет? Богачами захотели сделаться... а?..

– Уж это кому какие бог счастья пошлет...

– Хорошо, я тебе покажу Кедровскую дачу. Ступай, оболокайся...

Когда Яша с привычной покорностью вышел, из-за печи показалось испуганное лицо Устиньи Марковны.

– Как же насчет Фени-то?.. – шептала она побелевшими от страха губами. – Слезьми, слышь, изошла...

Старик посмотрел на жену, повернулся к образу и, подняв руку, проговорил:

– Будь она от меня проклята...

Устинья Марковна так и замерла на месте. Она всего ожидала от рассерженного мужа, но только не проклятия. В первую минуту она даже не сообразила, что случилось, а когда Родион Потапыч надел шубу и пошел из избы, бросилась за ним.

– Родион Потапыч, опомнись!.. Родной...

Но он уже спускался по лесенке, а за ним покорно шел Яша.

## VI

Родион Потапыч вышел на улицу и повернул вправо, к церкви. Яша покорно следовал за ним на приличном расстоянии. От церкви старик спустился под горку на плотину, под которой горбился деревянный корпус толчеи и промывальни. Сейчас за плотиной направо стоял ярко освещенный господский дом, к которому Родион Потапыч и повернул. Было уже поздно, часов девять вечера, но дело было неотложное, и старик смело вошел в настезь открытые ворота на широкий господский двор.

– Степан Романых дома? – сурово спросил он стоявшего на крыльце лакея Ганьку.

– У них гости... – с лакейской дерзостью ответил Ганька и даже заслонил дверь своей лакейской особой. – К нам нельзя-с...

– Дурак! – обругал старик, отталкивая Ганьку. – А ты, Яшка, подождешь меня здесь!..

Господский дом на Низах был построен еще в казенное время, по общему типу построек времен Аракчеева: с фронтоном, белыми колоннами, мезонином, галереей и подъездом во дворе. Кругом шли пристройки: кухня, людская, кучерская и т. д. Построек было много, а еще больше неудобств, хотя главный управляющий Балчуговских золотых промыслов Станислав Раймундович Карачунский и жил старым холостяком. Рабочие перекрестили его в Степана Романыха. Он служил на промыслах уже лет двенадцать и давно был своим человеком.

В большой передней всех гостей встречали охотничьи собаки, и Родион Потапыч каждый раз морщился, потому что питал какое-то органическое отвращение к псу вообще. На его счастье вышла смазливая горничная в кокетливом белом переднике и отогнала обнюхивавших гостя собак.

– У них гости... – шепотом заявила она, как и Ганька. – Анжинер Оников да лесничий Штамм...

Доносившийся из кабинета молодой хохот не говорил о серьезных занятиях, и Зыков велел доложить о себе.

– Сурьезное дело есть... Так и скажи, – наказывал он с обычной внушительностью. – Не задержу...

Горничная посмотрела на позднего гостя еще раз и, приподняв плечи, вошла в кабинет. Скоро послышались легкие и быстрые шаги самого хозяина. Это был высокий, бодрый и очень красивый старик, ходивший танцующим шагом, как ходят щеголи-поляки. Волнистые волосы снежной белизны были откинuty назад, а великолепная седая борода, закрывавшая всю грудь, эффектно выделялась на черном бархатном жакете. Карачунский был отчаянный фронт, настоящий идол замужних женщин и необыкновенно веселый человек. Он всегда улыбался, всегда шутил и шутя прожил всю жизнь. Таких счастливых остается немного.

– Ну что, дедушка? – весело проговорил Карачунский, хлопая Зыкова по плечу. – Шахту, видно, опустил?..

– С нами крестная сила! – охнул Родион Потапыч и даже перекрестился. – Уж только и скажешь словечко, Степан Романых...

– Что же, этого нужно ждать: на Спасо-Колчеданской шахте красик пошел, значит, и вода близко... Помнишь, как Шишкаревскую шахту опустили? Ну, и с этой то же будет...

– Может, и будет, да говорить-то об этом не след, Степан Романых, – нравоучительно заметил старик. – Не таковское это дело...

– А что?

– Да так... Не любит она, шахта, когда здря про нее начнут говорить. Уж я замечал... Вот когда приезжают посмотреть работы, да особенно который гость похвалит – нет того хуже.

– Сглазить шахту можно?.. – засмеялся Карачунский. – Ну, бог с ней...

Зыков переминался с ноги на ногу, косясь на стоявшую в зале горничную. Карачунский сделал ей знак уйти.

– Что, разве чай будем пить, дедушка? – весело проговорил он. – Что мы будем в передней-то стоять... Проходи.

– Ох, не до чаю мне, Степан Романых...

Оглядевшись еще раз, старик проговорил упавшим голосом, в котором слышались слезы:

– К твоей милости пришел, Степан Романых... Не откажи, будь отцом родным! На тебя вся надежда...

С последними словами он повалился в ноги. Неожиданность этого маневра заставила растеряться даже Карачунского.

– Дедушка, что ты... Дедушка, нехорошо!.. – бормотал он, стараясь поднять Родиона Потапыча на ноги. – Разве можно так?..

– Парня я к тебе привел, Степан Романыч... Совсем от рук отбился малый: сладу не стало. Так я тово... Будь отцом родным...

– Какого парня, дедушка?

– Да Яшку моего беспутного...

– Ах, да... Ну, так что же я могу сделать?

– Окажи божецкую милость, Степан Романыч, прикажи его, варнака, на конюшне отодрать... Он на дворе ждет.

Карачунский даже отступил, стараясь припомнить, нет ли у Зыкова другого сына.

– Да ведь он уже седой, твой-то парень? Ему уж под шестьдесят?

– Вот то-то и горе, что седой, а дурит... Надо из него вышибить эту самую дурь. Прикажи отправить его на конюшню...

Зыков опять повалился в ноги, а Карачунский не мог удержаться и звонко расхохотался. Что же это такое? «Парнишке» шестьдесят лет, и вдруг его драть... На хохот из кабинета показались горный инженер Оников, бесцветный молодой человек в форменной тужурке, и тощий носатый лесничий Штамм.

– Вот не угодно ли? – обратился к ним Карачунский, делая отчаянное усилие, чтобы не расхохотаться снова. – Парнишку хочет сечь, а парнишке шестьдесят лет... Нет, дедушка, это не годится. А позови его сюда, может быть, я вас помирю как-нибудь.

– Нет, уж это ты оставь, Степан Романыч: не стоит он, поганец, чтобы в чистые комнаты его пушали. Одна гадость. Так нельзя, Степан Романыч?

– Я не имею права, да и никто другой тоже.

– Ну, все равно, я его в волости отдеру. Мочи не стало с ним, совсем от рук отбился.

Гости Карачунского из уважения к знаменитому «приисковому дедушке» только переглядывались, а хохотать не смели, хотя у Оникова уже морщился нос и вздрагивала верхняя губа, покрытая белобрсыми усами.

– Вот что, дедушка, снимай шубу да пойдем чай пить, – заговорил Карачунский. – Мне тоже необходимо с тобой поговорить.

Пить чай в господском доме для Родиона Потапыча составляло всегда настоящую муку, но отказаться он не смел и покорно снял шубу.

Карачунский повел его прямо в столовую. Родион Потапыч ступал своими большими сапогами по налощенному полу с такой осторожностью, точно боялся что-то пролить. Столовая была обставлена с настоящим шиком: стены под дуб, дубовый массивный буфет с резными украшениями, дубовая мебель, поставец и т. д. Чай разливал сам хозяин. Зыков присел на кончик стула и весь вытянулся.

– Расскажи сначала, дедушка, что у тебя с сыном вышло, – заговорил Карачунский, стараясь смягчить давешний неуместный хохот. – Чем он тебя обидел?

– А за его качества... – сурово ответил Родион Потапыч, хмуря седые брови. – Вот за это за самое.

Налив чай на блюдечко, старик не торопясь рассказал про все подвиги Яши, как он приехал пьяный с Мыльниковым, как начал «зубить» и требовать выдела.

– А главная причина – донял он меня Кедровской дачей, – закончил Родион Потапыч свою повесть. – В старатели хочет идти с зятешкой да с Кишкиным.

– Кишкин? Это тот самый, который дело затевает?

– Вот я и хотел рассказать все по порядку, Степан Романыч, потому как Кишкин меня в свидетели хочет выставить... Забегал он ко мне как-то на Фотьянку и все выпытывал про старое, а я догадался, что он неспроста, и ничего ему не сказал. Увертлив пес.

– А я только сегодня узнал, дедушка: и до глухого вести дошли. Вон Оников слышал на фабрике... Все болтают про Кишкина.

– Пустой человек, – коротко решил Зыков. – Ничего из того не будет, да и дело прошлое... Тоже и в живых немного уж осталось, кто после воли на казну робил. На

Фотьянке найдутся двое-трое, да в Балчуговском десяток.

– А если тебя под присягой будут спрашивать?

– Ничего я не знаю, Степан Романыч... Вот хоша и сейчас взять: я и на шахтах, я и на Фотьянке, а конторское дело опричь меня делается. Работы были такие же и раньше, как сейчас. Все одно... А потом пугал еще меня Кишкин вольными работами в Кедровской даче. Обложат, грит, ваши промысла приисками, будут скупать ваше золото, а запишут в свои книги. Это-то он резонно говорит, Степан Романыч. Греха не оберешься.

– Ничего, все это пустяки... – отшучивался Карачурский. – Мелкие золотопромышленники будут скупать наше золото, а мы будем скупать ихнее. Набавим цену – и вся недолга.

– Было бы из чего набавлять, Степан Романыч, – строго заметил Зыков. – Им сколько угодно дай – все возьмут... Я только одному дивлюсь, что это вышнее начальство смотрит?.. Департаменты-то на что налажены? Все дача была казенная и вдруг будет вольная. Какой же это порядок?.. Изроют старатели всю Кедровскую дачу, как свиньи, растащат все золото, а потом и бросят все... Казенного добра жаль.

– Да ты что так о чужом добре плачешься, дедушка? – в шутовском тоне заговорил Карачунский, ласково хлопая Родиона Потапыча по плечу. – У казны еще много останется от нас с тобой...

Эта шутка задела Родиона Потапыча за живое, и он посмотрел с укоризной на веселого хозяина.

– Как же это так, Степан Романыч?.. – бормотал он. – Все мы от казны хлеб едим... Казна – всему голова... Да ежели бы старое-то горное начальство поднялось из земли да посмотрело на нынешние порядки, – господа, да что же это такое делается? Точно во сне... Да недалеко ходить, вот покойничек, родитель Александра Иваныча (старик указал глазами на О니кова), Иван Герасимыч, бывало, только еще выезжает вот из этого самого дома на работы, а уж на Фотьянке все знают... А как приехал – все в струнку, не дышат, а Иван Герасимыч орлом на всех, и пошла работа. По два воза розог перед работой привозили, а без этого и работы не начинали... Вот какие настоящие-то начальники были, Степан Романыч! А инженер Телятников?.. Тот из собственных рук: ка-ак развернется, ка-ак ахнет по скуле... Любимая поговорка у Телятникова была: «Делай мое неладно, а свое ладно забудь!» Телятникова все до смерти боялись... Как-то раз один служащий, – повытчики еще тогда были, – повытчик Мокрушин, седой уж старик, до пенсии ему оставалось две недели, выпил грешным делом на именинах, да пьяненький и попадись Телятникову на глаза. «Зайди, – говорит, – дедушка, ко мне...» Это, значит, Телятников говорит. У Мокрушина, обыкновенно, душа в пятки. Приходит, Телятников и говорит: «Выбирай из любых – или я тебя сейчас со службы прогоню и пенсии ты лишишься, или выпорю». Ну, старик плакать, в ноги, на коленках ползает за Телятниковым. Другой бы и смиловался, а Телятников достиг своего и отодрал служащего... Только пенсии-то Мокрушин все-таки не получил: помер через три дня. Вот какие начальники были, Степан Романыч: отца родного для казны не пожалеют. Отцы были... Да ежели бы они узнали, что теперь замышляют с Кедровской дачей, – косточки бы ихние в могилках перевернулись.

Карачунский слушал и весело смеялся: его всегда забавлял этот фанатик казенного приискового дела. Старик весь был в прошлом, в том жестоком прошлом, когда казенное золото добывалось шпицрутенами. Оников молчал. Немец Штамм нарушил наступившую паузу хладнокровным замечанием:

– Будем посмотреть, дедушка...

– Что это я сижу-то, – спохватился Родион Потапыч. – Меня ведь парень-то ждет во дворе.

– Оставь, дедушка, – вступился Карачунский. – Мало ли что бывает: не всякое лыко в строку...

– Никак невозможно, Степан Романыч!.. Словечко бы мне с тобой еще надо сказать...

Карачунский проводил старика до передней, и там Родион Потапыч поведал свое домашнее горе относительно сбежавшей Фени.

– Это которая? – припоминал Карачунский. – Одна с серыми глазами была...

– Вот эта самая, Степан Романыч... Самая, значит, младшая она у меня в семье. Души я в ней не чаял.

– Да, действительно, неприятный случай... – тянул Карачунский, закусывая себе бороду.

– Что же я теперь должен делать?

– Гм... да... Что же, в самом деле, делать? – соображал Карачунский, быстро вскидывая глаза: эта романическая история его заинтриговала. – Собственно говоря, теперь уж ничего нельзя поделывать... Когда Феня ушла?

– Да уж четвертые сутки... Вот я и хотел попросить тебя, Степан Романыч, яви ты божескую милость, вороти девку... Парня ежели не хотел отодрать, ну, бог с тобой, а девку вороти. Служил я на промыслах верой и правдой шестьдесят лет, заслужил же хоть что-нибудь? Цепному псу и то косточку бросают...

– Ах, дедушка, как это ты не поймешь, что я ничего не могу сделать!.. – взмолился Карачунский. – Уж для тебя-то я все бы сделал.

– Парня я выдеру сам в волости, а вот девку-то выворотить... Главная причина – вера у Кожиных другая. Грех великий я на душу приму, ежели оставлю это дело так...

– Ну, хорошо, воротишь, а потом что? Снова девушкой от этого она ведь не сделается и будет ни девка, ни баба.

– У нас есть своя поговорка мужицкая, Степан Романыч: тем море не испоганилось, что пес налкал... Сама виновата, ежели не умела правильной девицей прожить.

– Сколько ей лет?

– Да в спажинки девятнадцатый год пошел.

– Нельзя воротить: совершеннолетняя...

– Как же, значит, я родной отец и вдруг не могу? Совершеннолетняя-то она двадцати одного будет... Нет, это не таковское дело, Степан Романыч, чтобы потакать.

– Что же, пожалуй, я могу съездить в Тайболу, – предложил Карачунский, чтобы хоть чем-нибудь угодить старику. – Только едва ли будет успех... Или приглашу Кожина сюда. Я его знаю немного.

Зыков махнул рукой.

– Ежели бы жив был Иван Герасимыч, – со вздохом проговорил он, – да, кажется, из земли бы вырыли девку. Отошло, видно, времечко... Прости на глупом слове, Степан Романыч. Придется уж; видно, через волость.

– Ничего не могу поделывать! – уверял Карачунский.

Старик так и ушел, уверенный, что управляющий не хотел ничего сделать для него. Как же, главный управляющий всех Балчуговских промыслов и вдруг не может отодрать Яшку?.. Своего блудного сына Зыков нашел у подъезда. Яша присел на последнюю ступеньку лестницы, положив голову на руки, и спал самым невинным образом. Отец разбудил его пинком и строго проговорил:

– Вставай, варнак! Ужо, завтра я тебе в волости покажу, какая Кедровская дача бывает...

## VII

Золотопромышленная компания «Генерал Мансветов и К®» имела громадную силу и совершенно исключительные полномочия. Кто такой этот генерал Мансветов, откуда он взялся, какими путями он вложился в такое громадное дело – едва ли знал и сам главный управляющий Карачунский. Это был генерал-невидимка, хотя его именем и вершились миллионные дела. Самая компания возникла на развалинах упраздненных казенных работ, унаследовав от них всю организацию, штат служащих, рабочих и территорию в пятьдесят квадратных верст. Ограничивающим условием при передаче громадных промыслов в частные руки было только одно, именно, чтобы компания главным образом вела разработку жильного золота, покрывая неизбежные убытки в таком рискованном деле доходами с россыпного золота. Затем существовала какая-то подать в пользу казны с добытого пуда, но какая – этого тоже никто не знал, как и генерала Мансветова, никогда не бывавшего на своих промыслах.

Балчуговская дача была усыпана золотом и давала миллионные дивиденды. Пока разведано было меньше половины всего пространства, а остальное служило резервом. Всего удивительнее было то, что в эту дачу попали, кроме казенных земель, и крестьянские, как принадлежавшие жителям Тайболы. Но главная сила промыслов заключалась в том, что в них было заперто рабочее промышленное население с лишком в десять тысяч человек, именно сам Балчуговский завод и Фотьянка. Рабочие не имели даже собственного выгона, не имели усадеб, – тем и другим они пользовались от компании условно, пока находившаяся под выгоном и усадьбами земля не была надобна для работ. Это совершенно исключительное положение создало натянутые отношения между компанией и местным промышленным населением. Полное безземелье отдавало рабочих в бесконтрольное распоряжение компании, – она могла делать с ними, что хотела, тем более что все население рядом поколений выросло специально на золотом деле, а это клало на всех неизгладимую печать. Промысловый человек – совершенно особенный, и, куда вы его ни сунете, он везде будет бредить золотом и легкой наживой. Это была та узда, которой можно было сдерживать рабочую массу, и этим особенно умел пользоваться Карачунский; он постоянно манил рабочих отрядными работами, которые давали известную самостоятельность, а главное, открывали вечно недостижимую надежду легкого и быстрого обогащения. С ловкостью настоящего дипломата он умел обходить этим окольным путем самые больные места, хотя и вызывал строгий ропот таких фанатиков компанийских интересов, как старейший на промыслах штейгер Зыков. Правда, что население давно вело упорную тяжбу с компанией из-за земли, посылало жалобы во все щели и дыры административной машины, подавало прошения, засылало ходяков, но шел год за годом, а решения на землю не выходило. Когда поднимался вопрос о недоимках, всплывало и дело о размежевании. Непременный член по крестьянским делам выбивался из сил и ничего не мог поделывать: рабочие стояли на своем, компания на своем. А недоимки росли с каждым годом все больше, потому что народ бедствовал серьезно, хотя и привык уже давно ко всяким бедствиям. Кричали на сходках больше молодые, которые выросли уже после воли.

Карачунский явился главным управляющим Балчуговских промыслов с критического момента перехода их от казны в руки компании. Это происходило в начале семидесятых годов. Громадное дело было доведено горными инженерами от казны до полного расстройств, так что новому управляющему пришлось всеми способами и средствами замазывать чужие грехи, чтобы не поднимать скандала. Карачунский в принципе был враг всевозможных репрессий и предпочитал всему те полумеры, уступки и сделки, которыми только и поддерживалось такое сложное дело. По наружному виду, приемам и привычкам это был самый заурядный бонвиван и даже немножко мышинный жеребчик, и никто на промыслах не поверил бы, что Карачунский что-нибудь смыслит в промышленном деле и что он когда-нибудь работал. Но такое мнение было несправедливо: Карачунский отлично знал дело и обладал величайшим секретом работать незаметно. Есть такие особенные люди, которые целую жизнь гору воротят, а их считают чуть не шалопаями. Весь секрет заключался в том, что Карачунский никогда не стонал, что завален работой по горло, как это делают все другие, потом он умел распорядиться своим временем и, главное, всегда имел такой беспечный, улыбающийся вид. Даже сам Родион Потапыч не понимал своего главного начальника и если относился к нему с уважением, то исключительно только по традиции, потому что не мог не уважать начальства. Старик не понял и того, как неприятно было Карачунскому узнать о затеях и кознях какого-то Кишкина, – в глазах Карачунского это дело было гораздо серьезнее, чем полагал тот же Родион Потапыч. Вообще неожиданно заваривалась одна из тех историй, о которых никто не думал сначала как о деле серьезном: бывают такие сложные болезни, которые начинаются с какой-нибудь ничтожной царапины или еще более ничтожного прыща.

Когда вечером старик Зыков ушел, Карачунский долго ходил по столовой, насвистывая какой-то игривый опереточный мотив.

– Вы знаете этого... этого Кишкина? – обратился он неожиданно к Оникову.

– Что-то такое слышал... – небрежно ответил молодой человек. – Даже, кажется, где-то видал: этакий гнусный сморчок. Да, да... Когда отец служил в Балчуговском заводе, я еще мальчишкой дразнил его Шишкой. У него такая кличка... Вообще что-то такое маленькое, ничтожное и... гнусное...

Карачунский издал неопределенный звук и опять засвистал. Штамм сидел уже битых часа три и молчал самым возмутительным образом. Его присутствие всегда раздражало Карачунского и доводило до молчаливого бешенства. Если бы он мог, то завтра же выгнал бы

и Штамма и этого молокососа Оникова, как людей, совершенно ему ненужных, но навязанных сильными покровителями. У Оникова были сильные связи в горном мире, а Штамм явился прямо от Мансветова, которому приходился даже какой-то родней.

– А вы как думаете, Карл Иванович? – обратился к немцу Карачунский.

– Что я думаю? – ответил немец вопросом. – Я думаю, что будем посмотреть...

«Вот два дурака навязались!» – со злостью думал Карачунский, продолжая шагать.

Утром на другой день Карачунский послал в Тайболу за Кожиным и запиской просил его приехать по важному делу вместе с женой. Кожин поставлял одно время на золотопромывальную фабрику ремни, и Карачунский хорошо его знал. Посланный вернулся, пока Карачунский совершал свой утренний туалет, отнимавший у него по меньшей мере час. Он каждое утро принимал холодную ванну, подстригал бороду, протирался косметиками, чистил ногти и внимательно изучал свое розовое лицо в зеркале.

– Сейчас будут-с, – докладывал Ганька, ездивший в Тайболу нарочным.

Действительно, когда Карачунский пил свой утренний какао, к господскому дому подкатила новенькая кошевка. Кожин правил сам своей бойкой лошадкой, обряженной в наборную сбрую. Феня ужасно смущалась своего первого визита с мужем в Балчуговский завод и надвинула новенький шерстяной платок на самые глаза. Привязав лошадь к столбу на дворе, Кожин пошел с женой на крыльцо, где их уже ждал Ганька. Сам Карачунский встретил их в передней, а потом провел в кабинет. Феня окончательно сконфузилась и не смела поднять глаз.

– Вчера у меня был Родион Потапыч, – заговорил Карачунский без предисловий. – Он ужасно огорчен и просил меня... Одним словом, вам нужно помириться со стариком. Я не впутался бы в это дело, если бы не уважал Родиона Потапыча... Это такой почтенный старик, единственный в своем роде.

– Что же, мы всегда готовы помириться... – бойко ответил Кожин, встряхивая напомаженными волосами. – Только из этого ничего не выйдет, Степан Романыч: характерный старик, ни в какой ступе не утолчешь...

– Все-таки надо помириться... Старик совсем убит.

– И помирились бы в лучшем виде, ежели бы не наша вера, Степан Романыч... Все и горе в этом. Разве бы я стал брать Феню убегом, кабы не наша старая вера.

– Да... это действительно... Как же быть-то Акинфий Назарыч? Старик грозился повести дело судом...

– А уж что бог даст, – решительно ответил Кожин. – По моему рассуждению так, что, конечно, старику обидно, а судом дело не поправишь... Утихомирится, даст бог.

Феня все время молчала, а тут не выдержала и зарыдала. Карачунский сам подал ей стакан холодной воды и даже принес флакон с какими-то крепкими духами.

– Ничего, все устроится помаленьку, – утешал Карачунский, невольно любясь этим молодым, красивым лицом.

Это молодое горе было так искренне, а заплаканные девичьи глаза смотрели на Карачунского с такой умоляющей наивностью, что он не выдержал и проговорил:

– Хорошо, я постараюсь все это устроить... только для вас, Федосья Родионовна.

– Что же ты не благодаришь Степана Романыча? – говорил Кожин, подталкивая растерявшуюся жену локтем. – Они весьма нам могут способствовать...

– Не нужно, не нужно... – отстранил благодарность Карачунский, когда Феня сделала движение поцеловать у него руку. – Для такой красавицы можно и без благодарностей сделать все.

Когда Кожин уезжали, Карачунский стоял у окна и проводил их глазами за ворота. Насвистывая свой опереточный мотив и барабаня пальцами по оконному стеклу, он думал в таком порядке: почему женщина всегда изящнее мужчины, и где тайна этой неотразимой женской прелести? Взять хоть ту же Феню, какая она красавица... Раньше он видел ее мельком у отца, но не обратил внимания. И такая красавица родится у какого-нибудь Родиона Потапыча!.. Удивительно!.. А еще удивительнее то, что такая свежая, благоухающая красота



достанется в руки какому-нибудь вахлаку Кожину. Это просто несправедливо. В голове Карачунского зародились ревнивые мысли по адресу Фени, и он даже вздохнул. Вот и седые волосы у него, а сердце все молодо, да еще как молодо... Разве Кожины понимают, как нужно любить хорошенькую женщину? Карачунский сделал даже гримасу и щелкнул пальцами.

Чтобы немного проветриться, Карачунский отправился на золотопромывальную фабрику, работавшую и по праздникам ввиду спешки. За зиму накопилось много работы. Весь двор был завален кучками золотоносного кварца, добытого рабочими. Фабрика не успевала истолочь его и промыть, а рабочим приходилось ждать очереди по месяцам, что вызывало ропот и недовольство. С внешней стороны золотопромывальня представляла собой очень неказистый вид. На месте бывшего каторжного винокуренного завода сейчас стояло всего два деревянных корпуса. В одном работала толчея, а в другом совершалась промывка измельченного кварца на шлюзах, покрытых медными амальгамированными ртутью листами. В первом корпусе работала небольшая паровая машина, так как воды в заводском пруде не хватало и на ползимы. Вообще обстановка самая жалкая, не имевшая в себе ничего импонирующего. Эта несчастная фабрика постоянно возмущала Карачунского своим убожеством, и он мечтал о грандиозном деле. Но что поделаешь, когда и тут приходилось только сводить концы с концами, потому что компания требовала только дивидендов и больше ничего знать не хотела, да и главная сила Балчуговских промыслов заключалась не в жильном золоте, а в россыпном.

На фабрике Карачунский нашел все в порядке. Паровая машина работала, толчея гремела своими пестами, в промывальне шла промывка. Всех рабочих «обращалось» на заводе едва пятьдесят человек в две смены: одна выходила в ночь, другая днем. На «пьяном дворе» Карачунский осмотрел кучки добытого старателями кварца и только покачал головой. Хорошего ничего не оказывалось, за исключением одной кучки из Ульянова кряжа, за Фотьянкой. Здесь Карачунский встретил к своему удивлению Родиона Потапыча. Старик сидел у кучки кварца на корточках и внимательно рассматривал отдельные куски.

– Ну, дедушка, что новенького?

– Да так, из-за хлеба на воду старатели добывают... – угрюмо отвечал Зыков, швыряя куски кварца в кучу.

Карачунский осмотрел эту кучку и понял, что старик не хочет выдать новой находки. Какой-то неизвестный старатель из Фотьянки отыскал в Ульяновском кряже хорошую жилу.

С «пьяного двора» они вместе прошли на толчею. Карачунский велел при себе сейчас же произвести протолчку заинтересовавшей его кучки кварца. Родион Потапыч все время хмурился и молчал. Кварц был доставлен в ручном вагончике и засыпан в толчею. Карачунский присел на верстак и, закурив папиросу, прислушивался к громухавшим пестам. На других золотых промыслах на Урале везде дробили кварц бегунами, а толчея оставалась только в Балчуговском заводе, – Карачунский почему-то не хотел ставить бегунов.

– Вот что, Родион Потапыч, – заговорил Карачунский после длинной паузы. – Я посылал за Кожиным... Он был сегодня у меня вместе с женой и согласен помириться, то есть просить прощения.

Зыков точно испугался и несколько времени смотрел на Карачунского ничего не понимающими глазами, а потом махнул рукой и проговорил:

– Поздно, Степан Романыч... Я... я проклял Феню.

– А это что значит: проклял?

– А встал перед образом и проклял. Теперь уж, значит, все кончено... Выворотится Феня домой, тогда прощу.

– Ну, это ваше дело, – равнодушно заметил Карачунский. – Я свое слово сдержал... Это мое правило.

Толчея соединялась с промывальной, и измельченный в порошок кварц сейчас же выносился водяной струей на сложный деревянный шлюз. Целая система амальгамированных медных листов была покрыта деревянными ставнями, – это делалось в предупреждение хищничества. Промытый заряд новой руды дал блестящие результаты. Доводчик Ераков, занимавшийся съемкой золота, преподнес на железной лопаточке около золотника амальгамированного золота, имевшего серый оловянный цвет.

– Это с двадцати пудов? – заметил Карачунский. – Недурно... А кто нашел жилу?

– Да их тут целая артель на Ульяновом кряже близко года копалась, – объяснил уклончиво Зыков. – Все фотьянские... Гнездышко выкинулось, вот и золото.

Это открытие обрадовало Карачунского. Можно будет заложить на Ульяновом кряже новую шахту, – это будет очень эффектно и в заводских отчетах и для парадных прогулок приезжающих на промыслы любопытных путешественников. Значит, жильное дело подвигается вперед и прочее.

В этом хорошем настроении Карачунский возвращался домой, но оно было нарушено встречей на мосту целой группы своих служащих. Заводская контора была для него самым больным местом, потому что именно здесь он чувствовал себя окончательно бессильным. Всех служащих насчитывалось около ста человек, а можно было сократить штат наполовину. Но дело в том, что этот штат все увеличивался, потому что каждый год приезжали из Петербурга новые служащие, которым нужно было создавать место и изобретать занятия. Это была настоящая саранча, очень прожорливая, ничего не умевшая и ничего не желавшая делать. Таких господ высылали из Петербурга разные влиятельные особы, стоявшие близко к делам компании. У каждой такой особы находились бедные родственники, подающие надежды молодые люди и целый отдел «пострадавших», которым необходимо было скрыться куда-нибудь подальше. И вот к Карачунскому являлись разных возрастов молодые люди, снабженные самыми трогательными рекомендациями. И с какими фамилиями, чуть не прямые потомки Синеуса и Трувора! Один был даже с фамилией Монморанси. Про себя Карачунский называл свою заводскую контору богадельней и считал ее громадным злом, съедавшим напрасно десятки тысяч рублей.

«Съедят меня эти Монморанси!» – думал Карачунский, напрасно стараясь припомнить что-то приятное, смутно носившееся в его воображении.

## VIII

Пока в воскресенье Родион Потапыч ходил на золотопромывальную фабрику, дома придумали средство спасения, о котором раньше никому как-то не пришло в голову.

Яша запировал с Мыльниковым, а из мужиков оставался дома один Прокопий. Первую мысль о баушке Лукерье подала Марья.

– Одна она управится с тятенькой, – говорила девушка потерявшей голову матери, – баушка Лукерья строгая и все дело уладит.

– Да ведь проклял он родное детище, Марьюшка, – стонала Устинья Марковна, заливаясь слезами. – Свою кровь не пожалел...

– Уж баушка Лукерья знает, что сделать... Пока тятенька на заводе, Прокопий сгоняет в Фотьянку.

Прокопий верхом отправился в Фотьянку. Он вернулся всего часа через два. Баушка Лукерья приехала тоже верхом, несмотря на свои шестьдесят лет с большим хвостиком. Это была еще крепкая старуха. Она зимой носила мужскую бобровую шапку и штаны, как мужик. Высокая, крепкая, баушка Лукерья еще цвела какой-то старческой красотой. Лицо у нее было такое свежее, а серые глаза смотрели со строгой ласковостью. Она себя называла «расейкой» в отличие от балчуговских баб, некрасивых и скуластых. Сын, Петр Васильевич, нисколько не походил на мать.

– Ну, что у вас тут случилось? – строго спрашивала баушка Лукерья. – Эй, Устинья Марковна, перестань хныкать... Экая беда стряслась с Феней, и девушка была, кажись, не замути воды. Что же, грех-то не по лесу ходит, а по людям.

С появлением баушки Лукерьи все в доме сразу повеселели и только ждали, когда вернется грозный тятенька. Устинья Марковна боялась, как бы он не проехал ночевать на Фотьянку, но Прокопию по дороге кто-то сказал, что старика видели на золотой фабрике. Родион Потапыч пришел домой только в сумерки. Когда его в дверях встретила баушка Лукерья, старик все понял.

– Иди-ка сюда, воевода, – ласково говорила старуха. – Иди... видишь, в гости к тебе приехала...

– Здравствуй, баушка. И то давно не видались.

– Горденек стал, Родион Потапыч... На плотине постоянно толчешься у нас, а нет, чтобы в Фотьянку завернуть да старуху проведать.

– Некогда все... Собирался не одиново, а тут какая-нибудь причина и выйдет...

– У тебя все причина... А вот я не погордилась и сама к тебе приехала. Угощай гостью...

– Не ко время гоститься вздумала...

– Вот что я тебе скажу, Родион Потапыч, – заговорила старуха серьезно, – я к тебе за делом... Ты это что надумал-то? Не похвалю твою Феню, а тебя-то вдвое. Девичья-то совесть известная: до порога, а ты с чего проклинать вздумал?.. Ну, пожурил, пострадал, отвел душу и довольно...

– Что уж теперь говорить, баушка: пролитую воду не соберешь...

– Да ты слушай, умная голова, когда говорят... Ты не для того отец, чтобы проклинать свою кровь. Сам виноват, что раньше замуж не выдавал. Вот Марью-то заморил в девках по своей гордости. Верно тебе говорю. Ты меня послушай, ежели своего ума не хватило. Проклясть-то не мудрено, а ведь ты помрешь, а Феня останется. Ей-то еще жить да жить... Сам, говорю, виноват!.. Ну, что молчишь?..

– Татьяну я не проклинал, хотя она и вышла из моей воли, – оправдывался старик, – зато и расхлебывает теперь горе...

– И тоже тебе нечем похвалиться-то: взял бы и помог той же Татьяне. Баба из последних сил выбилась, а ты свою гордость тешишь. Да что тут толковать с тобой... Эй, Прокопий, ступай к отцу Акакию и веди его сюда, да чтобы крест с собой захватил: разрешительную молитву надо сказать и отчитать проклятие-то. Будет господа гневить... Со своими грехами замаялись, не то что других проклинать.

Родион Потапыч был рад, что подвернулась баушка Лукерья, которую он от души уважал. Самому бы не позвать попа из гордости, хотя старик в течение суток уже успел одуматься и давно понял, что сделал неладно. В ожидании попа баушка Лукерья отчитала Родиона Потапыча вполне, обвинив его во всем.

Батюшка, о. Акакий, был еще совсем молодой человек, которого недавно назначили в Балчуговский приход, так что у него не успели хорошенько даже волосы отрасти. Он был не мало смущен таким редким случаем, когда пришлось разрешать от проклятия. Порывшись в требнике, он велел зажечь свечи перед образом, надел епитрахиль и начал читать по требнику установленные молитвы. Баушка Лукерья поставила Родиона Потапыча на колени и строго следила за ним все время. Устинья Марковна стояла у печки и горько рыдала, точно хоронила Феню.

Когда обряд кончился и все приложились ко кресту, о. Акакий сказал коротенькое слово о любви к ближнему, о прощении обид, о безграничном милосердии божием.

– Нет, ты ему, отец, епитимию определи, – настаивала баушка Лукерья. – Надо так сделать, чтобы он чувствовал...

Батюшка согласился и на это, назначив по десяти земных поклонов в течение сорока дней.

– А теперь и о деле потолкуем, – решила баушка Лукерья. – Садись, отец Акакий, и образумь нас, темных людей...

О. Акакий уже знал, в чем дело, и опять не знал, что посоветовать. Конечно, воротить Феню можно, но к чему это поведет: сегодня воротили, а завтра она убежит. Не лучше ли пока ее оставить и подействовать на мужа: может, он перейдет из-за жены в православие.

– Нет, это пустое, отец, – решила баушка Лукерья. – Сам-то Акинфий Назарыч, пожалуй бы, и ничего, да старуха Маремьяна не дозволит... Настоящая медведица и крепко своей старой веры держится. Ничего из этого не выйдет, а Феню надо воротить... Главное дело, она из своего православного закону вышла, а наши роды испокон века православные. Жиденький еще умок у Фени, вот она и вверилась...

– Силой нельзя заставить людей быть тем или другим, – заметил о. Акакий. – Мне самому этот случай неприятен, но не сделать бы хуже... Люди молодые, все может быть. В

своей семье теперь Федосья Родионовна будет хуже чужой...

– А я ее к себе возьму и выправлю, – решила старуха. – Не погибать же православной душе... Уж я ее шелковой сделаю.

– Будь ей заместо матери... – упрашивала Устинья Марковна, кланяясь в ноги. – Я-то слаба, не умею, а Родион Потапыч перестрожит. Ты уж лучше...

– У меня отойдет и дурь свою бросит...

О. Акакий посидел, сколько этого требовали приличия, напился чаю и отправился домой. Проводив его до порога, Родион Потапыч вернулся и проговорил:

– Славный бы попик, да молод больно...

– Ему же лучше, что и молод и умен. Вон какой очесливый да скромный...

– Ну, вот что, други мои милые, засиделась я у вас, – заговорила баушка Лукерья. – Стемнелось совсем на дворе... Домой пора: тоже не близкое место. Поволокусь как ни на есть...

– Да ты верхом, что ли, пригнала? – сурово спросил Родион Потапыч.

– Пешком-то я угорела уж ходить: было похожено вдосталь...

Старуха сходила в заднюю избу проститься «с девками», а потом надела шапку и стала прощаться.

– Куда ты ускорила-то? – спрашивал Родион Потапыч, которому не хотелось отпускать старуху. – Ночевала бы, баушка, а то еще заедешь куда-нибудь в ширп...

– Невозможно мне... Гребтится все, как там у нас на Фотьянке. Петр-то Васильич мой что-то больно ноне стал к водочке припадать. Связался с Мыльниковым да с Кишкиным... Не гожее дело.

– Золото хотят искать... Эх, бить-то их некому, баушка!.. А я вот что тебе скажу, Лукерья: погоди малость, я оболокусь да провожу тебя до Краюхина увала. Мутит меня дома-то, а на вольном воздухе, может, обойдусь...

– И любезное дело, – согласилась баушка, подмигивая Устинье Марковне. – Одной-то мне, пожалуй, и опасно по нынешнему время ездить, а сегодня еще воскресенье... Пируют у вас на Балчуговском, страсть пируют. Восетта<sup>[2]</sup> еду я также на вершней, а навстречу мне ваши балчуговские парни идут. Совсем молодые, а пьяненькие... Увидали меня, озорники, и давай галиться: «Тпру, баушка!..» Ну, я их нагайкой, а они меня обозвали что ни есть хуже, да еще с седла хотели стащить...

– Собака-народ стал, баушка...

Родион Потапыч оделся, захватил с собой весь припас, помолился и, не простившись с домашними, вышел. Прокопий помог старухе сесть в седло.

– Вот говорят, что гусь свинье не товарищ, – шутила баушка Лукерья, выезжая на улицу.

Ночь была темная, и только освещали улицу огоньки, светившиеся кое-где в окнах. Фабрика темнела черным остовом, а высокая железная труба походила на корабельную мачту. Издали еще волчьим глазом глянул Ермошкин кабак: у его двери горела лампа с зеркальным рефлектором. Темные фигуры входили и выходили, а в открывшуюся дверь вырывалась смешанная струя пьяного галденья.

– Тьфу!.. – отплюнулся Родион Потапыч, стараясь не глядеть на проклятое место. – Вот, баушка, до чего мы с тобой дожили: не выходит народ из кабака... Днюют и ночуют у Ермошки.

– Ох, и не говори, Родион Потапыч! У нас на Фотьянке тоже мужики пируют без утыху... Что только и будет, как жить-то будут. Ополоумели вконец... Никакой страсти не стало в народе.

– Глаза бы не глядели, – с грустью отвечал Родион Потапыч, шагая по середине улицы рядом с лошадью. – Охальники... И нет хуже, как эти понедельникники. Глаза бы не глядели, как работнички-то наши выйдут завтра на работу... Как мухи травленные ползают. Рыло опухнет, глаза затекут... тьфу!..

Поровнявшись с кабаком, они замолчали, точно ехали по зачумленному месту. Родион Потапыч несколько раз волком посмотрел на кабацкую дверь и еще раз плюнул. Угнетенное настроение продолжалось на расстоянии целой улицы, пока кабацкий глаз не скрылся из виду.

– Помнишь место-то?.. – тихо проговорила баушка Лукерья, кивая головой в сторону черневшей «пьяной конторы». – Много тут наших варнацких слез пролито...

Старик тряхнул головой и ничего не ответил.

– Когда нашу партию из Расеи пригнали, – продолжала тихо старуха, точно боялась разбудить каторжные тени, витавшие здесь, – дорога-то шла через Тайболу... Ну, входит партия в Балчуговский, а покойница-сестрица, Марфа Тимофеевна, поглядела этак кругом и шепчет мне: «Луша, тут наша смертынька». Обыкновенно, там, в Расее-то, и слыхом не слыхали, что такое есть каторга, а только словом-то пугали: «Вот приведут в Сибирь на каторгу, так там узнаете...» И у меня сердце екнуло, когда завиделся завод, а все-таки я потихоньку отвечаю Марфе Тимофеевне: «Погляди, глупая, вон церковь-то... Помрем, так хоть похоронить есть кому!» Глупы-глупы, а это соображаем, что без попа церковь не стоит... И обрадели мы вот этой самой балчуговской церкви, как родной матери. Да и вся наша партия тоже... Известно, женское дело, страшливое: вот, мол, где она, эта самая каторга. По этапам-то вели нас близко полугода, так всего натерпелись и думаем, что в каторге еще того похуже раз на десять.

Так в разговорах они незаметно выехали за околицу. Небо начинало проясняться. Низкие зимние тучи точно раздвинулись, открыв мигавшие звездочки. Немая тишина обступала кругом все. Подъем на Краюхин увал точно был источен червями. Родион Потапыч по-прежнему шагал рядом с лошастью, мерно взмахивая правой рукой.

– Привели-то нас, как теперь помню, под вечер... – продолжала баушка Лукерья. – Мужичья каторга каменная, а наша, бабья, – деревянная и деревянным тыном обнесена. Вот завели партию во двор, выстроили, а покойник Антон Лазарич уж на крыльце стоит и этак из-под ручки нас оглядывает, а сам усмехается. В окнах у казармы тоже все залеплено арестантками: любопытно на свеженьких поглядеть... Этак с крайчику, слева значит, я стою, а Марфа Тимофеевна жметя около меня: она в партии-то всех помоложе была и из себя красивее. Ну, Антон Лазарич...

– Молчи, ради Христа! Молчи... – простонал Родион Потапыч.

– Дело прошлое, что греха таить... А покойничек Антон Лазарич, не тем будь помянут, больно уж погонный был старичок до девок. Седенький, лысенький, ручки трясутся, а ни одной не пропустит... Баб не трогал, ни-ни, потому, говорит, «сам я женатый человек, и нехорошо чужих жен обижать». Кабы не эта его повадка, так и лучше бы не надо нам зрителя: добреющий человек и богобоязливый... Каждое воскресенье в церкви вперед всех стоит, молится, а сам слезьми заливаается. И жена ведь у него молодая была... О, грехи, грехи!..

– Охальник был... – сурово заметил Родион Потапыч. – Собаке собачья и смерть.

– Понапрасну погинул, это уж что говорить! – согласилась баушка Лукерья, понукая убавившую шаг лошадь. – Одна девка-каторжанка издалась упрямая и чуть его не зарезала, черкаска-девка... Ну, приходит он к нам в казарму и нам же плачется: «Вот, говорит, черкаска меня ножиком резала, а я человек семейный...» Слезьми заливаается. Как раз через три дня его и порешили, сердешного.

– Бузун его зарезал... С нашей же каторги беглый. Он около Балчугов бродяжил.

– А пошто же на палача Никитушку говорили?

– Здря народ болтал...

Молчание. Начался подъем на Краюхин увал. Лошадь вытягивает шею и тяжело дышит. Родион Потапыч, чтобы не отстать, ухватывается одной рукой за лошадиную гриву.

– Сказывают, Никитушку недавно в городе видели, – говорит старуха. – Ходит по купцам и милостыньку просит... Ох-хо-хо!.. А прежде-то какая ему честь была: «Никита Степаныч, отец родной... благодетель...» А он-то бахвалится.

– Пьяный был без просыпа... Перевозили его с одной каторги на другую, а он ничего не помнит.

– Бывал он и у нас в казарме... Придет, поглядит и молвит: «Ну, крестницы мои, какое мне от вас уважение следует? Почитайте своего крестного...» Крестным себя звал. Бабенки улещали его и за себя и за мужиков, когда к наказанию он выезжал в Балчуги. Страшно было на него смотреть на пьяного-то...

– Вот ты, Лукерья, про каторгу раздумалась, – перебил ее Родион Потапыч, – а я вот про нынешние порядки соображаю... Этак как раскинешь умом-то, так ровно даже ничего и не понимаешь. В ум не возьмешь, что и к чему следует. Каторга была так каторга, солдатчина была так солдатчина, одним словом, казенное время... А теперь-то что?.. Не то что других там судить, а у себя в дому, как гнилой зуб во рту... Дальше-то что будет?..

– На промыслах везде одни порядки, Родион Потапыч: ослабел народ, измалодушествовался... Главная причина: никакой народу страсти не стало... В церковь приходишь: одни старухи. Вконец измотался народ.

В этих разговорах они добрались до спуска с Краюхина увала, где уже начинались шахты. Когда лошадь баушки Лукерьи поровнялась с караушкой Спасо-Колчеданской шахты, старуха проговорила:

– Ну, прощай, Родион Потапыч... Так ты тово, Феню-то добывай из Тайболы да вези ко мне на Фотьянку, утихомирим девку, коли на то пойдет.

Родион Потапыч что-то хотел сказать, но только застонал и отвернулся: по лицу у него катились слезы. Баушка Лукерья отлично поняла это безмолвную горе: «Эх, если б жива была Марфа Тимофеевна, разве бы она допустила до этого!..»

## IX

Неожиданное появление Родиона Потапыча на шахте никого не удивило, потому что рабочие уже привыкли к подобным сюрпризам. К суровому старику относились с глубоким уважением именно потому, что он видел каждое дело насквозь, и не было никакой возможности обмануть его в ничтожных пустяках. Всякую промысловую работу Родион Потапыч прошел собственным горбом и «видел на два аршина в землю», как говорили про него рабочие. Это, впрочем, не мешало ругать его за глаза иродом, жидом и пр. Балчуговское воскресенье отдалось и на шахтах: коморник Мутовка, сидевший в караулке при шахте, усиленно моргал подслеповатыми глазами, у машиниста Семеныча, молодого парня-франта, язык заплетался, откатчики при шахте мотались на ногах, как чумная скотина.

– Да вы тут совсем сбесились! – гремел старик на подгулявших рабочих. – Чему обрадовались-то, черти? А где подштейгер?

Подштейгер Лучок, седой старик, был совсем пьян и спал где-то за котлами, выбрав тепленькое местечко. Это уж окончательно взбесило Родиона Потапыча, и он начал разносить пьяную команду вдребезги. Проснувшийся Лучок вдобавок забунтовал, что иногда случалось с ним под пьяную руку.

– А ты не больно того... – огрызался он из своей засады. – Слава богу, не казенное время, чтобы с живого человека три шкуры драть! Да...

– Ах, варвары!.. А кто станет отвечать, ежели вы, подлецы, шахту опустите!..

– Обыкновенно, ты ответишь, – сказал Лучок. – Ты жалованья-то пятьдесят целковых получаешь, ну, значит, кругом и будешь виноват... А с меня за двадцать-то целковых не много возьмешь.

– Ты еще разговаривать у меня, мокрое рыло?!

– И скажу завсегда.

Взбешенный Родион Потапыч собственноручно извлек Лучка из-за котлов, нахлобучил ему шапку на пьяную башку и вытолкал из корпуса, а пожитки подштейгера велел выбросить на дорогу.

– Ступай, пожалуйся на меня, пес! – кричал старик вдогонку лукавому рабу. – Я на твое место двадцать таких-то найду...

– А мне плевать! – слышался из темноты голос Лучка. – Ишь, как расшеперился... Нет, брат, не те времена.

Эта комедия изгнания Лучка со службы проделывалась в год раза три-четыре, благодаря его пьяной строптивости. Несколько дней после такой оказии Лучок высиживал в кабаке Ермошки, а потом шел к Родиону Потапычу с повинной. Составлялось примирение на неперменном условии, что это «в последний раз». Все знали, что настоящая история закончится миром, потому что Родион Потапыч не мог жить без Лучка и никому не доверял, кроме него, чем Лучок и пользовался. Если бы не пьянство, Лучок давно «ходил бы в штегерях», а может быть, и главным штейгером. Знал он дело на редкость, и в трудных случаях Родион Потапыч советовался только с ним, потому что горных инженеров и самого Карачунского в приисковом деле в грош не ставил. У Лучка была особенная смелость, которой недоставало Родиону Потапычу, – живо все сообразит и из собственной кожи вылезет, когда это нужно.

По-настоящему следовало бы спуститься в шахту и осмотреть работы, но Родион Потапыч вдруг как-то обессилел, чего с ним никогда не бывало. Он ни разу в жизнь свою не хворал и теперь только горько покачал головой. Эта пустячная ссора с пьяным Лучком окончательно подорвала старика, и он едва дошел до своей конторки, отгороженной в уголке машинного корпуса. Ключ от конторки был всегда с ним. Здесь он иногда и ночевал, прикорнув на засаленную деревянную скамейку. Родион Потапыч засветил сальную свечу и присел к столу. В маленькое оконце, дребезжавшее от работы паровой машины, глядела ночь черным пятном; под полом, тоже дрожавшим, с хрипеньем и бульканьем бежала поднятая из шахты рудная вода; слышно было, как хрипел насос и громыхали чугунные шестерни. Все это было как всегда, как запомнит себя Родион Потапыч на промыслах, только сам он уж не тот. Мысль о бессильной, жалкой старости явилась для него в такой яркой и безжалостной форме, что он даже испугался. Что же это такое?..

Он присел к столу, облокотился и, положив голову на руку, крепко задумался. Семейные передраги и встреча с баушкой Лукерьей подняли со дна души весь накопившийся в ней тяжелый житейский осадок.

Родился и вырос Родион Потапыч дворовым человеком в Тульской губернии. Подростком он состоял при помещицком доме в казачках, а в шестнадцать на свой грех попал в барскую охоту. Не угодил он барину на волчьей облаве чем-то, кинулся на него барин с поднятым арапником... Окончание этого эпизода барской охоты было уже в Балчуговском заводе, куда Родион Потапыч был приведен в кандалах для отбытия каторжных работ. Но промысловая каторга для него явилась спасением; серьезный не по летам, трудолюбивый, умный и честный, он сразу выдвинулся из своей арестантской среды. Смотрителем тогда был тот самый Антон Лазарич, о котором рассказывала баушка Лукерья. Он очень полюбил молодого Зыкова и устроил так, что десятилетняя каторга для него была не в каторгу, а в обыкновенную промысловую работу, с той разницей, что только ночевать ему приходилось в остроге. Новая работа полюбилась Родиону Потапычу, и он прирос к ней всей душой. Да, что только было тогда, теперь даже и вспоминать как-то странно, точно все это во сне привиделось. Работа кипела, благо каторжный труд ничего не стоил. С одной стороны работал каторжный винокуренный завод, а с другой – золотые промыслы. Балчуговский завод походил на военный лагерь, где вставали и ложились по барабану, обедали и шабашили по барабану и даже в церковь ходили по барабану. На работу выступали поротно и повзводно, отбивая шаг. При встрече с начальством все вытягивалось в струнку и делало на-караул даже на работах. На площади между каторгой и «пьяной конторой» в праздники производилось настоящее солдатское учение пригнанных рекрутов, и тут же происходили жесточайшие экзекуции. С одной стороны орудовал «крестный» Никитушка, а с другой – солдатская «зеленая улица». Сквозь строй гоняли каждое воскресенье, а для большего эффекта приводили народ для этого случая даже с Фотьянки. Кроме своего каторжного начальства и солдатского для рекрутов, в распоряжении горных офицеров находилось еще два казачьих батальона со специальной обязанностью производить наказания на самом месте работ; это было домашнее дело, а «крестный» Никитушка и «зеленая улица» – парадным наказанием, главным образом на страх другим. Когда партия рабочих выступала куда-нибудь на прииск, за ней вместе с провиантом следовал целый воз розог, точно их нельзя было приготовить на месте действия. Военное горное начальство в этом случае рассуждало так, что порядок наказания прежде всего, а работа пойдет сама собой.

Первые два года Родион Потапыч работал на винокуренном заводе, где все дело вершилось исключительно одним каторжным трудом, а затем попал в разряд исправляющихся и был отправлен на промыслы. Винокуренный завод до самого конца

оставался за каторгой, а на промыслы высылались только отбывшие каторгу. Родион Потапыч застал Балчуговский завод еще совсем небольшим. Селение шло только по Нагорной высоте, а Низы заселились уже при нем, когда посадили на промыслы сразу три рекрутских набора. Из ссыльнопоселенцев постепенно выросла Фотьянка, которая служила главным каторжным гнездом. На промыслах Родион Потапыч прошел всю работу, начиная с простого откатчика, отвозившего на тачке пустую землю в отвалы. Сколько теперь этих отвалов кругом Балчуговского завода; страшно подумать о том казенном труде, который был затрачен на эту египетскую работу в полном смысле слова. Людей не жалели, и промыслы работали «сильной рукой», то есть высылали на россыпь тысячи рабочих. Добытое таким даровым трудом золото составляло для казны уже чистый дивиденд. Родион Потапыч скоро выбился на промыслах из простых рабочих и попал в десятники. С делом он освоился, и начальство ценило в нем его фанатическое трудолюбие. Чуть только не свихнулся он, когда встретил свою первую жену Марфу Тимофеевну. Ее только что пригнали из России, и Антон Лазарич сразу заметил красивую каторжанку. Ей было всего 19 лет, а попала она из помещицкой девичьей на каторгу, как значилось в списке, за кражу сахара. Сестра Лукерья пришла вместе с ней и значилась в списке виновной в краже меда. Чья-то рука изощряла остроумие над судьбой двух сестер, но они должны были отбыть положенные три года, а затем поступили в разряд ссыльных и переселены были на Фотьянку. Антон Лазарич прозвал Марфу Тимофеевну «сахарницей» и на третий же день потребовал ее к себе «по секретному делу». Сестра Лукерья избежала этого секретного дела только потому, что Антона Лазарича вовремя успели зарезать.

– Одна сестра с сахаром, другая с медом, – шутил смотритель, – а я до сахару большой охотник...

Родион Потапыч числился в это время на каторге и не раз был свидетелем, как Марфа Тимофеевна возвращалась по утрам из смотрительской квартиры вся в слезах. Эти ли девичьи слезы, девичья ли краса, только начал он крепко задумываться... Заметил эту перемену даже Антон Лазарич и не раз спрашивал:

– Что это с тобой Родион?.. Как будто ты не в себе...

– Не может, Антон Лазарич, – сурово отвечал Зыков, стараясь не глядеть на каторжного насильника.

Запала крепкая и неотвязная дума Родиону Потапычу в душу, и он только выжидал случая, чтобы «порешить» лакомого смотрителя, но его предупредил другой каторжанин, Бузун, зарезавший Антона Лазарича за недоданный паек. Гора свалилась с плеч, а потом Марфа Тимофеевна была переведена на Фотьянку, где он с ней сейчас же познакомился и сейчас же женился. Много было каторжанок, и ни одна не осталась непристроенной: все вышли замуж, развели семьи и населили Фотьянку и Нагорную сторону.

Замечательно, что среди каторжанок не было ни одной женщины легкого поведения.

Хорошо и любовно зажил Родион Потапыч с молодой женой и никогда ни одним словом не напоминал ее прошлого: подневольный грех в счет не шел. Но Марфа Тимофеевна все время замужества оставалась туманной и грустной и только перед смертью призналась мужу, что ее заело.

– Не девушкой я за тебя выходила замуж... – шептали побелевшие губы. – Нет моей в том вины, а забыть не могла. Чем ты ко мне ласковее, тем мне страшнее. Молчу, а у самой сердце кровью обливается.

– Марфа, бог с тобой, какие ты слова говоришь...

– Я сама себя осудила, Родион Потапыч, и горше это было мне каторги. Вот сыночка тебе родила, и его совестно. Не корил ты меня худым словом, любил, а я все думала, как бы мы с тобой век свековали, ежели бы не моя злосчастная судьба.

Молодой умерла Марфа Тимофеевна и в гробу лежала такая красивая да белая, точно восковая. Вместе с ней белый свет закрылся для Родиона Потапыча, и на всю жизнь его брови сурово сдвинулись. Взял он вторую жену, но счастья не воротил, по пословице: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет. Поминкой по любимой жене Марфе Тимофеевне остался беспутный Яша...

Жизнь для Родиона Потапыча прошла в суровой работе изо дня в день. Он точно раз и навсегда замерз на своем промысловом деле, да больше и не оттаял. Трудно приходилось –



молчал, хорошо – молчал, а потом превратился в живую машину. Только раз в течение своей службы он покривил душой, именно в пятидесятых годах, когда на Урал тайно приехал казенный фискал. Несмотря на военные строгости при разработке золота, рабочие ухитрялись его воровать. То же самое было и на других казенных и частных промыслах. Были и свои скупщики, которые проникли и в заколдованный круг Балчуговской каторги. Сыщик успел купить золото кой у кого, но один Родион Потапыч вызнал в нем настоящую птицу и пустил стороной слух, чтобы спасти десятки легковерных людей. Пожалел он дураков... И действительно, Балчуговский завод пострадал меньше, а на других промыслах разразилась страшная гроза. Сотни были прогнаны сквозь строй и сосланы в Восточную Сибирь в бессрочную каторгу. Впрочем, никто не знал на Балчуговских промыслах, кто первый догадался относительно фискала. Родион Потапыч молчал, как будто не его дело. Тогда, между прочим, спасся только чудом Кишкин, замешанный в этом деле: какой-нибудь один час, и он улетел бы в Восточную Сибирь, да еще прошел бы насквозь всю «зеленую улицу».

«Вот я ему, подлецу, помяну как-нибудь про фискалу-то, – подумал Родион Потапыч, припоминая готовившееся скандальное дело. – Эх, надо бы мне было ему тогда на Фотьянке узелок завязать, да не догадался... Ну, как-нибудь в другой раз».

С лишком тридцать пять лет «казенного времени» отбыл Родион Потапыч, когда объявлена была воля. Он совершенно не понимал этого события, никак не укладывавшегося в его голову. Родион Потапыч даже как-то совсем растерялся, особенно когда упразднили каторгу, винокурный завод закрыли, а казенным промысловым работам пришел конец. Мысль о том, что теперь нужно будет платить каждому рабочему, просто возмущала его. Помилуйте, такая орава рабочих, и вдруг каждому плати, а что же казне-то останется? Казенные работы, переведенные на вольнонаемный труд и лишенные военной закваски, сразу захудали, и добытое этим путем золото, несмотря на готовый инвентарь и всякое промысловое хозяйство, стало обходиться казне в пять раз дороже его биржевой стоимости. Некоторое время поддержала падавшее дело открытая на Фотьянке Кишкиным богатейшая россыпь, давшая в течение трех лет больше ста пудов золота, а дальше случился уже скандал – золотник золота обходился казне в 27 рублей при номинальной его стоимости в 4 рубля. Немало смущали Родиона Потапыча горные инженеры.

Последние пять лет Балчуговские заводы существовали только на бумаге, когда явился генерал Мансветов и компания. Кое-как поддерживалась одна шахта, да работали местами старатели. Водворение компании сразу подняло дело, и Родион Потапыч ожил, перенесся на компанейское дело все свои крепостные симпатии. Когда первое опьянение волей миновало, оказалось, что промысловое население очутилось в полной экономической зависимости от компании. Между тем это было казенное промысловое население, несколькими поколениями воспитавшееся на своем приисковом деле. В Низах бывшие «некрута» делали отчаянные попытки прожить своим средством, и здесь некоторое время процветали столяры и сапожники. Нагорная и Фотьянка, эти старые каторжные гнезда, остались верными своему промысловому делу и не увлеклись никакими сторонними заработками.

С водворением на Балчуговских промыслах компанейского дела Родион Потапыч успокоился, потому что хотя прежней каторжной и военно-горной крепости уже не существовало, но ее заменила целая система невидимых нитей, которыми жизнь промыслового населения была опутана еще крепче. Промысловому рабочему некуда было деваться, как он ни изворачивался. Пример Низов служил в этом случае лучшим доказательством. Не было внешнего давления, как в казенное время, но «вольные» рабочие со своей волчьей волей не знали куда деваться и шли работать к той же компании на самых невыгодных условиях, как вообще было обставлено дело: досыта не наешься и с голоду не умрешь.

Открытие Кедровской казенной дачи для вольных работ изменило весь строй промысловой жизни, и никто не чувствовал этого с такой рельефностью, как Родион Потапыч, этот промысловый испытанный волк.

## Часть вторая

### I

Каждое утро у кабака Ермошки на лавочке собиралась целая толпа рабочих. Издали эта публика казалась ворохом живых лохмотьев – настоящая приисковая рвань. А солнышко уже светило по-весеннему, и рвань ждала того рокового момента, когда «тронется вешняя вода». Только бы вода взялась, тогда всем будет работа... Это были именно чающие движения воды.

Кабак Ермошки помещался в собственном полукаменном домике, отстроенном заново года два назад. Нижний этаж был занят наполовину кабаком и наполовину галантерейной и суровской торговлей, так что получалось заведение вполне. Дом стоял на углу, как раз напротив золотопромывальной фабрики. Раньше он принадлежал Кишкину. В конце улицы красным пятном выделялись кирпичные стены бывшей каторги, а рядом громадное покосившееся бревенчатое здание «пьяной конторы». Собственно каторжный винокурный завод стоял на месте нынешней золотопромывальной фабрики, но он сгорел уже после воли. Оставалась одна «пьяная контора» да каменный двор с низкими каменными казармами упраздненной каторги. Эти два памятника доброго старого времени для Ермошки были бельмом на глазу. Сидя у себя наверху, он подолгу смотрел на них и со вздохом повторял:

– Этакое обзаведенье и задарма пропадает... Что бы тут можно сделать, кабы к рукам! То есть, кажется, отдал бы все...

Ермошка был среднего роста, раскостый и плечистый мужик с какой-то угловатой головой и серыми вытаращенными глазами, поставленными необыкновенно широко, как у козы. Приплюснутый мягкий нос точно был приклеен с другого лица. Жиденькая клочковатая борода придавала ему встрепанный вид, как у человека, который второпях вскочил с постели. Это был типичный российский сиделец, вороватый и льстивый, нахальный и умеющий вовремя принизиться. В люди он вышел через жену Дарью, которая в свое время состояла «на положении горничной» у старика Оникова во времена его грозного владычества. Ермошка был лакеем, как теперь Ганька. Старик Оников вдовел и от скуки развлекался крепостными красавицами, в числе которых Дарья являлась последним номером. Она была круглой сиротой, за красоту попала в господский дом, но ничем не сумела бы воспользоваться при своем положении, если бы не подвернулся Ермошка. Оников умер как-то вдруг и, что всего удивительнее, после него не оказалось никаких сбережений. Стоустая молва приписала его скоропостижную смерть Ермошке, воспользовавшемуся при такой okazji господским добром. Он сейчас же женился на Дарье и зажил своим домом, как следует справному мужику, а впоследствии уже открыл кабак и лавку. Положение Дарьи было самое забитое: Ермошка вымещал на ней худую славу, вынесенную из господского дома. Бедная женщина ходила по своим горницам, как тень, и вся дрожала, когда слышала шаги мужа. Открыто Ермошка ее не увечил, как это делали другие мужики, а изводил ее медленно и безжалостно, как ненужную скотину.

«Хоть бы умереть поскорее...» – мечтала иногда Дарья.

Детей у них не было, и Ермошка мечтал, когда умрет жена, завестись настоящей семьей и имел уже на примете Феню Зыкову. Так рассчитывал Ермошка, но не так вышло. Когда Ермошка узнал, как ушла Феня из дому убегом, то развел только руками и проговорил:

– Эх, Федосья Родивоновна, не могла ты обождать самую малость, когда моя-то Дарья помрет...

Жалела об этом обстоятельстве и сама Дарья, потому что давно уже чувствовала себя лишней и с удовольствием уступила бы свое место молодой любимой жене.

– Связала я тебя, Ермолай Семеныч, – говорила она мужу о себе, как говорят о покойниках. – В самый бы тебе раз жениться на зыковской Фене... Девка чистая. Ох, нейдет моя смертынька...

– Разве не стало невест? – резонировал Ермошка в тон жене. – Как помрешь, сорок ден выйдем, и женюсь...

– В Балчуговском у нас невест непочатый угол, Ермолай Семеныч. Любую да лучшую выбирай.

– В Тайболе возьму, а то и городскую приспособлю... Слава богу, и мы не в угол рожей-то.

– Богатую не бери, а попроще... Сиротку лучше, Ермолай Семеныч, потому как ты уж в годках и будешь на положении вдовца. Богатые-то девки не больно таких женихов уважают...

– Это ты правильно, Дарья... Только помирай скорее, а то время напрасно идет. Совсем из годов выйду, покедова подохнешь...

– Ох, скоро помру, Ермолай Семеныч... Жаль ведь мне глядеть на тебя, как ты со мной маешься.

Дарья употребляла все меры, чтобы умереть, и никак не могла. Она ходила босая по снегу, пила «дорогую траву», морила себя голодом, но ничего не помогало. Ермошка колотил ее только под пьяную руку и давно извел бы вконец, если бы не боялся ответственности. Притом у него было какое-то темное предчувствие, что Дарья – его судьба, которой ни на каком коне не объедешь. Самоунижение Дарьи дошло до того, что она сама выбирала невест на случай своей смерти, и в этом направлении в ермошкином доме велись довольно часто очень серьезные разговоры. Чета вообще была оригинальная.

Ермошка ждал вешней воды не меньше балчуговских старателей, потому что самое бойкое кабацкое время было связано именно с летним сезоном, когда все промысла были в полном ходу. Он знал свой завод и Фотьянку, как свои пять пальцев: кто захудал из мужиков, кто справился, кто ни шатко ни валко живет. Никакой статистик не мог бы представить таких обстоятельных и подробных сведений о своем «приходе», как называл Ермошка старателей. Низы, где околачивались строгали и швали, он недолюбливал, потому что там царила оголтелая нищета, а в «приходе» нет-нет и провернется счастье.

– Ну-ка, боговы работнички, поворачивай! – покрикивал Ермошка у себя за стойкой на вечно галдевшую толпу старателей.

– Благодетель, на тебя стараемся! – отвечали пьяные голоса. – Мимо тебя ложки в рот не пронесешь... Все у тебя, как говядина в горшке.

– А куда бы вы без меня-то делись? А?..

– Уж это ты правильно, отец родной...

Всех больше надоедал Ермошке шваль Мыльников, который ежедневно являлся в кабак и толкался на народе неизвестно зачем. Он имел привычку приставать к каждому, задирали, ссорился и частенько бывал бит, но последнее мало на него действовало.

– Шел бы ты домой, Тарас, – часто уговаривал его Ермошка, – дома-то, поди, жена тебя вот как ждет. А по пути завернул бы к тестю чаю напиться. Богатый у тебя тестюшка.

– А тебе завидно? И напьемся чаю, даже вот как напьемся.

– А не хочешь того, чем ворота запирают?..

Подвыпивший Мыльников проявлял необыкновенную гордость. Он бил кулаками себя в грудь и выкрикивал на всю улицу, что – погодите, покажет он, каков есть человек Тарас Мыльников, и т. д. Кабацкие завсегдатаи покатывались над Мыльниковым со смеху и при случае подносили стаканчики водки.

– Погодите, братцы, рассчитаюсь... – уверял Мыльников. – Уж я достигну... Дайте только на ноги встать, а там расчет пойдет мелкими.

После пасхи Мыльников частенько стал приходить в кабак вместе с Яшей и Кишкиным. Он требовал прямо полуштоф и распивал его с приятелями где-нибудь в уголке. Друзья вели какие-то таинственные душевные беседы, шептались и вообще чувствовали потребность в уединении. Раз, пошатываясь, Мыльников пошел к стойке и потребовал второй полуштоф.

– Да ты с какой это радости расширился? – спрашивал его Ермошка. – Наследство, что ли, получил?..

– А тебе какая печаль?.. Х-хе... Никто не укажет Тарасу Мыльникову: сам большой, сам маленький. А ты, Ермолай Семеныч, теперь надо мной шутки шутишь, потому как я шваль и больше ничего...

– У всех у вас в Низах одна вера: голь перекатная. Хоть вывороти вас, двоегривенного не найдешь...

– А что, ежели, например, богатство у меня, Ермолай Семеныч? Ведь ты первый шапку ломать будешь, такой-сякой... А я шубу енотовую надену, серебряные часы с двум крышкам, гарусный шарф, да таким чертом к тебе подкачу. Как ты полагаешь?

– По одежде встречают, Тарас... Разбогатеешь, так нас не забудь. Знаешь, кому счастье?..

– Ах ты, курицын сын!.. Да я, может, весь Балчуговский завод куплю и выворочу его совершенно наоборот... Вот я каков есть человек...

– Не пугай вперед, а то еще во сне увижу тебя богатого... Вороны завсегда к ненастью каркают.

Эти сцены повторялись слишком часто, чтобы обращать на себя серьезное внимание. Мыльникову никто не верил, и только удивлялись, откуда он берет деньги на пьянство.

К этой компании потом присоединился Клейменный Мина, старик из балчуговских каторжан, которых уцелело не больше десятка. Это был молчаливый лысый старик с большим лбом и глубоко посаженными глазами. В кабаке он заходил редко и скромно сидел все время где-нибудь в уголке. Потом появились старатели с Фотьянки: красавец Матюшка, старый Турка и сам Петр Васильич. Мыльников угощал всех и ходил по кабаку козырем. Промысловые скептики сначала относились к этой компании подозрительно, а потом вдруг уверовали. Кто-то пустил слух, что раскошелится Кишкин ввиду открытия Кедровской дачи и набирает артель для разведки где-то на реке Мутяшке, где Клейменный Мина открыл золото еще при казне, но скрыл до поры до времени. Даже уверовал сам Ермошка, зараженный охватившей всех золотой лихорадкой. Так он несколько раз уже заговаривал с Кишкиным.

– Андрон Евстратыч, пусти в канпанию...

– Рылом еще не вышел... – отвечал Кишкин торжественно.

– Да ведь все равно мне же золото будете сдавать, – тихо прибавлял Ермошка, прищуривая один глаз.

– Уж это как господь приведет... Одно – сдавать золото, другое – добывать. Рука у тебя тяжелая, Ермолай Семеныч.

– А у Мыльникова легкая?

– Пух – вот какая рука.

Совещания составлявшейся компании не представляли тайны ни для кого, потому что о Мутяшке давно уже говорили, как о золотом дне, и все мечтали захватить там местечко, как только объявится Кедровская дача свободной. Явилась даже спекуляция на Мутяшку: некоторые рабочие ходили по кабакам, на базаре и везде, где сбивался народ, и в самой таинственной форме предлагали озолотить «за красную бумагу». На Мутяшку образовался даже свой курс. Таинственные обогатители сообщали под страшным секретом о существовании какого-нибудь ложка или ключика, где золото гребли лопатами. Сложился целый ряд легенд о золоте на Мутяшке, вроде того, что там на золоте положен большой зарок, который не действует только на невинную девицу, а мужику не дается. Рассказывали о каких-то беглых, во времена еще балчуговской каторги, которые скрывались в Кедровской даче и первые «натакались» на Мутяшку и простым ковшом намыли столько, сколько только могли унести в котомках, что потом этих бродяг, нагруженных золотом, подкараулили в Тайболе и убили. Так и осталось неизвестным, где собственно схоронилось мутяшское золото. Доверчивые люди с замиранием слушали эти рассказы и все сильнее распалялись желанием легкой наживы. Знатки Мутяшки скоро перестали довольствоваться «красной бумагой», а стали требовать уже четвертной билет. Между прочим, этим промышлял и Кривой Петр Васильич, только не в Балчуговском заводе, а в городе. Но лучше всех повел дело Мыльников, который теперь и пропивал дуром полученные деньги. Все знали, что это пропащий человек и что он даже и не знает приискового дела, но такова была жажда золота, что верили пустому человеку, сулившему золотые горы. И разговор у Мыльникова был самый пустой и дурашливый:

– Уж я произведу... Во как по гроб жизни благодарить будете... У меня рука легкая на золото, вот главная причина... Да... Всем могу руководствовать вполне.

Азарт носился в самом воздухе, и Мыльников заговаривал людей во сто раз умнее себя, как тот же Ермошка, выдавший швали тоже красный билет. Впрочем, Мыльников на другой же день поднял Ермошку на смех в его собственном заведении.

– Будешь меня благодарить, Ермолай Семеныч! – кричал он. – А твоя красная бумага на помин моей души пойдет... У волка в зубе – Егорий дал.

Весь кабак надрывался от хохота, а Ермошка плюнул в Мыльников и со стыда убежал к себе наверх. Центром разыгравшегося ажиотажа явился именно кабак Ермошки, куда сходились хоть послушать рассказы о золоте, и его владелец потерпел законно.

Кроме всего этого, к кабаку Ермошки каждый день подъезжали таинственные кошевки из города. Из такой кошевки вылезал какой-нибудь пробойный городской мещанин или мелкотравчатый купеческий брат и для отвода глаз сначала шел в магазин, а уж потом, будто случайно, заводил разговор с сидевшими у кабака старателями.

– Не надо ли партию? – спрашивали старатели. – Может, насчет того, чтобы ширп ударить...

– Нет, мы этим не занимаемся, – продолжал отводить глаза отпетый городской человек. – Я по своим делам...

Ермошка, спрятавшись наверху, наблюдал в окно этих городских гостей и ругался всласть.

– Вот дураки-то!.. Дарь, мотри, вон какой крендель выкидывает Затыкин; я его знаю, у него в Щепном рынке лавка. Х-ха, конечно, балчуговского золота захотелось отведать... Мотри, Мыльников к нему подходит! Ах, пес, ах, антихрист!.. Охо-хо-хо! То-то дураки эти самые городские... Мыльников-то, Мыльников по первому слову четвертной билет заломил, по роже вижу. Всякую совесть потерял человек...

Городской человек, проделав для отвода глаз необходимые церемонии, попадал в кабак я за полуштофом водки получал самые точные сведения, где найти верное золото.

– Да что тут говорить: выставляй прямо четверть!.. – бахвалился входивший в раж Мыльников. – Разве золото без водки живет? Разочнем четверть, – вот тебе и золото готово.

Простые рабочие, не владевшие даром «словесности», как Мыльников, довольствовались пока тем, что забирали у городских охотников задатки и записывались зараз в несколько разведочных партий, а деньги, конечно, пропивали в кабаке тут же. Никто не думал о том, чтобы завести новую одежду или сапоги. Все надежды возлагались на будущее, а в частности на Кедровскую дачу.

– Ишь, как воронье, облепили кабак! – злорадствовал Ермошка. – Только и канпания... Тут ходи да оглядывайся.

Большую сенсацию произвело появление в кабаке известного городского скупщика краденого золота Ястребова. Это был высокий, плечистый и осанистый мужчина со свирепым лицом. Густые брови у него совсем срослись, а ястребиные глаза засели глубоко в орбитах, как у настоящего хищника. Окладистая с проседью борода придавала ему степенный купеческий вид. Одет он был в енотовую шубу и бобровую шапку.

– Никите Яковличу, благодетелю!.. – слышались голоса раболепных прихлебателей. – Не хошь ли местечко потеплее?..

– Ладно, заговаривай зубы, – сурово отвечал Ястребов, окидывая презрительным взглядом приисковую рвань. – Поищите кого попроще, а я-то вполне превосходно вас знаю... Добрых людей обманываете, черти.

Он прошел наверх к Ермошке и долго о чем-то беседовал с ним. Ермошка и Ястребов были заведомые скупщики краденого с Балчуговских промыслов золота. Все это знали; все об этом говорили, но никто и ничего не мог доказать: очень уж ловкие были люди, умевшие хоронить концы. Впрочем, пьяный Ястребов, – он пил запоем, – хлопнув Ермошку по плечу, каждый раз говорил:

– Ну, Ермошка, плачет о нас острог-то!..

– Не те времена, Никита Яковлич, – подобострастно отвечал Ермошка, чувствувавший к Ястребову безграничное уважение.

Дома Мыльников почти не жил. Вставши утром и не прочухавшись хорошенько с похмелья, он выкраивал с грехом пополам «уроки» для своей мастерской, ругал Оксю, заведывавшую всей работой, и уходил из дому до позднего вечера.

Избушка у Мыльникова была самая проваленная, как старый гриб. Один угол осел, крыша прогнила, ворота покосились, а надворные постройки постепенно шли на дрова. Одним словом, дом рушился со всех концов, и от него веяло нежилым. Впрочем, на Низах было много таких развалившихся дворов, потому что здесь главным образом царил самая вопиющая бедность. Дело в том, что Нагорная, где поселились каторжные, отбывшие срок наказания, после освобождения осталась верной исконному промысловому делу. То же было и на Фотьянке, где сгруппировались ссыльнопоселенцы. А Низы, населявшиеся «некрутами», захотели после воли существовать своим «средством», и здесь быстро развились ремесла: столярное и чеботарное. Положим, что балчуговская работа пользовалась очень плохой репутацией, но все дело сводилось на то, чтобы освободиться от приискового шатания и промысловой маяты. Местом сбыта служил главным образом город, а отсюда уже балчуговское ремесло расходилось по нескольким уездам и дальше. Сотни семей были заняты одним и тем же делом и сбивали цену товара самым добросовестным образом: городские купцы богатели, а Низы захудали до последней крайности. Избушка Мыльникова служила ярким примером подобного промыслового захудания, и ее история служила иллюстрацией всей картины.

Тарас Мыльников был кантонистом. Его отец, пригнанный в один из рекрутских наборов в Балчуговский завод, не вынес золотой каторги и за какую-то провинность должен был пройти «зеленую улицу» в несколько тысяч шпицрутенгов. Он не вынес наказания и умер на тележке, на которой довозили изнемогавших «грешников» до конца улицы. Дело в том, что преступников сначала вели, привязав к прикладу солдатского ружья, и когда они не могли идти – везли на тележке и здесь уже добивали окончательно. Опытные люди знали, что стоит такому грешнику сейчас после наказания напиться воды – и конец. Так было и с Мыльниковым, по крайней мере в семье сохранилось предание, что он умер от воды. Маленький Тарас после отца попал в кантонисты и вынес тяжелую школу в местном батальоне, а когда пришел в возраст, его отправили на промыслы. Здесь он вывернулся с первого раза, потому что поступил в приисковые шорники: и работа нетрудная, да и жил он все время в тепле. Воля избавила Тараса от солдатчины и обязательной промысловой службы. Он сейчас же поселился на Низах, где купил себе избу и занялся столярным делом. Одиному человеку было нужно немного, и Тарас зажил справно, как следует настоящему мужику. Это время его благосостояния совпало с его женитьбой на Татьяне, которую он вывел из богатого зыковского дома.

Затем последовал крутой поворот. В конце шестидесятых годов, когда начиналась хивинская война, вдруг образовался громадный спрос на балчуговский сапог, и Тарас бросил свое столярное дело. У него был свой расчет: в столярном деле ему приходилось отдуваться одному, а при сапожном ремесле ему могли помогать жена и подраставшие дети. Так и вышло: Тарас рассчитал верно. Вся семья запряглась в тяжелую работу, а по мере того, как подрастали дети, Тарас стал все больше и больше отлынивать от дела, уделяя досуги любезным разговорам в кабаке Ермошки. Особенно облегчала его жизнь подросшая старшая дочь Окся, корявая и курносая девка, здоровая, как чурбан. Это было безответное существо, обладавшее неистощимым терпением. Жена Татьяна от работы, бедности и детей давно выбилась из сил и больше управлялась по домашности, а воротила всю работу Окся, под непосредственным наблюдением которой работали еще двое братьев-подростков.

– И в кого ты у нас уродилась, Окся, – часто говорила Татьяна, наблюдая дочь. – Ровно у нас таких неуворотных баб и в роду не бывало. Дерево деревом.

– Такая уж уродилась, мамынька, – отвечала Окся, не разгибаясь от работы. – Вся тут...

– Ох, горе ты мое, Окся! – стонала Татьяна. – Другие-то девки вот замуж повыскакали, а ты так в девках и зачичеревеешь... Кому тебя нужно, несообразную!

– Бог пошлет счастья, так и я замуж выйду, мамынька... Слава богу, не хуже других.

– Ох, дура, дура...

Оригинальнее всего было то, что Оксю, кормившую своей работой всю семью, походя корили каждым куском хлеба, каждой тряпкой. Особенно изобретателен был в этом случае

сам Тарас. Он каждый раз, принимая Оксину работу, непременно тыкал ее прямо в физиономию чем попало: сапогами, деревянной сапожной колодкой, а то и шилом.

– Стерва, знаешь хлеб жрать! – ругался он. – Пропasti на тебя нет!

Он все больше и больше наваливал работы на безответную девку, а когда она не исполняла ее, хлестал ремнем или таскал за волосы. Окся не жаловалась, не плакала, и это окончательно выводило Тараса из себя.

– Бесчувственная стерва... – удивлялся Тарас, измучившись боем. – Что ее учи, что не учи – один прок.

К счастью Окси, Тарасу некогда было серьезно заниматься наукой, и Окся в его отсутствие наслаждалась покоем. Что она думала – никто не знал, да и не интересовался знать, а Окся работала, не разгибая спины, и вечно молчала. Любимым удовольствием для нее было выйти за ворота и смотреть на улицу. Окся могла простоять таким образом у ворот часа три и все время скалила белые зубы. Парни потешались над ней, как над круглой дурой, и шутили грубые шутки: то грязью запустят, то в волосы закатают сапожного вару, то вымажут сажей. Окся защищалась отчаянно, как обезьяна, и тоже не жаловалась, точно так все и должно быть.

Так шла жизнь семьи Мыльниковых, когда в нее неожиданно хлынули дикие деньги, какие Тарас вымогал из доверчивых людей своей «словесностью». Раз под вечер он привел в свою избушку даже гостей – событие небывалое. С ним пришли: Кишкин, Яша, Петр Васильич с Фотьянки и Мина Клейменный.

– Милости просим, – приглашал Тарас. – Здесь нам много способнее будет разговоры-то разговаривать, а в кабаке еще, того гляди, подслушают да вызнают... Тоже народ ноне пошел, шильники. Эй, Окся, айда к Ермошке. Оборудуй четверть водки... Да у меня смотри: одна нога здесь, а другая там. Господа, вы на нее не смотрите: дура набитая. При ней все можно говорить, потому, как стена, ничего не поймет.

Окся накинула на голову платок и бросилась к двери.

– Эй ты, пень березовый! – остановил ее отец. – Стой, дура, выслушай перво... Водки купишь, так на обратном пути заверни в лавочку и купи фунт колбасы.

Это уж было совсем смешно, и Окся расхохоталась. Какая такая колбаса? Тоже выдумает тятенька.

– Ну не дура ли набитая? – повторял Тарас, обращаясь уже к гостям.

– Однако и дворец у тебя, Тарас, – удивлялся Кишкин, не зная, куда сесть. – Одним словом, хоромина.

– А вот погоди, Андрон Евстратыч, все справим, бог даст.

Петр Васильич степенно молчал, оглядывая Тарасову худобу. Он даже пожалел, что пошел сюда: срам один. Но предстояло важное дело, которое Мыльников все откладывал: именно сегодня Мина Клейменный должен был рассказать какую-то мудреную историю про Мутяшку. Это был совсем древний старик, остов человека, и жизнь едва теплилась в его потухших глазах. Свое прозвище он получил от клейм на висках. На старческой ссохшейся и пожелтевшей коже сохранились буквы СК, то есть ссыльно-каторжный. Таких клейменных в Балчуговском заводе оставалось уже немного: старики быстро вымирали. Мина был из дворовых людей Рязанской губернии и попал на каторгу за убийство бурмистра. Было это так давно, что и сам Мина уже не мог хорошенько припомнить, за что убил. Прошлое у него совсем вытерлось из памяти, заслоненное долголетней каторгой.

Когда Окся принесла водки и колбасы, твердой, как камень, разговоры сразу оживились. Все пропустили по стаканчику, но колбасу ел один Кишкин да хозяин. Окся стояла у печки и не могла удержаться от смеха, глядя на них: она в первый раз видела, как едят колбасу, и даже отплюнула несколько раз.

– Так ты нам с начала рассказывай, Мина, – говорил Тарас, усаживая старика в передний угол. – Как у вас все дело было... Ведь ты тогда в партии был, когда при казне по Мутяшке ширпы были?

– Был, как же, – соглашался Мина, шамкая беззубым ртом. – Большая партия была...

– Это при Разове было? – справился Петр Васильич, сохраняя необыкновенную степенность.

– Не перешибай ты его! – останавливал Тарас. – Старичок древний, как раз запутается... Ну-ка, дедушка, еще стаканчик кувырны!

– Большая партия была... – продолжал Мина, точно пережевывая каждое слово. – В кандалах выгнали на работу, а места по Мутяшке болотистые... лес... Казаки за нами с нагайками... Битва была, а не работа. Ненастье поднялось страшное, а хлеб-то и подмок... Оголодали, промокли... Ну, Разов нагнал – и сейчас давай нас драть. Он уж без этого не мог... Лютый человек был. Ну, на Мутяшке-то мы целый месяц муку принимали, а потом и подвернись казакам один старец. Он тут в лесу проживал, душу спасал... Казаки-то его поймали и приводят. Седенький такой старец, а головка трясется. Разов велел и его отпальсывать... Ну, старец-то принял наказание, перекрестился и Разова благословил... «Миленский, – говорит, – мне тебя жаль, не от себя лютуешь». Разов опять его бить... Тут уж старец слег: разнемогся вконец. И Разова тоже совесть взяла: оставил старца... Ну, мы робим, ширпы бьем, а старец под елочкой лежит и глядит на нас. Глядел-глядел, да и подзывает меня. «Что вы, – говорит, – понапрасну землю роете?.. И золото есть, да не вам его взять. Не вашими погаными руками...» – «Как же, – говорю я, – взять его, дедушка?» – «А умеючи, – говорит, – умеючи, потому положон здесь на золоте великий зарок. Ты к нему, а оно от тебя... Надо, – говорит, – чтобы невинная девица обошла сперва место то по три зари, да ширп бы она же указала...» Ну, какая у нас в те поры невинная девица, когда в партии все каторжане да казаки; так золото и не далось. Из глаз ушло... На промывке как будто и поблескивает, а стали доводить – и нет ничего. Так ни с чем и ушли...

– Ну, а про свинью-то, дедушка, – напомнил Тарас. – Ты уж нам все обскажи, как было дело...

– Тоже старец сказывал... – продолжал Мина, с трудом переводя дух. – Он сам-то из Тайболы, старой веры... Ну, так в допрежние времена, еще до Пугача, один мужик из Тайболы ходил по Кедровской даче и разыскивал тумпасы. Только дошел он до Мутяшки, ударил где-то на мысу ширп, и что бы ты думал, братец ты мой?... – лопата как зазвенит... Мужик даже испугался... Ну, собрался с духом и выкопал золотой самородок пуда в два весом. Выкопать-то выкопал мужик, да испугался... Первое дело, самородок-то на свинью походил: и как будто рыло, и как будто ноги – как есть свинья. Другое дело, куды ему деваться с самородком? В те поры с золотом-то такие строгости были, одна страсть... Первого-то мужика, который на Балчуговке нашел золото, слышь, на смерть начальство запероло... Вот тайбольскому мужику и сделалось страшно...

– Да не дурак ли? – вздохнул угнетенно Петр Васильич. – Бог счастья послал, а он испугался...

– Не перешибай! – оборвал его Тарас. – Дай кончить.

– И сделалось мужику страшно, так страшно – досмерти... Ежели продать самородок – поймают, ежели так бросить – жаль, а ежели объявить начальству – повернут всю Тайболу в каторгу, как повернули Балчуговский завод. Три ночи не спал мужик: все маялся и удумал штуку: взял да самородок и закопал в ширп, где его нашел. А сам убежал домой в Тайболу и молчал до самой смерти, а когда стал помирать, рассказал все своему сыну и тоже положил зарок молчать до смерти. Сын тоже молчал и только перед смертью объявил все внуку и тоже положил зарок, как дедушка.

– Ах, дурак мужик!.. – воскликнул Кишкин. – Ну, не дурак ли?

– Да еще какой дурак-то: бог счастья послал, а он его опять в землю зарыл... Ему, подлецу, руки по локоть отрубить, а самого в воду. Дурак, дурак...

– Удавить его мало! – заявил со своей стороны Тарас. – Да ежели бы мне бог счастья послал, да я бы сейчас Ястребову в город упер самородок-то, а потом ищи... Дурак мужик!..

Вся компания разразилась такой неистовой руганью по адресу мужика, закопавшего золотую свинью, что Мина Клейменный даже напугался, что все накинулись на него.

– Да ведь это не я, братцы! – взмолился он, забиваясь в угол.

– Ах, дурак мужик!.. Живого бы его изжарить на огне... Дурак, дурак!



Даже скромный Яша и тот ругался вместе с другими, размахивая руками и лез к Мине с кулаками. Лица у всех сделались красными от выпитой водки и возбуждения.

– А мы его найдем, самородок-то, – кричал Мыльников, – да к Ястребову... Ха-ха!.. Ловко... Комар носу не подточит. Так я говорю, Петр Васильич? Родимый мой... Ведь мы то с тобой еще в свойстве состоим по бабушкам.

– Как есть родня: троюродное наплевать.

– А ты не хрюкай на родню. У Родиона Потапыча первая-то жена, Марфа Тимофеевна, родной сестрой приходилась твоей матери, Лукерье Тимофеевне. Значит, в свойстве и выходит. Ловко Лукерья Тимофеевна прижала Родиона Потапыча. Утихомирила разом, а то совсем Яшку собрался драть в волости. Люблю...

– Ну, братцы, надо об деле столкнуться, – приставал Кишкин. – Первое мая на носу, надо партию...

– Валяй партию, всех записывай! – кричали пьяные голоса. – Добудем Мутяшку... А то и самородку разыщем, свинью эту самую.

– Я на себя запишу заявку-то... – предлагал Кишкин.

– Конечно, на себя: ты один у нас грамотный...

– А я Оксю приспособлю, может, она найдет свинью-то, предлагал Мыльников, – она хоша и круглая дура, а честная...

– Можно и сестру Марью на такой случай вывести... – предлагал расхрабренный Яша. – Тоже девица вполне... Может, вдвоем-то они скорее найдут. А ты, Андрон Евстратыч, главное дело, не ошибись гумагой, потому как гумага первое дело.

– Да уж надейтесь на меня: не подгадим дела, – уверял Кишкин.

Дальше в избушке поднялся такой шум, что никто и ничего не мог разобрать. Окся успела слетать за второй четвертью и на закуску принесла соленого максуна. Пока другие пили водку, она успела стащить половину рыбы и разделила братьям и матери, сидевшим в холодных сенях.

– Они теперь совсем одурели... – коротко объяснила она, уплетая соленую рыбу за обе щеки. – А тятенька прямо на стену лезет...

– Да разве на одной Мутяшке золото-то? – выкрикивал Мыльников, качаясь на ногах. – Да сколько его хошь, золота: по Худенькой, по Малиновке, по Генералке, а там Свистунья, Ледянка, Миляев мыс, Сухойойка, Маякова слань. Бугры золота...

Увлечшись, Мыльников совсем забыл, что этими местами обманывал городских промышленников, и теперь уверял всех, что везде был сам и везде находил верные знаки.

– Перестань врать, непутевая голова! – оборвал его Петр Васильич.

Пьяный Мина Клейменный давно уже лежал под столом. Его там нашли только утром, когда Окся принялась за свою работу. Разбуженный старик долго не мог ничего понять, как он очутился здесь, и только беззвучно жевал своим беззубым ртом. Голова у него трещала с похмелья, как худой колокол.

### III

Тронувшаяся вешняя вода не произвела обычного эффекта на промыслах. Рабочие ждали с нетерпением первого мая, когда открывалась Кедровская дача. Крупные золотопромышленники организовали приисковые партии через своих поверенных, а мелкота толкалась в Балчуговском заводе самолично. Цены на рабочие руки поднялись сразу, потому что везде было нужно настоящих приисковых рабочих. Пока балчуговские мужики проживали полученные задатки, на компанейские работы выходила только отчаянная гольтыба и приисковая рвань. Да и на эту рабочую силу был плохой расчет, потому что и эти отбросы ждали только первого мая. Родион Потапыч рвал на себе волосы в отчаянии.

– Ничего, пусть поволнуются... – успокаивал Карачунский. – По крайней мере, теперь не будет на нас жалоб, что мы тесним работами, мало платим и обижаем. К нам-то придет, поверь...

– А время-то какое?.. – жаловался Родион Потапыч. – Ведь в прошлом году у нас стоном стон стоял... Одних старателишек неочерпаемое множество, а теперь они и губу на локоть. Только и разговору: Кедровская дача, Кедровская дача. Без рабочих совсем останемся, Степан Романыч.

– Вздор... Попробуют и бросят, поверь мне. Во всяком случае я ничего страшного пока еще не вижу...

Чтобы развеселить старика, Карачунский прибавил:

– Старатели будут, конечно, воровать золото на новых промыслах, а мы будем его скупать... Новые золотопромышленники закопают лишние деньги в Кедровской даче, а рабочие к нам же и придут. Уцелеет один Ястребов и будет скупать наше золото, как скупал его и раньше.

– Уж этот уцелеет... Повесить его мало... Теперь у него с Ермошкой кабатчиком такая дружба завелась – водой не разольешь. Рука руку моет... А что на Фотьянке делается: совсем сбесился народ. С Балчуговского все на Фотьянку кинулись... Смута такая пошла, что не слушай теплая хороминка. И этот Кишкин тут впутался, и Ястребов наезжал раза три... Живым мясом хотят разорвать Кедровскую-то дачу. Гляжу я на них и дивлюсь про себя: вот до чего привел господь дожить. Не глядели бы глаза.

– Ну, а что твоя Феня?

Родион Потапыч не любил подобных расспросов и каждый раз хмурился. Карачунский наблюдал его улыбающимися глазами и тоже молчал.

– Устроил... – коротко ответил он, опуская глаза. – К себе-то в дом совестно было ее привезти, так я ее на Фотьянку, к сродственнице определил. Баушка Лукерья... Она мне по первой жене своячиной приходится. Ну, я к ней и опеределил Феню пока что...

– А потом?

– А потом уж что господь пошлет.

После длинной паузы старик прибавил:

– Своячина-то, значит, баушка Лукерья, совсем правильная женщина, а вот сын у ней...

– Петр Васильич? – подсказал Карачунский, обладавший изумительной памятью на имена.

– Он самый... Сродственник он мне, а прямо скажу: змей подколодный. Первое дело – с Кишкиным канпанию завел, потом Ястребова к себе на фатеру пустил... У них теперь на Фотьянке черт кашу варит.

Чтобы добыть Феню из Тайболы, была употреблена военная хитрость. Во-первых, к Кожиным отправилась сама баушка Лукерья Тимофеевна и заявила, что Родион Потапыч согласен простить дочь, буде она явится с повинной.

– Конечно, построжит старик для видимости, – объясняла она старухе Маремьяне, – сорвет сердце... Может, и побьет. А только родительское сердце отходчиво. Сама, поди, знаешь по своим детям.

– А как он ее запрет дома-то? – сомневалась старая раскольница, пристально взглядываясь в хитрого посла.

– Запре-от? – удивилась баушка Лукерья. – Да ему-то какая теперь в ней корысть? Была девка, не умели беречь, так теперь ветра в поле искать... Да еще и то сказать, в Балчугах народ балованный, как раз еще и ворота дегтем вымажут... Парни-то нынче ножовые. Скажут: нами брезговала, а за кержака убежала. У них свое на уме...

– Это ты правильно, баушка Лукерья... – туго соглашалась Маремьяна. – Хошь до кого доведись.

– Я-то ведь не неволю, а приехала вас же жалеючи... И Фене-то не сладко жить, когда родители хуже чужих стали. А ведь Феня-то все-таки своя кровь, из роду-племени не выкинешь.

– Уж ты-то помоги нам, баушка...

Уластила старуха кержанку и уехала. С неделю думали Кожины, как быть. Акинфий Назарыч был против того, чтобы отпускать жену одну, но не мог он устоять перед жениными слезами. Нечего делать, заложил он лошадь и под вечерок, чтобы не видели добрые люди, сам повез жену на мировую. Выбрана была нарочно суббота, чтобы застать дома самого Родиона Потапыча. Высадил Кожин жену около церкви, поцеловал ее в последний раз и отпустил, а сам остался дожидаться. Он даже прослезился, когда Феня торопливо пошла от него и скрылась в темноте, точно чуяло его сердце беду.

Родион Потапыч действительно был дома и сам отворил дочери дверь. Он ни слова не проронил, пока Феня с причитаньями и слезами ползала у его ног, а только велел Прокопию запрячь лошадь. Когда все было готово, он вывел дочь во двор, усадил с собой в пошевни и выехал со двора, но повернул не направо, где дожидался Акинфий, а влево. Встрепенулась было Феня, как птица, попавшая в западню, но старик грозно прикрикнул на нее и погнал лошадь. Он догадался, что Кожин ждет ее где-нибудь поблизости, объехал засаду другой улицей, а там мелькнула «пьяная контора», Ермошкин кабак и последние избушки Нагорной.

– Тятенька, родимый, куда ты везешь меня? – взмолилась Феня.

– А вот узнаешь, куда...

Феня вся похолодела от ужаса, так что даже не сопротивлялась и не плакала. Вот и Краюхин увал, и шахты, и казенный громадный разрез, и молодой лесок, выросший по свалкам и отвалам. Когда уже мелькнули впереди огоньки Фотьянки, Феня догадалась, куда отец везет ее, и внутренне обрадовалась: баушку Лукерью она видала редко, но привыкла ее уважать. Пошевни переехали реку Балчуговку по ветхому мостику, поднялись на мысок, где стоял кабак Фролки, и остановились у дома Петра Васильича. На топот лошади в волоковом оконце показалась голова самой баушки Лукерьи. Старуха сама вышла на крыльцо встречать дорогих гостей и проводила Феню прямо в заднюю избу, где жила сама.

– Ты посиди здесь, жар-птица, а я пока потолкую с отцом, – сказала она, припирая дверь на всякий случай железной задвижкой.

Родион Потапыч сидел в передней избе, которая делилась капитальной стеной на две комнаты – в первой была русская печь, а вторая оставалась чистой горницей.

– Ну, гостенек дорогой, проходи в горницу, – приглашала баушка Лукерья. – Сядем рядком да поговорим ладком...

– О чем говорить-то? Весь тут. Дома ничего не осталось... А где у тебя змей-то кривой?

– Ох, не спрашивай... Канпанятся они теперь в кабаке вот уж близко месяца, и конца-краю нету. Только что и будет... Сегодня зятек-то твой, Тарас Матвейч, пришел с Кишкиным и сейчас к Фролке: у них одно заведение. Ну, так ты насчет Фени не сумлевайся: отвожусь как-нибудь...

– Ты с нее одежду-то ихнюю сыми первым делом... Нож мне это вострый. А ежели нагонят из Тайболы да будут приставать, так ты мне дай знать на шахты или на плотину: я их живой рукой поверну.

– Всяк кулик на своем болоте велик, Родион Потапыч... Управимся и без тебя. Чем я тебя угощать-то буду, своячок?.. Водочку не потребляешь?

– Отроду не пивал, не знаю, чем она и пахнет, а теперь уж поздно начинать... Ну так, своячинушка, направляй ты нашу заблудящую девку, как тебе бог на душу положит, а там, может, и сочтемся. Что тебе понадобится, то и сделаю. А теперь, значит, прощай...

Баушка Лукерья не задерживала гостя, потому что догадалась чего он боится, именно встречи с Петром Васильичем и Кишкиным. Она проводила его за ворота.

– Приеду как-нибудь в другой раз... – глухо проговорил старик, усаживаясь в свои пошевни. – А теперь мутит меня... Говорить-то об ней даже не могу. Ну, прощай...

Так Феня и осталась на Фотьянке. Баушка Лукерья несколько дней точно не замечала ее: придет в избу, делает какое-нибудь свое старушечье дело, а на Феню и не взглянет.

– Баушка, родненькая, мне страшно... – несколько раз повторяла Феня, когда старуха собиралась уходить.

– Страшнее того, что сама наделала, не будет...

Горько расплакалась Феня всего один раз, когда брат Яша привез ей из Балчугова ее девичье приданое. Снимая с себя раскольничий косоклиный сарафан, подаренный богоданной матушкой Маремьяной, она точно навеки прощалась со своей тайболовской жизнью. Ах, как было ей горько и тошно, особенно вспоминая любовные речи Акинфия Назарыча... Где-то он теперь, мил-сердечный друг? Принесут ему ее дареное платье, как с утопленницы. Баушка Лукерья поняла девичье горе, нахмурилась и сурово сказала:

– Не о себе реवेशь, непутевая... Перестань дурить. То-то ваша девичья совесть... Недаром слово молвится: до порога.

– Хошь бы я словечко одно ему сказала... – плакала Феня. – За привет, да за ласку, да за его любовь...

– Очень уж просты на любовь-то мужики эти самые, – ворчала старуха, свертывая дареное платье. Им ведь чужого-то века не жаль, только бы свое получить. Не бойся, утешится твой-то с какой-нибудь кержанкой. Не стало вашего брата, девок... А ты у меня поревни, на поклоны поставлю.

Хотела Феня повидать Яшу, чтобы с ним послать Акинфию Назарычу поклончик, да баушка Лукерья не пустила, а опять затворила в задней избе. Горько убивалась Феня, точно ее живую похоронили на Фотьянке.

Баушка Лукерья жила в задней избе одна, и, когда легли спать, она, чтобы утешить чем-нибудь Феню, начала рассказывать про прежнюю «казенную жизнь»: как она с сестрой Марфой Тимофеевной жила «за помещиком», как помещик обижал своих дворовых девушек, как сестра Марфа Тимофеевна не стерпела поруганья и подожгла барский дом.

– А стыда-то, стыда сколько напринимались мы в девичьей, – рассказывал в темноте баушкин голос. – Сегодня одна, завтра другая... Конечно, подневольное наше девичье дело было, а пригнали нас на каторгу в Балчуги, тут покойничек Антон Лазарич лакомство свое тешил. Так это все грех подневольный, за который и взыску нет: чего с каторжанок взять. А и тут, как вышли на поселенье, посмотри-ка, какие бабы вышли: ни про одну худого слова не молвят. И ни одной такой-то не нашлось, чтобы польстилась в другую веру уйти... Терпеть – терпели всячину, а этого не было. И бога не забывали и в свою православную церковь ходили... Только и радости было, что одна церковь, когда каторгу отбывали. Родная мать наша была церковью-то православная: сколько, бывало, поплачем да помолимся, столько и поживем. Вот это какое дело... расейский народ крепкий, не то, что здешние.

Феня внимательно слушала неторопливую баушкину речь и проникалась прошлым страшным горем, какое баушка принесла из далекой Расеи сюда, на каторгу. С детства она слышала все эти рассказы, но сейчас баушка Лукерья гнула свое, стороной обвиняя Феню в измене православию. Последнее испугало Феню, особенно когда баушка Лукерья сказала:

– А ты того не подумала, Феня, что родился бы у тебя младенец, и потащила бы Маремьяна к старикам да к своим старухам крестить? Разве ихнее крещение правильное: загубила бы Маремьяна ангельскую душеньку – только и всего. Какой бы ты грех на свою душу приняла?... Другая девушка не сохранит себя, – вон какой у нас народ на промыслах! – разродится младенцем, а все-таки младенец крещеный будет... Стыд-то свой девичий сама износит, а младенческую душеньку ухранит. А того ты не подумала, что у тебя народилось бы человек пять ребят, тогда как?..

– Баушка, миленькая, я думала, что... Очень уж любит меня Акинфий-то Назарыч, может, он и повернулся бы в нашу православную веру. Думала я об этом и день и ночь...

– А Маремьяна?... Нет, голубушка, при живности старухи нечего было тебе и думать. Пустое это дело, заостенела она в своей старой вере...

– А ежели Маремьяна умрет, баушка? Не два века она будет жить...

– Тогда другой разговор... Только старые люди сказывали, что свинья не родит бобра. Понадеялась ты на любовные речи своего Акинфия Назарыча прежде времени...

Каждый вечер происходили эти тихие любовные речи, и Феня все больше проникалась сознанием правоты баушки Лукерьи. А с другой стороны, ее тянуло в Тайболу мертвой тягой: свернулась бы птицей и полетела... Хоть бы один раз взглянуть, что там делается!

Ровно через неделю Кожин разыскал, где была спрятана Феня, и верхом приехал в Фотьянку. Сначала, для отвода глаз, он завернул в кабак, будто собирается золото искать в

Кедровской даче. Поговорил он кое с кем из мужиков, а потом послал за Петром Васильичем. Тот не заставил себя ждать и, как увидел Кожина, сразу смекнул, в чем дело. Чтобы не выдать себя, Петр Васильич с час ломал комедию и сговаривался с Кожиним о золоте.

– Пойдем-ка ко мне, Акинфий Назарыч, – пригласил он наконец смущенного Кожина, – может, дома-то лучше сговоримся...

Свою лошадь Кожин оставил у кабака, а сам пошел пешком.

– Вот что, друг милый, – заговорил Петр Васильич, – зачем ты приехал – твое дело, а только смотри, чтобы тихо и смирно. Все от матушки будет: допустит тебя или не допустит. Так и знай...

– Тише воды, ниже травы буду, Петр Васильич, а твоей услуги не забуду...

– То-то, уговор на берегу. Другое тебе слово скажу: напрасно ты приехал. Я так мекаю, что матушка повернула Феню на свою руку... Бабы это умеют делать: тихими словами как примется наговаривать да как слезами учнет донимать – хуже обуха.

Сначала Петр Васильич пошел и предупредил мать. Баушка Лукерья встрепенулась вся, но раскинула умом и велела позвать Кожина в избу. Тот вошел такой убитый да смиренный, что ей вчуже сделалось его жаль. Он поздоровался, присел на лавку и заговорил, будто приехал в Фотьянку нанимать рабочих для заявки.

– Вот что, Акинфий Назарыч, золото-то ты свое уж оставь, – обрезала баушка Лукерья. – Захотел Феню повидать? Так и говори... Прямое дерево ветру не боится. Я ее сейчас позову.

У Кожина захолонуло на душе: он не ожидал, что все обойдется так просто. Пока баушка Лукерья ходила в заднюю избу за Феней, прошла целая вечность. Петр Васильич стоял неподвижно у печи, а Кожин сидел на лавке, низко опустив голову. Когда скрипнула дверь, он весь вздрогнул. Феня остановилась в дверях и не шла дальше.

– Феня... – зашептал Акинфий Назарыч, делая шаг к ней.

– Не подходи, Акинфий Назарыч... – остановила она. – Что тебе нужно от меня?

Кожин остановился, посмотрел на Феню и проговорил:

– Одно я хотел спросить тебя, Федосья Родионовна: своей ты волей попала сюда или неволей?

– Попала неволей, а теперь живу своей волей, Акинфий Назарыч... Спасибо за любовь да за ласку, а в Тайболу я не поеду, ежели...

Она остановилась, перевела дух и тихо прибавила:

– Хочу, чтобы все по нашей вере было...

Эти слова точно пошатнули Кожина. Он сел на лавку, закрыл лицо руками и заплакал. Петр Васильич крикнул, баушка Лукерья стояла в уголке, опустив глаза. Феня вся побелела, но не сделала шагу. В избе раздавались только глухие рыдания Кожина. Еще бы одно мгновение, и она бросилась бы к нему, но Кожин в этот момент поднялся с лавки, выпрямился и проговорил:

– Бог тебе судья, Федосья Родионовна... Не так у меня было удумано, не так было сложено, душу ты во мне повернула.

– Зачем ты ее сомущаешь? – остановила его баушка Лукерья. – Она про свою голову промышляет...

Кожин посмотрел на старуху, ударил себя кулаком в грудь и как-то простонал:

– Баушка, не мне тебя учить, а только большой ответ ты принимаешь на себя...

– Ладно, я еще сама с тобой поговорю... Феня, ступай к себе.

Разговор оказался короче воробьиного носа: баушка Лукерья говорила свое, Кожин свое. Он не стыдился своих слез и только смотрел на старуху такими страшными глазами.

– Не о чем, видно, нам разговаривать-то, – решил он, прощаясь. – Пропaday, голова, ни за грош, ни за копеечку!

Когда Кожин вышел из избы, баушка Лукерья тяжело вздохнула и проговорила:

– Хорош мужик, кабы не старуха Маремьяна.

#### IV

Кишкин не терял времени даром и делал два дела зараз. Во-первых, он закончил громадный донос на бывшее казенное управление Балчуговских промыслов, над которым работал года три самым тщательным образом. Нужно было собрать фактический материал, обставить его цифровыми данными, иллюстрировать свидетельскими показаниями и вывести заключения, – все это он исполнил с добросовестностью озлобленного человека. Во-вторых, нужно было подготовить все к заявке прииска в Кедровой даче, а это требовало и времени и умения.

Когда-то у Кишкина был свой дом и полное хозяйство, а теперь ему приходилось жаться на квартире, в одной каморке, заваленной всевозможным хламом. Стяжатель по натуре, Кишкин тащил в свою каморку решительно все, что мог достать тем или другим путем, – старую газету, которую выпрашивал почитать у кого-нибудь из компанейских служащих, железный крюк, найденный на дороге, образцы разных горных пород и т. д. В одном уголке стоял заветный деревянный шкафчик, занятый материалами для доноса. По ночам долго горела жестяная лампочка в этой каморке, и Кишкин строчил свою роковую повесть о «казенном времени». В этом доносе сосредоточивалась вся его жизнь. Он переписывал его несколько месяцев, выводя старческим убористым почерком одну строку за другой, как паук тклет свою паутину. Когда работа была кончена, Кишкин набожно перекрестился: он вылил всю свою душу, все, чем наболел в дни своего захудания.

– Всем сестрам по серьгам! – говорил он вслух и ехидно хихикал, закрывая рот рукой. – Что такое теперь Кишкин: ничтожность! пыль!.. последний человек!.. Хи-хи-хи!.. И вдруг вот этот самый Кишкин всех и достигнет... всех!.. Э, голубчики, будет: пожили, порадовались – надо и честь знать. Поди, думают, что все уж умерло и быльем поросло, а тут вдруг сюрприз... Пожалуйте, на цугундер, имярек! Хи-хи... Вы в колясках катаетесь, а Кишкин пешком ходит. Вы в палатах поживаете, а Кишкин в норе гниет... Погодите, всех выведу на свежую воду! Будете помнить Кишкина.

Целую ночь не спал старый ябедник и все ходил по комнате, разговаривая вслух и хихикая так, что вдова-хозяйка решила про себя, что жилец свихнулся.

Захватив свое произведение, свернутое трубочкой, Кишкин пешком отправился в город, до которого от Балчуговского завода считалось около двенадцати верст. Дорога проходила через Тайболу. Кишкин шел такой радостный, точно помолодел лет на двадцать, и все улыбался, прижимая рукопись к сердцу. Вот она, голубушка... Тепленькое дельце заварится. Дорого бы дали вот за эту бумажку те самые, которые сейчас не подозревают даже о его существовании. «Какой Кишкин?..» Х-ха, вот вам и какой: добренький, старенький, бедненький... Пешочком идет Кишкин и несет вам гостинец.

В городе Кишкин знал всех и поэтому прямо отправился в квартиру прокурора. Его заставили подождать в передней. Прокурор, пожилой важный господин, отнесся к нему совсем равнодушно и, сунув жалобу на письменный стол, сказал, что рассмотрит ее.

– Ничего, я подожду, ваше высокоблагородие, – смиренно отвечал Кишкин, предвкушая в недалеком будущем иные отношения вот со стороны этого важного чина. – Маленький человек... Подожду.

От прокурора Кишкин прошел в горное правление, в так называемый «золотой стол», за которым в свое время вершились большие дела. Когда-то заветной мечтой Кишкина было попасть в это обетованное место, но так и не удалось: «золотой стол» находился в ведении одной горной фамилии вот уже пятьдесят лет, и чужому человеку здесь делать было нечего. А тепленькое местечко... В горных делах царила фамилия Каблуковых: старший брат, Илья Федотыч, служил секретарем при канцелярии горного начальника, а младший, Андрей Федотыч, столоначальником «золотого отряда». Около них ютилась бесчисленная родня. Собственно, братья Каблуковы были близнецы, и разница в рождении заключалась всего в нескольких часах. В них была вся сила, а горные инженеры и разное начальство служили только для декорации.

– Ну что, Андрон Евстратыч? – спрашивал младший Каблуков, с которым в богатое время Кишкин был даже в дружбе и чуть не женился на его родной сестре, конечно, с тайной

целью хотя этим путем проникнуть в роковой круг. – Каково прыгаешь?

– Да вот думаю золотишко искать в Кедровской даче.

– Разве лишние деньги есть?

– На мои сиротские слезы, может, бог и пошлет счастья...

– Что же, давай бог нашему теляти волка поймай. Подавай заявку, а отвод сейчас будет готов. По старой дружбе все устроим...

– Знаю я вашу дружбу...

Андрей Федотыч был добродушный и веселый человек и любил пошутить, вызывая скрытую зависть Кишкина: хорошо шутить, когда в банке тысяч пятьдесят лежит. Старший брат, Илья Федотыч, наоборот, был очень мрачный субъект и не любил болтать напрасно. Он являлся главной силой, как старый делец, знавший все ходы и выходы сложного горного хозяйства. Кишкина он принимал всегда сухо, но на этот раз отвел его в соседнюю комнату и строго спросил:

– Ты это что, сбесился, Андрюшка?

– А что?

– А вот это самое... Думаешь, мы и не знаем? Все знаем, не беспокойся. Кляузы-то свои пора тебе оставить.

– Не поглянулось?..

– Да ты чему радуешься-то, Андрюшка? Знаешь поговорку: взвыла собака на свою голову. Так и твое дело. Ты еще не успел подумать, а я уж все знаю. Пустой ты человек, и больше ничего.

Кишкин смотрел на Илью Федотыча и только ухмылялся: вот этот вперед всех догадался... Его не проведешь.

– Вот что, Илья Федотыч, – заговорил Кишкин деловым тоном, – теперь уж поздно нам с тобой разговаривать. Сейчас только от прокурора.

– Ах, пес!..

– Вот тебе и пес... Такой уж уродился. Раньше-то я за вами ходил, а теперь уж вы за мной ходите. И ходите, даже очень ходите... А пока что, думаю заявочку в Кедровской даче сделать.

– Не дадим, – коротко отрезал Илья Федотыч.

– Нет, дашь... – так же коротко ответил Кишкин и ухмыльнулся. – В некоторое время еще могу пригодиться. Не пошел бы я к тебе, кабы не моя сила. Давно бы мне так-то догадаться...

Илья Федотыч с изумлением посмотрел на Кишкина: перед ним действительно был совсем другой человек. Великий горный делец подумал, пожал плечами и решил:

– Ну, черт с тобой, делай заявку...

Эта ничтожная по своим размерам победа для Кишкина являлась предвестником его возрождения: сам Илья Федотыч тухнул перед ним, а это что-нибудь значит.

Вернувшись в Балчуговский завод, Кишкин принялся за дело.

Конец апреля выдался теплый и ясный. Компанейские работы уже шли полным ходом, главным образом за Фотьянкой, где по обоим берегам Балчуговки залегали богатейшие россыпи. Ввиду наступления первого мая поисковые партии сосредоточивались в Фотьянке, потому что отсюда до грани Кедровской дачи было рукой подать, то есть всего верст двенадцать. Первым на Фотьянку явился знаменитый скупщик Ястребов и занял квартиру в лучшем доме, именно у Петра Васильича. Баушка Лукерья не хотела его пускать из страха перед Родионом Потапычем, но Петр Васильич, жадный до денег, так взъелся на мать, что старуха не устояла.

– Что мы разве невольники какие для твоего Родиона-то Потапыча? – выкрикивал Петр Васильич. – Ему хорошо, так и другим тоже надо... Как собака лежит на сене: сам не ест и

другим не дает. Продался канпании и знать ничего не хочет... Захудал народ вконец, взять хоть нашу Фотьянку, а кто цены-то ставит? У него лишнего гроша никто еще не заработал...

– По кабакам бы меньше пропивали!

– Кабак тут не причина, маменька... Подшибся народ вконец, вот из последних и канпанятся по кабакам. Все одно за канпанией-то пропадом пропадать... И наше дело взять: какая нам такая печаль до Родиона Потапыча, когда с Ястребова ты в месяц цалковых пятнадцать получишь. Такого случая не скоро дождешься... В другой раз Кедровскую дачу не будем открывать.

Старуха сдалась, потому что на Фотьянке деньги стоили дорого. Ястребов действительно дал пятнадцать рублей в месяц да еще сказал, что будет жить только наездом. Приехал Ястребов на тройке в своем тарантасе и произвел на всю Фотьянку большое впечатление, точно этим приездом открывалась в истории кондового варнацкого гнезда новая эра. Держал себя Ястребов настоящим барином и сыпал деньгами направо и налево.

– Ну, баушка, будем жить-поживать да добра наживать, – весело говорил он, располагая свои пожитки в чистой горнице.

– А я тебе вот что скажу, Никита Яковлевич, – ответила старуха, – жить живи себе на здоровье, а только боюсь я...

– Чего испугалась-то прежде времени, баушка?

– Да как же, начнешь золото скупать... И нас засудят.

Ястребов засмеялся.

– Ну, этого у меня заведенья не полагается, баушка, – успокоил он, – у меня один закон для всех: кто из рабочих только нос покажет с краденым золотом – шабаш. Чтобы и духу его не было... У меня строго, баушка.

– То-то, миленький, смотри...

– В оба глядим, баушка, где плохо лежит, – пошутил Ястребов и даже похлопал старуху по плечу. – Не бойся, а только живи веселее, – скорее повесят...

– С тобой, с разговором, и то повесят...

Веселый характер опасного жильца понравился старухе, и она махнула на Родиона Потапыча.

Появлением Ястребова в доме Петра Васильича больше всех был огорчен Кишкин. Он рассчитывал устроить в избе главную резиденцию, а теперь пришлось занять просто баню, потому что в задней избе жила сама баушка Лукерья с Феней.

– Ну, это не фасон, Петр Васильич, – ворчал Кишкин. – Ты что раньше-то говорил: «У меня в избе живите, как дома», «у меня вольготно», а сам пустил Ястребова.

– Ах, Андрон Евстратыч, не я пустил, а мамынька, – отпирался Петр Васильич самым бессовестным образом.

– Не ври уж в глаза-то, а то еще как раз подавишься...

Таким образом баня сделалась главным сборным пунктом будущих миллионеров, и сюда же натащили разную присковую снасть, необходимую для разведки: ручной вашгерд, насос, скрепки, лопаты, кайлы, пробный ковш и т. д. Кишкин отобрал заблаговременно паспорта у своей партии и предъявил в волость, что требовалось по закону. Все остальные слепо повиновались Кишкину, как главному коноводу.

Канун первого мая для Фотьянки прошел в каком-то чаду. Вся деревня поднялась на ноги с раннего утра, а из Балчуговского завода так и подваливала одна партия за другой. Золотопромышленники ехали отдельно в своих экипажах парами. Около обеда вокруг кабака Фролки вырос целый табор. Кишкин толкался на народе и прислушивался, о чем галдят.

– Это твоя работа, анафема!.. – корил Кишкин Мыльникову, которого брали на разрыв. – Вот сколько народу обоврал...

– Был такой грех, Андрон Евстратыч, в городе деньги легкие... Пусть потешатся.

К обеду пригнал сам Ермошка, повернулся в кабаке, а потом отправился к Ястребову и долго о чем-то толковал с ним, плотно притворив дверь. К вечеру вся Фотьянка сразу



опустела, потому что партий тридцать выступили по единственной дороге в Кедровскую дачу, которая из Фотьянки вела на Мелединский кордон. Это был настоящий поход, точно двигалась какая-нибудь армия. Золотопромышленники ехали верхом, потому что в весеннюю распутицу на колесах здесь не было хода, а рабочие шли пешком. Партия Кишкина выступила одной из последних. Задержал Мыльников, пропавший в самую критическую минуту, – его едва разыскали. Он вообще что-то хитрил.

– Ты у меня, оборотень, смотри!.. – пригрозил Кишкин, вошедший в роль заправилы. – В лесу-то один Никола бог: расчет мелкими дадим.

Партия составлена была из следующих лиц: Кишкин, Петр Васильич, Мыльников, Яша, Мина Клейменный, Турка и Матюшка. Настоящим работником был один Матюшка да разве Петр Васильич с Мыльниковым, а остальные больше для счета. Впрочем, приисковая работа требовала большой сноровки, и старики могли ответить за молодых. Собственно вожаком служил Мина Клейменный, а другие только проверяли его. В хвосте партии плелась Окся, взятая по общему соглашению для счастья. Это была единственная баба на все поисковые партии, что заметно шокировало настоящих мужиков, как Матюшка, делавший вид, что совсем не замечает Окси.

– Ты, дедушка, не ошибись, – упрашивал Кишкин. – Тоже не молодое твое место... Может, и запомнил место-то?

– Чего его запомнить-то? – обижался Мина. – Как перейдем Ледянку, сейчас тебе вправо выпадет дорога на Мелединский кордон, а мы повернем влево, к Каленой горе...

– Да ведь ты про Миляев мыс сказывал-то?

– Ах, какой же ты, братец мой, непонятный! Ну, тут тебе и есть Миляев мыс, потому как Мутяшка упала в Меледу под самой Каленой горой.

– Смотри, старый, не ошибись...

Кишкин ужасно волновался и подозрительно оглядывал каждого встречного.

– А где же Ястребов-то? – спохватился он. – Ах, батюшка... Как раз он нагонит нас, да по нашим следам и пойдет.

– Чай остался пить с Ермошкой... – объяснил уклончиво Петр Васильич.

Кедровская дача занимала громадную площадь в четыреста тысяч десятин и из одного угла в другой была перерезана рекой Меледой, впадавшей в Балчуговку верстах в двадцати ниже Фотьянки. Вся дача состояла из непроходимых болот и дремучего леса. Единственным живым пунктом был кордон на Меледе, где зиму и лето жил лесник. В Меледу впадал целый ряд болотных речек, как Мутяшка, Генералка, Ледянка, Свистунья и Суходойка. Застоявшаяся болотная вода этими речонками выливалась в Меледу. Места были все глухие, куда выезжали только осенью «шишковать», то есть собирать шишки по кедровникам. Дорога в верхотинах Суходойки и Ледянки была еще в казенное время правлена и получила название Маяковой слани, – это была сейчас самая скверная часть пути, потому что мостовины давно сгнили и приходилось людям и лошадям брести по вязкой грязи, в которой плавали гнилые мостовины. Про Маякову слань рассказывали нехорошие вещи: блазило здесь и глаза отводило, если кто оробеет. Перед Маяковой сланью партии делали первую передышку, а часть отправилась на заявки вниз по Суходойке.

– Это твоя работа... – шутил Кишкин, показывая Мыльникову на пробитую по берегу Суходойки сакму. – Спасибо тебе скажут.

На Маяковой слани партия Кишкина «затемнала», и пришлось брести в темноте по страшному месту. Особенно доставалось несчастной Оксе, которая постоянно спотыкалась в темноте и несколько раз чуть не растянулась в грязь. Мыльников брел по грязи за ней и в критических местах толкал ее в спину черным лопаты.

– Ну ты, скотинка богова... – ворчал он. – Ведь уродится же этакая тварина!

У конца Маяковой слани, где шла поворотка на кордон, партия остановилась для совещания. Отсюда к Каленой горе приходилось идти прямо лесом.

– Мина, смотри, не ошибись! – кричали голоса. – Кабы на Малиновку не изгадать...

Река Малиновка была правым притоком Мутяшки, о ней тоже ходили нехорошие слухи. Когда партия двинулась в лес, произошло некоторое обстоятельство, невольно смутившее

всех.

– Тятка, кто-то на вершной проехал, – заявила Окся, показывая на поворотку к кордону. – Остановился, поглядел и поехал...

– Да куда поехал-то, чучело гороховое?

– А за вами...

Кишкину тоже показалось, что кто-то «следит» за партией на известном расстоянии.

## V

Ночь на первое мая была единственной в летописях золотопромышленности: Кедровскую дачу брали приступом, точно клад. Всех партий по течению Меледы и ее притоков сошлось больше сотни, и стоном стон стоял. Ровно в двенадцать часов начали копать заявочные ямы и ставить столбы. Главная работа загорелась под Каленой горой, где сошлось несколько поисковых партий, кроме партии Кишкина; очутился здесь и Ястребов, и кабатчик Ермошка, и мещанин Затыкин, и еще какие-то никому неведомые люди, нагнавшие из города. Всем хотелось захватить получше местечко на Мутяшке, о которой Мыльников распустил самые невероятные слухи. На Миляевом мысу, где Кишкин предполагал сделать заявку, произошла настоящая битва. Когда Кишкин пришел с партией на место, то на Миляевом мысу уже стояли заявочные столбы мещанина Затыкина, успевшего предупредить всех остальных.

– Руби столбы, ребята! – командовал Кишкин, размахивая руками. – До двенадцати часов поставлены... Не по закону!

– Врешь, у тебя часы переведены! – кричал Затыкин, показывая свои серебряные часы. – Не тронь мои столбы...

Поднялся шум и гвалт... Матюшка без разговоров выворотил затыкинский столб и поставил на его место свой. Рабочие Затыкина бросились на Матюшку. Произошла настоящая свалка, причем громче всех раздавался голос Мыльникова:

– Батюшки, убили!.. Родимые, пустите душу на покаяние!..

Темнота увеличивала суматоху. Свои не узнавали своих, а лесная тишь огласилась неистовыми криками, руганью и ревом. В заключение появился Ястребов, приехавший верхом.

– Что за драка? – крикнул он. – Убирайтесь вон с моего места, дураки!..

– Давно ли оно твоим-то стало? – огрызнулся Кишкин охрипшим от крика и ругани голосом. – Проваливай в палевом, приходи в голубом...

Ястребов замахнулся на Кишкина нагайкой, но вовремя остановился.

– Ну, ударь?! – ревел Кишкин, наступая. – Ну?.. Не испугались... Да. Ударь!.. Не смеешь при свидетелях-то безобразие свое показать...

– Не хочу! – отрезал Ястребов. – Вы в моей заявке столбы-то ставите... Вот я вас и уважу...

– Но-но-о?

– Да уж видно так... Я зачертил Миляев мыс от самой Каленой горы: как раз пять верст вышло, как по закону для отвода назначено.

– Андрон Евстратыч, надо полагать, Ермошка бросился с заявкой на Фотьянку, а Ястребов для отвода глаз смутянит, – шепотом сообщил Мыльников. – Верно говорю... Должен он быть здесь, а его нет.

Кишкин остолбенел: конечно, Ястребов перехитрил и заслал Ермошку вперед, чтобы записать свою заявку раньше всех. Вот так дали маху, нечего сказать...

– Вот что, Мыльников, валяй и ты в Фотьянку, – шепнул Кишкин, – может, скорее придешь... Да не заплутайся на Маяковой слани, где поворотка на кордон.

– Уж и не знаю, как мне быть... Боязно одному-то. Кабы Матюшка...

– Я вот покажу тебе Матюшку, оборотню! – пригрозил Кишкин. – Лупи во все лопатки...

– А как же, например, Окся?

– Ну тебя к черту вместе и с твоей Оксей...

Когда взошло солнце, оно осветило собравшиеся на Миляевом мысу партии. Они сбились кучками, каждая у своего огонька. Все устали после ночной схватки. Рабочие улеглись спать, а бодрствовали одни хозяева, которым было не до сна. Они зорко следили друг за другом, как слетевшиеся на добычу хищные птицы. Кишкин сидел у своего огня и вполголоса беседовал с Миной Клейменым.

– Так где казенные-то ширпы были? – допытывался он.

– А вон туда, к самой горе...

– И старец там лежал под елочкой?..

– Там... Теперь места-то и не узнаешь. Ужо казенные ширпы разыщем...

– Ну, а как насчет свиньи полагаешь? – уже совсем шепотом спрашивал Кишкин. – Где ее старец-то обозначил?..

– Да прямо он ничего не сказал, а только этак махнул рукою на Мутяшку...

– На Мутяшку?.. И через девицу, говорит, ищите?

– Это он вообще насчет золота...

– Значит, и о свинье тоже, потому как она золотая?..

– Может статься... Болотинка тут есть, за Каленой горой, так не там ли это самое дело вышло.

– Да ведь ты говорил, что мужик в лесу закопал свинью-то?

– Разве говорил? Ну, значит, в лесу...

Окся еще спала, свернувшись клубочком у огонька. Кишкин едва ее разбудил.

– Вставай ты, барышня... Возьму вот орясину, да как примусь тебя обихаживать.

– Отстань!.. – ворчала Окся, толкая Кишкина ногой. – Умереть не дадут...

Кишкину стоило невероятных усилий поднять на ноги эту невежливую девицу. Окся решительно ничего не понимала и глядела на своего мучителя совсем дикими глазами. Кишкин схватил ее за руку и потащил за собой. Мина Клейменный пошел за ними. Никто из партии не слышал, как они ушли, за исключением Петра Васильича, который притворился спящим. Он вообще держал себя как то странно и во время ночной схватки даже голосу не подал, точно воды в рот набрал. Фотьянский дипломат убедился в одном, что из их предприятия решительно ничего не выйдет. С другой стороны, он не верил ни одному слову Кишкина и, когда тот увел Оксю, потихоньку отправился за ними, чтобы выследить все дело.

– Один, видно, заполучить свинью захотел, – возмущался Петр Васильич, продираясь сквозь чашу. – То-то прохирь: хлебом вместе, а табачком врозь... Нет, погоди, брат, не на таковых напал.

С другой стороны, его сместило, как Кишкин тащил Оксю по лесу, точно свинью за ухо. А Мина Клейменный привел Кишкина сначала к обвалившимся и заросшим лесом казенным разведкам, потом показал место, где лежал под елкой старец, и наконец повел к Мутяшке.

– Ну, народец!.. – ругался Петр Васильич. – Все один сграбастать хочет...

Ему приходилось делать большие обходы, чтобы не попасть на глаза Шишке, а Мина Клейменный вел все вперед и вперед своим ровным старческим шагом. Петр Васильич быстро утомился и даже вспотел. Наконец Мина остановился на краю круглого болотца, которое выливалось ржавым ручейком в Мутяшку.

– Ну, ищи!.. – толкал Кишкин ничего не понимающую Оксю. – Ну, чего уперлась-то, как пень?..

– Да я тебе разве собака далась?! – огрызнулась Окся, закрывая широкий рот рукой. – Ищи сам...

– Ах, дура точеная... Добром тебе говорят! – наступал Кишкин, размахивая короткими ручками. – А то у меня, смотри, разговор короткий будет...

Окся неожиданно захохотала прямо в лицо Кишкину, а когда он замахнулся на нее, так толкнула его в грудь, что старик кубарем полетел на траву. Петр Васильич зажал рот, чтобы не расхохотаться во все горло, но в этот момент за его спиной раздался громкий смех. Он оглянулся и остолбенел: за ним стоял Ястребов и хохотал, схватившись руками за живот.

– Ах, дураки, дураки!.. – заливался Ястребов, качая головой. – То-то дураки-то... Друг друга обманывают и друг друга ловят. Ну, не дураки ли вы после этого?..

– А ты проходи своей дорогой, Никита Яковлич, – ответил Петр Васильич с важностью, – дураки мы про себя, а ты, умный, не ввязывайся.

– Боишься, что вашу свинью найду?

– Это уж не твоего ума дело...

Хохот Ястребова заставил Кишкина опять схватить Оксю за руку и утащить ее в чашу. Мина Клейменный стоял на одном месте и крестился.

– С нами крестная сила! – шептал он, закрывая глаза.

Когда они сошлись опять вместе, Кишкин шепотом спросил старика:

– Слышал? Как он захочет...

– Не поглянулось ему... Недаром старец-то сказывал, что зарок положен на золото. Вот он и хохочет...

– А у меня инда мороз по коже...

На месте действия остались Ястребов и Петр Васильич.

– Все я знаю, други мои милые, – заговорил Ястребов, хлопая Петра Васильича по плечу. – Бабьи бредни и запуки, а вы и верите... Я еще пораньше про свинью-то слышал, посмеялся – только и всего. Не положил – не ищи... А у тебя, Петр Васильич, свинья-то золотая дома будет, ежели с умом... Напрасно ты ввязался в эту свою канпанию: ничего не выйдет, кроме того, что время убьете да прохарчитесь...

Петр Васильич и сам думал об этом же, почесывая затылок, хотя признаться чужому человеку и было стыдно.

– Ну, а какая дома-то свинья, Никита Яковлич?

– А такая... Ты от своей-то канпании не отбивайся, Петр Васильич, это первое дело, и будто мы с тобой вздорим – это другое. Понял теперь?..

– Как будто и понял, как будто и нет...

– Ладно, ладно... Не валяй дурака. Разве с другим бы я стал разговаривать об этих делах?

Эта история с Оксей сделалась злобой промыслового дня. Кто ее распустил – так и осталось неизвестным, но об Оксе говорили на все лады и на Миляевом мысу и на других разведках. Отчаянные промысловые рабочие рады были случаю и складывали самые невозможные варианты.

– Он, значит, Кишкин, на веревку привязал ее, Оксюху-то, да и волокет, как овцу... А Мина Клейменный идет за ней да сзади ее подталкивает. «Ищи, слышь, Оксюха...» То-то идола!.. Ну, подвели ее к болотине, а Шишка и командовал: «Ползи, Оксюха!» То-то колдуны проклятые! Оксюха, известно, дура: поползла, Шишка веревку держит, а Мина заговор наговаривает... И нашла бы ведь Оксюха-то, кабы он не захохотал. Учужала Оксюха золотую свинью было совсем, а он как грянет, как захочет...

Особенно приставал Петр Васильич, обиженный тем, что Кишкин не взял его на поиск свиньи.

– Ах, и нехорошо, Андрон Евстратыч! Все вместе были, а как дошло дело до богатства – один ты и остался. Ухватил бы свинью, только тебя и видели. Вот какая твоя деликатность, братец ты мой...

– Отстань, смола! – огрызнулся Кишкин. – Что пасть-то растворил шире банного окна?.. Найдешь с вами, дураками!

Рабочие хотя и потешались над Оксей, но в душе все глубоко верили в существование золотой свиньи, и легенда о ней разрасталась все шире. Разве старец-то стал бы зря говорить?.. В казенное время всячина бывала, хотя нашедший золотую свинью мужик и оказал бы себя круглым дураком.

Центром заявочных работ служил Миляев мыс, на котором шла горячая работа, несмотря на возникшие недоразумения. На Миляевом же мысу «утвердились» и те партии, которые делали разведки по Мутяшке с ее притоками – Худенькой и Малиновкой, а также по Меледе и Генералке. Очень уж удобное место издалось, недаром Миляевым мысом называется. Каленая гора в виду зеленой мохнатой шапкой стоит, а от нее прошел лесистый увал до самой Меледы, где в нее пала Мутяшка. В несколько дней по мысу выросли десятки старательских балаганов, кое-как налаженных из бересты, еловой коры и хвои. Этот сборный пункт по вечерам представлял необыкновенно пеструю живую картину – везде пылали яркие костры и шел немолчный людской гомон. В лесу стучал топор, где-то тренькала балалайка, а ухари-рабочие распевали песни. Враждебно встретившиеся партии давно побратались: пусть хозяева грызутся, а рабочим делить нечего. Если что разделяло рабочую массу, так вынесенная еще из домов рознь. Варнаки с Фотьянки и балчуговцы из Нагорной чувствовали себя настоящими хозяевами приискового дела, на котором родились и выросли; рядом с ними строгаги и швали из Низов являлись жалкими отбросами, потому что лопаты и кайла в руки не умели взять по-настоящему, да и земляная тяжелая работа была им не под силу. Варнаки относились к ним с подобающим презрением и везде давали чувствовать свое рабочее превосходство. Из-за этого происходили постоянные стычки, перекоры, высмехи и бесконечная ругань.

– Строгаги и ходят-то, так ровно на костылях, – смеялся Матюшка, лучший рабочий на Миляевом мысу. – В богадельню им так в самую бы пору!.. Туда же, на золото польстились. Шилом им землю ковырять да стамеской...

В партии Кишкина находился и Яша Малый, но он и здесь был таким же безответным, как у себя дома. Простые рабочие его в грош не ставили, а Кишкин относился свысока. Матюшка дружил только со старым Туркой да со своими фотьянскими. У них были и свои разговоры. Соберутся около огонька своей артелькой и толкуют.

– Общем золото, а ухватят его хозяева, – роптал Матюшка, уже затронутый жаждой легкой наживы. – На них не наробишься... Главная причина во всем – деньги.

Раз вечером, когда Матюшка сидел таким образом у огонька и разговаривал на излюбленную тему о деньгах, случилось маленькое обстоятельство, смутившее всю компанию, а Матюшку в особенности.

– Эх, кабы раздобыть где ни на есть рублей с триста! – громко говорил Матюшка, увлекаясь несбыточной мечтой. – Сейчас бы сам заявку сделал и на себя бы робить стал... Не велики деньги, а так и помрешь без них.

– Уж это ты верно... – уныло соглашался Турка, сидя на корточках перед огнем. – Люди родом, а деньги водом. Кому счастья... Вон Ермошку взять, да ему наплевать на триста-то рублей!

Кругом было темно, и только колебавшееся пламя костра освещало неясный круг. Зашелестевший вблизи куст привлек общее внимание. Матюшка выхватил горевшую головню и осветил куст – за ним стояла растерявшаяся и сконфуженная Окся. Она подкралась очень осторожно и все время подслушивала разговор, пока не выдал ее присутствие хрустнувший под ногой сучок.

– Ты, уродина, чего тут делаешь? – накинулся на нее Матюшка.

– Ишь, подслушивает, – заметил кто-то из рабочих. – Дура, а на это смысл тоже имеет...

– Гони ее, Матюшка, в три шеи!.. Омморошная какая-то...

Матюшка повернул Оксю за плечо и так двинул в спину, что она отлетела сажени на три. Эта выходка сопровождалась общим хохотом.

– Ай да Матюшка! Уважил барышню... То-то она все шары пялит на него. Вот и вышло, что поглянулась собаке палка.

Окся с трудом поднялась с земли, отошла в сторону, присела в траву и горько заплакала. Ее с детства били, но тут выходило совсем особенное дело. С Оксей случилось что-то

необыкновенное, как только она увидела Матюшку в первый раз, когда партия выступала из Фотьянки. И дорогой она все время присматривалась к нему, и все время на Миляевом мысу. Смотрит, а сама точно вся застыла... Остальной мир больше для нее не существовал. Оксину душу осветил внутренний свет, та радость, которая боится сознаться в собственном существовании. Нечто подобное она испытывала в детстве, когда в глухую полночь ударит колокол к Христовой заутрене и недавняя тишина и мрак сменялись праздничной, гулкой и светлой радостью.

## VI

Кишкин пользовался горячим временем и, кроме заявки на Миляевом мысу, поставил столбы в трех местах по Мутяшке. Пробные шурфы везде давали хорошие знаки. Но заявки были еще только началом дела. И отвод заявленных местностей ему сделают раньше других, как обещал Каблуков. Вся беда заключалась в том, где взять денег на казенную подать, – по уставу о частной золотопромышленности полагалось ежегодно вносить по рублю с десятины, в среднем это составляло от 60 до 100 рублей с прииска. Сумма по своему существу ничтожная, но Кишкин знал по личному опыту, как трудно достать даже три рубля, когда они нужны до зарезу.

– Будет день – будет хлеб!.. – утешал он себя, раздумавшись про свои дела.

Все, что можно было достать, выпросить, занять и просто выклянчить, – все это было уже сделано. Впереди оставался один расчет: продать одну или две заявки, чтобы этим перекрыться на разработку других. А пока Кишкину приходилось работать наравне со всеми остальными рабочими, причем ему это доставалось в десять раз тяжелее и по непривычке к ручному труду и просто по старческому бессилию. Набродившись по лесу за день, старик едва мог добраться до своего балагана. Рабочие сейчас же заваливались спать, а Кишкин лежал, ворочался с боку на бок и все думал. Эх, если бы счастье улыбнулось ему на старости лет... Ведь есть же справедливость, а он столько лет бедствовал и терпел самую унижительную горькую нужду!.. Всего-то найти бы первое счастливое местечко, чтобы распрямить руки, а там уже все пошло бы само собой: деньги, как птицы, прилетают и улетают стаями...

– Показал бы я им всем, каков есть человек Андрон Кишкин! – вслух думал старик и даже грозил этим всем в темноте кулаком. – Стали бы ухаживать за мной... лебезить... Нет, брат, шалишь!.. Был раньше дураком, а во второй раз извините.

Занятый этими мыслями и соображениями, Кишкин как то совсем позабыл о своем доносе, да и некогда о нем теперь было думать, когда каждый день мог сделаться роковым.

Часто Кишкин один ходил по течению Мутяшки и высматривал новые места под заявки. Каждый свободный клочок земли пробуждал в нем какой-то страх: а если золото вот именно здесь спряталось? Если бы была возможность, он захватил бы в свои руки всю Меледу со всеми притоками и никому не уступил бы вершка, отцу родному. Когда он видел чужой заявочный столб, его охватывало знобившее чувство зависти. А свободных мест по Мутяшке уже не оставалось: в течение каких-нибудь трех дней все было расхвачено по клочкам. Даже то болотце, к которому водил Мина искать золотую свинью, и оно было захвачено Ястребовым.

– Для счету прихватил, – объяснил Ястребов, встретив как-то Кишкина. – Что ему, болоту, даром оставаться... Так ведь, Андрон Евстратыч?.. Разбогатеет мы, видно, с тобой заодно...

– Гусь свинье не товарищ, Никита Яковлич...

– Кто гусь-то, по-твоему?

– А уж как это тебе поглянется...

Кишкин относился к Ястребову подозрительно, а тот нет нет и заглянет на Миляев мыс. И все-то у него шуткой да балагурством: конечно, богатый человек, селезенка играет... С ним появлялся иногда кабатчик Ермошка, Затыкин и другие золотопромышленники – мелочь. Острый период заявочной горячки миновал, и предприниматели начали понемногу приглядываться друг к другу. Да и в лесу совсем другое дело, чем где-нибудь в городе: живому человеку каждый рад. Душой общества являлся Ястребов, как бывалый и опытный

человек, прошедший сквозь огонь, воду и медные трубы. Соберется такая компания где-нибудь около огонька и балагурит.

– Никита Яковлич, будешь ты наше золото скупать, – подшучивали над Ястребовым. – Как пить дашь.

– Было бы что скупать, – отъедается Ястребов, который в карман за словом не лазил. – Вашего-то золота кот заплакал... А вот мое золото будет оглядываться на вас. Тот же Кишкин скупать будет от моих старателей... Так ведь, Андрон Евстратыч? Ты ведь еще при казне набил руку...

– Было, да сплыло, – огрызался Кишкин. – Вот про себя лучше скажи, как балчуговское золото скупаешь...

– А ты видел, как я его скупаю? Вот то-то и есть... Все кричат про меня, что скупаю чужое золото, а никто не видал. Значит, кто поумнее, так тот и промолчал бы.

Раз Ястребов приехал немного навеселе. Подсев к огоньку у балагана Кишкина, он несколько времени молчал, встряхивая своей большой головой и улыбаясь. Кишкин долго всматривался в его коренастую фигуру и разбойничью рожу, а потом проговорил с лесной откровенностью:

– Гляжу я на тебя, Никита Яковлич, и дивуюсь... Только дать тебе нож в руки и сейчас на большую дорогу: как есть разбойник.

– Это ты правильно... ха-ха!.. – засмеялся Ястребов. – Не было бы разбойников, не стало бы и праведника.

В приливе нежности Ястребов обнял Кишкина и так любовно проговорил:

– Плачет о нас с тобой острог-то, Андрон Евстратыч... Все там будем, сколько ни прыгаем. Ну, да это наплевать... Ах, Андрон Евстратыч!.. Разве Ястребов вор? Воры-то ваша балчуговская компания, которая народ сосет, воры инженеры, канцелярские крысы вроде тебя, а я хлеб даю народу... Компания-то полуторых рублей не дает за золотник, а я все три целковых.

– Так ты, значит, в том роде, как благодетель?

– Теперь-то как хочешь зови, а вот когда не будет Никиты Ястребова, тогда и благодетелем взвеличают.

Эта разбойничья философия рассмешила Кишкина до слез. Воровали и в казенное время, только своим воровством никто не хвастался, а Ястребов в благодетели себя поставил.

– Утешил ты меня, Никита Яковлич... Благодетель, говоришь?! Ха-ха... В самую пропорцию благодетель. Медаль бы тебе только за усердие... А я, грешный человек, все за разбойника тебя почитал.

Ястребов не обижался и хохотал вместе.

– Что же это Мыльников не? – по несколько раз в день спрашивал Кишкин Петра Васильича. – Точно за смертью ушел.

Он должен был вернуться на другой день и не вернулся. Прошло целых два дня, а Мыльников все нет.

– Ужо я сам схожу... – предлагал Петр Васильич, которому хотелось улизнуть под благовидным предлогом.

– Ну нет, брат, шалишь! – озлился Кишкин. – Мыльников сбежал, теперь ты хочешь уйти, кто же останется? Тоже компания, нечего сказать...

– Да ведь надо в волости объявиться? – сказал Петр Васильич. – Мы тут наставим столбов, а Затыкин да Ястребов запишут в волостную книгу наши заявки за свои... Это тоже не модель.

– Ладно, сказывай... – ворчал Кишкин. – Знаю я вас, охаверников. Уж только и нарродец!.. Обождем еще мало места, а потом я сам пойду и все устрою.

– Да ведь ты сорок-то верст две недели проползешь, Андрон Евстратыч. Ножки у тебя коротенькие, задохнешься на полдороге...

Мыльников явился через три дня совершенно неожиданно, ночью, когда все спали. Он напугал Петра Васильича до смерти, когда потащил из балагана его за ногу. Петр Васильич был мужик трусливый и чуть не крикнул караул.

– А я думал, что Андрона Евстратыча пымал за ногу-то, – объяснял Мыльников. – По ногам-то вы схожи...

– А ты разуй глаза-то сперва... Где пропадал, путаная голова?

– Ох, и не говори.

На шум проснулся Кишкин. Развели потухший огонек, и охавший все время Мыльников, после некоторого ломанья, объяснил все.

– Прихожу это я на Фотьянку, чтобы в волости в книгу записать заявку, – рассказывал он слезливым тоном, – а Затыкин-то уж в книге Миляев мыс записал...

– Ну-у? Да не подлец ли... а?! Ах, жулик...

– Верно говорю... Значит, теперь, так сказать, и наша заявка пропала и ястребовская, потому как у Затыкина столбы-то дальше наших поставлены, а пока мы спорились – он и хлопнул свою заявку. Замежевал он нас...

– Ну, это он врет! – сказал Кишкин. – Он, значит, из пяти верст вышел, а это не по закону... Мы ему еще утрем нос. Ну, рассказывай дальше-то...

– Что дальше-то, – обезножил я, вот тебе и дальше... Побродил по студеной вешней воде, ну, и обезножил, как другая опоенная лошадь.

– Ой, врешь! – усомнился Петр Васильич. – Поди, опять у Ермошки в кабаке ноги-то завязил? У всех у вас, строгалей, одна вера-то...

– Одинова, это точно, согрешил... – каялся Мыльников. – Силком затащили ребята. Сидим это, братец ты мой, мы в кабаке, напримерно, и вдруг трах! следовательно... Трах! сейчас народ сбивать на земскую квартиру и меня в первую голову зацепили, как, значит, я обозначен у него в гумаге. И следовательно не простой, а важный – так и называется: важный следовательно.

– Это что же, по твоей, видно, жалобе? – уныло спросил Петр Васильич, почесывая в затылке. – Вот так крендель, братец ты мой... Ловко!

– Ну, рассказывай, – торопил Кишкин, принимая деловой вид. – Не важный следовательно, а следовательно по особо важным делам...

– А скажу я тебе, Андрон Евстратыч, что заварил ты кашу... Ка-ак мне это самое сказали, что гумага и следовательно, точно меня кто под коленку ударил, дыхнуть не могу. Уж Ермошка сжалился, поднес стаканчик... Ну, пошел я на земскую квартиру, а там и староста, и урядник, и наших балчуговских стариков человек с пять. Сейчас следовательно, напримерно, ко мне: «Вы Тарас Мыльников?» – «Точно так, ваше высококородие...» – «Можете себя оправдать по делу отставного канцелярского служителя Андрона Кишкина?» – «Точно так-с...» – «А где Кишкин?» Тут уж я совсем испугался и брякнул: «Не могу знать, ваше высококородие... Я его совсем не знаю, а только стороной слыхивал, что какой-то Кишкин служил у нас на промыслах».

– Вот и вышел дурак! – озлился Кишкин. – Чего испугался-то, дурья голова? Небось, кожу не снимут с живого...

Петр Васильич молчал, угнетенно вздыхая. Вся его фигура теперь изображала собой одно слово: влопался!..

– Да ты послушай дальше-то! – спорил Мыльников. – Следовательно-то прямо за горло... «Вы, Тарас Мыльников, состояли шорником на промыслах и должны знать, что жалованье выписывалось пятерым шорникам, а в получении расписывались вы один?» – «Не подвержен я этому, ваше высококородие, потому как я неграмотный, а кресты ставил – это было...» И пошел пытаться, и пошел мотать, и пошел вертеть, а у меня поджилки трясутся. Не помню, как я и ушел от него, да прямо сюда и стриганул... Как олень летел!

– Зачем ты про меня-то врал, Тарас?..

– Испугался, Андрон Евстратыч... И сюда-то бегу, а самому все кажется, что ровно кто за мной гонится. Вот те Христос...



Беседа велась вполголоса, чтобы не услышали другие рабочие. Мыльников повторил раз пять одно и то же, с необходимыми вариантами и украшениями.

– Что же ты молчишь, Петр Васильич? – спрашивал Кишкин.

– А что мне говорить, Андрон Евстратыч: плакала, видно, наша золотая свинья из-за твоей гумаги... Поволокут теперь по судам.

– А где моя Окся? – спрашивал Мыльников в заключение.

Хватились Окси, а ее и след простыл: она скрылась неизвестно куда.

## VII

Компанейские работы сосредоточивались на нынешнее лето в двух пунктах: в устьях реки Меледы, где она впадала в Балчуговку, и на Ульяновом кряже. В первом пункте разрабатывалась громадная россыпь Дерниха, вскрытая разрезом еще с зимы, а во втором заложена была новая шахта Рублиха. Оба месторождения открыты были фотьянскими старателями, и компания поставила свои работы уже на готовое. Особенно заманчивой являлась Рублиха, из которой старатели дудками добыли около полпуда золота, – это и была та самая жила, которую Карачунский пробовал на фабрике сам. Открыл ее старик Кривушок, из фотьянских старожилов-каторжан. Это был страшный бедняк, целую жизнь колотившийся, как рыба об лед. Открытая им жила сразу его обогатила. Бывали дни, когда Кривушок зарабатывал рублей по триста. Такое дикое богатство погубило беднягу в несколько недель. То, чего не могла сделать бедность, сделало богатство. Кривушок закладывал пачку ассигнаций в голенище и с утра до вечера проводил в кабаке Фролки, в этом заветном месте всех фотьянских старателей. У старика не было семьи, – все перемерли. Жениться было поздно, и он, напившись пьяный, горько плакался на свое обидное богатство, явившееся для него точно насмешкой.

– Кабы раньше жилка-то провернулась... – повторял Кривушок. – Жена заморилась на работе, ребятенки перемерли с голодухи... Куды мне теперь богатство?..

Около Кривушки собралась вся кабацкая рвань. Все теперь пили на его счет, и в кабаке шло кромешное пьянство.

– Ты бы хоть избу себе новую поставил, – советовал Фролка, – а то все пропьешь, и ничего самому на похмелье не останется. Тоже вот насчет одежды...

– Угорел я, Фролушка, сызнава-то жить, – отвечал Кривушок. – На что мне новую избу, коли и жить-то мне осталось, может, без году неделю... С собой не возьмешь. А касаемо одежды, так оно и совсем не пристало: всю жисть проходил в заплатках...

Кривушок кончил скорее, чем предполагал. Его нашли мертвым около кабака. Денег при Кривушке не оказалось, и молва приписала его ограбление Фролке. Вообще все дело так и осталось темным. Кривушка похоронили, а его жилку взяла за себя компания и поставила здесь шахту Рублиху.

Верховный надзор за работами на Дернихе принадлежал Зыкову, но он рассыпным делом интересовался мало, потому что увлекся новой шахтой.

– Смотри, Родион Потапыч, как бы нам не ошибиться с этой Рублихой, – предупреждал Карачунский. – То же будет, что с Спасо-Колчеданской...

– А откуда Кривушок золото свое брал, Степан Романыч?.. Сам мне покойник рассказывал: так, говорит, самоваром жила и ушла вглубь... Он то пировал напоследях, ну, дудка и обвалилась. Нет, здесь верное золото, не то что на Краюхином увале...

Карачунский слепо верил опытности Зыкова, но его смущало противоречие Лучка, – последний не хотел признавать Рублихи.

– Обманет она, эта самая Рублиха, – упрямо повторял Лучок.

– Да почему обманет-то?

– А так... Место не настоящее. Золото гнездовое: одно гнездышко подвернулось, а другое, может, на двадцати сажнях... Это уж не работа, Степан Романыч. Правильная жила идет ровно... Такая надежнее, а эта игрунья: сегодня позолотит, да год будет душу выматывать. Это уж не модель...

Рублиха послужила яблоком раздора между старыми штейгерами. Каждый стоял на своем, а особенно Родион Потапыч, вложивший в новое дело всю душу. Это был своего рода фанатизм коренного промыслового человека.

– Уж будьте спокойны, Степан Романыч, – уверял Зыков. – Голову отдам на отсечение, что Рублиха вполне себя оправдывает...

Эти уверения напоминали Карачунскому того француза, который доказывал вращение земли своим честным словом. Но у него был свой расчет: новое коренное месторождение выставляло деятельность компании в выгодном свете пред горным департаментом. Значит, она развивается и быстро шагает вперед, а это главное. В крайнем случае Рублиха могла обойтись тысяч в восемьдесят, потому что машины и шахтовые приспособления перевозились с Краюхина увала, а Спасо-Колчеданская жила оказывалась «холостой», так что ее оставили только до осени.

По составленному плану работы на Рублихе предполагались в больших размерах. Дудка Кривушка оставалась в стороне, а шахта была заложена ниже, чтобы пересечь жилу саженях на двадцати в глубину. Таким образом сразу решались две задачи: откачивалась вода на предельном горизонте, а затем работы можно было вести сразу в двух направлениях – вверх и вниз, по отрезкам жилы. Практика показала, что все жилы имеют падение под углом, как и жила на Ульяновом кряже. Следовательно, можно было по приблизительному расчету выйти на жилу на известной глубине. В каких-нибудь две недели вырос на Ульяновом кряже новый деревянный корпус, поставлены были паровые котлы, паровая машина, и задымилась высокая железная труба. Для служащих была построена конторка, где поселился в одной каморке Родион Потапыч, а затем строились амбары для разной приисковой снасти, навесы, конюшни, – одним словом, вся приисковая городьба. Ульянов кряж закрывал Рублиху со стороны Фотьянки, и старик Зыков был очень рад этому обстоятельству, потому что мог теперь жить совершенно в лесу. Он даже по субботам домой в Балчуговский завод не выходил, а только время от времени отправлялся на Дерниху, чтобы посмотреть на работавшую «бутару». Бутара – сибирского типа машина для промывки песков в больших массах. Главную ее часть составляет железный продырявленный цилиндр, который приводится во вращательное движение паровой машиной. Золотоносный песок сваливался в бутару, в нее проводилась сверху сильная струя воды, и промывка совершалась при страшном грохоте. Одна такая бутара в сутки обрабатывала десятки тысяч пудов песка. Но у Родиона Потапыча вообще не лежало почему-то сердце к этой Дернихе, хотя россыпь была надежная и, по приблизительным расчетам, должна была дать в одно лето около 20 пудов золота.

– На Фотьянской россыпи больше ста пудов добыли, – повторял Зыков, точно хотел этим унижить благонадежность Дернихи. – Вот уж Рублиха наша ахнет, так это другое дело...

Место слияния Меледы и Балчуговки было низкое и болотистое, едва тронутое чахлым болотным леском. Родион Потапыч с презрением смотрел на эту «чертову яму», сравнивая про себя красивый Ульянов кряж. Да и россыпное золото совсем не то, что жильное. Первое он не считал почему-то и за золото, потому что добыча его не представляла собой ничего грандиозного и рискованного, а жильное золото надо уменючи взять, да не всякому оно дается в руки.

Увлечение Рублихой у старика приняло какой-то болезненный характер, точно он закладывал в эту работу последнюю свою энергию. Когда спал неугомонный старик – никто не знал. Во всякое время дня и ночи его можно было встретить на шахте, где он сидел, как коршун, ожидавший своей добычи. Первые сажени углубления были пройдены с поразительной быстротой, а дальше пошел камень «ребровик», требовавший «диомида». Это были первые пропластки основных гранитных пород, а жилы залегают в спаях таких пропластков. Родион Потапыч высчитывал каждый новый вершок углубления и давно определил про себя, в какой день шахта выйдет на роковую двадцатую сажень и пересечет жилу. Он по десяти раз в сутки спускался по стремянке в шахту и зорко наблюдал, как ее крепят, чтобы не было ни малейшей заминки. Пока все шло отлично, потому что грунт был устойчивый, и не было опасности, что шахта в одно прекрасное утро «сбочится», как это бывает при слоях песка-севуна или мягкой расплывающейся глины. Рабочие тоже невольно заражались энергией старого штейгера и с нетерпением ждали двадцатой сажени.

Если что огорчало Зыкова, так это назначение молодого инженера Оникова главным смотрителем новых жильных работ. Положим, старик уважал О니кова «по отцу», но это не мешало быть ему мальчишкой и щенком. Да и поставил себя Оников с первого раза крайне

неудобно: приедет в белых перчатках и давай распоряжаться – это не так, то не так. Сам бы хоть раз в шахту спустился. Как ни был вымуштрован Родион Потапыч относительно всяческого уважения ко всяческому начальству, но поведение О니кова задело его за живое: он чувствовал, что молодой инженер не верит в эту жилу и не сочувствует затеянной работе.

– Приедет, папиросу выкурит – и вся тут работа, – жаловался Зыков Карачунскому. – Ежели бы ты сам, Степан Романыч...

– Нет, мне далеко ездить сюда, да и Оникову нужно же какое-нибудь дело. Куда его мне девать... Как-нибудь уж без меня устраивайтесь.

Родион Потапыч только вздыхал. Находил же время Карачунский ездить на Дернику чуть не каждый день, а тут от Фотьянки рукой подать: и двух верст не будет. Одним словом, не хочет, а Оникова подослал назло. Нечего делать; пришлось мириться и с Ониковым и делать по его приказу, благо немного он смыслит в деле.

– Ужо будет летом гостей привозить на Рублиху – только его и дела, – ворчал старик, ревновавший свою шахту к каждому постороннему глазу. – У другого такой глаз, что его и близко-то к шахте нельзя пущать... Не больно-то любит жильное золото, когда зря лезут в шахту...

Всего больше боялся Зыков, что Оников привезет из города барынь, а из них выищется какая-нибудь вертоголовая и полезет в шахту: тогда все дело хоть брось. А что может быть другое на уме у Оникова, который только ест да пьет?.. И Карачунский любопытен до женского полу, только у него все шито и крыто.

Так шло дело. Шахта была уже на двенадцатой сажени, когда из Фотьянки пришел волостной сотник и потребовал штейгера Зыкова к следователю. У старика опустились руки.

– Это по делу Кишкина? – спросил он.

– Видно, по ему по самому... По первоначалу-то следователь в Балчуговском заводе с неделю выжил, а теперь на Фотьянку перебрался и сбивает народ со всех сторон. Почитай, всех стариков поднял...

Эта неожиданная повестка и встревожила и напугала Зыкова, а главное, не вовремя она явилась: работа горит, а он должен терять дорогое время на допросах.

– Следователь-то у Петра Васильича в дому остановился, – объяснил сотник. – И Ястребов там и Кишкин. Такую кашу заварили, что и не расхлебать. Главное, народ весь на работах, а следователь требует к себе...

Родион Потапыч оделся на скорую руку и зашагал за сотником. Ему случалось бывать в передрягах, но затеянное Кишкиным дело возмущало его до глубины души. Кто богу не грешен, царю не виноват, нельзя же всех по судам таскать. Две версты до Фотьянки промелькнуло незаметно. Перед избой Петра Васильича сидели вызванные следователем свидетели. Был тут и подштейгер Лучок, и Мина Клейменный, и Яша, и Турка, и Мыльников – одним словом, вся компания. Все, видимо, чувствовали себя смущенными. Родион Потапыч сухо кивнул головой и пошел прямо в избу. Поднимаясь по лесенке на крыльцо, он лицом к лицу столкнулся с дочерью Феней, которая с тарелкой в руках летела в погреб за огурцами.

– Тятенька!.. – вскрикнула девушка и остановилась.

Родион Потапыч медленно прошел мимо, не ответив на этот крик ни одним движением.

Следователь сидел в чистой горнице ипил водку с Ястребовым, который подробно объяснял приисковую терминологию – что такое россыпь, разрез, борта россыпи, ортовые работы, забои, шурфы и т. д. Следователь был пожилой лысый мужчина с рыжеватой бородкой и темными умными глазами. Он испытующе смотрел на массивную фигуру Ястребова и в такт его объяснений кивал своей лысой прежде времени головой.

«Вор научит хорошему...» – подумал Зыков, наблюдая эту сцену издали.

В дверях стояли Мыльников и Петр Васильич, заслонившие спинами сидевшего у двери на стуле Кишкина. Сотник протиснулся вперед и доложил следователю о приводе свидетеля.

– А, очень приятно... – оживился следователь, проглатывая наскоро закуску. – Введите его сюда.

Ястребов поднялся, чтобы выйти, но следователь движением головы удержал его. Родион Потапыч, войдя в комнату, помолился на образа и отвесил следователю глубокий поклон.

– Вы Родион Зыков?

– Точно так-с...

Начался обычный следовательский допрос, причем Зыков отвечал коротко и быстро, по-солдатски.

– Когда была открыта Фотьянская россыпь, вы уже были главным штейгером?

– Точно так-с... Я уж сорок лет состою главным штейгером.

– Ага... – протянул следователь, быстро окидывая его глазами. – Тем лучше... Вы, следовательно, служили при управителе Фролове и его помощнике Горностаеве. Скажите, когда промывался казенный разрез в Выломках?

Ястребов сделал нетерпеливое движение и подсказал:

– Разрабатывался...

– Ну да, когда разрабатывался разрез в Выломках? – повторил следователь.

– Годом не упомяну, ваше высокоблагородие, а только еще до воли это самое дело было, – ответил без запинки Зыков.

– Вы тогда служили? Да? И при вас этот разрез разрабатывался? Прекрасно... А не запомните вы, как при управителе Фролове на этом же разрезе поставлены были новые работы?..

Родион Потапыч ждал этого вопроса и, взглянув искоса на Кишкина, ответил самым равнодушным тоном:

– Какие же новые работы, когда вся россыпь была выработана?.. Старатели, конечно, домывали борта, а как это ставилось в конторе – мы не обычны знать, – до конторы я никакого касательства не имел и не имею...

Следователь взглянул вопросительно на Кишкина. Тот заерзал на месте, виновато скашивая глаза на Зыкова, и проговорил:

– Ваше благородие, Родион Потапыч, то есть главный штейгер Зыков, должен знать, как списывались работы в Выломках. От него шли дневные рапортчики.

– Да ты не путляй, Шишка! – разразился неожиданно Родион Потапыч, встряхнув своей большой головой. – Разве я к вашему конторскому делу причастен? Ведь ты сидел в конторе тогда да писал, – ты и отвечай...

– Вы должны отвечать только на мои вопросы, – строго заметил следователь.

– А ежели я могу под присягой доказать на него еще по делу о золоте, когда наезжал казенный фискал? – ответил Родион Потапыч, у которого тряслись губы от волнения.

– Это к делу не относится... – заметил следователь, быстро записывая что-то на листе бумаги.

– Вы его под присягой спросите, господин следователь, – подговаривал Кишкин, ослабляясь. – Тогда он сущую правду покажет насчет разреза в Выломках...

– Это уж мое дело, – ответил следователь, продолжая писать. – Господин Зыков, так вы не желаете отвечать на мой вопрос?

– Ваше высокоблагородие, ничего я в этих делах не знаю... – заговорил Родион Потапыч и даже ударил себя в грудь. – По злобе обнесен вот этим самым Кишкиным... Мое дело маленькое, ваше высокоблагородие. Всю жисть в лесу прожил на промыслах, а что они там в конторе делали – я неизвестен. Да и давно это было... Ежели бы и знал, так запомятовал.

– Значит, вы знали, да забыли?

Пойманный на слове, Родион Потапыч тяжело переминался с ноги на ногу и только шевелил губами.

– Вы не беспокойтесь, я уже имею показания по этому делу других свидетелей, – ядовито заметил следователь. – Вам должно быть ближе известно, как велись работы... Старатели работали в Выломках?

– Не упомню, ваше высокоблагородие...

– Так я вам напомним: старатели работали и получали за золотник золота по рублю двадцати копеек, а в казну оно сдавалось управлением Балчуговских промыслов по пяти рублей и дороже, то есть по общему расчету работы.

– Не старатели, а золотничники, ваше высокоблагородие...

– Это все равно, только слова разные...

Свои собственные вопросы следователь проверял по выражению лиц Ястребова и Кишкина, которые не спускали глаз с Родиона Потапыча. Из дела следователь видел, что Зыков – главный свидетель, и налег на него с особенным усердием, выжимая одно слово за другим. Нужно было восстановить два обстоятельства: допущенные правлением старательские работы, причем скупленное у старателей золото заносилось в промысловые книги как свое и выставлялись произвольные цены, втрое и вчетверо выше старательских, а затем подновление казенного разреза в Выломках и занесение его в отчет за новый.

Дальше следовали другие нарушения: выписка жалованья несуществовавшим промысловым служащим, выписка несуществовавших поденщин и т. д. и т. д.

Собранные свидетели теряли уже вторую неделю, когда работа кипела кругом, и это вызывало общий ропот и глухое недовольство, причем все обвиняли Кишкина, заварившего кашу.

– Мы ему башку отвернем, старой крысе! – ругались рабочие. – Какое время-то стоит – это надо подумать...

Допрошенный в качестве свидетеля Петр Васильич отперся от всего, что обещал показать, чем немало огорчил Кишкина...

– Ты что же это, Петр Васильич? – корил его Кишкин. – Как дошло до дела, так сейчас и в кусты...

– Не наш воз и не наша песенка, Андрон Евстратыч...

– Ладно... Увидим, что запоешь, когда под присягой будут допрашивать.

Мыльников являлся комическим элементом и каждый раз менял свои показания, вызывая улыбку даже у следователя. Приходил он всегда вполпьяна и первым делом заявлял:

– Господин следователь, у меня лицо чистое... Ничем я не замаран, а чтобы насупротив совести – к этому я не подвержен. Вот каков Тарас Мыльников...

Несмотря на всю путаницу и противоречия, развертывалась широкая картина всевозможных злоупотреблений и самого бесшабашного хищничества. Уже собранных фактов было совершенно достаточно для громадного дела, а выступали все новые подробности. Ничего не мог поделаться следователь только с Зыковым, который стоял на своем, что ничего не знает. Самый важный свидетель ускользал из рук, и следователь выбился из сил, чтобы довести его до откровенного признания. Подметив, что старик тяготился бестолковым сиденьем, следователь начал вызывать его чуть не каждый день.

– Ваше высокоблагородие, отпустите душу на покаяние! – взмолился наконец упрямый старик. – Работа у меня горит, а я здесь попусту болтаюсь.

– Вы сами виноваты, что затягиваете дело...

А из Кедровской дачи шли самые волнующие известия: золото оказывалось везде. О Мутяшке рассказывали чудеса, а потом следовали: Малиновка, Генералка, Свистунья, Ледянка, – сделаны были сотни заявок, и везде «золото оправдывалось в лучшем виде». Все новости и последние известия сосредоточивались, конечно, в кабаке Фролки, куда рабочие приходили прямо с заявок. В праздники этот кабак представлял собой настоящий ад, потому что в Фотьянку народ сходил со всех сторон. Разрушавшееся селение сразу ожило: не было избы, где не держали бы постояльцев, не готовили хлеба на промысла или какую-нибудь приисковую снасть. Главным образом наживали деньги фотьянские бабы, кормившие пришедший народ. Одним словом, произошло какое-то волшебное превращение старого

каторжного гнезда, точно на него дунуло свежим воздухом. Мужики складывались в артели, закупали харчи, готовили снасть, чтобы работать старателями на новых вольных промыслах. Это была бешеная игра на свой труд. Своими хозяйскими работами могли добывать золото только двое-трое крупных золотопромышленников вроде Ястребова, а остальные, конечно, сдадут прииски старателям, и это волновало поднятую рабочую массу, разжигая промысловую азартность и жажду легкой наживы.

## VIII

Самое бойкое дело выпало на долю богатой избы Петра Васильича, где останавливались все «господа»: и Ястребов и следователь. Сначала старуха, баушка Лукерья, тяготилась этим постоем, а потом быстро вошла во вкус, когда посыпались легкие господские денежки за всякие пустяки: и за постой, и за самовары, и за харчи, и за сено лошадям, и за разные мелкие услуги. Теперь бойкая Феня оказалась как раз на месте и едва успевала помогать старой баушке. Она и самовары подавала, и в погреб бегала, и комнаты прибирала, и господам обслуживала.

– Ты уж, голубка, постарайся... – ласково говорила баушка Лукерья. – Ноги-то у тебя молодые...

Всю жизнь прожила баушка Лукерья и не видала денег в глаза, как сама говорила. Да и какие деньги у бабы, которая сидит все дома и убивается по домашности да с ребятишками. Муж-покойник выстроил хорошую избу, завел скотину и всякую домашность, и по-фотьянски семья слыла за богатую. Правда, у баушки Лукерьи были скоплены на смертный час рублей пятнадцать, запрятанных по разным углам, – и только. А тут деньги повалили сразу... Крепкую старуху вдруг охватила старческая жадность. Ей стало казаться, что все мало и что нужно пользоваться коротким счастьем. Не проходило дня, чтобы она не отложила рубля или двух. Особенно любила она, когда давали ей серебро, – ведь всю жизнь прожила на медные деньги, а тут посыпались серебряшки. Баушка Лукерья с какой-то детской радостью пересчитывала их, прятала и опять добывала, чтобы лишний раз полюбоваться. Это перерождение произошло всего в несколько недель, и баушка Лукерья отлично изучила, кто, когда и сколько дает и как лучше взять. Старуха видела, что господа охотнее дают деньги Фене, и стала ее подсылать. Конечно, молоденькая-то приятнее господам: пошутят, посмеются, да и отвалят в другой раз целую полтину. Сначала Феня артачилась и стыдилась, а потом стала привыкать, чтобы хоть этим угодить старой баушке.

– Чего ты сумлеваешься, глупая? – усовещивала ее старуха. – Дикие у них деньги... Не убудет, небось, ежели и пошутят в другой раз.

Феня была не жадная и с радостью отдавала деньги баушке.

Встреча с отцом в первое мгновение очень смутила ее, подняв в душе детский страх к грозному родимому батюшке, но это быстро вспыхнувшее чувство так же быстро и улеглось, сменившись чем-то вроде равнодушия. «Что же, чужая, так чужая...» – с горечью думала про себя Феня. Раньше ее убивала мысль, что она объедает баушку, а теперь и этого не было: она работала в свою долю, и баушка обещала купить ей даже веселенького ситца на платье.

– Старайся, милушка, и полушалонок куплю, – приговаривала хитрая старуха, пользовавшаяся простотой Фени. – Где нам, бабам, взять денег-то... Небось, любезный сынок Петр Васильич не раскошелится, а все норовит себе да себе... Наше бабье дело совсем маленькое.

Эти планы баушки Лукерьи чуть не расстроились. Раз в воскресенье приехала на Фотьянку сестра Марья. Улучив свободную минуту, она разговорилась с Феней.

– У вас здесь, сказывают, веселье, не то что у нас: сидишь, даже одурь возьмет... Прокопий на своей фабрике, Анна с ребятишками, мамынька все вздыхает али жаловаться начнет, а я как очумелая... Завидно на других-то делается.

– Тятенька-то сколько разов был у нас, – рассказывала Феня. – И не глядит на меня... Хуже чужого.

– И домой он нынче редко выходит... С новой шахтой связался и днюет и ночует там. А уж тебе, сестрица, надо своим умом жить, как-никак... Дома-то все равно нечего делать.

Рассказывала Феня, как наезжал несколько раз Акинфий Назарыч и как заливался слезами, а потом перестал ездить, точно отрезал. Рассказывая, Феня всплакнула: очень уж ей жаль было Акинфия Назарыча.

– Гляди, потужит, потоскует, да и женится на своей тайболовской кержанке, – говорила она сквозь слезы. – Молодой он, горе-то скоро износит... Такая на меня тоска нападает под вечер, что и жизни своей не рада.

– Пирует, сказывали, Акинфий-то Назарыч... В город уедет, да там и хороводится. Мужчины все такие: наша сестра сиди да посиди, а они везде пошли да поехали... Небось, найдет себе утеху, коли уж не нашел.

Между прочим, сестра Марья подвела ловко разговор к деньгам, которые получала теперь баушка Лукерья.

– Пали и до нас слухи, как она огребает деньги-то, – завистливо говорила Марья, испытующе глядя на сестру. – Тоже, подумаешь, счастье людям... Мы вон за богатых слышем, а в другой раз гроша расколотого в дому нет. Тянька-то не расщедрится... В обрез купит всего сам, а денег ни-ни. Так бьемся, так бьемся... Иголки не на что купить.

– Знаю ведь я, как вы живете. Сладкого не много.

– Ну, сказывали, что и тебе тоже перепадает... Мыльников как-то завернул и говорит: «Фене деньги повалили, – тот двугривенный даст, другой полтину...» Побожился, что не врет.

– Я баушке Лукерье все отдаю, Марья... На что мне деньги?..

– Вот уж это ты совсем глупая... Баушка Лукерья свое возьмет, не беспокойся, обгаднела она, сказывают, а ты ей всего-то не отдавай. Себе оставляй... Пригодятся как-нибудь. Не век тебе жить с баушкой Лукерьей...

Эти речи не понравились Фене. Она даже пристыдила сестру, позавидовавшую чужому счастью.

– Я баушку Лукерью век не забуду, – говорила Феня. – Она меня призрела, приголубила... Не наше дело считать ее-то деньги.

Сестры расстались, благодаря этому разговору, довольно холодно. У Фени все-таки возникло какое-то недоверие к баушке Лукерье, и она стала замечать за ней многое, чего раньше не замечала, точно совсем другая стала баушка И даже из лица похудела.

А баушка Лукерья все откладывала серебро и бумажки и смотрела на господ такими жадными глазами, точно хотела их съесть. Раз, когда к избе подкатил дорожный экипаж главного управляющего и из него вышел сам Карачунский, старуха ужасно переполошилась, куда ей поместить этого самого главного барина. Карачунский был вызван свидетелем в качестве эксперта по делу Кишкина. Обе комнаты передней избы были набиты народом, и Карачунский не знал, где ему сесть.

– Пойдем, касатик, в заднюю избу... – предложила баушка Лукерья. – Здесь-то негде тебе и присесть, а там пока посидишь.

– Спасибо, бабушка, – охотно согласился Карачунский.

– Может, самоварчик поставить? А то молочка али яишенку... – говорила заученным тоном старуха. – Жарко теперь летним делом, а следовательно-то еще когда позовет.

Карачунский приехал раньше, чем следовало, и ему, действительно, приходилось подождать. Отворив дверь в заднюю избу, он на дороге столкнулся с Феней и даже как будто смутился, до того это было неожиданно. Феня тоже потупилась и вся вспыхнула.

– Вы какими судьбами попали сюда, Федосья Родионовна? – спрашивал удивленный Карачунский. – Вот приятная неожиданность...

– Я уж давно здесь... у баушки Лукерьи...

– Ага... – протянул Карачунский, пристально поглядев на наблюдавшую его старуху. – Так... Что же, дело прекрасное! Отлично... Я даже что-то такое слышал. Бабушка, так вы похлопочите относительно самоварчика.

– С-сею минуту, касатик...

Старуха, по-видимому, что-то заподозрила и вышла из избы с большой неохотой. Феня тоже испытывала большое смущение и не знала, что ей делать. Карачунский прошелся по избе, поскрипывая лакированными ботфортами, а потом быстро остановился и проговорил:

– Послушайте, Федосья Родионовна, вы так похорошели за последнее время, что я даже не узнал вас с первого взгляда.

Феня еще больше потупилась и раскраснелась.

– Вы смеетесь, Степан Романыч... – тихо прошептала она со слезами на глазах. – Не до красоты мне.

– Да, да... Догадываюсь. Ну, я пошутил, вы забудьте на время о своей молодости и красоте, и поговорим, как хорошие старые друзья. Если я не ошибаюсь, ваше замужество расстроилось?... Да? Ну, что же делать... В жизни приходится со многим мириться. Гм...

Он присел к столу и своим душевным голосом начал расспрашивать Феню, давно ли она здесь, как ей живется вообще, не скучает ли и т. д. Никто еще с ней не говорил так, а пред ее глазами пронеслась сцена поездки с мужем в Балчуговский завод, когда Степан Романыч уговаривал их помириться с отцом. Да, это был почти родной человек, который смотрел на нее так участливо и ласково, а главное, так просто, что Феня почувствовала себя легко именно с ним. Она подробно рассказала, как баушка Лукерья выманила ее из Тайболы и увезла сюда, как приезжал несколько раз Акинфий Назарыч и как она сама истомилась в этой неволе.

– Беденькая... – еще ласковее проговорил Карачунский и потрепал ее по заалевшей щеке. – Надо как-нибудь устраивать дело. Я переговорю с Акинфием Назарычем и даже могу захватить к нему по пути в город.

Феня отрицательно покачала головой и тяжело вздохнула. Карачунский понял совершавшийся в ее душе перелом и не стал больше расспрашивать. Баушка Лукерья втащила самовар.

– Ну, бабуся, как вы тут поживаете?

– Ничего, касатик... Пока бог грехам терпит. Феня, ты уж тут собери чайку, а я в той избе управляться пойду.

Карачунский выпил стакан чаю, а когда его пригласили к следователю, сунул Фене скомканную ассигнацию.

– Что вы, Степан Романыч...

– За хлопоты: я ничего даром не люблю брать...

Из-за этих денег чуть не вышел целый скандал. Приходил звать к следователю Петр Васильич и видел, как Карачунский сунул Фене ассигнацию. Когда дверь затворилась, Петр Васильич орлом налетел на Феню.

– Ну-ка, кажи, что он тебе дал?..

Феня инстинктивно сжала деньги в кулаке и не знала, что ей делать, но к ней на выручку прибежала баушка Лукерья и оттолкнула сына.

– Мамынька, хоть издали покажи, сколько он дал!.. – упрашивал Петр Васильич, заинтригованный бабьей жадностью.

Баушка Лукерья сделала непростительную ошибку, в которой сейчас же раскаялась – она развернула скомканную ассигнацию при всех.

– Пять цалковых!.. – изумленно прошептал Петр Васильич, делая шаг к матери. – Мамынька, что же это такое? Ежели, напримерно, ты все деньги будешь загробаздывать...

– Не твое дело!.. – зыкнула старуха. – Разве я твои деньги считаю?..

– Однако это даже весьма мне удивительно, мамынька... Кто у нас, напримерно, хозяин в дому?.. Феня, в другой раз ты мне деньги отдавай, а то я с живой кожу сниму.

– Нет, нет! – сказала старуха с искаженным лицом. – Мне!.. Мне!..

– Мамынька, побойся ты бога!

– Уйди от греха, а то прокляну!..



Феня ужасно перепугалась возникшей из-за нее ссоры, но все дело так же быстро потухло, как и вспыхнуло. Карачунский уезжал, что было слышно по топоту сопровождавших его людей... Петр Васильич опрометью кинулся из избы и догнал Карачунского только у экипажа, когда тот садился.

– Степан Романыч, напередки милости просим!.. – бормотал он, цепляясь за кучерское сиденье. – На Дерниху поедешь, так в другой раз чайку напитокся... молочка... Я, значит, здешней хозяин, а Феня моя сестра. Мы завсегда...

Карачунский с удивлением взглянул через плечо на «здешнего хозяина», ничего не ответил и только сделал головой знак кучеру. Экипаж рванулся с места и укатил, заливаясь настоящими валдайскими колокольчиками. Собравшиеся у избы мужики подняли Петра Васильича на смех.

– А ты собачкой за ним побегу, Петр Васильич... Ах, прокурат!.. Глаз-то кривой у него как заиграл...

## Часть третья

### I

Зыковский дом запустел как-то сразу. Родион Потапыч живмя жил на своей шахте и домой выходил очень редко, недели через две. Яша «старался» на Мутяшке в партии Кишкина, а дома из мужиков оставался один безответный зять Прокопий. Прежде было людно, теперь хоть мышей лови, как в пустом амбаре. Сама Устинья Марковна что-то все недомогалась, замужняя дочь Анна возилась со своими ребятишками, а правила домом одна вековушка Марья с подраставшей Наташкой, – последнюю отец совсем забыл, оставив в полное распоряжение баушки. Скучно было в зыковском доме, точно после покойника, а тут еще Марья на всех взъедается.

– Да что это с тобой попритчилось? – недоумевала Устинья Марковна, удивляясь сварливости дочери. – Какой бес поехал на тебе?..

– Чему радоваться-то у нас? – грубила Марья... – Хуже каторжных живем. Ни свету, ни радости!.. Вон на Фотьянке... Баушка Лукерья совсем осатанела от денег-то. Вторую избу ставят... Фене баушка-то уж второй полушалок обещала купить да ботинки козловые.

– А тебе завидно стало? Нашла тоже кому и позавидовать... – корила ее мать. – Достаточно натерпелась всего Феня-то.

– Чего она натерпелась-то? Живет да радуется. Румяная такая стала да веселая. Ужо, вот как замуж выскочит... У них на Фотьянке-то народу теперь нетолченая труба... Как-то целовальник Ермошка наезжал, увидел Феню и говорит: «Ужо, вот моя-то Дарья подохнет, так я к тебе сватов зашлю...»

– Ну, Ермошкины-то слова, как худой забор: всякая собака пролезет... С пьяных глаз через чего-нибудь городил. Да и Дарья-то еще переживет его десять раз... Такие ледящие бабенки живучи.

– Не Ермошка, так другой выщется... На Фотьянке теперь народу видимо-невидимо, точно праздник. Все фотьянские бабы лопатами деньги гребут: и постой держат, и харчи продают, и обшивают приисковых. За одно лето сколько новых изб поставили. Всех вольное-то золото поднимает. А по вечерам такое веселье поднимается... Наши приисковые гуляют.

– Эк тебе далась эта Фотьянка, – ворчала Устинья Марковна, отмахиваясь рукой от пустых слов. – Набежала дикая копейка – вот и радуются. Только к дому легкие-то деньги не больно льнут, Марьюшка, а еще уведут за собой и старые, у кого велись.

– Много денег на Фотьянке было раньше-то... – смеялась Марья. – Богачи все жили, у всех-то вместе одна дыра в горсти... Бабы фотьянские теперь в кумачи разрядились, да в ботинки, да в полушалки, а сами ступить не умеют по-настоящему. Смешно на них и глядеть-то: кувалды кувалдами супротив наших балчуговских.

– Петр Васильич, сказывают, больно что-то форсит!..

– Сапоги со скрипом завел, пуховую шляпу, – так петухом и расхаживает. Я как-то была, так он на меня, мамынька, и глядеть не хочет. А с баушкой Лукерьей у них из-за денег дело до драки доходит: та себе тянет, а Петр Васильич себе. Фенька, конечно, круглая дура, потому что все им отдает...

– И то дура... – невольно соглашалась Устинья Марковна, в которой шевельнулся инстинкт бабьего стяжательства. – Вот нам и делить нечего... Что отец даст, тем и сыты.

– Весь народ из Балчугов бежит на Фотьянку... – со вздохом прибавила Марья.

Анна редко принимала участие в этих разговорах, занятая своими ребятишками. Ей было до себя. Да и вообще это была смиренная и безответная бабенка, характером вся в мать. Подраставшая Наташка была у тетки «в няньках» и без утыху возилась с ребятами. Эта бойкая девочка в тяжелой обстановке дедовского дома томилась больше всех и жадно вслушивалась в наговоры вечно роптавшей Марьи. До детских ушей долетал далекий гул Фотьянки, и Наташка представляла себе что-то необыкновенное, совсем сказочное. История тетки Фени в ее голове тоже была окружена поэтическими подробностями и сейчас сливалась неразрывно с бойкой жизнью на промыслах. Теперь везде говорили про Фотьянку. Отец, Яша,

в целое лето показывался дома всего раза два, чтобы повидать ребятишек и захватить одежды и харчей. Он сильно исхудал в лесу и еще больше облысел.

– Ну, показывай золото... – приставала к нему Устинья Марковна. – Хоть бы поглядеть, какое оно бывает.

– погоди, мамынька, будет и золото, – коротко отвечал Яша, таинственно улыбаясь. – Тогда сама увидишь...

– Вот затоцал ты, Яшенька, это-то я вижу... Ох, и прокляненное ваше золото, ежели разобрать. А где Мьльников-то?

– Робит с нами на Мутяшке, только плохая у нас на него надежда: и ленив, и вороват.

– Отца-то ты давно не видал? Зашел бы на шахту, по пути ведь...

– Нет, мамынька, достаточно с меня... Обругает, как увидит. Хоть и тяжело на промыслах, а все-таки своя воля... Сам большой, сам маленький...

Появление отца для Наташки было настоящим праздником. Яша Малый любил свое гнездо какой-то болезненной любовью и ужасно скучал о детях. Чтобы повидать их, он должен был сделать пешком верст шестьдесят, но все это выкупалось радостью свиданья. И Наташка и маленький Петрунька так и повисли на отцовской шее. Особенно ластилась Наташка, скучавшая по отце более сознательно. Но Яша точно стеснялся радоваться открыто и потихоньку уходил с ребятишками куда-нибудь в огород и там пестовал их со слезами на глазах.

– Тятенька, золотой, возьми меня с собой! – каждый раз просила Наташка. – Тошнехонько мне здесь...

– погоди, возьму... Куда тебя в лес-то, глупая, я возьму?..

– Я обшивать бы тебя стала, рубахи мыть, стряпать, – я все умею.

– А Петрунька как?

– И Петруньку с собой возьмем...

– погоди, говорю.

– Да, тебе-то хорошо, – корила Наташка, надувая губы. – А здесь-то каково: баушка Устинья ворчит, тетка Марья ворчит... Все меня чужим хлебом попрекают. Я и то уж бежать думала... Уйду в город, да в горничные наймусь. Мне пятнадцатый год в спажинки пойдет.

– Вот ты и вышла глупая, Наташка: а Петрунька куда без тебя?

Только с отцом и отводила Наташка свою детскую душу и провожала его каждый раз горькими слезами. Яша и сам плакал, когда прощался со своим гнездом. Каждое утро и каждый вечер Наташка горячо молилась, чтобы бог поскорее послал тятеньке золота.

Последнее появление Яши сопровождалось большой неприятностью. Забунтовала, к общему удивлению, безответная Анна. Она заметила, что Яша уже не в первый раз все о чем-то шептался с Прокопием, и заподозрила его в дурных замыслах: как раз сомустит смирного мужика и уведет за собой в лес. Долго ли до греха. И то весь народ точно белены объелся...

– Что вы, сестрица Анна Родионовна! – уговаривал ее Яша. – Неужто и словом перемолвиться нам нельзя с Прокопием?.. Сказали, не укусили никого...

– Знаю я, о чем вы шепчетесь! – выкрикивала Анна. – Трое ребятишек на руках: куда я с ними деваюсь? Ты вот своих-то бросил дедушке на шею, да еще Прокопия смущаешь...

– Ах, сестрица, какие вы слова выражаете!.. Денно-ночно я думаю об ребятишках-то, а вы: бросил...

Как на грех, Прокопий прикрикнул на жену, и это подняло целую бурю. Анна так заголосила, так запричитала, что вступились и Устинья Марковна и Марья. Одним словом, все бабы ополчились в одно причитавшее и редевшее целое.

– Да перестаньте вы, бабы! – уговаривал Прокопий. – Без вас тошно...

– Я тебе, сомустителю, zenки выцарапаю! – ругала Яшу сестрица Анна. – Сам-то с голоду подохнешь, да и нас уморить хочешь...

В сущности, бабы были правы, потому что у Прокопия с Яшей, действительно, велись любовные тайные переговоры о вольном золоте. У безответного зыковского зятя все сильнее въедалась в голову мысль о том, как бы уйти с фабрики на вольную работу. Он вынашивал свою мечту с упорством всех мягких натур и затаился даже от жены. Вся сцена закончилась тем, что мужики бежали с поля битвы самым постыдным образом и как-то сами собой очутились в кабаке Ермошки.

– Жизнь треклятая! – проговорил Прокопий, бросая свою шапку о пол. – Очумел я с бабами, Яша...

– Погоди, зять, устроимся, – утешал Яша покровительственным тоном. – Дай срок, утвердимся... Только бы одинова дыхнуть. А на баб ты не гляди: известно, бабы. Они, брат, нашему брату в том роде, как лошади железные пути... Знаю по себе, Проня... А в лесу-то мы с тобой зажили бы припеваючи... Надоела, поди, фабрика-то?

– Хуже смерти... Как цепной пес у конуры хожу. Ежели бы не тятенька Родивон Потапыч, одного часу не остался бы.

Этот вольный порыв, впрочем, сменился у Прокопия на другой же день молчаливым унынием, и Анна точила его все время, как ржавчина.

– Туда же расхрабрился, ворона! – выкрикивала она. – Вот тятенька узнает, так он тебе покажет.

Устинья Марковна поддакивала дочери своим молчанием и вздохами, и только заступилась одна Марья:

– Будет тебе, Анна... Надоело слушать-то.

Не успели проводить Яшу на промысла, как накатилась новая беда. Раз вечером кто-то осторожно постучал в окно. Устинья Марковна выглянула в окно и даже ахнула: перед воротами стояла чья-то «долгушка», заложенная парой, а под окном расхаживал Мельников с кнутиком.

– В гости приехал, тещенька... – объяснил он. – Пусти-ка в избу, дельце есть маленькое.

– Да ты бы днем, Тарас, а то на ночь глядя лезешь.

– Говорю, дело...

Когда Марья выскочила отворить ворота, она была изумлена еще больше: с Мельниковым приехал Кожин. Марья инстинктивно загородила дорогу, но Кожин прошел мимо, как сонный.

– Не тронь его... – объяснил Мельников, оттаскивая Марью. – Не бойсь, не потронет.

От Мельникова по обыкновению пахло перегорелой водкой, как из винной бочки. Наклонившись, он душливо прошептал:

– А новость слышала, Марьюшка?

– Какую новость?..

– А такую... Все будешь знать, скоро состаришься.

Устинья Марковна стояла посреди избы, когда вошел Кожин. Она в изумлении раскрыла рот, замахала руками и бессильно опустилась на ближайшую лавку, точно перед ней появилось привидение. От охватившего ее ужаса старуха не могла произнести ни одного слова, а Кожин стоял у порога и смотрел на нее ничем не видевшим взглядом. Эта немая сцена была прервана только появлением Марьи и Мельникова.

– Устинье Марковне, любезной нашей теще, многая лета... – заговорил Мельников с пьяной развязностью. – А слышала новость?

– Не подходи ты ко мне близко-то, Тарас... – причитала Устинья Марковна. – Не до новостей нам... Как увидела тебя в окошко-то, точно у меня что оборвалось в середке. До смерти я тебя боюсь... С добром ты к нам не приходишь.

– Это уж не моя причина, тещенька...

– Да говори толком-то! – понукала его Марья, сгоравшая от нетерпенья. – Ну, чего принес?

– А ты вот его спрашивай, – указал Мыльников на Кожина. – Мое дело сторона... Да сперва пригласи садиться, сестрица. Честь завсегда лучше бесчестья...

– Да ну тебя, болтушка... Садитесь.

Кожин, пошатываясь, прошел к столу, сел на лавку и с удивлением посмотрел кругом, как человек, который хочет и не может проснуться. Марья заметила, как у него тряслись губы. Ей сделалось страшно, как матери. Или пьян Кожин, или не в своем уме.

– Окся-то моя определилась к баушке Лукерье, – проговорил наконец Мыльников, удушливо хихикая. – Сама, стерва, пришла к ней...

– А как же Феня? – зараз спросили Устинья Марковна и Марья.

– Приказала долго жить... тьфу!.. То бишь, жива она, а только тово...

Имя Фени заставило очнуться Кожина, точно по нему выстрелили. Он хотел что-то сказать, пошевелил губами и махнул рукой.

– Да говори ты толком... – приставал к нему Мыльников. – Убегла, значит, наша Федосья Родивоновна. Ну, так и говори... И с собой ничего не взяла, все бросила. Вот какое вышло дело!

– У Карачунского она... – прошептал наконец Кожин. – Своими глазами видел. В горничные нанялась...

Он ударил кулаком по стулу и застонал, как раненый человек, которого неосторожно задели за больное место. Марья смотрела на Устинью Марковну, которая бессмысленно повторяла:

– У Карачунского? Зачем ей быть у Карачунского? Как же баушка-то Лукерья не доглядела? Что-нибудь да не так...

– Нет, так!.. – ответил Кожин. – Известно, какие горничные у Карачунского... Днем горничная, а ночью сударка. А кто ее довел до этого? Вы довели... вы!.. Феня, моя голубка... родная... Что ты сделала над собой?..

– Убьет он Карачунского, – спокойно заметил Мыльников. – Это хоть до кого доведись...

Опомнилась первой Марья и проговорила:

– Да ведь ты женился, сказывают, Акинфий Назарыч? Какое тебе дело до нашей Фени?.. Ты сам по себе, она сама по себе.

– А ежели она у меня с ума нейдет?.. Как живая стоит... Не могу я позабыть ее, а жену не люблю. Мамынька женила меня, не своей волей... Чужая мне жена. Видеть ее не могу... День и ночь думаю о Фене. Какой я теперь человек стал: в яму бросить – вся мне цена. Как я узнал, что она ушла к Карачунскому, – у меня свет из глаз вон. Ничего не понимаю... Запряг долгушку, бросился сюда, еду мимо господского дома, а она в окно смотрит. Что тут со мной было – и не помню, а вот, спасибо, Тарас меня из кабака вытащил.

– Да когда это было-то, Акинфий Назарыч?

– Не упомню, не то сегодня, не то вчера... Горюшко лютое, беда моя смертная пришла, Устинья Марковна. Разделились мы верами, а во мне душа полымем горит... Погляжу кругом, а все красное. Ах, тоска смертная... Фенюшка, родная, что ты сделала над своей головой?.. Лучше бы ты померла...

Заголосили бабы от привезенной Тарасом новости, как не голосят над покойниками, а Кожин уронил голову на стол, как зарезанный.

– Ну, пошли!.. – удивлялся Мыльников. – Да я сам пойду к Карачунскому и два раза его выворочу наоборот... Приведу сюда Феню, вот вам и весь сказ!.. Перестань, Акинфий Назарыч... От живой жены о чужих бабах не горюют...

– Отстань... убью!.. – шептал Кожин, глядя на него дикими глазами.

– А что Родион-то Потапыч скажет, когда узнает? – повторяла Устинья Марковна. – Лучше уж Фене оставаться было в Тайболе: хоть не настоящая, а все же как будто и жена. А теперь на улицу глаза нельзя будет показать... У всех на виду наше-то горе!

Мыльников, действительно, отправился от Зыковых прямо к Карачунскому. Его подвез до господского дома Кожин, который остался у ворот дожидаться, чем кончится все дело.

– Ты меня тут подожди, – уговаривался Мыльников. – Я и Феню к тебе приведу... Мне только одно слово ей сказать. Как из ружья выстрелю...

Карачунский был дома. В передней Мыльникова встретил лакей Ганька и, по своему холуйскому обычаю, хотел сейчас же заворотить гостя.

– Мне Федосью Родивоновну повидать, своячину... – упирался Мыльников в дверях. – Одно словечко молвить...

– Ступай, ступай! – напирал Ганька. – Я вот покажу тебе словечко... Не велено пущать.

Такое поведение лакея Ганьки возмутило Мыльникова, и он без лишних слов вступил с холуйским отродьем в рукопашную. На крик Ганьки в дверях гостиной мелькнуло испуганное лицо Фени, а потом показался сам Карачунский.

– Ваше благородие, Степан Романыч... – взмолился Мыльников, изнемогавший в борьбе с Ганькой. – Одно словечушко молвить.

– Ну, говори... – коротко ответил Карачунский, узнавший Мыльникова. – Что тебе нужно, Тарас?

– Прикажете Ганьке уйти... Имею до тебя, Степан Романыч, особенное дельце.

Ганька был удален, и Мыльников, оправив потерпевший в схватке костюм, проговорил удушливым шепотом:

– Кожин меня за воротами ждет, Степан Романыч... Очертел он окончательно и дурак дураком. Я с ним теперь отваживаюсь вторые сутки... А Фене я сродственник: моя-то жена родная ейная сестра, значит, Татьяна. Ну, значит, я и пришел объявиться, потому как дело это особенное. Дома ревут у Фени, Кожин грозит зарезать тебя, а я с емя со всеми отваживаюсь... Вот какое дельце, Степан Романыч. Силушки моей не стало...

– Я Кожина не боюсь, – спокойно ответил Карачунский. – И даже готов объясниться с ним.

– Что ты, Степан Романыч: очертел человек, а ты разговаривать с ним. Мне впору с ним отваживаться... Ежели бы ты, Степан Романыч, отвел мне деляночку на Ульяновом кряже, – прибавил он совершенно другим тоном, – уж так и быть, постарался бы для тебя... Гора-то велика, что тебе стоит махонькую деляночку отвести мне?

Этот шантаж возмутил Карачунского, и он сморщился.

– Нет, не могу... – решил Карачунский после короткой паузы. – Отвести тебе деляночку, – и другим тоже надо отводить.

– Ах, андел ты мой, да ведь то другие, а я не чужой человек, – с нахальством объяснял Мыльников. – Уж я бы постарался для тебя.

– Нет, не могу... – еще решительнее ответил Карачунский, повернулся в дверях и ушел.

У Карачунского слово было законом, и Мыльников ушел бы ни с чем, но когда Карачунский проходил к себе в кабинет, его остановила Феня.

– Степан Романыч, дозвоьте мне переговорить с зятем?

– Нет, это лишнее, – ласково отговаривал Карачунский. – Я уже сказал все... Он требует невозможного, да и вообще для меня это подозрительный человек.

Но Феня так ласково посмотрела на него, что Карачунский только махнул рукой. О, женщины... Везде они одинаковы со своими просьбами, слезами и ласками!.. Карачунский еще лишний раз убедился в этом и почувствовал вперед, что ему придется изменить своему слову для нового «родственника». Последнее слово кольнуло его, но он опять видел одни ласковые глаза Фени и ее просящую улыбку. Разве можно отказать женщине? Феня в это время уже была в передней и умоляла Мыльникова, чтобы он увез куда-нибудь от греха дождавшегося у ворот Кожина.

– И увезу, а ты мне сруководствуй деляночку на Краюхином увале, – просил в свою очередь Мыльников. – Кедровскую-то дачу бросил я, Фенюшка... Ну ее к черту! И канпания у нас была: пришей хвост кобыле. Все врозь, а главный заводчик Петр Васильич. Такая

кривая ерахта!.. С Ястребовым снюхался и золото для него скупает... Да ведь ты знаешь, чего я тебе-то рассказываю. А ты деляночку-то приспособь... В некоторое время пригожусь, Фенюшка. Без меня, как без поганого ведра, не обойдешься...

– Дома-то у нас ты был, Тарас?

– Сейчас оттуда... Вместе с Кожиным были. Ну, там Мамай воевал: как учили бабы реветь, как учили причитать – святых вон понеси. Ну, да ты не сумлевайся, Фенюшка... И не такая беда изнашивается. А главное, оборудуй мне деляночку...

– А что мамынька? – спрашивала Феня свое. – Ах, изболелось мое сердечушко, Тарас... Не увижу я их, видно, больше, пропала моя головушка...

– Перестань печалиться, глупая, – утешал Мыльников. – Москва нашим-то слезам не верит... А ты мне деляночку-то охлопочи. Изнищал я вконец...

– Ах, какой ты, Тарас, непонятный! Я про свою голову, а он про делянку. Как я раздумаюсь под вечер, так впору руки на себя наложить. Увидишь мамыньку, кланяйся ей... Пусть не печалится и меня не винит: такая уж, видно, выпала мне судьба злосчастливая...

– Ничего, привыкнешь. Ужо погляди, какая гладкая да сытая на господских хлебах будешь. А главное, мне деляночку... Ведь мы не чужие, слава богу, со Степаном-то Романычем теперь...

При последних словах Мыльников подмигнул и прищелкнул языком, заставив Феню покраснеть, как огонь. Она убежала, не простившись, а Мыльников стоял и ухмылялся.

«Эх, бабы, всех-то вас взять да сложить вместе – один грех выйдет».

– Эй ты, галман, отворяй дверь! – вслух обратился Мыльников к появившемуся лакею Ганьке. – Без очков-то не узнал Тараса Мыльникова?... Я вас всех научу, как на свете жить!

Выйдя на крыльцо, Мыльников еще постоял, покрутил своей беспутной головой и зашагал к воротам.

– Ну, твое дело табак, Акинфий Назарыч, – объявил он Кожину с приличной торжественностью. – Совсем ведь Феня-то оболочлась было, да тот змей-то не пустил... Как уцепился в нее, ну, известно, женское дело. Знаешь, что я придумал: надо беспременно на Фотьянку гнать, к баушке Лукерье; без баушки Лукерьи невозможно...

Последнее придумал Мыльников, стоя на крыльце. Ему не хотелось шагнуть до Фотьянки пешком, а Кожин на своей парочке лихо доведет. Он вообще повиновался теперь Мыльникову во всем, как ребенок. По пути они заехали еще к Ермошке раздавить полштоф, и Мыльников шепнул кабатчику:

– Битый небитого везет, Ермолай Семеныч...

– Скоро ли тебя повесят, Тарас? – ответил Ермошка в тон. – Я веревку пожертвую на свой счет...

– Еще осина не выросла, на которой нас с тобой повесят...

Кожин все время молчал и пил. Даже Ермошка его пожалел: совсем замотался мужик.

Всю дорогу до Фотьянки Мыльников болтал без утыху и даже рассказал, как он пил чай с Карачунским сегодня, пока Кожин ждал его у ворот господского дома.

– Мне, главная причина, выманить Феню-то надо было... Ну, выпил стакашик господского чаю, потому как зачем же я буду обижать барина напрасно? А теперь приедем на Фотьянку: первым делом самовар... Я как домой к баушке Лукерье, потому моя Окся утвердилась там заместо Фени. Ведь поглядеть, так дура набитая, а тут ловко подвернулась... Она уж во второй раз с нашего прииску убежала да прямо к баушке, а та без Фени, как без рук. Ну, Окся и соответствует по всем частям...

На Фотьянку они приехали уже совсем поздно, хотя в избе Петра Васильича еще и светился огонек, – это сидел Ястребов и вел тайную беседу с хозяином.

– Ты куда прешь-то ни свет ни заря? – накинулась баушка Лукерья на Мыльникова. – Дня-то тебе мало, шатущему?

– Об Оксе больно соскучился, баушка... – врал Мыльников, не моргнув глазом. – Трудно, поди, ей управляться одной-то. Непривычное дело, вот главная причина...

– Воду на твоей Оксе возить – вот это в самый раз, – ворчала старуха. – В два-то дня она у меня всю посуду перебила... Да ты, Тарас, никак с ночевкой приехал? Ну нет, брат, ты эту моду оставь... Вон Петр Васильич поедом съел меня за твою-то Оксю. «Ее, – говорит, – корми, да еще родня-шаромыжники навяжутся...» Так напрямки и отрезал.

– Вот так уважил... Что же это такое, баушка Лукерья? На печи проезду не стало мне от родственников... Ежели такие ваши речи, так я возьму Оксю-то назад.

– Сделай милость, бери... Не заплачем. Говорю, всю посуду расколотила. А ты не накладывайся ночевать у нас: без тебя тесно.

– Ах, боже мой... Вот так роденьку бог дал!.. – удивлялся Мыльников, распоясываясь. – Я сломя голову к тебе из Балчугов гоню, а она меня вон каким шампанским встретила...

– Да ты с какой радости разгонялся-то?

– А я с Кожиним цельных три дня путался. Он за воротами остался... Скажи ему, баушка, чтобы ехал домой. Нечего ему здесь делать... Я для родни в ниточку вытягиваюсь, а мне вон какая от вас честь. Надоело, признаться сказать...

Баушка Лукерья сама вышла за ворота и уговорила Кожина ехать домой. Он молча ее выслушал, повернул лошадей и пропал в темноте. Старуха постояла, вздохнула и побрела в избу. Мыльников уже спал, как зарезанный, растянувшись на лавке.

– Этакие бесстыжие глаза... – подивилась на него старуха, качая головой. – То-то путаник-мужичонка!.. И сон у них у всех один: Окся-то так же дрыхнет, как колода. Присунулась до места и спит... Ох, согрешила я! Не нажить, видно, мне другой-то Фени... Ах, грехи, грехи!..

Баушка Лукерья, страдаемая недугом своей старческой жадности, ужасно тосковала о Фене, являвшейся для нее той сказочной курицей, которая несла золотые яйца. Приветливая была бабенка, обходительная, и всякое дело у ней в руках горело. А как ушла Феня, точно все ножом обрезало... Где же одной старухе управиться, да и не умела она потрафить постояльцам, как Феня. Баушка Лукерья не раз даже всплакнула по Фене, проклиная Карачунского, ухватившего ласковую бабенку. Польстилась Феня на сладкое господское житье и позабыла про свою девичью честь.

Мыльников с намерением оставил до следующего дня рассказ о том, как был у Зыковых и Карачунского, – он рассчитывал опохмелиться на счет этих новостей и не ошибся. Баушка Лукерья сама послала Оксю в кабак за полштофом и с жадным вниманием прослушала всю болтовню Мыльникова, напрасно стараясь отличить, где он говорит правду и где врет.

– Кланяться наказывала тебе, баушка, Феня-то, – врал Мыльников, хлопая одну рюмку за другой. – «Скажи, говорит, что скучаю, а промежду прочим весьма довольна, потому как Степан Романыч барин добрый и всякое уважение от него вижу...»

– Пес он, Степан-то Романыч. Не стало ему других девок? Из городу привез бы...

– Значит, Феня ему по самому вкусу пришлась... хе-хе!.. Харч, а не девка: ломтями режь да ешь. Ну, а что было, баушка, как я к теще любезной приехал да объявил им про Феню, что, мол, так и так... Как взвыли бабы, как запричитали, как заголосили истошными голосами – ложись помирай. И тебе, баушка, досталось на орехи. «Захвалилась, – говорят, – старая крымза, а Феню не уберегла...» Родня-то, баушка, по нынешним временам везде так разговаривает. Так отзолотили тебя, что лучше и не бывает, вровень с грязью сделали.

Слушал эти рассказы и Петр Васильич, но относился к ним совершенно равнодушно. Он отступился от матери, предоставив ей пользоваться всеми доходами от постояльцев. Будет Окся или другая девка – ему было все равно. Вранье Мыльникова просто забавляло вороватого домовладыку. Да и маменька пусть покипятится за свою жадность... У Петра Васильича было теперь свое дело, в которое он ушел весь.

Опохмелившись Мыльников соврал еще что-то и отправился в кабак к Фролке, чтобы послушать, о чем народ галдит. У кабака всегда народ сбивался в кучу, и все новости собирались здесь, как в узле. Когда Мыльников уже подходил к кабаку, его чуть не сшибла с ног бойко катившаяся телега. Он хотел обругаться, но оглянулся и узнал любезную сестрицу Марию Родивоновну.

– Куды ускорила, сестрица?



– А баушку проведать поехала, – нехотя отвечала Марья, понукая лошадь.

– Так-с... Настоящее уважение старушке делаете.

Когда телега повернула за угол, Мыльников раскинул умом и живо сообразил, зачем ехала проведать баушку любезная сестрица. Ухмыльнувшись, он подумал вслух:

– Поздно-с, Марья Родивоновна... Местечко-то занято.

На этот раз Мыльников ошибся. Пока он прохлаждался в кабаке, судьба Оксе была решена: ее место заняла сама любезная сестрица Марья Родивоновна.

– Ты теперь ступай, голубка, домой, – объяснила баушка Лукерья ничего не понимавшей Оксе. – Спасибо, всю посуду переколотила...

– Не пойду... – упрямо повторяла Окся, которой нравилось жить у баушки.

Произошла комическая сцена, в которой должен был принять участие даже Петр Васильич.

– Как же ты, милая, не пойдешь, ежели тебе сказано? – разъярялся он Оксе. – Надо и честь знать...

– Да что ты ко мне привязался, кривой черт? – озлилась наконец Окся, перенеся все свое неудовольствие на Петра Васильича. – Сказала, не пойду...

– Мамынька, что же это такое? – взмолился Петр Васильич. – Я ведь, пожалуй, и шею искостыляю, коли на то пошло. Кто у нас в дому хозяин?..

Баушка Лукерья сунула Оксе за ее службу двугривенный и вытолкала за дверь. Это были первые деньги, которые получила Окся в свое полное распоряжение. Она зажала их в кулак и так шла все время до Балчуговского завода, а дома спрятала деньги в сенях, в расщелившемся бревне. Оксю тоже охватила жадность, с той разницей от баушки Лукерьи, что Окся знала, куда ей нужны деньги.

Мысль о бегстве из отцовского дома явилась у Марьи в тот же роковой вечер, когда она узнала о новой судьбе сестры Фени. Она не спала всю ночь, раздумывая, как устроить ей все дело. Что ей ждать в отцовском доме? Из-за отца и в девках осталась, а когда старик умрет, тогда и деваться будет некуда. Дом зятю Прокопию достанется «на детей», как обещал Родион Потапыч, не рассчитывавший на своего Яшу как на достойного наследника. Жаль было Марье старухи-матери, да жить-то ведь ей, Марье, а мать свой век изжила. Девушка со слезами простилась с родным гнездом, сама запрягла лошадь и отправилась на Фотьянку.

### III

Компания Кишкина и существовала и как будто не существовала. Дело в том, что Мыльников сбежал окончательно, обругав всех на чем свет стоит, а затем Петр Васильич бывал только «находком», – придет, повернется денек и был таков. Настоящими рабочими оставались сам Кишкин, Яша Мальй, Матюшка, Турка и Мина Клейменный, – последний в артели отвечал за кашевара. Миляев мыс так и остался спорным, а работа шла на отводах вверх по реке Мутяшке. Маякова слань была исправлена лучше, чем в казенное время, и дорога не стояла часу, – шли и ехали рабочие на новые промысла и с промыслов. В одно лето все течение Меледы с притоками сделалось неузнаваемым: лес везде вырублен, земля изрыта, а вода текла взмученная и желтая, унося с собой последние следы горячей промышленной работы.

Дела у Кишкина шли ни шатко, ни валко. Он много выиграл тем, что получил отвод прииска раньше других и, следовательно, раньше мог начать работу. Прииск получил название Сиротки – по логу, который выходил на Мутяшку с правой стороны. Для работы «сильной рукой» не хватало средств, а поэтому дело велось наполовину старательскими работами, наполовину иждивением самого Кишкина, раздобывшегося деньгами к общему удивлению. Никто и не подозревал, что эти таинственные деньги были ему даны знаменитым секретарем Ильей Федотычем. Это была своего рода взятка, чтобы Кишкин не запутал знаменитого дельца в проклятое дело о Балчуговских промыслах.

– Ты у меня смотри... – погрозил Илья Федотыч, выдавая деньги. – Знаешь поговорку: клоп клопа ест – последний сам себя съест...

По-настоящему работы на Сиротке нужно было начать с генеральной разведки всей Площади прииска, то есть пробить несколько шурфов в шахматном порядке, чтобы проследить простирание золотоносного пласта, его мощность и все условия залегания. Но подобная разведка стоила бы около тысячи рублей, а таких денег не было и в помине. Еще больше стоила бы «вскрышка россыпи», то есть снятие верхнего пласта пустой породы, что делается на больших хозяйских работах. Это и выгодно, и вперед можно рассчитать содержание золота. Но пришлось вести работы старательским способом: взяли угол россыпи и пошли вверх по логу «ортами». Зараз производились и вскрышка верховика и промывка песков. Содержание золота оказалось порядочное, хотя и не везде одинаковое.

– Какая это работа: как мыши краюшку хлеба грызем, – жаловался Кишкин. – Все равно, как лестницу мести с нижней ступеньки.

В «забое», где добывались пески, работали Матюшка с Туркой, откатывал на тачке пески Яша Малый, а Мина Клейменный стоял на промывке с Кишкиным. Собственно промывка – бабья, легкая работа. Дело все-таки шло очень недурно и «оправдывало себя». На пятерых в день намывали до двух золотников золота, что составляло поденщину рубля в полтора. Одно смущало Кишкина, что золото шло неровное – то убавится, то прибавится. Другая беда была в том, что близилась зима, а зимой или ставь теплую казарму, или бросай все дело до следующей весны. Пока все жили в одной избушке, кое-как защищавшей от дождя. Мысль о зиме не давала Кишкину покоя: партия разбредется, а потом начинай все сызнава.

Если бы не эти заботы, совсем было бы хорошо. Проведенное в лесу лето точно размягчило Кишкина, и он даже начинал жалеть о заваренной каше. Недавняя озлобленность, вызванная многолетними неудачами, нуждой и одиночеством, сменилась бодрым, хорошим настроением. Да и хорошо жить в лесу... Какие ночи выпадали, какие ясные горячие деньки: двадцать лет с плеч долой. День за работой, а вечером такой здоровый отдых около своего огонька в приятной беседе о разных разностях. С других приисков народ заходил, и вся Мутяшка была на вестях: у кого какое золото идет, где новые работы ставят и т. д. Вся Мутяшка представляла одно громадное целое, жившее одними интересами и надеждами.

– Эх, нету у нас, Андрон Евстратыч, первое дело, лошади, – повторял каждый день Матюшка, – а второе дело, надо нам беспременно завести бабу... На других приисках везде свои бабы полагаются.

– Окся, подлая, убежала... – оправдывался Кишкин.

Было несколько попыток приобрести бабу, но все они закончились полнейшей неудачей. Про фотьянских баб и думать было нечего: они совсем задорожились. У себя дома не успевали поправляться. Были, конечно, шатущие по промыслам девки, отбившиеся от своих семей, но такую и к артельному котелку никто не пустит. Бабы вообще шли нарасхват. Главным поставщиком этого товара служил Балчуговский завод. На Сиротке жили несколько времени две таких бабы, но не зажились. Прииск был небольшой, рабочих мало, да и то почти все старики.

– Скучно у вас, – говорили бабы и уходили куда-нибудь на соседний прииск к Ястребову.

Мыльников приводил свою Оксю два раза, и она оба раза бежала. Одним словом, с бабой дело не клеилось, хотя Петр Васильич и обещал раздобыть такую во что бы то ни стало.

– Да тебя как считать-то: не то ты с нами робишь, не то отшибся? – спрашивал Кишкин Петра Васильича. – День поробишь да неделю лодырничает.

– Ужо погодите, управлюсь с делами, так в первой голове пойду.

– Расчета тебе нет, Петр Васильич: дома-то больше добудешь. Проезжающие номера открыл, а теперь, значит, открывай заведение с арфистками... В самый раз для Фотьянки теперь подойдет. А сам похаживай петушком да команду – всей и работы.

– Кишок, пожалуй, не хватит, Андрон Евстратыч, – скромничал Петр Васильич, блаженно ухмыляясь. – Шутки шутишь над нашей деревенской простотой... А я как-то раз был в городе в таком-то заведении и подивился, как огребают денежки.

– Обзарился, поди?... Лют ты до чужих денег, Петр Васильич. Глаз у тебя так и заиграет, как увидит деньги-то...

Зачем шатался на прииски Петр Васильич, никто хорошенько не знал, хотя и догадывались, что он спроста не пойдет время тратить. Не таковский мужик... Особенно

недолюбливал его Матюшка, старавшийся в компании поднять насмех или устроить какую-нибудь каверзу. Петр Васильич относился ко всему свысока, точно дело шло не о нем. Однако он не укрылся от зоркого и опытного взгляда Кишкина. Раз они сидели и беседовали около огонька самым мирным образом. Рабочие уже спали в балагане.

– Это у тебя что пазуха-то отдулась? – самым невинным образом спросил Кишкин.

Петр Васильич схватился за свою пазуху, точно обожженный, а Кишкин засмеялся и покачал головой.

– Эх, Петр Васильич, Петр Васильич, – повторял он укоризненно. – И воровать-то не умеешь. Первое дело, велики у тебя весы: коромысло-то и обозначилось. Ха-ха...

– Н-но-о?.. Это я в починку захватил...

– В лесу починивать?.. Ну, будет, не валяй дурака... А ты купи маленькие вески, есть такие, в футляре. Нельзя же с безменом ходить по промыслам. Как раз влопаешься. Вот все вы такие, мужланы: на комара с обухом. Три рубля на вески пожалел, а головы не жаль... Да смотри, моего золота не шевели: порошину тронешь – башка прочь.

– Ну и глаз у тебя, Андрон Евстратыч: насквозь. Каюсь, был такой грех... Одинова попробовал, а лестно оно.

– От кого?

Петр Васильич опять замялся и заерзал на месте.

– Ну, ну, без тебя знаю, – успокоил его Кишкин. – Только вот тебе мой сказ, Петр Васильич... Видал, как рыбу бреднем ловят: большая щука уйдет, а маленькая рыбешка вся тут и осталась. Так и твое дело... Ястребов-то выкрутится: у него семьдесят семь ходов с ходом, а ты влопаешься со своими весами, как кур во щи.

Это отеческое внушение и сознание собственной мужицкой глупости подействовали на Петра Васильича самым угнетающим образом. Ему было бы легче, если бы Кишкин прямо обругал его. Со всяким бывают такие скверные положения, когда человек рад сквозь землю провалиться, то же самое было и с Петром Васильичем. Убежать прямо от Кишкина было совестно, да и оставаться тоже. Петр Васильич сидел и моргал единственным глазом, как сыч. Мужичья совесть тяжелая, и Петр Васильич чувствовал, как он начинает ненавидеть Кишкина, ненавидеть его за собачью догадливость. Главное, посмеялся Кишкин над его глупостью.

– Ну так как же? – спрашивал Кишкин, хлопая его по плечу.

– А все то же, Андрон Евстратыч... Напрасно ты меня весками-то укорил: пошутил я, никаких весков нету со мной. Посмеялся я, значит...

– Ладно, разговаривай...

– Может, ты скупаешь здесь золото-то, тебе это сподручнее?.. Охулки на руку не положишь, а уж где нам, дуракам!..

Они расстались врагами.

Кишкин угадал относительно деятельности Петра Васильича, занявшегося скупкой хищнического золота на новых промыслах. Дело было не трудное, хотя и приходилось вести его осторожно, с разными церемониями. Сам Ястребов не скупал золота прямо от старателей и гнал их в три шеи, если кто-нибудь приходил к нему. Это все знали и несли золото к Ермошке или другим мелким ястребовским скупщикам. Петр Васильич был еще внове, рабочие его мало знали, и приходилось самому отправляться на промысла и вести дело «под рукой». Опытные рабочие не доверяли новому скупщику, но соблазн заключался в том, что к Ермошке нужно было еще везти золото, а тут получай деньги у себя на промыслах, из руки в руку.

У Петра Васильича было несколько подходов, чтобы отвести глаза приисковым зрителям и доверенным. Так, он прикидывался, что потерял лошадь, и выходил на прииск с уздой в руках.

– Не видали ли, братцы, мою кобылу? – спрашивал он. – Правое ухо порото, левое пнем... Вот третьи сутки в лесу брожу.

– Да ты сам-то откедова взялся? – подозрительно спрашивал кто-нибудь.

– Я с Мутяшки... У Кишкина на Сиротке робим.

Разговор завязывался. Петр Васильич усаживался куда-нибудь на перемывку, закуривал «цыгарку», свернутую из бумаги, и заводил неторопливые речи. Рабочие – народ опытный и понимали, какую лошаадь ищет кривой мужик.

– Шерсть-то какая у твоей кобылы?

– Да желтая шерсть... Ни саврасая, ни рыжая, а какая-то желтая уродилась. Такая уж мудреная скотинка...

Побеседовав, Петр Васильич уходил и дожидался добычи где-нибудь в сторонке. Он пристраивался где-нибудь под кустиком и открывал лавочку. Подходил кто-нибудь из старателей.

– Почему?

– Три бумажки...

– На Малиновке по четыре дают.

– Много дают, да только домой не носят... А мои три бумажки сейчас.

В переводе этот торг заключался в желании скупщика приобрести золотник золота за три рубля, а продавец хотел продать по четыре. После небольшого препирательства победа оставалась за Петром Васильичем. Он с необходимыми предосторожностями добывал из-за пазухи свои весы, завернутые в платок, и принимался весить принесенное золото, причем не упускал случая обмануть, потому что весы были «с привесом». Второпях продавцу было не до проверки, хотя он долго потом чесал затылок, прикидывал в уме и ругал кривого черта вдогонку.

Иногда Петр Васильич показывался на прииске верхом на своей желтой кобыле и разыгрывал «заплутавшего человека», иногда приходил прямо в приисковую контору и предлагал какой-нибудь харч по очень сходной цене и т. д. Вместе с практикой развились его изобретательность и нахальство. Его уже знали на промыслах, и в большинстве случаев ему стоило только показаться где-нибудь поблизости, как слетались сейчас же хищники. А золота в Кедровской даче оказалось достаточно. Везде шла самая горячая работа, хотя особенно богато золота, о котором гласила стоустая молва, и не оказалось. Все-таки работать было можно, и тысячи рабочих находили здесь кусок хлеба.

Добытое таким нелегким путем золото сдавалось Ястребову за 20 копеек, то есть он прибавлял за каждый золотник 20 копеек премии. Сначала Петр Васильич был чрезвычайно доволен, потому что в счастливый день зашибал рублей до трех, да, кроме того, наживал еще на своих провесах и обчетах рабочих. В общем получались довольно кругленькие денежки. Но с Петром Васильичем повторилось то же самое, что с матерью. Его охватило такое же чувство жадности, и ему все казалось мало. В самом деле, он наживал с золотника 20 копеек, а Ястребов за здорово живешь сдавал в казну этот же золотник за 4 рубля 50 копеек и получал целый рубль. Конечно, Ястребов давал деньги на золото, разносил его по книгам со своих приисков и сдавал в казну, но Петр Васильич считал свои труды больше, потому что шлялся с уздой, валял дурака и постоянно рисковал своей шкурой как со стороны хозяев, так и от рабочих. И шею могут накостылять, и ограбить, и начальству головой выдать, а пожаловаться некому. Природная трусость Петра Васильича исчезла под магическим освещением золота, и он действовал смелее самых опытных скупщиков. Ах, если бы у него были свои деньги, что можно было бы сделать! Почтище Ястребова подвел бы механику. С тем же Кишкиным вошел бы в соглашение, чтобы записывать скупленное золото на Сиротку. Но лиха беда заключалась в том, что не хватало силы, а пустяками не стоило пока заниматься. Конечно, все эти затаенные мысли Петр Васильич хранил до поры до времени про себя и Ястребову не показывал вида, что недоволен.

По предварительному уговору, с внешней стороны Петр Васильич и Ястребов продолжали разыгрывать комедию взаимной вражды. Петр Васильич привязывался к каждому пустяку в качестве хозяина и ругал Ястребова при всем народе.

– Мамынька, это ты пустила постояльца! – накидывался Петр Васильич на мать. – А кто хозяин в доме?... Я ему покажу... Он у меня споет голландским петухом. Я ему нос утру...

Баушка Лукерья выбивалась из сил, чтобы утишить блажившего сынка, но из этого ничего не выходило, потому что и Ястребов тоже лез на стену и несколько раз собирался

поколотить сварливого кривого черта. Но особенно ругал жильца Петр Васильич в кабаке Фролки, где народ помирал со смеху.

– Надулся пузырь и думает: шире меня нет!.. – выкрикивал он по адресу Ястребова. – Нет, погоди, брат... Я тебе смажу салазки. Такой же мужик, как и наш брат. На чужие деньги распух...

Когда Ястребов на своей тройке проезжал мимо кабака, Петр Васильич выскакивал на дорогу, отвешивал низкий поклон и кричал:

– Возьми меня с собой в Сибирь, Никита Яковлич. Одному-то тебе скучно будет ехать.

Дело доходило до того, что Ястребов жаловался на него в волость, и Петра Васильича вызывали волостные старички для внушения.

– Ты не показывай из себя богатого-то, – усовещивали старички огрызавшегося Петра Васильича, – как раз насыплем, чтобы помнил. Чего тебе Ястребов помешал, кривой ерахте?

– А вот это самое и помешал, – не унимался Петр Васильич. – Терпеть его ненавижу... Чем я знаю, какими он делами у меня в избе занимается, а потом с судом не расхлабаешься. Тоже можем свое понятие иметь...

– Отодрать тебя, пса, вот и весь разговор... Что больно перья-то распустил?

#### IV

Известие о бегстве Фени от баушки Лукерьи застало Родиона Потапыча в самый критический момент, именно, когда Рублиха выходила на роковую двадцатую сажень, где должна была произойти «пересечка». Старик был так увлечен своей работой, что почти не обратил внимания на это новое горшее несчастье, или только сделал такой вид, что окончательно махнул рукой на когда-то самую любимую дочь. Укрепился старик и не выдал своего горя на посмеянье чужим людям.

Рабочих на Рублихе всего больше интересовало то, как теперь Карачунский встретится с Родионом Потапычем, а встретиться они были должны неизбежно, потому что Карачунский тоже начинал увлекаться новой шахтой и следил за работой с напряженным вниманием. Эта встреча произошла на дне Рублихи, куда спустился Карачунский по стремянке.

– Обманула, видно, нас двадцатая-то сажень? – спокойно проговорил Карачунский, осматривая забой.

– Сдвиг дала жила, – так же спокойно ответил Родион Потапыч. – Некуда ей деваться... Не иголка.

Больше между ними не было сказано ни одного слова. Дело в том, что Родион Потапыч резко разделял для себя Карачунского-управляющего от Карачунского-соблазителя Фени. Первого он в настоящую трудную минуту даже любил, потому что Карачунский в достаточной степени заразился верой в эту самую Рублиху и с лихорадочным вниманием следил за каждым шагом вперед. Дело усложнялось тем, что промысловый год уже был на исходе, первоначальная смета на разработку Рублихи давно перерасходована, и от одного Карачунского зависело выхлопотать у компании дальнейшие ассигновки. Инженер Оников с самого начала был против новой шахты и, конечно, со своей стороны мог много повредить делу. Одним словом, дорога была каждая минута, и нужно было поставить Карачунского в такое положение, когда об отступлении нечего было бы и думать. Родион Потапыч слишком хорошо, по личному опыту, изучил все признаки промысловой горячки и в Карачунском видел своего единомышленника, от которого зависело все. Новая история с Феней была тут ни при чем.

Когда Родион Потапыч в ближайшую субботу вернулся домой и когда Устинья Марковна повалилась к нему в ноги со своими причитаньями и слезами, он ответил всего одним словом:

– Знаю...

Больше о Фене в зыковском доме ничего не было сказано, точно она умерла. Когда старик узнал о бегстве Марьи на Фотьянку, то только махнул рукой, точно сбежала кошка. В этом сказался мужицкий взгляд на девушку в семье как на что-то чужое, что не сегодня-завтра вспорхнет и улетит. Была Марья, не стало Марьи – лишний рот с костей долой. Захотела

своего девичьего хлеба отведасть, ну и пусть ее... Устинья Марковна в глубине души была рада, что все обошлось так благополучно, хотя и наблюдала потихоньку грозного мужа, который как будто немного даже рехнулся.

«Хоть бы для видимости построжил, – даже пожалела про себя привыкшая всего бояться старуха. – Какой же порядок в доме без настоящей страсти? Вон Наташка скоро заневестится и тоже, пожалуй, сбежит, или зять Прокопий задурит».

Устинья Марковна с душевной болью чувствовала одно, что в своем собственном доме Родион Потапыч является чужим человеком, точно ему вдруг стало все равно, что делается в своем гнезде. Очень уж это было обидно, и Устинья Марковна потихоньку от всех разливалась рекой.

Когда Родион Потапыч вернулся на свой Ульянов кряж, там произошло целое событие, о котором толковала вкривь и вкось вся Фотьянка. Дело в том, что Тарас Мыльников, благодаря ходатайству Фени, получил делянку чуть не рядом с главной шахтой, всего в каких-нибудь ста саженьях. Сначала Родион Потапыч не поверил собственным ушам и отправился на место действия. Дудку Мыльникова от компанейской работы отделяла одна небольшая еловая заросль. Когда старик пришел на место, там уже кипела горячая работа. Сам Тарас стоял по грудь в заложенной дудке и короткой лопатой выкидывал землю – «пустяк» на полати, устроенные из краденых с шахты досок. Окся сваливала «пустяк» в тачку и отвозила в сторону, где уже желтела новая свалка.

– Да ты с ума сошел, безумная голова? – накинулся Родион Потапыч на непризнанного зятя. – Куда залез-то?..

– Родиону Потапычу сорок одно с кисточкой... – весело ответила голова Тараса из ямы. – Аль завидно стало? Не бойсь, твоего золота не возьму... Разделимся как-нибудь.

– Да ведь здесь компанейское место, пес кудлатый!.. Ступай на Краюхин увал: там ваше место.

– Сам ступай, коли так поглянулось, а я здесь останусь. Промежду прочим, сам Степан Романыч сообразовал отвести деляночку... Его спроси.

– Ну, это уж ты врешь!..

– Вот что я тебе скажу, Родион Потапыч: и чего нам ссориться? Слава богу, всем матушки-земли хватит, а я из своих двадцати пяти сажен не выйду и вглубь дальше десятой сажени не пойду. Одним словом, по положению, как все другие прочие народы... Спроси, говорю, Степан-то Романыча!.. Благодетель он...

Старый штейгер плюнул на конкурента, повернулся и ушел.

– Эй, Родион Потапыч, не плюй в колодец! – кричал вслед ему Мыльников, – как бы самому же напиться не пришлось... Всяко бывает. Я вот тебе такое золото обыщу, что не поздоровится. А ты, Окся, что пнем стала? Чему обрадовалась-то?

Родион Потапыч уже на месте сообразил, какими путями Мыльников добился своей делянки, и только покачал головой.

«Эх, слаб Степан Романыч до женского полу и только себя срамит поблажкой. Тот же Мыльников охает его везде. Пес и есть пес: добра не помнит».

Карачунский, действительно, не показывался на Рублихе с неделю: он совестился неподкупного старого штейгера.

А Мыльников копал себе да копал, как крот. Когда нельзя было выкидывать землю, он поставил деревянный вороток, какие делались над всеми старательскими работами, а Окся «выхаживала» воротом добытую в дудке землю. Но двоим теперь было трудно, и Мыльников прихватил из фотьянского кабака старого палача Никитушку, который все равно шлялся без всякого дела. Это был рослый сторбленный старик с мутными, точно оловянными глазами, взерошенной головой и длинными, необыкновенно сильными руками. Когда-то рыжая окладистая борода скатывалась войлоком цвета верблюжьей шерсти. Ходил Никитушка в оборванном армяке и опорках, но всегда в красной кумачевой рубаше, которая для него являлась чем-то вроде мундира. Городские купцы дарили ему каждый год по несколько таких рубаш, заставляя петь острожные варнацкие песни и приплясывать.

– Эй, тятенька, шевели бородой! – покрикивал Мыльников палачу из своей ямы.

Это была, во всяком случае, оригинальная компания: отставной казенный палач, шваль Мыльников и Окся. Как ухищрялся добывать Мыльников пропитание на всех троих, трудно сказать; но пропитание, хотя и довольно скудное, все-таки добывалось. В котелке Окся варила картошку, а потом являлся ржаной хлеб. Палач Никитушка, когда был трезвый, почти не разговаривал ни с кем, – уставит свои оловянные глаза и молчит. Поест, выкурит трубку и опять за работу. Мыльников часто приставал к нему с разными пустыми разговорами.

– Поди, в другой раз ночью пригрезится, как полосовал прежде каторжан, – страшно делается? Тоже ведь и в палаче живая душа... а?..

– Отстань, смола...

Но стоило выпить Никитушке один стаканчик водки, как он делался совершенно другим человеком, – пел песни, плясал, рассказывал все подробности своего заплочного мастерства и вообще разыгрывал кабацкого дурачка. Все знали эту слабость Никитушки и по праздникам делали из нее род спорта.

Втроем работа подвигалась очень медленно и чем глубже, тем медленнее. Мыльников в сердцах уже несколько раз побил Оксю, но это мало помогало делу. Наступившие заморозки увеличивали неудобства: нужно было и теплую одежду и обувь, а осенний день невелик. Даже Мыльников задумался над своим диким предприятием. Дудка шла все еще на пятой сажени, потому что попадался все чаще и чаще в «пустяке» камень-ребровик, который точно черт подсовывал.

– Теперь уж скоро жилка будет, – уверял самого себя Мыльников. – Мне еще покойный Кривушок сказывал, когда, бывало, вместе пировали. Родион-то Потапыч достигает ее на глыбы, а она вся поверху расщепилась. Расшибло ее, жилу...

Это была совершенно оригинальная теория залегания золотоносных жил, но нужно было чему-нибудь верить, а у Мыльникова, как и у других старателей, была своя собственная геология и терминология промыслового дела. Наконец в одно прекрасное утро терпение Мыльникова лопнуло. Он вылез из дудки, бросил оземь мокрую шапку и рукавицы и проговорил:

– А черт с ней и с дудкой... Через этот самый «пустяк» и с диомидом не пролезешь. Глыбка ушла жила... Должно полагать, спяну наврал проклятый Кривушок, не тем будь помянут покойник.

Палач угрюмо молчал, Окся тоже. Мыльников презрительно посмотрел на своих сотрудников, присел к огоньку и озлобленно закурил трубочку. У него в голове вертелись самые горькие мысли. В самом деле, рыл-рыл землю, робил-робил и, кроме «пустяка», ни синь-пороха. Хоть бы поманило чем-нибудь... Эх, жисть! Лучше бы уж у Кишкина на Мутяшке пропадать.

– Так, значит, тово... пошабашим? – спрашивал палач совершенно равнодушно, как о деле решенном.

– Кто это тебе сказал? – воспрянул духом Мыльников, раздумье с него соскочило, как с гуся вода. – Ну нет, брат... Не таковский человек Тарас Мыльников, чтобы от богатства отказался. Эй, Окся, айда в дудку...

– Не лезу... – решительно заявила Окся, угрюмо глядя на запачканный свежей глиной родительский азям.

Мыльников сразу остервенился и избил несчастную Оксю влоск, – надо же было на ком-нибудь сорвать расходившееся сердце.

– Я тебя, курву, вниз головой спущу в дудку! – орал Мыльников, устав от внушения. – Палач, давай привяжем ее за ногу к канату и спустим.

Палач был согласен. Ввиду такого критического положения Окся, обливаясь слезами, сама спустилась в дудку, где с трудом можно было повернуться живому человеку. Ее обрадовало то, что здесь было теплее, чем наверху, но, с другой стороны, стенки дудки были покрыты липкой слезившейся глиной, так что она не успела наложить двух бадей «пустяка», как вся промокла, – и ноги мокрые, и спина, и платок на голове. Присела Окся и опять заревела. Как она пойдет с Ульянова кряжа на Фотьянку – околеет дорогой. А Мыльников уже ругался наверху, прислушиваясь к всхлипыванию Окси.

– Вот я тебя! – кричал он, бросая сверху комья мерзлой глины. – Я тебя выучу, как родителя слушать... То-то наказал господь-батюшка душой неотесанной!.. Хоть пополам разорвись...

Тяжело достался Оксе этот проклятый день... А когда она вылезла из дудки, на ней нитки не было сухой. Наверху ее сразу охватило таким холодом, что зуб на зуб не попадал.

– Беги бегом, дура, согреешься на ходу! – пожалел ее чадолюбивый папаша. – А то как раз замерзнешь еще... Наотвечаешься за тебя!..

Окся действительно бросилась бежать, но только не по дороге в Фотьянку, а в противоположную сторону к Рублихе.

– Не туда, дура!.. – кричал ей вслед Мыльников. – Ах, дура... Не туда!..

Но Окся быстро скрылась в еловой заросли, а потом прибежала прямо на компанейскую шахту и забралась в теплую конторку самого Родиона Потапыча. Как на грех, самого старика в этот критический момент не случилось дома – он закладывал шнур в шахте, а в конторке горела одна жестяная лампочка. Оксю охватила приятная теплота жарко натопленной комнаты. Сначала она посидела у стола, а потом быстро разомлела и комом свалилась на широкую лавку, на которой спал старик, подложив под себя шубу. Окся так измучилась, что сейчас же захрапела, как зарезанная. Можно было представить удивление и негодование Родиона Потапыча, когда он вернулся в свою конторку и на своем ложе нашел спящую невинную приисковую девицу.

– Эй ты, птаха... – тряс ее за плечо рассерженный старик. – Не туда залетела!.. Чья ты будешь-то?

Окся открыла глаза, села и решительно ничего не могла сказать в свое оправдание, а только что-то такое мычала несурзное. Странная вещь – ее спасла та приисковая глина, которой было измазано все платье, ноги, руки и лицо. У Родиона Потапыча существовало какое-то органическое чувство уважения именно к этой глине, которая покрывает настоящего рабочего человека. И сейчас он подумал, что не шатущая эта девка, коли вся в глине, черт чертом. От мокрого платья Окси валил пар, как от загнанной лошади, – это тоже послужило смягчающим обстоятельством.

– Из дудки только вылезла... – коротко объяснила Окся, оглядывая свой незамысловатый костюм, состоявший из пестрядинной станушки, ветхого ситцевого сарафанишка и кофточки на каком-то собачьем меху. – Едва не околела от холоду...

– Может, и поесть хочешь?

– С утра не едала...

Разговор был вообще не сложный. Родион Потапыч добыл из сундука свою «паужину» и разделил с Оксей, которая глотала большими кусками, с жадностью бездомной собаки, и даже жмурилась от удовольствия. Старик смотрел на свою гостью, и в его суровую душу закрадывалась предательская жалость, смешанная с тяжелым мужицким презрением к бабе вообще.

– Откуда ты взялась-то, птаха?..

– А с дудки... от Мыльникова.

– Так он тебя в дудку запятил? То-то безголовый мужичонка... Кто же баб в шахту посылает: такого закону нет. Ну и дурак этот Тарас... Как ты к нему-то попала? Фотьянская, видно?

– Дочь я Тарасу, Окся...

Родион Потапыч нахмурился и отвернулся от внучки. Этого он уж никак не ожидал... Вот так внучка! Закусив, Окся опять прилегла, и у нее начали опять слипаться глаза.

– Ну, теперь ступай... – сурово проговорил старик, не повертываясь. – Поела, согрелась и ступай.

– Вот еще выдумал! Куды я пойду-то. Тоже и сказал.

– Да ты с кем разговариваешь-то?

– Отстань, что привязался-то!.. Вот еще выискался...



Родион Потапыч хотел еще сказать что-то и раскрыл даже рот, но Окся уже храпела. Он посмотрел на нее, покачал головой и на цыпочках вышел из своей конторки. Паровая машина, откачивающая воду, мерно гудела, из шахты доносились предсмертные хрипы, лязг железных скреплений и методические постукивания шестерен. Родион Потапыч подошел к паровым котлам, присел у топки, и вырвавшееся яркое пламя осветило на сердитом старческом лице какую-то детскую улыбку, которая легкой тенью мелькнула на губах, искоркой вспыхнула в глазах и сейчас же сгоронила в глубоких морщинах старческого лица.

– Ведь сама пришла, птаха... – вслух думал старик, испытывая какое-то необыкновенное радостное настроение. – Вот и поди, потолкуй с ней!.. Как домой пришла...

Вся Рублиха, то есть машинист, кочевары, штейгера и рабочие были сконфужены ежедневным появлением Окси в конторке Родиона Потапыча. Она приходила сюда точно домой и в несколько дней натащила какого-то бабьего скарба, тряпиц и «переменок». Старик все выносил терпеливо. Даже свою лавочку он уступил Оксе, а себе поставил у противоположной стены другую. Положим, все знали, что Окся – родная внучка Родиону Потапычу и что в пребывании ее здесь нет ничего зазорного, но все-таки вдруг баба на шахте, – какое уж тут золото.

– Ты бы, Родион Потапыч, и то выгнал Оксюху-то, – советовал подручный штейгер. – Негодное дело, когда бабий дух заведется в таком месте... Не модель, одним словом.

Родион Потапыч, к общему удивлению, на такие разумные речи только усмехался. Поговорят да перестанут...

## V

С первым выпавшим снегом большинство работ в Кедровской даче прекратилось, за исключением пяти-шести больших приисков, где промывка шла в теплых казармах. Один такой прииск был у Ястребова на Генералке, существовавший специально для того, чтобы в его книгу списывать хищническое золото. Кишкин бился на своей Сиротке до последней крайности, пока можно было работать, но с первым снегом должен был отступить: не брала сила. От летней работы у него оставалось около ста рублей, но на них далеко не уедешь. Попробовал Кишкин обратиться опять к своему доброхоту, секретарю Каблукову, но получил суровый отказ.

– Жирно будет, пожалуй, подавишься...

– Да ведь дело-то верное, Илья Федотыч!.. Вот только бы теплушку-казарму поставить... Вернее смерти. На золотник вышли бы.<sup>[3]</sup>

– Ладно, рассказывай... Слыхали мы про ваши золотники. Все вы рехнулись с этой Кедровской дачей...

– Так и не дашь?

– И сам не дам и другому закажу, чтобы не давал.

– Ирод ты после этого... Своей пользы не понимаешь! У Ястребова есть заявка на Мутяшке, верстах в десяти от моего прииска... Болотинка в берег ушла, ну, он пошурфовал и бросил. Знаки попадали, а настоящего ничего нет. Как-то встречаю его, разговорились, а он мне: «Бери хоть даром болотину-то...» А я все к ней приглядывался еще с лета: приличное местечко. В том роде, как тогда на Фотьянке. Так вот какое дело выпадает, а ты: «жирно будет». Своего счастья не понимаешь. Вторая Фотьянка будет, уж ты поверь моему слову...

Это предложение рассмешило сердитого секретаря до слез.

– Так своего счастья не понимаю? Ах вы, шуты гороховые... Вторая Фотьянка... ха-ха... Попадешь ты в сумасшедшую больницу, Андрюшка... Лягушек в болоте давить, а он богатства ищет. Нет, ты святого на грех наведешь.

Посмеялся секретарь Каблуков над «вновь представленным» золотопромышленником, а денег все-таки не дал. Знаменитое дело по доносу Кишкина запало где-то в дебрях канцелярской волокиты, потому что ушло на предварительное рассмотрение горного департамента, а потом уже должно было появиться на общих судебных основаниях. Именно

такой оборот и веселил секретаря Каблукова, потому что главное – выиграть время, а там хоть трава не расти. На прощанье он дружелюбно потрепал Кишкина по плечу и проговорил:

– Только ты себя осрамил, Андрюшка... Выйдет тебе решение как раз после морковкина заговенья. Заварить-то кашу заварил, а ложки не припас... Эх ты, чижиково горе!..

– А что, разве есть слухи?

– Ну, уж это тебя не касается. Ступай да поищи лучше свою вторую фотьянскую россыпь... Лягушатник тебе пожертвует Ястребов.

– Ах, ирод... Будешь после ногти грызть, да только поздно. Помянешь меня, Илья Федотыч...

– Помяну в родительскую субботу...

Итак, все ресурсы были исчерпаны вконец. Оставалось ждать долгую зиму, сидя без всякого дела. На Кишкина напало то глухое молчаливое отчаяние, которое известно только деловым людям, когда все их планы рушатся. В таком именно настроении возвращался Кишкин на свое пепелище в Балчуговский завод, когда ему на дороге попал пьяный Кожин, кричавший что-то издали и размахивавший руками.

– Слышал новость, Андрон Евстратыч?

– Черт с печи упал?..

– Хуже... Тарас-то Мыльников ведь натакался на жилу. Верно тебе говорю... Сказывают, золото так лепешками и сидит в скварце, хоть ногтями его выколупывай. Этакой жилки, сказывают, еще не бывало сроду. Окся эта самая робила в дудке и нашла...

– Ты куда, Акинфий Назарыч, едешь-то?

– А сам не знаю... В город мчу, а там видно будет.

– Поедем-ка лучше на Фотьянку: продует ветерком дорогой. Дай отдохнуть вину-то...

– Не я пью, Андрон Евстратыч: горе мое лютое пьет. Тошно мне дома, вот и мыкаюсь... Мамынька посулила проклятие наложить, ежели не остепенюсь.

– Так едем... Жилку у Тараса поглядим. Вот именно, что дуракам счастье... И Окся эта самая глупее полена.

Они вместе отправились на Фотьянку. Дорогой пьяная оживленность Кожина вдруг сменилась полным упадком душевных сил. Кишкин тоже угнетенно вздыхал и время от времени встряхивал головой, припоминая свой разговор с проклятым секретарем. Он жалел, что разболтался относительно болота на Мутяшке, – хитер Илья Федотыч, как раз подошлет кого-нибудь к Ястребову и отобьет. От него все станет... Под этим впечатлением завязался разговор.

– Какие подлецы на белом свете живут, Акинфий Назарыч...

– Это вы насчет меня?

– Нет... Я про одного человека, который не знает, куда ему с деньгами деваться, а пришел старый приятель, попросил денег на дело, так нет. Ведь не дал... А школьниками вместе учились, на одной парте сидели. А дельце-то какое: повернее в десять раз, чем жилка у Тараса. Одним словом, богатство... Уж я это самое дело вот как знаю, потому как еще за казной набил руку на промыслах. Сотню тысяч можно зашибить, ежели с умом...

– Сотню?

– Больше...

Кожин как-то сразу прочухался от такой большой цифры и с удивлением посмотрел на своего спутника, который показался ему таким маленьким и жалким.

– Руку легкую надо на золото... – заметил в раздумье Кожин, впадая опять в свое полусонное состояние.

– А кто фотьянскую россыпь открыл?..

– Это точно... Ах, волк тебя заешь. Правильно... Сколько тебе денег-то надобно?

– Самые пустяки: рублей пятьсот на первый раз...

– Пять катеринок... Так он, друг-то, не дал?.. А вот я дам... Что раньше у меня не попросил? Нет, раньше-то я и сам бы тебе не дал, а сейчас бери, потому как мои деньги сейчас счастливые... Примета такая есть.

– Это ты насчет Федосьи Родионовны?

– Об ней, об самой... Для чего мне деньги, когда я жизни своей постылой не рад, ну, они и придут ко мне.

Все это было так неожиданно, что Кишкин ушам своим не верил. И примета самая правильная...

– Только уговор дороже денег, Андрон Евстратыч: увези меня с собой в лес, а то все равно руки на себя наложу. Феня моя, Феня... родная... голубка...

Нужно было ехать через Балчуговский завод; Кишкин повернул лошадь объездом, чтобы оставить в стороне господский дом. У старика кружилась голова от неожиданного счастья, точно эти пятьсот рублей свалились к нему с неба. Он так верил теперь в свое дело, точно оно уже было совершившимся фактом. А главное, как приметы-то все сошлись: оба несчастные, оба не знают, куда голову приклонить. Да тут золото само ползет. И как это раньше ему Кожин не пришел на ум?.. Ну, да все к лучшему. Оставалось уломать Ястребова.

Открытие Мыльниковым новой жилки произвело потрясающее впечатление. Вся Фотьянка встрепенулась. Золото оказалось под боком и какое золото!.. В несколько дней выросла целая легенда об «Оксиной жиле». Рассказывали чудеса о том, как жила не давалась самому Мыльникову и палачу, а все-таки не могла уйти от невинной приисковой девицы. Сама Окся, сколько ее ни допрашивали, ничего не умела рассказать, а только скалила свои белые зубы и глупо ухмылялась. Зимой народ оставался опять без работы и промышлял «около домашности», поэтому неожиданное счастье Мыльникова особенно бросалось всем в глаза. В кабаке Фролки собирались все новости, обсуждались и разносились во все стороны. Мыльников являлся в кабак по нескольку раз в день и рассказывал такие несообразности, что даже желавшие ему верить должны были только качать головой. Очень уж он врал...

– Это от Кривушка отшиблась жила-то, – объяснял Мыльников, отчаянно жестикулируя. – Он сам сказывал: «Так, григ, самоваром золото-то и ушло вглыбь...» Ну, канпания свою Рублиху наладила, а самовар-то вон куда отшатился. Из глаз ушло золото-то у Родиона Потапыча...

В несколько дней Мыльников совершенно преобразился: он щеголял в красной кумачовой рубахе, в плисовых шароварах, в новой шапке, в новом полушубке и новых пимах (валенках). Но его гордостью была лошадь, купленная на первые деньги. Иметь собственную лошадь всегда было недостижимой мечтой Мыльникова, а тут вся лошадь в сбруе и с пошевнями – садись и поезжай.

Мыльников для пущей важности везде ездил вместе с палачом Никитушкой, который состоял при нем в качестве адъютанта. Это производило еще большую сенсацию, так как маршрут состоял всего из двух пунктов: от кабака Фролки доехать до кабака Ермошки и обратно. Впрочем, нужно отдать справедливость Мыльникову: он с первыми деньгами заехал домой и выдал жене целых три рубля. Это были первые деньги, которые получила в свои руки несчастная Татьяна во все время замужества, так что она даже заплакала.

– Озолочу всех... – бахвалился Мыльников перед женой.

Чем существовала Татьяна с ребяташками все это время, как Тарас забросил свое сапожное ремесло, – трудно сказать, как о всех бедных людях. Но она как-то перебилась и сама теперь удивлялась этому.

– Погоди, Татьяна, такой дворец выстроим, – хвастался Мыльников. – В том роде, как была «пьяная контора»... Сказал: всех озолочу!

В следующий раз Мыльников привез жене бутылку мадеры и коробку сардин, чем окончательно ее сконфузил. Впрочем, мадеру он выпил сам, а сардинки велел сварить. Одним словом, зачудил мужик... В заключение Мыльников обошел кругом свою проваленную избенку, даже постучал кулаком в стены и проговорил:

– Дыра какая-то анафемская!..

У него сейчас мелькнул в голове план новенького полукаменного домика с раскрашенными ставнями. И на Фотьянке начали мужики строиться – там крыша новая, там

ворота, там сруб, а он всем покажет, как надо строиться.

Именно в этот момент торжества Мыльников на Фотьянку и приехал Кишкин с Кожиным. Их по дороге обогнал Мыльников, у которого в пошевнях сидела целая ватага пьяных мужиков.

– Андрону Евстратычу!.. – кричал Мыльников, размахивая шапкой. – Что больно скукожился? Хошь денег? Вот только четвертной билет разменяю в заведении.

– Эх, вино-то в тебе разыгралось, Тарас!.. – подивился Кишкин. – Очень уж перья-то распустил... Да и приятелей хороших нашел.

– Ох, и не говори: такая канпания, что знакомому черту подарить, так не возьмет... А какова у меня лошадка, Акинфий Назарыч? Сорок цалковых дадено...

– Замучишь, только и всего, – заметил Кожин, хозяйским глазом посмотрев на взмыленную лошадь. – Не к рукам конь...

На Фотьянку Кишкин приехал прямо к Петру Васильичу, чтобы сейчас же покончить все дело с Ястребовым, который, на счастье, случился дома. Им помешал только Ермошка, который теперь часто наезжал в Фотьянку; приманкой для него служила Марья Родионовна, на которую он перенес сейчас все симпатии. Если не судил бог жениться на Фене, так надо взять, видно, Марью, – девица вполне правильная, без ошибочки. Да и Марья Родионовна в какой-нибудь месяц совершенно изменилась: пополнела, сделалась такой бойкой, а в глазах огоньки так и играют.

– Погодите, Марья Родионовна, пусть только моя Дарья издохнет, – уговаривался Ермошка вперед, – сейчас же сватов зашло...

– Андроны едут, когда-то будут, – отшучивалась Марья. – Да и мое-то девичье время уж прошло. Помоложе найдете, Ермолай Семеныч.

– В самый вы раз мне подойдете, Марья Родионовна... Как на заказ.

Именно такой разговор и был прерван появлением Кишкина и Кожина. Ермошка сразу нахмурился и недружелюбно посмотрел на своего счастливого соперника, расстроившего все его планы семейной жизни. Пока Кишкин разговаривал с Ястребовым в его комнате, все трое находились в очень неловком положении. Кожин упрямо смотрел на Марью Родионовну и молчал.

– Вы не насчет ли золота? – спросила она его.

– Желаю попробовать счастья, Марья Родионовна: где наше не пропадало. Вот с Кишкиным в канпанию вступаю...

– И весьма напрасно-с, – заметил Ермошка, – пустой старичонка и пустые слова разговаривает...

Ермошка вообще чувствовал себя не в своей тарелке и постарался убраться под каким-то предлогом. Кожин оставался и продолжал молчать.

– А что Феня? – тихо спросил он. – Знаете, что я вам скажу, Марья Родионовна: не жилец я на белом свете. Чужой хожу по людям... И так мне тошно, так тошно!.. Нет, зачем я это говорю?.. Вы не поймете, да и не дай бог никому понимать...

– Вы богу молиться попробуйте, Акинфий Назарыч...

– Ах, пробовал... Ничего не выходит. Какие-то чужие слова, а настоящего ничего нет... Молитвы во мне настоящей нет, а так корчит всего. Увидите Феню, поклончик ей скажите... скажите, как Акинфий Назарыч любил ее... ах, как любил, как любил!.. Еще скажите... Да нет, ничего не нужно. Все равно, она не поймет... она... теперь вся скверная... убить ее мало...

– Что вы говорите, Акинфий Назарыч! Опомнитесь...

– Да, да... Опять не то. Это ведь я скверный весь, и на душе у меня ночь темная... А Феня, она хорошая... Голубка, Феня... родная!..

Кожин не замечал, как крупные слезы катились у него по лицу, а Марья смотрела на него, не смеядохнуть. Ничего подобного она еще не видала, и это сильное мужское горе, такое хорошее и чистое, поразило ее. Вот так бы сама бросилась к нему на шею, обняла,

приголубила, заговорила жалкими бабьими словами, вместе поплакала... Но в этот момент вошел в избу Петр Васильич, слегка пошатывавшийся на ногах... Он подозрительно окинул своим единственным оком гостя и сестрицу, а потом забормотал:

– Кто здесь хозяин? а?... Ты о чем ревешь-то, Кожин?... Эх, брат, у баб последнее рукомерло отбиваешь...

Марья подошла к хозяину, повернула его и потихоньку вытолкала в дверь.

– Ступай, ступай, Петр Васильич, – наговаривала она. – Потом придешь. Без тебя тошно...

– Марьюшка, а кто хозяин в доме? а? А Ястребова я распатроню!.. Я ему по-ка-жу-у... Я, брат, Марья, с горя маненько выпил. Тоже обидно: вон какое богатство дураку Мыльникову привалило. Чем я его хуже?..

Открытая Мыльниковым жилка совсем свела с ума Петра Васильича, который от зависти пировал уже несколько дней и несколько раз лез даже в драку со счастливым обладателем сокровища.

– Только товар портишь, шваль! – ругался Петр Васильич. – Что добыл, то и стравил канпании ни за грош... По полтора рубля за золотник получаешь. Ах, дурак Мыльников... Руки бы тебе по локоть отрубить... утопить... дурак, дурак! Нашел жилку и молчал бы, а то растворил хайло: «Жилку обыскал!» Да не дурак ли?... Язык тебе, подлому, отрезать...

Совещание Кишкина с Ястребовым продолжалось довольно долго. Ястребов неожиданно заартачился, потому что на болоте уже производилась шурфовка, но потом он так же неожиданно согласился, выговорив возмещение произведенных затрат. Ударили по рукам, и дело было кончено. У Кишкина дрожали руки, когда он подписывал условие.

– Ну, владай, твое счастье! – смеялся Ястребов. – У меня и без Мутяшки дела по горло. Один Ягодный чего стоит...

## VI

Карачунский переживал свой медовый месяц. Вся его долгая жизнь представляла непрерывную цепь любовных приключений, причем он любил делать резкие переходы от одной категории женщин к другой. Были у него интрижки с женщинами «из общества», при поджигающей обстановке постоянной опасности, сцен ревности, изящных слез и неизящных попреков. Да, женщины любили его, но он не отдавался вполне ни одной и вел свои дела так, что всегда было готово отступление. Это была сама житейская мудрость, которая завершалась письмами. Ах, какая это была своеобразная литература, если бы кто-нибудь имел терпенье проследить ее во всех стадиях! Карачунского обвиняли во всех преступлениях, грозили, умоляли, и постепенно все дело сводилось к желанному концу, то есть «на нет». Что возмущало Карачунского, так это то, что все эти женщины из общества повторяли одна другую до тошноты – и радость, и горе, и восторги, и слезы, и хитрость носили печать шаблонности. И достоинство тоже было одно: все эти «сюжеты» умели молчать. Параллельно с этим Карачунский в виде отдыха позволял себе легкие удовольствия с «детьми природы», которые у него фигурировали мимолетно под видом горничных или экономок. До сих пор все они кончались очень печально: дитя природы устраивало крупный скандал с угрозой жаловаться мировому и пр. Но «дети природы» имели одну общую слабость: Карачунский откупался от них деньгами. Знакомые смотрели на все это как на милые шалости старого холостяка, а Карачунский был счастлив тем, что с ним не случилось никаких «органических последствий». У него не было детей, и это его спасало.

Из этой установившейся долголетней практики Карачунского совершенно выбила история с Феней. Это была совершенно незнакомая ему натура. О деньгах тут не могло быть и речи, а с другой стороны, Карачунский чувствовал, как он серьезно увлекся этой странной девушкой, не походившей на других женщин. Прежде всего в ней много было природного такта и того понимания, которое читает между строк. Последнее было даже тяжело, потому что Карачунский привык третировать всех женщин свысока, в самых изысканных, но все-таки обидных формах. Здесь же все было на виду, каждое движение, каждое слово, каждая мысль. Карачунский знал, что Феня уйдет от него сейчас же, как только заметит, что она лишняя в этом доме. Эта благородная женская гордость, эта готовность к самопожертвованию заставила его уважать именно эту простую, но полную жизни женскую

натуру. Больше: Карачунский с ужасом почувствовал, что он теряет свою опытную волю и что делается тем жалким рабом, который в его глазах всегда возбуждал презрение. Мужчина должен быть полным хозяином в той сфере, где женщине самой природой отведена пассивная и подчиненная роль. Одним словом, он почувствовал, что серьезно влюблен в первый еще раз в жизни. Это открытие испугало его и опечалило. Он долго рассматривал свое цветущее старческой красотой лицо, вздохнул и подумал вслух:

– Ведь это не любовь, а старость... бессильная, подлая старость, которая цепенеющими руками хватается за чужую молодость!.. Неужели я, Карачунский, повторю других, выживших из ума, стариков?

И Феня все это понимает, хотя словами, вероятно, и не сумела бы объяснить всего происходившего. Она и тогда это чувствовала, когда он заезжал на Фотьянку к баушке Лукерье под разными предлогами, а в сущности для того, чтобы увидеть Феню и перекинуться с ней несколькими словами. Сначала его удивляло то, почему Феня не вернулась к Кожину, но потом понял и это: молодое счастье порвалось, и склеить его во второй раз было невозможно, а в нем она искала ту тихую пристань, к какой рвется каждая женщина, не утратившая лучших женских инстинктов. В нем, в Карачунском, Феня чутьем угадала существование таких душевных качеств, о которых он сам не знал. Прежде всего он не был злым человеком, а затем в нем сохранилось формальное чувство известной внешней порядочности. Вот те два пункта, на которых возникли их отношения.

Но это было еще не все. Однажды за утренним чаем Феня неожиданно заявила:

- Позвольте мне уйти, Степан Романыч...
- Куда уйти?.. Что такое случилось?..
- Да уж так нужно... Не хочу вас срамить.

Феня опустила глаза и покраснелась. Карачунский посмотрел на нее с каким-то испугом, точно над его головой пронеслось что-то такое громадное и грозное. Феня молчала, оставаясь в той же позе. Карачунский зашагал по столовой, заложив руки в карманы. Вот когда оно случилось, то, на что он меньше всего рассчитывал в течение всей своей жизни и что подкралось совершенно неожиданно. Да, вот эта девушка хочет подарить отцовскую радость... Мысль о жене и детях мелькала иногда в голове Карачунского, окруженная каким-то радужным ореолом. Ведь жена – это особенное существо, меньше всего похожее на всех других женщин, особенно на тех, с которыми Карачунский привык иметь дело, а мать – это такое святое и чистое слово, для которого нет сравнения. И вдруг эта Феня будет матерью его собственного ребенка... Карачунский весь как-то похолодел, начиная переживать что-то вроде ненависти к ней, вот к этой Фене. В каком-то тумане перед ним пронесся Кожин, потом Фотьянка, и какое-то гаденькое чувство ревности к ее прошлому заняло в его душе.

- Куда же ты хочешь уйти? – машинально спрашивал он.
- В город... – коротко ответила Феня. – А там уж как-нибудь поправлюсь.
- Так... да...

Ни слез, ни жалоб, ни упреков, а то молчаливое горе, которое лежит в душевной глубине бесформенной тяжестью.

Карачунский провел бессонную ночь, терзаемый самыми противоположными чувствами и мыслями. Прежде всего приходилось мириться с фактом, безжалостным и неумолимым фактом. Ничтожный промежуток времени, и на свет появится таинственный пришлец, маленькое человеческое существо, с которым рождается и умирает вселенная. Тут нет ни сделок, ни компромиссов, ни обходов, а одна жестокая зоологическая правда. «Вы меня не звали и не ждали, а вот я и пришел...» Это вечная тайна жизни, которая умрет с последним человеком. И рядом с ней, с этой тайной, уживаются такие низкие инстинкты, животный эгоизм и жалкие страсти. В Карачунском проснулось смутное сознание своей несправедливости, и он с ужасом оглянулся назад, где чередой проходили тени его прошлого.

Это была ужасная ночь, полная молчаливого отчаяния и бессильных мук совести. Ведь все равно прошлого не вернешь, а начинать жить снова поздно. Но совесть – этот неподкупный судья, который приходит ночью, когда все стихнет, садится у изголовья и начинает свое жестокое дело!.. Жениться на Фене? Она первая не согласится... Усыновить ребенка – обидно для матери, на которой можно жениться и на которой не женятся. Сотни

комбинаций вертелись в голове Карачунского, а решение вопроса ни на волос не подвинулось вперед.

Ранним утром Карачунский уехал на Рублиху, чтобы проветриться после бессонной ночи. Он в первый раз вздохнул свободно, когда очутился на свежем воздухе. Да, есть еще свежий воздух, и снежные зимние дни, и это низкое, серое зимнее небо. Пара закормленных вяток неслась вихрем; особенно играла пристяжка. Карачунский заметил, что и кучер сегодня в новом армяке и с удовольствием правит выхоленной парой. Это был старый промысловый кучер Агафон, ездивший постоянно только с Карачунским. Он имел странный, специально кучерский характер. Несколько месяцев ничего не пил, сберегал каждую копейку, обзаводился платьем, а потом спускал все в несколько дней в обществе одной и той же солдатки, которую безжалостно колотил в заключение фестиваля. Карачунский каждый год собирался ему отказать, но каждый раз отказывался от этого решения, потому что все кучера на свете одинаковы. Агафон, конечно, был человек с большими недостатками, но зато любил лошадей и ездил мастерски. Все эти пустяки теперь проходили в голове Карачунского, страшным образом связываясь с тем, что осталось там, дома. Феня, например, не любила ездить с Агафоном, потому что стеснялась перед своим братом-мужиком своей сомнительной роли полубарыни, затем она любила ходить в конюшню и кормить из рук вот этих вяток и даже заплетала им гривы.

Потом Карачунский заставил себя думать о Рублихе, чтобы отвлечь мысль от домашней заботы. Он сделал все, чего добивался Родион Потапыч, и представил относительно новых жилых работ громадную смету. Вопрос главным образом шел о вассер-штольне, при помощи которой предполагалось отвести воду из главной шахты в Балчуговку. Нужно было пробить Ульянов кряж поперек, что стоило громадных денег, так как работы должны были вестись в твердых породах березита, сланцев и песчаников. Многолетний опыт показал, что вода начинает «долить» на горизонте тридцати сажен, с этого пункта должна была выйти и вассер-штольня. Все это было очень рискованно, и Карачунский знал, что Оников уже интригует против него, но это только усилило его упрямство. Можно сказать, что именно с этого пункта и началось увлечение Карачунского новой жилой.

– Вот наши старателишки на Фотьянку лопочут, – заметил кучер Агафон, с презрением кивая головой на толпу оборванных рабочих. – Отошла, видно, Фотьянка-то... Отгуляла свое, а теперь до вешней воды сиди-посиди.

В этих словах сказывалось ворчанье дворовой собаки на волчью стаю, и Карачунский только пожал плечами. А вид у рабочих был некрасив, – успели проесть летние заработки и отощали. По старой привычке они снимали шапки, но глаза смотрели угрюмо и озлобленно. Карачунский являлся для них живым олицетворением всяческих промысловых бед и напастей.

Родион Потапыч отнесся к Карачунскому как-то особенно неприветливо и все отворачивался от него, не желая встречаться глазами. Эти неловкие отношения Карачунский объяснял про себя домашними причинами и обрадовался, когда Родион Потапыч проговорился начистоту.

– Что же это такое, Степан Романыч, – ворчал старик, – житья мне не стало...

– Что опять случилось?

– Да как же: под носом Мыльникову жилу отдали... Какой же это порядок? Теперь в народе только и разговору, что про мыльниковскую жилу. Галдят по кабакам, ко мне пристают... Проходу не стало. А главное, обидно уж очень. На смех поднимают.

– Ну, это все пустяки! – успокаивал Карачунский. – Другой делянки никому не дадим... Пусть Мыльников, по условию, до десятой сажени дойдет, и конец делу. Свои работы поставим... Да и убытка компании от этой жилки нет никакого: он обязан сдавать по полтора рубля золотник... Даже расчет нам иметь даровую разведку. Вот мы сами ничего не можем найти, а Мыльников нашел.

– И еще другое дело, Степан Романыч: зятя сманил Мыльников-то, моего, значит, зятя Прокопия. Он раньше-то в доводчиках на золотопромывальной фабрике ходил, а теперь точно белены объелся. Жену бросил, ребятишек бросил, а сам точно прилип к жилке... Тоже сын Яшка. Ах, отодрать его, подлеца, было нужно тогда, Степан Романыч, чтоб малый не баловался. Лето-то пошатался в Кедровской даче, а теперь у Мыльникова – вместе пируют.

Еще был у меня машинист на Спасо-Колчеданской шахте, Семенычем звать, – хороший машинист, и его Мыльников сманил. Это как?..

– Это ваши семейные дела, дедушка... Меня это не касается.

– Нет, все от тебя, Степан Романыч: ты потачку дал этому змею Мыльникову. Вот оно и пошло... Привезут ведро водки прямо к жилке и пьют. Тьфу... На гармонии играют, песни орут, – разве это порядок?..

– Хорошо, хорошо, все разберем. А вот как наши дела?..

– Пока ничего не обозначилось... Заложили рассечку на полдень, – все тот же ребровик.

– А штольня?

– На девятую сажень выбежала... Мы этой самой штольной насквозь пройдем весь кряж, и все обозначится, что есть, чего нет. Да и вода показалась. Как тридцатую сажень кончили, точно ножом отрезало: везде вода. Во всей даче у нас одно положение...

Стоило Карачунскому только свести разговор на шахту, как старый штейгер весь преобразился. В конторке на столе были разложены планы работ, на которых детально были зарисованы все «пройденные» породы и проектированные «рассечки» в разных горизонтах и в разных направлениях. Карачунский и Родион Потапыч боялись только одного, чтобы не получилось той же геологической картины, как в Спасо-Колчеданской шахте. Тогда бросай все работы, особенно если покажется роковой «красик». Общих признаков, конечно, было много, но обращали внимание главным образом на особенности напластования, мощность отдельных пород и тот порядок, в котором они следовали одна за другой. Пока в этом смысле все шло хорошо, хотя жилы не было и звания, а только изредка попадались пустые прожилки кварца.

Среди этой деловой беседы у Карачунского мелькнула мысль, заставившая его похолодеть. Он взглянул на убежденное умное лицо своего собеседника, потер лоб и проговорил:

– Послушайте, Родион Потапыч, ведь мы попали на так называемую блуждающую жилу? Это совершенно ясно... Мы бьемся над пустым местом. Лучшее доказательство: шахта Мыльникова...

Зыков, в свою очередь, посмотрел на главного управляющего, разглядел свою окладистую седую бороду и ответил:

– А откуда Кривушок взял свое золото, Степан Романыч? Прямо говорит, самоваром оно ушло в землю... Это как?

– Однако мы ничего еще пока не нашли? Или жила расщепилась, или она... Да нет, это с нашей стороны громадная ошибка.

Карачунский опять посмотрел на главного штейгера и теперь понял все: перед ним сидел сумасшедший человек, какие встречаются только в рискованных промышленных предприятиях. Да, совершенно сумасшедший, который похоронит и себя и его вот в этой шахте-могиле. Никакие слова, доводы и убеждения здесь не могли иметь места, раз человек попал на эту мертвую точку. А всего хуже было то, что он, Карачунский, попался как мальчишка, которого следовало выдрать за уши. И отступать было поздно, потому что дело слишком далеко зашло. Самое лучшее было забросить эту проклятую Рублиху, но в переводе это значило загубить свою репутацию, а, продолжая работы, можно было, по меньшей мере, выиграть целый год времени. Мало ли что может случиться: можно наткнуться на случайную жилу, на новое «гнездо» и т. д. Тогда возместится хоть часть произведенных расходов, чтобы отступить с честью. Проклятая Рублиха съест все, и, главное, ее остановить нельзя. Карачунский чувствовал, как все начинает вертеться у него перед глазами, и паровая машина работала точно у него в голове.

– Только бы нам штольно пройти... – повторял Родион Потапыч. – Тогда все обозначится, как на ладони.

– Да нечему обозначаться-то...

Карачунский отвечал машинально. Он был занят тем, что припоминал разные случаи семейной жизни Родиона Потапыча, о которых знал через Феню, и приходил все больше к



убеждению, что это сумасшедший, вернее – маньяк. Его отношения к Яше Малому, к Фене, к Марье – все подтверждало эту мысль.

## VII

Своим поведением Мыльников удивил даже людей, выдавших всякие виды. Случаи дикого счастья время от времени перепадали и в Балчуговском заводе и на Фотьянке, когда кто-нибудь находил «гнездо» золота или случайно наткнулся на хороший пропласт золотоносной россыпи где-нибудь в бортах. Эти случаи сейчас же иллюстрировались непременно лошадьё-новокупкой, новой одеждой, пьянством и новыми крышами на избях, а то и всей избой. За последнее лето таких новых изб появилось на Фотьянке до десятка, а новых крыш и того больше. Куда только заглядывал золотой луч, сейчас сказывалось его чудотворное влияние. Тихо было только в Балчуговском заводе, потому что из балчуговцев никому не посчастливило кедровское золото. Мыльников, отыскав жилку, поступал так, как никто до него еще не делал. Он не работал «сплошь», день за день, а только тогда, когда были нужны деньги...

– Не велика жилка в двадцати-то пяти саженьях, как раз ее в неделю выробишь! – объяснял он. – Добыл все, деньги пропил, а на похмелье ничего и не осталось... Видывали мы, как другие прочие потом локти кусали. Нет, брат, меня не проведешь... Мы будем сливочками снимать свою жилку, по удоям.

Так Мыльников и делал: в неделю работал день или два, а остальное время «компанился». К нему приклеился и Яша Малый, и зять Прокопий, и машинист Семеныч. Было много и других желающих, но Мыльников чужим всем отказывал. Исключение представлял один Семеныч, которого Мыльников взял назло дорогому тестюшке Родиону Потапычу.

– Пусть старый черт чувствует... – хихикал Мыльников. – Всю его шахту за себя переведу. Тоже родню бог дал...

Появление зятя Прокопия было следствием той же политики, подготовленной еще с лета Яшей Малым. Хоть этим старались донять грозного старика, семья которого распалась на крохи меньше чем в один год. Все разбрелись, куда глаза глядят, а в зыковском доме оставались только сама Устинья Марковна с Анной да рябятишками. Произошел полный разгром крепкой старинной семьи, складывавшейся годами. Устинья Марковна как-то совсем опустила и отнеслась к бегству Прокопия почти безучастно: это была та покорность судьбе, какая вызывается стихийным несчастьем. Не так посмотрела на дело Анна. Эта скромная и не поднимающая голоса женщина молча собралась и отправилась прямо на Ульянов кряж, где и накрыла мужа на самом месте преступления: он сидел около дудки и пил водку вместе с другими. Как вскинулась Анна, как заголосила, как вцепилась в мужа – едва оттащили.

– Разоритель! погубитель!.. По миру всех пустил... – причитала Анна, стараясь вырваться из державших ее рук. – Жива не хочу быть, ежели сейчас же не воротиться домой... Куда я с ребятами-то денусь?.. Ох, головушка моя спобедная...

– Перестаньте, любезная сестрица Анна Родивоновна, – уговаривал Мыльников с ядовитой любезностью. – Не он первый, не он последний, ваш-то Прокопий... Будет ему сидеть у тестя на цепи.

– Ах ты... Да я тебе выцарапаю бесстыжие-то глаза!.. Всех только сомущаешь, пустая башка... Пропьете жилку, а потом куда Прокопий-то?

– Ах, сестричка Анна Родивоновна: волка ноги кормят. А что касаемо того, что мы испиваем малость, так ведь и свинье бывает праздник. В кои-то годы господь счастья послал... А вы, любезная сестричка, выпейте лучше с нами за канпанию стаканчик сладкой водочки. Все ваше горе как рукой снимет... Эй, Яша, сдействуй начет мадеры!..

– Да я вас, проклятуших, и видеть-то не хочу, не то что пить с вами! – ругалась любезная сестрица и даже плюнула на Мыльникова.

У Мыльникова сложился в голове набор любимых слов, которые он пускал в оборот кстати и некстати: «канпания», «руководствовать», «модель» и т. д. Он любил поговорить похорошему с хорошим человеком и обижался всякой невежливостью вроде той, какую позволила себе любезная сестрица Анна Родивоновна. Зачем же было плевать прямо в морду? Это уж даже совсем не модель, особенно в хорошей канпании...

Так Анна и ушла ни с чем для первого раза, потому что муж был не один и малодушно прятался за других. Оставалось выжидать случая, чтобы поймать его с глазу на глаз и тогда рассчитаться за все.

Мы должны теперь объяснить, каким образом шла работа на жилке Мыльниковой и в чем она заключалась. Когда деньги выходили, Мыльников заказывал с вечера своим компаньонам выходить утром на работу.

– У меня чтобы в самую точку, как в казенное время... – уговаривался он для внешности. – Ужо колокол повешу, чтобы на работу и с работы отбивать. Закон требует порядка...

Утром рано все являлись на место действия. В дудку Мыльников никого не пускал, а лез сам или посылал Оксю. Дудка углублялась на какой-нибудь аршин. Сначала поднимали «пустяк»; теперь «воротниками» или «вертелами» состояли Яша Малый и Прокопий, а отвозил добытый «пустяк» в отвал Семеныч. При четверых мужиках работа спорилась, не то, что когда работали сначала, при палаче Никитушке. Кстати, последний не вынес пьянства и куда-то скрылся. Затем добывалась самая «жилка», то есть куски проржавевшего кварца с вкрапленным в него золотом. Обыкновенно и при хорошем содержании «видимого золота» не бывает, за исключением отдельных «гнездовок», а «Оксина жила» была сплошь с видимым золотом. В отдельных кусках благородный металл «сидел медуницами».

– Точно плюнуто золотом-то! – объяснял сам Мыльников, когда привозил свою жилку на золотопромывальную фабрику. – А то как масло коровье али желток из куричьего яйца...

Из ста пудов кварца иногда «падало» до фунта, а это в переводе означало больше ста рублей. Значит, день работы обеспечивал целую неделю гулянки. В одну из таких получек Мыльников явился в свою избушку, выдал жене положенные три рубля и заявил, что хочет строиться.

– И то пора бы, – согласилась Татьяна. – Все равно пропьешь деньги.

– Молчать, баба! Не твоего ума дело... Таку стройку подыдем, что чертям будет тошно.

Архитектурные планы у Мыльниковой были свои собственные. Он сначала поставил ворота. Это было нечто грандиозное: столбы резные, наверху шатровая крыша, скоба луженая, а на крыше вырезанный из жести петух, который повертывался на ветру. Ворота были поставлены в несколько дней, и Мыльников все время не знал покоя. Но, истощив свою архитектурную энергию, он бросил все и уехал на Фотьянку. Избушка при новых воротах казалась еще ниже, точно она от огорчения присела. Соседи поднимали Мыльниковой на смех, но он только посмеивался: хороший хозяин сначала кнут да узду покупает, а потом уж лошадей заводит.

Мы уже сказали выше, что Петр Васильич ужасно завидовал дикому счастью Мыльниковой и громко роптал по этому поводу. В самом деле, почему богатство «прикачнулось» дураку, который пустит его по ветру, а не ему, Петру Васильичу?.. Сколько одного страху наберется со своей скупкой хищнического золота, а прибыль вся Ястребову. Тут было о чем подумать... И Петр Васильич все думал и думал... Наконец он придумал, что было нужно сделать. Встретив как-то пьяного Мыльниковой на улице, он остановил его и слащаво заговорил:

– Все еще портишь товар-то, беспутная голова?..

– А тебе какое горе приключилось от этого, кривая ерахта?

– Да так... Вчуже на дураков-то глядеть тошно.

– Это ты к чему гнешь?

Петр Васильич огляделся, нет ли кого поблизости, хлопнул Мыльниковой по плечу и шепотом проговорил:

– Дурак ты, Тарас, верно тебе говорю... Сдавай в контору половину жилки, а другую мне. По два с половиной дам за золотник... Как раз вдвое выходит супротив компанейской цены. Говорю: дурак... Товар портишь.

Мыльников задумался. Дурак-то он дурак, это верно, но и «прелестные речи» Петра Васильича тоже хороши. Цена обидная в конторе, а все-таки от добра добра не ищут.

– Нет, брат, неподходящая мне эта модель, – ответил Мыльников, встряхивая головой. – Потому как лицо у меня чистое, незамаранное.

– Ах, дурак, дурак...

– Таков уродился... Говорю: не подвержен, чтобы такая, например, модель.

– Да не дурак ли... а? Да ведь тебе, идолу, башку твою надо пустую расшибить вот за такие слова.

Такие грубые речи взорвали деликатные чувства Мыльникова. Произошла настоящая ругань, а потом драка. Мыльников был пьян, и Петр Васильич здорово оттузил его, пока сбежался народ и их разняли.

– Вот тебе, новому золотопромышленнику, старому нищему! – ругался Петр Васильич, давая Мыльникову последнего пинка. – Давайте я его удавлю, пса...

Мыльников поднялся с земли, встряхнулся, поправил свой пострадавший во время свалки костюм и, покрутив головой, философски заметил:

– Наградил господь родней, нечего сказать...

Это родственное недоразумение сейчас же было залито водкой в кабаке Фролки, где Мыльников чувствовал себя как дома и даже часто сидел за стойкой, рядом с целовальником, чтобы все видели, каков есть человек Тарас Мыльников.

Но Петр Васильич не ограничился этой неудачной попыткой. Махнув рукой на самого Мыльникова, он обратил внимание на его сотрудников. Яшка Малый был ближе других, да глуп, Прокопий, пожалуй, и поумнее, да трус, – только телята его не лижут... Оставался один Семеныч, который был чужим человеком. Петр Васильич зазвал его как-то в воскресенье к себе, велел Марье поставить самовар, купил наливки и завел тихие любовные речи.

– Трудненько, поди, тебе, Семеныч, с казенного-то хлеба прямо на наше волчье положенье перейти? – пытал Петр Васильич, наигрывая единственным оком. – Скучненько, поди, а?

– Сперва-то сомневался, это точно, а потом приобик...

– Оно, конечно, привычка, а все-таки... При машине-то в тепле сидел, а тут на холоду да на погоде.

Семеныч от наливки и горячего чая заметно захмелел, и язык у него стал путаться. А тут Марья все около самовара вертится и на него поглядывает.

– Не заглядывайся больно-то, Марьюшка, а то после тосковать будешь, – пошутил Петр Васильич. – Парень чистяк, уж это что говорить!

– Наш, поди, балчуговский, без тебя знаю... – смело отвечала Марья, за словом в карман не лазившая вообще. – Почитай в суседах с Петром Семенычем жили...

– В субботу, когда с шахты выходил домой, мимо вас дорога была, Марья Родивоновна... Тошно, поди, вам здесь на Фотьянке-то?.. Одним словом, кондовое варнацкое гнездо.

– А ты, Марьюшка, маненько как будто уничтожешься... – шепнул Петр Васильич, моргая оком. – Дельце у нас с Петром Семенычем.

Марья вышла с большой неохотой, а Петр Васильич подвинулся еще ближе к гостю, налил ему еще наливки и завел сладкую речь о глупости Мыльникова, который «портит товар». Когда машинист понял, в какую сторону гнул свою речь тароватый хозяин, то отрицательно покачал головой. Ничего нельзя поделать. Мыльников, конечно, глуп, а все-таки никого в дудку не пускает: либо сам спускается, либо посылает Оксю.

– Так, так... – соглашался Петр Васильич, жалея, что напрасно только стравил полуштоф наливки, а парень оказался круглым дураком. – Ну, Семеныч, теперь ты тово... ступай, значит, домой.

Когда Семеныч, пошатываясь, выходил из избы, в полутемных сенях его остановила Марья, – она его караулила здесь битый час.

– Петр Семеныч, голубчик, не верьте вы ни единому слову Петра-то Васильича, – шепнула она. – Неспроста он улещал вас... Продаст.

Вместо ответа Семеныч привлек к себе бойкую девушку и поцеловал прямо в губы. Марья вся дрожала, прижавшись к нему плечом. Это был первый мужской поцелуй, горячим лучом ожививший ее завядшее девичье сердце. Она, впрочем, сейчас же опомнилась, помогла спуститься дорогому гостю с крутой лестницы и проводила до ворот. Машинист, разлакомившись легкой победой, хотел еще раз обнять ее, но Марья кокетливо увернулась и только погрозила пальцем.

– Ужо выходи вечером за ворота... – упрасивал разгоревшийся Семеныч.

– Больно ускорился... Ступай да неси и не потеряй.

Когда Марья вихрем взлетела на крыльцо, охваченная пожаром своего позднего счастья, ее встретила баушка Лукерья. Старуха молча ухватила племянницу за ухо и так увела в заднюю избу.

– Ты это что придумала-то, негодница?

– Баушка, миленькая... золотая...

– Я тебе покажу баушку! Фенька сбежала, да и ты сбежишь, а я с кем тут останусь? Ну, диви бы молоденькая девчонка была, у которой ветер на уме, а то... тьфу!.. Срам и говорить-то... По сеням женихов ловишь, срамница!

Марья терпеливо выслушала ворчанье и попреки старухи, а сама думала только одно: как это баушка не поймет, что если молодые девки выскакивают замуж без хлопот, так ей надо самой позаботиться о своей голове. Не на кого больше-то надеяться... Голова у Марьи так и кружилась, даже дух захватывало. Не из важных женихов машинист Семеныч, а все-таки мужчина... Хорошо баушке Лукерье теперь бобы-то разводить, когда свой век изжила... Тянька Родион Потапыч такой же: только про себя и знают.

Много было подходов к Мыльникову от своих и чужих, желавших воспользоваться его жилкой, но пока все проходило благополучно. Мыльников твердо вел свою линию и знать ничего не хотел. Так, он вовремя был предупрежден относительно готовившейся ночной экспедиции на его жилку и устроил засаду. Воры попались. Затем, чтобы предупредить подобные покушения, он прикрыл свою дудку тяжелой западней, запиравшейся на два громадных замка. Но и все эти меры не спасли Мыльникова от хищения: воры оказались хитрее его и предупредительнее. Вышло это следующим образом. Мыльников спускался в дудку сам или посылал Оксю, когда самому не хотелось. Последнее вошло мало-помалу в обычай, так что с середины зимы сам Мыльников перестал совсем спускаться в дудку, великодушно предоставив это Оксе.

– Эй, Оксюха, поворачивай! – кричал он ей сверху. – Не осрами своего родителя...

В ответ слышалось легкое ворчанье Окси или какой-нибудь пикантный ответ. Окся научилась огрызаться, а на дне дудки чувствовала себя в полной безопасности от родительских кулаков. Когда требовалась мужицкая работа, в дудку на канате спускался Яша Малый и помогал Оксе, что нужно. Вылезала из дудки Окся черт чертом, до того измазывалась глиной, и сейчас же отправлялась к дедушке на Рублиху, чтобы обсушиться и обогреться. Родион Потапыч принимал внучку со своей сердитой ласковостью.

– Опять ты пришла свинья свиной, Аксинья: рылом-то пошто в глину тыкалась?..

– Посадить бы самого в дудку, так поглядела бы я на тебя, каким бы ты анделом оттуда вылез, – отвечала Окся.

– По закону бабам совсем не полагается в подземные работы лазать. Я вот тебя еще в тюрму посажу.

– А мне все одно: сади. Эк, подумаешь, испугал...

Родион Потапыч любил разговаривать с Оксей и даже советовался с ней относительно «рассечек» в шахте, потому что у Окси была легкая рука на золото.

Никто не знал только одного: Окся каждый раз выносила из дудки куски кварца с золотом, завернутые в разном тряпье, а потом прятала их в дедушкиной конторке, – безопаснее места не могло и быть. Она проделывала всю операцию с ловкостью обезьяны и бесстрастным спокойствием лунатика.

## Часть четвертая

### I

Заручившись заключенным с Ястребовым условием, Кишкин и Кожин, не теряя времени, сейчас же отправились на Мутяшку. Дело было в январе. Стояли страшные холода, от которых птица замерзала на лету, но это не удержало предпринимателей. Особенно торопил Кожин, точно за ним кто гнался по пятам.

– Увези ты меня в лес, Андрон Евстратыч! – упрасивал он. – Может, в лесу отойду...

– Смотри, уговор на берегу: не сбеги из лесу-то. Не сладко там теперь...

– Сам буду работать, своими руками, как простой рабочий, только бы избыть свою муку мученическую.

– Ну, от этого вылечим, а на молодом теле и не такая беда изнашивается.

Партия составила из Матюшки, Турки и Мины Клейменого, которые работали летом, да прибавилось еще двое молодых рабочих. Недоставало Мыльниковца, Петра Васильича и Яши Малого, но о них Кишкин не жалел: хороши, когда спят, а днем на работе точно их нет. Лошади такие бывают, которые на оглобли оглядываются, чтобы лишнего не перебежать. Зимняя дорога в Кедровскую дачу была гораздо удобнее, да и пробрили ее на промысла, как прииск Ягодный. Снег выпал в два аршина, так что лошадь тонула в нем, стоило сбиться с накатанного «полоза». Зимние сани поэтому делались на высоких копыльях, чтобы не запруживало в передок снегом. На таких санях и ехали новые компаньоны.

– Посмотри, благодать-то какая! – умиленно повторял Кишкин, окидывая взглядом зеленые стены дремучего ельника. – Силища-то прет из земли... А тут снежком все подернуло.

Действительно, трудно представить себе что-нибудь лучше такого ельника зимой, когда он стоит по колена в снегу, точно очарованный. Траурная зелень приятно контрастировала с девственной белизной снега. Мертвое молчание такого леса напоминало сказочный богатырский сон. Не шелухнет, не скрипнет, не пискнет, – торжественное молчание охватило все кругом, как на молитве. Именно такое молитвенное настроение испытывал Кожин, когда они ехали с Фотьянки на Мутяшку. Точно мерзлая глыба, отваливалась с души... Еще есть белый свет, и не клином сошлась земля. Давно ничего подобного не переживал Кожин, и ему хотелось плакать от радости. Уйти от своей беды, схорониться от всех в лесу, уложить здесь свою силу богатырскую – да какого же еще счастья нужно? Он припоминал своих раскольниковых старцев, спасавшихся в пустыне, печальные раскольничьи «стихи», сложенные вот по таким дебрям, и ему начинал казаться этот лес бесконечно родным, тем старым другом, к которому можно прийти с бедой и найти утешение. А мороз какой здоровый – так и хватает прямо за душу! Дышать больно. Снег слепит глаза, а впереди несметной ратью встает все тот же красавец лес, заснувший богатырским сном.

Зимний день короток, чуть заря с зарей не сходится. На Мутяшку приехали под вечер, когда между деревьями начали кутаться быстрые зимние сумерки.

– Вот, слава богу, мы и дома! – весело сказал Кишкин, вылезая из саней в снег. – А вон и дворец...

На берегу Мутяшки к самому лесу приткнулась старательская землянка, полузанесенная снегом. Пришлось ее отгрести, а потом заново сложить печку-каменку, какие устраиваются на живую руку по охотничьим зимовьям. Весь пол был устлан сейчас же свежей хвоей, а также широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Когда вспыхнул в каменке веселый огонек и красным языком лизнул старую сажу в отдушине, все точно повеселело кругом. Весело загремел в лесу топор, а синий дымок потянул столбом вверх, как это бывает только в сильные морозы. Закипел первый котелок, повешенный над самым «пальмом», и промысловый ужин был готов.

– Чаю мы с тобой завтра напьемся, – утешал Кишкин притихшего компаньона. – Ужо надо выйти из балагана-то, а то как раз угоришь; от сырости всегда угарно бывает.

Ночь выпала звездная, светлая. На искрившийся синими огоньками снег было смотреть больно. Местность было трудно узнать – так все кругом изменилось. Именно здесь случился грустный эпизод неудачного поиска свиньи. Кишкин только вздохнул и заметил Мине Клейменому:

– Ведь нашла, подлая, жилку, а нам не хотела указать...

– Отодрать бы ее тогда на этом самом месте, – ответил старый каторжанин. – Небось, сказала бы...

Долго смотрел Кишкин на заветное местечко и про себя сравнивал его с фотьянской россыпью: такая же береговая покать, такая же мочежинка языком влизалась в берег, так же река сделала к другому берегу отбой. Непременно здесь должно было сгрудиться золото: некуда ему деваться. Он даже перекрестился, чтобы отогнать слишком корыстные думы, тяжелой ржавчиной ложившиеся на его озлобленную старую душу.

И ночью Кишкину не спалось. То шаги какие-то слышатся, то птичий клекот, то шушуканье, – не совсем чистое место. А зато намерзшийся за день Кожин спал мертвым сном. Известно, молодое дело: только до места – и готов. Сто раз пересчитал Кишкин свой капитал и высчитал вперед по дням, сколько можно продержаться на эти деньги. Не велик капитал, а ко времени дорог... Перед самым утром едва забылся старик, да и тут увидел такой сон, что сейчас же проснулся. Видел он во сне старое дуплистое дерево, а на вершине сидели два ворона и клевали сердцевину. Как будто и хорошо, и как будто не совсем.

Утром на другой день поднялись все рано и успели закурить и выпить чаю еще до света. На берегу началась работа. Предварительно были осмотрены ястребовские шурфы, пробитые по первым заморозкам. Только опытный промысловый глаз мог открыть едва заметные холмики, состоявшие из земли и снега. Летом исследовать содержание болота было трудно, а из-под льда удобнее: прорубалась прорубь, и землю вычерпывали со дна большими промысловыми ковшами на длинных чернях. Такая работа требовала умелых рук. Кожин не мог себе представить, что можно было сделать с таким болотом. Сейчас эти условия работы окончательно облегчались тем обстоятельством, что болото промерзло насквозь, и вода оставалась только в глубоких колдобинах и болотных «окнах». Кишкин еще с лета рассмотрел болото в мельчайших подробностях и про себя вырешил вопрос, как должна была располагаться предполагаемая россыпь – где ее «голова» и где «хвост». Главным действующим лицом в образовании ее, конечно, являлась река Муляшка, которая раньше подбивалась здесь к самому берегу и наносила золотиносный песок, а потом, размыв берег, ушла, оставив громадную заводь, постепенно превратившуюся в болото. Для Кишкина картина всей этой геологической работы была ясна, как день, и он еще летом наметил пункты, с которых нужно было начать разведку.

– Ну, братцы, с богом, – проговорил Кишкин, очерчивая пешней размеры первого шурфа. – Акинфий Назарыч, давай-ка начни, благословясь... Твоя рука легкая.

Рабочие очистили снег, и Кожин принялся топором рубить лед, который здесь был в аршин. Кишкин боялся, что не осталась ли подо льдом вода, которая затруднила бы работу в несколько раз, но воды не оказалось – болото промерзло насквозь. Сейчас подо льдом начиналась смерзшаяся, как камень, земля. Здесь опять была своя выгода: земля промерзла всего четверти на две, тогда как без льда она промерзла на все два аршина. Заложив шурф, Кожин присел отдохнуть. От него пар так и валил.

– Что, хорошо, Акинфий Назарыч?

– Лучше не бывает.

– То-то, тебе в охоту поработать. Молодой человек, не знаешь, куда с силой деваться.

Пока Кожин отдыхал, его место занял Матюшка, у которого работа спорилась вдвое. Привычный человек: каждое движение рассчитано. Кишкин всегда любовался на матюшкину работу. До обеда еще прошли всего один аршин, а после обеда началась уже легкая работа, потому что шла талая земля, которую можно было добывать кайлом и лопатой. На глубине двух аршин встретился первый фальшивый пропласток мясниковатого песку, перемешанного с синей речной глиной. Кишкин долго рассматривал кусок этой глины и молча передал ее Мине Клейменому.

– Эта не обманет... – задумчиво проговорил старый каторжанин, растирая на ладони глину. – Мать наша эта синяя глина.

– Случается и пустая, – заметил Кишкин.

Уже к самому вечеру вышли на настоящий песок, так что пробу пришлось делать уже в избушке. Эта операция производилась в большом азиатском ковше. Кишкин набрал полный ковш песку и начал медленно размешивать песок вместе с водой, сбрасывая гальки и хрящ и сливая мутную воду. Последовательно продолжая отмучивать глину и выбирать крупный песок, он встряхивал ковш, чтобы крупинки золота, в силу своего удельного веса, осаждались на самое дно, вместе с блестящим черным песочком – по-приисковому «шлихи». Эти последние, как продукт разрушения бурого железняка, осаждались на самое дно в силу своей тяжести; шлихов получилось достаточное количество, и, когда вода уже не взмучивалась, старик долго и внимательно их рассматривал.

– Поблескивает одна золотинка... – проговорил он.

– Не корыстное дело, – ответил за всех Турка.

Так открылись зимние работы. Ежедневно выбивалось от двух до трех шурфов, причем Кожин быстро «наварлыжился» в земляной работе и уступал только одному Матюшке. Пробу производил постоянно сам Кишкин, не доверявший никому такого ответственного дела. В хвосте россыпи было таким образом пробито десять шурфов, а затем перешли прямо к «голове». Это было уже через неделю, как партия жила в лесу. День выдался теплый, и падал мягкий снежок. Первый шурф был пробит еще до обеда, и Кишкин стал делать пробу тут же около огонька, разложенного на льду. Рабочие отдыхали. Кожин сидел у самого костра и задумчиво смотрел на весело трещавший огонек.

– Ну, так как же насчет свиньи-то, дедка? – спрашивал Матюшка, обращаясь к Мине Клейменому. – Должна она быть беспрерывно...

– Куда ей деваться? – уверенно отвечал старик. – Только вот взять-то ее умеючи надо... К рукам она, свинья эта самая. На счастливого, одно слово...

– Уползла, видно, она к Мыльникову, – подшутил Турка. – Мы ее здесь достигаем, а она вон где обозначилась: зарылась в Ульяновом кряжу, еще и не одна, а с поросятами вместе...

– Ну, то другая статья, – авторитетно заметил Матюшка, закуривая сигарку. – Одно – жилка, другое – россыпь...

В этот момент Кишкин слабо вскрикнул, точно его что придавило, и выпустил ковш из рук. Все оглянулись на него.

– Ох, как стрелило... – прошептал Кишкин, хватаясь за живот. – Инда свет из глаз выкатился. Смотрю в ковш-то, а меня как в стантовую жилу ударит...

– Это от наклона кровь в голову кинулась, – объяснил Мина.

Покрывшееся мертвой бледностью лицо Кишкина служило лучшим доказательством схватившей его немочи.

– Перцовкой бы тебе поясницу натереть, Андрон Евстратыч, – посоветовал очнувшийся от своего забытья Кожин. – Кровь-то и забило бы...

– Да еще запустить этой самой перцовки в нутро, – прибавил Матюшка, – горошком соскочил бы...

Кишкин с трудом поднялся на ноги, поохал для «прилику», взял ковш и выплеснул пробу в шурф.

– И не поманило... – объяснил он равнодушным тоном. – Вот тебе и синяя глина... Надо уже теперь по самой середке шурф ударить.

– А отчего не здесь? – спросил Матюшка. – Надо для счету шурфов пять пробить, а потом и в середку болотины ударить...

– Нет, здесь не надо, – решительно заявил Кишкин. – Попусту только время потеряем...

Этот спор продолжался и в землянке, пока обедали рабочие. Сам Кишкин ни к чему не притронулся и, лежа на нарах, продолжал охать.

– Пожалуй, ты еще очучуришься у нас... – пошутил над ним Турка. – Тоже дело твое не молоденькое, Андрон Евстратыч.

– Ничего, отлежусь как-нибудь, а вы пока в середине болота шурф пробейте...

Кишкин едва дождался, когда рабочие кончат свой обед и уйдут на работу. У него кружилась голова и мысли путались.

– Господи, что же это такое? – повторял он про себя, чувствуя, как спирает дыхание. – Не поблазило ли уж мне грешным делом...

Наконец все ушли на работу, и Кишкин остался один в землянке. Он несколько времени лежал с закрытыми глазами, потом осторожно поднялся и выглянул в дверь, – рабочие уже были на середине болота. Это его успокоило. Приперев плотно дверь и поправив в очаге огонь, Кишкин присел к нему и вытащил из кармана правую руку с онемевшими пальцами: в них он все время держал щепотку захваченной из ковша пробы. Оглянувшись кругом еще раз, он бережно высыпал высохшие шлихи на ладонь и принялся рассматривать их с жадным вниманием. На ладони блестели крупинки золота. Счетом их было больше двадцати. Господи, да ведь это богатство, страшное богатство, о каком он не смел и мечтать когда-нибудь! По приблизительному расчету, можно было на сто пудов песку положить золотника три, а при толщине пласта в полтора аршина и при протяжении россыпи чуть не на целую версту в общем можно было рассчитывать добыть пудов двадцать, то есть по курсу на четыреста тысяч рублей.

– Господи, что же это такое?.. – изнеможенно повторял Кишкин, чувствуя, как у него на лбу выступают капли холодного пота.

Он бережно собрал всю пробу в бумажку и замер над ней, не веря своим старым глазам. Да, это было богатство, страшное богатство.

Для чего Кишкин скрыл свое открытие и выплеснул пробу в шурф, в первую минуту он не давал отчета и самому себе, а действовал по инстинкту самосохранения, точно кто-то мог отнять у него добычу из рук. О, никто не может ничего сделать. С Ястребовым покончено по всей форме, с Кожиным можно развязаться. Странно, что сейчас Кишкин вдруг возненавидел своего компаньона с его жалкими пятьюстами рублей. Просто взять и прогнать его – вот и весь разговор. Ведь он сдуру забрался в лес. А деньги можно будет отдать назад, да еще с такими процентами, каких никто не видал. Отлично... Сказаться больным, шурфовку забастовать, а потом и начать тепленькое дельце в полной форме.

С другой стороны, к радостному чувству примешивалось горькое и обидное сознание: двадцать лет нищеты, убожества и унижения и дикое счастье на закате жизни. К чему теперь деньги, когда и жить-то осталось, может быть, без году неделя? Кишкину сделалось до того горько, что он даже всплакнул старческими, бессильными слезами. Эх, раньше бы такое богатство прикачнулось... Затем у него явилась мысль о сделанном доносе. Для чего он заварил всю эту кашу? Воров не переведешь, а про себя славу худуюпустишь... Ах, нехорошо, да еще как нехорошо-то! Конечно, он со злости подстроил всю механику, чтобы отомстить старым недругам, а теперь это совсем было лишним.

– С горя и помутился тогда, – вслух думал Кишкин.

Когда вечером рабочие вернулись в землянку, Кишкин лежал на нарах, закутавшись в шубу.

– Ну что, Андрон Евстратыч, аль ущемило?

– Разнемогся совсем, братцы... – слабым голосом ответил хитрый старик. – Уж бросим это болото да выедем на Фотьянку. После Ястребова еще никто ничего не находил... А тебе, Акинфий Назарыч, деньги я ворочу сполна. Будь без сумления...

В заключение Кишкин неожиданно расхохотался до того, что закашлялся. Все с изумлением смотрели на него.

– Илья-то Федотыч... Илья-то Федотыч в каких дураках! – прохрипел наконец Кишкин, бессильно отмахиваясь рукой. – Илья-то Федотыч...

Кожин решил про себя, что старик сорвался с винта.

## II

Дальнейшее поведение Кишкина убедило всех окончательно, что старик рехнулся. Впервые, он бросил разведки на Мутяшке и вывел свою партию на Фотьянку, где и произвел всем полный расчет, а Кожину возвратил все взятые у него деньги. Это последнее поставило



всех в недоумение, потому что откуда быть деньгам у Кишкина? Впрочем, Кожин интересовался этим меньше всех. Он заметно остепенился в лесу и бросил пить, так что вернулся в Тайболу совершенно трезвым. Кишкин оставался в Фотьянке и что-то, видимо, замыслил. Пока он квартировал у Петра Васильича, занимая ту комнату, в которой жил Ястребов, уехавший до весны в город.

Мысль о деньгах засела в голове Кишкина еще на Мутяшке, когда он обдумал весь план, как освободиться от своих компаньонов, а главное от Кожина, которому необходимо было заплатить деньги в первую голову. С этой мыслью Кишкин ехал до самой Фотьянки, перебирая в уме всех знакомых, у кого можно было бы перехватить на такой случай. Таких знакомых не оказалось, кроме все того же секретаря Ильи Федотыча.

«Нет, брат, к тебе-то уж я не пойду! – думал Кишкин, припоминая свой последний неудачный поход. – Разве толкнуться к Ермошке?.. Этому надо все рассказать, а Ермошка все переплестет Кожину – опять нехорошо. Надо так сделать, чтобы и шито и крыто. Пожалуй, у Петра Васильича можно было бы перехватить на первый раз, да уж больно завистлив пес: над чужим счастьем задавится... Еще уцепится, как клещ, и не отвяжешься от него...»

Так ничего и не придумал Кишкин: у богатства без гроша очутился. То была какая-то ирония судьбы. Но его осенила счастливая мысль. Одна удача не приходит.

Вечером, когда уже все спали, он разговорился с баушкой Лукерьей, которая жаловалась на племянницу Марью, отбившуюся от рук на глазах у всех.

– Ведь скромница была, как жила у отца, – рассказывала старуха, – а тут девка из ума вон. Присунулся этот машинист Семеныч, голь перекатная, а она к нему... Стыд девичий позабыла, никого не боится, только и ждет проклятущего машиниста. Замуж, говорит, выйду за него... Ох, согрешила я с этими девками!..

– Ну, что же делать, баушка... – утешал Кишкин. – Всякая живая душа калачика хочет.

– Тыфу ты, срамник!.. Ему дело говорят, а он... тыфу!.. Распустили ноне девок, вот и дурят...

Эта старушечья злость забавляла Кишкина: очень уж смешно баушка Лукерья сердилась. Но, глядя на старуху, Кишкину пришла неожиданно мысль, что он ищет денег, а деньги перед ним сидят... Да, лучше и не надо. Не теряя времени, он приступил к делу сейчас же. Дверь была заперта, и Кишкин рассказал во всех подробностях историю своего богатства. Старушка выслушала его с жадным вниманием, а когда он кончил, широко перекрестилась.

– Умненько я сделал, баушка? Комар носу не подточит... Всех отвел и остался один, сам большой – сам маленький.

– Ох, умно, Андрон Евстратыч! Столь-то ты хитер и дошл, что никому и не догадаться... В настоящие руки попало. Только ты, смотри, не болтай до поры до времени... Теперь ты сослался на немочь, а потом вдруг... Нет, ты лучше так сделай: никому ни слова, будто и сам не знаешь, – чтобы Кожин после не вступался... Старателишки тоже могут к тебе привязаться. Ноне вон какой народ пошел... Умен, умен, нечего сказать: к рукам и золото.

Чтобы еще больше разжечь старуху, Кишкин достал бумажку с пробой и показал блестящие крупинки золота.

– Плохо я вижу, голубчик... – шептала баушка Лукерья, наклоняясь к самой бумажке. – Слепой курице все пшеница.

– От ста пудов песку золотника с три падет, баушка... Я уж все высчитал. А со всего болота снимем пудов с двадцать...

– Н-но-о?..

– Вернее смерти.

В заключение Кишкин рассказал, как он просил денег у Ильи Федотыча и брал его в пай, а тот пожадничал и отказался.

– То-то он взвоят теперь, секретарь-то!.. Жаднящий до денег, а тут сами деньги приходили на дом: возьми, ради Христа. Ха-ха!.. На стену он полезет со злости.

Баушка Лукерья заливалась дребезжащим старческим смехом над промахнувшимся секретарем и даже ударила Кишкина по плечу, точно сама принимала участие во всей этой

истории.

– А тебе денег-то сколько достанется, Андрон Евстратыч?

– Ох, и говорить-то страшно... Считай: двадцать тысяч за пуд золота, за десять пудов это выйдет двести тысяч, а за двадцать все четыреста. Ничего, кругленькая копеечка... Ну, за работу придется заплатить тысяч шестьдесят, не больше, а остальные голенькими останутся. Ну, считай для гладкого счета триста тысяч.

– Триста тысяч?.. Этак ты всю нашу Фотьянку купишь и продашь... Ловко!.. Умен, тебе и деньгами владать.

– Взять их только надо умненько, баушка... Так никто мне не даст, значит, зря, а надо будет открыться.

– Что ты, что ты!.. Ни под каким видом не открывайся – все дело испортишь. Загалдят, зашумят... Стравят и Ястребова и Кожина, – не расхлебашься потом. Тихонько возьми у какого-нибудь верного человека.

Кишкин только развел руками: нет такого верного человека, который дал бы тихонько. После некоторой паузы он сказал:

– Баушка, ссуди меня сотней-другой... Разочтемся потом. За рубль два отдам...

Старуха испуганно замахала обеими руками, точно ее обожгли.

– Что ты, миленький, какие у меня деньги? Да двух-то сотельных я отродясь не видывала! На похороны себе берегу две красненьких – только и всего...

– Ну, тогда придется идти к Ермошке. Больше не у кого взять, – решительно заявил Кишкин. – Его счастье – все одно, рубль на рубль барыша получит не пито – не едено.

Баушку Лукерью взяло такое раздумье, что хоть в петлю лезть: и дать денег жаль, и не хочется, чтобы Ермошке достались дикие денежки. Вот бес-сомуститель навязался... А упустить такой случай – другого, пожалуй, и не дождешься. Старушечья жадность разгорелась с небывалой еще силой, и баушка Лукерья вся тряслась, как в лихорадке. После долгого колебания она заявила:

– У меня у самой-то ничего нет, а попытаюсь добыть у одного знакомого старичка... Мне-то он, может, поверит.

– Ну, мне это все одно: кто ни поп, тот и батька.

Конечно, все это была одна комедия.

Баушка Лукерья не спала всю ночь напролет, раздумывая, дать или не дать денег Кишкину. Выходило надвое: и дать хорошо, и не дать хорошо. Но ее подмывало налетевшее дикое богатство, точно она сама получит все эти сотни тысяч. Так бывает весной, когда поля вода подхватывает гнилушки, крутит и вертит их и уносит вместе с другим сором.

«Омманет еще, – думала тысячу первый раз старуха. – Нет, шабаш, не дам... Пусть поищет кого-нибудь побогаче, а с меня что взять-то».

Эти разумные мысли разлетелись, как сон, когда баушка Лукерья встретила утром с Кишкиным. Ей вдруг сделалось так легко, точно она это делала для себя.

– Ну, что твой старичок? – спрашивал Кишкин, лукаво подмигивая. – Вон секретарь Илья Федотыч от своего счастья отказался, может, и твой старичок на ту же руку...

Баушка Лукерья опять засмеялась: очень уж глупым оказал себя секретарь-то... Нет, старичок, видно, будет маленько поумнее...

– А ты мне расписку напиши... – настаивала старуха, хватаясь за последнее средство.

– На что тебе расписка-то: ведь ты неграмотная. Да и не таковское это дело, баушка... Уж я тебе верно говорю.

Передача денег происходила в ястребовской комнате. Сначала старуха притащила завязанные в платке бумажки и вогнала Кишкина в три пота, пока их считала. Всего денег оказалось меньше двухсот рублей.

– Мало... – заявил Кишкин. – Пусть старичок-то серебреца поищет.

– Ох, уж и не знаю, право, Андрон Евстратыч... Окружил ты меня и голову с живой сымаешь.

– Давай серебро-то, а ворочу золотом. Понимаешь, банк будет выдавать по ассигновкам золотыми, и я тебе до последней копейки золотом отдам... На, да не поминай Кишкина лихом!..

Что было отвечать на такие змеиные слова? Баушка Лукерья молча принесла свое серебро, пересчитала его раз десять и даже прослезилась, отдавая сокровище искусителю. Пока Кишкин рассовывал деньги по карманам, она старалась не смотреть на него, а отвернулась к окошку.

– Ну, теперь прощай, баушка...

Старуха только махнула рукой, – ее душило от волнения. Впрочем, она догнала Кишкина уже на дворе и остановила.

– Забыла словечко тебе молвить, Андрон Евстратыч... Разбогатеешь, так и меня, старуху, может, помянешь.

– В чем дело?

– Не женись на молоденькой... Ваша братья, старики, больно льстятся на молодых, а ты бери вдову или девицу в годках. Молодая-то хоть и любопытнее, да от людей стыдно, да еще она же рукавом растрясет все твое богатство...

– Вот тоже придумала! – изумился Кишкин, ухмыляясь.

До настоящего момента мысль о женитьбе не приходила ему в голову.

– Жалеючи тебя говорю... Попомни старушечье словечко.

Марья была на дворе и слышала всю эту сцену. У ней в голове остались такие слова, как «богачество» и «девица в годках», а остального она не поняла. Ее удивило больше всего то, что у баушки завелись какие-то дела с Кишкиным, тогда как раньше она и слышать о нем не хотела, как о первом смутьяне и затейщике, сбивавшем с толку мужиков. Что-то неладное творится, ежели Кишкин обошел самое баушку Лукерью... Впрочем, эти свои бабьи мысли Марья оставила про себя до встречи с милым дружкой, которому рассказывала все, что делалось в доме. Когда она поднималась на крыльцо, перед ней точно из земли вырос Петр Васильич.

– Какие такие дела завел Шишка с мамынькой? – зыкнул он на нее.

– А я почем знаю?... Спроси сам баушку...

– У, змея!.. – зашипел Петр Васильич, грозя кулаком. – Ужо, девка, я доберусь до тебя.

– Руки коротки...

Марья заметила, что в задних воротах мелькнула какая-то тень, – это был Матюшка, как она убедилась потом, поглядев из-за косяка.

С Петром Васильичем вообще что-то сделалось, и он просто бросался на людей, как чумной бык. С баушкой у них шли постоянные ссоры, и они старались не встречаться. И с Марьей у баушки все шло «на перекосях», – зубастая да хитрая оказалась Марья, не то что Феня, и даже помаленьку стала забирать верх в доме. Делалось это само собой, незаметно, так что баушка Лукерья только дивилась, что ей самой приходится слушаться Марьи.

– Лукавая девка... – ворчала старуха. – Всех обошла, а себя раньше других...

За Кишкиным уже следили. Матюшка первый заподозрил, что дело не чистое, когда Кишкин прикинулся больным и бросил шурфовку. Потом он припомнил, что Кишкин выплеснул пробу в шурф и не велел бить следующих шурфов по порядку. Вообще все поведение Кишкина показалось ему самым подозрительным. Встретившись в кабаке Фролки с Петром Васильичем, Матюшка спросил про Кишкина, где он ночует сегодня. Слово за слово – разговорились. Петр Васильич носом чуял, где неладно, и прильнул к Матюшке, как пластырь.

– Обыскали свинью-то? – приставал он к Матюшке.

– С поросятами оказалась наша свинья...

Распили полуштоф; захмелевший Матюшка рассказал Петру Васильичу свои подозрения.

– А что бы ты думал, андел мой?.. – схватился Петр Васильич. – Ведь ты верно... Неспроста Шишка бросил шурфовку. Вон какой оборотень...

– Хорошую пробу, видно, добыл, да нас всех и сплавил. Не захотел поделиться... Кожин, известно, дурак, а Кишкин и нас поопасился.

– Ах, старый пес... Ловкую штуку уколел. А летом-то, помнишь, как тростил все время: «Братцы, только бы натакаться на настоящее золото – никого не забуду». Вот и вспомнил... А знаки, говоришь, хорошие были?

– Попервоначалу средственные, а потом уж обозначились... Выплеснул он пробу-то. Невдомек никому это было, покуда он болесть на себя не накинуд и не пошабашил всю шурфовку...

– Хоть бы глазком поглядеть на пробу-то... Можно ведь добыть ее и без него?

– Отчего не добыть, да толку от этого не будет: все одно – прииск по контракту сейчас Кишкина. Кабы раньше...

Петр Васильич даже застонал от мысли, что ведь и он мог взять у Ястребова это самое болото ни за грош, ни за копеечку, а прямо даром. С горя он спросил второй полуштоф.

– Да тебе-то какая печаль? – удивлялся Матюшка.

– А такая!.. Вот погляди ты на меня сейчас и скажи: «Дурак ты, Петр Васильич, да еще какой дурак-то... ах, какой дурак!.. Недаром кривой ерахтой все зовут... Дурак, дурак!..» Так ведь?.. а?.. Ведь мне одно словечко было молвить Ястребову-то, так болото-то и мое... а?.. Ну, не дурак ли я после того? Убить меня мало, кривого подлеца...

В избытке усердия он схватил себя за волосы и начал стучать головой в стену, так что Матюшка должен был прекратить этот порыв отчаяния.

– Будет баловаться, Петр Васильич.

– Нет, ты лучше убей меня, Матюшка!.. Ведь я всю зиму зарился на жилку Мыльникова, как бы от нее свою пользу получить, а богатство было прямо у меня в доме, под носом... Ну как было не догадаться?.. Ведь Шишка догадался же... Нет, дурак, дурак, дурак!.. Как у свиньи под рылом все лежало...

– Погоди печаловаться раньше времени, – тихонько заметил Матюшка. – А Кишкин наших рук не минует... Мы его еще обработаем, дай срок. Он всех ладит обмануть...

– Верно! – обрадовался Петр Васильич. – Так достигнем, говоришь? Ах, андел ты мой, ничего не пожалею...

Чтобы не терять напрасно времени, новые друзья принялись выслеживать Кишкина со следующего же утра, когда он уходил от баушки Лукерьи.

Странная вещь, вся Фотьянка узнала об открытой Кишкиным богатой россыпи раньше, чем кто-нибудь мог подозревать об этом: сам Кишкин сказал только баушке Лукерье, а потом Матюшка сообщил свою догадку Петру Васильичу – только и всего. И Кишкин, и баушка Лукерья, и Матюшка, и Петр Васильич знали только про себя, а между тем загалдела вся Фотьянка, как один человек, точно пчелиный улей, по которому ударили палкой. Когда Кишкин на другой день приехал в город, молва уже опередила его, и первым поздравил его секретарь Илья Федотыч.

– Хорошее дело, кабы двадцать лет назад оно вышло... – ядовито заметил великий делец, прищуривая один глаз. – Досталась кость собаке, когда собака съела все зубы. Да вот еще посмотрим, кто будет расхлебывать твою кашу, Андрон Евстратыч: обнес всех натошак, а как теперь сытый-то будешь повыше усов есть. Одним словом, в самый раз.

### Ш

Открытие Кишкина подняло на ноги всю Фотьянку, – точно пробежала электрическая искра. Время было самое глухое, народ сидел без работы, и все мечты сводились на близившееся лето. Положим, и прежде было то же самое, даже гораздо хуже, но тогда эти зимние голодовки принимались как нечто неизбежное, а теперь явились мысли и чувства

другого порядка. Дело в том, что прежде фотьяновцы жили сами собой, крепкие своими каторжными заветами и распорядками, а теперь на Фотьянке обжились новые люди, которые и распускали смуту. Поднялись разговоры о земельном наделе, как в других местах, о притеснениях компании, которая собакой лежит на сене, о других промыслах, где у рабочих есть и усадьбы, и выгон, и покосы, и всякое угодые, о посланных ходоках «с бумагой», о «члене», который наезжал каждую зиму ревизовать волостное правление. У волости и в кабаке Фролки эти разговоры принимали даже ожесточенный характер: кому-то грозили, кому-то хотели жаловаться, кого-то ожидали. Расчеты на Кедровскую дачу оправдались вполтину: летние работы помазали только по губам, а зимой там оставался один прииск Ягодный да небольшие шурфовки. Народу нечего было делать, и опять должны были идти на компанейские работы, которых тоже было в обрез: на Рублихе околачивалось человек пятьдесят, на Дернихе вскрывали новый разрез до сотни, а остальные опять разбрелись по своим старательским работам – промывали борта заброшенных казенных разрезов, били дудки и просто шлялись с места на место, чтобы как-нибудь убить время.

На зимних работах опять проявилось неуклонное бдение старого штейгера Зыкова, притеснявшего старателей всеми мерами и средствами, как своих заклятых врагов.

– Когда только он дрыхнет? – удивлялись рабочие. – Днем по старательским работам шляется, а ночь в своей шахте сидит, как коршун.

– Сбросить его в дудку куда-нибудь, чтобы не заедал чужой хлеб, – предлагали решительные люди.

– Не беспокойся: другой почище выищется...

– Ну, другого такого компанейского пса не сыскать: один у нас Родька на всю округу.

Но что показалось обиднее всего промысловым рабочим, так это то, что Оников допустил на Рублиху «чужестранных» рабочих, чем нарушил весь установившийся промысловый строй и вековые порядки. Отцы и деды робили, и дети будут робить тут же... Рабочая масса так срослась со своим исконным промысловым делом, что не могла отделить себя от промыслов, несмотря на распри с компанией и даже тяжелые воспоминания о казенном времени. Все это были свои семейные, домашние дела, а зачем чужестранных-то рабочих ставить на наши работы? Дело вышло из-за какого-то пяточка прибавки конным рабочим, жаловавшимся на дороговизну овса, но Оников уперся, как пень, и нанял двух посторонних рабочих. Это возмутило всю Фотьянку до глубины души, как самое кровное оскорбление, какого еще не бывало. Даже Родион Потапыч не советовал Оникову этой крутой меры: он хотя и теснил рабочих, но по закону, а это уж не закон, чтобы отнимать хлеб у своих и отдавать чужим.

– Пустяки, – уверял Оников со спокойной усмешечкой. – Надо их подтянуть...

– И подтянуть умеючи надо, Александр Иваныч, – смело заявил старший штейгер. – Двумя чужестранными рабочими мы не управим дела, а своих раздразим понапрасну... Тоже и по человечеству нужно рассудить.

– Послушайте, каналья, вы должны слушать, что вам говорят, а не пускаться в рассуждения! С вас нужно начать...

Разговор происходил в корпусе над шахтой. Родион Потапыч весь побледнел от нанесенного оскорбления и дрогнувшим голосом ответил:

– Пятьдесят лет, ваше благородие, хожу в штегерях, а такого слова не слыхивал даже в каторжное время... Да!

– Молчать!

Результатом этой сцены было то, что враги очутились на суде у Карачунского. Родион Потапыч не бывал в господском доме с того времени, как поселилась в нем Феня, а теперь пришел, потому что давно уже про себя похоронил любимую дочь.

– Рассуди нас, Степан Романыч, – спокойно заявил старик. – Уж на что лют был покойничек Иван Герасимыч Оников, живых людей в гроб вгонял, а и тот не смел такие слова выражать... Неужто теперь хуже каторжного положенья? Да и дело мое правое, Степан Романыч... Уж я поблажки, кажется, не даю рабочим, а только зачем дразнить их напрасно.

– Все это правда, Родион Потапыч, но не всякую правду можно говорить. Особенно не любят ее виноватые люди. Я понимаю вас, как никто другой, и все-таки должен сказать одно:

ссориться нам с Ониковым не приходится пока. Он нам может очень повредить... Понимаете?... Можно ссориться с умным человеком, а не с дураком...

«Вот это так сказал, как ножом обрезал... – думал Родион Потапыч, возвращаясь от Карачунского. – Эх, золотая голова, кабы не эта господская слабость...»

С Ониковым у Карачунского произошла, против ожидания, крупная схватка. Уступчивый и неуязвимый Карачунский не выдержал, когда Оников сделал довольно грубый намек на Феню.

– Вы... вы забываетесь, молодой человек! – проговорил Карачунский, собирая все свое хладнокровие. – Моя личная жизнь никого не касается, а вас меньше всего.

– В данном случае именно касается, потому что и старик Зыков и старатель Мыльников являются вашими креатурами... Это подает дурной пример другим рабочим, как всякая поблажка. Вообще вы распустили рабочих и служащих...

– Относительно служащих я согласен с вами, а поэтому попрошу вас оставить меня: я говорю с вами как ваш начальник.

Выгнав зазнавшегося мальчишку, Карачунский долго не мог успокоиться. Да, он вышел из себя, чего никогда не случалось, и это его злило больше всего. И с кем не выдержал характера – с мальчишкой, молокососом. Положим, что тот сам вызвал его на это, но чужие глупости еще не делают нас умнее. Глупо и еще раз глупо.

А рабочие продолжали волноваться, причем, как это ни странно сказать, в числе побудительных причин являлась и открытая Кишкиным новая россыпь, названная им Богоданкой. Собственно, логической связи тут не было никакой, кроме разве того, что на фоне этого налетевшего вихрем богатства еще ярче выступала своя промысловая голь и нищета. Со своей стороны, сам Кишкин подал повод к неудовольствию тем, что не взял никого из старых рабочих, точно боялся этих участников своего приискового мытарства. Это подняло общий ропот, потому что им не давали прохода другие рабочие своими шутками и насмешками.

– Нашли Кишкину свинью, а теперь ступайте на подножный корм! Эх вы, вороны...

Особенно озлобился Матюшка, которого подзуживал постоянно Петр Васильич, снедаемый ревностью. Матюшка запил с горя и не выходил из кабака. Там же околачивались Мина Клейменный и старый Турка. Теперь только и было разговоров, что о Богоданке. Недавние сотрудники Кишкина припомнили все мельчайшие подробности, как Кишкин надул их всех, как надул Ястребова и Кожина и как надует всякого.

– Известно, старая конторская крыса! – рычал Матюшка. – У них у всех одна вера-то... Кровь нашу пьют.

– А вон Мыльников тоже вместе с ними старался, а теперь как взвеселил себя...

– Тоже через контору: Фенька подсобила делеянку.

– А мы чем грешнее Мыльникова? Ему отвели делеянку, и нам отводи. Пойдем, братцы, в контору... Оников вон пообещал на шахте всех рабочих чужестранных поставить. Двух поставил спервоначалу, а потом и других поставит... Старый пес Родька заодно с ним. Мы тут с голоду подыхай...

– Удавить их всех, а контору разнести в щепы! – кричал Матюшка в пьяном азарте. – Двух смертей не будет, а одной не миновать. Да и Шишку по пути вздернуть на первую осину.

Волнения с Фотьянки перекинулись на Балчуговский завод, где в кабаке Ермошки собиралась своя приисковая гольтыба. Жаловались на притеснение конторы, не хотевшей отводить новых делеянок, задерживавшей протолчку добытого старателями золотоносного кварца, выдачу денег и т. д. Здесь поводом к неудовольствию послужили главным образом старые «шламы», то есть уже промытые пески, получившиеся от протолчки кварца. Эти шламы образовали на дворе фабрики целую гору, и компания пустила их в промывку уже для себя. В шламах оставалось еще небольшое содержание золота, добыть которое с некоторой выгодой можно было только при массовой промывке десятков тысяч пудов. В результате получалась самая ничтожная прибыль, но рабочие считали шламы своими и волновались. Эта операция была ошибкой со стороны Карачунского. В другое время на нее никто не обратил бы внимания, а теперь она вызывала громкий ропот. Карачунский, со своей стороны, не хотел уступать из принципа, чтобы не показать перед рабочими своей несостоятельности. Нужно

было выдержать характер именно в таких пустяках, а то требования и претензии разрастутся без конца. Конечно, все это было глупо, и Карачунский мог только удивляться самому себе, как он не предвидел этого раньше. Рублиха, делянка Мыльников, чужестранные рабочие, шламы – это был последовательный ряд тех ненужных ошибок, которые делаются, кажется, только потому, что без них так легко обойтись. Чтобы исправить последнюю ошибку с промывкой шламов, Карачунский велел отвести несколько десятков новых делянок старателям и ослабить надзор за промывкой старых разрезов – это была косвенная уступка, которая была хуже, чем если бы Карачунский отказался от своих шламов.

– Эх, Степан Романыч... – заметил старик Зыков, в отчаянии качая головой. – Из лесу выходят одной дорогой. Как раз взбелеются наши старателишки, ежели разнюхают...

Это предсказание оправдалось скорее, чем можно было предполагать, именно: на Дернихе старатели, промывавшие старый отвал, наткнулись случайно на хорошее содержание и прогнали компанейского штейгера, когда тот хотел ограничить какую-то делянку. На место смуты полетел Родион Потапыч, но его встретили чуть не кольями и даже близко не пустили к работам. Услужливая молва из этой случайной стычки сделала именно то, чего боялся в настоящую минуту Карачунский: ничтожный по существу случай мог поднять на ноги всю рабочую массу бестолково и глупо, как это бывает при таких обстоятельствах. Оников торжествовал: он все это предвидел и вперед предупреждал. Минута выходила критическая, и необходимо было все уладить домашними средствами, без лишней огласки и шума. Карачунский лично отправился на Дерниху, один, как всегда ездил, и не велел объездным штейгерам и отводчикам показываться близко, чтобы напрасно не раздражать взволнованной массы старателей.

Его появление произвело именно то впечатление, на какое он рассчитывал.

– Что такое случилось? – спрашивал он, вмешиваясь в толпу рабочих.

– Мы не согласны!.. – крикнул чей-то голос сзади. – Достаточно...

– Что вам нужно? Объясните, кто потолковее...

Из толпы выделился Матюшка. Он даже не снял шапки и дерзко смотрел Карачунскому прямо в глаза.

– Первое дело, Степан Романыч, ты нас не тронь... – грубо заявил Матюшка. – Мы не дадим отвал... Вот тебе и весь сказ. А твоих штейгеров мы в колья...

Карачунский вместо ответа спустился в старательскую яму, из-за которой вышло все дело, осмотрел работу и, поднявшись наверх, сказал:

– Хорошо. Работайте... Дня на два еще хватит вашего золота. А ты, молодец, тебя Матвеем звать? Из Фотьянки?.. Ты получишь от меня кружку для золота и будешь доставлять мне ее лично вместо штейгера.

Этого никто не ожидал, а всех меньше сам Матюшка. Карачунский с деловым видом осмотрел старый отвал, сказал несколько слов кому-то из стариков, раскурил папиросу и укатил на свою Рублиху. Рабочие несколько времени хранили молчание, почесывались и старались не глядеть друг на друга.

– Вот это так орел... – заметил наконец кричавший давеча голос. – Как топором зарубил Матюшку-то!.. Ловко... Сразу компанейским песиком сделался. Ужо жалованье тебе положат четыре недели на месяц.

В числе бунтовщиков оказался и Петр Васильич, который от Карачунского спрятался за чужие спины, а теперь лаялся за четырех. Матюшка сумрачно молчал, ошеломленный ловкой выходкой управляющего. Даже Петр Васильич пожалел его.

– Не весь голову, Матюшка, не печалуй хозяина! За нами с тобой и не это пропадало.

Карачунский возвращался домой успокоенный и даже довольный. Оников рано торжествовал свою победу... В таком настроении он вернулся к себе и прошел прямо в комнату Фени, сильно беспокоившейся за него.

– Ну вот, все и кончилось, – проговорил он, обнимая ее. – Оников напрасно только беспокоился устроить мне пакость. Я уверен, что все это его штуки.

– А я так боялась... Наши мужики озвереют, так на части разорвать готовы. Сейчас наголодались... злые поневоле... Прежде-то я боялась, что тятеньку когда-нибудь убьют за

его строгость, а теперь...

Феня последние месяцы находилась в самом угнетенном настроении и почти не выходила из своей комнаты. Промысловые новости она знала через лакея Ганьку, который рассказывал ей все подробности о жилке Мыльникова, об открытии Богоданки, о всех знакомых и родственниках. Ее занимало теперь больше всего, конечно, собственное положение, полное такой фальши и неопределенности. Она часто чувствовала на себе пристальный взгляд Карачунского – взгляд холодный, проверявший свои собственные противоречия. Да, она могла быть его любовницей, а не женой, тем больше не матерью его ребенка. Теперь встало и ее прошлое, до которого раньше никому не было дела: Карачунский ревновал ее к Кожину, ревновал молча, тяжело, выдержанно, как все, что он делал. Это новое чувство, граничившее с физической брезгливостью, иногда просто пугало Феню, а любви Карачунского она не верила, потому что в своей душе не находила ей настоящего ответа. Разве можно полюбить во второй раз?.. Нет, довольно и того, что было.

Карачунский весь день чувствовал себя необыкновенно хорошо. Чтобы не портить настроения, он не пошел вечером даже в контору. Но беда пришла сама в дом. Когда сидели в столовой за самоваром, Ганька подал полученное из города письмо и повестку от следователя по особо важным делам. Карачунский на последнюю не обратил никакого внимания, а письмо узнал по адресу: такими прямыми буквами писали только старинные повыходки да знаменитый горный секретарь Илья Федотыч. «Считаю долгом предупредить вас, что вам грозит крупная неприятность по делу Кишкина, – писал старик своими прямыми буквами: – подробности передам лично, а пока имейте в виду, что грозит опасность даже вашему имуществу. Пишу это по сердечному расположению к вам и вашему настоящему семейному положению, а письмо мое уничтожьте». Сначала Карачунский даже улыбнулся, а потом вдруг почувствовал, как чайный стол точно пошатнулся и вместе с ним зашаталась стена.

– Что с вами, Степан Романыч?.. – со страхом спрашивала Феня.

– Ничего... так...

#### IV

Мыльников провел почти целых три месяца в каком-то чаду, так что это вечное похмелье надоело наконец и ему самому. Главное, куда ни приди – везде на тебя смотрят, как на свой карман. Это в конце концов было просто обидно. Правда, Мыльников успел поругаться по нескольку раз со своими благоприятелями, но каждое такое недоразумение заканчивалось новой попойкой.

– Монетный двор у меня, что ли? – выкрикивал Мыльников, когда к нему приставали с требованием денег его подручные: Яша Малый, зять Прокопий и Семеныч. – На вас никаких денег не напасешься...

Пьяная расточительность, когда Мыльников бахвалился и сорил деньгами, сменялась трезвой скупостью и даже скарденностью. Так, он, как настоящий богатый человек, терпеть не мог отдавать заработанные деньги все сразу, а тянул, сколько хватало совести, чтобы за ним походили. Далее Мыльников стал относиться необыкновенно подозрительно ко всем окружающим, точно все только и смотрели, как бы обмануть его.

– Тарас, будет тебе богатого-то показывать! – корил его даже добродушный Яша Малый. – Над кем изневаживаешься?..

– А ты меня не учи... Терпеть ненавижу!.. Все вы около меня, как тараканы за печкой.

В результате выходило так, что сотрудники Мыльникова довольствовались в чайнии каких-то благ крохами, руководствуясь общим соображением, что свои люди сочтутся. Исключение составлял один Семеныч, которому Мыльников, как чужому человеку, платил поденщину сполна. Свои подождут, а чужой человек и молча просит, как голодное брюхо.

Семеныч вообще держал себя на особицу и мало «якшил»<sup>[4]</sup> с остальными родственниками. Впрочем, это продолжалось только до тех пор, пока Мыльников не сообразил о тайных делах Семеныча с сестрицей Марьей и, немедленно приобцив к лику своих родственников, перестал платить исправно.

– Ты это что же, Тарас? – удивился Семеныч. – Что расчет-то недодаешь?



– А так, голубь мой сизокрылый... Не чужие, слава богу, сочтемся, – бессовестно ответил Мыльников, лукаво подмигивая. – Сестрице Марье Родивоновне поклончик скажи от меня... Я, брат, свою родню вот как соблюдаю. Приди ко мне на жилку сейчас сам Карачунский: милости просим – хошь к вороту вставай, хошь на отпорку. А в дудку не пушу, потому как не желаю обидеть Оксю. Вот каков есть человек Тарас Мыльников... А сестрицу Марью Родивоновну уважаю на особицу за ее развертной карахтер.

Так и пошло. Новый родственник ничего не мог сказать в ответ. Сестрица Марья быстро забрала его в руки и торопила свадьбой, только не хватало денег на первое обзаведенье. Она была старше жениха лет на шесть, но казалась совсем молоденькой, охваченная огнем своей первой девичьей страсти. У Семеныча был тайный расчет, что когда умрет старик Родион Потапыч, то Марья получит свою часть наследства из несметных богатств старого штейгера, а пока можно будет перебиться и в черном теле. Сестрица Марья сама навела его на эту счастливую мысль разными обиняками, хотя прямо ничего и не говорила с чисто женской осторожностью. Пока между ними условлено было окончательно только то, что свадьба будет сыграна сейчас после Фоминой недели. Свадьба предполагалась самокрутка, чтобы меньше расходов, как делали в Балчуговском заводе. А пока время летело птицей, от одного свиданья до другого, как у всех влюбленных. Деловитая и энергичная Марья понимала, что Семенычу нечего делать у Тараса и что он только напрасно теряет время, а поэтому, когда проездом на свою Богоданку Кишкин остановился у баушки Лукерьи, она улучила минутку и, подавая самовар, ласково проговорила:

– Андрон Евстратыч, вы мне не откажете, если я попрошу вас об одном дельце?

– Как попросишь, тоже умеючи надо просить... хе-хе!.. Ишь, какая вострая стала на Фотьянке-то!.. Ну, проси...

Марья мигом села к нему на колени, обняла одной рукой за шею и еще ласковее зашептала:

– Голубчик, Андрон Евстратыч, есть у меня один человек... то есть парень...

– Вот и неладно: ты себе проси, коза. Ничего не пожалею.

– Себе? Ну, а кто у вас на Богоданке хозяйничать будет?.. Надо и за тряпкой приглядеть, и горницы прибрать, и старичку угодить... старенькому, седенькому, богатенькому, хитренькому старичку.

– Так, так... Верно. Ай да коза... Ну, а дальше?..

– Дальше-то опять про парня... Какое-нибудь местечко ему приткнуться. Парень на все руки, а женится после Фоминой – жена будет на приисковой конторе чистоту да всякий порядок соблюдать. Ведь без бабы и на прииске не управиться...

– Ах, Марья Родивоновна: бойка, да речиста, да увертлива... Быть, видно, по-твоему. Только умей ухаживать за стариком... По-настоящему. Нарочно горенку для тебя налажу: сиди в ней канарейкой. Вот только парень-то... ну, да это твое девичье дело. Уластила старика, егоза...

Разыгравшаяся сестрица Марья даже расцеловала размякшего старичка, а потом взвизгнула по-девичьи и стрелой унеслась в сени. Кишкин несколько минут сидел неподвижно, точно в каком тумане, и только моргал своими красными веками. Ну, и девка: огонь бенгальский... А Марья уж опять тут – выглядывает из-за косяка и так задорно смеется.

– Цып, цып... – манил ее Кишкин, сыпля на пол мелкое серебро. – Цып, курочка!..

– Ну, этим ты меня не купишь! – рассердилась сестрица Марья. – Приласкать да поцеловать старичка и так не грешно, а это уж ты оставь...

– Цып, цып... Старичку все можно, Машенька: никто ничего не скажет.

– Ах, бесстыдник...

Когда баушка Лукерья получила от Марьи целую пригоршню серебра, то не знала, что и подумать, а девушка нарочно отдала деньги при Кишкине, лукаво ухмыляясь: вот-де тебе и твоя приманка, старый черт. Кое-как сообразила старуха, в чем дело, и только плюнула. Она вообще следила за поведением Кишкина, особенно за тем, как он тратил деньги, точно это были ее собственные капиталы.

– Ты, бесстыдница, чего это над стариком галишься?<sup>[5]</sup> – строго заметила она Марье. – Смотри, довертишь хвостом... Ох, согрешила я с этими проклятущими девками!

– Молодо-зелено, погулять велено, – заступился Кишкин, находившийся под впечатлением охватившей его теплоты. – И стыд девичий до порога... Вот это какое девичье дело.

Мыльников хотя и хвастался своими благодеяниями родне, а сам никуда и глаз не показывал. Дома он повертывался гостем, чтобы сунуть жене трешницу.

– Когда же строиться-то мы будем? – спрашивала Татьяна каждый раз. – Уж пора бы, а то все равно пропьешь деньги-то.

– Ученого учить – только портить. Мне и самому надоело пировать-то. Родня на шею навязалась – вот главная причина. Никак развязаться не могу.

– Ты бы хоть Оксю-то придел. Обносила она. У других девок вон приданое, а у Окси только и всего, что на себе. Заморил ты ее в дудке... Даже из себя похудела девка.

– Всех уболагодворю, а Оксю на особицу... Нет, брат, теперь шабаш: за ум возьмусь. Канпанию к черту, пусть отдохнут кабаки-то...

У Мыльникова, действительно, были серьезные хозяйственные намерения. Он даже подрядил плотников срубить для новой избы сруб и даже выдал задаток, как настоящий хозяин. Постройкой приходилось торопиться, потому что зима была на исходе, – только успеют вывезти бревна из лесу, а поставят сруб о Великом poste. Первый транспорт бревен привел Мыльникова в умиление: его заветная мечта поставить новую избу осуществлялась. Когда весь двор был завален бревнами, Мыльниковым овладело такое нетерпение, что он решил сейчас же сломать старую избушку. Такое быстрое решение даже испугало Татьяну: столько лет прожили в ней, и вдруг ломать.

– А куда я-то с ребяташками денусь? – взмолилась она.

– На фатеру определяю... А то и у батюшки-тестя поживешь. Не велика важность, две недели околотиться. Немного мы видели от тестюшки.

Без дальних слов Мыльников отправился к Устинье Марковне и обладил дело живой рукой. Старушка тосковала, сидя с одной Анной, и была рада призреть Татьяну. Родион Потапыч попустился своему дому и, все равно, ничего не скажет.

– Да ведь я заплачу, – с гордостью заявлял Мыльников. – Всю родню теперь воспитываю.

Неприятность вышла только от Анны, накинувшейся на него с худыми бабьими словами. Она в азарте даже тыкала в нос Мыльникову грудным ребенком.

– Любезная сестрица, Анна Родивоновна, вот какая есть ваша благодарность мне? – удивлялся Мыльников. – Можно сказать, головы своей не жалею для родни, а вы неистовство свое оказываете...

– Перестань, Анна, – оговорила дочь Устинья Марковна, – не одни наши мужики помутились с золотом-то, а Тарас тут ни при чем...

– Куда мы с ребятами-то? – голосила Анна. – Вот Наташка с Петькой обедают дедушку, да мои, да еще Тарасовы будут обедать... От соседей стыдно.

– Молчи! – крикнула мать. – Зубы у себя во рту сосчитай, а чужие куски нечего считать... Перебьемся как-нибудь. Напринималась Татьяна горя через число: можно бы и пожалеть.

– И как еще наприималась-то!.. – соглашался Мыльников. – Другая бы тринадцать раз повесилась с таким муженьком, как Тарас Матвеевич... Правду надо говорить. Совсем было измотал я семьюшку-то, кабы не жилка... И удивительное это дело, тещенька любезная, как это во мне никакой совести не было. Никого, бывало, не жаль, а сам в кабаке день-деньской, как управляющий в конторе.

Пристроив семью, Мыльников сейчас же разнес пепелище в щепы и даже продал старые бревна кому-то на дрова. Так было разрушено родительское гнездо...

– Теперь, брат, на господскую руку все наладим, – хвастался Мыльников на всю улицу.

Занятый постройкой, он совсем забросил жилку, куда являлся только к вечеру, когда на фабрике «отдавали свисток с работы». Он приезжал к дудке, наклонялся и кричал:

– Окся, ты тут?

– Здесь, тятенька, – откликнулся из земных недр Оксин голос.

– То-то, у меня смотри...

Работа шла уже на седьмой сажени. Окся не только добывала «пустяк» и «жилку», но сама крепила шахту и вообще отвечала за настоящего ортового рабочего. Жила она на Рублихе, в конторе дедушки Родиона Потапыча, полюбившего свою внучку какой-то страстной любовью. Он все прощал Оксе, даже грубости, чего никогда не простил бы родным дочерям, и молча любовался непосредственностью этой придурковатой от избытка здоровья девушки. Ей точно лень быть умной. Не один раз они ссорились, и Родион Потапыч грозился выгнать Оксю, но та только ухмылялась.

– Куды я пойду-то, ты подумай, – усовещивала она старика. – Мужики это все одно, а девка сейчас худую славу наживет... Который десяток на свете живешь, а этого не можешь сообразить.

– К отцу ступай, дура... Не в чужие люди гоню.

– У меня и отец такой же, как ты: ничего сообразить не может.

– Ах, Окся, Окся... да не Окся ли?! Какие ты слова выражаешь?..

В начале марта провернулось несколько теплых весенних деньков. На пригревах дорога почернела, а снег потерял сразу свою ослепительную белизну. Воздух сделался совсем особенный, такой бодрящий и свежий. Вешняя вода была близко, и все опять заволновались, как это происходило каждую весну. Рабочая лихорадка охватила и Фотьянку и Балчуговский завод. В прошлом году в Кедровской даче шли только разведки, а нынче пойдут настоящие работы. Старатели сбивались артелями и ходили с Фотьянки на Балчуговский завод и обратно, выжидая нанимателей. Издали они походили на проснувшихся после зимней спячки пчел, ползавших по своему улью. В числе других ходил и Матюшка, оставшийся без работы: золото в Дернихе кончилось ровно через два дня, как сказал Карачунский. Встречая на дороге Мыльникову, Матюшка несколько раз говорил:

– Тарас Матвеевич, что меня не возьмешь на жилку?..

– У меня своей родни девать некуда...

– Родня – родней, а старую хлеб-соль забывать тоже нехорошо. Вместе бедовали на Мутяшке-то...

Первое дыхание весны всех так и подмывало. Очухавшийся Мыльников только чесал затылок, соображая, сколько стравил за зиму денег по кабакам... Теперь можно было бы в лучшем виде свои работы открыть в Кедровской даче и получать там за золото полную цену. Все равно на жилку надеяться долго нельзя: много продержится до осени, ежели продержится.

– Бить некому было старого черта! – вслух ругал Мыльников самого себя. – Еще как бить-то надо было, бить да приговаривать: не пируй, варнак! Не пируй, каторжный!..

Именно в таком тревожном настроении раз утром приехал Мыльников на свою дудку. «Родственники» не ожидали его и мирно спали около огонька. Мыльников пришел к вороту, наклонился к отверстию дудки и крикнул:

– Эй, Оксюха, жива, что ли?..

Ответа не последовало, только проснулись сконфуженные родственники.

– Где же Окся? – грозно накинулся на них Мыльников. – Эй, Окся, не слышишь без очков-то!.. Уж не задавило ли ее грешным делом?

– Мы ее на свету спустили в дудку, – объяснял сконфуженный Яша. – Две бадьи подала пустяку, а потом велела обождать...

Встревоженный Мыльников спустился в дудку: Окси не было. Валялись кайло и лопатка, а Окси и след простыл. Такое безобразие возмутило Мыльникова до глубины души, и он «на

той же ноге» полетел на Рублиху, – некуда Оксе деваться, окромя Родиона Потапыча. Появление Мыльниковца произвело на шахте общую сенсацию.

– Была твоя Окся, да вся вышла...

– Да вы толком говорите, омморошные!.. Она с дудки, надо полагать, опять ушла сюда...

– Поищи, может, найдешь. А вернее, братцы, что на Оксе черт уехал по своим делам.

Родион Потапыч вышел на шум из своей конторки и молча нахмурился, завидев дорогого зятя.

– Оксю потерял, Родион Потапыч... Была в дудке, а тут как сквозь землю провалилась. Работнички-то мои проспали.

– Выгоните этого дурака, – коротко приказал грозный старик. – Здесь не кабак, чтобы шум подымать...

– Меня?.. Да я...

Чадолубивого родителя без церемоний вытолкали за дверь.

Мыльников с Рублихи отправился прямо на Фотьянку к баушке Лукерье... Окси и там не было; потом – в Балчуговский завод, – Окся точно в воду канула. Так и пропала девка.

Вместе с Оксей ушло и счастье Мыльниковца. Через неделю дудку его залило подступившей вешней водой, а машину для откачки воды старатели не имели права ставить, и ему пришлось бросить работу. От всего богатства Мыльниковца остались одни новые ворота да сотни три бревен, которые подрядчик увез к себе, потому что за них не было заплачено. С горя Мыльников опять засел в кабак к Ермошке и начал пропивать помаленьку нажитое добро: сначала лошадь, потом кошевку, лошадиную сбрую и наконец всю одежду с себя. Наступало лето, и одежда была не нужна.

Раз, когда Мыльников сидел в кабаке, Ермошка сказал:

– А Окся-то твоя ловкую штуку уколола: за Матюшку замуж вышла...

– Н-но-о? – изумился Мыльников.

– Приданое, слышь, вынесла: целый фунт твоего-то золота Матюшка продал Петру Васильичу за четыре сотельных билета... Она, брат, Окся-то, поумнее всех оказала себя.

– Ах, курва... Да я ее растерзаю на мелкие части!

– Ну, теперь дудки: Матюшка-то изувечит всякого... Другую такую-то дуру наживай.

## V

На Рублихе дела оставались в прежнем положении. Углубляться было нельзя, пока не кончена штольня. Работы в последней подвигались к концу, что вызывало общее возбуждение. Штольная пробуравила Ульянов кряж поперек, но в этом горизонте, к общему удивлению, ничего интересного не было найдено: пласты березитов, сланцы, песчаники, глина – и только. Кварц встречался ничтожными прослойками без всякого содержания золота. Все надежды теперь сосредоточились именно на этой штольне, потому что она отведет всю рудную воду в Балчуговку, и тогда можно начать углубление в центральной шахте. Родион Потапыч спускался в штольню по два раза в день и оставался там часов до пяти. Работы шли под его личным руководством. Старик никому не доверял и все делал сам. Что неприятно поражало Родиона Потапыча, так это то, что Карачунский как будто остыл к Рублихе и совершенно равнодушно выслушивал подробные доклады старого штейгера, точно все это не касалось его. Так продолжалось месяца два, а потом Карачунский точно проснулся. Он «зачастил» на Рублиху и подолгу оставался здесь. То спустится в шахту и бродит по расщечкам, то сидит наверху. Вообще с ним что-то «попритчилось», как решили все.

– Скоро ли? – спрашивал он каждый день Родиона Потапыча.

– Еще восемнадцать аршин осталось... К реке скорее пойдем, потому там ребровик да музга пойдут.

Музгой рабочие называют всякую смесь, а в данном случае музга состояла из глины и разрушившихся песчаников. Попадались еще прослойки белой вязкой глины с крупинками кварца, носившей название «кавардака». Вероятно, оно дано было сначала кем-нибудь из

горных инженеров и было подхвачено рабочими, да так и пошло гулять по всем промыслам, как забористое и зубастое словечко, тем более, что такой белой глины рабочие очень не любили – лопата ее не брала, а кайло вязло, как в воске. Такой «кавардак» встречался только в полосе березитов как продукт их разрушения.

Новое увлечение Карачунского Рублихой находилось в связи с его душевным настроением: это была его последняя ставка. «Оправдает себя» Рублиха, и Карачунский спасен... Часто он совершенно забывался, сидя где-нибудь у машины и прислушиваясь к глухой работе и тяжелым вздохам шахты. Там, в темной глубине, творилась медленная, но отчаянная борьба со скупой природой, спрятавшей в какой-то далекий угол свое сокровище. И в душе у человека, в неведомых глубинах, происходит такая же борьба за крупички правды, добра и чести. Ах, сколько тьмы лежит на каждой душе, и какими родовыми муками добываются такие крупички... Большинство людей счастливо только потому, что не дает себе труда заглянуть в такие душевные пропасти и вообще не дает отчета в пройденном пути. Родион Потапыч потихоньку наблюдал Карачунского издали и старался в такие минуты не мешать барину «раздумываться». Ничего, пусть подумает... Раз они встретились глазами именно в такую минуту, и Карачунский весело улынулся.

– Знаешь, о чем я думал сейчас, Родион Потапыч?

– Не могу знать, Степан Романыч... У господ свои мысли, у нас, мужиков, свои, а чужая душа потемки... А тебе пора и подумать о своем-то лакомстве... У всех господ одна зараза, а только ты попревосходней других себя оказал.

– Вся разница в том, Родион Потапыч, что есть настоящие господа и есть поддельные. Настоящий барин за свое лакомство сам и рассчитывается... А мужик полакомится – и бежать.

– Видал я господ всяких, Степан Романыч, а все-таки не пойму их никак... Не к тебе речь говорится, а вообще. Прежнее время взять, когда мужики за господами жили, – правильные были господа, настоящие: зверь так зверь, во всю меру, добрый так добрый, лакомый так лакомый. А все-таки не понимал я, как это всякую совесть в себе загасить... Про нынешних и говорить нечего: он и зла-то не может сделать, засилья нет, а так, одно званье что барин.

– А как ты меня понимаешь, Родион Потапыч?..

– Тебя-то? Бочка меду да ложка дегтю – вот как я тебя понимаю. Кабы не твое лакомство, цены бы тебе не было... Всякая повадка в тебе настоящая, и в слове тверд даже на редкость.

Карачунский приезжал на Рублиху даже ночью. Он вдруг потерял сон и ужасно этим мучился. А тут проехать верст пять по свежему воздуху – отлично... Весна уже брала свое. За день дорога сильно подтаивала, а к ночи все подмерзло. Заторы и колдобины покрывались тонким, как стекло, льдом, который со звоном хрустел под лошадиными копытами и санным полозом. А как легко дышится в такую весеннюю ночь... Небо бледное, звезды лихорадочно светят, в воздухе разлита чуткая дремота. Вообще хорошо. Нервы напряжены, а в теле разливается такая бодрая теплота, как в ранней молодости. В такие минуты хорошо думается и хорошо чувствуется. Раз, когда ночью Карачунский ехал один, ему вдруг пришла мысль: а что, если бы умереть в такую ночь?.. Умереть бодрым, полным сил, в полном сознании, а не беспомощным и жалким. Кучер, должно быть, вздремнул на козлах, потому что лошади поднимались на Краюхин увал шагом; колокольчик сонно бормотал под дугой, когда коренник взмахивал головой; пристяжная пряла ушами, горячим глазом вглядываясь в серый полумрак. Именно в этот момент точно из земли вырос над Карачунским верховой; его обдало горячее дыхание лошади, а в седле неподвижно сидел, свесившись на один бок по-киргизски, Кожин. Карачунский узнал его и почувствовал, как по спине пробежала холодная струйка. Кучер встрепенулся и подтянул вожжи.

– Эй ты, подальше, полуночник! – крикнул кучер.

Кожин ничего не ответил, а только пустил лошадь рядом. Карачунский инстинктивно схватился за револьвер.

– Не бойся, не трону, – ответил Кожин, выпрямляясь в седле. – Степан Романыч, а я с Фотьянки... Ездил к подлецу Кишкину: на мои деньги открыл россыпь, а теперь и знать не хочет. Это как же?..

– У вас условие было какое-нибудь? – спрашивал Карачунский, сдерживая волнение.

– Какие там условия...

– Ну, тогда ничего не получите.

Кожин молча повернул лошадь, засмеялся и пропал в темноту. Кучер несколько раз оглядывался, а потом заметил:

– Не с добром человек едет...

– А что?

– Да уж так... Куда его черт несет ночью? Да и в словах мешается... Ночным делом разве можно подъезжать этак-ту: кто его знает, что у него на уме.

– Пустяки...

Ночью особенно было хорошо на шахте. Все кругом спит, а паровая машина делает свое дело, грузно повертывая тяжелые чугунные шестерни, наматывая канаты и вытягивая поршни водоотливной трубы. Что-то такое было бодрое, хорошее и успокаивающее в этой неумолчной гигантской работе. Свои домашние мысли и чувства исчезали на время, сменяясь деловым настроением.

– Разве так работают... – говорил Карачунский, сидя с Родионом Потапычем на одном обручке дерева. – Нужно было заложить пять таких шахт и всю гору изрыть – вот это разведка. Тогда уж золото не ушло бы у нас...

– Куда ему деваться; Степан Романыч... В горе оно спряталось.

– Да и вообще все наши работы ничего не стоят, потому что у нас нет денег на большие работы.

– Это ты правильно... Кабы настоящим образом ударить тот же Ульянов кряж...

Карачунский рассказывал подробно, как добывают золото в Калифорнии, в Африке, в Австралии, какие громадные компании основываются, какие страшные капиталы затрачиваются, какие грандиозные работы ведутся и какие баснословные дивиденды получаются в результате такой кипучей деятельности. Родион Потапыч только недоверчиво покачивал головой, а с другой стороны, очень уж хорошо рассказывал барин, так хорошо, что даже слушать его обидно.

– Мы как нищие... – думал вслух Карачунский. – Если бы настоящие работы поставить в одной нашей Балчуговской даче, так не хватило бы пяти тысяч рабочих... Ведь сейчас старатель сам себе в убыток работает, потому что не пропадать же ему голодом. И компании от его голода тоже нет никакой выгоды... Теперь мы купим у старателя один золотник и наживем на нем два с полтиной, а тогда бы мы нажили полтину с золотника, да зато нам бы принесли вместо одного пятьдесят золотников.

– Ну, это уж невозможно! – сказал Родион Потапыч. – Им, подлецам, сколько угодно дай – все равно потащат к Ястребову.

– Тогда мы стали бы платить столько же, сколько платит Ястребов: если ему выгодно, так нам в сто раз выгоднее. Главное-то свои работы...

На этом пункте они всегда спорили. Старый штейгер относился к вольному человеку – старателю – с ненавистью старой дворовой собаки. Вот свои работы – другое дело... Это настоящее дело, кабы сила брала. Между разговорами Родион Потапыч вечно прислушивался к смешанному гулу работавшей шахты и, как опытный капельмейстер, в этой пестрой волне звуков сейчас же улавливал малейшую неверную ноту. Раз он соскочил совсем бледный и даже поднял руку кверху.

– Что случилось?

– Вода, Степан Романыч... – прошептал старик, опрометью бросаясь к насосу.

Несмотря на самое тщательное прислушивание, Карачунский ничего не мог различить: так же хрипел насос, так же лязгали шестерни и железные цепи, так же под полом журчала сбегавшая по «сливу» рудная вода, так же вздрагивал весь корпус от поворотов тяжелого маховика. А между тем старый штейгер учуял беду... Поршень подавал совсем мало воды. Впрочем, причина была найдена сейчас же: лопнуло одно из колен главной трубы. Старый штейгер вздохнул свободнее.

– Ну, это не велика беда, – говорил он с улыбкой. – А я думал, не вскрылась ли настоящая рудная вода на глубине. Беда, ежели настоящая-то рудная вода прорвется: как раз одолеет и всю шахту зальет. Бывало дело...

Они, кажется, переговорили обо всем, кроме главного, что лежало у обоих на душе. Родион Потапыч не проронил ни одного слова о Фене, а Карачунский молчал о деле Кишкина. Но это последнее неотступно преследовало его, получив неожиданный оборот. Следователь по особо важным делам вызывал Карачунского в свою камеру уже три раза. Эти вызовы производили на Карачунского страшно двойственное впечатление: знакомый человек, с которым он много раз играл в клубе в карты и встречался у знакомых, и вдруг начинает официальным тоном допрашивать о звании, имени, отчестве, фамилии, общественном положении и подробностях передачи казенных промыслов.

– Господин Карачунский, вы не могли, следовательно, не знать, что принимаете приисковый инвентарь только по описи, не проверяя фактически, – тянул следователь, записывая что-то, – чем, с одной стороны, вы прикрывали упущения и растраты казенного управления промыслами, а с другой – вводили в заблуждение собственных доверителей, в данном случае компанию.

– Господин следователь, вам небезызвестно, что и в казенном доме и в частном есть масса таких формальностей, какие существуют только на бумаге, – это известно каждому. Я сделал не хуже, не лучше, чем все другие, как те же мои предшественники... Чтобы проверить весь инвентарь такого сложного дела, как громадные промысла, потребовались бы целые годы, и затем...

– И затем?

– И затем я не желал подводить под обух своих предшественников, которые, как я глубоко убежден, были виноваты столько же, сколько я в данный момент.

– Вот это и важно, что вы сознательно прикрывали существовавшие злоупотребления!

– Позвольте, господин следователь, я этого совсем не желал сказать и не мог... Я хотел только объяснить, как происходят подобные вещи в больших промышленных предприятиях.

– Это одно и то же, только вы говорите другими словами, господин Карачунский.

Такой прием злил Карачунского, и он чувствовал, как следователь берет над ним перевес своим профессиональным бесстрашием. Правосудие должно было быть удовлетворено, и козлом отпущения являлся именно он, Карачунский. Конечно, он мог свалить на своих предшественников, но такой маневр был бы просто глупым, потому что он сейчас не мог ничего доказать. И следователь был по-своему прав, выматывая из него душу и цепляясь за разные мелочи и пустяки. В конце концов Карачунский чувствовал себя в положении травленого зверя, которого опутывали цепкими тенетами. Могла разыграться очень скверная штука вообще, да, кажется, в этом сейчас не могло быть и сомнения. По крайней мере Карачунский в этом смысле ни на минуту не обманывал себя с первого момента, как получил повестку от следователя.

Интересная была произведенная следователем очная ставка Карачунского с Кишкиным. Присутствие доносчика приподняло Карачунского, и он держал себя с таким леденящим достоинством, что даже у следователя заронилось сомнение. Кишкин все время чувствовал себя смущенным...

– Господин Карачунский, я желаю взять назад свой донос... – заявил Кишкин в конце концов, виновато опуская глаза.

– Я уже сказал вам, что это невозможно, – сухо ответил следователь, продолжая писать.

– А если я по злобе это сделал?.. Просто от неприятности, и сейчас сам не помню, о чем писал... Бедному человеку всегда кажется, что все богатые виноваты.

– Теперь вы, кажется, разбогатели и не можете жаловаться на судьбу... Одним словом, это к делу не относится...

Когда Карачунский вышел на подъезд следовательской квартиры, Кишкин догнал его и торопливо проговорил:

– А я не виноват, Степан Романыч... Про вас-то я ни одного слова не говорил, а про других.

– Что вам от меня нужно?.. – спросил Карачунский, меряя старика с ног до головы. – Я вас совсем не знаю и не желаю знать...

Это презрение образумило Кишкина, точно на него пахнуло холодным воздухом, и он со злобой подумал:

«Погоди, шляхта, ужо запоешь матушку-репку, когда приструнят...»

Карачунскому этот подлый старичонка-доносчик внушал непреодолимое отвращение, как пресмыкающаяся гадина. Сознавая всю опасность своего положения, он гордился тем, что ничего не боится и встретит неминуемую беду с подобающим хладнокровием. Теперь уже в отношениях собственных служащих он замечал свое фальшивое положение: его уже начинали игнорировать, особенно Монморанси, которых он прокармливал. Из допросов следователя Карачунский понимал, что, кроме доноса Кишкина, был еще чей-то дополнительный донос прямо о нем, и подозревал, что его сделал Оников. Этот молодой человек старательно избегал встреч с Карачунским, чем еще больше подтверждал подозрения. Промысловые служащие, конечно, знали о всем происходившем и смотрели на Карачунского как на обреченного человека. Все это создавало взаимно фальшивые отношения, и Карачунский желал только одного: чтобы все это поскорее разрешилось так или иначе.

Вот о чем задумывался он, проводя ночи на Рублихе. Тысячу раз мысль проходила по одной и той же дороге, без конца повторяя те же подробности и производя гнетущее настроение. Если бы открыть на Рублихе хорошую жилу, то тогда можно было бы оправдать себя в глазах компании и уйти из дела с честью: это было для него единственным спасением.

В то время, пока Карачунский все это думал и передумывал, его судьба уже была решена в глубинах главного управления компании Балчуговских промыслов: он был отрешен от должности, а на его место назначен молодой инженер Оников.

## VI

На Фоминой вековуха Марья сыграла свадьбу-самокрутку и на свое место привела Наташку, которая уже могла «отвечать за настоящую девку», хотя и выглядела тоненьким подростком. Баушку Лукерью много утешало то, что Наташка лицом напоминала Феню, да и характером тоже.

– Живи и слушайся баушки, – наказывала строго Марья. – И к делу привыкнешь и, может, свою судьбу здесь-то и найдешь... У дедушки немного бы высидела, да там и без тебя полная изба едоков.

Наташка была рада этой перемене и только тосковала о своем братишке Петруньке, который остался теперь без всякого призора. Отец Яша вместе с Прокопьем пропадали где-то на промыслах и дома показывались редко.

– Смаялась я с девками, – ворчала баушка Лукерья. – На одном году четвертую беру... А все промысла. Грех один с этими девками...

Марья с мужем поступила к Кишкину на Богоданку, где весной закипела горячая работа. На берегу Мутяшки по шучьему велению выросла новая контора, а при ней была налажена обещанная стариком горенка для Марьи. Весело было на Богоданке, как в праздник. Рабочих набралось больше трехсот человек. Со стороны Мутяшки еще зимой была устроена из глины и хвороста плотина, а затем вся вода из болота выкачана паровой машиной. Зимой же половина россыпи была вскрыта, и верховик пошел на плотину, так что зараз делалось два дела. Пески промывали бутарой, которая гремела день и ночь, как прожорливое чудовище с железным брюхом. Россыпь оказалась прекрасной, в среднем около полутора золотников содержания. Кишкин жил в своей конторе и сам смотрел за всем, не доверяя постороннему глазу. При нем происходила доводка золота в полдень и вечером, и он сам отжигал на огне полученную «сортучку», как называют на промыслах соединение ртути с золотом. Мелкое золото улавливалось ртутью. Несколько старательских артелей были допущены только для выработки бортов, как на больших промыслах, и Кишкин каялся в этом попусшении, потому что вечно подозревал старателей в воровстве. Старик ни в чем не изменил образа жизни и ходил в таком же рваном архалуке, как и в прошлом году. Единственная роскошь, которую он позволил себе, – была трубка с длинным черешневым чубуком. Жил он очень грязно, ходил в грязном белье и скупился ужасно. Даже чай ходил пить к своему штейгеру Семеньчу, чтобы



экономить на этой разорительной привычке. Марья, впрочем, не подавала вида, что замечает эту старческую жадность, и охотно угощала старика всем, что было под рукой.

– Все кричат: богатство! – жаловался Кишкин. – А только вот я не вижу его до сих пор... Нечем долг заплатить баушке Лукерье. Тут тебе паровая машина, тут вскрышка, тут бутара, тут плотина... За все деньги подай, а деньги из одного кармана.

– А как же баушка-то Лукерья? Завидная она до денег...

– Проценты плачу... Ох, разоренье, Марьюшка!..

– Ну, как-нибудь, Андрон Евстратыч. Бог не без милости...

– Главное, всем деньги подавай: и штейгеру, и рабочим, и старателям. Как раз без сапогов от богатства уйдешь... Да еще сколько украдут старателишки. Не углядишь за вором... Их много, а я-то ведь один. Не разорваться...

Всего больше Кишкин не любил, когда на прииск приезжали гости, как тот же Ястребов. Знаменитый скупщик делал такой вид, что ему все равно и что он нисколько не завидует дикому счастью Кишкина.

– Старайся, старайся, старичок божий... – весело говорил он, похлопывая Кишкина своей тяжелой рукой по плечу. – Любая половина моих рук не минует... Пряменько скажу тебе, Андрон Евстратыч. Быль молодцу не укор...

– Знаю я вас, разбойников! – брюзжал Кишкин. – Только ведь со мной шутки-то плохие, Никита Яковлич...

– Не пугай, ради Христа... ха-ха!.. А что сделаешь?

– А вот это самое... Я, брат, дубленый: все ваши ходы и выходы знаю. Меня, брат, не проведешь...

В другой раз Ястребов привез с собой самого Илью Федотыча, ездившего по промыслам для собственного развлечения.

– Посмотреть приехал на тебя, чудо-юдо, – пошутил секретарь милостиво. – Разбогател, так и меня знать не хочешь.

– Он ныне гордый стал, – поддержал Ястребов расшутившегося секретаря. – Голой рукой и не возьмешь...

– А еще однокашники, – продолжал Илья Федотыч. – Скоро, пожалуй, на улице встретит и не узнает... Вот тебе и дружба. Хе-хе... А еще говорят, что старая хлеб-соль впереди.

Сильный был человек Илья Федотыч, так что Кишкин для него послал в Балчуговский завод за бутылкой мадеры, благо секретарь остается ночевать в Богоданке.

– Да, вот какие дела, Андрон... – говорил он вечером, когда они остались в конторе одни. – Приехал получить с тебя должок. Разве забыл?

– Все отдам, Илья Федотыч, только дай с деньгами собраться... – жалостливо уверял Кишкин. – Никак не могу сбиться с деньгами-то. Вот еще свои в землю закапываю...

– Перестань врать!.. Других морочь, а меня-то оставь.

Марья вертелась на глазах целый вечер и сумела угодить Илье Федотычу. Она подала и сливков к чаю и ягод, а на ужин состряпала такие пельмени, что язык проглотишь. Кишкин только поморщился, что разгулялась баба на чужую провизию, но Марья успокоила его: она все делала из своего.

– Нельзя же кое-как, Андрон Евстратыч, – уговаривала она старика своим уверенным тоном. – Пригодится еще Илья Федотыч... Все за ним ходят, как за кладом.

– Ох, знаю, Марьюшка... Да мне-то какая от этого корысть?.. Свою голову не знаю, как прокормить... Ты расхарчилась-то с какой радости?

– Нельзя, Андрон Евстратыч: порядок того требует. Тоже видали, как добрые люди живут...

Илья Федотыч за бутылкой хереса сообщил Кишкину последнюю новость, именно о назначении Оникова главным управляющим Балчуговских промыслов.

– А куда же Карачунский? – удивился Кишкин.

– Ну, это его дело... Может, ты же ему место-то приспособил своим доносом. Влетел он в это самое дело, как кур во щи... Ах, Андрюшка, бить-то тебя было некому!..

– От бедности очертел тогда, – согласился Кишкин. – Терпел-терпел и надумал...

За бутылкой вина старики разговорились о старине, о прежних людях, о похороненном казенном времени, о нынешних порядках и нынешних людях. Илья Федотыч как-то осовел и точно размяк.

– Пожалуют балчуговские-то о Карачунском, – повторял секретарь. – И еще как пожалуют... В узле держал, а только с толком. Умный был человек... Надо правду говорить. Оников-то покажет себя...

– Народ изварначился ныне, Илья Федотыч...

– Ну, это тоже суди на волка и суди по волку. Промысла-то везде одинаковы, – сегодня вскачь, а завтра хоть плачь.

– Разжалобился ты что-то уж очень, Илья Федотыч... У себя в канцелярии так зверь зверем сидишь, а тут жалость напустил.

– Ох, помирать скоро, Андрюшка... О душе надо подумать. Прежние-то люди больше нас о душе думали: и греха было больше и спасения было больше, а мы ни богу свеча, ни черту кочерга. Вот хоть тебя взять: напал на деньги и съезжился весь. Из пушки тебя не прошибешь, а ведь подохнешь, с собой ничего не возьмешь. И все мы такие, Андрюшка... Хороши, пока голодны, а как насосались – и конец.

– Тебе в попы идти, Илья Федотыч, – рассердился Кишкин. – В самый раз с постной молитвой ездить...

Это жалостливое настроение Ильи Федотыча, впрочем, сменилось быстро игривым. Он долго смотрел на Марию, а потом весело подмигнул и заметил:

– Игрушка?..

– Хороша Маша, да не наша... С мужем живет.

– Что же, это еще лучше, коли с мужем... хи-хи!.. Из-за мужа-то и хозяина пожалует...

Илья Федотыч рано утром был разбужен неистовым ревом Кишкина, так что в одном белье подскочил к окну. Он увидел каких-то двух мужиков, над которыми воевал Андрон Евстратыч. Старик расходился до того, что, как петух, так и насакивал на них и даже замахивался своей трубкой. Один мужик стоял с уздой.

– Грабить меня пришли?! – орал Кишкин. – Петр Васильич, побойся ты бога, ежели людей не стыдишься... Знаю я, по каким делам ты с уздой шляешься по промыслам!..

– Мы насчет работы, Андрон Евстратыч, – заявил другой мужик. – Чем мы грешнее других-прочих?.. Отвел бы делянку – вот и весь разговор.

Это были Петр Васильич и Мыльников, шлявшиеся по промыслам каждый по своему делу. На крик Кишкина собрались рабочие и подняли гостей на смех.

– Ты их обыщи, Андрон Евстратыч, – советовал кто-то. – Мыльников-то заместо коромысла отвечает у Петра Васильича.

– Ну и обыщи, коли на то пошло! – согласился Петр Васильич, распоясываясь. – Весь тут... Хоть вывороти.

– А мне надо сестрицу Марию повидать, – заявил Мыльников не без достоинства. – Кожин тебе кланяется, Андрон Евстратыч.

Выскочившая на шум Мария увела родственников к себе в горенку и этим прекратила скандал.

– Скупщики... – коротко объяснил Кишкин недоумевавшему гостю. – Вот этот, кривой-то, настоящий и есть змей... От Ястребова ходит.

– Ну, у хлеба не без крох, – равнодушно заметил секретарь. – А я думал, что тебя уж режут...

– И зарежут...

Мыльников сидел в горнице у сестрицы Марьи с самым убитым видом и говорил:

– Вот, Марьюшка, до чего дожил: хожу по промыслам и свою Оксю разыскиваю. Должна же она своего родителя убогатить?.. Конечно, она в законе и всякое прочее, а целый фунт золота у меня стащила...

– Мало ли что зря люди болтают, – успокаивала Марья. – За терпенье Оксе-то бог судьбу послал, а ты оставь ее. Неровен час, Матюшка-то и бока наломает.

– Прямо убьет, – соглашался Мыльников. – Зятя бог послал... Ох, Марьюшка, только и жисть наша горемычная.

– Пировал бы меньше, Тарас... Правду надо говорить. Татьяну-то сбыл тятеньке на руки, а сам гуляешь по промыслам.

Мыльников удрученно молчал и чесал затылок. Эх, кабы не водочка!.. Петр Васильич тоже находился в удрученном настроении. Он вздыхал и все посматривал на Марью. Она по-своему истолковала это настроение милых родственников и, когда вечером вернулся с работы Семеныч, выставила полуштоф водки с закуской из сушеной рыбы и каких-то грибов.

– Не обессудьте на угощении, гостеньки дорогие... – приговаривала она.

– Ах, Марьюшка, родная сестрица! – ахнул Мыльников. – Вот когда ты уважила...

Семеныч чувствовал себя настоящим хозяином и угощал с подобающим радушием. Мыльников быстро опьянел, – он давно не пил, и водка быстро свалила его с ног. За ним последовал и Семеныч, непривычный к водке вообще. Петр Васильич пил меньше других и чувствовал себя прекрасно. Он все время молчал и только поглядывал на Марью, точно что хотел сказать.

– Очертел Шишка-то... – заговорил наконец Петр Васильич, когда остался с глазу на глаз с Марьей. – Как зверь накинудся даве на нас...

– Его не обманешь: насквозь видит каждого.

– Видит, говоришь? – засмеялся Петр Васильич. – Кабы видел, так не бросился бы... Разве я дурак, чтобы среди бела дня идти к нему на прииск с весками, как прежде? Нет, мы тоже учены, Марьюшка...

– Спрятал в лесу где-нибудь весы-то свои?

– Обыкновенно... И Тарас не видал, потому несуразный он человек. Каждое дело мастера боится... Вот твое бабье дело, Марья, а ты все можешь понимать.

Петр Васильич придвинулся к ней поближе и спросил шепотом:

– А есть у тебя какое-нибудь женское дело с Шишкой?

Марья отрицательно покачала головой и засмеялась.

– Себя соблюдаешь, – решил Петр Васильич. – А Шишка, вот погляди, сбрендит... Он теперь отдохнул и первое дело за бабой погонится, потому как хоша и не настоящий барин, а повадку-то эту знает.

– Так поглядывает, а чтобы приставал – этого нет, – откровенно объяснила Марья. – Да и какая ему корысть в мужней жене!..хлопот много. Как-то он проезжал через Фотьянку и увидел у нас Наташку. Ну, приехал веселый такой и все про нее расспрашивал: чья да откуда...

– Про Наташку, говоришь? Польстился, значит...

– Не корыстна еще девчонка, а ему любопытно. Востроглазая, говорит... С баушкой-то у него свои дела. Она ему все деньги отвалила и проценты получает...

– Так, как... Ума последнего решила старуха. Уж я это смекал... Так, своим умом дошел... Ах, пес! Ловко обошел мамыньку... Заграбастал деньги. Пусть насосется хорошенько... Поди, много денег-то у старого черта?

– А кто его знает... Мне не показывает. На ночь очень уж запирается стал; к окнам изнутри сделал железные ставни, дверь двойная и тоже железом окована... Железный сундук под кроватью, так в нем у него деньги-то...

– В сундуке? Так, Марьюшка... А тяжелый сундук-то?

– Да не унести его совсем, потому к полу он привинчен... Я как-то мела в конторе и хотела передвинуть, а сундук точно пришит...

Петр Васильич еще ближе придвинулся к Марье и слушал эти объяснения, затаив дыхание. Когда Марья взглянула на это искаженное конвульсивной улыбкой лицо, то даже отодвинулась от страха.

– Петр Васильич...

– А что?..

– Нет, к чему ты выпрашиваешь-то? Да ты в уме ли? Христос с тобой...

Петр Васильич опомнился и отвернулся. У него стучали зубы от охватившей его лихорадки. Марья схватила его за руку – рука была холодная, как лед.

– Ключик добудь, Марьюшка... – шептал Петр Васильич. – Вызнай, высмотри, куда он его прячет... С собой носит? Ну, это еще лучше... Хитер старый пес. А денег у него неочерпаемо... Мне в городе сказывали, Марьюшка. Полтора пуда уж сдал он золота-то, а ведь это тридцать тысяч голеньких денежек. Некуда ему их девать. Выждать, когда у него большая получка будет, и накрыть... Да ты-то чего боишься, дура?

– Ах, страшно... уйди...

– Одинова страшно-то, а там на всю жисть богатство... Живи себе барыней. Только твоей и работы: ключик от сундука подглядеть.

Побелевшая Марья отчаянно замахала обеими руками. Петр Васильич посмотрел на нее с ненавистью и прошипел:

– Не хочешь, так Наташку приспособим... Девчонка вострая, а старичку это и любопытно.

В ночь Петр Васильич ушел с Богоданки, а Марья осталась, как ошпаренная. Даже муж заметил, что с бабой творится что-то неладное.

– Неожется что-то, – коротко объяснила она.

## VII

– Когда же ты помрешь, Дарья? – серьезно спрашивал Ермолай свою супругу. – Этак я с тобой всех невест пропущу... У Злобиных было две невесты, а теперь ни одной не осталось. Феня с пути сбилась, Марья замуж выскочила. Докуда я ждать-то буду?

– А Наташка? – виновато отвечала Дарья. – Может, к осени господь меня приберет, а Наташка к этому времени как раз заневестится...

– Опять омманешь, лахудра!.. – ругался Ермошка, приходя в отчаяние от живучести Дарьи. – Ведь в чем душа держится, а все скрипишь... Пожалуй, еще меня переживешь этак-то.

– Помру, Ермолай Семеныч. Потерпи до осени-то.

С горя Ермошка запивал несколько раз и бил безответную Дарью чем попало. Ледащая бабенка замертво лежала по нескольку дней, а потом опять поднималась.

– Не по тому месту бьешь, Ермолай Семеныч, – жаловалась она. – Ты бы в самую кость норовил... Ох, в чужой век живу! А то страви чем ни на есть... Вон Кожин как жену свою изводит: одна страсть.

– Дурак он, Кожин-то: еще наотвечаешься потом...

Нет такого положения, хуже которого не было бы. Так было и здесь. Плохо жилось Дарье. Она давно записалась в живые покойники, а у Кожиных было хуже. Кожин совсем озверел и на глазах у всех изводил жену. В морозы он выгонял ее во двор босую, гонялся за ней с ножом, бил до беспамьяства и вообще проделывал те зверства, на какие способен очертевший русский человек. Знали об этом все соседи, женина родня, вся Тайбола, и ни одна душа не заступилась еще за несчастную бабу, потому что между мужем и женой один бог судья. Бабенка попалась молоденькая и совершенно безответная. Такую выбрала сама мамынька Маремьяна, желавшая оставаться в доме полной хозяйкой. Даже беременность не спасла эту несчастную, и Кожин бил ее еще сильнее, вымещая свое неизбежное горе. Ведь не

могла затяжелеть Феня, – тогда бы все другое вышло. Мамынька Маремьяна пробовала заступаться за невестку, но из этого ничего не вышло.

– Твоя работа: гляди и казись! – кричал Кожин, накидываясь на жену с новой яростью. – Убью подлюгу... Видеть ее не могу.

В раскольничьем мире нравы не отличаются мягкостью, но все домашние дела покрывались чисто раскольничьим молчанием, из принципа – не выносить сора из дому.

Дошли слухи о зверстве Кожина до Фени и ужасно ее огорчали. В первую минуту она сама хотела к нему ехать и усовестить, но сама была «на тех порах» и стыдилась показаться на улицу. Ее вывел из затруднения Мыльников, который теперь завертывал пожаловаться на свою судьбу.

– Тарас, хоть бы ты усовестил Акинфия Назарыча...

– Могу соответствовать, Фенюшка... Ах, какой грех, подумаешь!

– Ты ему так и скажи, что я его прошу... А то пусть сам завернет ко мне, когда Степана Романыча не будет дома. Может, меня послушает...

– Нет, это не модель, Фенюшка. Тот же Ганька переплеснет все Степану Романычу... Негоже это дело. А я в лучшем виде все оборудую... Я его напугаю, Акинфия-то Назарыча.

– Да ты поскорее, Тарас... Долго ли до греха: убьет еще Акинфий-то Назарыч жену...

Для большего поощрения Феня сунула Тарасу немного денег.

– Живой рукой слетаю, Федосья Родивоновна. Я его сокращу, Акинфия Назарыча... Со мной, брат, короткие разговоры.

Действительно, Мыльников сейчас же отправился в Тайболу. Кстати, его подвез знакомый старатель, ехавший в город. Ворота у кожинского дома были на запоре, как всегда. Тарас «помолитвовался» под окошком. В окне мелькнуло чье-то лицо и сейчас же скрылось.

– Да это я! – кричал Мыльников, влезая на завалинку и заглядывая в окно. – Не узнали, что ли?.. Баушка Маремьяна... а?..

Наконец показался сам Кожин. Он, видимо, был чем-то смущен и неохотно отворил окно.

– Чего лезешь-то? – не приветливо спросил он.

– А дело есть, от того самого и лезу...

– Врешь!

– Вот сейчас провалиться...

– Ну, иди...

Кожин сам отворил и провел гостя не в избу, а в огород, где под березой, на самом берегу озера, устроена была небольшая беседка. Мыльников даже обомлел, когда Кожин без всяких разговоров вытащил из кармана бутылку с водкой. Вот это называется ударить человека прямо между глаз... Да и место очень уж было хорошее. Берег спускался крутым откосом, а за ним расстилалось озеро, горевшее на солнце, как расплавленное. У самой воды стояла каменная кожевня, в которой летом работы было совсем мало.

– Ах, какое приятное место! – восхищался Мыльников. – Только водку пить на таком месте...

– Какое дело-то? Опять золотом обманывать хочешь?

– Нет, брат, с золотом шабаш!.. Достаточно... Да потом я тебе скажу, Акинфий Назарыч: дураки мы... да. Золото у нас под рылом, а мы его по лесу разыскиваем... Вот давай ударим ширп у тебя в огороде, вон там, где гряды с капустой. Ей-богу... Кругом золото у вас, как я погляжу.

Они выпивали и болтали о Кишкине, как тот «распыхался» на своей Богоданке, о старательских работах, о том, как Петр Васильич скупает золото, о пропавшем без вести Матюшке и т. д. Кожин больше молчал, прислушиваясь к глухим стонам, доносившимся откуда-то со стороны избы. Когда Мыльников насторожился в этом направлении, он равнодушно заметил:

– Собака у меня, надо полагать, сбесилась... Ужо пристрелить надо стерву.

Когда Кожин ушел в избу за второй бутылкой, Мыльников не утерпел и побежал посмотреть, что делается в подклети, устроенной под задней избой. Заглянув в небольшое оконце, он даже отшатнулся: ему показалось, что у стены привязан был ремнями мертвец... Это была несчастная жена Кожина, третьи сутки стоявшая у стены в самом неудобном положении, – она не могла выпрямиться и висела на руках, притянутых ремнями к стене. Мыльников перепугался до того, что весь хмель у него вышибло с головы, когда вернулся Кожин. Что было делать? Первая мысль – сейчас бежать и заявить в волости. Нельзя же так тиранить живого человека. Эти кержаки расстервелятся, так кожу готовы снять с живого человека. Но, с другой стороны, ведь вся Тайбола знает, что Кожин изводит жену насмерть, и волостные знают и вся родня, а его дело сторона. Еще по судам учнут таскать... Да и дело совсем чужое, никого не касаемое. Убьет жену Кожин – сам и ответит, а пока жена в живности – никого это не касаемо, потому муж, хоша и сводный.

Так Мыльников ничего и не сказал Кожину, движимый своей мужицкой политикой, а о поручении Фени припомнил только по своем возвращении в Балчуговский завод, то есть прямо в кабак Ермошки. Здесь пьяный он разболтал все, что видел своими глазами. Первым вступился, к общему удивлению, Ермошка. Он поднял настоящий скандал.

– Да разве это можно живого человека так увечить?! – орал он на весь кабак, размахивая руками. – Кержаки – так кержаки и есть... А закон и на них найдем!..

Весь кабак был на его стороне. Много помогал темный антагонизм православного населения к раскольникам, который окрасился сейчас вполне определенными чувствами. В кабацких завсегдатаях и пропойщиках проснулась и жалость к убиваемой женщине, и совесть, и страх, именно те законно хорошие чувства, которых недоставало в данный момент тайбольцам, знавшим обо всем, что делается в доме Кожина. Как это ни странно, но взрыв гуманных чувств произошел именно в кабаке, и в голове этого движения встал отпетый кабатчик Ермошка.

– Нет, братцы, так нельзя! – выкрикивал он своим хриплым кабацким голосом. – Душа ведь в человеке, а они ремнями к стене... За это, брат, по головке не поглядят.

– Своими глазами видел... – бормотал Мыльников, не ожидавший такого действия своих слов. – Я думал: мертвяк, и даже отшатнулся, а это она, значит, жена Кожина распята... Так на руках и висит.

– Прямо к прокурору надо объявить, потому что самое уголовное дело, – заявил Ермошка тоном сведущего человека. – Учить жену учи, а это уж другое...

– Да мы сами пойдем и разнесем по бревнышку все кержацкое гнездо! – кричали голоса. – Православные так не сделают никогда... Случалось, и убивали баб, а только не распинали живьем.

– Нет, погодите, братцы, я сам оборудую... – решил Ермошка.

Первым делом он пошел посоветоваться с Дарьей: особенное дело выходило совсем, Дарья даже расплакалась, напутствуя Ермошку на подвиг. Чтобы не потерять времени и не делать лишней огласки, Ермошка полетел в город верхом на своем иноходце. Он проникся необыкновенной энергией и поднял на ноги и прокурорскую власть, и жандармерию, и исправника.

– Застанем либо нет ее в живых! – повторял он в агитации. – Христианская душа, ваша высокоблагородие... Конечно, все мы, мужики, в зверстве себя не помним, а только и закон есть.

В Тайболу начальство нагрянуло к вечеру. Когда подъезжали к самому селению, Ермошка вдруг струсил: сам он ничего не видал, а поверил на слово пьяному Мыльникову. Тому с пьяных глаз могло и померещиться незнамо что... Однако эти сомнения сейчас же разрешились, когда был произведен осмотр кожинского дома. Сам хозяин спал пьяный в сарае. Старуха долго не отворяла и бросилась в подклеть развязывать сноху, но ее тут и накрыли.

Картина была ужасная. И прокурорский надзор и полиция видали всякие виды, а тут все отступили в ужасе. Несчастливая женщина, провисевшая в ремнях трое суток, находилась в

полусознательном состоянии и ничего не могла отвечать. Ее прямо отправили в городскую больницу. Кожин присутствовал при всем и оставался безучастным.

– Будет тебе два неполных!.. – заметил ему Ермошка. – Еще бы венчанная жена была, так другое дело, а над сводной зверство свое оказывать не полагается.

Кожин только посмотрел на него остановившимися страшными глазами и улыбнулся. У него по странной ассоциации идей мелькнула в голове мысль, почему он не убил Карачунского, когда ветрел его ночью на дороге, – все равно бы отвечать-то. Произошла раздирающая сцена, когда Кожина повели в город для предварительного заключения. Старуху Маремьяну едва оттащили от него.

– Оставь, мамынька... – сухо заметил Кожин, а потом у него дрогнуло лицо, и он снопом повалился матери в ноги. – Родимая, прости!

– Голубчик... кормилец... – завывала старуха в исступлении.

– Надо бы и ее, ваше высокоблагородие, старушонку эту самую... – советовал Ермошка. – Самая вредная женщина есть... От нее все...

Когда Кожин сел в телегу, то отыскал глазами в толпе Ермошку и сказал:

– Скажи поклончик Фене, Ермолай Семеныч... А тебя бог простит. Я не сердитую на тебя...

В толпе показался Мыльников, который нарочно пришел из Балчуговского завода пешком, чтобы посмотреть, как будет все дело. Обрато он ехал вместе с Ермошкой.

– На каторгу обсудят Акинфия Назарыча? – приставал он к Ермошке.

– А это видно будет... На голосах будут судить с присяжными, а это легкий суд, ежели жена выздоровеет. Кабы она померла, ну, тогда крышка... Живучи эти бабы, как кошки. Главное, невенчанная жена-то – вот за это за самое не похвалят.

– И венчаных-то тоже не полагается увечить... – усомнился Мыльников.

– Про венчанную так и говорится: мужняя, а это ничья. Все одно, как пригульная скотина... Я, брат, эти все законы насквозь произошел, потому в кабаке без закону невозможно.

– Уж это известное дело...

По дороге Мыльников завернул в господский дом, чтобы передать Фене обо всем случившемся.

– Управился я с Акинфием Назарычем, – хвастался он. – Обернул его прямо на каторгу на вольное поселение... Теперь шабаш!..

Феня тихо крикнула и едва удержалась на ногах. Она утащила Мыльникова к себе в комнату и заставила рассказать все несколько раз. Господи, да что же это такое? Неужели Акинфий Назарыч мог дойти до такого зверства?..

– Как посадили его на телегу, сейчас он снял шапку и на четыре стороны поклонился, – рассказывал Мыльников. – Тоже знает порядок... Ну, меня увидал и крикнул: «Федосье Родивоновне скажи поклончик!» Так, помутился он разумом... не от ума...

Это происшествие совершенно разбило Феню, так что она слегла в постель, а ночью выкинула мертвого ребенка. Карачунский чувствовал себя тоже ошеломленным, точно над его головой разразился неожиданно удар грома. У него точно что порвалось в душе, та больная ниточка, которая привязывала его к жизни. Больная Феня казалась совсем другой – лицо побледнело, вытянулось, глаза округлились, нос заострился. Она не жаловалась, не стонала, не плакала, а только смотрела своими большими глазами, как смертельно раненная птица. Карачунскому было и совестно и больно за эту молодую, неудовлетворенную жизнь, которую он не мог ни согреть, ни успокоить ответным взглядом.

– Я его больше не люблю... – прошептала Феня в одну из таких молчаливых сцен.

– Девочка, милая...

– А все-таки, Степан Романыч, лучше бы мне умереть...

– Жить еще будем, Феня.

У кабатчика Ермошки происходили разговоры другого характера. Гуманный порыв соскочил с него так же быстро, как и налетел. Хорошие и жалобные слова, как «совесть», «христианская душа», «живой человек», уже не имели смысла, и обычная холодная жестокость вступила в свои права. Ермошке даже как будто было совестно за свой подвиг, и он старательно избегал всяких разговоров о Кожине. Прежде всего начал вышучивать Ястребов, который нарочно заехал посмеяться над Ермошкой.

– С чего ты это сунулся в чужое дело? – приставал Ястребов. – Этак ты и на меня побежишь жаловаться?..

– Стих такой накатился, Никита Яковлич... Обидно стало, что живого человека тиранят.

– Да ты-то разве прокурор?.. Ах, Ермолай, Ермолай... Дыра у тебя, видно, где-нибудь есть в башке, не иначе я это самое дело понимаю. Теперь в свидетели потащат... ха-ха!.. Сестра милосердная ты, Ермошка...

Естественным результатом всей этой истории было то, что Дарья получила науку хуже прежнего. Разозленный Ермошка вымещал теперь на ней свое унижение.

– Скоро ли ты издохнешь, змея подколодная? – рычал он, пиная Дарью тяжелым сапогом. – Убить тебя мало...

Что возмущало Ермошку больше всего, так это то, что Дарья переносила все побои как деревянная, – не пикнет.

## VIII

Кедровская дача нынешнее лето из конца в конец кипела промысловой работой. Не было такой речки или ложка, где не желтели бы кучки взрытой земли и не чернели заброшенные шурфы, залитые водой. Все это были разведки, а настоящих работ поставлено было пока сравнительно немного. Одни места оказались не стоящими разработки, по малому содержанию золота, другие не были еще отведены в полной форме, как того требовал горный устав. Работало десятка три приисков, из которых одна Богоданка прославилась своим богатством.

Женившийся Матюшка вместе со своей молодойкой исходил всю дачу, присматриваясь к местам. Заявлять свой прииск он не хотел, потому что много хлопот с такими заявками, да и ждать приходилось, пока сделают отвод. Это Кишкину было хорошо, когда своя рука в горном правлении, а мужик жди да подожди. Вместе с Матюшкой ходил старый Турка, Яша Малый и Прокопий. Они артелью кое-где брали старательские деланки на приисках у Ястребова, работали неделю или две, а потом бросали все и уходили. Всех тянуло разыскать настоящее место, вроде Богоданки. Можно было купить готовый прииск у мелких золотопромышленников или взять в аренду.

– Только бы поманило малость, – повторял Матюшка с деловым видом. – Общем золоте...

Матюшке, впрочем, было с полгоря прохладяться, потому что все знали, какие у него деньги запрятаны в кожаном кисете, висевшем на шее. Положим, он своих денег никому не показывал, но все знали досконально, что Петр Васильич отсчитал четыре сотенных билета за выкраденное Оксей золото. Плохо приходилось Яше Малому и Прокопию, но они крепились: сыты, и то хорошо. Огорчала их носившаяся быстро на работе одежда и обувь, но ведь все это было только пока, временно, а найдется золото, тогда сразу все поправится. Мыльников так и не заплатил им.

– Простому рабочему везде плохо: что у канпании нашей работать, что у золотопромышленников... – жаловался иногда Яша Малый, когда оставался с зятем Прокопием с глаза на глаз. – На что Мыльников, и тот вон как обул нас на обе ноги.

Прокопий по обыкновению молчал. Ему нравилась эта бродячая жизнь, если бы не заботила своя семья. Целые ночи он продумывал о жене Анне и своих ребятишках: что-то они там, как живут, как перебиваются?.. Иногда его брало такое горе, хоть петлю на шею, так в ту же пору. И зачем он ушел тогда с фабрики, – жил бы теперь в тепле, в сухе и без заботы. Но это раздумье разлеталось вместе с ночным сумраком... Разве один он так-то волком бродит по лесу?.. Тысячи рабочих бьются на промыслах, и у всех одно положенье. Стоило



вообще мужику или бабе один раз попасть в промысловое колесо, как он сразу делался обреченным человеком.

– Ты, Оксюха, уж постарайся для нас-то, – шутили часто рабочие над своей молодойкой. – Родителю приспособила жилку, ну и нам какое-нибудь гнездышко укажи.

Окся была счастлива коротким бабьим счастьем и даже как будто похорошела. Не стало в ней прежней дикости, да и одевалась она теперь лучше, главным образом потому, чтобы не срамить мужа.

Матюшка часто с удивлением смотрел на нее и только качал своей кудрявой головой. Вот уж поистине от судьбы не уйдешь, – какие девки заглядывались на него, а женился на Оксе. Впрочем, на мужицкий промысловый аршин Окся была настоящая приисковая баба, лучше которой и не придумать: она обшивала всю артель, варила варево, да в придачу еще работала за мужика. И мужики любили ее, хоть и вышучивали при случае. Работящая баба, настоящая двужильная лошадь, да и здоровье такое, что мужику впору. Яша Малый и Прокопий даже ухаживали за Оксей, которая придавала их промысловому скитанью почти семейный характер, да кроме всего этого и человек-то свой. По вечерам около огонька шли такие хорошие домашние разговоры, центром которых всегда была Окся.

– Корову бы нам, Оксюха, – мечтал Яша. – Корму в лесу сколько угодно... Ловко бы?.. Водили бы ее за собой на прииск, как цыгане...

– И лучше бы не надо... лучше бы не надо... – соглашалась Окся авторитетным тоном настоящей бабы-хозяйки. – С молоком бы были, а то всухомятку надоело...

Окся с собой таскала целый ворох каких-то тряпиц и всю походную кухню. Мужики ругались, когда приходилось перетаскивать с прииска на прииск этот скарб, но зато на стоянках было все свое – и чашки, и ложки, и даже что-то вроде подушек. По праздникам Окся клала бесчисленные заплатки на обносившуюся промысловую одежду и в свою очередь ругала мужиков, не умевших иглы взять в руки. А главное, Окся умела починивать обувь и одним этим ремеслом смело могла бы существовать на промыслах, где обувь – самое дорогое для рабочего, вынужденного работать в грязи и по колена в воде. Все другие рабочие завидовали талантам Окси и не могли ею нахвалиться, так что Матюшка только удивлялся, какой клад, а не баба ему досталась.

– Одного нам теперь недостает, Оксюха, – шутили мужики, – разродись ты нам мальчонкой или девчонкой... Вполне бы с хозяйством были.

Деньги Матюшки, как он ни крепился, уплывали да уплывали, потому что за все и про все приходилось расплачиваться за всю артель ему. Старательского своего заработка едва хватало на прокорм, а там постоянные прогулы, потому что Матюшке не сиделось подолгу на одном месте. Поработает артель неделю-другую на прииске, а его и потянет куда-нибудь в другое место, про которое наскажут с три короба. Очень уж много таких слухов ходило... Таким образом Матюшка присмотрел местечка три подходящих, которые можно было бы арендовать, но все еще не решался, на котором из них остановиться. В одном просили за прииск прямо сто рублей, в другом отдавали «из половины», то есть половину чистой прибыли хозяину, в третьем, – продавали прииск совсем. Денег у Матюшки оставалось всего рублей триста, и он боялся ими рискнуть. Одним из главных препятствий было еще и то, что в артели никого не было грамотных, а на своем прииске надо было и книги вести и бумагу прочитать.

Все эти сомнения разрешились совершенно неожиданно. Раз вечером появился нежданно-негаданно Петр Васильич. Он с собой привел лакея Ганьку, которому Карачунский отказал.

– Давно не видались, а как будто и не соскучились, – проговорил неприветливо Матюшка, не любивший хитрого мужика.

– Ах, Матюшка, разве мы чужие?.. – ответил Петр Васильич и даже ударил себя в грудь кулаком. – А я-то вас разыскивал по всем промыслам...

Петр Васильич принес с собой целый ворох всевозможных новостей: о том, как сменили Карачунского и отдали под суд, о Кожине, сидевшем в остроге, о Мыльникове, который сейчас ищет золото в огороде у Кожина, о Фене, выкинувшей ребенка, о новом главном управляющем Оникове, который грозит прикрыть Рублиху, о Ермошке, как он гонял в город к прокурору.

– Вот, Оксинька, какие дела на белом свете делаются, – заключил свои рассказы Петр Васильич, хлопая молодайку по плечу. – А ежели разобрать, так ты поумнее других протчих народов себя оказала... И ловкую штуку уколола!.. Ха-ха... У дедушки, у Родиона Потапыча, жилку прятала?... У родителя стянешь да к дедушке?... Никто и не подумает... Верно!.. Уж так-то ловко... Родитель-то и сейчас волосы на себе рвет. Ну, да ему все равно не пошла бы впрок и твоя жилка. Все по кабакам бы растащил...

К общему удивлению, Окся заступилась за отца и обругала Петра Васильича. Не его дело соваться в чужие дела. Знал бы свои веса, пока в тюрьму вместе с Кожиным не посадили. Хорошее ремесло тоже выискал.

– Ай да Окся, молодца!.. – хвалили ее рабочие, поднимая на смех смутившегося Петра Васильича. – Носи, не потеряй да другим не сказывай... Хорошенько его, Оксенька, оборотня!

– Ты чего, в самом-то деле, к бабе привязался, сера горячая? – накинулся Матюшка на гостя. – Иди своей дорогой, пока кости целы...

– Да вы, черти, белены объелись? – изумился Петр Васильич. – Я к вам, подлецам, с добром, а они на дыбы... На кого ощерились-то, галманы?... А ты, Матюшка, не больно храпай... Будет богатого из себя показывать. Побогаче тебя найдутся... А что касаемо Окси, так к слову сказано. Право, черти... Озверели в лесу-то.

Мужики без малого не подрались, если бы не вступилась за Петра Васильича Окся.

– Будет вам вздорить-то!.. Чему обрадовались? Может, и в самом деле мужик-то с делом пришел...

Во всей этой истории не принимал участия один Ганька, чувствовавший себя как дворовая собака, попавшая в волчью стаю. Загорелые и оборванные старатели ходили на настоящих разбойников и почти не глядели на него. Петр Васильич несколько раз ободрял его, подмигивая своим единственным оком. Когда волнение улеглось, Петр Васильич отвел Матюшку в сторону и заговорил:

– Жаль мне вас, Матвей, что вы задарма по промыслам бродите... Ей-богу!.. А дело-то под носом... Мне все одно, а я так, жалеючи, говорю. У Кишкина пустует Сиротка-то: вот бы ее взять? Верно тебе говорю...

– Да ведь она пустая, Сиротка-то? – возражал Матюшка.

– Была пустая, когда Кишкин работал... А чем она хуже Богоданки?... Одна Мутяшка-то, а Кишкин только чуть ковырнул. Да и тебе ближе знать это самое дело. Места нетронутого еще много осталось...

– Да ты-то о чем хлопочешь, кривой черт?..

– Ах, какой ты несообразный человек, Матюшка!.. Ничего-то ты не понимаешь... Будет золото на Сиротке, уж поверь мне. На Ягодном-то у Ястребова не лучше пески, а два пуда сдал в прошлом году.

– Ты вот куда метнул... Ну, это, брат, статья неподходящая. Мы своим горбом золото-то добываем... А за такие дела еще в Сибирь сошлют.

– А Ганька на что? Он грамотный и все разнесет по книгам... Мне уж надоело на Ястребова работать: он на моей шкуре выезжает. Будет, насосался... А Кишкин задарма отдает сейчас Сиротку, потому как она ему совсем не к рукам. Понял?... Лучше всего в аренду взять. Платить ему двухгривенный с золотника. На оборот денег добудем, и все как по маслу пойдет. Уж я вот как теперь все это дело знаю: наскрозь его прошел. Вся Кедровская дача у меня как на ладонке...

Петр Васильич по пальцам начал вычислять, сколько получили бы они прибыли и как все это легко сделать, только был бы свой прииск, на который можно бы разнести золото в приисковую книгу. У Матюшки даже голова закружилась от этих разговоров, и он смотрел на змея-искусителя осовелыми глазами.

– Я тебе скажу пряменько, Матвей, что мы и Кедровскую дачу не тронем, ни одной порошины золота не возьмем... Будет с нас Балчуговского. Он, Оников-то, как поступил, и сейчас старателям плату сбавил... А ведь им тоже пить-есть надо. Ну, и несут мне... Раньше-то я на наличные покупал, а теперь и в долг верят. Только все-таки должен я все это золото

травить Ястребову ни за грош... Понял? А самому мне брать прииск на себя тоже неподходящая статья, потому как слава-то уж про меня идет. Понял теперь, для чего мне тебя-то надо?

Матюшка колебался, почесывая в затылке. Тогда Петр Васильич проговорил совершенно другим тоном.

– Ну, видно, не сойдемся мы с тобой, Матвей... Не пеняй на меня, ежели другого верного человека найду.

Этот маневр произвел надлежащее действие. Матюшка и Петр Васильич ударили по рукам.

– Давно бы так... Только никому, смотри, ни гу-гу!..

– А я тебе скажу одно: ежели чуть что замечу – башку оторву.

– Да ты и сейчас это показывай, для видимости, будто мы с тобой вздорим. Такая же модель и у меня с Ястребовым налажена... И своя артель чтобы ничего не знала. Слово сказал – умер...

«Видимость» устроена была тут же, и Матюшка прогнал Петра Васильича вместе с Ганькой. Старатели надрывались от смеха, глядя, как Петр Васильич улепетывал с прииска.

Через несколько дней Матюшка отправился на Богоданку. Кишкин его встретил очень подозрительно, а когда зашла речь о Сиротке, сразу отмяк.

– Охота Оксины деньги закопать? – пошутил он. – Только для тебя, Матюха, потому как раньше вместе горе-то мыкали... Владей, Фаддей, кривой Натальей. Один уговор: чтобы этот кривой черт и носу близко не показывал... понимаешь?..

– Да ведь ты меня знаешь, Андрон Евстратыч, – клялся Матюшка, встряхивая головой. – Я ему ноги повыдергаю...

Сейчас же было заключено условие, и артель Матюшки переселилась на Сиротку через два дня. К ним присоединились лакей Ганька и бывший доводчик на золотопромывальной фабрике, Ераков. Народ так и бежал с компанейских работ: раз – всех тянуло на свой вольный хлеб, а второе – новый главный управляющий очень уж круто принялся заводить свои новые порядки.

– Все уйдут... – рассказывал Ераков. – Пусть чужестранных рабочих наймут. При Карачунском куда было лучше... С понятием был человек.

Ганька благоговел перед Карачунским и уверял всех, что Оников только временно, а потом «опять Степан Романыч наступит». Такого другого человека и не сыскать.

На Сиротке была выстроена новая изба на новом месте, где были поставлены новые работы. Артель точно ожила. Это была своя настоящая работа, – сами большие, сами маленькие. Пока содержание золота было не велико, но все-таки лучше, чем по чужим приискам шляться. Ганька вел приисковую книгу и сразу накинул на себя важность. Матюшка уже два раза уходил на Фотьянку для тайных переговоров с Петром Васильичем, который, по обыкновению, что-то «выкомуривал» и финтил.

Скоро все дело разъяснилось. Петр Васильич набрал у старателей в кредит золота фунтов восемь да прибавил своего около двух фунтов и хотел продать его за настоящую цену помимо Ястребова. Он давно задумал эту операцию, которая дала бы ему прибыли около двух тысяч. Но в городе все скупщики отказались покупать у него все золото, потому что не хотели ссориться с Ястребовым: у них рука руку мыла. Тогда Петр Васильич сунулся к Ермошке.

– Дурак ты, Петр Васильич, – вразумил его кабатчик. – Зазнамый ты ястребовский скупщик, кто же у тебя будет покупать... Ступай лучше с повинной к Никите Яковличу, может, и смилуется...

Раздумал Петр Васильич. Ежели на Сиротку записать, так надо и время выждать и с Матюшкой поделиться. Думал-думал и решил повести дело с Ястребовым начистоту.

– Это не на твои деньги куплено золото-то, так уж ты настоящую цену дай, – торговал вперед Петр Васильич.

– Ладно, разговаривай... По четыре с полтиной дам, – решил Ястребов.

Цена подходящая. Петр Васильич принес мешочек с золотом, передал Ястребову, а тот свесил его и уложил к себе в чемодан.

– Ну, а теперь прощай, – заговорил Ястребов. – Кто умнее Ястребова хочет быть, трех дней не проживет. А ты дурак...

– А деньги?!

Ястребов только засмеялся, погрозил револьвером и вытолкал Петра Васильича в шею из избы. Он не в первый раз проделывал такую штуку.

Результатом этого было то, что Ястребов был арестован в ту же ночь. Произведенным обыском было обнаружено не записанное в книге золото, а таковое считается по закону хищничеством. Это была месть Петра Васильича, который сделал донос. Впрочем, Ястребов судился уже несколько раз и отнесся довольно равнодушно к своему аресту.

– Пожалеете меня, подлецы! – заметил он собравшейся толпе, когда его под конвоем увозили с Фотьянки в город. – Благодетеля своего продали...

Второй крупной новостью было то, что Карачунский застрелился. Он сдал все дела Оникову, сжег какие-то бумаги и пустил пулю в висок. Феню он обеспечил раньше.

## Часть пятая

### I

Новый главный управляющий Балчуговскими золотыми промыслами явился той новой метлой, которая, по пословице, чисто метет. Он сразу и везде завел новые порядки, начиная со своей конторы. Его любимой фразой было:

– У меня – не у Степана Романыча... Да...

Да... Служащим было убавлено жалование, а некоторым и совсем отказано в видах экономии. Уцелевшим на своих местах прибавилось работы. «Монморанси», конечно, остались по-прежнему: реформатор не был им страшен. На фабрике были увеличены рабочие часы, сбавлена плата ночной смене, усилен надзор и «сокращены» два коморника, карауливших старательские кучки золотоносного кварца. На Дернихе вводились тоже новые строгости, причем Оников особенно теснил конных рабочих. Но главное внимание обращено было на хищничество золота: Оников объявил непримиримую войну этому исконному промысловому злу и поклялся вырвать его с корнем во что бы то ни стало. Одним словом, новый управляющий налетел на промыслы весенней грозой и ломал с плеча все, что попадало под руку.

В первое время все были как будто ошеломлены. Что же, ежели такие порядки заведутся, так и жить на промыслах не будет. Конечно, промысловые люди не угодники, а все-таки и по человечеству рассудить надобно. Чаще и чаще рабочие вспоминали Карачунского и почесывали в затылках. Крепкий был человек, а умел где нужно и не видеть и не слышать. В кабаках обсуждался подробно каждый шаг Оникова, каждое его слово и наконец произнесен был приговор, выразившийся одним словом:

– Чистоплюй!..

Кто придумал это слово, кто его сказал первый – осталось неизвестным, но оно было сказано, и все сразу почувствовали полное облегчение. Чистоплюй – и делу конец. Остальное было понятно, и все вздохнули свободно. Сказалась способность простого русского человека одним словом выразить целый строй понятий. Все строгости реформы нового главного управляющего были похоронены под этим словом, и больше никто не боялся его и никто не обращал внимания. Пусть его побалуется и наведет свою плевою чистоту, а там все образуется само собой. Люди-то останутся те же. Могли пострадать временно отдельные единицы, общее останется, то общее, которое складывалось, выросло и копилось десятками лет под гнетом каторги, казенного времени и своего вольного волчьего труда. Объяснить все это понятными, простыми словами никто бы не сумел, а чувствовали все определенно и ясно, – это опять черта русского человека, который в массе, в артели, делается необыкновенно умен, догадлив и сообразителен.

Пока реформы нового управляющего не касались одной шахты Рублихи, где по-прежнему «руководствовал» один Родион Потапыч, и все с нетерпением ждали момента, когда встретятся старый штейгер и новый главный управляющий. Предположениям и догадкам не было конца. Все знали, что Оников «терпеть ненавидел» Рублиху и что он ее закроет, но все-таки интересно было, как все это случится и что будет с Родионом Потапычем. Старик не подавал никакого признака беспокойства или волнения и вел свою работу с прежним ожесточением, точно боялся за каждый новый день. Вассер-штольня была окончена как раз в день самоубийства Карачунского, и теперь рудная вода не поднималась насосами наверх, а отводилась в Балчуговку по новой штольне. Это дало возможность начать углубление за тридцатую сажень.

Встреча произошла рано утром, когда Родион Потапыч находился на дне шахты. Сверху ему подали сигнал. Старик понял, зачем его вызывают в неурочное время. Оников расхаживал по корпусу и с небрежным видом выслушивал какие-то объяснения подштейгера, ходившего за ним без шапки. Родион Потапыч, не торопясь, вылез из западни, снял шапку и остановился. Оников мельком взглянул на него, повернулся и прошел в его сторожку.

– Ну что, как дела? – спросил он, не глядя на старика.

– Ничего, можно хоть сейчас закрывать шахту, – спокойно ответил старик.

У О니кова выступили красные пятна на лице, но он сдержался и проговорил с деланной мягкостью:

– Мне нужно серьезно поговорить... Я не верю в эту шахту, но бросить сейчас дело, на которое затрачено больше ста тысяч, я не имею никакого права. Наконец, мы обязаны контрактом вести жильные работы... Во всяком случае я думаю расширить работы в этом пункте.

Родион Потапыч опустил голову. Он слишком хорошо понимал политику Оникова, свалившего вперед все неудачи на Карачунского и хотевшего воспользоваться только пенками с будущего золота. Из молодых да ранний выискался... У старика даже защемило при одной мысли о Степане Романыче, которого в числе других причин доконала и Рублиха. Эх, маленько бы обождать – все бы оправдалось. Как теперь видел Родион Потапыч своего старого начальника, когда он приехал за три дня и с улыбочкой сказал: «Ну, дедушка, мне три дня осталось жить – торопись!» В последний роковой день он приехал такой свежий, розовый и уже ничего не спросил, а глазами прочитал свой ответ на лице старого штейгера. Они вместе опустились в последний раз в шахту, обошли работы, и Карачунский похвалил штольни, прибавив: «Жаль только, что я не увижу, как она будет работать». Потом выкурил папиросу, вышел, а через полчаса его окровавленный труп лежал в конторке Родиона Потапыча на той самой лавке, на которой когда-то спала Окся. Вот это был человек, а не чистоплюй... Старик понимал, что Оников расширением работ хочет купить его и косвенным путем загладить недавнюю ссору с ним, но это нисколько не тронуло его старого сердца, полного горячей преданности другому человеку.

– Ну, что же вы молчите? – спросил наконец Оников, обиженный равнодушием старого штейгера.

– Что же тут говорить, Александр Иванович: наше дело подневольное... Что прикажете, то и сделаем. Будьте спокойны: Рублиха себя вполне оправдает...

– Есть хорошие знаки?..

– Будут и знаки...

Одним словом, дело не склеилось, хотя непоколебимая уверенность старого штейгера повлияла на недоверчивого Оникова. А кто его знает, может все случиться, чем враг не шутит! Положим, этот Зыков и сумасшедший человек, но и жильное дело тоже сумасшедшее. Родион Потапыч проводил нового начальника до выхода из корпуса и долго стоял на пороге, провожая глазами знакомую пару раскормленных господских лошадей. И тот же кучер Агафон, а то, да не то... От постоянного пребывания под землей лицо Родиона Потапыча точно выцвело, и кожа сделалась матово-белой, точно корка церковной просвиры. Живыми остались одни глаза, упрямые, сердитые, умные... Он тяжело вздохнул и побрел в свою конторку необычно вялым шагом, точно его что придавило. Раньше он трепетал за судьбу Рублихи, а когда все устроилось само собой – его охватило какое-то обидное недовольство. К чему после поры-времени огород городить? Он даже с какой-то ненавистью посмотрел на отверстие шахты, откуда медленно поднималась железная тележка с «пустяком».

– «Нет, брат, я тебя достигну!.. – сердито думал Родион Потапыч, шагая в свою конторку. – Шалишь, не уйдешь».

Это враждебное чувство к собственному детищу проснулось в душе Родиона Потапыча в тот день, когда из конторки выносили холодный труп Карачунского. Жив бы был человек, если бы не продала проклятая Рублиха. Поэтому он вел теперь работы с каким-то ожесточением, точно разыскивал в земле своего заклятого врага. Нет, брат, не уйдешь...

Вообще старик чувствовал себя скверно, особенно когда оставался в своей конторке один. Перед ним неотвязно стояла вся одна и та же картина рокового дня, и он повторял ее про себя тысячи раз, вызывая в памяти мельчайшие подробности. Так он припомнил, что в это роковое утро на шахте зачем-то был Кишкин и что именно его противную скобленную рожу он увидел одной из первых, когда рабочие вносили еще теплый труп Карачунского на шахту. В переполохе это обстоятельство как-то выпало из памяти, и потом Родион Потапыч принужден был стороной навести справки у рабочих, что делал Кишкин в этот момент на шахте и не имел ли какого-нибудь разговора с Карачунским.

– Он, Кишкин-то, у котлов сидел, когда Степан Романыч приехал... – рассказывал кочегар. – Ну, Кишкин сидел уж дивно<sup>[6]</sup> времени... Сидит, ляды точит, а что к чему – не

разберешь. Известный омморок! Ну, как увидел Степан Романыча, и даже как будто из лица выступил... А потом ушел куды-то, да и бежит: «Ох, беда... Степан Романыч порешил себя!..» Он ведь не впервой захаживает, Шишка: то спросит, другое. Все ему надо знать, чтобы у себя на Богоданке наладить. Одним словом, омморошной черт.

Все эти объяснения ничего не разъяснили, и Родион Потапыч смутно догадывался, что Шишка караулил Карачунского для каких-то переговоров. Дело было гораздо проще. Кишкин действительно несколько раз «наведывался» на Рублиху, чтобы посмотреть кое-что для себя, но с Карачунским встречаться он совсем не желал, а когда случайно наткнулся на него, то постарался незаметно скрыться. Говоря проще, спрятался... Уходить ни с чем Кишкину не хотелось, и он решил выждать, когда черт унесет Карачунского. Выбравшись из главного корпуса, старик несколько времени бродил среди других построек. Управительская пара оставалась у него все время на глазах. Но, к удивлению Кишкина, Карачунский с шахты прошел не к лошадям, стоявшим у ворот ограды, а в противоположную сторону, прямо на него. «Вот черт несет...» – подумал Кишкин, пойманный врасплох. Он никак не ожидал такого оборота и стоял на месте, как попавшийся школьник. Карачунский прошел мимо него в двух шагах, и даже взглянул на него, но таким пустым, ничего не видевшим взглядом, что у Кишкина даже захолонуло на душе. Очевидно, он не узнал его и прошел дальше. Это заинтересовало Кишкина. Старик вскарабкался на свалку добытого из шахты свежего «пустяка» и долго следил за Карачунским, как тот вышел за ограду шахты, как постоял на одном месте, точно что-то раздумывая, а потом быстро зашагал в молодой лесок по направлению к жилке Мыльников. В еловой заросли несколько раз мелькнула высокая фигура Карачунского, а потом глухо гукнул револьверный выстрел. Кишкин сразу понял все и бросился на шахту объявить о случившемся.

При самоубийце оказалась записка, нацарапанная карандашом в конторе Родиона Потапыча: «Умираю, потому что, во-первых, нужно же когда-нибудь умереть, а во-вторых, мой номер вышел в тираж... Уношу с собой сознание, что сознательно никому не сделал зла, а если и делал ошибки, то по присущей всякому человеку слабости. Друзей не имел, врагов прощаю». Первым прочел эту записку Кишкин, и у него затряслись руки; от этой записки пахло на него холодом смерти. Уезжая утром на шахту, Карачунский отправил Феню в город. Он вручил ей толстый пакет, который просил никому не показывать, а распечатать самой. В пакете были процентные бумаги и коротенькая записочка, в которой Карачунский оставлял Фене все свое наличное имущество, заключавшееся в этих бумагах. Феня плохо разбирается по письменному, и ей прочитал записку Мыльников, которого она встретила в городе.

– Табак дело... – решил Мыльников, крепко держа толстый пакет в своих корявых руках. – Записку-то ты покажи в полиции, а деньги-то не отдавай. Нет, лучше и записку не показывай, а отдай мне.

Феня полетела в Балчуговский завод, но там все уже было кончено. Пакет и записку она представила уряднику, производившему предварительное дознание. Денег оказалось больше шести тысяч. Мыльников все эти две недели каждый день приходил к Фене и ругался, зачем она отдала деньги.

– Пенцию тебе оставил Степан-то Романыч, дура, а ты уряднику...

– Отстань, сера горячая...

– Дело тебе говорят. Кабы мне такую уйму деньжищ, да я бы... Первое дело, сгрэб бы их, как ястреб, и убежал, куда глаза глядят. С деньгами, брат, на все стороны скатертью дорога...

Изумлению Мыльникова не было границ, когда деньги через две недели были возвращены Фене, а «приобщена к делу» только одна записка. Но Феня и тут оказалась себя круглой дурой: целый день ревела о записке.

– Мне дороже записка-то этих денег, – плакалась Феня. – Поминать бы стала по ней Степана Романыча.

Искреннее всех горевал о Карачунском старый Родион Потапыч, чувствовавший себя виноватым. Очень уж засосала Рублиха... Когда стихал дневной шум, стариковские мысли получали болезненную яркость, и он даже начинал креститься от этого навождения. Ох, много и хороших и худых людей он пережил, так что впору и самому помирать.

На Рублиху вечерами завертывали старички с Фотьянки и из Балчуговского завода, чтобы поговорить и посоветоваться с Родионом Потапычем, как и что. Без меры лютовал чистоплюй, особенно над старателями.

– Умякнет, – отвечал старый штейгер. – Не больно велик в перьях-то.

– Утихомирится?.. Дай бы бог, кабы по твоим-то словам. Затеснил старателей вконец... Так и рвет, так и мечет.

– Утишится!

– Упыхается... Главная причина, что здря все делает. Конечно, вашего брата, хищников, не за что похвалить, а суди на волка – суди и по волку. Все пить-есть хотят, а добыча-то не велика. Удивительное это дело, как я погляжу. Жалились раньше, что работ нет, деланками притесняют, ну, открылась Кедровская дача – кажется, места невпроворот. Так? А все народ беднится, все в лохмотьях ходят...

– Погоди, Родион Потапыч, дай время, поправятся... На Фотьянке народ улучшается на глазах: там изба новая, там ворота, там лошадь... Конечно, много еще малодушия в народе, особливо когда дикая копейка навернется. Тоже ведь и к деньгам большую надо привычку иметь, а народ бедный, необычный, ну, осталось у него двадцать целковых – он и не знает, что с ними делать. Все равно, голодный: дай ему вволю поесть, он точно пьяный делается. Так и с деньгами бывает... Вот купцы, кажется, уж привычны к деньгам, а тоже дуреют. Как-то Затыкин – он на Генералке прииск заявил – в неделю четыре фунта намыл золота и пошел чертить. Едет из города с деньгами, кучера всю дорогу хересом поит, из левольверта палит. Дня через три едва очуствовался... А уж где же старателю совладать, когда у него сроду четвертной бумажки в руках не бывало!

## II

Баушка Лукерья в каких-нибудь два года так состарилась, что ее узнать было нельзя: поседела, сгорбилась и пожелтела, как осенний лист. Живыми остались одни глаза. И Петр Васильич тоже поседел от заботы и разных треволнений, сделался угрюмым и мало с кем разговаривал. Соседи говорили, что они состарились от денег, которые хлынули дуром. Петр Васильич начал было строить новую избу, но поставил сруб и махнул на него рукой. Его заела какая-то недомашняя дума. Пропадал он по неделям на промыслах, возвращался домой мрачный и непременно приставал к матери:

– Мамынька, а где у тебя деньги... а?.. Скажи, а то, неровен час, помрешь, мы и не найдем опосле тебя...

– Тьфу! Тоже и скажет, – ворчала старуха. – Прежде смерти не умрем... И какие такие мои деньги?..

– А вот те самые, какие Кишкину стравила?..

– Ничего я не знаю...

– Не отдаст он тебе, жила собачья. Вот попомни мое слово... Как он меня срамил-то восетта, мамынька: «Ты, грит, с уздой-то за чужим золотом не ходи...» Ведь это что же такое? Ястребов вон сидит в остроге так и меня в пристяжки к нему запрещь можно эк-ту.

– А ты сколько фунтов Ястребову-то стравил? – язвила баушка Лукерья. – Ловко он тебя тогда обезживотил.

– Мамынька, не поминай... Нож это мне самое дело. Тяжеленько досталось мое-то золото Ястребову, да и мне не легче...

– Дураком ты себя оказал, и больше ничего... Пошутил с тобой тогда Ястребов-то, а ты и его и себя утопил.

– Медведь тоже с кобылой шутил, так одна грива осталась... Большому черту большая и яма, а вот ты Кишкину подражаешь для какой такой модели?.. Пусть только приедет, так я ему ноги повыдергаю. А денег он тебе не отдаст...

– Не твоя печаль... Ты сходи к Ястребову в острог, да и спроси про свои-то капиталы, а о моих деньгах и собаки не лают.

– Ах, мамынька...



– Два года ходил с уздой своей по промыслам, да сразу все и профукал... А еще мужик называешься! Не тебе, видно, мои-то деньги считать...

Эти ядовитые обидные разговоры повторялись при каждой встрече, причем ожесточение обеих сторон доходило до ругани, а раз баушка Лукерья бегала даже в волость жаловаться на непокорного сына. Волостные старички опять призвали Петра Васильича и сделали ему внушение.

– Ты смотри, кривой черт... Тогда на Ястребова лез собакой, а теперь мать донимаешь, изъедуга. Мы тебя выучим, как родителей почитать должен... Будет тебе богатого показывать!..

Петр Васильич сгоряча нагрубил старикам и попал в холодную... Он здесь только опомнился, что опять сваял дурака. Дело было совсем не в том, что он ссорился с матерью, – за это много-много поворчали бы старики. А ему теперь косвенно мстили за Ястребова... Вся Фотьянка знала, из-за кого попал в острог знаменитый скупщик, и кляла Петра Васильича на чем свет стоит, потому что в лице Ястребова все старатели лишились главного покупателя. Смелый был человек и принимал золото со всех сторон, а после него остались скупщики-мелкота: купят золотник и обжигаются. Одним словом, благодетель был Никита Яковлич, всех кормил... Общественное мнение было против Петра Васильича, который из-за своей глупости подвел всех. Зачем отдавал золото Ястребову дуrom, кривая собака? Умеючи каждое дело надо делать... Теперь вся Фотьянка бедует из-за кривого черта. Посаженный в холодную, Петр Васильич понял, что попался, как кур во щи, и что старички его достигнут своим волостным средством. И действительно, старички охулки на руку не положили. Сначала выдержали в холодной три дня, а потом вынесли резолюцию:

– Ты в жилетке ноне щеголяешь, Петр Васильич, так мы тебе рукава наладим к жилетке-то...

Действительно, Петр Васильич незадолго до катастрофы с Ястребовым купил себе жилетку и щеголял в ней по всей Фотьянке, не обращая внимания на насмешки. Он сразу понял угрозу старичков и весь побелел от стыда и страха.

– Старички, есть ли на вас крест? – взмолился он. – Ежели пальцем тронете, так всю Фотьянку выжгу.

– А, так ты вот какие слова разговариваешь... Снимай-ка жилетку-то, мил-сердечный друг, а рукава мы тебе на общественный счет приставим. Будешь родителей уважать...

Без дальних разговоров Петра Васильича высекли... Это было до того неожиданно, что несчастный превратился в дикого зверя: рычал, кусался, плакал и все-таки был висечен. Когда экзекуция кончилась, Петр Васильич не хотел подниматься с позорной скамьи и некоторое время лежал, как мертвый.

– Перестань дурака-то валять, а ступай да помирись с матерью, – посоветовали старички.

– Куды я теперь пойду? – застонал Петр Васильич.

– А уж это твое дело, милаш...

Петр Васильич сел, посмотрел на своих судей своим единственным оком и заскрежетал зубами от бессильной ярости. Что бы он теперь ни сделал, а бесчестья не поправить...

– Выжгу... зарежу... – бормотал он, сжимая кулаки. – Будете меня помнить, ироды...

– А ты с миром не ссорься, голова. Лучше бы выставил четвертную бутылочку старичкам да поблагодарил за науку.

Первой мыслью, когда Петр Васильич вышел из волости, было броситься в первую шахту, удавиться, – до того тошно ни душе. Теперь глаз показать никуда нельзя... Худая-то слава везде пробежит. Свои, фотьянские, проходу не дадут. Его взяло такое горе, стыд, отчаяние, что он присел на волостное крылечко и заплакал какими-то ребячьими слезами. Вся жизнь была погублена... Куда теперь идти?.. Что делать?.. А главное, он понимал, что все против него, и волостные старички только выполнили волю «мира». Прохожие останавливались, смотрели на него, качали головами и шли дальше. Несколько раз раздавалось проклятое слово «жилетка», которое приводило Петра Васильича в отчаяние: в нем вылилась тяжелая мужицкая ирония, пригвоздившая его именно этим ничего не значащим словом к позорному столбу. Потом Петр Васильич поднялся и, как говорили

очевидцы, погрозил кулаком всей Фотьянке. Домой он не зашел, а его встретили старатели около Маяковой слани.

Вечером этого рокового дня у баушки Лукерьи сидел в гостях Кишкин и удушливо хихикал, потирая руки от удовольствия. Он узнал проездом о науке Петра Васильича и нарочно завернул к старухе.

– Давно бы тебе догадаться, баушка, – повторял Кишкин. – Шелковый будет... хе-хе!.. Ловко налетел с кривого-то глаза. В лучшем виде отполировали...

– А ты-то чему обрадовался? – напустилась на него старуха. – От чужого безвременья тебе лучше не будет...

– А не скупай чужого золота! Вперед наука... Теперь куда денется твой-то Петр Васильич?

– И то, слышь, грозитя выжечь всю Фотьянку... Ох, и не рада я, что заварила кашу. Пострацать думала, а оно вон что случилось... Жаль мне.

– Да ведь не за тебя его драли-то, а за Ястребова. Не беспокойся... Зуб на него грызли, ну, а он подвернулся.

Старуха всплакнула с горя: ей именно теперь стало жаль Петра Васильича, когда Кишкин поднял его на смех. Большой мужик, теперь показаться на людях будет нельзя. Чтобы чем-нибудь досадить Кишкину, она пристала к нему с требованием своих денег.

– Отдай, Андрон Евстратыч... Покорыстовался ты моей простотой, пора и честь знать. Смертный час на носу...

– Тебя жалеючи не отдаю, глупая... У меня сохраннее твои деньги: лежат в железном сундуке за пятью замками. Да... А у тебя еще украдут, или сама потеряешь.

– Ты мне зубов не заговаривай, а подавай деньги.

– А где у тебя расписка?

– На совесть даваны...

– Ха-ха... Тоже и сказала: на совесть. Ступай-ка расскажи, никто тебе не поверит... Разве такие нынче времена?

Когда остервенившаяся старуха пристала с ножом к горлу, Кишкин достал бумажник, отсчитал свой долг и положил деньги на стол.

– Вот твои деньги, коли не понимаешь своей пользы...

– Да ведь я так... У тебя все хи-хи да ха-ха, а мне и полсмеха нет.

– Ко мне же придешь, поклонись своими деньгами, да я-то не возьму... – бахвалился Кишкин. – Так будут у тебя лежать, а я тебе процент заплатил бы. Не пито, не едено огребала бы с меня денежки.

Баушка бережно взяла деньги, пересчитала их и унесла к себе в заднюю избу, а Кишкин сидел у стола и посмеивался. Когда старуха вернулась, он подал ей десятирублевую ассигнацию.

– Это твой процент, получай...

Руки у старухи дрожали, когда она брала несчитанные деньги, – ей казалось, что Кишкин смеется над ней, как над душой.

– Бери, баушка, не поминай меня лихом... Найди другого такого-то дурака.

– Да ведь я так, Андрон Евстратыч... по бабьей своей глупости. Петр Васильич уж больно меня сомущал... Не отдаст, грит, тебе Кишкин денег!

– Ты ему отдай, так он тебе и спасибо не скажет, Петр-то Васильич, а теперь ему деньги-то в самый раз...

– Старая я стала... глупа...

– Ну, ладно, будет нам с тобой делиться. Посылай-ка помоложе себя, чтобы мне веселее было, а то нагнала тоску... Где Наташка?

– А куда ей деваться?.. Эй, Наташка... А ты вот что, Андрон Евстратыч, не балуй с ней: девчонка еще не в разуме, а ты какие ей слова говоришь. У ней еще ребячье на уме, а у тебя седой волос... Не пригожее дело.

– А у меня характер веселый, баушка... Люблю с молоденькими пошутить.

– Шути с Марьей, коли такая охота напала...

– У Марьи свой шутник есть. Погоди, вот женюсь, возьму богатую купчиху в городе, тогда и остепенюсь.

– В годы еще не вошел жениться-то, – пошутила старуха. – А Наташку оставь: стыдливая она, не то, что Марья. Ты и то нынче наряжаешься в том роде, как жених... Форсить начал.

– Недавно на триста рублей всякого платья заказал, – хвастался Кишкин. – Не все оборвышем ходить... Вот часы золотые купил, потом перстень...

– Ох, мотыга, мотыга...

С Кишкиным действительно случилась большая перемена. Первое время своего богатства он ходил в своем старом рваном пальто и ни за что не хотел менять на новое. Знакомые даже стыдили его. А потом вдруг поехал в город и вернулся оттуда щеголем, во всем новом, и первым делом к баушке Лукерье.

– Сватать Наташку приехал, – шутил он. – Наташка, пойдешь за меня замуж? Одними пряниками кормить буду...

Наташка, живя на Фотьянке, выравнилась с изумительной быстротой, как растение, поставленное на окно. Она и выросла, и пополнила, и зарумянилась – совсем невеста. А глазами вся в Феню: такие же упрямо-ласковые и спокойно-покорные. Кишкина она терпеть не могла и пряталась от него. Она даже плакала, когда баушка посылала ее прислуживать Кишкину.

– Ну, недотрога-царевна, пойдешь за меня? – повторял Кишкин. – Лучше меня жениха не найдешь... Всего-то я поживу года три, а потом ты богатой вдовой останешься. Все деньги на тебя в духовной запишу... С деньгами-то потом любого да лучшего жениха выбирай.

Девушка только отрицательно качала головой и смотрела на жениха исподлобья. Впрочем, потом она стала смелее и даже потихоньку начала подсмеиваться над смешным стариком. Всего больше Кишкину нравилась наташкина коса, тяжелая да толстая. У крестьянских девок никогда таких кос не бывает. Кишкин часто любовался красавицей и начинал говорить глупости, совсем не гармонировавшие с его сединами. В сущности, он серьезно влюбился в эту дикарку и думал о ней день и ночь. Эта старческая запоздалая страсть делала его и смешным и жалким. Баушка Лукерья раньше других сметила, в чем дело, и по-своему эксплуатировала стариковское увлечение, подсылая Наташку за подарками. Только Кишкин не любил давать деньги, потому что знал, куда они пойдут, а привозил разные сласти, дешевенькие бусы, лежалого ситцу.

– Ты ей приданое сделай, – советовала старуха. – Сирота не сирота, а в том роде. Помрешь – поминать будет.

– Эх, баушка, баушка... Помереть все померем, а лиха беда в том, что мысли-то у меня молодые. Пусть меня уважит Наташка, и приданое сделаю... Всего-то в гости ко мне на Богоданку приехать.

– Ишь чего захотел, старый пес... Да за такие слова я тебя и в дом к себе пущать не буду. Охальничать-то не пристало тебе...

– Шутки шучу...

Странные дела творились в доме у баушки Лукерьи. Наташкой она была довольна, но целый ряд недоразумений выходил из-за маленького Петруньки и отца, Яши Малого. Старуха видеть не могла ни того, ни другого, а Наташка убивалась по ним, как большая женщина. Дело кончилось тем, что она перетащила к себе Петруньку и в свободное время пестовала братишку где-нибудь в укромном уголке. Старуха выходила из себя и поедом ела Наташку. Она возненавидела ребенка какой-то слепой ненавистью и преследовала его на каждом шагу. Много слез пролила Наташка из-за этой ненависти и сама возненавидела старуху.

– Обьедаете меня... – корила баушка каждым куском. – Не напасешься на вас!.. Жил бы Петрунька у дедушки: старик побогаче нас всех.

– Баушка, да ведь у дедушки и Анна с ребятишками и Татьяна тоже. А мне ничего не надо: только Петрунька бы со мной.

– А ты поразговаривай... Самоё кормят, так говори спасибо. Вон какую рожу наела на чужих-то хлебах...

Петрунька чувствовал себя очень скверно и целые дни прятался от сердитой баушки, как пойманный зверек. Он только и ждал того времени, когда Наташка укладывала его спать с собой. Наташка целый день летала по всему дому стрелой, так что ног под собой не слышала, а тут находила и ласковые слова, и сказку, и какие-то бабьи наговоры, только бы Петрунька не скучал.

– Большим мужиком будешь, тогда меня кормить станешь, – говорила Наташка. – Зубов у меня не будет, ходить я буду с костылем...

– Я старателем буду, как тятка... – говорил Петрунька.

Настоящим праздником для этих заброшенных детей были редкие появления отца. Яша Малый прямо не смел появиться, а тайком пробирался куда-нибудь в огород и здесь выжидал. Наташка точно чувствовала присутствие отца и птицей летела к нему. Тайн между ними не было, и Яша рассказывал про все свои дела, как Наташка про свои.

– Боюсь я, тятенька, этого старичонки Кишкина, – жаловалась Наташка. – Больно нехорошо глядит он... Уставится, инда совестно делается.

– Наплюй на него, Наташка... Это он от денег озорничать стал. Погоди, вот мы с Тарасом обыщем золото... Мы сейчас у Кожина в огороде робим. Золото нашли... Вся Тайбола ума решилась, и все кержаки по своим огородам роются, а конторе это обидно. Оников-то штейгеров своих послал в Тайболу: наша, слышь, дача. Что греха у них, и не расхлебать... До драки дело доходило.

– Это все Тарас... – говорила серьезно Наташка. – Он везде смутьянит. В Тайболе-то и слыхом не слыхать, чтобы золотом занимались. Отстать бы и тебе, тятка, от Тараса, потому совсем он пропащий человек... Вон жену Татьяну дедушке на шею посадил с ребятишками, а сам шатуном шатается.

– И то брошу, – соглашался уныло Яша. – Только чуточку бы поправиться...

### III

Петр Васильич прошел прямо на Сиротку. Там еще ничего не знали о его позоре, и он мог хоть отдохнуть, чтобы опомниться и очувствоваться. Он был своим человеком здесь, и никто не обращал внимания на его таинственные исчезновения и неожиданные появления. После истории с Ястребовым он вообще сделался рассеянным и разговаривал только с Матюшкой. Добравшись до прииска, Петр Васильич залег в землянку, да и не вылезал из нее целых два дня. Чего только он ни передумал, а выходило все скверно, как ни поверни. Ясно было только одно: на Фотьянке ему больше не жить. Мальчишки задрязнят: драный! драный!.. И перед своими тоже совестно. Нужно было уходить, куда глаза глядят. Мало ли золотых промыслов на севере, на Южном Урале, в «оренбургских казаках» – везде с уздой можно походить. Эта мысль засела у него гвоздем, и Петр Васильич лежал и думал:

«Ах, и жаль только свое родное место бросать, насиженное...»

– Да ты что лежишь-то? – спросил наконец Матюшка. – Аль неможется?..

– Весь немогу... – глухо отвечал Петр Васильич.

О своих планах и намерениях он, конечно, не желал говорить никому, а всех меньше Матюшке.

На Сиротке догадывались, что с Петром Васильичем опять что-то вышло, и решили, что или он попался с краденым золотом, или его вздули старатели за провес. С такими-то делами все равно головы не носить. Впрочем, Матюшке было не до мудреного гостя: дела на Сиротке шли хуже и хуже, а оксины деньги таяли в кармане, как снег...

Главной ошибкой было то, что Матюшка не довольствовался малым и затрачивал деньги на разведки. Ведь один раз найти золото-то, так думают все, а так же думал и Матюшка. Он сильно похудел от забот и неудач, а главное, от зависти: каких-нибудь десять верст податься по Мутяшке до Богоданки, а там золото так и валит. В хорошую погоду ясно можно было слышать свисток паровой машины, работавшей на Богоданке, и Матюшка каждый раз вздрагивал. Да, там богатство, а здесь разорение, нищета... Петр Васильич тогда подтолкнул взять Сиротку, теперь с ней и не расхлебашься. Бывший лакей Ганька, «подводивший» приисковые книги, еще больше расстраивал Матюшку разными наговорами – там богатое золото объявилось, а в другом месте еще богаче, а в третьем уж прямо «фунтит», то есть со ста пудов песку дает по фунту золота. Положим такого дикого золота еще никто не видал, но чем нелепее слух, тем охотнее ему верят в таком азартном и рискованном деле, как промысловое.

– И чего ты привязался к Мутяшке, – наговаривал Ганька. – Вон по Свистунье, сказывают, какое золото, по Суходойке тоже... На одну смывку с вашгерда по десяти золотников собирают. Это на Свистунье, а на Суходойке опять самородки... Ледянка тоже в славу входит...

– Везде золота много, только домой не носят. Супротив Богоданки все протчие места наплевать... Тем и живут, что друг у дружки золото воруют.

Между прочим Петр Васильич заманил на Сиротку и тем, что здесь удобно было скупать всякое золото – и с Богоданки и компанейское. Но и это не выгорело, потому что Петр Васильич влетел в историю с Ястребовым и остался без гроша денег, а на скупку нужны наличные. До поры до времени Матюшка ничего не говорил Петру Васильичу, принимая во внимание его злоключение, а теперь хотел все выяснить, потому что денег оставалось совсем мало. Рассчитывать рабочих приходилось в обрез. Хорошо, что свой брат, – потерпят, если и «недостача» случится. Даже даром будут робить, ежели в пай принять. Все промысловые на одну колодку: ничего не жаль.

Выждав время, когда никого не было около избушки, Матюшка приступил к Петру Васильичу с серьезным разговором.

– Нету денег-то, Петр Васильич... – начал Матюшка издали.

– Ненастье перед ведром бывает.

– Людей рассчитывать нечем. Кабы ты тогда не захвалился, так я ни в жисть бы не стал робить на Сиротке...

– За волосы тебя никто не тащил! Свои глаза были... Да ты что пристал-то ко мне, смола? Своего ума к чужой коже не пришьешь... Кабы у тебя ум... что я тебе наказывал-то, оболтусу? Сам знаешь, что мне на Богоданку дорога заказана...

Матюшка привык слышать, как ругается Петр Васильич, и не обратил никакого внимания на его слова, а только подсел ближе и рассказал подробно о своих подходах.

– Захаживал я не одинова на Богоданку-то, Петр Васильич... Заделье прикину, да и заверну. Ну, конечно, к Марье – тоже не чужая, значит, мне будет, тетка Оксе-то.

– Вся сила в Марье...

– Дура она, вот что надо сказать! Имела и силу над Кишкиным, да толку не хватило... Известно, баба-дура. Старичонка-то подсыпался к ней и так и этак, а она тут себя и оказала дурой вполне. Ну много ли старику нужно? Одно любопытство осталось, а вреда никакого... Так нет, Марья сейчас на дыбы: да у меня муж, да я в законе, а не какая-нибудь приисковая гулеванка.

– Да уж речистая баба: точно стреляет словами-то. Только и ты, Матюшка, дурак, ежели разобрать: Марья свое толмит, а ты ей свое. Этакому мужику да не обломать бабенки?... Семеньч-то у машины ходит, а ты ходил бы около Марьи... Поломается для порядку, а потом вся чужая и делается: известная бабья вера.

– Было и это... – сумрачно ответил Матюшка, а потом рассмеялся. – Моя-то Оксюха ведь учуяла, что я около Марьи обихаживаю, и тоже на дыбы. Да ведь какую прыть оказала: чуть-чуть не зашибла меня. Вот как расстервенилась, окаянная!.. Ну, я ее поучил малым делом, а она ночью-то на Богоданку как стрелит, да прямо к Семеньчу... Тот на дыбы, Марью сейчас избил, а меня пообещал застрелить, как только я нос покажу на Богоданку.

– Ну, теперь твоя вся Марья, – решил Петр Васильич. – Тоже умеючи надо и баб учить. Марья-то со злости что хошь делает.

– И то делает... Подсылала уж ко мне, – тихо проговорил Матюшка, оглядываясь. – А только мне она, Марья-то, совсем не надобна, окромя того, чтобы вызнать, где ключи прячет Шишка... Каждый день, слышь, на новом месте. Потом Марья же сказывала мне, что он теперь зачастил больше к баушке Лукерье и Наташку сватает.

– Так, дурит... Комариное-то сало, разыгралось.

– Марья и говорит, что иначе нельзя, как через Наташку...

После короткой паузы Матюшка опять засмеялся и прибавил:

– Окся уж до тебя доберется, Петр Васильич... Она и то обещает рассчитаться с тобой мелкими. «Это, грит, он, кривой черт, настроил тебя». То-то дура... Я и боялся к тебе подойти все время: пожалуй, как раз вцепится... Ей бы только в башку попало. Тебя да Марью хочет руками задавить.

Дальше разговор пошел уже совсем шепотом. Матюшка сидел, опустив в раздумьи свою кудрявую голову, а Петр Васильич говорил:

– Чего ждатель-то?... Все одно пропадать... а старичонке много ли надо: двинул одинова, и не дыхнет...

Голова Матюшки сделала отрицательное движение, а его могучее громадное тело отодвинулось от змея-искусителя. Землянка почти зашевелилась. «Ну нет, брат, я на это не согласен», – без слов ответила голова Матюшки новым, еще более энергичным движением. Петр Васильич тяжело дышал. Он сейчас ненавидел этого дурака Матюшку всей душой. Так бы и ударил его по пустой башке чем попадя...

– Эй, кто жив человек в землянке? – послышался веселый голос.

Петр Васильич вздрогнул, узнав по голосу Мыльников. Матюшка отскочил от него и сделал вид, что поправляет каменку. А Мыльников был не один: с ним рядом стоял Ганька.

– Здесь... – шептал Ганька, показывая головой на землянку. – Третий день пластом лежит.

Ганька только что узнал от Мыльникова пикантную новость и сторал от нетерпения видеть своими глазами драного Петра Васильича. Это было жадное лакейское любопытство. Мыльников тоже был счастлив, что первым принес на Сиротку любопытную весточку.

– Кого там черт принес? – отозвался Матюшка с деланной грубостью.

– Так богоданных родителей принимают? – обиделся Мыльников, просовывая свою голову в дверь. – В гости пришел, зятек...

– Милости просим... Проходите почаще мимо-то, тестюшка...

Мыльников уставился на Петра Васильича, который лежал неподвижно на нарах.

– Чего ощерился, как свинья на мерзлую кочку? – предупредил его Петр Васильич с глухой злобой. – Я самый и есть... Ты ведь за тридцать верст прибежал, чтобы рассказать, как меня в волости драли. Ну, драли! Вот и гляди: я самый... Ты ведь за этим пришел?

Петр Васильич дико захохотал, а голова Мыльникова мгновенно скрылась. Матюшка торопливо вышел из землянки и накинулся на незваного гостя.

– Что тебе здесь понадобилось, Тарас? Уходи добром, пока цел...

– Мне бы Оксю повидать... – бормотал виновато Мыльников. – Больно я по ней соскучился... Сказывают, брюхатая она.

– Не твое дело... Проваливай. А ты, Ганька, тоже с ним можешь идти, коли глянется.

К общему удивлению, показался Петр Васильич и проговорил:

– Матюшка, не тронь, в сам деле, Тараса... Его причины тут нет. Так он, по своему малодушеству...

– Да я тебя-то жалеючи, Петр Васильич! – заговорил Мыльников, набираясь храбрости. – Какое такое полное право волостные старики имеют, напримерно, драть тебя?... Да я их вот

как распатроню... Прямо губернатору бумагу подать, а то в правительственный синод. Найдем дорогу, не беспокойся...

Эта болтовня не встретила никакого ответа. Матюшка упорно отворачивался от дорогого тестюшки, Ганька шмыгал глазами, подыскивая предлог, чтобы удрать, а Петр Васильич вызывающе смотрел на Мыльниково своим единственным оком, точно хотел его съесть.

– Что же, я и уйду, – решил вдруг Мыльников. – Нахлебался у зятя шей через забор шляпой... эх роденька!..

Он прошел на прииск и разыскал Оксю, которая действительно находилась в интересном положении. Она, видимо, обрадовалась отцу, чем и удивила и тронула его. Грядущее материнство сгладило прежнюю мужиковатость Окси, хотя красивой она не сделалась. Усадив отца на пустые вымостки, Окся расспрашивала про мать, про родных, а потом спокойно проговорила:

– Помру скоро, тятя...

– Перестань молоть!.. Это для первого разу страшно, а бабы живущи...

– Нет, помру... Кланяйся мамыньке. Так и скажи ей...

Петр Васильич и Матюшка ушли с Сиротки вместе и так шли до самой Богоданки. В виду самого прииска Петр Васильич остановился и тяжело вздохнул.

– Вот как поворачивает Кишкин, братец ты мой!.. Красота... Помирать не надо. А прежнего места и званья не осталось...

Промысловые волки долго любовались работавшим богатым прииском, как настоящие артисты. Эти громадные отвалы и свалка верховика и перемывок, правильные квадраты глубоких выемок, где добывался золотоносный песок, бутара, приводимая в движение паровой машиной, новенькая контора на взгорье, а там, в глубине, дымки старательских огней, кучи свежего хвороста и движущиеся тачки рабочих – все это было до того близкое, родное, кровное, что от немного восторга дух захватывало. Это настоящая работа, настоящее золото, недосыгаемая мечта, высший идеал, до которого только в состоянии подняться промышленное воображение. Дух захватывает, глядя на такую работу, не то, что на Сиротке, где копнуто там, копнуто в другом месте, копнуто в третьем, а настоящего ничего.

Петр Васильич остался, а Матюшка пошел к конторе. Он шел медленно, развалистым мужицким шагом, приглядывая новые работы. Семеныч теперь у своей машины руководствует, а Марья управляется в конторе бабьим делом одна. Самое подходящее время, если бы еще старый черт не вернулся. Под новеньким навесом у самой конторы стоял новенький тарантас, в котором ездил Кишкин в город сдавать золото, рядом новенькие конюшни, новенький амбар – все с иголочки, все как только что облупленное яйцо.

А Марья уже завидела гостя, и ее улыбающееся лицо мелькает в окне.

– Наше вам, Марья Родивоновна... Легко ли прыгаете?..

– Не до прыганья, Матюшка; извелась вконец.

– Какая такая причина случилась?

– По одном подлом человеке сохну... Я-то сохну, а ему, кудрявому, и горюшка мало.

– Тоже навяжется лихо...

Марья болтает, а сама смеется и глазами в Матюшку так упирается, что ему даже жутко делается. Впрочем, он встряхивает своими кудрями и подсаживается на завалинку, чтобы выкурить сигарку, а потом уж идет в Марьину горенку; Марья вдруг стихает, мешается и смотрит на Матюшку какими-то радостно-испуганными глазами. Какой он большой в этой горенке, – Семеныч перед ним цыпленок.

– Ну так как же, Марья Родивоновна?

– Да все то же, Матюшка... Давно не видались, а пришел – и сказать нечего. Я уж за упокой собиралась тебя поминать... Жена у тебя, сказывают, на тех порох, так об ней заботишься?..

– Экий у тебя язык, Марья...

Марья наклонилась, чтобы достать какое-то угощение из-за лавки, как две сильные волосатых руки схватили ее и подняли, как перышко. Она только жалобно пискнула и замерла.

– Черт, отстань...

– Выходи ужо в лес... Выйдешь?..

– Да ты ошалел никак? Ступай к своей-то Оксе и спроси ее, куда мне приходиться... Отпусти, медведь!

Марья плохо помнила, как ушел Матюшка. У нее сладко кружилась голова, дрожали ноги, опускались руки... Хотела плакать и смеяться, а тут еще свой бабий страх. Вот сейчас она честная мужняя жена, а выйдет в лес – и пропала... Вспомнив про объятия Матюшки, она сердито отплюнулась. Вот охальник! Потом Марья вдруг расплакалась. Присела к окну, облокотилась и залилась рекой. Семеныч, завернувший вечерком напиться чаю, нашел жену с заплаканным лицом.

– Ты это что? – спросил он участливо.

– Да так... голова болит... скучно.

Семеныч был добрый и обходительный муж. Никогда слова поперечного не скажет. Марье сделалось ужасно стыдно, и она чуть удержалась, чтобы не рассказать про охальство Матюшки. Но, взглянув на Семеныча и мысленно сравнивая его с могучим Матюшкой, она промолчала: зачем напрасно тревожить мужа? Полезет он на Матюшку с дракой, а Матюшка его одним пальцем раздавит. Сама виновата, ежели разобрать. Доигралась... Нет, вперед этого уж не будет. «Выходи в лес», говорит. Тоже нашел дуру! Так и побежала, как собачка... Да как он смеет, вахлак, такие речи говорить?..

До самого вечера Марья проходила в каком-то тумане, и все ее злость разбирала сильнее. То-то охальник: и место назначил – на росстани, где от дороги в Фотьянку отделяется тропа на Сиротку. Семеныч улегся спать рано, потому что за день у машины намаялся, да и встать утром на брезгу. Лежит Марья рядом с мужем, а мысли бегут по дороге в Фотьянку, к росстани.

«Пооди, думает леший, что я его испугалась, – подумала она и улыбнулась. – Ах, дурак, дурак... Нет, я еще ему покажу, как мужнюю жену своими граблями царапать!.. Небо с овчинку покажется... Не на таковскую напал. Испугал... ха-ха!..»

Марья поднялась, прислушалась к тяжелому дыханию мужа и тихонько скользнула с постели. Накинув сарафан и старое пальтишко, она, как тень, вышла из горенки, постояла на крыльчке, прислушалась и торопливо пошла к лесу.

#### IV

Раз вечером баушка Лукерья была до того удивлена, что даже не могла слова сказать, а только отмахивалась обеими руками, точно перед ней явилось привидение. Она только что вывернулась из передней избы в погребушку, пересчитала там утренний удой по кринкам, поднялась на крыльчко и остановилась, как вкопанная; перед ней стоял Родион Потапыч.

– Да ты давно онемела, что ли? – сердито проговорил старик и, повернувшись, пошел в переднюю избу.

Наташка, завидевшая сердитого деда в окно, спряталась куда-то, как мышь. Да и сама баушка Лукерья трухнула: ничего худого не сделала, а страшно. «Пожалуй, за дочерей пришел отчитывать», – мелькнуло у ней в голове. По дороге она даже подумала, какой ответ дать. Родион Потапыч зашел в избу, помолился в передний угол и присел на лавку.

– Случай вышел к тебе... – заговорил старик, добывая из кармана окровавленный платок. – Вот погляди, старуха.

В платке лежали бережно завернутые четыре передних зуба. Баушка Лукерья «ужахнулась» бабым делом, но ничего не могла понять.

– Где взял-то? – спросила она, чувствуя, что говорит совсем не то.

– Не украл, а свои собственные...



В подтверждение своих слов старик раскрыл рот и показал окровавленные десны. Теперь баушка ахнула уже от чистого сердца.

– Где это тебя угораздило-то?

– В шахте... Заложил четыре патрона, поджег фитиля: раз ударило, два ударило, три, а четвертого нет. Что такое, думаю, случилось?.. Выждал с минуту и пошел поглядеть. Фитиль-то догорел, почитай до самого патрона, да и заглох, ну, я добыл спичку, подпалил его, а он опять гаснет. Ну, я наклонился и начал раздувать, а тут ка-ак чебурахнет... Опомнился я уже наверху, куда меня замертво выволокли. Сам цел остался, а зубы повредило, сам их добыл...

– Ах, батюшки... да как это тебя угораздило-то?

– Вот и пришел... Нет ли у тебя какого средства кровь унять да против опуха: щеку дует. К фершалу стыдно ехать, а вы, бабы, все знаете... Может, и зубы на старое место можно будет вставить?

– Нет, этого нельзя, а кровь уйдем... Есть такая травка.

К особенностям Родиона Потапыча принадлежало и то, что он сам никогда не хворал и в других не признавал болезней, считая их притворством, то есть такие болезни, как головная боль, лихманка, горячка, «сердце схватило», «весь немогу» и т. д. Всякая болезнь в его глазах являлась только предлогом не работать. Из-за этого происходили часто трагикомические случаи. Еще при покойном Карачунском одному рабочему придавило в шахте ногу. Его отправили в больницу. Это до того возмутило старика, что он сейчас же заявился к Карачунскому с формальной жалобой:

– Это он нарочно, Степан Романыч.

– Как нарочно? Фельдшер говорит, что кости повреждены и, может быть, придется даже отнять ногу...

– Нарочно, Степан Романыч, ногу подставил, чтобы в больнице полежать, а потом пенсию будет кланчить... Известно, какой наш народ.

В восемьдесят лет у Родиона Потапыча сохранились все зубы до одного, и он теперь искренне удивлялся, как это могло случиться, что вышибло «диомидом» сразу четыре зуба. На лице не было ни одной царапины. Другого разнесло бы в крохи, а старик поплатился только передними зубами. «Все на счастливого», как говорили рабочие.

Старуха сбегала в заднюю избу, порылась в сундуках и натащила разного старушечьего снадобья: и коренья, и травы, и наговоренной соли, и еще какого-то мудреного зелья, завернутого в тряпочку. Родион Потапыч принимал все с какой-то детской покорностью, точно удивился самому себе, что дошел до такого ничтожества.

– А вот это к ночи прими, – наставительно повторяла старуха, – кровь разбивает... Хорошее пособие от бессонницы, али кто нехорошо задумываться начинает.

Родион Потапыч улыбнулся.

– И то меня за сумасшедшего принимают, – заговорил он, покачав головой. – Еще покойничек Степан Романыч так-то надумал... Для него-то я и был, пожалуй, сумасшедший с этой Рублихой, а для Оникова и за умного сойду. Одним словом, пустой колос кверху голову носит... Тошно смотреть-то.

– Все жалятся на него... – заметила баушка Лукерья. – Затеснил совсем старателей-то... Тоже ведь живые люди: пить-есть хотят...

– И старателей зря теснит и своего поведения не понимает.

Оглядевшись и понизив тон, старик прибавил:

– А у меня уж скоро Рублиха-то подастся... да. Легкое место сказать, два года около нее бьемся, и больших тысяч это самое дело стоит. Как подумаю, что при Оникове все дело оправдается, так даже жутко делается. Не для его глупой головы удумана штука... Он-то теперь льнет ко мне, да мне-то его даром не надо.

Еще более понизив голос, старик прошептал на ухо баушке Лукерье:

– Приходил ведь ко мне Степан-то Романыч...

– С нами крестная сила!..

– Верно тебе говорю... Спустился я ночью в шахту, пошел посмотреть штольню и слышу, как он идет за мной. Уж я ли его шаги не знал!..

– А-ах, ба-атюшки... Да я бы на месте померла.

– Ну, раньше смерти не помрешь. Только не надо оборачиваться в таких делах... Ну, иду я, он за мной, повернул я в штрек, и он в штрек. В одном месте надо на четвереньках проползти, чтобы в рассечку выйти, – я прополз и слушаю. И он за мной ползет... Слышно, как по хрящу шуршит и как под ним хрящ-то осыпается. Ну, тут уж, признаться, и я струхнул. Главная причина, что без покаяния кончился Степан-то Романыч, ну, и бродит теперь...

– Почему же около шахты ему бродить?

– А почему он порешил себя около шахты?.. Неприкаянная кровь пролилась в землю.

– Ну, так что дальше-то было? – спрашивала баушка Лукерья, сгорая от любопытства. – Слушать-то страсти...

– Дальше-то вот и было... Повернулся я, а он из штрека-то и вылезает на меня.

– Батюшки!.. Угодники... Ой, смертынька!

– А я опять знаю, что двигаться нельзя в таких делах. Стою и не шевелюсь. Вылез он и прямо на меня... бледный такой... глаза опущены, будто что по земле ищет. Признаться тебе сказать, у меня по спине мурашки побежали, когда он мимо прошел совсем близко, чуть локтем не задел.

Родион Потапыч перевел дух. Баушка Лукерья вся дрожала со страху и даже перекрестилась несколько раз.

– Ну и бесстрашный ты человек, Родион Потапыч!

– Ты слушай дальше-то: он от меня, а я за ним... Страшновато, а я уж пошел на отчаянность: что будет. Завел он меня в одну рассечку да прямо в стену и ушел в забой. Теперь понимаешь?

– Ничего я не понимаю, голубчик. Обмерла, слушавши-то тебя...

– А я понял: он мне показал, где жила спряталась.

– А ведь и то... Ах, глупая я какая!..

– Ну, я тут на другой день и поставил работы, а мне по первому разу зубы и вышибло, потому как не совсем чистое дело-то...

– А что ты думаешь, ведь правильно!.. Надо бы попа позвать да отчитать хорошенько...

В этот момент под окнами загредел колокольчик, и остановилась взмыленная тройка. Баушка Лукерья даже вздрогнула, а потом проговорила:

– Погляди-ка, как наш Кишкин отличается... Прежде Ястребов так-то ездил, голубчик наш.

Родион Потапыч только нахмурился, но не двинулся с места. Старуха всполошилась: как бы еще чего не вышло. Кишкин вошел в избу совсем веселый. Он ехал с обеда от горного секретаря.

– Передохнуть завернул, баушка, – весело говорил он, не снимая картуза. – Да и лошадям надо подобрать мыло. Запозднился малым делом... Дорога лесная, пожалуй, засветло не доберусь до своей Богданки.

– Здравствуй, Андрон Евстратыч... Разбогател, так и узнавать не хочешь, – заговорил Зыков, поднимаясь с лавки.

– Ах, Родион Потапыч! – обрадовался Кишкин. – А я-то и не узнал тебя. Давненько не видались... Когда в последний-то раз мы с тобой встретились? Ах, да, вот здесь же у следователя. Еще ты меня страмил...

– Мало страмил-то, Андрон Евстратыч, потому как по твоему малодушеству не так бы следовало...

– Правильно, Родион Потапыч, кабы знал да ведал, разве бы довел себя до этого, а теперь уже поздно... Голодный-то и архирей украдет.

– Претит, значит, совесть-то? Ах, Андрон Евстратыч, Андрон Евстратыч...

– От бедноты это приключилось, – объяснила баушка Лукерья, чтобы прекратить неприятный разговор. – Все мы так-то: в чужом рту кусок велик...

– Через тебя в землю-то ушел Степан Романыч, – наступал старый штейгер. – Истинно через тебя... Метил ты в других, а попал в него.

– Так уж случилось... – смущенно повторял Кишкин. – Разе я теперь рад этому?.. И то он, Степан-то Романыч, как-то привиделся мне во сне, так я напирялся страху. Панихиду отслужил по нем, так будто полегче стало...

Родион Потапыч и баушка Лукерья переглянулись, а потом старик проговорил:

– Старинные люди, Андрон Евстратыч, так сказывали: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет... А между прочим, твое дело – тебе ближе знать.

Наступило неловкое молчание. Кишкин жалел, что не вовремя попал к баушке Лукерье, и тянул время отъезда, – пожалуй, подумают, что он бежит.

– Ты бы переночевал? – предлагала баушка Лукерья. – Куда, на ночь глядя, поедешь-то?

– А мне пора, в сам деле!.. – поднялся Кишкин. – Только-только успею засветло-то... Баушка, посылай поклончик любезному сынку Петру Васильичу. Он на Сиротке теперь околачивается... Шабаш, брат: и узду забыл и весы – все ремесло.

– Ох, и не говори, – застонала баушка Лукерья. – Домой-то и глаз не кажет. Не знаю, что уж теперь и будет.

– Ничего, обмякнет, дай время, – успокаивал Кишкин. – До свежих веников не забудет...

– А ты напрасно, баушка, острамила своего Петра Васильича, – вступился Родион Потапыч. – Поучить следовало, это верно, а только опять не на людях... В сам-то деле, мужику теперь ни взад ни вперед ходу нет. За рукомесло за его похвалить тоже нельзя, да ведь все вы тут ополоумели и последнего ума решились... Нет, не ладно. Хоть бы со мной посоветовались: вместе бы и поучили.

Когда Кишкин вышел за ворота, то увидел на завалинке Наташку, которая сидела здесь вместе с братишкой, – она выжидала, когда сердитый дедушка уйдет.

– Ты это что, птаха, по заугольям прячешься? – спрашивал Кишкин, усаживаясь в тарантас.

– Дедушки боюсь... – откровенно призналась Наташка, краснея детским румянцем.

– Ну, страшен сон, да милостив бог... Поедем ко мне в гости!..

Когда лошади тронулись и дрогнули колокольчики под дугой, торопливо выскочила за ворота баушка Лукерья.

– Постой-ка, Андрон Евстратыч!.. – кричала она задыхавшимся голосом. – Возьми ужо деньги-то от меня...

– Ага... а где ты раньше-то была? Нет, теперь ты походи за мной, а мне твоих денег не надо...

Тарантас укатил, заливаясь колокольчиками, а баушка Лукерья осталась со своими деньгами, завязанными в старенький платок. Она стояла на месте, что-то пробормотала и, пошатываясь, побрела назад. Заметив Наташку, она ее обругала и дала тычка.

– Вот дармоеды навязались!.. – ворчала раздосадованная старуха. – Богадельня у меня, что ли?..

Родион Потапыч против обыкновения засиделся у баушки Лукерьи. Это даже удивило старуху: не таковский человек, чтобы задарма время проводить.

– И впрямь, надо полагать, с ума схожу, – печально проговорил старик, разглаживая бороду. – Никак даже не пойму, что к чему... Прежнее-то все понимаю, а нынешнее в ум не возьму. Измотыжился народ вконец...

– Ох, и не говори!..

– Что мужики, что бабы – все точно очумелые ходят. Недалеко ходить, хоть тебя взять, баушка. Обжаднела и ты на старости лет... От жадности и с сыном вздорил, а теперь оба

плакать будете. И все так-то... Раздумаешься этак-то, и делается тошно... Ушел бы, куда глаза глядят, только бы не видеть и не слышать про ваши-то искусства.

Баушка Лукерья угнетенно молчала. В лице Родиона Потапыча перед ней встал позабытый старый мир, где все было так строго, ясно и просто и где баба чувствовала себя только бабой. Сказалась старая «расейка», несшая на своих бабьих плечах всяческую тяготу. Разве можно применить нынешнюю бабу, особенно промысловую? Их точно ветром дует в разные стороны. Настоящая беспастушная скотина... Не стало, главное, строгости никакой, а мужик измалодушествовался. Правильно говорит Родион-то Потапыч.

Старики разговорились про старину и на время забыли про настоящее, чреватое непонятными для них интересами, заботами и пакостями. Теперь только поняла баушка Лукерья, зачем приходил Родион Потапыч: тошно ему, а отвести душу не с кем.

Родион Потапыч ушел уже в сумерках. Ему не хотелось идти через Фотьянку при дневном свете, чтобы не встречаться с галдевшим у кабака народом. Фотьянка вечером заживала лихорадочной жизнью. С ближайших промыслов съезжались все рабочие, и около кабака была настоящая давка. Родион Потапыч обошел подальше проклятое место, гудевшее пьяными голосами, звуками гармоний, песнями и ораньем, спустился к Балчуговке и только ступил на мост, как Ульянов кряж весь заалелся от зарева. Оглянувшись, он подумал, что горит кабак... Вечер был тихий, и пламя поднималось столбом.

– Да ведь это баушка Лукерья горит! – вскрикнул старик, бегом бросаясь назад.

Действительно, горел дом Петра Васильича, занявшийся с задней избы. Громадное пламя так и пожирало старую стройку из кондового леса, только треск стоял, точно кто зубами отдирает бревна. Вся Фотьянка была уже на месте действия. Крик, гвалт, суматоха и никакой помощи. У волостного правления стояли четыре бочки и пожарная машина, но бочки рассохлись, а у машины не могли найти кишки. Да и бесполезно было: слишком уж сильно занялся пожар, и все равно сгорит дотла весь дом.

– Сам поджег свой-то дом!.. – галдел народ, запрудивший улицу и мешавший работавшим на пожарище. – Недаром тогда грозился в волости выжечь всю Фотьянку. В огонь бы его, кривого пса!..

– Сказывают, девчонка его видела!.. Он с огородов подкрался и карасином облил заднюю-то избу.

Родион Потапыч никак не мог найти в толпе баушку Лукерью.

– Да она, надо полагать, того... – объяснил неизвестный мужик. – В самое пальмо попала. Бросилась, слышь, за деньгами, да и задохлась.

Старик в ужасе перекрестился.

## V

На другой же день после пожара в Фотьянку приехала Марья. Она первым делом разыскала Наташку с Петрунькой, приютившихся у соседей. Дети обрадовались тетке после ночного переполоха, как радуются своему и близкому человеку только при таких обстоятельствах. Наташка даже расплакалась с радости.

– Тетя, родная, что только и было, – рассказывала она, припадая к Марье. – И рассказывать-то – так одна страсть...

– Дедушка-то зачем был?

– А так навернулся... До сумерек сидел и все с баушкой разговаривал. Я с Петрунькой на завалинке все сидела: боялась ему на глаза попасть. А тут Петрунька спать захотел... Я его в сенки потихоньку и свела. Укладываю, а в оконце – отдушинка у нас махонькая в стене проделана, – в оконце-то и вижу, как через огород человек крадет. И вижу, несет он в руках бурок берестяной и прямо к задней избе, да из бурака на стенку и плещет. Испугалась я, хотела крикнуть, а гляжу: это дядя Петр Васильич... ей-богу, тетя, он!..

– Уж это ты врешь, Наташка. Тебе со страху показалось... Да и как ты в сумерки могла разглядеть?.. Петр Васильич на прииске был в это время... Ну, потом-то что было?

– А потом я хотела позвать баушку, да побоялась. Ну, как дедушка ушел, я только к баушке, а она, как на меня зыкнет... Целый день она сердилась на меня за Петруньку. Ну, я со страху и замолчала. А тут баушка погнала в погреб... Выскочила я из погреба-то, а на дворе дым и огонь в задней избе... Я забежала в сенки, схватила Петруньку и не помню, как выволокла на улицу сонного... А баушки нет... Я опять в сенки, а баушка на моих глазах в заднюю избу бросилась прямо в огонь. Она за сундуком это... Там ее и нашли, около сундука... Обгорела вся... ничего не узнать...

Наташка в заключение так разрыдалась, что Марье пришлось отваживаться с ней.

– Народ-то все Петра Васильича искал, – продолжала Наташка, – все хотели его в огонь бросить.

– А ты бы еще больше болтала, глупая!.. Все из-за тебя... Ежели будут спрашивать, так и говори, что никого не видала, а наболтала со страху.

– Да я видела...

– Молчи, дура!.. Из-за твоих-то слов ведь в Сибирь сошлют Петра Васильича. Теперь поняла?.. И спрашивать будут, говори одно: ничего не знаю.

Пожарище представляло собой страшную картину. За ночь точно языком слизнуло целых три дома. Торчали печные трубы да обгорелые столбы. Около места, где стояла задняя изба баушки Лукерьи, толкался народ. Там среди обгорелых бревен лежало обуглившееся, неузнаваемое «мертвое тело» самой баушки Лукерьи. Чья-то добрая рука прикрыла его белым половиком. От волости был наряжен сотский, который сторожил мертвое тело до приезда станового. От этой картины даже у Марьи сердце сжалось, особенно когда она узнала валявшиеся около баушки Лукерьи железные скобы от ее заветного сундука... Вероятно, старуха так и задохлась на своем сокровище. Народ усиленно галдел. Все ругали Петра Васильича. Марья попробовала было заступиться за него, но ее чуть не прибили.

– Мы его, пса, еще утихомирим!.. Его работа... Сам грозился в волости выжечь всю Фотьянку.

Вообще народ был взбудоражен. Погоревшие соседи еще больше разжигали общее озлобление. Ревели и голосили бабы, погоревшие мужики мрачно молчали, а общественное мнение продолжало свое дело.

– Надо его своим судом, кривого черта!.. А становой что поделает... Поджег, а руки-ноги не оставил. Удавить его мало, вот это какое дело!..

Таким образом Петр Васильич был объявлен вне закона. Даже не собирали улики, не допрашивали больше Наташки: дело было ясно, как день.

На пожарище Марья столкнулась носом к носу с Ермошкой, который нарочно пришел из Балчуговского завода, чтобы посмотреть на пожарище и на сгоревшую старуху...

– Приказала баушка Лукерья долго жить, – заметил он, здороваясь с Марьей. – Главная причина – без покаяния старушка окончание приняла. Весьма жаль... А промежду прочим, очень древняя старушка была, пора костям и на покой, кабы только по всей форме это самое дело вышло.

– Все под богом ходим, Ермолай Семеныч... Кому уж где господь кончину пошлет.

– Это точно-с. Все мы люди-человеки, Марья Родивоновна, и все мы помрем... Сказывают, старушка на сундучке так и сгорела? Ах, неправильно это вышло...

– Мало ли что зря болтают! Просто опахнуло старушку дымом, ну и обеспамятела... Много ли старому человеку нужно! А про сундучок это зря болтают.

– Конечно, зря, а я только к слову. До свиданья, Марья Родивоновна... Поклон Андрону Евстратычу. Скоро в гости к нему приеду.

– Милости просим...

Ермошка отошел, но вернулся и, оглядываясь, проговорил:

– А моя-то Дарья пласт-пластом лежит... Не сегодня-завтра кончится. Уж так-то она рада этому самому...

Поймав улыбку Марьи, он смущенно прибавил:

– Вы не думайте, чтобы через мои руки она помирала... Пальцем не тронул. Прежде случилось, а теперь ни боже мой...

– Жениться будете?

– Как сорочины минуют, подумываю... Вот вы-то меня не дождались, Марья Родивоовна!..

– Свагайте Наташку: она лицом-то вся в Феню. Я ее к себе на Богоданку увезу погостить...

– А ведь оно тово, действительно, Марья Родивоовна, статья подходящая... ей-богу!.. Так уж вы, тово, не оставьте нас своею милостью... Ужо подарочек привезу. Только вот Дарья бы померла, а там живой рукой все оборудуем. Федосья-то Родивоовна в город переехала... Я как-то ее встретил. Бледная такая стала да худенькая...

Марье пришлось прожить на Фотьянке дня три, но она все-таки не могла дожидаться баушкиных похорон. Да надо было и Наташку поскорее к месту пристроить. На Богоданке-то она и всю голову прокормит и пользу еще принесет. Недоразумение вышло из-за Петруньки, но Марья вперед все предусмотрела. Ей было это даже на руку, потому что благодаря Петруньке из девчонки можно было веревки вить.

– Я твоего Петруньку тоже устрою, – говорила Марья, испытующе глядя на свою жертву. – Много ли парнишке надо. Покойница-баушка все взъедалась на него, а я так рада: пусть себе живет. Не чужие ведь...

Наташка точно оттаяла от этих слов, хотя раньше и не любила Марью. Марья, не теряя времени, сейчас же увезла ее на прииск и улещала всю дорогу разными наговорами, как хороший конокрад. Нужно заметить, что приезжала она на Фотьянку настоящей барыней, на лошадях Кишкина и в его долгушке. Наташку дорогой взяло раздумье относительно надоедавшего ей старика, но Марья и тут сумела ее успокоить, а кому же верить, как не Марье. Когда она жила еще дома, так все под ее дудку плясали: и сама Устинья Марковна, и тетка Анна, и Феня.

– Старичок ежели пошутит, так не велика беда, – наговаривала Марья. – Это не то, что молодые парни зубы скалят...

Таким образом, Марья торжествовала. Она обещала привезти Наташку и привезла. Кишкин, по обыкновению, разыграл комедию: накинудся на Марью же и долго ворчал, что у него не богадельня и что всей Марьиной родни до Москвы не перевешать. Скоро этак-то ему придется и Тараса Мыльникова кормить и Петра Васильича. На Наташку он не обращал теперь никакого внимания и даже как будто сердился. В этой комедии ничего не понимал один Семеныч и ужасно конфузился каждый раз, когда жена цеплялась зуб за зуб с хозяином.

– Очень уж ты свободно разговариваешь с ним, Маша, – усовещивал он жену. – От места еще мне откажет...

– Не откажет, старый черт!.. А откажет, так и без него местов добудем.

Устроив Наташку на прииске в своей горенке, Марья опять склалась и погнала на Фотьянку хоронить баушку Лукерью, а оттуда в Балчуговский завод проведать своих. Она уже слышала стороной, что отец не совсем тверд в разуме, и, того гляди, всем имуществом завладеет Анна. Она и то разжалобила отца своими ребятишками. Яша Мальй, конечно, ничего не получит, да и Тагьяна тоже, – разе удобрится мамынька Устинья Марковна да из своей части отвалит. Старушка тоже древняя и тоже не очень тверда разумом-то... А главная причина поездки заключалась в желании видеться с Матюшкой, который по уговору должен был ее подождать у Маяковой слани. Марья уезжала одна, в приисковой тележке, в каких ездили все старатели.

– Смотри, не пообидел бы кто-нибудь дорогой, – говорил Семеныч, провожая жену, – бродяги в лесу шляются...

– Ты вот за Наташкой-то не очень ухаживай, – огрызнулась Марья.

Она раньше боялась мужа, потом стыдилась, затем жалела и, наконец, возненавидела, потому что он упорно не хотел ничего замечать. И таким маленьким он ей казался... Вообще с Марьей творилось неладное: она ходила как в тумане, полная какой-то странной решимости.

– Наташка, будешь убираться в конторе, так пригляди, куда прячет Андрон Евстратыч ключ от железного сундука, – наказывала она перед отъездом. – Да возьми припряхь его при случае...

Наташка не поняла, для чего нужно было прятать ключ. Марья окончательно обозлилась и объяснила:

– Надоел он мне, как горькая редька... Пусть поищет, старая крыса. За тебя с Петрунькой поедом съел. Положи ключик-то на полочку под образа. Поняла?

Наташка теперь поняла и даже ухмыльнулась. Ей понравилась мысль испугать противного старичонку, который опять начал поглядывать на нее масляными глазами.

Семеныч «ходил у парового котла» в ночь. День он спал, а с вечера отправлялся к машине. Кстати сказать, эту ночную работу мужа придумала Марья, чтобы Семеныч не мешал ей пользоваться жизнью. Она сама просила Кишкина поставить мужа в ночь.

– Играешь, Марьюшка, – посмеялся Кишкин. – Ну, ну, я ничего не вижу и ничего не знаю... Между мужем и женой бог судья. Ты мне только тово...

– А вот я уеду в Балчуговский завод, так вы уж сами тут промышленяйте. В конторе одна Наташка останется... Ну что, довольны теперь?..

– Озолочу, Марьюшка.

Около полуночи, когда Семеныч дремал у своей машины, прибежал кто-то и сказал, что в конторе неладно. Все бросились туда. Там произошло нечто ужасное... В самой конторе лежал зарезанный Кишкин. Он был в одном белье и, видимо, отчаянно защищался, потому что руки были страшно изрезаны. В горенке Семеныча оказалось целых три трупа: в своей постели на полу лежал убитый Петрунька, – видимо, его убили сонного, Наташка лежала в самых дверях с размозженным черепом, а на крыльчке сама Марья. Все было залито кровью. Цель убийства была ясна: касса оказалась пустой... У всех мелькнула одна и та же мысль при виде этой картины: некому этого сделать, кроме все того же Петра Васильича. Пошел мужик на отчаянность. Конечно, его работа. Кому же больше? Оставалось непонятым только одно, как Марья опять вернулась в свою горенку? Все видели, как она еще днем уехала на Фотьянку. Лошадь нашли на дороге, – она была привязана к дереву в стороне от дороги. Подозрение на Петра Васильича увеличилось еще тем, что его видели именно в этот день недалеко от прииска, а потом он вдруг точно в воду канул. Конечно, его дело... С Сиротки он ушел после обеда. Матюшка лежал больной у себя в землянке. Он защищал Петра Васильича. Мало ли по лесу бродяг шляется: подглядели и прикончили всех.

Приехали на Богоданку следователь, урядник, понятые. Произвели следствие, которое подтвердило общее подозрение: за кассой нашли шапку Петра Васильича, которую все признали. Очевидно, он забыл ее второпях. Следователь уже составил полный план, как совершилось преступление: Петр Васильич встретил Марью на дороге и под каким-то предлогом уговорил вернуться домой. Может быть, он ей сказал, что Кишкин и Наташка убиты, а когда она вернулась, он убил и ее, чтобы скрыть всякие следы. В сущности, это было очень неясное объяснение, но пока единственное.

– Когда следователь уехал уже домой, раскрылось новое обстоятельство, перевернувшее все: недалеко от Маяковой слани нашли убитого Петра Васильича. Очевидно, он был убит на дороге, а затем уже стащен в болото.

## VI

Дела у компании шли тихо. Старательские работы сведены были на нет, и этим самым уничтожено было в корне хищничество, но вместе с тем компания лишилась и главной части своих доходов, которые получались раньше от старателей. Но Оников хотел быть последовательным и решил вести дело исключительно компанейскими работами. Во-первых, был расчет на Рублиху, а потом немного пониже Фотьянки отводили течение реки Балчуговки в другое русло, – нужно было взять россыпь, по которой протекала эта река, целиком. Уже второй год устраивалась громадная плотина, отводившая реку в новое русло. Целую зиму велась эта грандиозная работа, стоившая десятков тысяч. Когда вода была отведена, приступили к вскрышке верхнего пласта, покрывавшего россыпь. Вместе с наступлением весны должна была открыться и промывка этой россыпи, для чего поставлено было несколько бутар и две паровые машины. Новый прииск лежал немного пониже

Ульянова кряжа, так что, по всем признакам, россыпь образовалась из разрушившихся жил, залежавших именно в этом кряже так, что золото зараз можно было взять и из россыпи и из коренного месторождения.

– Мы возьмем золото с хвоста и с головы, – повторял Оников, встречаясь с Родионом Потапычем.

– Что же, ваши бы слова да богу в уши, – уклончиво отвечал старик, окончательно возненавидевший Оникова.

Положение Фотьянки было отчаянное. Кедровское золото кое-кого поманило, кое-кого даже помазало по губам, но в общем масса бедствовала хуже прежнего, потому что кончились старательские работы собственно в Балчуговской даче. Эти работы давали крохи, но эти крохи и были дороги, потому что приходились главным образом на голодное зимнее время. Нерасчетливый промысловый рабочий не умел сберегать на черный день, а добытые на приисках гроши пели петухами. Отдельные случаи более или менее случайного обогащения совершенно терялись в общей массе рабочей бедности.

Уничтожение старательских работ в компанейской даче отразилось прежде всего на податях. Недоимки были и раньше, а тут они выросли до громадной суммы. Фотьянский старшина выбился из сил и ничего не мог поделывать: хоть кожу сдирай. Наезжал несколько раз непрямой член по крестьянским делам присутствия вместе с исправником и тоже ничего не могли поделывать.

– Как же это так, – удивлялся член, – кругом золото, а вы не можете податей заплатить?..

– Точно так, вашескордие, – отвечал староста. – Кругом золото, а в середине бедность... Все от компании зависит: ежели б объявили старательские работы, оно все же передышка... Не настоящее дело, а из-за хлеба на воду робили.

Переговоры с Ониковым по этому поводу тоже ни к чему не повели. Он остался при своем мнении, ссылаясь на прямой закон, воспрещающий старательские работы. Конечно, здесь дело заключалось только в игре слов: старательские работы уставом о частной золотопромышленности действительно запрещены, но в виде временной меры разрешались работы «отрядные» или «золотничные», что в переводе значило то же самое.

– Я поступаю только по закону, – говорил Оников с упрямством безнадежно помешанного человека. – Нужно же было когда-нибудь вырвать зло с корнем...

– Да... гм... Но апостол Павел сказал, что «по нужде и закону применение бывает». Ваши реформы отзываются на казенных интересах.

– О, это напрасно! Дайте что угодно рабочим, они все пропьют... Что дала Кедровская дача?..

Дело в том, что собственно рабочим Кедровская дача дала только призрак настоящей работы, потому что здесь вместо одного хозяина, как у компании, были десятки, – только и разницы. Пока благодетелями являлись одни скупщики вроде Ястребова. Затем мелкие золотопромышленники могли работать только летом, а зимой прииски пустовали.

Недовольство рабочих новым главным управляющим пережило свою острую форму. Его даже не ругали, а глухое мужицкое недовольство росло и подступало, как выступившая вода из берегов.

– У меня разговор короткий: чуть что, сейчас рабочих из других мест кликну, – хвастался Оников. – Всякое дело необходимо доводить до конца.

Родион Потапыч сидел на своей Рублихе и ничего не хотел знать. Благодаря штольное углубление дошло уже до сорок шестой сажени. Шахта стоила громадных денег, но за нее поэтому так и держались все. Смертельная болезнь только может подтачивать организм с такой последовательностью, как эта шахта. Но Родион Потапыч один не терял веры в свое детище и боялся только одного, что компания не даст дальнейших ассигновок.

Раз ночью старик сидел в конторке и дремал. Его разбудил осторожный стук в окно.

– Кто там, крещеный?

– Можно зайти, дедушка, обогреться?..



– Дня-то тебе не стало? – удивился Родион Потапыч, разглядывая чье-то молодое лицо с окладистой русой бородкой. – Ступай в двери.

Через несколько минут в дверях конторки показался Матюшка, весь засыпанный снегом. Родион Потапыч с трудом признал его.

– Ты что это полуночицаешь? – сердито спросил его старик. – Мало ли тут шляющихся по лесу-то...

– Я с делом, дедушка... – рассеянно ответил Матюшка, перебирая шапку в руках. – Окся приказала долго жить...

– Кончилась?.. – участливо спросил старик, сразу изменившись. – Ах, сердяга... Омманула она меня тогда, ну, да бог ее простит.

– Цельную неделю, дедушка, маялась и все никак разродиться не могла... На голос кричала цельную неделю, а в лесу никакого способа. Ах, дедушка, как она страждала... И тебя вспомнила. «Помру, грит, Матюшка, так ты сходи к дедушке на Рублиху и поблагодари, что узрел меня тогда».

– Вспомнила?

– И еще как, дедушка... А перед самым концом как будто стишала и поманила к себе, чтобы я около нее присел. Ну, я, значит, сел... Взяла она меня за руку, поглядела этак долго-долго на меня и заплакала. «Что ты, – говорю, – Окся: даст бог, поправишься...» – «Я, грит, не о том, Матюшка. А тебя мне жаль...» Вон она какая была, Окся-то. Получше в десять раз другого умного понимала...

Постоял Матюшка у порога, рассказал еще раз о смерти Окси и начал прощаться. Это опять удивило Родиона Потапыча.

– Да ты чего это ночью-то хочешь идти? – проговорил старик. – Оставайся у нас на шахте переночевать.

Матюшка переминался с ноги на ногу, а потом вдруг у него по лицу посыпались быстрые молодые слезы.

– Тошно мне, дедушка... – шептал он задыхавшимся голосом. – Ах, как тошно...

Старик нахмурился: разве модель мужику реветь?..

Матюшка так и не остался ночевать. Он несколько раз нерешительно подходил к двери конторки, останавливался и опять уходил. Вообще с Матюшкой было неладно, как заметили все рабочие.

В другой раз он спустился в самую шахту и отыскал Родиона Потапыча в забое, где он закладывал динамитные патроны для взрыва.

– Эк ты напугал меня, – рассердился Родион Потапыч. – Ну чего опять?..

Матюшка молчал. Старик с удивлением посмотрел на него. Этаким молодчага-парень, ежели бы не дурь. Руки одни чего стоят. Вот бы в забой поставить!

Когда взрыв был произведен и Родион Потапыч взглянул на обвалившиеся куски камня, то даже отшатнулся, точно от наваждения. Взрывом была обнажена прекрасная жила толщиной в полтора аршина, а в проржавевшем кварце золотыми слезами блестел драгоценный металл.

– Что же это такое? – изумлялся старик, глядя на Матюшку. – Сколь бились мы над ней, над жилой, а она вон когда обозначилась... На твои счастья, Матюшка, выпала она!..

Матюшка опять молчал, а у Родиона Потапыча блестели слезы на глазах. Это было его последнее золото... Выломав несколько кусков получше, старик велел забойщикам подняться наверх, а западно в шахту запер на замок собственноручно... Оно меньше греха.

Открытие жилы в Ульяновом кряже произвело настоящий переполох. Оников прискакал сломя голову и расцеловал Родиона Потапыча из щеки в щеку. Спустившись в шахту, он долго любовался жилой и вслух делал примерные вычисления. На худой конец оправдаются все произведенные расходы, да столько же получится дивиденда.

– Надо деньги-то считать, когда они в карман положены, – строго заметил Родион Потапыч.

– Ничего, сосчитаем и не в кармане...

Старик молча торжествовал свою победу: Рублиха не обманула, хотя и стоила страшно дорого. Да, он показал, какое золото в Ульяновом кряже старые штейгеры открывают... Вот только голубчик Степан Романыч не дожил.

Приехал любоваться Рублихой и сам горный секретарь Илья Федотыч. Спустился в шахту, отломил на память кусок кварцу с золотом и милостиво потрепал старого штейгера по плечу.

– Молодые-то хоть и поют петухами, а без нас, стариков, дело, видно, тоже не обойдется. Так, Родион Потапыч?

– Молодых-то гусей по осени считают, Илья Федотыч...

На Рублихе пока сделана была передышка. Работала одна паровая машина, да неотступно оставался на своем месте Родион Потапыч. Он, добившись цели, вдруг сделался грустным и задумчивым, точно что потерял. С ним теперь часто дежурил Матюшка, повадившийся на шахту неизвестно зачем. Раз они сидели вдвоем в конторке и молчали. Матюшка совершенно неожиданно рухнул своим громадным телом в ноги старику, так что тот даже отскочил.

– Дедушка, голубчик, тошно мне, а силы своей не хватает... Отвези ты меня к следователю в город. Мое дело...

– Да ты рехнулся, парень?.. Какое дело?..

– А на Богоданке?.. Я всех троих порешил. Петр Васильич подбил: ограбим да ограбим Кишкина. Ну, я и соблазнился и Марью настроил, чтобы ключ добыла, а она через Наташку... Я ее на дороге встретил, ну, вместе на прииск ночью и пришли. Петр Васильич в сторожах сперва стоял, а я в горницу к Марье прошел. Ключ-то Наташка у старика выкрала... Ну, я захожу в контору из Марьиной горницы, а Кишкин и проснись на грех... Как закричит... Все у меня в голове перемешалось... ударил я его и сразу заморил, а Петр Васильич уже около кассы с ключом и какие-то бумаги себе за пазуху сует... Потом Наташка очнулась; ну, мы всех прикончили разом, чтобы никакого следа. Деньги захватили – и в лес. Ночью около огонька принялись делить... Вижу, Петр Васильич обманывает меня, а потом, думаю, уйдет он с деньгами-то куды глаза глядят, а на меня все свалят... Ну, тут я и его прикончил. Все равно выдал бы... На него все улики были. Ночью же пришел я домой и сказался больным, а Окся-то и догадалась, что неладное дело. Так ничего и не сказала, а только перед самой смертью говорила все... «За твой, грит, грех помираю!» И так мне стало тошно с того самого время: легче вот руки наложить на себя... места не найду...

Родион Потапыч молча его выслушал, молча взял веревку и молча связал ему крепко руки.

– Повремени малость... – сказал старик, не глядя на Матюшку. – Я тебя представлю куды следует.

Захватив с собой топор, Родион Потапыч спустился один в шахту. В последний раз он полюбовался открытой жилой, а потом поднялся к штольне. Здесь он прошел к выходу в Балчуговку и подрубил стойки, то же самое сделал в нескольких местах посредине и у самой шахты, где входила рудная вода. Земля быстро обсыпалась, преграждая путь стекавшей по штольне воде. Кончив эту работу, старик спокойно поднялся наверх и через полчаса вел Матюшку на Фотьянку, чтобы там передать его в руки правосудия.

В ту же ночь Рублиху залило водой, а старый штейгер сидел наверху и смеялся теперь уже сумасшедшим смехом.

Залитую водой Рублиху возобновить было, пожалуй, дороже, чем выбить новую шахту, и найденная старым штейгером золотоносная жила была снова похоронена в земле. Да и компании теперь было не до нее. Устроенная плотина на Балчуговке была размыва весенней водой, и все работы, подготовленные с громадными затратами, были покрыты речным илом. Эти две больших неудачи отозвались в промысловом бюджете очень сильно, так что представленные Ониковым сметы не получили утверждения, и компания прекратила всякие работы за их невыгодностью. И это в такой местности, где при правильном хозяйстве могло благоденствовать сотысячное население и десяток таких компаний...

Родион Потапыч действительно помешался. Это было старческое слабоумие. Он бредил каторгой и ходил по Балчуговскому заводу в сопровождении палача Никитушки, отдавая грозные приказания. За этой парой всегда шла толпа ребятишек.

Феня ушла в Сибирь за партией арестантов, в которой отправляли Кожина: его присудили в каторжные работы. В той же партии ушел и Ястребов. Когда партия арестантов выступала из города, ей навстречу попалась похоронная процессия: в простом сосновом гробу везли из городской больницы Ермошкину жену Дарью, а за дрогами шагал сам Ермошка.

Матюшка повесился в тюрьме.

## Черты из жизни Пепко\*

Стояло хмурое осеннее петербургское утро. Я провел скверную ночь и на лекции не пошел. Во-первых, опоздал, а во-вторых, нужно было доканчивать седьмую главу третьей части первого моего романа. Кто пробовал писать роман, тот поймет, насколько последняя причина была уважительна. Прежде чем приняться за работу, я долго ходил по комнате, обдумывая какую-то сцену и останавливаясь у единственного окна, выходившего на улицу. Это окно было моим пробным пунктом, точно каждая трудная мысль сама останавливалась у него. Может быть, это было инстинктивным тяготением к свету, которого так мало отпущено Петербургу. Окно хотя и выходило на улицу, но открывавшийся из него вид не представлял собой ничего интересного. Просто пустырь, занятый бесконечными грядами капусты. Таких пустырей в глубине Петербургской стороны и сейчас достаточно, а двадцать лет тому назад их было еще больше. Мой пустырь до некоторой степени оживлялся только канатчиком, который, как паук паутину, целые дни вытягивал свои веревки. Я уже привык к этому неизвестному мне человеку и, подходя к окну, прежде всего отыскивал его глазами. У меня плелась своя паутина, а у него – своя.

Обыкновенно моя улица целый день оставалась пустынной – в этом заключалось ее главное достоинство. Но в описываемое утро я был удивлен поднявшимся на ней движением. Под моим окном раздавался торопливый топот невидимых ног, громкий говор – вообще происходила какая-то суматоха. Дело разъяснилось, когда в дверях моей комнаты показалась голова чухонской девицы Лизы, отвечавшей за горничную и кухарку, и проговорила:

– Она повесилась...

Меня удивило то, что Лиза улыбалась, хотя это и делалось из вежливости к жильцу. Затем, она была так счастлива, что успела первой сообщить мне взволновавшую всю улицу новость.

– Кто повесился?

– Вировка весилась...

Репертуар русских слов у Лизы находился в несоответствии с пожиравшей ее жаждой рассказать мне новость, и свое объяснение она закончила при помощи рук. Я понял, наконец, кто повесился, и успокоенная чухонская девица скрылась. Впрочем, теперь я и без нее мог увидеть собственными глазами эту новость, то есть грязные босые ноги, выставившиеся из-под ветхого навеса, в котором канатчик складывал свою паклю и веревки. Толпа прибывала с удивительной быстротой, – откуда только бралось столько народа в пустынной улице. Стремглав летели босоногие «сапожные» мальчишки, портняжки, горничные, какие-то подозрительные бабы, разные «отставные», которыми по преимуществу населена Петербургская сторона, и просто «жилыцы». Сначала толпа хлынула было в огород, но явившиеся на место действия два городских выгнали любопытных обратно на улицу, и благодаря этому обстоятельству я из своего бельэтажа мог отлично видеть нижнюю часть неподвижно висевшего в сарайчике мертвого тела канатчика. Чухонка Лиза уже три раза вихрем пронеслась по улице взад и вперед, собирая на лету последние известия, чтобы сейчас же разнести их с проворством обезьяны по всем трем этажам нашего деревянного домика. Меня всегда возмущало это нахальное любопытство уличной толпы в таких случаях, а теперь в особенности, потому что мне казалось, что канатчик почти принадлежал мне, как собрат по профессии.

Главным неудобством моей комнаты было то, что она отделялась от хозяйской половины очень тонкой дощатой стенкой, и слышно было каждое слово, которое говорилось по обе ее стороны. Благодаря этому обстоятельству я в течение какого-нибудь месяца до тонкости узнал всю жизнь моих хозяев, до мельчайших подробностей. Во-первых, они были люди одинокие – муж и жена, может быть, даже и не муж и не жена, а я хочу сказать, что у них не было детей; во-вторых, они были люди очень небогатые, часто ссорились и вообще вели жизнь мелкого служилого петербургского класса. Он уходил в какую-то канцелярию ровно в одиннадцать часов и возвращался обыкновенно к обеду. Если он запаздывал или приходил навеселе, жена начинала на него ворчать, постепенно усиливая тон. Видимо, у него был прекрасный характер, потому что в таких случаях он начинал оправдываться виноватым голосом, просил прощения и вообще употреблял все средства, чтобы потушить беду

домашними средствами. Но все-таки он был большой хитрец. Я это знал по тем пустым словам, какими он старался заговорить жену. Он десятки раз коснеющим языком повторял самые нелепые объяснения своего поведения, пока жене не надоело слушать его глупости. Вся суть этой политики заключалась в том, чтобы выиграть время и не дать жене войти в раж. Впрочем, эти опыты гипнотизма не всегда удавались, и дело доходило до очень громких слов, взаимных укоров, подавленной ругани, швыряния разных предметов домашнего обихода и каких-то подозрительных пауз, которые разрешались сдержанными рыданиями жены. В таких исключительных случаях я считал своим долгом издавать предупредительный кашель, ронял на пол книгу или начинал ходить по комнате, стуча каблуками. Этот маневр моментально производил желанное действие, и сцена заканчивалась сердитым шепотом, тяжелым молчанием и такими движениями, точно кто-то кого-то отталкивал и не мог оттолкнуть. Нужно признаться, что я не злоупотреблял своим влиянием, потому что мое вмешательство, очевидно, шло в пользу только виноватой стороны, которой являлся всегда муж, а я не хотел быть его тайным сообщником. Накануне разыгралась именно одна из таких семейных бурных сцен, и поэтому утро было молчаливо-тяжелое. Меня интересовало, как сегодня вывернется мой легкомысленный хозяин, который, как мне было известно доподлинно, именно по утрам мучился угрызениями совести. И представьте себе, этот хитрец воспользовался смертью несчастного канатчика, чтобы помириться с женой! Он так громко его жалел, так вздыхал, высказал столько хороших чувств и даже сам сбегал посмотреть на покойника, чтобы удовлетворить разгоревшееся любопытство жены в качестве очевидца. По тону ее голоса я уже слышал, что ей просто лень сердиться и что ради повесившегося канатчика она готова совсем простить своего тирана. Мое предположение скоро подтвердилось: послышался с его стороны ласковый шепот и уговариванье, а потом поцелуй. Одним словом, канатчик точно нарочно повесился именно в это утро, чтобы поссорившиеся накануне супруги помирились...

– И хорошо сделал этот канатчик, черт возьми! – слышался голос мужа.

– А если у него маленькие дети остались? – слезливо отвечала жена.

– Почему непременно дети и почему непременно маленькие?

Меня всегда удивлял тот быстрый переход, который совершался вслед за таким примирением. Муж сразу делался другим человеком – уверенный тон, ответы полусловами, даже походка другая. Так было и теперь. Прощенный грешник, видимо, чувствовал себя прекрасно и даже, кажется, любезно ущипнул жену, потому что она подавленно взвизгнула и засмеялась, но в этот трогательный момент появилось третье лицо, которое вошло в комнату, не раздеваясь в передней. По первым фразам можно было заключить, что это третье лицо было своим человеком и притом, несмотря на сравнительно ранний час, было уже сильно навеселе и плохо владело заплетавшимся языком. По тону хозяина можно было заключить, что он не был рад неожиданному появлению гостя, который в другое время мог бы явиться спасителем семейного счастья, а сейчас просто не дал довести до конца счастливый момент. Сам гость упорно не желал замечать ничего и добродушнейшим образом что-то сюсюкал, причмокивал языком и топтался на одном месте, как привязанная к столбу лошадь.

Все эти события совершенно вышибли меня из рабочей колеи, и я, вместо того чтобы дописывать свою седьмую главу, глядел в окно и прислушивался ко всему, что делалось на хозяйской половине, совсем не желая этого делать, как это иногда случается.

Дальше я услышал, как хозяин что-то принялся рассказывать гостю, а тот одобрительно мычал.

– Отлично... Одобряю! – повторял пьяный голос. – А я сейчас к нему пойду познакомлюсь... да.

– Пожалуйста, оставьте, Порфир Порфирыч, – проговорила хозяйка. – Какое нам дело до других и какое мы имеем право мешать человеку?.. Наконец, я вас прошу, Порфир Порфирыч... Человек пишет, а вдруг вы ввалитесь, – кому же приятно в самом деле?

– Пишет? Та-ак... – тянул гость и с упрямством пьяного человека добавил: – А я все-таки пойду и познакомлюсь, черт возьми... Что же тут особенного? Ведь я не съем.

Я понял, что разговор шел обо мне и что хозяин своим молчанием поощряет намерение гостя, – проклятый плут за мой счет хотел выдворить непрошенного гостя, закончить прерванную сцену супружеского примирения в окончательной форме. Это меня, наконец, взбесило... Что им нужно от меня? Вот тебе и седьмая глава третьей части! Я приготовился

так принять незваного гостя, что он в следующий раз позабудет мой адрес. А тут чухонка Лиза заглянула в мою дверь без всякой причины, ухмыльнулась и скрылась, как крыса, укравшая кусок сала. Как хотите, это было уже слишком: за мой счет готовилось какое-то очень глупое представление.

– Она дома... – слышался предупреждавший шепот Лизы, когда в коридорчике, отделявшем мою комнату от кухни, слышались какие-то шмыгающие шаги, точно чьи-то ноги прилипали к полу.

## II

– Можно войти-с? – послышался голос за моей дверью, сопровождаемый пьяным причмокиванием и сдержанным хихиканьем Лизы.

– Войдите...

В дверях показался лысый низенький старичок, одетый в старое, потертое осеннее пальто; на ногах были резиновые калоши, одетые прямо на голую ногу. Обросшие бахромой, вытертые и точно вылощенные штаны служили только дополнением остального костюма, который, говоря откровенно, произвел на меня совсем невыгодное впечатление, и я даже подумал одно мгновение, что это какой-нибудь благородный отец, собирающий пяточки. Но старичок улыбнулся самым веселым образом и даже лукаво подмигнул мне, когда, как-то по-театральному, прочитал мне свою рекомендацию:

– Порфир Порфирыч Селезнев, литератор из мелкотравчатых... Прошу любить и жаловать. Да... Полюбите нас черненькими... хе-хе!.. А впрочем, не в этом дело-с... ибо я пришел познакомиться с молодым человеком. Вашу руку...

Бывают такие особенные люди, которые одним видом уничтожают даже приготовленное заранее настроение. Так было и здесь. Разве можно было сердиться на этого пьяного старика? Пока я это думал, мелкотравчатый литератор успел пожать мою руку, сделал преуморительную гримасу и удушливо расхохотался. В следующий момент он указал глазами на свою отставленную с сжатым кулаком левую руку (я подумал, что она у него болит) и проговорил:

– Я – раб, я – царь, я – червь, я – бог...

При последнем слове кулак разжался, и в нем оказалось несколько смятых кредиток.

– Это мой несгораемый шкаф, молодой человек... Хе-хе!.. Сколько вам нужно? Берите десять, пятнадцать...

– Позвольте, мне кажется странным... Одним словом, что вам угодно от меня?..

Порфир Порфирыч посмотрел на меня непонимающим взглядом, быстро опустился на мой стул у письменного стола и торопливо забормotal:

– Понимаю, понимаю... молодая гордость! Понимаю и не обижаюсь: так и должно быть. Это хорошо... Иначе оставалось бы сделать то же, что устроил ваш канатчик. А ведь какой хитрец... а? Я про канатчика... Вы только подумайте: у человека работишка совсем плохая, притом он должен кругом – хозяину за квартиру, в мелочную лавку, в кабак... да. Наконец, беднягу постоянно сосал червячок: эх, опохмелиться бы!.. Ну, и представьте себе, должен он целые дни тянуть эти проклятые веревки, целые дни думать, как ему извернуться, чтобы и голодная жена не ругалась, чтобы и своя голова не трещала и чтобы лавочник поверил в долг... И вот присмотрел он этакий гвоздь в своем сарайчике, приспособил веревочку и – готов. Это, скажу я вам, был истинный философ, который перехитрил все и всех. Понимаете: трах! – и ни долга в лавочку, ни платы за квартиру, ни похмелья, ни этих проклятых веревок, которые ему отравили всю жизнь. Я нахожу это недурным способом «раскланяться с здешним миром», как говорят китайцы. Главное, ремесло такое подлое у человека: вил, вил свои бесконечные веревки, ну, наконец, и соблазнился. На его месте всякий порядочный человек давно бы сделал то же самое...

Слушая эту пьяную болтовню, я рассматривал физиономию Порфира Порфирыча. Ему было за пятьдесят лет. Жиденькие, мягкие, седые, слегка вившиеся волосики оставались только на висках и на затылке; маленькая козлиная бородка и усы тоже были подернуты сединой. Когда-то это лицо было очень красиво – и большой умный лоб, и живые, темные, большие глаза, и правильный нос, и весь профиль. Теперь это лицо от великого пьянства и других причин было обложено густой сетью глубоких морщин, веки опухли, глаза смотрели воспаленным взглядом, губы блестели тем синеватым отливом, какой бывает только у записных пьяниц. Наконец, эти гримасы, причмокивания и подмигивания тоже говорили сами за себя.

Мое первоначальное решение выпроводить гостя без церемоний сменилось раздумьем: зачем гнать пьяного старика – поболтает и сам уйдет.



– Так вы, молодой человек, неужели никогда и ничего не слыхали про Порфира Порфириова Селезнева? – спрашивал старик, доставая берестяную тавлинку и делая самую аппетитную понюшку.

– Ничего не слыхал.

– Значит, и моего «Яблока раздора» не читали?

– Нет...

Старик вытащил из бокового кармана смятый лист уличной газетки и ткнул пальцем на фельетон, где действительно был напечатан рассказ «Яблоко раздора», подписанный П. Селезневым.

– Да-с, а теперь я напишу другой рассказ... – заговорил старик, пряча свой номер в карман. – Опишу молодого человека, который, сидя вот в такой конурке, думал о далекой родине, о своих надеждах и прочее и прочее. Молодому человеку частенько нечем платить за квартиру, и он по ночам пишет, пишет, пишет. Прекрасное средство, которым зараз достигаются две цели: прогоняется нужда и догоняется слава... Поэма в стихах? трагедия? роман?

Я сделал невольное движение, чтобы закрыть книгой роковую седьмую главу третьей части романа, но Порфир Порфирыч поймал мою руку и неожиданно поцеловал ее.

– Люблю, – шептал пьяный старик, не выпуская моей руки. – Ах, люблю... Именно хорош этот молодой стыд... эта невинность и девственность просыпающейся мысли. Голубчик, пьяница Селезнев все понимает... да! А только не забудьте, что канатчик-то все-таки повесился. И какая хитрая штука: тут бытие, вившее свою веревку несколько лет, и тут же небытие, повешенное на этой самой веревке. И притом какая деликатность: пусть теперь другие вьют эту проклятую веревку... хе-хе!

Порфир Порфирыч тяжело раскашлялся, схватившись за надсаженную простудой грудь, и даже выпустил из кулака деньги. Я подал ему стакан воды, и пьяница поблагодарил меня улыбнувшимися глазами. Меня начинала интересовать эта немного дикая сцена.

Собрав деньги с пола, старик разложил их на моем столе, пересчитал и с глубоким вздохом проговорил:

– Двадцать семь рубликов, двадцать семь сокольников... Это я за свое «Яблоко раздора» сцапал. Да... Хо-хо! Нам тоже пальца в рот не клади... Так вы не желаете взять ничего из сих динариев?

– Нет.

– Все равно пропью.

– Зачем пропивать?.. Вот у вас пальто холодное, а скоро наступит зима. Мало ли что можно приобрести на эти деньги?

– Вот вы говорите одно, а думаете другое: пропьет старый черт. Так? Ну, да не в этом дело-с... Все равно пропью, а потом зубы на полку. К вам же приду двугривенный на похмелье просить... хе-е!.. Дадите?

– Если у самого будут...

– О, юноша, юноша... Ну, да не в этом дело. Д-да... А слыхали вы, юноша, нечто о волчьем хлебе?

– Нет.

– Та-ак-с... А это вот какая история-с, юноша. Возьмите вы теперь волка, настоящего лесного волка, который по лесу бегаёт и этак зубами с голоду щелкает. Жалованья ему не полагается, определенных занятий не имеет, ну, одним словом, настоящий волк, которому на роду написано голодать. И вдобавок волк-то еще состарился: шерсть у него вылиняла, глаз притупился, на ухо туг, нос заржавел, зубы съел, – ну, ему вдвойне приходится голодать супротив молодых волков. Не идти же ему к дантисту: вставьте, мол, новые зубы и при этом позвольте-с очки... Так? И вдруг этому облезлому, беззубому волчищу этакий кус попадает?.. Хам! Неужели он по частям будет добычу размеривать? Сразу голубчик слопает, а потом опять голодать. Так и в нашем деле... Теперь поняли?.. Ведь это надо на своей коже испытать. А кстати, вот что, пойдёмте в одно место злачное?

– Куда?

– Да попросту в трактирное заведение... Чайку напьемся, машину послушаем, ибо душа требует простора, трубных звуков и сладкого забвения. Вы газеты читаете, а я просияю божественной теплотой. Знаете, как сказано у Гафиза: «Пустыня льву, лес птице и кабак Гафизу»... хе-хе!.. Там уж все наши в сборе. Ведь вы Гришука знаете? Нет? Ну, как вы, юноша, ничего не знаете. И Молодина не знаете? и полковника Фрея? Тэ-тэ... да ведь это такие праведники, без которых несть граду стояния... Одевайтесь и идемте. Все равно сегодня ничего писать не будете... Канатчик-то ведь повесился – вы и будете думать о нем. Вон и ножки болтаются.

На лекции идти было поздно, работа расклеилась, настроение было испорчено, и я согласился. Да и старик все равно не уйдет. Лучше пройтись, а там можно будет всегда бросить компанию. Пока я одевался, Порфир Порфирыч присел на мою кровать, заложил ногу на ногу и старчески дребезжавшим тенорком пропел:

Надо мной певала матушка,  
Колыбель мою качаючи:  
«Будешь счастлив, Калистратушка!»

Мы вышли. Порфир Порфирыч в порыве восторга ущипнул подвернувшуюся Лизу и за нанесенное оскорбление подарил двугривенный.

– На, чухоночка, где тебе взять... – бормотал старик, шлепая своими калошами.

Лиза проводила нас улыбающимися глазами и проговорила:

– У ней много денек... бокгатая!..

### III

На улице Порфир Порфирыч показался мне таким маленьким и жалким. Приподняв воротник своего пальто, он весь съежился, и я слышал, как у него начали стучать зубы.

– Мы автомедона возьмем... – решил он, изнемогая окончательно. – Эй, извозец, на Симеониевскую, четвертак!

Мы поехали.

– Вы не думайте, юноша, что я везу вас куда-нибудь, – объяснял Порфир Порфирыч, еще сильнее съеживаясь. – Самое избранное общество, и почти все с высшим образованием. Одним словом, газетные гоги и магоги... А меня ваша чухоночка подстроила: «она пишет... день пишет и ночь пишет». Э, думаю, нашего поля ягода... И потом жаль мне вас стало. Наверно, думаю, такой романище закатил в пяти частях, а самому жрать нечего. Помереть ведь можно над романищем-то. Вы в газетном борзописании не искушались? Э, батенька, сие не обогатит, а кусочек хлеба с маслом даст... Да вот я вас привезу прямо в академию, а там уж научат. Там собаку съели... Научат, как волчий хлеб добывать.

На Троицком мосту нас пронял довольно свежий ветер, и Порфир Порфирыч малодушно спрятался за меня.

– У меня личные неприятности с этим проклятым мостом, – объяснял он. – Сколько флюсов я износил из-за него... И всегда здесь проклятый ветер, точно в форточке. Изнемогаю в непосильной борьбе с враждебными стихиями...

Мы едва дотащились до Симеониевской улицы. Порфир Порфирыч вздохнул свободнее, когда мы очутились за гостеприимной дверью. Трактир из приличных, хотя и средней руки. Пившие чай купцы подозрительно посмотрели на пальто моего спутника и его калоши. Но он уделил им нуль внимания, потому что чувствовал себя здесь как дома.

– Агапычу сто лет... – здоровался он с буфетчиком, перекладывая деньги из правой руки в левую.

– Пожалуйте... – приглашал лакей, забегая перед Порфиром Порфировичем петушком. – Там уж компания-с...

Мы прошли общую залу и вошли в отдельную комнату, где у окна за столиком разместилась компания неизвестных людей, встретившая появление Порфира Порфирыча гулом одобрения, как театральный народ встречает короля.

– Отцы, позвольте презентовать прежде всего вам юношу, – бормотал Порфир Порфирыч, указывая на меня. – Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно... Не в этом дело-с. Василий Иванович Попов... Кажется, так?

– Да... – подтвердил я, здороваясь с новыми знакомыми.

Первое впечатление было не в пользу «академии». Ближе всех сидел шестифутовый хохол Гришук, студент лесного института, рядом с ним седой старик с военной выправкой – полковник Фрей, напротив него Молодин, юркий блондин с окладистой бородкой и пенсне. Четвертым оказался худенький господин с веснушчатым лицом и длинным носом.

– Тоже Попов, а попросту – Пепко, – сам отрекомендовался он, протягивая длинную сырую руку.

Мне почему-то показалось, что из всей «академии» только этот Пепко отнесся ко мне с какой-то скрытой враждебностью, и я почувствовал себя неловко. Бывают такие встречи, когда по первому впечатлению почему-то невлюбишь человека. Как оказалось впоследствии, я не ошибся: Пепко возненавидел меня с первого раза, потому что по природе был ревнив и относился к каждому новому человеку крайне подозрительно. Мне лично он тоже не понравился, начиная с его длинного носа и кончая холодной сырой рукой.

Много прошло лет с этого момента, и из действующих лиц моего рассказа никого уже не осталось в живых, но я всех их вижу, как сейчас. Вот молчаливый Фрей с его английской коротенькой трубочкой. Лицо точно вырублено топором, серые глаза навывкате, опущенные книзу серые усы, серая тужурка; он не любил говорить и умел слушать. Кто он такой, как попал в газетное колесо, почему полковник и почему Фрей – я так и не узнал, хотя имел

впоследствии с ним постоянно дело. Хохол Гришук был настоящий хохол – добродушный, ленивый, лукавый по-хохлацки и очень слабый до горилки. Молодин скоро выбыл из компании, пристроившись секретарем к какому-то дамскому благотворительному комитету, собиравшему тряпки, старые коробки из-под сардин и всякую непутную дрянь. Его видали потом уже в шинели с настоящими бобрами, но он отвертывался, не узнавая членов «академии». Да, я смотрю через призму двадцати лет на сидевшую за столиком компанию и могу только удивляться человеческой непроницательности. В трактир на Симеониевской меня привело простое любопытство, и я не подозревал, что в моей жизни это был самый решительный шаг. Бывают такие роковые дни, когда жизнь поворачивает в новое русло, а человек этого не чувствует, поддаваясь течению. Так было и тут. Предо мной открывалась совершенно новая жизнь, новые люди, новые интересы, и я присел к общему столику с скромною мыслью посидеть немного и уйти.

То же самое могу сказать о людях. Если бы человек мог провидеть будущее хоть немного... Я сейчас смотрю на Пепку и вижу его совсем другим, чем он мне показался с первого раза. Мог ли я себе представить, что именно с этим человеком будет связана целая полоса моей жизни, больше – самое горячее, дорогое время, которое называется молодостью. Вспоминая прошлое, я обобщаю свою молодость именно с Пепкой и иначе не могу думать. Это был мой двойник, мое alter ego. Милый Пепко, молодость, где вы? У меня невольно сжимается сердце, и мысленно я опять проделываю тот тернистый путь, по которому мы шли рука об руку, переживаю те же молодые надежды, испытываю те же муки молодой совести, неудачи и злключения... И мне хочется пожать эту холодную сырую руку, хочется слышать неровный крикливый голос Пепки, странный смех – он смеялся только нижней частью лица, а верхняя оставалась серьезной; хочется, наконец, видеть себя опять молодым, с единственным капиталом своих двадцати лет. Позвольте, это, кажется, получается маленькое отступление, а Пепко ненавидел лиризм, и я не буду оскорблять его памяти. В обиходе нашей жизни сентиментальности вообще не полагалось, хотя, говоря между нами, Пепко был самым сентиментальным человеком, какого я только встречал. Но я забегаю вперед.

Порфир Порфирыч торжественно подошел к столу и раскрыл свой несгораемый шкаф. Присутствующие отнеслись к скомканым ассигнациям довольно равнодушно, как люди, привыкшие обращаться с денежными знаками довольно фамильярно.

– Это твое «Яблоко раздора», Порфирыч? – сделал догадку один Гришук.

– Не в этом дело-с, – бормотал Селезнев, продолжая топтаться на месте. – Господа, разгладим чело и предадимся веселию. Ах, да, какой случай сегодня...

Пока «человек» «соображал» водку и закуску, Селезнев рассказал о повесившемся канатчике приблизительно в тех же выражениях, как говорил у меня в комнате.

– Ну, что же из этого? – сурово спросил Фрей, посасывая свою трубочку. – У каждого есть своя веревочка, а все дело только в хронологии...

Всех внимательнее отнесся к судьбе канатчика Пепко. Когда Селезнев кончил, он заметил:

– Что же, рассказец этот рублевикув на двенадцать можно будет вылепить... Главное, название хорошее: «Петля».

– Нет, брат, шалишь! – вступился Селезнев. – Это моя тема... У меня уже все обдуманно и название другое: «Веревочка». У тебя скверная привычка, Пепко, воровать чужие темы... Это уже не в первый раз.

– А не болтай... – сказал Пепко. – Никто за язык не тянет. Наконец, можно и на одну тему писать. Все дело в обработке сюжета, в деталях.

Когда была подана водка и закуска, Селезнев обратился ко мне:

– Ну, вот мы и дома... Выпьем, юноша.

– Я не пью.

Мой ответ, видимо, произвел неблагоприятное впечатление, а Пепко сделал какую-то гримасу, отвернулся и фыркнул. Я чувствовал, что начинаю краснеть. Зачем же тогда было идти в трактир, если не пить? Конечно, глупо. Чтобы поправиться, я взял рюмку и выпил, причем поперхнулся и закашлялся. Это уже вышло окончательно глупо, и Пепко имел право расхохотаться, что он и сделал. Мне даже показалось, что он обругал меня телятиной или

чем-то в этом роде. Я почувствовал себя среди этих академиков мальчишкой и готов был выпить керосин из лампы, чтобы показаться большим.

– Ничего, ничего, юноша... – успокаивал меня Селезнев. – Всему свое время... А впрочем, не в этом дело-с!..

Поданная водка быстро оживила всю компанию, а Селезнев захмелел быстрее всех. В общей зале давно уже была «поставлена машина», и под звуки этой трактирной музыки старик блаженно улыбался, причмокивал, в такт раскачивал ногой и повторял:

– Да-с, у каждого есть своя веревочка... Верно-с!.. А канатчик-то все-таки повесился... Кончено... *finita la commedia*...<sup>[7]</sup> Хе-хе!.. Теперь, брат, шабаш... Не с кого взять. И жена, которая пилила беднягу с утра до ночи, и хозяин из мелочной лавочки, и хозяин дома – все с носом остались. Был канатчик, и нет канатчика, а Порфир Порфирыч напишет рассказ «Веревочка» и получит за оный мзду...

Чтобы поправить свою неловкость с первой рюмкой, я выпил залпом вторую и сразу почувствовал себя как-то необыкновенно легко и почувствовал, что люблю всю «академию» и что меня все любят. Главное, все такие хорошие... А машина продолжала играть, у меня начинала сладко кружиться голова, и я помню только полковника Фрея, который сидел с своей трубкой на одном месте, точно бронзовый памятник.

– Он пишет роман... – рекомендовал меня Селезнев. – Да, черт возьми! Этакой священный огонь в некотором роде... Хе-хе!..

## IV

Дальнейшие события следовали в таком порядке, вернее сказать – в беспорядке. На другой день я проснулся в совершенно незнакомой мне комнате и долго не мог сообразить, где я и как я мог попасть сюда. Ответом послужила только нестерпимая головная боль... Но и эта боль ничто по сравнению с тем стыдом, который меня охватил. Боже мой, где я вчера был? как провел вечер? что делал, что говорил? В голове пронеслись обрывки чего-то ужасного, безобразного, нелепого... Мне начинало казаться, что весь вчерашний день являлся одним сплошным безобразием. Нечего сказать, хорош будущий романист... Для начала даже совсем недурно.

Немало меня смущало и то обстоятельство, что в комнате я был один. Я лежал на какой-то твердой, как камень, клеенчатой кушетке, а рядом у стены стояла кровать. По смятой подушке и обитому одеялу я мог сделать предположение, что на ней кто-то спал и вышел, а следовательно, должен вернуться. Кстати у меня мелькнул обрывок вчерашних воспоминаний. Мы вышли из трактира вместе с Пепкой, вышли под руку, как и следует друзьям. Потом Пепко остановился на углу улицы, взял меня за пуговицу и сообщил мне трагическим шепотом:

– Знаете, Попов, я – великая свинья...

Он, очевидно, рассчитывал на эффект этого открытия, а так как такового не получилось, то неожиданно прибавил:

– И все подлецы...

Последняя гипотеза была очень невыгодна для меня, но я почему-то счел неудобным оспаривать ее, кажется, даже подтвердил ее, мысленно выделив только самого себя. Да, да, именно так все было, и я отлично помнил, как Пепко держал меня за пуговицу.

На основании этого маленького эпизода я имел некоторое право догадываться, что нахожусь в квартире Пепки. Комната была большая, но какого-то необыкновенно унылого вида, вероятно благодаря абсолютной пустоте, за исключением моей кушетки, кровати, ломберного стола, одного стула и этажерки с книгами. Единственное окно упиралось куда-то в стену. По разложенным на столе литографированным запискам я имел основание заключить, что хозяин – студент, и это значительно меня успокоило. Впрочем, скоро послышался довольно крупный разговор, который окончательно вернул меня к действительности.

– Когда же вы мне деньги-то за квартиру отдадите, Попов? – слышался сердитый женский голос.

– Любезнейшая Федосья Ниловна, как только получу, так и отдам, – уверял мужской голос, старавшийся быть любезным. – Как только получу...

– Я уж это давно слышу. Пьянствовать вы можете, а денег за квартиру нет. Вчера вы в каком виде пришли, да еще какого-то пьяницу с собой привели...

Это, очевидно, относилось по моему адресу. Скверная баба, очевидно, не имела привычки церемониться с своими жильцами.

– Любезнейшая Федосья Ниловна, вы говорите совершенно напрасные женские слова, потому что находитесь не в курсе дела. Да, мы выпили, это верно, но это еще не значит, что у нас были свои деньги...

– Что же, вас даром поили?..

– Не даром, но предположите, что деньги могли быть у третьего лица, совершенно непричастного к настоящему вопросу о квартирной плате. Конечно, нравственная сторона всего дела этим не устраняется: мы были несколько навеселе, это верно. Но мир так прекрасен, Федосья Ниловна, а человек так слаб...

– Пожалуйста, не заговаривайте зубов... О, я вас отлично знаю!..

Где-то послышался сдержанный смех, затем дверь отворилась, и я увидел длинный коридор, в дальнем конце которого стояла средних лет некрасивая женщина, а в ближнем от меня Пепко. В коридор выходило несколько дверей из других комнат, и в каждой торчало по

любопытной голове – очевидно, глупый смех принадлежал именно этим головам. Мне лично не понравилась эта сцена, как и все поведение Пепки, разыгрывавшего шута. Последнее сказывалось главным образом в тоне его голоса.

Он вошел в комнату с сердитым лицом, припер за собой дверь, огляделся и поставил на стол полбутылки водки, две бутылки пива и достал из кармана что-то очень подозрительное, завернутое в довольно грязную бумажку.

– А на закуску-то и не хватило... – резюмировал Пепко тайный ход своих мыслей.

Он еще раз оглядел всю комнату, сердито сплюнул и швырнул свою длиннополую шляпу куда-то на этажерку. Мне показалось, что сегодняшней Пепко был совсем другим человеком, не походившим на вчерашнего.

– Главизна зело трещит? – обратился он ко мне, глядя куда-то в угол. – Нечего сказать, хороши мы были вчера... Одним словом, свинство!.. Нужно корректировать подлую природу...

Он еще раз оглядел всю комнату, еще раз посмотрел на дверь и еще раз плюнул.

– Проклятая баба... – ворчал Пепко, подходя к письменному столу и вынимая из письменного прибора вторую, чистую чернильницу. – Вот из чего придется пить водку. Да... А что касается пива... Позвольте...

Пепко с решительным видом отправился в коридор, и я имел удовольствие слышать, как он потребовал стакан отварной воды для полоскания горла. Очевидно, все дело было в том, чтобы добыть этот стакан, не возбуждая подозрений.

Когда я наотрез отказался опохмелиться, Пепко несколько времени смотрел на меня с недоверчивым изумлением.

– Вообще ничего не пью... – виновато оправдывался я. – Вчерашний случай вышел как-то сам собой, и я даже хорошенько не помню всех обстоятельств.

– И отлично! – согласился Пепко. – Кстати, вы, кажется, и не курите?

– Нет, не курю...

Пепко быстро окинул меня испытующим взором, а потом подошел и молча пожал руку.

– Я могу только позавидовать, – бормотал он, наливая водку в чернильницу. – Да, я глубоко испорченный человек... За ваше здоровье и за наше случайное знакомство. Виноват старый черт Порфирыч...

Две выпитых чернильницы сразу изменили настроение духа Пепки. Он как-то размяк и осовел. Явилась неудачная попытка спеть куплет из «Прекрасной Елены»:

...Но ведь бывают столкновенья,  
Когда мы нехотя грешим.

Мне нравилась в Пепке та решительность, которой недоставало мне. Он умел делать с решительным видом самые обыкновенные вещи. И как-то особенно вкусно делал... Например, как он развернул бумажку с подозрительным содержимым, которое оказалось обыкновенным рубцом.

– А знаете, Федосья прекрасная женщина, – говорил он, прожевывая свою жесткую закуску. – Я ее очень люблю... Эх, кабы горчицы, немножко горчицы! Полцарства за горчицу... Тридцать пять с половиной самых лучших египетских фараонов за одну баночку горчицы! Вы знаете, что комнаты, в которых мы сейчас имеем честь разговаривать, называются «Федосьиными покровами». Здесь прошел целый ряд поколений, вернее сказать – здесь голодали поколения... Но это вздор, потому что и голод понятие относительное. Вы не хотите рубца?..

Я великодушно отказался. По лицу Пепки я заметил, что он заподозрил во мне барина и сбавил мне цену. Размягченный водкой, он подсел ко мне на кушетку и заговорил о литературе. Это был опять новый человек. Пепко, видимо, упорно следил за литературой и говорил тоном знатока. Излишняя самоуверенность скрашивалась здесь его молодостью. Мы неожиданно разговорились, как умеют говорить в двадцать лет. Я, несмотря на свой

сдержанный характер, как-то невзначай разговорился и поверил Пепке свои самые задушевные планы. Дело в том, что мной была задумана целая серия романов, на манер «Ругонов» Золя. Пепко выслушал внимательно и отрицательно покачал головой.

– Вздор! – убежденно проговорил он, встряхивая головой. – Предприятие почтенное по замыслу, но, как простое подражание, оно не имеет смысла. Ведь Россия, голубчик, не Франция... Там в самом воздухе висит культура. А нам, то есть каждому начинающему автору, приходится проходить всю теорию словесности собственным горбом, начиная с поучения какого-нибудь Луки Жидяты. Да... До сих пор мы, русские, изобретаем еще часы, швейные машины и прочее, что давно известно. То же самое и в литературе. Прибавьте к этому наше полное незнание жизни и, главное, отсутствие этой жизни. Ну, где она? Всю жизнь мы просиживаем по своим норам и по норам помираем. Где-то там, далеко, люди живут, а мы только облизываемся или носим платье с чужого плеча. Неприятно, а правда... Если вы хотите узнать несколько жизнь, есть прекрасный случай. Вчера даже был разговор об этом.

– Припоминаю... Быть репортером?

– Да... Досыта эта профессия не накормит, ну, и с голоду окончательно не подохнете. Ужо я переговорю с Фреем, и он вас устроит. Это «великий ловец перед господом»... А кстати, переезжайте ко мне в комнату. Отлично бы устроились... Дело в том, что единолично плачу за свою персону восемь рублей, а вдвоем мы могли бы платить, ну, десять рублей, значит, на каждого пришлось бы по пяти. Подумайте... Я серьезно говорю. Я ведь тоже болтаюсь с газетчиками, хотя и живу не этим... Так, между прочим...

Это предложение застало меня совершенно врасплох, так что я решительно не мог ответить ни да, ни нет. Пепко, видимо, огорчился и точно в свое оправдание прибавил:

– А какие у меня соседи: рядом черкес, потом студент-медик, потом горняк... Все отличные ребята.

В этом предложении Пепки для меня заключалось начало моей собственной литературной веревочки.



Предложение Пепки переехать к нему в комнату вызвало во мне какое-то смутное чувство нерешимости. С одной стороны, моя комната «очертела» мне до невозможности, как пункт какого-то предварительного заключения, и поэтому, естественно, меня тянуло разделить свое одиночество с другим, подобным мне существом, – это инстинктивное тяготение к дружбе и общению – лучшая характеристика юности; а с другой, – я так же инстинктивно боялся потерять пока свое единственное право – сидеть одному в четырех стенах. Я уже сказал, что мой характер отличался некоторою скрытностью и я почти не имел друзей, а затем у меня была какая-то непонятная костность, почти боязнь переменить место. Являлся почти мистический страх: а если там будет хуже? Эта черта осталась на всю жизнь и принесла мне немало вреда. В данном случае решающим обстоятельством являлся все тот же повесившийся канатчик. Стоило мне подойти к окну и взглянуть на огород с капустой, как сейчас же являлась мысль о канатчике, и я не мог от нее отвязаться. Мне начинало казаться, что тень несчастного канатчика бродит по огороду и все-таки вьет свои веревки, хотя это и происходило главным образом в сумерки. Одним словом, что-то было нарушено в общем настроении, и меня неотступно преследовала эта совершенно вздорная мысль, относительно которой я не решился бы признаться самому близкому человеку.

А там, у Пепки, меня ждало общество и, главное, новые интересы. У меня не выходило из головы высказанное Пепкой предложение заняться репортерством, хотя я относительно этой специальности имел самые смутные представления. Взвешивая за и против все эти обстоятельства, я, наконец, решился оставить свою одинокую комнату. Хозяева отнеслись к моему решению совершенно индифферентно, как настоящие петербургские хозяева, которым все равно, кому бы ни сдавать лишнюю комнату. Кажется, искренне пожалела меня одна чухонка Лиза, которая краля мой сахар и чай самым добросовестным образом.

– Порфир Порфирыч екал? – догадывалась она, помогая мне вытащить мой тощий чемодан.

– Нет, к товарищу...

– Пьяница? – еще раз сделала она попытку угадать.

– Вы говорите глупости, Лиза...

Я чувствовал, что начинаю краснеть, и еще больше обозлился на проницательную чухонскую девицу. Нечего сказать, недурное напутствие...

Дальше опять следовала неприятность, именно, что Федосья встретила меня почти враждебно. И сам деревянный флигель, нижний этаж которого был занят «Федосьиними покровами», тоже, казалось, не особенно дружелюбно, смотрел на нового жильца своими слезившимися окнами... Вообще хорошего было мало, и я уже раскаивался, когда мой чемодан очутился в комнате Пепки. Ведь этим простым актом, как переезд на новую квартиру, я навсегда терял свою голодную свободу... Кто знает, что было бы, если бы я остался на старой квартире, и делается обидно, из каких ничтожных мелочей складывается то неизвестное, которое называется жизнью.

Пепко был дома и, как мне показалось, тоже был не особенно рад новому сожителю. Вернее сказать, он отнесся ко мне равнодушно, потому что был занят чтением письма. Я уже сказал, что он умел делать все с какой-то особенной солидностью и поэтому, прочитав письмо, самым подробным образом осмотрел конверт, почтовый штемпель, марку, сургучную печать, – конверт был домашней работы и поэтому запечатан, что дало мне полное основание предположить о его далеком провинциальном происхождении.

– Это прямо к тебе относится, – проговорил Пепко, развертывая аккуратно сложенное письмо, – он перешел на «ты» без всяких предисловий. – Вот, слушай... Это пишет моя добрая мать... «А больше всего, Агафоса, остерегайся дурных товарищей...» Понимаешь, не в бровь, а прямо тебе в глаз. Дальше: «... в столицах очень много блеска, но еще больше дурных примеров и дурных людей, которые совращают неопытных юношей с истинного пути». Неопытный юноша – это я... Какая милая наивность! Моя добрая мать не подумала только одного, что у каждого, даже столичного подлеца должна быть тоже одна добрая мать, которая думает то же самое, что и одна моя добрая мать. Признайся, ты, вероятно, получаешь точно такие же письма с мудрыми предостережениями относительно дурных товарищей?

Мне ничего не оставалось, как признаться, хотя мне писала не «одна добрая мать», а «один добрый отец». У меня лежало только что вчера полученное письмо, в таком же конверте и с такой же печатью, хотя оно пришло из противоположного конца России. И Пепко и я были далекими провинциалами.

Наш первый совместный день сложился под впечатлением этого письма «одной доброй матери» Пепки.

Пообедали мы дома разным «сухоястием», вроде рубца, дрянной колбасы и соленых огурцов. После такого меню необходимо было добыть самовар. Так как я имел неосторожность отдать Федосье деньги за целый месяц вперед, то Пепко принял с ней совершенно другой тон.

– Федосья Ниловна, не пожелаете ли вы водрузить нам самовар? – говорил он совсем другим тоном, точно сам заплатил за квартиру. – И, пожалуйста, поскорее.

Федосья как-то смешно фыркнула себе под нос и молча перенесла нанесенное ей оскорбление. Видимо, они были люди свои и отлично понимали друг друга с полуслова. Я, с своей стороны, отметил в поведении Пепки некоторую дозу нахальства, что мне очень не понравилось. Впрочем, Федосья не осталась в долгу: она так долго ставила свой самовар, что лопнуло бы самое благочестивое терпение. Пепко принимался ругаться раза три.

– Если бы у меня были часы, – повторял он с особою убедительностью, – я показал бы ей, что нельзя ставить самовар целый час. Вот проклятая баба навязалась... Сколько она испортила крови моего сердца и сока моих нервов! Недаром сказано, что господь создал женщину в минуту гнева... А Федосья – позор натуры и ужас всей природы.

Я заметил, что Пепко под влиянием аффекта мог достигнуть высоких красот истинного красноречия, и впечатление нарушалось только несколько однообразной жестикуляцией, – в распоряжении Пепки был всего один жест: он как-то смешно совал левую руку вперед, как это делают прасолы, когда щупают воз с сеном. Впрочем, священное негодование Пепки сейчас же упало, как только появился на столе кипевший самовар. Может быть, его добродушное старческое ворчанье напоминало Пепке его «одну добрую мать», а может быть, просто истощился запас энергии.

Помню, что спускался уже темный осенний вечер, и Пепко зажег грошовую лампочку под бумажным зеленым абажуром. Наш флигелек стоял на самом берегу Невы, недалеко от Самсониевского моста, и теперь, когда несколько затих дневной шум, с особенной отчетливостью раздавались наводившие тоску свистки финляндских пароходиков, сновавших по Неве в темные ночи, как светляки. На меня эти свистки произвели особенно тяжелое впечатление, как дикие вскрики всполошившейся ночной птицы.

– Как это странно, – говорил Пепко, выпив залпом три стакана, – как странно, что вот мы с тобой сидим и пьем чай...

– Что же тут странного?

– Даже очень странно, как вообще все в жизни. Нужно тебе сказать, что я постоянно удивляюсь тому, что делается кругом меня. Сделаем простое предположение: не будь «медного всадника» на Сенатской площади, и мы никогда бы не встретились. Мало того, не было бы и Петербурга, а лежало бы себе ржавое чухонское болото и «угрюмый пасынок природы» колотил бы свой дырявый челн... А теперь вот мы имеем удовольствие наслаждаться свистками этих подлых финляндских пароходишек. Лично мне затея Петра основать Петербург обошлась уже ровно в сорок рублей с копейками... да. Считай: пять концов по Николаевской железной дороге... Да, так меня удивляет вот то, что мы сидим и пьем чай: я – уроженец далекого северо-востока, а ты – южанин. Есть даже нечто трогательное в этом сближении, и, выражаясь высоким слогом, можно определить настоящий момент следующей формулой: в недрах «Федосьиных покровов», у кипящего самовара, далекий северо-восток подал руку далекому югу...

Очевидно, у Пепки была слабость к цитатам, чужим выражениям и высокому слогу, в чем я впоследствии мог убедиться уже окончательно. Выражаясь проще, кипевший самовар просто напоминал нам наши далекие гнезда, где, вероятно, тоже теперь пили чай и, быть может, тоже вспоминали отлетевших птенцов.

– А знаешь, что привело нас сюда? – неожиданно обратился ко мне Пепко, делая свой единственный жест. – Ты скажешь: любовь к знанию... жажда образования... Хе-хе!.. Все это

слова, хорошие слова, и все-таки слова... Сущность дела гораздо проще: образование образованием, а хорошо и свой кусочек пирога получить. Вот молодой провинциал и едет в Питер... Это настоящая осада, и каждый несет сюда самое лучшее, что только у него есть. Добродушная провинция сваливает сюда свое сырье, а получает обратно уже готовый фабрикат... Мена, во всяком случае, выгодная только фабриканту. Знаешь, у меня есть страсть весной бродить по кладбищам... Вот поучительная картина: сколько тут уложено нашего брата провинциала, который тащится в Петербург с добрыми намерениями вместо багажа. Тут и голод, и холод, и пьянство с голода и холода, и бесконечный ряд неудач, и неудовлетворенная жажда жить по-человечески, – все это доводит до преждевременного конца. А сколько по этим кладбищам гниет не успевших даже проявить себя талантов, сильных людей, может быть, гениев, – смотришь на эти могилы и чувствуешь, что сам идешь по дороге вот этих неудачников-мертвецов, проделываешь те же ошибки, повинуюсь простому физическому закону центростремительной силы. И на смену этих мертвецов являются новые батальоны, то есть мы, а на нашу смену готовятся в неведомой провинциальной глуши новые Пети и Коли. Страшно даже подумать, какая масса силы растрачивается совершенно непродуманно и с каким замечательным самопожертвованием провинция отдает столицам свою лучшую плоть и кровь. Но вместе с тем я не желаю обманывать себя и называю вещи своими именами: я явился сюда с скромной целью протиснуться вперед и занять место за столом господ. Одним словом, я хочу жить, а не прозябать...

– Как мне кажется, ты немножко противоречишь себе... Я не думаю, чтобы тебя привела сюда только одна жажда карьеры.

– Э, голубчик, оставим это! Человек, который в течение двух лет получил петербургский катарр желудка и должен питаться рубцами, такой человек имеет право на одно право – быть откровенным с самим собой. Ведь я средний человек, та безразличность, из которой ткется ткань жизни, и поэтому рассуждаю, как нитка в материи...

В этой реплике выступала еще новая черта в характере Пепки, – именно – его склонность к саморазъедающему анализу, самобичеванию и вообще к всенародному покаянию. Ему вообще хотелось почему-то показаться хуже, чем он был на самом деле, что я понял только впоследствии.

Свой первый вечер мы скоротали как-то незаметно, поддавшись чисто семейным воспоминаниям. В «Федосьиных покровах» раздалась сердечная нота и пахло теплом далекой милой провинции. Каждый думал и говорил о своем.

– Моя генеалогия довольно несложная, – объяснял Пепко с иронической ноткой в голосе. – Мои предки принадлежали к завоевателям и обрусителям, говоря проще – просто душили несчастных инородцев... Вообще наша сибирская генеалогия отличается большой скромностью и кончается дедушкой, которого гнали и истребляли, или дедушкой, который сам гнал и истреблял. В том и другом случае молчание является лучшей добродетелью. И у тебя не лучше... Э, да что тут говорить!.. Мы-то видим только ближайших предков, одного доброго папашу и одну добрую мамашу, которые уже сняли с себя кору ветхого человека.

Из этих рассуждений Пепки для меня ясно выступало только одно, именно – сам Пепко с его оригинальной, немного угловатой психологией, как те камни, которые высились на его далекой родине. Каждая мысль Пепки точно обрастала одним из тех чужеродных, бородатых лишайников, какими в тайге глушились родные ели. А из-под этого хлама выяснялась простая, любящая русская душа, со всеми присущими ей достоинствами и недостатками. Уже лежа в постели, Пепко еще раз перечитал письмо матери и еще раз комментировал его по-своему. В выражении его лица и в самом тоне голоса было столько скрытой теплоты, столько ласки и здорового хорошего чувства.

– Ах, какая забавная эта одна добрая мать, – повторял Пепко, натягивая на себя одеяло. – Она все еще видит во мне ребенка... Хорош ребеночек!.. Кстати, вот что, любезный друг Василий Иванович: с завтрашнего дня я устраиваю революцию – пьянство прочь, шатанье всякое прочь, вообще беспорядочность. У меня уже составлена такая таблица, некоторый проспект жизни: встаем в семь часов утра, до восьми умыванье, чай и краткая беседа, затем до двух часов лекция, вообще занятия, затем обед...

На последнем слове Пепко запнулся: в проспекте его жизни появлялась неожиданная прореха.

– А, черт, утро вечера мудренее! – ворчал он, закутываясь в одеяло с головой.

Через пять минут Пепко уже храпел, как зарезанный. А я долго не мог уснуть, что случалось со мной на каждом новом месте. В голову лезли какие-то обрывки мыслей, полузабытые воспоминания, анализы сегодняшних разговоров... А невыездные пароходы, как назло, свистели точно под самым ухом. Где-то хлопали невидимые двери, слышались шаги, говор, хохот – жизнь в «Федосьиных покровых» затихала очень поздно. Я пожалел свое покинутое одиночество еще раз и чувствовал в то же время, что возврата нет, а оставалось одно – идти вперед.

Мне вообще сделалось грустно, а в такие минуты молодая мысль сама собой уносится к далекому родному гнезду. Да, я видел далекие степи, тихие воды, ясные зори, и душа начинала ныть под наплывом какого-то неясного противоречия. Стоило ли ехать сюда, на туманный чухонский север, и не лучше ли было бы оставаться там, откуда прилетают эти письма в самодельных конвертах с сургучными печатями, сохраняя еще в себе как бы теплоту любящей руки?.. Меня начинал пугать преждевременный скептицизм Пепки... Засыпая, я составлял проспект собственной жизни и давал себе слово не отступать от него ни на одну иоту. Странно, что эта добросовестная работа нарушалась постоянно письмом «одной доброй матери» Пепки, точно протягивалась какая-то рука и вынимала из проспекта самые лучшие параграфы...

Составленный мной, совместно с Пепкой, «проспект жизни» подвергался большим испытаниям и требовал постоянных «корректировок», – Пепко любил мудреные слова, относил их к высокому стилю. Зависело это отчасти от несовершенства человеческой природы вообще, а с другой стороны – от общего строя жизни «Федосьиных покровов».

Вставали мы утром в назначенный час и проделывали все необходимое в установленный срок, а затем уходили на лекции. Это было лучшее наше время. Затем наступал обед... Мой бюджет составляли те шестнадцать рублей, которые я получал от отца аккуратно первого числа. Из них пять рублей шли на квартиру, шесть в кухмистерскую, а остаток на все остальное. Не скажу, что при таком скромном бюджете я особенно бедствовал. Напротив, рядом с Пепкой я чувствовал себя бессовестным богачом: бедняга ниоткуда и ничего не получал, кроме писем «одной доброй матери». Он голодал по целым неделям, молча и гордо, как настоящий спартаец. Я несколько раз предлагал ему свою посильную помощь, но получал в ответ холодное презрение.

– Вздор... пустяки... – бормотал Пепко и только в крайнем случае позволял позаимствовать гривенник, причем никогда не говорил: «гривенник», а непременно – «десять крейцеров».

В моменты случайной роскоши он вел счет на франки, и по этой терминологии можно было уже судить о состоянии его финансов.

Забота о насущном хлебе в самых скромных размерах являлась для Пепки проклятым вопросом, разрешение которого разбивало вдребезги лучшие параграфы нашего «проспекта жизни». Пепко устраивал всевозможные комбинации, чтобы раздобыть какой-нибудь несчастный рубль, и в большинстве случаев самые трогательные усилия в результате давали круглый нуль.

– Нет, в каком обществе я вращаюсь? – взывал обозленный Пепко, обращаясь к неумолимому року. – Мои добрые знакомые не имеют даже свободного рубля... Говоря между нами, это порядочные идиоты, потому что каждый нормальный человек обязательно должен иметь свободный рубль. Но это частность, а вообще судьба могла бы быть несколько пожеливее... Наконец, и моему терпению есть предел, черт возьми!.. Иду давеча мимо Федосьиной комнаты, а она что-то чавкает... Почему она может чавкать, а я должен вкушать от пищи святого Антония? Удивляюсь...

«Федосьины покровы» состояли из пяти комнат и маленькой кухни. Последнюю Федосья занимала сама, а комнаты сдавала жильцам. Самую большую занимали мы с Пепкой, рядом с нами жил «черкес» Горгедзе, студент медицинской академии, дальше другой студент-медик Соловьев, еще дальше студент-горняк Анфалов, и самую последнюю комнату занимала курсистка-медичка Анна Петровна. Общественное и материальное положение всех жильцов было приблизительно одинаково, за исключением студента Соловьева, который существовал игрой на бильярде. Он каждый вечер уходил к Доминику, где пользовался широкой популярностью и выигрывал порядочные «мазы». В общежитии это был очень скромный молодой человек, по целым дням корпевший над своими лекциями. Больше других голодал, повидимому, черкес Горгедзе, красавец мужчина, на которого было жаль смотреть – лицо зеленело, под глазами образовались темные круги, в глазах являлся злой огонек. Кажется, черкес отличался большим скептицизмом и даже не старался изыскать средств к пропитанию, как делал Пепко, а только по целым часам ходил по комнате, как маятник.

– Черкес голоден, – говорил Пепко, прислушиваясь к этому голодному шаганью. – Этакий лев, и вдруг ни манже, ни буар... Ведь такой зверь съест зараз целого барана, не то что медичка Анна Петровна: поклевала крошечек и сыта.

Курсистка была на особом положении и пользовалась общим вниманием. Федосья считала своей священной обязанностью следить за каждым ее шагом и относилась к ней с совершенно непонятной, какой-то загаенной злобой, как к сопернице по принадлежавшей ей, Федосье, «женской части» по преимуществу. Если Анна Петровна приходила часом позже, Федосья сейчас же сообщала нам об этом преступлении, улыбаясь самым ехидным образом. Ее томила мысль о том мужчине, который должен был быть у курсистки, – иначе Федосья не могла представить себе эту новую опасную часть. Но самые тщательные исследования не

могли открыть ни малейшего признака мифического мужчины, и Федосья приходила к логическому заключению, что все курсистки ужасно хитрые. Сама по себе Анна Петровна представляла собой серенькую, скромную девушку лет двадцати, – у нее были и волосы серые, и глаза, и цвет лица, и платье. Жила она монашенкой и по целым дням сидела в своей комнате, как мышь в норе, – ни одного звука. Пепко относился к ней с галантностью настоящего джентльмена и несколько раз предлагал свои маленькие услуги, какие должен оказывать истинный джентльмен каждой женщине. Эти скромные попытки встречали вежливый, но настойчивый отказ, так что Пепке оставалось только пожимать плечами, и он называл упрямую курсистку «женским вопросом», что, по его соображениям, выходило очень смешным и до известной степени обидным. Анна Петровна не желала ничего замечать и скромно отсиживалась в своей комнате, как настоящая схимница.

– Ей хорошо, – злостовал Пепко, – водки она не пьет, пива тоже... Этак и я прожил бы отлично. Да... Наконец, женский организм гораздо скромнее относительно питания. И это дьявольское терпение: сидит по целым неделям, как кикимора. Никаких общественных чувств, а еще Аристотель сказал, что человек – общественное животное. Одним словом, женский вопрос... Кстати, почему нет мужского вопроса? Если равноправность, так должен быть и мужской вопрос...

Мой переезд в «Федосьины покровы» совпал с самым трудным временем для Пепки. У него что-то вышло с членами «академии», и поэтому он голодал сугубо. В чем было дело – я не расспрашивал, считая такое любопытство неуместным. Вопрос о моем репортерстве потерялся в каком-то тумане. По вечерам Пепко что-то такое строчил, а потом приносил обратно свои рукописания и с ожесточением рвал их в мелкие клочья. Вообще, видимо, ему не везло, и он мучился вдвойне, потому что считал меня под своим протекторатом.

Да, наступили трудные дни...

Помню темный сентябрьский вечер. По программе мы должны были заниматься литературой. Я писал роман, Пепко тоже что-то строчил за своим столом. Он уже целых два дня ничего не ел, кроме чая с пеклеванным хлебом, и впал в мертвозлобное настроение. Мои средства тоже истощились, так что не оставалось даже десяти крейцеров. В комнате было тихо, и можно было слышать, как скрипели наши перья.

– А, черт... – ворчал Пепко, время от времени делая передышку.

Я боялся, что он попросит у меня несуществующие десять крейцеров, и молчал. Наконец, мучения Пепки перешли всякие границы, и он проговорил мрачным голосом:

– Есть десять крейцеров?

– Увы, нет...

Пепко заскрипел зубами от молчаливого отчаяния.

Какая это ужасная вещь – голод, особенно в молодые годы, когда организм так настойчиво предьявляет свои права на питание. Средним числом мне пришлось прожить впроголодь около десяти лет, и я отлично понимаю, что значит вечно недоедать. Теперь мне кажется странным, почему нам тогда не пришла самая простая мысль, именно – готовить обед самим... Стоило купить какой-нибудь крупы и заварить великолепную кашу. Питание сухоястием было вдвое дороже и не достигало цели. Даже рубец в нашем меню является большой роскошью... Удивительнее всего то, что студенты-медики на голодный желудок изучали свою гигиену, которая так любезно предлагает самые рациональные методы питания, а относительно самой обыкновенной русской каши глухо молчит. Впрочем, мы, как мужчины, могли и не догадаться, а вот почему тут же рядом молчаливо голодали наши медички, тогда как по своей женской части могли обсудить вопросы питания более практическим способом.

Итак, Пепко заскрипел с голода зубами. Он глотал слюну, челюсти Пепки сводила голодная позевота. И все-таки десяти крейцеров не было... Чтобы утишить несколько муки голода, Пепко улегся на кровать и долго лежал с закрытыми глазами. Наконец, его осенила какая-то счастливая идея. Пепко быстро вскочил, нахлобучил свою шляпу, надел пальто и бомбой вылетел из комнаты. Минут через десять он вернулся веселый и счастливый.

– Эврика! – проговорил он, добывая из кармана полфунта ржаного хлеба и полфунта дешевой лавочной колбасы. – Я перехитрил *fortunam adversam*...<sup>[8]</sup> Предадимся чревоугодию...

Пепко съел все с жадностью наголодавшегося волка, облегченно вздохнул и даже расстегнул свой пиджак, причем я убедился в отсутствии жилета.

– Проклятый закладчик дал всего десять крейцеров... – конфузливо проговорил Пепко на мой немой вопрос. – Ну, да это все равно: не в деньгах счастье.

Насытившись, Пепко сейчас же впал в самое радужное настроение. В такие минуты он обыкновенно доставал из своей библиотеки какой-нибудь женский роман и начинал его читать, иронически подчеркивая все особенности женского творчества. Нужно оказать ему справедливость, Пепко читал мастерски, а сегодня в особенности. Я хохотал до слез, поддаваясь его веселому настроению.

– «Он был среднего роста, с тонкой талией, обличавшей серьезную силу и ловкость»... Есть!.. «Но в усталых глазах (почему в усталых?) преждевременно светился недобрый огонек...» Невредно сказано: огонек! «Меланхолическое выражение этих глаз сменялось неопределенно-жесткой улыбкой, эти удивительные глаза улыбались, когда все лицо оставалось спокойным». Вот учись, как пишут...

Мы очень весело провели наш вечерний чай, позанимались еще часа два и, по программе, в девять часов улеглись спать.

– Я чувствую себя в положении боа-констриктора, который только что сожрал целого теленка, – объяснял Пепко, кутаясь в заношенном байковом одеяле. – Да... И вот страдания двадцать первого сентября закончились.

Пепко жестоко ошибся: страданиям не суждено было закончиться.

Мы только что потушили свои лампы и приготовились заснуть, как было назначено в нашей программе, но именно в этот критический момент в коридоре послышались легкие женские шаги, а затем осторожный стук в двери черкеса. «Войдите», – отвечал грубоватый мужской голос, а затем прибавил уже вполголоса совсем другим тоном: «Ах, это вы»... Дальше послышался сдержанный шепот и что-то вроде поцелуя...

– А, черт... – обругался Пепко в пространство, тяжело ворочаясь на своей кровати.

Благодаря тонкой дощатой стенке, отделявшей нашу комнату от комнаты черкеса, мы сделали настоящими мучениками. Стоявшая мертвая тишина чутко подхватывала малейший шорох, точно наша комната превратилась в громадный резонатор. А шепот продолжался, и ему аккомпанировал смущенно-счастливый смех... Я напрасно прятал голову в подушку, напрасно Пепко прятался с головой под одеяло, – мы были беззащитны. Если бы в соседней комнате кричали и хохотали во все горло, было бы лучше, чем этот раздражающий полусшепот, тихий смех и паузы.

– А, черт... – еще раз обругался Пепко, зажигая лампу. – Нет, это невозможно! Эти проклятые восточные люди думают только о себе...

Обозленный Пепко надел сапоги и в виде демонстрации зашагал по комнате, стуча каблуками. Но и это не помогло... Остановившись и прислушавшись, Пепко поднял высоко плечи и заявил:

– Ведь то же самое было и третьего и четвертого дня, когда ты уходил из дому... Но тогда приходили другие – я в этом убежден. По голосу слышу... О, проклятый черкес!.. Ты только представь себе, что вместо нас в этой комнате жила бы Анна Петровна?..

Пепко принял позу «последнего римлянина» к трагически воздел руки горе. Кстати, в этой позе Пепко видел все свои права на блестящее будущее и гордился ей.

## VII

Первые печатные строки... Сколько в этом прозаическом деле скрытой молодой поэзии, какое пробуждение самостоятельной деятельности, какое окрыляющее сознание своей силы! Об этом много было писано, как о самом поэтическом моменте, и эти первые поцелуи остаются навсегда в памяти, как полуистлевшие от времени любовные письма.

– Сегодня ты отправляешься в Энтомологическое общество от «Нашей газеты», – сурово заявил мне Пепко в одно совсем непрекрасное «после-обед».

– Что же я там буду делать? – откровенно недоумевал я.

– Будешь сидеть в заседании, запишешь доклад и прения, а завтра к утру составишь отчет... Самое простое дело.

– Но ведь я по части энтомологии ни бельмеса не смыслю... Что-то такое о жучках, бабочках, козявках...

– Именно, наука о козявках, мушках и таракашках, а в сущности – вздор и ерунда. Еще лучше, что ты ничего не смыслишь: будет свежее впечатление... А публике нужно только с пылу, горячего.

– Однако что же я буду писать, если незнаком даже с научной терминологией?

– Э, вздор... А впрочем, мне некогда.

Обстоятельства Пепки круто изменились к лучшему, и поэтому он относился свысока и ко мне и к Федосье. Он где-то напечатал свою «Петлю» и, кроме того, какие-то стишки, – последнее для меня было неожиданным открытием. Я не подозревал, что в Пепке самым скромным образом скрывался поэт... У меня даже явилось чувство зависти, когда Пепко принес номер уличного листка и показал мне свое произведение. Есть какое-то мистическое уважение к печатному слову, и я смотрел на стихи Пепки почти с благоговением, как и на его маленькие рассказы. Благодаря нахлынувшему богатству Пепко, во-первых, выкупил свой жилет, во-вторых, отправился в ресторан обедать и по пути напился и, в-третьих, возвращаясь домой, увидел в окне табачной лавочки гитару, которую и приобрел немедленно, как вещь необходимую в эстетическом обиходе «Федосьиных покровов». Оказалось, что Пепко, кроме поэтического жара, владел сладким искусством тренькать на гитаре какие-то ветхозаветные романсы и под аккомпанемент этого треньканья распевал «пшеничным тенорком» очень жалобные и чувствительные строфы.

– Эстетика в жизни все, – объяснял Пепко с авторитетом сытого человека. – Посмотри на цветы, на окраску бабочек, на брачное оперение птиц, на платье любой молоденькой девушки. Недавно я встретил Анну Петровну, смотрю, а у нее голубенький бантик нацеплен, – это тоже эстетика. Это в пределах цветовых впечатлений, то есть в области сравнительно грубой, а за ней открывается царство звуков... Почему соловей поет?..

– Послушай, Пепко, а в чем же я пойду в Энтомологическое общество? – спрашивал я, прерывая эту философию эстетики. – У меня, кроме высоких сапог и пестрой визитки, ничего нет...

– Э, вздор! Можешь надеть мои ботинки и мои штаны. Если тебя смущает твоя пестрая визитка, то пусть другие думают, что ты оригинал: все в черном, а ты не признаешь этого по твоим эстетическим убеждениям. Только и всего...

Это было еще то блаженное время, когда студенты могли ходить в высоких сапогах, и на этом основании я не имел другой, более эстетической обуви. Когда смущавший меня костюмерский вопрос был разрешен предложенным Пепкой компромиссом, я опять повергся в бездну малодушия, сознавая свою полную несостоятельность по части энтомологии. Пепко и тут оказался на высоте призвания: он относился к ученым свысока. Единственным основанием для этого могло служить только то, что он в течение трех лет своего студенчества успел побывать в технологическом институте, в медицинской академии, а сейчас слушал лекции в университете, разом на нескольких факультетах, потому что не мог остановиться окончательно ни на одной специальности. Самый способ слушания лекций у Пепки превращался в жестокую критику профессоров, причем он любил выражаться довольно



энергично: «балда», «старая подошва», «прохвост» и т. д. Пепко был вообще строг к ученым людям и, отправляя меня на заседание Энтомологического общества, говорил в назидание:

– Я тебе открою секрет не только репортерского писания, но и всякого художественного творчества: нужно считать себя умнее всех... Если не можешь поддерживать себя в этом настроении постоянно, то будь умнее всех хотя в то время, пока будешь сидеть за своим письменным столом.

Все это, может быть, было и остроумно и справедливо, но я испытывал гнетущее настроение, отправляясь на свою первую репортерскую экскурсию. Я чувствовал себя прохвостом, который забирается самым нахальным образом прямо в храм чистой науки. Вдобавок шел дождь, и это ничтожное обстоятельство еще больше нагоняло уныние.

Энтомологическое общество заседало у Синего моста, в помещении министерства. Сановитый и представительный швейцар с молчаливым презрением принял мое мокрое верхнее пальто с большим изъяном по части подкладки и молча ткнул пальцем куда-то вверх. Зачем существуют пестрые пиджаки и скверные осенние пальто с продырявленной подкладкой? Ах, сколько незаслуженных неприятностей я перенес именно от этих невиннейших по существу подробностей мужской костюмировки... Памятуя наставления своего друга, я принял вид оригинала, когда взбирался по широкой министерской лестнице во второй этаж. С этим же видом я подошел к какому-то начинающему молодому человеку, фигурировавшему в роли секретаря, и вручил ему свою верительную грамоту от редакции «Нашей газеты». Он так же молча, как швейцар, указал мне на отдельный стол. Как новичок, я забрался слишком рано и в течение целого часа мог любоваться лепным потолком громадной министерской залы, громадным столом, покрытым зеленым сукном, листами белой бумаги, которые были разложены по столу перед каждым стулом, – получалась самая зловещая обстановка готовившегося ученого пиршества. У меня что-то заныло под ложечкой, и я начал чувствовать, что постепенно теряю свою оригинальность, как человек, попавший на холод, теряет постепенно живую теплоту собственного тела.

Прошло с четверть часа, пока я осмотрелся и заметил двух молодых людей, шушукавшихся в углу залы. Это были, видимо, начинающие ученые, которые забралась в качестве новичков тоже раньше других. Потом явились еще и еще, и я мог наблюдать, как наука росла на моих глазах. Потом явились среднего возраста жрецы науки, которые держали себя уже своими людьми. Они разговаривали громко, фамильярно подавали руку секретарю и вообще проявляли такую развязность, которая заставляла меня только завидовать, как неудавшегося оригинала. Заседание открылось только с прибытием ученой женщины, солидно занявшей главное место. Я не помню, как около моего столика точно из земли вырос какой-то юркий молодой человек в золотых очках, который спросил меня без всяких предисловий:

– Вы от какой газеты? Прежде от «Нашей газеты» приходил сюда Молодин.

Шустрый молодой человек оказался представителем большой распространенной газеты и поэтому держал себя с соответствующим апломбом. Затем явились еще два репортера – один прилизанный, чистенький, точно накрахмаленный, а другой суровый, всклокоченный, с припухшими веками. Это уже было свое общество, и я сразу успокоился.

Не буду описывать ход ученого заседания: секретарь читал протокол предыдущего заседания, потом следовал доклад одного из «наших начинающих молодых ученых» о каких-то жучках, истребивших сосновые леса в Германии, затем прения и т. д. Мне в первый раз пришлось выслушать, какую страшную силу составляют эти ничтожные в отдельности букашки, мошки и таракашки, если они действуют оптом. Впоследствии я постоянно встречал их в жизни и невольно вспоминал доклад в Энтомологическом обществе.

Тут же в первый раз я имел удовольствие видеть специально ученую ложь, оснащенную стереотипными фразами: «беру на себя смелость сделать одно замечание уважаемому докладчику», «наш дорогой Иван Петрович высказал мнение», «не полагаясь на свой авторитет, я решаюсь внести маленькую поправку» и т. д. Меня удивляло это обилие никому не нужных канцелярских слов и торжественно-похоронное выражение лиц всех этих Иванов Петровичей, фигурировавших здесь в роли столпов науки и отцов отечества. Сколько ненужной лжи и дрянных, ненужных слов, интимной подкладкой которой служило только то, что молодые подающие надежды энтомологи-черви скромно подтачивали старые пни и гнилые колоды родной науки. Приблизительно происходило то же, что с немецким лесом, который был съеден ничтожными жуками.

Записал я все, что происходило, очень плохо, потому что отчасти был занят совершенно посторонними наблюдениями, а отчасти потому, что не умел еще быстро схватывать сущность доклада и прений. Поэтому, возвращаясь домой, я испытывал прилив самого мрачного отчаяния... Какой я репортер для ученых обществ?.. Что я буду писать и о чем? Никто не будет печатать мою галиматью, а если «Наша газета» напечатает, то будет еще хуже, потому что появится возражение. Одним словом, скверно, а всего сквернее то, что я никак не мог вообразить себя умным человеком.

Вернувшись домой, я застал Пепку уже в постели. Он спал сном младенца, и меня это огорчило: мне не с кем было даже поделиться своим отчаянием. Вообще скверно... Я мог только попросить Федосью разбудить меня завтра в шесть часов утра.

Утро было ужасное. Отчет должен был быть готов к восьми часам, и я работал, как приговоренный к смертной казни. Нужно было вылепить из отрывочных замечаний, занесенных в репортерскую книжку, хоть что-нибудь осмысленное и до известной степени целое. Это была жестокая практика... Убивало главным образом то, что нужно было кончить к восьми часам.

Пробило и восемь часов. Отчет был готов.

– Теперь носи его к Фрею, – говорил Пепко. – Его найдешь в трактире у Симеониевского моста... Я сегодня туда не пойду.

Предстояло новое испытание. Мне казалось, что Фрей отнесется ко мне с презрением и засмеется прямо в лицо. Но Фрей не высказал никаких особых враждебных чувств, а молча просмотрел мой первый опыт, молча сунул его себе в карман и самым равнодушным тоном проговорил:

– Хорошо...

«Академия» тоже встретила меня равнодушно, точно я всю жизнь только и делал, что писал отчеты о заседаниях Энтомологического общества.

Какой тяжелый день, какая тяжелая ночь! Нет ничего тяжелее и мучительнее ожидания. Я даже во сне видел, как за мной гнались начинающие энтомологи, гикали и указывали на меня пальцами и хохотали, а вся земля состояла из одних жучков...

Наступило утро, холодное, туманное петербургское утро, пропитанное сыростью и болотными миазмами. Конечно, все дело было в том номере «Нашей газеты», в котором должен был появиться мой отчет. Наконец, звонок, Федосья несет этот роковой номер... У меня кружилась голова, когда я развешивал еще не успевшую хорошенько просохнуть газету. Вот политика, телеграммы, хроника, разные известия.

– Напечатан? – спрашивает Пепко.

От волнения я пробегаю мимо своего отчета и только потом его нахожу. «Заседание Энтомологического общества». Да, это моя статья, моя первая статья, мой первородный грех. Читаю и прихожу в ужас, какой, вероятно, испытывает солдат-новобранец, когда его остригут под гребенку. «Лучшие места» были безжалостно выключены, а оставалась сухая реляция, вроде тех докладов, какие делали подающие надежды молодые люди. Пепко разделяет мое волнение и, пробежав отчет, говорит:

– Ничего...

– Как ничего?.. А что скажут господа ученые, о которых я писал? Что скажет публика?.. Мне казалось, что глаза всей Европы устремлены именно на мой несчастный отчет... Весь остальной мир существовал только как прибавление к моему отчету. Роженица, вероятно, чувствует то же, когда в первый раз смотрит на своего ребенка...

– Ничего... – тянул из меня душу Пепко. – Завтра ты отправляешься в университет, на ученый диспут; какой-то черт написал целую диссертацию о греческих придыханиях...

Как же это так, вдруг: вчера жучки, а завтра греческие придыхания? Я только тут в первый раз почувствовал себя литературным солдатом, который не имеет права отказываться даже самым вежливым образом...

## VIII

Мое репортерство быстро пошло в ход, и в какой-нибудь месяц я превратился в заурядного газетного сотрудника. Меня уже не смущала больше моя пестрая визитка, потому что были и другие репортеры, которые настойчиво желали быть оригиналами. Громадное неудобство этой работы заключалось в том, что она отнимала ужасно много времени. Приходилось в день заседания уходить из дому часов в семь вечера и возвращаться в час, а затем утром писать отчет и нести его в трактир. Одним словом, уходил почти целый день. Такая работа в результате давала в среднем от рубля до двух за отчет. Считая от десяти до пятнадцати ученых заседаний в месяц, мой заработок колебался между двадцатью и тридцатью рублями. Цифра для меня являлась громадной, особенно принимая во внимание, что это были первые заработки, дававшие известную самостоятельность и даже некоторое уважение к собственной особе. Да, я уже являлся составной частью того живого целого, которое называется ежедневной газетой. Про себя я очень гордился своей первой литературной работой и был рад, что начал службу простым рядовым. Теперь для меня раскрывалась другая сторона газетного дела, которая для обыкновенного газетного читателя не существует, – за этими печатными строчками открывался оригинальный живой мир, органически связанный вот именно с таким печатным листом бумаги. Настоящий газетный сотрудник, в общежитийском смысле, погибший человек, потому что после пяти-шести лет газетной работы он настолько въедается в свое дело, что теряет всякую способность к другой работе. Я видел настоящих фанатиков газетного дела, как тот же полковник Фрей. Меня поражала прежде всего его изумительная аккуратность – аккуратность настоящего старого газетного солдата, который знал только одно, что «газета не ждет». Мне пришлось проработать с ним вместе около трех лет, и не было случая, когда бы он опоздал хоть на пять минут.

Газетное братство распалось на целый ряд категорий: передовики, фельетонисты, хроникеры, заведывающие отделами вообще и просто мелкая газетная сошка. В сущности получалось две неравных «половины»: с одной стороны – газетная аристократия, как модные фельетонисты, передовики и «наши уважаемые сотрудники», а с другой – безыменная газетная челядь, ютившаяся на последних страницах, в отделе мелких известий, заметок, слухов и сообщений. Особенно сильная борьба шла именно в этом последнем отделе газетных микроорганизмов, где каждая напечатанная строка являлась синонимом насущного хлеба. Я быстро понял эту газетную философию: каждая напечатанная мной строка отнимала у кого-то его кусок хлеба. Отсюда своя подводная борьба за существование, свои бури в стакане воды, свои интриги, симпатии и антипатии. Типичным человеком в этом отношении являлся полковник Фрей, который со всеми был знаком и доставлял работу. На его голову сыпались самые тяжелые обвинения, его упрекали чуть не в воровстве, ему устраивали неприятные сцены, и он все выносил, оставаясь на своем посту. Лично я с особенным удовольствием вспоминаю о нем, как о человеке, который так просто отнесся ко мне с первого раза и так до конца. И прочие члены «академии» тоже относились хорошо, и мне делается грустно, что их уже нет – последним умер полковник Фрей.

Что же свело их в преждевременную могилу? Ответ довольно грустный: пьянство... Происходило это и от беспорядочности самой работы, и от периодических голодовок, и, может быть, по установившейся годами традиции. Я уже описал свою первую встречу с «академией»; последующие встречи были только повторением. Утром «академия» заседала в трактире Агапыча, а вечером перекочевывала в соседнюю портерную. Здесь раздавалась работа, здесь обсуждались свои газетные дела, здесь проходила вся жизнь под давлением винных паров. Это была самая грустная страница в жизни нашей газетной богемы... Мы с Пепкой не могли избавиться от установившегося режима и время от времени сильно напивались. Происходило это без предварительного намерения, а как-то само собой, как умеет напиваться русский человек в обществе другого хорошего русского человека. Мало-помалу это вошло даже в привычку, особенно в трудную минуту, когда дома есть было нечего, а тут Агапыч открывал маленький кредит и портерная тоже.

После каждого излишества Пепко испытывал припадки самого жестокого раскаяния, хотя и называл каждый случай пьянства «ошибкой» или описательно – «мы немного ошиблись». Было тяжело смотреть на него в эти минуты.

– Смотри и молча презирай меня! – заявлял Пепко, еще лежа утром в постели. – Перед тобой надежда отечества, цвет юношества, будущий знаменитый писатель и... Нет, это невозможно!.. Дай мне орудие, которым я мог бы прекратить свое гнусное существование. Ах, боже мой, боже мой... И это интеллигентные люди? Чему нас учат, к чему примеры лучших людей, мораль, этика, нравственность?..

– Да будет тебе, Пепко! Надоел... Причитаешь, как наемная плакальщица.

– Нет, ты посмотри на мою рожу... Глаза красные, кожа светится пьяным жиром – вообще самый гнусный вид кабацкого пропойцы.

За этим немедленно следовал целый реестр искупающих поступков, как очистительная жертва. Всякое правонарушение требует жертв... Например, придумать и сказать самый гнусный комплимент Федосье, причем недурно поцеловать у нее руку, или не умываться в течение целой недели, или – прочитать залпом самый большой женский роман и т. д. Странно, чем ярче было такое раскаяние и чем ужаснее придумывались очищающие кары, тем скорее наступала новая «ошибка». В психологии преступности есть своя логика...

Прилив средств и необходимость деловых сношений с «академией» совершенно нарушали всю программу нашей жизни, хотя мы и давали каждый день в одиночку и сообща самые торжественные клятвы, что это последняя «ошибка» и ничего подобного не повторится. Но эти добрые намерения принадлежали, очевидно, к тем, которыми вымощен ад.

– Что же это такое? – зывал Пепко, изнемогая в борьбе с собственной слабостью. – Еще один маленький шаг, и мы превратимся в настоящих трактирных героев... Мутные глаза, сизый нос, развинченные движения, вечный запах перегорелого вина – нет, благодарю покорно! Не согласен... К черту всю «академию»! Я еще молод и могу подавать надежды, даже очень просто... Наконец, благодарное потомство ждет от меня соответствующих поступков, черт возьми!..

Пока Пепко предавался своему унылому самоедству, судьба уже приготовила корректив.

Произошло это совершенно неожиданно, как происходят только серьезные вещи в жизни.

Дело происходило на святках. Ученые общества прекратили свою деятельность, и мы могли воспользоваться по усмотрению своей голодной свободой. Семейных знакомств у нас не было, да и не могло быть благодаря отсутствию приличных костюмов. Все это было очень грустно, особенно в такие семейные праздники, как святки. Все веселились, у всех был свой семейный угол, и мы особенно ярко чувствовали свое унылое одиночество. Пепко с каким-то ожесточением решительно ничего не делал, валялся целые дни на кровати и зудил на гитаре до тошноты, развивая в себе и во мне эстетический вкус. Иногда, достигнув конечного предела одурения, он вскакивал, кого-то ругал в пространство, убежал из дому и через десять минут возвращался с сильным запахом водки.

– А, черт... – ворчал он, хватаясь опять за гитару.

Произошла очень печальная история, которая случается при совместном сожительстве: мы надоели друг другу... Все разговоры были переговорены, интересы исчерпаны, откровения сделаны – оставалось только скучать. Все привычки, недостатки и достоинства были известны взаимно, как платье, физиономии, жесты, интонации голоса и т. д. Незаметно мы старались не видеть друг друга, уходя из дому на целые дни. Это было самое лучшее, что можно было сделать в нашем положении. Именно в один из таких тяжелых дней, когда я скрылся из дому к знакомому студенту-технологу, и произошло то, что перевернуло жизнь Пепки наирадикальнейшим образом.

Как отчетливо я помню этот проклятый зимний день, гнилой, серый, тоскливый! Вместо снега на мостовой лежала какая-то жидкая каша. Я нарочно засиделся у своего знакомого подольше, чтобы вернуться домой, когда Пепко уже спит, – от скуки он в праздники заваливался спать с десяти часов. Я возвращался в самом скверном настроении, проклиная погоду, праздники, собственную молодость. На мостках через Неву меня продуло самым беспощадным образом, точно самые стихии ополчились на беззащитного молодого человека. Наконец, вот и наш дом, наш флигелек. На звонок вышла Федосья и встретила меня загадочной улыбкой, – она умела улыбаться самым глупым образом.

– Что такое случилось, Федосья Ниловна?

Вместо ответа Федосья только фыркнула и мотнула головой по направлению нашей комнаты, откуда раздавались звуки польки-грамблян. Значит, еще Пепко не спал... Отворяю дверь и от изумления превращаюсь в знак вопроса. Представьте себе совершенно невероятную картину: на моей кушетке сидел Пепко с гитарой, приняв какую-то особую позу жуирующего молодого человека, а перед ним... Нет, это нужно писать другим пером и другими чернилами... В нашей комнате кружились две пары самых очаровательных масок: два «турка», цыганка и «Ночь». «Турки» были своего домашнего приготовления, и не нужно было особенной проницательности, чтобы угадать в них переодетых девушек. Да, это были настоящие маски, тот милый маскарад, который не требовал объяснений. И все-таки я решительно ничего не понимал... На столе, где лежали мои рукописи, стояли три пустых бутылки из-под пива, две тарелки с объедками колбасы и сыра, два веера и перчатки не первой молодости.

– Рекомендую: мой друг, – рекомендовал меня Пепко. – Отличный парень, а главное – замечательный талант.

– В каком смысле? – осведомилась Ночь, подавая мне холодную, длинную и худую руку.

– Во всяком, милая Ночь...

Маски сбились в одну кучку и о чем-то шушукались. Очевидно, мое появление нарушило трогательный семейный праздник. Впрочем, скоро все уладилось само собой. Храбрее всех оказались «турки», которые первыми сняли маски, а их примеру последовала цыганка. В результате этого разоблачения оказались три молодых, довольно милостивых рожицы, улыбающихся и хихикающих самым задорным образом. Упорнее всех оказалась Ночь, которая ни за что не хотела снимать маску. Пепко пустил в ход какой-то дипломатический подвох, чтобы «обнаружить прелестную незнакомку», которая оказалась девушкой средних лет, с какими-то испуганными темными глазами.

– Ну, вот и отлично! – одобрял Пепко, принимаясь за свою гитару.

– Что это значит? – спросил я, продолжая не понимать.

– Что значит? В нашем репертуаре это будет называться: месть проклятому черкесу... Это те самые милые особы, которые так часто нарушали наш проспект жизни своим шепотом, смехом и поцелуями. Сегодня они вздумали сделать сюрприз своему черкесу и заявили все вместе. Его не оказалось дома, и я пригласил их сюда! Теперь понял? Желал бы я видеть его рожу, когда он вернется домой...

У нас открылся настоящий бал. Появилось новое пиво, а с ним разлилось и новое веселье. Наши маски оказались очень милыми и веселыми созданиями, а Пепко проявил необыкновенную галантность – нечто среднее между турецким пашой и французским маркизом конца грешного восемнадцатого века.

– Гризетки из Латинского квартала, – резюмировал Пепко свои впечатления и как-то особенно глупо захохотал; я его видел в женском обществе в первый раз.

Говоря откровенно, девушки были очень недурны и дурачились так мило, точно разыгравшиеся котята. Мы танцевали кадрили, польки, вальсы – вообще развеселились. Потом начались святочные игры, пение, все те маленькие глупости, которые проделываются молодежью с таким усердием. Пепко проявлял все свои таланты, и наши дамы хохотали над ним до слез. Он сам вошел в свою роль и тоже хохотал.

– Позвольте, однако, mesdames, как вас зовут? – спохватился Пепко немножко поздно.

– Угадайте...

Пепко посмотрел на них и по какому-то наитию проговорил с полной уверенностью:

– Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья-премудрость...

По странной случайности оказалось, что это было именно так, и Пепко, увлекшись своей ролью прорицателя, подошел к Ночи, взял ее за руку и проговорил:

– А ты – Любовь, то есть любовь и в частности и вообще.

## IX

– Что такое женщина? – спрашивал Пепко на другой день после нашего импровизированного бала. – За что мы любим эту женщину? Почему, наконец, наша Федосья тоже женщина и тоже, на этом только основании, может вызвать любовную эмоцию?.. Тут, брат, дело поглубже одной физики...

Затем Пепко сделал рукой свой единственный жест, сладко зажмурил глаза и кончил тем, что бросился на свою кровать. Это было непоследовательно, как и дальнейшие внешние проявления собственной Пепкиной эмоции. Он лежал на кровати ничком и болтал ногами; он что-то бормотал, хихикал и прятал лицо в подушку; он проявлял вообще «резвость дитяти».

– Что с тобой, Пепко?

– Со мной? Что со мной?.. Я влюблен в Федосью... Ххе!.. По-моему, она бальзаковская женщина с очень колоритным темпераментом, и я посвящу ей стихи.

Пепко вскочил со своего ложа, остановился посреди комнаты и совершенно неожиданно захохотал, сделав глупое лицо.

– Что такое женщина?.. О, ты не знаешь, что такое женщина!

По всем признакам Пепко мучился желанием рассказать мне что-то очень пикантное и вместе с тем не решался. Я мог сделать довольно основательное предположение по адресу вчерашних масок, – мы их провожали вместе, а потом разлучились; на мою долю досталось провожать двух сестер, Веру и Надежду, а Пепко провожал Ночь и мать, премудрость Софью. Домой вернулся он очень поздно, когда я уже спал, и утром не желал поделиться своими впечатлениями. Настоящий разговор происходил уже после обеда, когда на Пепку напала томящая жажда соткровенничать.

– Если не ошибаюсь, тебя угнетает какая-то тайна? – заметил я, подавая реплику.

– О, ты проник на самое дно моей души, мой друг... Да, величайшая тайна, больше – тайна женщины. А впрочем, подозрение да не коснется жены цезаря!

– Где цезарь, Пепко?

– Цезарь – это я, то есть цезарь пока еще в возможности, in spe. Но я уже на пути к этому высокому сану... Одним словом, я вчера лобзнул Ночь и Ночь лобзнула меня обратно. Привет тебе, счастливый миг... В нашем лице человечество проявило первую попытку сделать продолжение издания. Ах, какая девушка, какая девушка!..

– По-моему, она очень некрасива...

– А глаза?.. И мир, и любовь, и блаженство... В них для меня повернулась вся наша грешная планетишка, в них отразилась вся небесная сфера, в них мелькнула тень божества... С ней, как говорит Гейне, шла весна, песни, цветы, молодость.

Освободившись от своей тайны, Пепко, кажется, почувствовал некоторое угрызение совести, вернее сказать, ему сделалось жаль меня, как человека, который оставался в самом прозаическом настроении. Чтобы несколько стушевать свою бессовестную радость, Пепко проговорил каким-то фальшивым тоном, каким говорят про «дорогих покойников»:

– А эта белокуренькая Надежда ничего... Этакой пухленький чертенок. Я заметил, как она поглядывала на тебя. И ты в свою очередь...

– Нельзя ли меня оставить в покое.

– Гм, твое дело... Если не ошибаюсь, Вера и Надежда – сестры, и, если не ошибаюсь, у них есть мамаша, то есть они живут при мамаше?

– Да, что-то в этом роде... Они приглашали нас к себе как-нибудь в воскресенье. Очень милые девушки вообще...

– Да, милые... А Горгедзе?..

– Он просто знакомый... Бывает у них. Ничего особенного...

– Гм, да... Вещь обыкновенная.

Пепко вдруг замолчал и посмотрел на меня, стиснув зубы. В воздухе пронеслась одна из тех невысказанных мыслей, которые являются иногда при взаимном молчаливом понимании. Пепко даже смутился и еще раз посмотрел на меня уже с затаенной злобой: он во мне начинал ненавидеть свою собственную ошибку, о которой я только догадывался. Эта маленькая сцена без слов выдавала Пепку головой... Пепко уже раскаивался в своей откровенности и в то же время обвинял меня, как главного виновника этой откровенности.

Мне приходится сделать маленькое отступление и вернуться назад. Дело в том, что у Пепки была настоящая тайна, о которой он не говорил, но относительно существования которой я мог догадываться по разным аналогиям и логическим наведениям. Познакомившись с ним ближе, я, во-первых, открыл существование в его инвентаре нескольких вещей, настолько ненужных, что их даже нельзя было заложить, и которые Пепко тщательно прятал: вышитая шелком закладка для книг, таковая же перотерка и т. д.; во-вторых, я сделался невольным свидетелем некоторых поступков, не соответствовавших общему характеру Пепки, и, наконец, в-третьих, время от времени на имя Пепки получались таинственные письма, которые не имели ничего общего с письмами «одной доброй матери» и которые Пепко, не распечатывая, торопливо прятал в карман. Не нужно было особенной пронизательности, чтобы догадаться о существовании какой-то невидимой женской руки, протягивавшейся в «Федосьины покровы» прямо к сердцу Пепки. Федосья была убеждена в существовании этой таинственной особы и с ехидством обезьяны каждый раз сама приносила письма Пепке.

– Опять письмо... – говорила она, пожирая глазами Пепку.

– А, черт!.. – ругался Пепко.

Было раз даже так, что Федосья вошла в нашу комнату на цыпочках и проговорила змеиным сипом:

– Вас спрашивает какая-то дама...

Пепко вылетел в коридор, как бомба. Там действительно стояла дама, скрывавшая свое лицо под густой вуалью. Произошел короткий диалог, и дама ушла, а Пепко вернулся взбешенный до последней степени. Его имя компрометировалось пред лицом всех обитателей «Федосьиных покровов».

Именно этот эпизод с таинственной незнакомкой и промелькнул перед нашими внутренними очами после сделанного Пепкой признания о лобзании. Мужчина, обманывающий женщину, вообще гадок, а Пепко еще не был настолько испорченным, чтобы не чувствовать сделанной гадости. Мучила молодая совесть...

Когда Пепко после утренней откровенности вышел, в комнату заявила Федосья. Она как-то особенно старательно вытирала пыль и кончила тем, что обратилась ко мне с следующим воззванием:

– Самый невероятный Фома!..

– Кто?..

– А сам-то Агафон Павлыч... Разве это хорошо: и даму обманывает и девушку хочет обмануть. Конечно, она глупая девушка...

– Какую даму?

– А та, которая с письмами... Раньше-то Агафон Павлыч у ней комнату снимал, ну, и обманул. Она вдова, живет на пенсии... Еще сама как-то приходила. Дуры эти бабы... Ну, чего лезет и людей смешит? Ошиблась и молчи... А я бы этому Фоме невероятному все глаза выцарапала. Вон каким сахаром к девушке-то подсыпался... Я ее тоже знаю: швейка. Дама-то на Васильевском острове живет, далеко к ней ходить, ну, а эта ближе...

«Фома невероятный», переделанный Федосьей в «Фому невероятного», получил специальное значение в смысле вообще неверности. Я выслушал Федосью молча, а потом ответил:

– Меня удивляет, Федосья Ниловна, ваша слабость говорить о том, чего вы не знаете...

– Я-то не знаю?!

Федосья сделала носом какой-то шипящий звук, взмахнула тряпкой и вышла из комнаты с видом оскорбленной королевы. Я понял только одно, что благодаря Пепке с настоящего дня

попал в разряд «Фомы невероятного».

События полетели быстрой чередой. Пепко имел вид заговорщика и в одно прекрасное февральское утро заявил мне, что в следующее воскресенье мы отправимся к Вере и Надежде.

– У этих милых девушек один недостаток: надежда должна быть старше веры, eo ipso,<sup>[9]</sup> а в действительности Вера старше Надежды. Но с этой маленькой хронологической неточностью можно помириться, потому что она умеет так хорошо улыбаться и смотреть такими светлыми глазами...

– Надеюсь, что твоя Ночь будет там?

– Ну, этого я не знаю, – откровенно соврал Пепко. – Может быть...

Вера и Надежда обитали в глубинах Петербургской стороны. Когда мы шли к ним вечером в воскресенье, Пепко сначала отмалчивался, а потом заговорил, продолжая какую-то тайную мысль:

– Да вообще, ежели рассудить...

– Что рассудить?

– А вот хоть бы то, что мы сейчас идем. Ты думаешь, что все так просто: встретились случайно с какими-то барышнями, получили приглашение на журфикс и пошли... Как бы не так! Мы не сами идем, а нас толкает неумолимый закон... Да, закон, который гласит коротко и ясно: на четырех петербургских мужчин приходится всего одна петербургская женщина. И вот мы идем, повинясь закону судеб, влекомые наглядной арифметической несообразностью...

– А ты не можешь без философии?

– Самому дороже стоит...

Квартира наших новых знакомых помещалась во втором этаже довольно гнусного флигеля. Первое впечатление получалось довольно невыгодное, начиная с темной передней, где стоял промозглый воздух маленькой тесной квартирки. Дальше следовал небольшой зал, обставленный с убогой роскошью. В ожидании гостей все было прибрано. Нас встретила довольно суровая дама, напоминавшая нашу собственную Федосью. Впоследствии она оказалась матерью Веры и Надежды. Это было, как пишут в афишах, лицо без речей. В зале уже сидел какой-то офицер, то есть не офицер, а интендантский чиновник в военной форме, пожилой, лысый, с ласково бегавшими масляными глазами.

– Люба обещала прийти... – заметила белокурая Надежда, поглядывая на Пепку улыбающимися глазками.

– Я не знаю, как ты решилась ее пригласить, – брезгливо ответила Вера, пожимая плечами. – Мы с ней познакомились в Немецком клубе перед рождеством. Впрочем, я это так...

Мы чувствовали себя не в своей тарелке, пока не подан был самовар; прислуги не было, и «отвечала за кухарку» все та же мамаша. Некоторое оживление внес седой толстый старик фельдшер с золотой цепочкой, который держал себя другом дома. Он называл девиц попросту Верочкой и Наденькой. Они почему-то хихикали, переглядывались и даже толкали смешного старика. Разговор шел о Немецком клубе и неизвестных нам общих знакомых. Я молчал самым глупым образом, а Пепко что-то врал о провинциальных клубах, в которых никогда не бывал. В общем все-таки ничего интересного не получалось. Самая обыкновенная кисленькая чиновничья вечеринка. Пепко уже несколько раз с тоской посматривал на дверь, вызывая улыбку Нади. Она говорила ему глазами: «придет, не беспокойтесь».

Сами по себе барышни были среднего разбора – ни хороши, ни худы, ни особенно молоды. Мне нравилось, что они одевались очень скромно, без всяких претензий и без помощи портнихи. Младшая, Надежда, белокурая и как-то задорно здоровая, мне нравилась больше старшей Веры, которая была красивее, – я не любил брюнеток.

– Ну, братику, мы попали в небольшое, но избранное общество, – шепнул мне Пепко, отводя в сторону. – От скуки челюсти свело... Недостает еще отца дьякона, гитары и домашней наливки, которая пахнет кошкой.



Мне тоже казалось что-то подозрительное во всей обстановке. Чего-то недоставало и что-то было лишнее, как лысая интендантская голова и эта мамаша без слов. К числу действующих лиц нужно еще прибавить ветхозаветное фортепиано красного дерева, которое имело здесь свое самостоятельное значение, – «мамаша без слов» играла за тапера и аккомпанировала Верочке, исполнявшей с большим чувством самые модные романсы. Под это фортепиано мы с Пепкой много танцевали впоследствии, так что я сейчас вспоминаю о нем, как о живом свидетеле наших хореографических упражнений. Увы! – нынче такие цимбалы исчезли даже в глубинах Петербургской стороны, а с ними исчезло и дешевенское веселье.

Скучавший Пепко не подозревал, какой сюрприз готовила ему роковая судьба. Он вздрогнул, когда в передней забренчал звонок. Это была она... Надя посмотрела на Пепку улыбающимися глазами и выскочила встречать гостя. Послышались поцелуи, говор и молодой смех. Она вошла в сопровождении какого-то очень франтоватого молодого человека иудейского происхождения. Он отрекомендовался помощником провизора, и Пепко побледнел, пожираемый муками ревности. А она была сегодня почти красива, что можно было объяснить быстрой ходьбой, а быть может – обществом интересного кавалера. Юркий еврейчик держал себя с большой развязностью, и барышни чувствовали его своим человеком.

– Я его убью... – сообщил мне Пепко по секрету. – Посмотри, какая отвратительная морда!

Ослепленный страстью, Пепко был несправедлив, потому что еврейчик мог сойти за очень красивого молодого человека, а особенно хороши были горячие темные глаза. Общее впечатление портила только эта специально провизорская юркость. Впрочем, Пепко скоро примирился с своею участью, чему отчасти способствовала поданная во-время закуска. Девушка Любовь держала себя с большим тактом, и я подозреваю, что она явилась в сопровождении своего кавалера с заранее обдуманном намерением, именно, чтобы подвинтить в Пепке ревнивое чувство.

После ужина последовали танцы, причем Пепко лез из кожи, чтобы затмить проклятого провизора. Танцевал он очень недурно. Потом следовала вокальная часть, – пела Верочка модные, только что вышедшие романсы: «Только станет смеркаться немножко», «Вьется ласточка» и т. д. Фельдшер не пел и не танцевал, а поэтому исполнил свой номер отдельно.

– Илья Самсоныч, пожужжите, – приставала к нему Надя.

Старик поломался, выпил залпом две рюмки водки и принялся жужжать пчелой. Барышни хохотали до слез, да и все остальные почувствовали себя как-то легче. Интендантский чиновник хотя и танцевал, но должен был изображать спящую на диване болонку, что выходило тоже смешно. Это разнообразие талантов возбудило в Пепке зависть.

– Господа, у кого есть пятиалтынный? – спрашивал он.

Пятиалтынный нашелся, и Пепко согнул его двумя пальцами, – у него была страшная сила в руках. Этот фокус привел фельдшера в восторг, и он расцеловал подававшего надежды молодого человека.

– О, вы далеко пойдете! – повторял старик.

Вечер закончился полной победой Пепки: он провожал свою Любовь и этим уже уничтожал провизора. Я никого не провожал, но тоже чувствовал себя недурно, потому что в передней Надя так крепко пожала мою руку и прошептала:

– Вы приходите как-нибудь один...

Странно, что, очутившись на улице, я почувствовал себя очень скверно. Впереди меня шел Пепко под ручку с своею дамой и говорил что-то смешное, потому что дама смеялась до слез. Мне почему-то вспомнилась «одна добрая мать». Бедная старушка, если бы она знала, по какой опасной дороге шел ее Пепко...

Мои занятия шли своим чередом. Все свободное время, которое у меня оставалось, шло на писание романа. То была работа Сизифа, потому что приходилось по десяти раз переделывать каждую главу, менять план, вводить новых лиц, вставлять новые описания и т. д. Недоставало прежде всего знания жизни и технической опытности. Я знал, как смотрит на мою работу Пепко, и старался писать, когда его не было. Кстати, теперь он часто исчезал из дому, особенно по вечерам. Сначала он подыскивал какие-нибудь предлоги для этих таинственных путешествий, обманывая больше всего самого себя, а потом начал пропадать уже без всяких предлогов. Я делал вид, что ничего не замечаю и не интересуюсь его поведением, и продолжал катить свой камень. У этого первого произведения было всего одно достоинство: оно дало привычку к упорному самостоятельному труду. Да, труда было достаточно, а главное – была цель впереди, для которой стоило поработать. Время от времени наступали моменты глухого отчаяния, когда я бросал все. Ну, какой я писатель? Ведь писатель должен быть чутким человеком, впечатлительным, вообще особенным, а я чувствовал себя самым заурядным, средним рабочим – и только. Я перечитывал русских и иностранных классиков и впадал в еще большее уныние. Как у них все просто, хорошо, красиво и, главное, как легко написано, точно взял бы и сам написал то же самое. И как понятно – ведь я то же самое думал и чувствовал, что они писали, а они умели угадать самые сокровенные движения души, самые тайные мысли, всю ложь и неправду жизни. Что же писать после этих избранных, с которыми говорила морская волна и для которых звездная книга была ясна...

Первоначальная форма романа была совершенно особенная, без глав и частей. Кажется, чего проще – разбить поэму на части и главы, а между тем это представляло непреодолимые трудности, – действующие лица никак не укладывались в предполагаемые рамки, и самое действие не поддавалось расчленению. Одним словом, мне приходилось писать так, как будто это был первый роман в свете и до меня еще никто не написал ничего похожего на роман. Действие получалось самое запутанное, так что из каждой главы можно было сделать самостоятельный роман. А затем действующие лица так мало походили на живых людей, начиная с того, что резко разграничивались на два разряда – собственно героев и мерзавцев по преимуществу. Это было то же, если бы в мире было всего два цвета – белый и черный, а спектр не существовал. Настоящая жизнь еще не давала красок. Да и какая это была жизнь: описать свое родное гнездо, когда Гоголь уже навеки описал юг, описывать свою школу, студенчество, репортеров, Федосью, Пепку, фельдшера, как он жужжит мухой, пухленькую Надю, – все это было так серо, заурядно и не давало ничего. Вообще было достаточно оснований для отчаяния... Пепко был прав, когда говорил об отсутствии у нас жизни: она шла где-то там, далеко, вне поля нашего зрения. Да и что можно было написать, сидя в своей проклятой муры? Я начал ненавидеть свою комнату, Федосью, всех квартирантов; это была та стена, которая заслоняла от меня настоящую жизнь. Оставалась надежда на будущее, и я хватался за нее, как утопающий хватается за соломинку.

Впрочем, была одна область, в которой я чувствовал себя до известной степени сильным и даже компетентным: это – описание природы. Ведь я так ее любил и так тосковал по ней, придавленный петербургской слякотью, сыростью и вообще мерзостью. У меня в душе жили и южное солнце, и высокое синее небо, и широкая степь, и роскошный южный лес... Нужно было только перенести все это на бумагу, чтобы и читатель увидел и почувствовал величайшее чудо, которое открывается каждым восходящим солнцем и к которому мы настолько привыкли, что даже не замечаем его. Вот указать на него, раскрыть все тонкости, всю гармонию, все то, что благодаря этой природе отливается в национальные особенности, начиная песней и кончая общим душевным тоном. Свои описания природы я начал с подражаний тем образцам, которые помещены в хрестоматиях, как образцовые. Сначала я писал напыщенно-риторическим стилем а la Гоголь, потом старательно усвоил себе манеру красивых описаний а la Тургенев и только под конец понял, что к гоголевская природа и тургеневская – обе не русские, и под ними может смело подписаться всякая другая природа, за очень немногими исключениями. Настоящая равнинная Русь чувствуется только у Л. Толстого, а горная – у Лермонтова, – эти два автора навсегда остались для меня недостижимыми образцами. Над выработкой пейзажа я бился больше двух лет, причем мне много помогли русские художники-пейзажисты нового реального направления. Я не пропускал ни одной выставки, подробно ознакомился с галереями Эрмитажа и только здесь

понял, как далеко ушли русские пейзажисты по сравнению с литературными описаниями. Они схватили ту затаенную, скромную красоту, которая навевает специально-русскую хорошую тоску на севере; они поняли чарующую прелесть русского юга, того юга, который в конце концов подавляет роскошью своих красок и богатством светотени. И там и тут разливалась специально наша русская поэзия, оригинальная, мощная, безграничная и без конца родная... Красота вообще – вещь слишком условная, а красота типичная – величина определенная. Северные сумерки и рассветы с их шелковым небом, молочной мглой и трепетным полуосвещением, северные белые ночи, кровавые зори, когда в июне утро с вечером сходится, – все это было наше родное, от чего ноет и горит огнем русская душа; бархатные синие южные ночи с золотыми звездами, безбрежная даль южной степи, захватывающий простор синего южного моря – тоже наше и тоже с оттенком какого-то глубоко неудовлетворенного чувства. Бледная северная зелень-скороспелка, бледные северные цветики, контрастирующая траурная окраска вечно зеленого хвойного леса с его молитвенно-строгими готическими линиями, унылая средне-русская равнина с ее врачующим простором, разливы могучих рек, – все это только служило дополнением могучей южной красоты, горевшей тысячью ярких живых красок-цветов, смуглой, кожистой, точно лакированной южной зеленью, крулившимися купама южных деревьев. С каким удовольствием я проверял свои описания природы по лучшим картинам, сравнивал, исправлял и постепенно доходил до понимания этого захватывающего чувства природы. Мне много помогло еще то, что я с детства бродил с ружьем по степи и в лесу и не один десяток ночей провел под открытым небом на охотничьих привалах. Под рукой был необходимый живой материал, и я разрабатывал его с упоением влюбленного, радуясь каждому удачному штриху, каждому удачному эпитету или сравнению.

Работа в газете шла чередом. Я уже привык к ней и относился к печатным строчкам с гонорарной точки зрения. Во всяком случае, работа была интересная и очень полезная, потому что вводила в круг новых знаний и новых людей. Своих товарищей-репортеров я видал очень редко, за исключением неизменного Фрея. «Академия» попрежнему сходилась в трактире Агапыча или в портерной. Прихожу раз утром, незадолго до масленицы, с отчетом в трактир.

– Их нет-с... – заявил Агапыч, осклабясь.

– Как нет?

– Точно так-с: были да все вышли-с. А промежду прочим вы их найдете в портерном заведении...

Я инстинктивно почувствовал, что случилось что-то особенное, если даже Фрей изменил насиженному месту. Прихожу в портерную и нахожу всю «академию» in cogro.<sup>[10]</sup> Был налицо даже Порфир Порфирыч, пропадавший бесследно в течение нескольких месяцев. Несмотря на ранний час, все были уже пьяны, и даже Фрей покраснел вместе с шеей. Мое появление вызвало настоящую бурю, потому что все были рады поделиться с новым человеком новостью.

– Ау, братику! – крикнул Гришук, размахивая длинными руками.

– Не в этом дело, юноша... – бормотал Порфир Порфирыч, ухватив меня за руку. – Не в этом дело-с, а впрочем, весьма наплевать...

– Что такое случилось, господа?..

Фрей разъяснил все одной фразой:

– «Наша газета» приказала долго жить... Приостановка на три месяца. Да...

– Почему? как?..

– А мы с одним министерством будировали, ну, нас и по шапке. Дрянь дело, вообще...

Все было ясно «и даже очень просто», как объяснил Порфир Порфирыч, причмокивая и притопывая, – он был специально пьян по случаю закрытия газеты.

– Ох, и мер же я все это время, юноша, – объяснял он мне, подмигивая. – Вот как мер... Даже распух с голоду. Работать не мог, все болит, башка пустая – ложись и помирай. А тут хозяйка за квартиру требует, из дому выйти не в чем... Не в этом дело, юноша! Ибо не подох, а жив, и жива душа моя. Учись, о юноша, житейской философии... Например, некоторый пьяница не хотел умирать с голоду, а посему отправился к некоторому добродетельному

гробовщику со слезницей, – «так и так, выручай». Ну, гробовщик осмотрел натуру оного пьяницы и предложил ему преломить хлеб, а затем облек в этакую подлую похоронную хламиду, дал в руки черный фонарь и рек: «Иди факельщиком и получай мзду, даже до двух двугривенных». – «А как же вы, милостивец, другим факельщикам даете по полтине?» – «У других натура выше, а с тебя и сорока копеек достаточно». И пьяница шел по Невскому с фонарем, скрывая свой срам воротником... Это раз. Второе: тот же гробовщик пожалел пьяницу и пристроил его в оперу «народом», и пьяница ходил по сцене с бумажной трубой, изображал ногами морскую бурю, ползал черепахой и паки и паки получал мзду. Да, юноша, труден и тернист путь, а отрада обходится дорого... Но не в этом дело, ибо истинный мудрец смеется над собственными несчастьями, ибо выше их.

Искусственная пьяная бодрость не могла скрыть общего тяжелого настроения. Положение во всяком случае получалось критическое, потому что впереди предстояли три голодных месяца. Было о чем подумать, тем более что все жили одной литературной поденщиной. Рабочая машина остановилась на полном ходу, и все очутились на улице. В других газетах места были, конечно, заняты, и нечего было думать устроиться даже в приблизительной форме. Главным страдающим лицом от приостановки издания являлись именно мы, мелкая сошка. Главари могли выждать три месяца, а нам «кусать» было нечего.

– Скверно! – резюмировал Фрей общее положение дел, как капитан севшего на мель корабля. – Да... Человек, кружку!..

Не получив утром газеты, Пепко тоже прилетел в «академию», чтобы узнать новость из первых рук. Он был вообще в скверном настроении духа и выругался за всех. Все чувствовали, что нужно что-то такое предпринять, что-то устроить, вообще вывернуться Фрей сердито кусал свои усы и несколько раз ударял кулаком по столу, точно хотел вышибить из него какую-то упрямую мысль, не дававшуюся добром.

– Молодой человек, ведь вам к экзамену нужно готовиться? – обратился он ко мне. – Скверно... А вот что: у вас есть богатство. Да... Вы его не знаете, как все богатые люди: у вас прекрасный язык. Да... Если бы я мог так писать, то не сидел бы здесь. Языку не выучишься – это дар божий... Да. Так вот-с, пишете вы какой-то роман и подохнете с ним вместе. Я не говорю, что не пишете, а только надо злобу дня иметь в виду. Так вот что: попробуйте вы написать небольшой рассказец.

– Право, я не знаю... Ничего не выйдет.

– А вы попробуйте. Этак в листик печатный что-нибудь настрочите... Если вас смущает сюжет, так возьмите какую-нибудь уголовщину и валяйте. Что-нибудь слышали там, у себя дома. Чтобы этакий *couleur locale*<sup>[1]</sup> получился... Есть тут такой журналец, который платит за убийства. Все-таки передышка, пока что...

– Попробую...

– Спасибо после скажете.

Порфир Порфирыч с своей стороны давал советы Пепке. Общее несчастье еще теснее сблизило всех.

– Есть у меня некоторый содержатель хора певич, – рассказывал старик. – Он такой же запойный, как и я. Ну, в одной трущобе познакомились... У него такая уж зараза: как попала вредная рюмочка – все с себя спустит дотла. А человек талантливый: на музыку кладет цыганские романсы. Ну и предлагает мне написать романс и предлагает по четвертаку за строку... А я двух стихов не слеплю, тем более что тут особенное условие: нужно, чтобы везде ударение приходилось на буквы а, о и е. Только и всего. Даже смысла не нужно, а этакое поэтическое... Ну, да ты пописываешь стишки, так понимаешь. Дело отменное во всяком случае...

Пепко размыслил и изъявил согласие познакомиться с таинственным хормейстером. Он и не подозревал, что этой работой предвосхищает поэзию последующих декадентов.

– А, черт, все равно! – ворчал он, сердито ероша волосы. – Будем писать а, о и е.

Все наперерыв строили планы нового образа жизни и советовали друг другу что-нибудь. Меньше всего каждый думал, кажется, только о самом себе. Товарищеское великодушие выразилось в самой яркой форме. В портерной стоял шум и говор.

– Ну, а вы что думаете, полковник? – приставали к Фрею.

– Я? А не знаю... Впрочем, кажется, придется обратиться к Спирьке.

– Э, да вон и сам он, легок на помине!

В портерную входил среднего роста улыбающийся седой старик купеческой складки с каким-то иконописным лицом и сизым носом.

– Про волка промолвка, а волк в хату, – весело заговорил купец, здороваясь. – Каково прыгаете, отцы? Газетину-то порешили... Ну, что же делать, случается и хуже. Услыхал я и думаю: надо поминки устроить упокойнице... хе-хе!..

– Уж пронюхал, Спиридон Иваныч, где жареным пахнет!..

– Жареное-то впереди... К Агапычу, што ли, отцы?..

Решено было справить тризну у Агапыча. Дорогой, когда мы шли из портерной, Спирька взял меня под руку и проговорил:

– Приятно познакомиться, молодой человек, а ежели что касаемо, например, денег... Сколько вам нужно?..

Я отказался и даже обиделся. Но Пепко разъяснил мне на лестнице:

– Денег предлагал Спирька? Не беспокойся, не даст... Этот фокус он проделывает с каждым новичком, чтобы пофорсить. Вот по части выпивки – другое дело. Хоть обливайся... А денег не даст. Продувная бестия, а впрочем, человек добрый. Выбился в люди из офеней-книгонош, а теперь имеет лавчонку с книгами, делает издания для народа и состоит при собственном капитале. А сейчас он явился, чтобы воспользоваться приостановкой газеты и устроить дешевку... Ему нужны какие-нибудь книжонки.

Тризна вышла на славу. Мне еще в первый раз приходилось видеть в таком объеме трактирную роскошь. Спирька все время улыбался, похлопывал соседа по плечу и, когда все подвыпили, устроил зараз несколько дел.

– Ты мне, полковник, оборудуй роман, да чтобы заглавие было того, позазвонистее, – говорил Спирька. – А уж насчет цены будь спокоен... Знаешь, я не люблю вперед цену ставить, не выдавши товару.

– Ладно, знаю, – сумрачно отвечал полковник. – Опять надуешь...

– Я? накую? Да спроси Порфирыча, сколько он от меня хлеба едал... Я-то накую?.. Ах ты, братец ты мой, полковничек... Потом еще мне нужно поправить два сонника и «Тайны природы». Понимаешь? Работы всем хватит, а ты: надуешь. Я о вас же хлопочу, отцы... Название-то есть для романа?

– Есть: «Тайны Петербурга».

– Тайны? Ну, оно, пожалуй, начетисто нынче с тайнами-то: у меня уж есть «Тайны Мадрита», «Тайны Варшавы»... А промежду прочим увидим... хе-хе...

Спиридон Иванович Редкин был типичным дополнением «академии». Он являлся в роли шакала, когда чуял легкую добычу, как в данном случае. Заказывая романы, повести, сборники и мелкие брошюры, он вопрос о гонораре оставлял «впредь до усмотрения». Когда приносили совсем готовую рукопись, Спирька чесал в затылке, морщился и говорил:

– А ведь мне не нужно твоего романа...

– Как не нужно? Ведь вы же заказывали, Спиридон Иванович...

– Разве заказывал? Как будто и не упомяну... Куды мне с твоим романом, когда своего хлама не могу сбыть.

Это было стереотипное вступление, а затем, поломавшись по положению, Спирька говорил:

– Ну, уж для тебя только возьму... На затычку уйдет.

Под рукопись выдавался такой микроскопический аванс, что даже самая скромная бактерия наверно умерла бы с голоду. Остальные деньги следовали «по напечатанию» и тоже выдавались аптекарскими дозами, причем Спирька любил платить натурой, то есть предметами первой необходимости, как шуба, пальто, сапоги и другие принадлежности костюма, причем в его пользу оставался известный процент, по соглашению с лавочником. Платить наличными деньгами Спирька терпеть не мог и вытягивал жилы мелкими подачками. И все-таки в минуту жизни трудную Спирька являлся для «академии» якорем спасения, и все его любили. Вот по части угощения Спирька ничего не жалел, и его появление служило синонимом дарового праздника. Спирька систематически спаивал всю «академию».

Меня удивило открытие, что Фрей пишет романы, – я не подозревал за ним этого таланта.

– Ну, это дело особенное, – объяснил Пепко, – Фрей знает три языка... Выберет что-нибудь из бульварной литературы, переставит имена на русский лад, сделает кое-где урезки, кое-где вставки, – и роман готов. За роман в десять листов он получит со Спирьки рублей семьдесят, а то и все сто. Ничего, можно работать на голодные зубы... Все-таки хоть что-нибудь. Это не то, что мои романы с а, о и е. Вот подлая вещь... И как это в жизни все происходит роковым образом: прижало человека к стене, а тут враг человеческого рода в лице Порфирыча и подкатится горошком. На, продавай себя в размен...

Пепко находился в ожесточенно-мрачном настроении еще раньше закрытия «Нашей газеты». Он угнетенно вздыхал, щелкал пальцами, крутил головой и вообще обнаруживал несомненные признаки недовольства собой. Я не спрашивал его о причине, потому что начинал догадываться без его объяснений. Раз вечером он не выдержал и всенародно раскаялся в своих прегрешениях.

– То есть такого подлеца, как я, кажется, еще и свет не производил!.. – объяснял Пепко, ударяя себя в грудь. – Да... Помнишь эту девушку с испуганными глазами?.. Ах, какой я мерзавец, какой мерзавец... Она теперь в таком положении, в каком девушке не полагается быть.

– Что же, дело, кажется, очень просто: тебе нужно жениться...

– Жениться? А если я ее не люблю?..

– Об этом следовало, кажется, подумать немного раньше.

– Разве тут думают, несчастный?.. Ах, мерзавец, мерзавец... Помнишь, я говорил тебе о роковой пропорции между количеством мужчин и женщин в Петербурге: перед тобой жертва этой пропорции. По логике вещей, конечно, мне следует жениться... Но что из этого может произойти? Одно сплошное несчастье. Сейчас несчастье временное, а тогда несчастье на всю жизнь... Я возненавижу себя и ее. Все будет отравлено...

Пепко ломал руки и бегал по комнате, как зверь, в первый раз попавшийся в клетку. Мне было и досадно за легкомыслие Пепки, и обидно за него, и жаль несчастной девушки с испуганными глазами.

Пепко волновался целых три дня. Я делал вид, что ничего не замечаю, и это еще больше его смущало. Он, видимо, жаждал какой-нибудь искупительной жертвы за свое грехопадение, а жертвы не было. Я уверен, что он был бы счастлив, если бы кто-нибудь бранил его, оскорблял и особенно если бы кто-нибудь был несправедлив к нему. В последнем случае для него являлась бы некоторая лазейка для самозащиты. Но я хранил упорное молчание, испытывая какое-то болезненное чувство, – пусть Пепко мучится молча и пусть он чувствует, что до его мучений никому нет дела. Есть вещи, которые творятся только с глазу на глаз.

– А, черт... – повторял Пепко, шагая из угла в угол. – Хоть бы нашелся мерзавец, который задушил бы меня.

Затем настроение Пепки вдруг пало. Случилось это утром, когда Федосья подала газету. Пепко пробежал номер, бросил его на пол и заговорил:

– Какие глупости, ежели разобрать...

– Что разобрать?

– Да все... Ведь земля еще вращается на своей оси, солнце еще светит, – следовательно, нет такого положения, из которого не было бы выхода. Во-первых, нужно принять во внимание время, которое является всеисцеляющим врачом и затем, по итальянской пословице, самым справедливым человеком. Да... Затем, я займусь специально самосозерцанием по буддийскому методу. Это, брат, штука... Во мне вселенная и, следовательно, во мне же вся правда и вся неправда целого мира; а если это во мне, то я могу быть хозяином того и другого. В-третьих, то есть, наконец, всякое настроение можно уравновесить внешними впечатлениями. Это третье является единственным средством, и поэтому...

Пепко поднял газету с полу и прочитал:

– «Прощальный бенефис дивы... Патти. уезжает... Идет опера „Динора“ Знаменитый дуэт Патти и Николини». Как ты полагаешь относительно этого?

– Ничего я не полагаю, потому что у нас нет ни билетов, ни денег.

– Вздор!.. Все это вещи и понятия относительные. У меня есть два рубля...

– У меня около этого...

– И отлично. Четыре целковых обеспечивают вполне порядочность... Сегодня же мы будем слушать «Динору», черт возьми, или ты наплюй мне в глаза. Чем мы хуже других, то есть людей, которые могут выбрасывать за абонемент сотни рублей? Да, я буду слушать Патти во что бы то ни стало, хоть бы земной шар раскололся на три половины, как говорят институтки.

Психология Пепки отличалась необыкновенно быстрыми переходами от одного настроения к другому, что меня не только поражало, но до известной степени подчиняло. В нем был какой-то дремавший запас энергии, именно то незаменимое качество, когда человек под известным впечатлением может сделать что угодно. Конечно, все зависело от направления этой энергии, как было и в данном случае.

Вечером мы отправились в Большой театр, где играла итальянская труппа. Билетов у нас не было, но мы шли с видом людей, у которых есть абонемент. Прежде всего Пепко отправился в кассу, чтобы получить билет, – расчет был настолько же верный, как возвращение с того света.

– А, черт... – обратился Пепко. – Идем в пятый ярус!

Мы поднялись по бесчисленным лестницам к знаменитой «коробке», где изнывали счастливицы, получившие билеты ценой целонощного стояния в цепи у кассы. Пепко довольно развязно обратился к расшитому капельдинеру.

– Можно-с... – ответил театральный холуй, меряя нас взглядом с ног до головы. – Пять рублей с персоны...

– За что?

– А постоять у двери... Все будет слышно.

У нас было на двоих всего четыре рубля, и поэтому предложение капельдинера не могло быть осуществимо. Пепко закрипел от ярости зубами, обругал капельдинера, и мы быстро

ретиrowались во избежание дальнейших недоразумений.

– А я все-таки буду в театре, – повторял Пепко, спускаясь по лестнице. – Ведь другие будут же слушать... Затем, два рубля тоже что-нибудь значат.

Спустившись, мы остановились у подъезда и начали наблюдать, как съезжается избранная публика, те счастлиwцы, у которых были билеты. Большинство яwлялось в собственных экипажах. Из карет выходили разряженные дамы, офицеры, привилегированные мужчины. Это был совершенно особенный мир, который мы могли наблюдать только у подъезда. У них были свои интересы, свои разговоры, даже свои слова.

– Ах, какая красавица... – восхищался Пепко, наблюдая каждую даму.

– Идем домой, Пепко...

– Нет, я должен быть там, в театре...

Мы простояли на подъезде с полчаса, и только с неба могла свалиться возможность попасть в заколдованный круг. И такая возможность пришла в лице простого мужика в нагольном полушубке.

– Вам госпожу Патти желательно посмотреть? – заговорил мужик, обращаясь к нам.

– Да...

– В лучшем виде: полтора целковых с рыла.

– У тебя есть билеты?

– Какие там билеты... Прямо на сцену проведу. Только уговор на берегу, а потом за реку: мы поднимемся в пятый ярус, к самой «коробке»... Там, значит, есть дверь в стене, я в нее, а вы за мной. Чтобы, главное дело, скапельдинеры не пымали... Уж вы надейтесь на дядю Петру. Будьте, значит, благонадежны. Прямо на сцену проведу и эту самую Патти покажу вам, как вот сейчас вы на меня смотрите.

Предложение было более чем соблазнительно, и мы покорно последовали за дядей Петрой опять в пятый ярус.

Второй подъем даже для молодых ног на такую фатальную высоту труден. Но вот и роковой пятый ярус и те же расшитые капельдинеры. Дядя Петра сделал нам знак глазами и, как театральное привидение, исчез в стене. Мы ринулись за ним согласно уговору, причем Пепко чуть не пострадал, – его на лету ухватил один из капельдинеров так, что чуть не оторвал рукав.

– А, черт... Чуть на язык не наступил, – ругался Пепко, шагая в темноте по узкой чердачной лестнице.

Еще одно мгновение, и мы на потолке Большого театра, представлявшем собой громадный сарай размером в хороший манеж. Посредине из широкого отверстия воронкой шел свет от главной люстры. Несколько рабочих толпились около этого отверстия, точно сказочные гномы.

– Теперь, брат, шабаш!.. – заяwлял торжествовавший дядя Петра. – Теперь вот скапельдинерам...

Он показал рукой символически-обидную фигуру и хрипло захохотал. «Скапельдинеры» были посрамлены, а мы торжествовали.

– Валяй, братцы, за мной, – командовал дядя Петра, шагая мимо рабочих. – Прямо на колосники предоставляю.

Наше похождение принимало фантастический характер, напоминая бегство из какой-нибудь средневековой тюрьмы. Мы шли по потолку, испытывая странное ощущение: вот сейчас под нашими ногами три тысяча избраннейшей публики, тот «весь Петербург», который пользуется всевозможными привилегиями на существование, любезно предоставляя остальному Петербургу скорлупки безвестного существования. В отверстие спущенной люстры доносился глухой, подавленный гул тысячной толпы, – мы точно шли по крышке котла с начинавшей уже кипеть водой.

– Сюды!.. – кричал дядя Петра, скрываясь в дальнем конце потолка, где было совершенно темно. – Надейтесь на дядю Петру. Левее держи...



Дальнейшее путешествие приняло несколько фантастический характер. Мы очутились на краю какой-то пропасти. Когда глаз несколько привык к темноте, можно было различить целый ряд каких-то балок и дядю Петру, перелезавшего через них.

– Послушай, куда ты нас ведешь? Ведь этак шею можно сломать!

– Держи направо, – слышался голос дяди Петра, – самого его уже не было видно.

Мы ползли в темноте, цепляясь за какие-то бревна, доски и выступы. В некоторых местах приходилось в буквальном смысле ползти на четвереньках.

– А, черт... Коленку ушиб, – ругался Пепко.

– Забирай левее! – командовал дядя Петра.

Наконец, мы увидели сцену, то есть слабое светлое пятно, которое чуть брезжило на дне пропасти. Спуститься в темноте с высоты пятого яруса было делом нелегким и рискованным, но молодость счастлива тем, что не рассуждает в таких случаях. Через десять минут головокружительного путешествия в темноте мы, наконец, достигли «колосников». Это была узкая галерея, которая проходила над сценой сбоку. Кругом нас висел целый лес декораций, деревянные валы, которыми поднимали и опускали эти декорации, и целая сеть веревок, точно на каком-то корабле. Самая сцена была сейчас у нас под ногами. Там происходила ужасная суматоха, потому что устанавливали учениц и учеников театрального училища в красивые группы.

– Сейчас занавес дадут, – объяснял дядя Петра. – Вот он, Адам-то Адамыч бегают... седенький... Это наш машинист. Нет, брат, шалишь: «Динора» эта самая наплевать, а вот когда «Царь Кандавл» идет, ну, тогда уж его воля, Адама Адамыча. В семь потов вгонит... Балеты эти проклятушие, нет их хуже.

Поднялся занавес, заиграл оркестр, хор что-то запел.

– Вот она, Патти, за кулисой сидит... платочком закрывается.

Это была она, знаменитая дива... С высоты колосников можно было видеть маленькую женскую фигурку, кутавшуюся в теплый платок. Ее появление на сцене вызвало настоящую бурю аплодисментов. Говорить о том, как поет Патти, – излишне. Особенно хороши были дуэты с Николини. Увы! нынче уж так не поют...

Мы добились цели и прослушали всю оперу. После спектакля на бесчисленные вызовы Патти исполнила знаменитого «Соловья» и еще какие-то номера.

– Теперь валяй за мной на сцену, – командовал дядя Петра.

Мы повиновались. Спуск с колосников шел по винтовой железной лестнице. В зале буря не смолкала. Мы шли по сцене, прошли к тому месту, где сидела дива. Мы остановились в двух шагах. Худенькая, смуглая, почти некрасивая женщина очень небольшого роста. Рядом с ее стулом стоял представительный господин во фраке.

– Это Патти, – указывал дядя Петра на диву, – а это ейный муж... По-русски ничего не понимают. А поправее-то господин Николини...

Из-за декоративного куста роз мы с Пепкой могли любоваться всей зрительной залой. Да, вот он, этот весь Петербург, те избранники, которые наслаждаются всеми благами жизни. Я посмотрел на Пепку, – у него было самое мрачное выражение, губы стиснуты, брови нахмурены. Для меня было ясно, о чем он думал: мы должны завоевать этот весь Петербург и прорваться в этот круг избранников и баловней судьбы. Я почему-то припомнил старика фельдшера, жужжавшего мухой, бойкого провизора, нашу «академию», «Федосьины покровы», наших новых знакомых девиц, – все это было так мизерно, жалко, ничтожно... В душе шевельнулось нехорошее завистливое чувство, – это была та ржавчина, которая въедается в молодое сердце...

Ввиду надвигавшихся экзаменов мне приходилось серьезно подумать о средствах, чтобы обеспечить себе свободных месяца два. Я ухватился за совет Фрея, хотя при этом приходилось вступить в некоторую сделку с самим собой, даже почти изменить себе, то есть изменить роману. Вместо идейной вещи приходилось писать на заказ, писать из-за куска хлеба. Чтобы успокоить себя до некоторой степени, я закончил вторую часть романа и в этом виде снес рукопись в редакцию одного «толстого» журнала. Нужно сознаться, что я испытывал сильное волнение, отдавая свое детище на нелюбимый суд редакции. Это совершенно особенное чувство: ведь ничего дурного нет в том, что человек сидит и пишет роман, ничего нет дурного и в том, что он может написать неудачную вещь, – от неудач не гарантированы и опытные писатели, – и все-таки являлось какое-то нехорошее и тяжелое чувство малодушия. Я скрыл от Пепки свой решительный шаг и мучился в одиночку. Что-то будет?.. Вообще нет ничего тяжелее и мучительнее ожидания, а тут приходилось ждать целый месяц, – редакция была завалена рукописями.

«Э, все равно! – храбрился я про себя. – Не боги горшки обжигают...»

Сделав один решительный шаг, я сейчас же отважился на другой и засел писать рассказ по рецепту Фрея.

– Вот что, молодой человек, – советовал полковник, интересовавшийся моей работой, – я давно болтаюсь около литературы и выработал свою мерку для каждой новой вещи. Возьмите страницу и сосчитайте сколько раз встречаются слова «был» и «который». Ведь в языке – весь автор, а эти два словечка рельефно показывают, какой запас слов в распоряжении данного автора. Языку, конечно, нельзя выучиться, но нужно относиться к нему с крайней осторожностью. Нужна строгая школа, то, что у спортсменов называется тренировкой.

Воспользовавшись фабулой одного уголовного происшествия, я приступил к работе. Пепко опять пропал, и я работал на свободе. Через три дня рукопись была готова, и я ее понес в указанный Фреем маленький еженедельный журнальчик. Редакция помещалась на Невском, в пятом этаже. Рукописи принимал какой-то ветхозаветный старец, очень подержанный и забитый. Помещение редакции тоже было скромное и какое-то унылое.

– Зайдите через недельку, – проговорил старец каким-то затхлым голосом.

Еще ожидание... Впрочем, терпеть зараз всегда легче, и неделя прошла быстрее, чем я ожидал. Прихожу за ответом. Старец узнал меня, пригласил сесть и сказал:

– Иван Иванович хотел переговорить с вами.

Иван Иванович был сам редактор, и у меня екнуло сердце, как у рыбака, когда крупная рыба пошевелит поплавок. Через минуту в редакцию вошел высокий, полный господин лет пятидесяти. Он смерял меня с ног до головы, обратил особое внимание на мои высокие сапоги и проговорил:

– Это ваш рассказец?

– Да, мой...

– Первая вещь, если не ошибаюсь?

– Да...

– Так-с...

Он взял со стола рукопись, как-то презрительно взвесил ее на руке и проговорил:

– У меня материалу, батенька, на три года вперед... Да. Недавно мне одна барыня принесла повестушку... Повестушка-то так себе, а вот название ядовитое: «Поцелуй Иуды». Как это вам нравится? Хе-хе... Вот так барыня!

Взвесив еще раз мое произведение, он проговорил устало-равнодушным тоном:

– Ваша вещица... гм... ничего, уйдет на затычку; какие ваши условия?

– Право, не знаю... Как хотите.

Моя беззащитность, видимо, тронула принципала, и он решил:

– Тридцать рублей за печатный лист...

– Хорошо.

У меня колесом вертелась в голове роковая фраза: «на затычку»; я чувствовал, что начинаю краснеть, и поэтому поспешил откланяться.

– Послушайте, господин Попов, – остановил меня редактор. – Дело к празднику идет, вы, наверно, нуждаетесь в деньгах, и я могу вам заплатить вперед... Петр Васильич, подсчитайте.

Ветхозаветный старец быстро принялся считать строки и буквы моей рукописи, слюнявя пальцы.

– Вы студент? Так-с... – занимал меня Иван Иванович. – Что же, хорошее дело... У меня был один товарищ, вот такой же бедняк, как и вы, а теперь на своей паре серых ездит. Кто знает, вот сейчас вы в высоких сапогах ходите, а может быть...

– Тридцать рублей-с, – прервал старец готовившееся предсказание. – Ровно-с печатный лист...

– Выдайте деньги молодому человеку... Да, так своя пара серых, а был беден, как Иов. Бывает...

Получив деньги, я выскочил из редакции в каком-то чаду. Целых тридцать рублей, первый настоящий литературный гонорар, – я даже простил Ивану Ивановичу его «на затычку». Дело происходило за три дня до пасхи, когда весь Петербург охвачен радостной тревогой. Окна всех магазинов декорированы самыми соблазнительными вещами, публика спешит с разными свертками и коробками, в самом воздухе чувствуется какая-то радость, обидная для тех, кто не может принять в ней участия даже косвенным образом. Именно в таком настроении я шел в редакцию, а возвращался крезом, сжимая в кулаке право на существование. Да здравствует милый Иван Иванович!.. Много прошло времени с этого решительного момента, через мои руки прошло немало денег, но никогда они не были мне так дороги, как именно эти тридцать рублей. Говорят, что первая ласточка не делает весны, – это глубоко несправедливо...

С деньгами я отправился прямо в портерную, где и сообщил «академии» о неожиданно свалившемся счастье.

– Удивительно, как это расступился Иван Иванович, – заметил сдержанно Фрей. – Говоря между нами, он порядочная собачья жила... А впрочем, хорошо то, что хорошо кончается.

В качестве счастливого, которому покровительствовала сама судьба, я должен был выставить «академии» целую дюжину пива. Эта жертва была принята с благодарностью. Откуда-то явился Порфир Порфирыч, слышавший верхним чутьем, где пьют.

– *Alea jacta est*,<sup>[12]</sup> – проговорил он. – Посвящается раб божий Василий во псаломщика от литературы... Дай бог нашему теляти волка поймать. А впрочем, не в этом дело, юноша... Блюди, юноша, дух прав и сердце смиренно. Одним словом – ура!..

Мне сделалось даже совестно фигурировать в роли именинника, потому что другие сидели без работы; это было черной точкой на моем литературном горизонте.

Воспользовавшись нахлынувшим богатством, я засел за свои лекции и книги. Работа была запущена, и приходилось работать дни и ночи до головокружения. Пепко тоже работал. Он написал для пробы два романа и тоже получил «мзду», так что наши дела были в отличном положении.

– Продажный поэт... – с горечью карал самого себя Пепко. – Да, продажа священного вдохновения по мелочам... Э, все равно!..

В разгар этой работы истек, наконец, срок моего ожидания ответа «толстой» редакции. Отправился я туда с замирающим сердцем. До некоторой степени все было поставлено на карту. В своем роде «быть или не быть»... В редакции «толстого» журнала происходил прием, и мне пришлось иметь дело с самим редактором. Это был худенький подвижный старичок с необыкновенно живыми глазами. Про него ходила нехорошая молва, как о человеке, который держит сотрудников в ежовых рукавицах. Но меня он принял очень любезно.

– Читал, читал ваш роман... да, – заговорил он, суетливо роня слова. – Трудно сказать что-нибудь сейчас... да, трудно. Это только первая половина, а когда кончите, тогда и рассмотрим окончательно.

– Мне хотелось бы знать ваше мнение...

– Мое мнение? У вас слишком много описаний... Да, слишком много. Это наша русская манера... Пишите сценами, как делают французы. Мы должны у них учиться... Да, учиться... И чтобы не было этих предварительных вступлений от Адама, эпизодических вставок, и вообще главное достоинство каждого произведения – его краткость. Мы работаем для нашего читателя и не имеем права отнимать у него время напрасно.

Меня этот полуответ мало удовлетворил, и я снес рукопись в другой «толстый» журнал, пользовавшийся репутацией необыкновенной солидности. Через две недели его редактор говорил мне:

– Главный недостаток вашего романа в том, что слишком много сцен и мало описаний...

– «Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался, – декламировал Пепко, выглядывая в форточку, – и благовест ближнего храма, и говор народа, и стук колеса»... Есть! «Вон даль голубая видна», то есть, в переводе на прозу, забор. А вообще – тьфу!.. А я все-таки испытываю некоторое томление природы... Этакое особенное подлое чувство, которое создано только для людей богатых, имеющих возможность переехать куда-нибудь в Павловск, черт возьми!..

По обыкновению, Пепко бравировал, хотя в действительности переживал тревожное состояние, нагоняемое наступившей весной. Да, весна наступала, напоминая нам о далекой родине с особенной яркостью и поднимая такую хорошую молодую тоску. «Федосьины покровы» казались теперь просто отвратительными, и мы искренне ненавидели нашу комнату, которая казалась казематом. Все казалось немилым, а тут еще близились экзамены, заставлявшие просиживать дни и ночи за лекциями.

– Знаешь что? Мы сегодня будем дышать свежим воздухом, – заявил Пепко раз вечером с таким видом, точно хотел выстрелить. – Да, будем дышать, и все тут. Судьба нас загнала в подлую конуру, а мы назло ей вот как надышимся! Всю гигиену выправим в лучшем виде.

– Куда же мы пойдем? В Александровский парк?..

– Тоже хватил: в парк! Нет, я на этом не помирюсь. Закатим прямо на острова... Вообще будем вести себя, как прилично порядочным молодым людям. Теперь самое модное место – *pointe*<sup>[13]</sup> на Елагином; ну, туда и отправимся посмотреть, как будет садиться наше солнце, ибо сегодня оно будет принадлежать нам по праву захвата и труда. Мы заработаем собственными ногами наш закат... Кстати, у тебя не найдется ли несколько крейцеров на конку? Нет? Ну, наплевать... Я где-то читал в газетине, что теперь мода совершать прогулки пешком; значит, будем жить по последней моде. У меня есть священный пяточок, который я сберегу на бутылку квасу... Все порядочные люди пьют изысканные напитки, а мы прикинемся славянофилами и будем отдуваться квасом принципиально. У меня в каждом деле принцип на первом месте...

Мы отправились по Каменноостровскому проспекту, который по вечерам в конце апреля имеет какой-то особенно задорный и бойкий вид. Мчится целая вереница щегольских экипажей, летят кавалькады, гремят конки, выбиваются из сил извозчичьи лошади, – все движется, живет и торопится жить. В самом воздухе есть что-то бодрое, оживляющее, подающее какую-то смутную надежду. Мы были совершенно счастливы, что могли двигаться вместе с другими, хотя и с меньшей инерцией. Важна цель, а средства для ее достижения в данном случае имели совершенно условное значение. Пепко принял беззаботный вид гуляющего человека и шел, помахивая дешевенькой тросточкой, приобретенной в табачном магазине в минуту безумной роскоши.

– Я дышу, следовательно – я существую, – говорил он, когда мы шагали по Крестовскому острову. – Ах, как хорошо, Вася!.. Мы будем каждый день делать такую прогулку. Положим себе за правило...

– Это не предусмотрено проспектом нашей жизни, Пепко.

– К черту всякие проспекты! Зачем добровольно стеснять собственную свободу, когда и без того до усов всякой неволи? Я хочу быть вольным, как птица...

В доказательство этой последней мысли Пепко галантно раскланялся с двумя шикарными дамами, катившими полулежа в шикарном «ланде». Они даже не повернули головы в нашу сторону, приняв нас, вероятно, за оборванцев, и быстро исчезли в облачке пыли, гнавшемся за ними. Пепко глухо расхохотался.

– Впрочем, они имеют полное право меня презирать и не отвечать на мой поклон, – резонировал он, – гусь свинье не товарищ... да. Посмотрим, что они скажут, когда я сам поеду в собственном ландо.

– А когда это будет?

– Знаешь поговорку: кто не женится до тридцати лет и кто не наживет миллиона до сорока лет, тот никогда не женится и никогда ничего не будет иметь.

– Я все-таки не понимаю, для чего тебе именно ландо?

– Как для чего? А вот показать им всем, что и я могу ездить, как они все, и что это ничего не стоит. Да... Вот я теперь иду пешком, а тогда развалюсь так же, закурю этакую регалию... «Эх, птица тройка! Неситесь, кони!»... Впрочем, это из другой оперы, да и я сейчас еще не решил, на чем остановиться: ландо, открытая коляска или этакого английского черта купить.

Увы! Пепко так и не разрешил этого мудреного вопроса. Его кровные рысаки носились в области юношеской болтливости, а верх благополучия совпал с ездой на самой обыкновенной извозчицкой кляче.

Мы долго любовались красавицей Невой. Как она здесь хороша, эта чудная река, такая спокойная, могучая и всегда красивая! Водная гладь только кой-где рябилась, стрелой неслись финляндские парходики, чертили воду десятки лодок, – одним словом, жизнь кипела. Деревья стояли еще голые, и только пушились одни ивняки, да кой-где высыпала яркозеленая весенняя травка. В воздухе чувствовался смолистый горьковатый аромат назревших почек, особенно когда неизвестно откуда точно дохнет прямо в лицо теплый весенний ветерок.

На point'e набралось уже столько публики, что мы не нашли свободного места на скамейках. Дорога была загромождена экипажами, и прибывали все новые. Мы очутились в лучшем обществе, которое видели зимой в итальянской опере. Да, этот богатый, жуирующий, пресыщенный Петербург был здесь налицо, рядом с нами и вместе с тем как он был неизмеримо далек от нас! «Наше солнце» уже приблизилось к горизонту багровым раскаленным шаром, точно невидимая рука хотела опустить его в Финский залив, чтобы охладить немного. Раскинувшаяся морская гладь манила и звала, навевая приятную тоску – это был, так сказать, аппетит воли, простора и движения. В крайнем случае получался контраст с нашим забором, ревниво заслонявшим от наших глаз все перспективы и даже нижнюю часть неба. А как красиво летели по заливу маленькие яхточки, окрыленные косыми парусами – настоящие птицы... С моря потягивало свежим воздухом, где-то в камышах морская волна тихо сосала иловатый берег, на самом горизонте тянулись дымки невидимых морских парходов, а еще дальше чуть брезжился Кронштадт своими шпицами и колокольнями...

Меня удивило, что Пепко отнесся совершенно безучастно к закату «нашего солнца», а занят был главным образом рассмотрением пуантовой «зоологии». По крепко сжатым губам и нахмуренным бровям было видно, что он серьезно думал о чем-то.

– Да, они живут... – как-то вздохнул он, точно просыпаясь. – И стоит жить, черт возьми!.. Жизнь хороша, если брать ее, а не поддаваться ей... И знаешь, для чего стоит жить?

– Для истины, добра и красоты!

– Э, вздор, старая эстетика! Вот для чего стоит жить, – проговорил он, указывая на красивую даму, полулежавшую в коляске. – Для такой женщины стоит жить... Ведь это совсем другая зоологическая разновидность, особенно по сравнению с теми дамами, с которыми нам приходится иметь дело. Это особенный мир, где на первом месте стоит кровь и порода. Сравни извозчицью клячу и кровного рысака – так и тут.

– Послушай, Пепко, это довольно забавный юнкерский аристократизм, цель которого – любовь аристократки.

– Нет, не то... Положим, я простой дворянин, но это мне не мешает чувствовать красоту вот таких гордых, холодных и красиво-недоступных патрицианок. Ведь это высшая форма полового подбора...

– Ты это серьезно?

– Совершенно серьезно... Ведь это только кажется, что у них такие же руки и ноги, такие же глаза и носы, такие же слова и мысли, как и у нас с тобой. Нет, я буду жить только для того, чтобы такие глаза смотрели на меня, чтобы такие руки обнимали меня, чтобы такие ножки бежали ко мне навстречу. Я не могу всего высказать и мог бы выразить свое настроение только музыкой.

Пепко даже поник грустно головой, а потом прибавил совершенно другим тоном:

– А знаешь, как образовалась эта высшая порода людей? Я об этом думал, когда смотрел со сцены итальянского театра на «весь Петербург», вызывавший Патти... Сколько нужно

чужих слез, чтобы вот такая патрицианка выехала в собственном «ланде», на кровных рысаках. Зло, как ассигнация, потеряло всякую личную окраску, а является только подкупающе-красивой формой. Да, я знаю все это и ненавижу себя, что меня чаруют вот эти патрицианки... Я их люблю, хотя и издали. Я люблю себя в них...

– Вот что, Пепко, пойдем-ка домой, пока ты окончательно не зарпортовался. Я что-то плохо начал понимать тебя...

Пепко только вздохнул и уныло поплелся за мной. Солнце уже давно закатилось, патрицианки разъехались по своим палаццо, а на Неве замигали красные огоньки сновавших там и сям пароходов и яликов. Мягкий весенний сумрак окутывал голые деревья; где-то шархнул сонный грач; неприятно-резкий свист парохода разрезал засыпавший воздух, точно удар бича. Мы шли долго молча, и я думал о том, какой странный человек мой друг Пепко, это олицетворение всевозможных противоречий. Последним номером в скале этих странностей явился апофеоз патрицианства и стремление к нему. Положим, что все это были одни разговоры, но, проверяя себя, я не мог скрыть, что Пепко до известной степени прав. Я думал о наших знакомых дамах, и это сравнение было не в их пользу. С другой стороны, меня возмущала откровенность Пепки, и я спросил, чтобы позвать его:

– Кстати, что твоя любовь?

– В каком смысле любовь? В прямом или переносном?

– И в том и в другом...

Пепко махнул рукой и засмеялся.

– Это была просто глупость, – проговорил он. – Вернее сказать, фальсификация...

– Однако ты говорил, что эта девушка...

– То есть это она меня уверяла, а в действительности ничего не оказалось. Я поставил уже точку...

– Кажется, даже двоеточие?

– А, черт!.. Терпеть не могу баб, которые прилипают, как пластырь. «Ах, ох, я навеки твоя»... Мне достаточно подметить эту черту, чтобы такая женщина опротивела навеки. Разве таких женщин можно любить? Женщина должна быть горда своей хорошей женской гордостью. У таких женщин каждую ласку нужно завоевывать и поэтому таких только женщин и стоит любить.

– Да, все это патрицианская философия, а нужно спросить, что чувствует та девушка, которая, может быть, любит тебя...

– Послушай, что ты привязался ко мне? Это, понимаешь, скучно... Ты идеализируешь женщин, а я – простой человек и на вещи смотрю просто. Что такое – любить?.. Если действительно человек любит, то для любимого человека готов пожертвовать всем и прежде всего своей личностью, то есть в данном случае во имя любви откажется от собственного чувства, если оно не получает ответа.

– Это софизм и очень даже некрасивый софизм...

– Отстань!

В наших голосах послышалось раздражение, и мы остальную часть пути сделали молча, позабыв даже о бутылке квасу, которою должен был завершиться наш пикник. Когда мы подходили уже к своему Симеониевскому мосту, Пепко неожиданно заявил:

– А мы после экзаменов переезжаем на дачу...

– Это очень интересно, но как и куда?

– Э, вздор!.. Свет не клином сошелся.

У меня оставалось легкое раздражение по отношению к Пепке, и поэтому мы опять замолчали. Это же молчание мы принесли в свою конуру, молча разделись и молча улеглись спать.

– Какое прекрасное изобретение сон, говорил Санхо Панчо! – сонным голосом бормотал Пепко, поворачиваясь лицом к стене.

У меня вдруг мелькнула мысль, которая разогнала охватывавшую дремоту.

– Пепко, ты спишь?

– Мм... а?..

– А я не поеду с тобой на дачу, потому что это... это замаскированное бегство с твоей стороны. Я отлично понимаю... Ты хочешь скрыться на лето от этой несчастной девушки и рассчитываешь на время, которое поправит все.

Пепко тяжело повернулся на своей кровати и проворчал:

– Представь себе, милый мой мальчик, что ты угадал... Покойной ночи, милейший!..



Я мечтал летом пробраться в свои степи; это повторялось каждую весну, и каждую весну эта надежда разбивалась о главное препятствие: не было денег на поездку. Таким образом, мне пришлось провести два ужасных лета в Петербурге, и я утешал себя только расчетами на третье. Но – увы! – и этой мечте не суждено было сбыться... Как раз перед последним экзаменом я получил письмо от отца, в котором было так много хороших советов и не было денег на поездку. Деньги, проклятые деньги! они отнимают у нас даже родное небо, родное солнце, ласки любимых людей, – одним словом, все хорошее и самое дорогое. Я очень любил и уважал отца. Это был простой и добрый, но строгий человек, смотревший на жизнь серьезно. «Перебейся как-нибудь лето в Питере, – писал он, – конечно, это тебе покажется скучным, но нужно примириться... Сколько есть людей, которые всю жизнь мечтают попасть в Петербург, чтобы посмотреть своими глазами на его чудеса, да так и остаются в своей глуши. Пользуйся случаем... Кончишь курс, поступишь в провинцию на службу, и еще неизвестно, удастся ли тебе в другой раз видеть знаменитую столицу». Милый старик, как он мило ошибался... Чудеса Петербурга – верх наивности. С какой радостью я послал бы к черту эти чудеса, чтобы умчаться туда, на дорожную родину.

– Ну, что пишет старик? – угрюмо спрашивал Пепко, не поднимая головы от своих лекций.

– Ничего особенного... Кстати, ты как-то говорил о даче. Если бы...

Пепко поднял голову, посмотрел на меня и проговорил с решительным видом:

– Дача должна быть... Ведь живут же другие люди на дачах, следовательно, и мы должны жить.

– Все это – отвлеченные рассуждения, Пепко.

– Рассуждения? Ты не знаешь простой истины, что человеку только стоит захотеть, и он все может сделать. Решительно все... Вот тебе пример: человека посадят в тюрьму, заперут железной дверью, поставят к двери часового. Стены толстые, каменные, окошко маленькое, с железной решеткой, пол каменный, – одним словом, каменный мешок. И все-таки люди уходят из тюрьмы... А почему? Потому что умеют сосредоточить свое внимание на одном пункте. Сидит человек год, два, три и все думает об одном, и уйдет в конце концов, потому что у него явится такая комбинация, которая не снилась во сне ни архитектору, строившему тюрьму, ни бдительному начальству, стерегущему ее, ни одному черту на свете. Кстати, в этом вся психология творчества, – именно, чтобы уметь сосредоточить свое внимание на одной точке до того, чтобы вызвать живые образы... Да, так это я так, а part.<sup>[14]</sup> А дело в том, что если арестанты могут убежать из тюрем, то сколь проще и естественнее найти себе дачу и устроиться на ней, подобно другим дачным человекам. Я сказал: дача будет, она должна быть...

Милый Пепко, как он иногда бывал остроумен, сам не замечая этого. В эти моменты какого-то душевного просветления я так любил его, и мне даже казалось, что он очень красив и что женщины должны его любить. Сколько в нем захватывающей энергии, усыпанной блестками неподдельного остроумия. Во всяком случае, это был незаурядный человек, хотя и с большими поправками. Много было лишнего, многого не доставало, а в конце концов все-таки настоящий живой человек, каких немного.

Да здравствует весна, любовь и... и Третье Парголово!.. Недавно я был там, почти через двадцать лет, и не узнал когда-то знакомых мест. Со мной вместе шли мои сорок лет, и через их дымку я видел только старые лица, старых знакомых, давно минувшие события, сцены, мысли и чувства. Да, я нес с собой воспоминания и чувствовал себя пришлецом из другого мира. И никому-никому не было дела до моих старческих воспоминаний... Я почувствовал себя чужим, и сорокалетнее сердце сжалось от тоски, какую нагоняет солнечный закат. Да, они уже не вернуться, эти молодые грезы, иллюзии, надежды, улыбки, взгляды молодых глаз, беззаботный смех, молодые лица... Где они? Пепко прав, что жизнь – ужасная вещь, и, бродя по нынешнему Третьему Парголово, я больше всего думал о нем, моем alter ego, точно и сам я умер, а смеется, надеется, думает, любит и ненавидит кто-то другой... Да, эти другие уже пришли на смену, я видел их и в их глазах прочитал собственный смертный приговор. И они правы, потому что жизнь принадлежит им, хотя и течет по руслу, вырытому покойниками.

Какая это ужасная мысль, что мир управляется именно покойниками, которые заставляют нас жить определенным образом, оставляют нам свои правила морали, свои стремления, чувства, мысли и даже покроем платья. Мы бессильны стряхнуть с себя это иго мертвых... Вон, например, дачная девушка в летнем светлом платье; как она счастлива своими семнадцатью годами, румянцем, блеском глаз, счастлива мыслью, что живет только она одна, а другие существуют только так, для декорации; счастлива, наконец, тем, что ей еще далеко до психологии старых пней и сломанных бурей деревьев. Милые девушки, вы убеждены, что вам будет всегда семнадцать лет, потому что вы еще не испытали долгих-долгих бессонных ночей, когда к бессонному изголовью сходятся призраки прошлого и когда начинают точить заживо «господа черви»...

Светлый весенний майский день. Петербургская природа долго и добросовестно делала усилие, чтобы показаться весенней. В результате получилась улыбка больного, которому переменяют лекарство, а с переменной дают и некоторую надежду. Но эта немного больная петербургская весна была скрашена двадцатью годами, и молодые глаза дополняли недочеты действительности некоторой игрой воображения. С каким решительным видом ходил Пепко по Финляндскому вокзалу, как развязно заглядывал он на молоденьких женщин и, наконец, резюмировал свое настроение:

– Знаешь что, мне так хочется жить, что даже совестно... Я бы любил вот всех этих женщин, обнял бы всех железнодорожных чухонцев и, наконец, выпил и съел бы весь буфет первого класса, то есть что там можно выпить и съесть. Во мне какая-то безумная алчность проглотить зараз всю огромность жизни...

Я удивляюсь одному, как это раньше мне не пришла мысль о даче. Просидеть два лета в Петербурге, слоняясь по паркам и островам, когда одна такая поездка уже чего стоит. Мне нравился и вокзал, и суетившаяся на нем публика, и чистенькие чухонские вагоны. Поезд летит, мелькают какие-то огороды, вправо остается возвышенность Лесного, Поклонная гора, покрытая сосновым лесом, а влево ровнем-гладнем стелется к «синему морю» проклятое богом чухонское болото. Вот и первые дачи с своим убогим кокетством, чахлыми садиками и скромным желанием казаться безмятежным приютом легкого дачного счастья. А мне они нравятся, вот эти дачи, кое-как слеplенные из барочного леса и напоминающие собой скворчницы, как дачники напоминают скворцов, а больше всех такими скворцами являемся мы с Пепкой.

– Вот и девятая верста, – ворчит Пепко, когда мы остановились на Удельной. – Милости просим, пожалуйста... «Вы на чем изволили повихнуться? Ах да, вы испанский король Фердинанд, у которого украли маймисты сивую лошадь. Пожалуйста»... Гм... Все там будем, братику, и это только вопрос времени.

Трагическое настроение, накатившее на Пепку, сейчас же сменилось удивительным легкомыслием. Он надул грудь, приосанился, закрутил усы, которые в «академии» назывались лучистой теплотой, и даже толкнул меня локтем. По «сумасшедшей» платформе проходила очень красивая и представительная дама, искавшая кого-то глазами. Пепко млеl и изнывал при виде каждой «рельефной» дамы, а тут с ним сделался чуть не столбняк.

– Ах, какая красавица!.. – шептал он, набирая воздуха. – Я сейчас положу к ее ножкам свое многогрешное сердце. Не поедем дальше... Ей-богу!.. Отправимся в больницу и заявим, что мы дорогой сошли с ума. Вот тебе и даровая дача... Ведь это одна из тех идей, которые имеют полное римское право называться счастливыми. Ах, какая дама, какая дама... Я, кажется, съел бы ее вместе со шляпкой и зонтиком! А муж у нее наверно этакий дохленький петербургский мерзавец... Знаешь, есть самый скверный сорт мерзавцев: такие чистенькие, приличенькие, с тонким ароматцем дорогих заграничных духов, с перстеньками на ручке. Вот у нее такой муж... Ах, какая женщина!..

Пепко всегда жил какими-то взрывами, и мне пришлось серьезно его удерживать, чтобы, чего доброго, действительно не остался в Удельной.

– Ты – несчастная проза, а я наполняю весь мир своими тремя буквами а, о и е! – резюмировал Пепко эту сцену. – А на даму и на ее собственного мерзавца наплевать... Мы еще не таких найдем.

Станция Третьего Парголова имела довольно мизерный вид, как и сейчас. Мы вышли с особенной торопливостью, как люди, достигшие цели или по меньшей мере отчего дома. Пепко сделал предварительную обсервацию дачного места и одобрительно промычал. Здесь

уже высились круглые глинистые холмы с глубокими промоинами, а по ним так приветливо лепились крестьянские избенки и дачки-скворечницы. Кое-где зелеными пятнами расплывались редкие садики. Вообще недурно для первого раза, а главное, целых сорок сажен над уровнем «синего моря».

– Сие благопотребно, – решил Пепко, шагая по узенькой тропинке, взбиравшейся желтой лентой по дну одной из промоин. – Возвысимся малую толику...

Тогдашнее Третье Парголово не было так безобразно застроено и не заросло так садами, как нынешнее. Тогда был у него еще вид простой деревни, хотя и сильно попорченной дачными постройками самой нелепой архитектуры. Главное, были еще самые простые деревенские избы, напоминавшие деревню. Мы прошли деревню из конца в конец и нашли сразу то, о чем даже не смели мечтать, – именно, наняли крошечную избушку на курьих ножках за десять рублей за все лето. Это была феноменальная дешевизна даже для того времени, и мы торжествовали, не смея выдать даже своего торжества перед хозяином дачи, здоровенным мужиком.

– Вот тебе задаток... – заявил Пепко, отдавая три рубля с небрежностью настоящего барина.

– Покорно благодарим, господин хороший.

Собственно наша дача состояла из крошечной комнаты с двумя крошечными оконцами и огромной русской печью. Нечего было и думать о таких удобствах, как кровать, но зато были холодные сени, где можно было спастись от летних жаров. Вообще мы были довольны и лучшего ничего не желали. Впечатление испортила только жена хозяина, которая догнала нас на улице и принялась жаловаться:

– Зачем вы отдали деньги Алексею? Пропьет их севодни же... А у меня двое ребятишек... Цельное лето ведь я должна с ними биться в хлеву.

– Ты права, женщина, и вот тебе в утешение еще рупь...

Это была наша первая встреча с типичным дачным мужиком.

– У меня такое желание, точно взял бы да что-нибудь изломал, – говорил Пепко, когда мы направились в Шуваловский парк, чтобы провести остаток ins Grune.<sup>[15]</sup> – А все я... Видишь, как важна определенная идея, в данном случае идея дачи. Виктория!.. За четыре месяца мы заплатили бы Федосье сорок рублей, а тут всего десять. Ничего больше не остается, как пропить остальные деньги. У меня целых десять франков... В сущности говоря, это до того безумно огромная сумма, что ее можно привести в норму только безумным кутежом.

– А тебе не жаль Федосьи, у которой наша комната останется пустой на все лето?

– Что же, мы должны задыхаться для ее удовольствия? Да и эти квартирные первоорганизмы отличаются необыкновенной живучестью, и я подозреваю, что они появляются на свет таинственным самозарождением, как разная плесень и прочая дрянь.

Мы направились в парк через Второе Парголово, имевшее уже тогда дачный вид. Там и сям красовались настоящие дачи, и мы имели удовольствие любоваться настоящими живыми дачниками, копавшими землю под клумбы, что-то тащившими и вообще усиленно приготавливающимися к встрече настоящего лета. Еще раз, хорошо жить на белом свете если не богачам, то просто людям, которые завтра не рискуют умереть с голода.

– Буржуа, филистеры, вообще сквалыги! – ругался Пепко, почувствовавший себя радикалом благодаря нанятой лачуге. – Счастье жизни не в какой-нибудь дурацкой даче, а в моем я, в моем самосознании, в моем внутреннем мире...

Шуваловский парк привел нас в немой восторг. Настоящие деревья, настоящая трава, настоящая вода, настоящее небо, наконец... Мы обошли все аллеи, полюбовались видом с Парнаса, отыскали несколько совсем глухих, нетронутых уголков и еще раз пришли в восторг. Над нашими головами ласково и строго шумели ели и сосны, мы могли ходить по зеленой траве, и невольно являлось то невинное чувство, которое заставляет выпущенного в поле теленка брыкаться.

– Мне этот парк напоминает XVIII век, – фантазировал Пепко. – Да... Если бы сюда пустить с полдюжины хотя подержанных маркизов да, черт возьми, штук десять маркиз и столько же пастушек... Го-го! Тсс!..

Пепко издал предупредительное шипенье. Из боковой аллеи прямо на нас вывернулась влюбленная парочка. Она заметно смутилась и задержала ход, он явил пример мужества и повел свою даму прямо на нас: счастливые люди смелы. Пепко пропустил их, оглянулся и проговорил:

– Благословляю вас, mes enfants...<sup>[16]</sup>

Мы закончили наш первый дачный день в «остерии», как назвал Пепко маленький ресторанчик, приютившийся совсем в лесу. Безумный кутеж состоял из яичницы с ветчиной и шести бутылок пива. Подавала нам какая-то очень миловидная девушка в белом переднике, – она получила двойное название – доброй лесной феи и ундины. Последнее название было присвоено ей благодаря недалекому озеру.

– Mademoiselle, позвольте выпить за ваше здоровье!.. – галантно предлагал Пепко тост.

Миловидная девушка только улыбнулась, а с ней вместе улыбнулось и все остальное – и парк, и озеро, и даже наша лачуга в Третьем Парголове.

Переезд на дачу составлял дело одного дня. Два чемодана, две подушки, два одеяла, две лампы и гитара. Наши сборы закончились комическим эпизодом: когда Федосья узнала, что мы едем на дачу, то расхохоталась до слез.

– Ах, Агафон Павлыч, Агафон Павлыч, перестаньте вы добрых-то людей смешить! – повторяла она, хватаясь за бока. – Туда же, на дачу... ха-ха!..

– Да, на дачу, уважаемая...

– Курятник какой-нибудь наняли?

– А вот и не курятник... да-с.

– А небель у вас где?.. Вы бы ломового наняли, дачники! Ха-ха.

Дело дошло без малого до драки, так что я должен был удерживать Пепку. Он впал в бешенство и наговорил Федосье дерзостей. Та, конечно, не осталась в долгу и «надерзила» в свою очередь.

– Если бы вы не были дамой... да, дамой, так я бы показал вам... да, показал! – задыхаясь, повторял Пепко.

– Туда же, аника-воин, распустил перья-то! Знаю я вас, дачников...

На мою долю выпала самая неблагоприятная роль доброго гения, которую я и выполнил настолько добросовестно, что, наконец, Пепко и Федосья распрощались самым трогательным образом.

– Приезжайте к нам чай пить... – приглашал успокоившийся Пепко. – Вот и увидите, какие дачи бывают.

– И то как-нибудь соберусь, Агафон Павлыч, – с изысканной вежливостью отвечала Федосья. – Конечно, мне обидно, што вам моя квартира не угодила... Уж, кажется, я ли не старалась! Ну, да бог с вами.

– Приезжайте непременно...

Экзамены были сданы, и мы переезжали на дачу с легким сердцем людей, исполнивших свой долг. Скромные размеры нашего движимого имущества произвели невыгодное впечатление на нашего нового хозяина, который, видимо, усомнился в нашей принадлежности к касте господ. Впрочем, он успокоился, когда узнал, что мы «скубенты». Во всяком случае, мы потеряли в его глазах по крайней мере процентов на двадцать. Другое неприятное открытие для нас заключалось в том, что под самыми окнами у нас оказался городской.

– Вот тебе и идиллия... – ворчал Пепко. – Дача с городovým... О, проклятая цивилизация, ты меня преследуешь даже на лоне природы!.. Я жажду невинных и чистых восторгов, а тут вдруг городской.

Нанимая дачу, мы совсем не заметили этого блюстителя порядка, а теперь он будет торчать перед глазами целые дни. Впрочем, городской оказался очень милым малым, и Пепко, проходя мимо, раскланивался с «верным стражем отечества».

Устройство на даче заняло у нас ровно час времени.

– Теперь остается только выработать программу жизни на лето, – говорил Пепко, когда все кончилось. – Нельзя же без программы... Нужно провести определенную идею и решить коренной вопрос, чему отдать преимущество: телу или духу.

– Не лучше ли без программы, Пепко? У нас уже был опыт...

– Составим комиссию, а так как tres faciunt collegium,<sup>[17]</sup> то пригласим в председатели верного стража отечества. Он, несомненно, предпочтет дух...

– Это еще вопрос, Пепко. Сначала отдохнем с недельку так, а потом увидим, что и как.

Первые минуты дачной свободы даже стесняли нас. Определенный городской хомут остался там, далеко, а сейчас нужно было делать что-то новое. Собака, сорвавшаяся с цепи,

переживает именно такой нерешительный момент и некоторое время не доверяет собственной свободе.

– Что будем делать? – спрашивал Пепко, отвечая на мой немой вопрос. – А первым делом отправимся гулять... Все порядочные дачники гуляют. Надо и людей посмотреть и себя показать, черт возьми!..

Когда мы вышли из своей «дачи», нас встретил какой-то длинноносый мужик с белыми волосами.

– С приездом, господа хорошие...

– Спасибо.

Мужик взмахнул волосами, подмигнул и довольно нахально заявил:

– Не будет ли на чаек с вашей милости?

– За что на чаек?

– А как же, суседи будем... Я вот тут рядом сейчас живу. У меня третий год Иван Павлыч квартирует... Вот господин так господин. Ах, какой господин... Прямо говорит: «Васька, можешь ты мне соответствовать?» Завсегда могу, Иван Павлыч... Уж Васька потрафит, Васька все может срукководствовать. Не будет ли на чаек с вашей милости?

Я совершенно не понимаю, почему Пепко расщедрился и выдал дачному оголтелому мужику целым двугривенный. Васька зажал монету в кулаке и помчался через дорогу прямо в кабак. Он был в одной рубахе и портах, без шапки и сапог. Бывший свидетелем этой сцены городской неодобрительно покачал только головой и передернул плечи. Этот двугривенный послужил впоследствии источником многих неприятностей, потому что Васька начал просто одолевать нас. Одним словом, Пепко допустил бестактность.

Наступил уже вечер, мягкий и теплый. Откуда-то так и несло ароматом распускавшейся зелени и свежей травы. Казавшиеся днем пустыми, теперь все дачи оживились. Этому способствовали вернувшиеся из города со службы дачные «отцы». На импровизированных террасах, в которые превращались крыльца деревенских изб, расположились оживленные группы. Главным действующим лицом являлся самовар. Желавшие насладиться природой, en plein air<sup>[18]</sup> пили чай прямо в садиках. Вся жизнь была на виду, и это придавало дачному кочевью совершенно особенный колорит. Должен сознаться, что эта мирная картина произвела на меня очень сильное впечатление. Чем-то таким добродушным, домашним веяло от этой дачной простоты. Петербургский чиновник превращался в дачника, то есть в совершенно другое существо, точно он вместе с вицмундиром снимал с себя и петербургскую деловитость. На петербургские дачи вообще много ходит совершенно напрасных нареканий. Право, они не так уж дурны, как могут показаться на первый раз. Я говорю специально о маленьких дачах, в которых находят себе летний приют небогатые люди. Да, великолепие не особенно велико, – под носом пыльное шоссе, садики еще все в будущем, – но, право, недурно отдохнуть вот именно в такой даче, особенно у кого есть маленькие дети. Там и сям светлыми пятнами выделялись платья молоденьких дачниц. Такие же платья гуляли мимо дач, и Пепко уже несколько раз толкнул меня локтем, отмечая этим движением смазливые личики. Попались две-три совсем хорошеньких.

– Что же, жить еще можно, – говорил Пепко, закручивая ус. – Заметил блондинку в баржевом платье? Ничего, невредная девица...

Мысль о женщинах теперь неотступно преследовала Пепку, являясь его больным местом. Мне начинало не нравиться это исключительное направление Пепкиных помыслов, и я не поддерживал его восторгов.

Мы сделали самый подробный обзор всего Парголова и имели случай видеть целый ряд сцен дачной жизни. В нескольких местах винтили, на одной даче слышались звуки рояля и доносился певший женский голос, на самом краю составила партия в рюхи, причем играли гимназисты, два интендантских чиновника и дьякон. У Пепки чесались руки принять участие в последнем невинном удовольствии, но он не решился быть навязчивым.

– Что же, отлично, – говорил Пепко. – А главное, все так просто: барышня распевает чувствительные романсы, папахен винтит, мутерхен пьет чай, а дьякон играет в рюхи.

Движимые любопытством, мы даже зашли в мелочную лавочку и купили папирос. Пепко познакомился с лавочником и узнал, что поет дочь какого-то немца-аптекаря.

– Ну, я немок не люблю, ваше степенство, хотя и среди них попадаются аппетитные шамандкухены...

Когда мы возвращались домой, Пепко сделал неприятное открытие.

– Отлично было бы теперь чайку напиток, братику, только вот самовара у нас с тобой нет... Да и вообще, где мы будем утолять голод и жажду?

Вопрос был тем серьезнее, что раньше мы о нем как-то не подумали. Все наше хозяйство заключалось в гитаре.

– Постой, эврика... – думал вслух Пепко. – Видел давеча вывеску: ресторан «Роза»? Очевидно, сама судьба позаботилась о нас... Идем. Я жажду...

Ресторан «Роза» занимал место в самом центре. При ресторане был недурной садик с отдельными деревянными будочками. Даже был бильярд и порядочная общая зала с эстрадой. Вообще полное трактирное великолепие, подкрашенное дачной обстановкой. В садике пахло акациями и распускавшимися сиренями.

– Бутылку пива!.. – командовал Пепко тоном трактирного завсегдатая.

«Человек» молча сделал налево кругом и, взмахнув салфеткой, удалился. Существование этого дачного ресторана навело меня на грустные размышления. Опять трактир и трактирная жизнь... Почему-то мне сделалось грустно. Зато Пепко торжествовал. Он чувствовал себя, как рыба в воде. Выпив бутылку пива, он впал в блаженное состояние.

– А право, не дурно, – говорил Пепко, – и садик, и фонарики, и акации...

Эти мысли вслух были прерваны появлением двух особ. Это были женщины на пути к подозрению. Они появились точно из-под земли. Подведенные глаза, увядшие лица, убогая роскошь нарядов говорили в их пользу. Пепко взглянул вопросительно на меня и издал «неопределенный звук», как говорится в излюбленных им женских романах.

– Що се таке? – спросил он почему-то на хохлацком жаргоне. – Во всяком случае это интересно...

Становилось уже темно, и сад осветился разноцветными фонариками. «Особы» продолжали гулять, не обращая на нас никакого внимания. Пепко прошел по аллее, чтобы встретиться с ними, – опять никакого внимания.

– Что они тут делают? Что они такое сами по себе, наконец?.. Меня этот женский вопрос интересует...

Мы отправились в залу и там встретили еще несколько таких же подозрительных дам, разгуливавших парочками. У одного столика сидел – вернее, лежал – какой-то подозрительный мужчина. Он уронил голову на стол и спал в самой неудобной позе.

– Ба! да ведь это Карлуша, Карл Иваныч Гамм, – изумился Пепко, разводя руками. – Вот так штука! А это – его хор, другими словами – олицетворение моих кормилиц букв: а, о и е.

Пепко без церемонии растолкал спавшего хормейстера, который с трудом поднял отяжелевшую голову и долго не мог прийти в себя.

– Румочку водки... – проговорил он, наконец.

– Что вы тут делаете, мейн герр?

– Доннер веттер, я ничего не делаю... Доннер веттер, всего одна румочка водки, герр Поп.

– А зельтерской хотите, Карл Иваныч?

– Швамдрюбер... Я честный человек и не хочу зельтер.

Видимо, Карл Иваныч находился в последнем периоде жесточайшего запоя и ничего не мог понять, кроме своей «эйн румочки».

– Милейший немец этот Карл Иваныч, – объяснял Пепко, оставив в покое хормейстера. – Только ужасно пьет... И талантливый человек при этом. Хор принадлежит его жене, то есть даже не жене, а какому-то третьему подставному лицу. Черт их разберет... Кстати, я еще не слышал, как исполняются на сцене мои сладкие звуки. Интересно во всяком случае... Одним словом, сюрприз. Вот тебе и дача и невинные забавы детства. Я могу про себя воскликнуть

словами Карамзина: «Бедная Лиза, где твоя невинность»... Гм... да... вообще... Одним словом, свинство. Я это уже чувствую...

Проходившая мимо очень хорошенькая хористка подтвердила последнюю мысль Пепки своей очаровательной улыбкой.

– Друг, я погибаю... – трагически прошептал Пепко, порываясь идти за ней. – О ты, которая цветка весеннего свежей и которой черных глаз глубина превратила меня в чернила... «Гафиз убит, а что его сгубило? Дитя, свой черный глаз бы ты спросила»... Я теперь в положении священной римской империи, которая мало-помалу, не вдруг, постепенно, шаг за шагом падала, падала и, наконец, совсем разрушилась. О, моя юность, о, мое неопытное сердце...

К моему удивлению, Карл Иванович не дольше как через час сидел за роялем и аккомпанировал своему хору. Прельстившая Пепку хористка оказалась недурной солисткой. Мы с Пепкой представляли собой «благородную публику». Показались в дверях залы две фуражки с красным околышем и скрылись. Очевидно, дачная публика стеснялась.

– Браво! – кричал Пепко, аплодируя хору. – Да, мы должны поощрять искусство... Человек, бутылку пива!

Последующие события нашего первого дачного дня были подернуты дымкой. За нашим столиком оказались и Карл Иванович, и очаровательная солистка, и какой-то чахоточный бас.

– Меня зовут Мелюдэ, – рекомендовалась красавица.

Когда я проснулся на следующий день, на полу нашей дачи враспяжку спал Карл Иванович Гамм. Пепко спал совсем одетый на лавке, подложив связку лекций вместо подушки. Меня охватило какое-то жуткое чувство: и стыдно, и гадко, и хотелось убежать от самого себя.

Через полчаса происходила такая трогательная сцена:

– Эй ты, погибшее, но милое создание! – будил Пепко гостя. – Вставай, немец...

– Доннер веттер... румочку...

Когда Карл Иванович сел, Пепко подошел к нему, присел на корточки и проговорил:

– Послушай, Карлуша, ты – одна добрая, хорошая, немецкая свинья, а я – просто русская свинья. Вместе мы составляем свинство.



В течение какой-нибудь недели мы совершенно «определились», как дачники. Мы уже приспособились к новым условиям существования и сделались нераздельной, живой, органической частью дачного целого. Когда мы с Пепкой гуляли, дачные барышни смотрели на нас с чувством собственности. «Наши тронулись», как говорил Пепко про других дачников. Благодаря некоторым вольностям дачного существования мы знали всю подноготную не только наших соседей, но и всех вообще: кто и где служит, сколько членов семьи, какой порядок жизни, даже какие добродетели и недостатки. Пепко завел послужной список дачных девиц и выставлял им баллы в поведении.

– Интересно, что из этого выйдет к осени, – соображал он, делая в уме какие-то таинственные математические комбинации. – Аптекарской дочери я уже поставил четыре в поведении, потому что она на вокзале делала глазки тятенькину провизору... Не полагается это одной доброй дочери... Вот не знаю, как быть с одной жидовочкой... Общая мерка не годится, потому что нужно принять во внимание темперамент, расу и термометр Реомюра. Я заметил, что главное влияние на нее оказывает именно температура: при двенадцати градусах тепла она скромна, при пятнадцати градусах являются признаки смутного девичьего беспокойства, при восемнадцати она сама смотрит на мужчин. Интересно, что с ней будет при температуре в тридцать градусов? Я сильно опасаюсь, что она в июле бросится на шею первому чухонцу... Да, цифры безжалостны.

У нас быстро сформировались свои дачные привычки. Я, например, любил вставать очень рано и отправлялся гулять. Это был интересный момент. Все дачи еще спали. Исключение представляла дачная детвора, которую в это время кормили и поили мамки, бонны и няньки. Молодое дачное поколение пользовалось в эти часы неограниченной свободой действия и костюмов. Мамаши еще спали, а малые дети не превращались еще в жертвы нарядных детских костюмчиков. Эта трагическая метаморфоза происходила только часам к двенадцати, когда маленькие мученики и мученицы показывались во всеоружии белых передников, летних платиц и дальнейших подробностей, каковые не полагалось пачкать, мять и рвать.

А как хорошо было ранним утром в парке, где так и обдавало застоявшимся смолистым ароматом и ночной свежестью. Обыкновенно, я по целым часам бродил по аллеям совершенно один и на свободе обдумывал свой бесконечный роман. Я не мог не удивляться, что дачники самое лучшее время дня просыпали самым бессовестным образом. Только раз я встретил Карла Иваныча, который наслаждался природой в одиночестве, как и я. Он находился в периоде выздоровления и поэтому выглядел философски-уныло.

– Как поживаете, Карл Иваныч?

– О благодарим к вам: очень карошо. А где герр Поп? Бессовестельник, просыпывает лючшую дню...

Я возвращался домой только к чаю, который устраивала мне старуха, мать Алексея. Мы пользовались хозяйским самоваром на условии «сколько положите». Пепко спал в сенях и просыпался только к десяти часам, поэтому мне приходилось наслаждаться одному. Я открывал окно и делался свидетелем все одной и той же сцены. Напротив нас была большая дача, населенная многочисленным семейством. В этот час утра, пока еще все спали, родоначальница немецкого гнезда, очень почтенная и красивая старуха, выходила на улицу и садилась на скамью. Она делала это методически, с немецкой аккуратностью, и целые часы оставалась неподвижной, как статуя, наблюдая закипавшую дачную жизнь. По шоссе катились чухонские таратайки, мимо дач сновали булочки, разносчики, медленно проезжал от дачи к даче мясник, летели на всех парах в мелочную лавочку развязные дачные горничные и кухарки. Одним словом, дачная жизнь закипала. Вероятно, старухе немке был прописан свежий воздух, и она дышала самым добросовестным образом определенное количество времени, как было предписано. Это скромное занятие обыкновенно нарушалось появлением дачного мужика Васьки. Он вывертывался откуда-то из-за угла, выходил на шоссе, оглядывался и начинал монолог приблизительно в такой форме:

– Дачники... ххе!.. А наплевать, вот тебе и дачники!.. Выйдет какая-нибудь немецкая кикимора, оденет на себя банты да фанты и сидит идолом... тьфу!.. Вот взял бы да своими

руками удавил... Сидела бы в городе, а туда же, на дачи тащится!

Васька принимал угрожающе-свирепый вид. Вероятно, с похмелья у него трещала башка. Нужно было куда-нибудь поместить накипевшую пьяную злость, и Васька начинал травить немецкую бабушку. Отставив одну ногу вперед, Васька визгливым голосом неожиданно выкрикивал самое неприличное ругательство, от которого у бедной немки встряхивались все бантики на безукоризненно белом чепце.

– Дачники... Да я вас всех распатроню! Зачем сюда наехали? Какие-такие особенные дела?..

Опять ругательство, и опять ленты немецкого чепца возмущаются. Ваську бесит то, что немка продолжает сидеть, не то что русская барыня, которая сейчас бы убежала и даже дверь за собой затворила бы на крючок. Ваське остается только выдерживать характер, и он начинает ругаться залпами, не обращаясь ни к кому, а так, в пространство, как лает пес. Крахмальный чепчик в такт этих залпов вздрагивает, как осиновый лист, и Ваську это еще больше злит.

Я два раза делал попытку прекратить это безобразие, но добился как раз обратных результатов. Васька только ждал реплики и обрушил все негодование на меня.

– Вот я уж доберусь до вас, скубенты... Произведу в лучшем виде. Вот как расчешу... да.

Нашим спасителем являлся городской, который выходил на свой пост к восьми часам. Завидев верного стража отечества, Васька удирил куда-то за угол и уже из-под прикрытия посылал по нашему адресу несколько заключительных проклятий. Городской делал вид, что гонится за ним, и наступал желанный мир. Один раз, впрочем, Васька попался, как кур во щи. Ему пришла дикая фантазия забраться на крышу своей избушки и оттуда громить дачников. Городской воспользовался этим обстоятельством и устроил форменную осаду при помощи старосты и четырех мужиков.

– Слезай-ка, Вася, будет тебе баловать, – уговаривал городской.

– А ты кто есть таков человек? – ревел Васька с крыши. – Да я из тебя лучины нащеплю... Ну-ка, полезай сюда, обалдуй!..

– В самом деле, Васька, слезай... – усевещивал староста, хмурый и важный мужик. – Будет тебе фигуры-то показывать, а то ведь мы и того...

– В карц поведете? – сомневался Васька. – Посидите-ка сами в карцу... Покорно благодарю.

– Будет тебе, шалая голова. Сказано – слезай...

Начались формальные переговоры, причем Васька выговорил себе свободное отступление. Но только он слез с крыши, как неприятель нарушил все условия, – и староста и городской точно впились в Ваську и нещадно поволокли в карц.

– Это-таки не модель!.. – орал Васька, упираясь. – По какому-такому закону живого человека по шее?

Подвиги Васьки вообще нарушали весь мирный строй дачной жизни. Они достигли апогея, когда «закурил» его таинственный жилец, какой-то Иван Павлыч. Раз ночью они вдвоем напугали всю улицу. Мы уже ложились с Пепкой спать, когда послышалось похоронное пение.

– Кто-то из дачников умер, – сделал предположение Пепко.

Но дачник умер бы у себя на даче, а пение доносилось с улицы. Мы оделись и попали к месту действия одними из первых. Прямо на шоссе, в пыли, лежал Васька, скрестив по-покойнически руки на груди. Над ним стоял какой-то среднего роста господин в военном мундире и хриплым басом читал:

– О бла-женн-ном ус-пе-нии веч-ный по-кой по-да-а-аждь, господи... Вновь преставленному рабу твоему Василию... И сотвори ему ве-е-ечную па-а-мять!..

– Господин, так невозможно, – уговаривал городской, – Иван Павлыч, невозможно-с... Помилуйте, этакое, можно сказать, безобразие. Васька, вставай... Вот я тебя, кудлатого, как начну обихаживать. Иван Павлыч, голубчик, терпеленья нет.

– Па-азвольте... – азартно отвечал Иван Павлыч, наступая на городского. – А ежели он, Васька, хочет принять христианскую кончину? Невозможно?

– Иван Павлыч, то есть никак невозможно... Васька, вставай!

Произошла целая история. Сбежались дачники и приняли участие. Кто-то уговорил Ивана Павлыча уйти в ресторан, а Васька попал в руки городского. Он защищался отчаянно, пока не обессилел.

– Н-на, получай... – хрипел Васька, отдавая свою особу в руки правосудия. – Только не подавись, смотри.

– Ты у меня разговаривать, идол?

– А ты зачем по скуле?.. Разве это порядок? Да я тебя...

За вычетом этих маленьких неудобств, как озорничество дачного мужика Васьки, дачная жизнь катилась тихо и мирно. Удобства для наблюдения этой жизни были на каждом шагу, и я любил бродить около дач, особенно в дальних уголках, как деревушки Кабаловка и Заманиловка. Там были такие милые дачки, прятавшиеся в лесу. И, должно быть, там жилось хорошо. По крайней мере мне так казалось... Я часто встречал импровизированные кавалькады, возвращение с веселых пикников, просто прогулки и втайне завидовал этим счастливым людям, особенно сравнивая свое собственное положение. Оставшаяся в Петербурге «академия» и наши знакомые швеи здесь заменились пьяницей-немцем и хористками, – обмен не особенно выгодный. Меня начинала мучить какая-то смутная жажда жизни, и я презирал обстановку и людей, среди которых приходилось возвращаться. В самом деле, что это за жизнь и что за люди – стыдно сказать. А время проходит, те лучшие годы, о которых говорит поэт. От природы я был всегда склонен к мечтательности, а здесь для этих упражнений материал представлялся кругом. Я ставил себя в разные геройские положения, создавал целые сцены и романы и даже удивлялся своей собственной находчивости, остроумию и непобедимости. Природная скромность и застенчивость сменялись противоположными качествами. О, я хотел жить за всех, чтобы все испытать и все почувствовать. Ведь так мало одной своей жизни, да и та проходит черт знает как. Очень незавидное существование бедняка-студента, заброшенного среди чужих людей. Можно было, конечно, познакомиться с приличным обществом, но тут являлось неразрешимое препятствие: не было подходящего костюма, а появиться где-нибудь в зверином образе – смешно. Оставалось продолжать роль «оригинала», которая делалась тяжелой именно теперь, когда просто хотелось жить, как жили все другие, не оригиналы.

Иногда на меня находило какое-то глухое отчаяние. Ведь вся жизнь так пройдет, меж пальцев, все только будешь собираться жить и думать, что настоящее гнусное положение только пока, так, а завтра начнется уже суть жизни. Я знал, как много людей изживают всю жизнь с этой дешевой философией и получают счастливые завтра только там, после смерти. Ведь так страшно жить, наконец, да и не стоит. За этим унылым настроением наступала реакция, и я говорил себе: «Нет, постойте, я еще буду жить и добьюсь своего... Все вы, которые сейчас наслаждаетесь жизнью в полную меру, будете мне завидовать... Да... да, и еще раз да!» Основанием для таких гордых мыслей служил мой роман: вот напишу, и тогда вы узнаете, какой есть человек Василий Попов... Средство было самое верное, а остальное – вопрос времени. Мое мечтательное настроение переходило почти в галлюцинации, до того я видел живо себя тем другим человеком, которого так упорно не хотели замечать другие. Наша дачная лачуга и общий склад существования заставляли думать об иной жизни.

Кстати, Пепко начал пропадать в «Розе» и часто возвращался под хмельком в обществе Карла Иваныча. Немец отличался голубиной незлобностью и никому не мешал. У него была удивительная черта: музыку он писал по утрам, именно с похмелья, точно хотел в мире звуков получать просветление и очищение. Стихи Пепки аранжировались иногда очень удачно, и немец говорил с гордостью, ударяя себя кулаком в грудь:

– О, это большой человек писал... Настоящий большой!.. А маленький человек – пьяница...

Раз Пепко вернулся из «Розы» мрачнее ночи и улегся спать с жестикуляцией самоубийцы. Я, по обыкновению, не расспрашивал его, в чем дело, потому что утром он сам все расскажет. Действительно, на другой день за утренним чаем он раскрыл свою душу, продолжая оставаться самоубийцей.

– Поздравляю: к нам переезжают Верочка и Наденька...

– Куда к нам?

– А сюда, в Парголово... Ты, конечно, будешь рад, потому что ухаживал за этой индюшкой Наденькой. А, черт...

– Где ты их встретил?

– Да в «Розе»... Сижу с немцем за столиком, пью пиво, и вдруг вваливается этот старый дурак, который жужжал тогда мухой, а под ручку с ним Верочка и Наденька. Одним словом, семейная радость... «Ах, какой сюрприз, Агафон Павлыч! Как мы рады вас видеть... А вы совсем бессовестный человек: даже не пришли проститься перед отъездом». Тьфу!..

– Я не понимаю, чем они тебе мешают? – удивлялся я, хотя и понимал истинную причину его недовольства: он боялся, что появится в pendant<sup>[19]</sup> девица Любовь.

– А, черт... – ругался Пепко. – Ведь пришла же фантазия этим дуракам нанять дачу именно в Парголово, точно не стало других мест. Уж именно чертовы куклы!.. Тьфу!..

Пепко волновался целый день и с горя напился жесточайшим образом. Его скромное исчезновение из Петербурга уже не было тайной...

Я продолжал мечтать, пополняя недочеты и прорехи действительности игрой воображения. Мое настроение принимало болезненный характер, граничивший с помешательством. Мысль о последнем приходила мне не раз, и, чтобы проверить себя, я сообщал свои мечты Пепке. Нужно отдать полную справедливость моему другу, который обладал одной из величайших добродетелей, именно – умением слушать.

– Так жить нельзя, Пепко, как мы живем... Это – жалкое прозябание, нищета, несчастье. Возьмем хоть твой «женский вопрос»... Ты так легко к нему относишься, а между тем здесь похоронена целая трагедия. В известном возрасте мужчина испытывает мучительную потребность в любви и реализует ее в подавляющем большинстве случаев самым неудачным образом. Взять, например, хоть тебя...

– Ну, меня-то можно оставить в покое.

– Нет, просто как пример. Ведь ты любишь женщин?

– О!..

– А между тем это только иллюзия. Разбери свое поведение и свои отношения к женщинам. Ты размениваешься на мелкую монету и удовлетворяешься более или менее печальными суррогатами, включительно до Мелюдэ.

– Я – погибший развратник!

– И этого нет, потому что и в пороках есть своя обязательная хронология. Я не хочу сказать, что именно я лучше – все одинаковы. Но ведь это страшно, когда человек сознательно толкает себя в пропасть... И чистота чувства, и нетронутость сил, и весь духовный ансамбль – куда это все уходит? Нельзя безнаказанно подвергать природу такому насилию.

– Интересно, продолжай. Из тебя вышел бы недурной проповедник для старых дев...

– Нет, я не имею намерения заниматься твоим исправлением, а говорю вообще и главным образом о себе. Ты обратил внимание на дачу напротив, где живут немцы?

– Эге, тихоня... Вот оно куда дело пошло! Там есть некоторая белокурая Гретхен или Маргарита. Ну что же, желаю успеха, ибо не завистлив...

– Я недавно встретил эту девушку на вокзале и со стороны полюбовался ею. Какая она вся чистенькая, именно чистенькая, – это сказывается в каждом движении, в каждом взгляде. Она чистенькой ложится спать, чистенькой встает и чистенькой проводит целый день.

– Прибавь к этому, что она выйдет замуж за самого прозаического Карла Иваныча, который будет курить дешевые сигары, дуть пиво и наплодит целую дюжину новых Гретхен и Карлов. Я вообще не люблю немок, потому что они по натуре – кухарки... Твой выбор неудачен.

– А между тем ты ошибаешься, и жестоко ошибаешься... Я с ней познакомился и могу тебя разуверить.

– Ты? Познакомился? Однако ты того, вообще порядочный плут...

– Совершенно случайно познакомился...

– То-то тебя благочестие начало заедать... Понимаю!..

– Нет, ты слушай... Я раз гулял вечером. Навстречу идет стадо коров. Она шла передо мной и страшно перепугалась. Конечно, я воспользовался случаем и предложил ей руку. Она так мило стеснялась, но страх сделал свое дело...

– Мне это нравится: коровы в качестве доброго гения. Для начала недурно...

– Не перебивай, пожалуйста... Она шла гулять, и мы отправились вместе. Она быстро привыкла ко мне и очень мило болтала все время. Представь себе, что она давно уже наблюдает нас и составила представление о русском студенте, как о чем-то ужасном. Она знает о наших путешествиях в «Розу», знает, что пьяный Карл Иваныч спит у нас, знает, что мы большие неряхи и вообще что не умеем жить.

– Позволь, ей-то какое дело до нас?..

– Дачное право... Потом она говорила, что ей нас бывает жаль. Как это было мило высказано...

– Воображаю!..

Пепко даже озлился и фукнул носом, как старый кот, на которого брызнули холодной водой.

– Потом она рассказывала о себе, как училась в пансионе, как получила конфирмацию, как занимается теперь чтением немецких классиков, немножко музыкой (Пепко сморщил нос), любит цветы, немножко поет (Пепко закрыл рот, чтобы не расхохотаться, – поющая немка, это превосходно!), учит братишек, ухаживает за бабушкой... Одним словом, это целый мир, и весь ее день занят с утра до ночи. Представь себе, она очень развитая девушка и, главное, такая умненькая... Как раз навстречу попался нам ее дядя; он служит где-то инспектором. Она еще раз мило смутилась, а немецкий дядя посмотрел на меня довольно подозрительно.

– Я его как-то видел – самая отвратительная морда.

– Нет, не морда... Напротив, самый добродушный немец, хотя немного и поврежденный мыслью о всеокрушающем величии Германии. Он меня пригласил к себе, и я... я был у них уже два раза. Очень милое семейство... Мы уговорились как-нибудь в воскресенье отправиться в Юкки.

– *Partie de plaisir*<sup>[20]</sup> с бутербродами? Очень мило... Что же ты молчал до сих пор?

– Вольно же тебе пропадать в «Розе»...

– Воображаю, как ты меня аттестовал... Ведь это закон природы, что истинные друзья выстраивают свою репутацию самым скромным образом на очернении своих истинных друзей – единственный верный путь. Да, превосходно... После поездки в Юкки твоя Гретхен примет православие, а ты будешь целовать руку у этой старой фрау с бантами... Что же, все в порядке вещей. Жаль только одного, что ты плох по части немецкого языка. Впрочем, это отличный предлог – она будет давать тебе уроки, старая фрау будет вязать чулок, а ты будешь пожимать маленькие немецкие ручки под столом...

– Ты угадал: я уже беру уроки... Какая она милая, эта Гретхен, если бы ты знал. И какая веселая... Смеется, как русалка...

– Русалка из картофеля?

Дальше я признался, что действительно увлекся этой немочкой, и представил целый ряд доказательств, что брак есть лотерея и что самые безошибочные впечатления – те, которые получаются первыми, а следовательно...

– Поздравляю! – ядовито заявил Пепко. – Значит, Исаяя ликуй...

– В том-то и дело, что есть одно препятствие... гм... да... У Гретхен есть мать, больная женщина...

– У которой тридцать лет болят зубы?

– Нет, какой-то ревматизм... Да, и представь себе, эта мать возненавидела меня с первого раза. Прихожу третьего дня на урок, у Гретхен заплаканные глаза... Что-то такое вообще случилось. Когда бабушка вывернулась из комнаты, она мне откровенно рассказала все и даже просила извинения за родительскую несправедливость. Гм... Знаешь, эта мутерхен принесла мне большую пользу, и Гретхен так горячо жала мне руку на прощанье.

– Ага!.. Одобряю вполне эту немецкую одну добрую мать, которой мешают только ревматизмы выгнать тебя в три шеи. А что же папахен?

– Отец какой-то странный человек, ни во что не вступается и держится дома гостем... Кажется, дядя имеет больше влияния. Я подозреваю, что тут кроется некоторый конфликт, – именно, что бедный немчик женился на богатой немочке и теперь несет добровольное иго.

– Дурак немецкий, говоря проще.

– Право же, он очень милый человек, хотя и со странностями.

Свой рассказ я закончил мечтами о будущем, напирая главным образом на то, что устойчивая немецкая кровь в следующем поколении исправит неровности и всполохи русской. Студенчество я брошу, а буду заниматься сотрудничеством в газетах, поступлю на службу куда-нибудь в контору и т. д. У нас будет маленькая своя квартира, цветы на окнах, рояль, и Пепко будет приходить пить чай. Все это я рассказывал с таким убеждением, что Пепко мне поверил на добрую половину. Такой опыт меня поощрял к дальнейшим фантазиям. Через неделю я рассказал Пепке, что благодаря проискам немецкой матери мой роман кончился и что в довершение всего явился какой-то двоюродный брат – студент из дерптских буршей. Я ревновал, мучился и решился покончить все разом. Бог с ними, с немцами...

– А! испугался, что немецкий бурш тебе зеркало души наковыряет? – злорадствовал Пепко, воспользовавшись случаем.

– Нет, не совсем так... Бурш глуп до святости, а дело в том... как это тебе сказать?... У них бывает одна знакомая русская девушка. Знаешь, дачка во Втором Парголово с качелями? Да, так я познакомился с ней и только по сравнению оценил все достоинства нашей собственной славянской женщины. Одним словом, я, на поверку оказалось, совсем не любил Гретхен, а только обманывал самого себя. Что может быть лучше русской девушки? Какая жизненная сила, какая дорогая простота! Недаром сказал какой-то француз, что будущее цивилизации висит на губах славянской женщины.

Действительно, такая русская девушка существовала, действительно жила во Втором Парголово на даче с качелями и действительно произвела на меня сильное впечатление. Случилось последнее утро часов в одиннадцать, когда я с своими мечтами возвращался из длинной прогулки по парку. Я шел задумавшись. Заставил меня остановиться и поднять голову чей-то звонкий смех. Как раз это была дача с качелями, а на качелях сидела она в белом летнем платье, перехваченном красной широкой лентой вместо пояса. Ей на вид было не больше шестнадцати лет, но она выглядела сформировавшейся девушкой. И какое лицо – красивое, свежее, полное жизни. Серые большие глаза смотрели с такой милой серьезностью, на спине трепалась целая волна слегка вившихся русых шелковистых волос, концы красной ленты развевались по воздуху, широкополая соломенная шляпа валялась на песке... Мне показалось, что незнакомка смотрит прямо мне в сердце, и я весь застыл в одной позе. Девушка сидела на качели, ухватившись руками за веревки, причем можно было видеть эти чудные руки до самого плеча. Было еще действующее лицо, горбун, который за длинную веревку раскачивал хохотавшую шалунью. Мое появление точно погасило смех. Горбун оглянулся в мою сторону и, как мне показалось, посмотрел на меня такими злыми глазами, точно по меньшей мере хотел меня проглотить живьем. Я смутился, даже покраснел и пошел своей дорогой, унося в душе чудное виденье. Эту живую картину я потом реализовал в своих мистификациях Пепке, а по утрам нарочно проходил мимо дачи с качелями, чтобы хотя издали полюбоваться чудной девушкой в белом платье. По справкам оказалось, что она дочь какого-то инженера и живет с отцом, а горбун – дальний родственник. Как я завидовал этому горбуну, который осмеливался смотреть на нее, говорить с ней, дышать одним воздухом с ней!

В моих рассказах теперь приняли самое деятельное и живое участие отец инженер, безумно любивший свою красавицу дочь, и по-сказочному злой горбун, оберегавший это живое сокровище. Отец не отличался большим характером и баловал свою красавицу. Девушка в белом платье была и капризна, и эгоистка, и пустовата, как все избалованные дети. Она не понимала отца и не могла ему платить той же монетой; и он это чувствовал, мучился и не мог переделать самого себя. Впереди девушку в белом платье ожидала незавидная участь. Я слишком поторопился, предупреждая события и давая каждый день по новой главе, – Пепко догадался, но сделал вид, что верит, как раньше, и охотно присоединился к моим фантазиям, развивая основную тему. Ему больше всего нравилась психология горбуна, как проверка нормального среднего человека.

– А знаешь что, братику, – проговорил Пепко однажды, когда мы импровизировали свою «историю девушки в белом платье», – ведь это и есть то, что называется психологией творчества. Да, да... Именно уметь сосредоточить свое внимание так, чтобы получались живые люди, которых можно видеть, с которыми можно разговаривать, как с живыми людьми. Но вопрос в том, как сосредоточить внимание именно таким образом? Путь один: неудовлетворенное чувство... да. Ты представь себе голодного человека, сильно голодного – ведь все мысли и чувства у него сосредоточены на еде, и он лучше всякого завязтого

гастронома представляет целую съедобную оперу. Он видит эти кушанья, ощущает их запах, вообще создает... Вот где тайна всякого творчества. А так как любовь составляет центральный пункт в нашей жизни, то естественно, что только отсюда должно проистекать все остальное. Желание желаний, так называет Шопенгауэр любовь, заставляет поэта писать стихи, музыканта создавать гармонические звуковые комбинации, живописца писать картину, певца петь, – все идет от этого желания желаний и все к нему же возвращается. Возьми литературу, которая существует несколько столетий, и везде и все основано именно на этом, и так же будет, когда и нас с тобой не будет. Одним словом, я бы издал закон, чтобы поэтам, беллетристам и вообще художникам показывать красивых женщин только издали, и тогда наступил бы золотой век искусства.

– Но ведь это жестоко по меньшей мере.

– Нисколько, потому что все эти господа художники жили бы удесятеренной жизнью в своих произведениях. Да, да... Это верно.



Белые ночи... Что может быть лучше петербургской белой ночи? Зачем я лишен дара писать стихи, а то я непременно описал бы эти ночи в звучных рифмах. Пепко пишет стихи, но у него нет «чувства природы». Несчастный предпочитает простое газовое освещение и уверяет, что только лунатики могут восхищаться белыми ночами.

– Прежде всего, луна – предрассудок, – уверяет он серьезным образом.

– Тогда все небо нужно считать предрассудком?

– И все небо предрассудок, вернее – блестящая ложь. Достаточно сказать, что свет от ближайшей к земле звезды доходит до нас только через восемь тысяч лет, а от дальних звезд через сотни тысяч... Значит, я вижу не настоящее небо, а только его призрак. А луну я прямо ненавижу, как самую лукавую планетишку, которая и светит-то краденым светом. Поэтому, вероятно, и большинство краж совершается именно ночью... Вообще ночь располагает к гнусным поступкам, и луна может служить эмблемой воровства. Вот солнце – это вполне порядочное светило, которое светит своим собственным светом, и я уважаю его, как порядочного человека. Когда ты будешь делать описания небесного свода, рекомендую тебе одно сравнение, которое, кажется, еще не встречалось в изящной литературе: небо – это голубая шелковая ткань, усыпанная серебряными пятачками, гривенниками, пятиалтынными и двугривенными.

– Можно даже сказать: крейцерами и франками?

– Отчего же не сказать и так... В таких сравнениях самое главное – приятная неожиданность, чтобы у читателя зашепотало в носу. Ты даже можешь вперед уплатить мне за вышеприведенное блестящее сравнение... Например, бытулка пива в «Розе»? Это меня поощрит к дальнейшим сравнениям.

Пепко был неисправим, и спорить с ним было бесполезно.

А мне так нравились эти чудные белые ночи. От них веяло какой-то сказочно-меланхолической красотой... В воздухе точно взвешена серебристая пыль. Все краски выцветали и покрывались серебристым налетом, как будто весь земной шар опустили в гальванопластическую ванну и высеребрили. Впрочем, это дрожавшее и переливавшееся живое серебро, заставлявшее чувствовать притаившиеся под ним краски, принимало выцветшие гобеленовские тона и нежность акварели. Я сравнил бы день с картиной, написанной грубыми масляными красками, а ночь – с той же картиной, повторенной акварелью. Кажется, это сравнение принадлежит мне, и я не обязан поощрять Пепку новой бутылкой пива. Да, хороши белые ночи... Они нагоняли на меня и тоску, и жажду жизни, и то неопределенно-хорошее настроение, которое может передать только музыкальный аккорд. Я не мог спать в такую ночь и бродил мимо дач, где тоже не спали, любясь красотой чудного освещения. Мне было приятно сознание, что есть еще другие лунатики и что они смутно переживают то же самое, что носил я в себе.

Как это иногда случается в жизни, самые тонкие ощущения и самые изящные эмоции помещались рядом с грубыми проявлениями человеческой природы. Достаточно оказать, что прямо от наслаждений белой ночью я попадал в кабак, то есть в ресторан «Розу», где Пепко культивировался довольно прочно. Общество арфисток, пьяного тапера, интенданта Летучего и К®, – одним словом, проза в самой обидной форме. Пепко обладал удивительной способностью необыкновенно быстро ассимилироваться везде и сделался в «Розе» своим человеком. Арфистики советовались с ним, поверяли какие-то тайны; Пепко дошел до того, что даже лечил одну из этих несчастных созданий.

– Как тебе не стыдно! – укорял я легкомысленного друга. – Ведь это шарлатанство...

– Во-первых, я не виноват, что Мелюдэ такая хорошенькая, а во-вторых, мое шарлатанство отличается от докторского только тем, что я не беру за него гонорара...

Мелюдэ – кличка хорошенькой пациентки по хору. Это было очень изящное и миленькое создание, почти красавица, в стиле немецкой Гретхен. Из живой рамы белокурых волос глядело такое изящное, тонкое личико, с красиво очерченным носиком, детски-свежим ротиком, с какой-то особенной грацией каждой линии и голубыми детскими глазами. Ей было всего восемнадцать лет, но эти детские глаза уже смотрели мертвым взглядом, отражая в себе

бессонные пьяные ночи, бродяжничество в качестве арфистки по кабакам и вообще улице. Оставалась одна внешняя оболочка красивой и свежей девушки, прикрывавшая собой полное нравственное падение. Я испытывал каждый раз какое-то жуткое чувство, когда Мелюдэ протягивала мне свою изящную тонкую ручку и смотрела прямо в лицо немигающими наивно открытыми глазами, – получалось так же ощущение, какое испытываешь, здороваясь с теми больными, которые еще двигаются на ногах, имеют здоровый вид и про которых знаешь, что они бесповоротно приговорены к смерти. Пепко, кажется, был другого мнения и вел какие-то таинственные и длинные беседы с этим падшим ангелом. Раз я сделался невольным свидетелем одного трагического финала. Пепко тоном проповедника приглашал Мелюдэ бросить трактирную жизнь и сделаться порядочной женщиной.

– Ведь стоит только захотеть, – повторял он, делая ударение на последнем слове.

Она посмотрела на него своими детскими глазами и расхохоталась прямо в лицо. Пепко ужасно сконфузился и почувствовал себя мальчишкой, а красивое чудовище продолжало хохотать.

– Ты забыл только одно, Пепко: все вы, мужчины, подлецы... – говорила Мелюдэ, задыхаясь от хохота. – Особенно мне нравятся вот такие проповедники, как ты. Ведь хорошие слова так дешево стоят...

Пепко со всем хором был на «ты».

Когда мы возвращались на свою дачу, Пепко встряхивал головой, как собака, проглотившая муху, что-то мычал и, наконец, проговорил:

– А ведь она права...

– Кто?

– Мелюдэ... Физиологи делают такой опыт: вырезают у голубя одну половину мозга, и голубь начинает кружиться в одну сторону, пока не подойдет. И Мелюдэ тоже кружится... А затем она очень хорошо сказала относительно подлецов: ведь в каждом из нас притаился неисправимый подлец, которого мы так тщательно скрываем всю нашу жизнь, – вернее, вся наша жизнь заключается в этом скромном занятии. Из вежливости я говорю только о мужчинах... Впрочем, я, кажется, впадаю в философию, а в большом количестве это скучно.

Проживая в своей избушке самым мирным образом, мы и не предчувствовали, что стоим накануне событий, выражаясь газетным стилем. Я уже сказал, что наши знакомые, сестры Глазковы, тоже переселились на лето в наше Третье Парголово. У них была нанята такая же дача, как у нас, то есть простая деревенская изба. Разница была в величине и в том, что женские руки сумели убрать ее и прикрасить благодаря дешевеньким дачным обоям, драпировкам из дешевого ситца и цветам. Мы встречались с ними, но прежнее знакомство как-то плохо вязалось. Главным препятствием являлась здесь невидимо присутствующая тень девицы Любочки, о которой Пепко не желал вспоминать. Он не без основания предполагал, что Наденька или Верочка где-нибудь случайно ее встретят и, конечно, не преминут открыть его убежище. Девицы тоже относились к Пепко немного подозрительно и не упускали случая сделать более или менее ядовитый намек по адресу Любочки. Одним словом, получалось то, что называется натянутыми отношениями.

Как-то уже вошло в обычай, что даже капитальные события начинаются с пустяков и мелочей. В данном случае началом события послужила приклеенная к гостеприимным дверям «Розы» простая белая бумажка, на которой было начертано: «Сего 17 июня имеет быть дан инструментально-вокально-музыкально-танцевальный семейный вечер с плато 20 к. на персону. А дитя пускают весма даром». Очевидно, это безграмотное объявление было составлено пьяным тапером, оказавшимся единственным грамотным человеком во всем хоре. Это невинно-безграмотное объявление сделало то, что в первое же воскресенье в «Розе» появились сестры Глазковы в сопровождении жужжавшего мухой толстяка. Пепко питал слабость к хореографии и танцевал с барышнями до ожесточения. На объявление пришли еще кое-какие дачники, и дешевенькое веселье оформилось. Набралось человек двадцать. Вообще время провели недурно, и только под конец вечера Пепко едва не подрался с каким-то служащим на финляндской железной дороге. Собственно, это было лингвистическое недоразумение: Пепко не говорил по-шведски, а чухонец не желал понимать по-русски. Стороны хотели разрешить это взаимное непонимание при помощи венских стульев и пустых бутылок из-под пива, и, вероятно, произошло бы настоящее побоище, если бы в дело не вмешалась Мелюдэ, из-за которой, собственно, и вышла вся история. Она отлично знала

трактирную психологию и потушила бурю одним движением: схватила два стакана пива и подала врагам, – каждый из них имел полное основание думать, что пиво от чистого сердца подано именно ему, а другому только для отвода глаз. По крайней мере Пепко давал впоследствии такое толкование в свою пользу.

– Я вообще не понимаю, за что меня так любят женщины, – хвастался он. – А чухонец-то в каких дураках остался...

Между прочим, Пепко страдал особого рода манией мужского величия и был убежден, что все женщины безнадежно влюблены в него. Иногда это проявлялось в таких явных формах, что он из скромности утаивал имена. Я плохо верил в эти бескровные победы, но успех был несомненный. Мелюдэ в этом мартирологе являлась последней жертвой, хотя впоследствии интендант Летучий и уверял, что видел собственными глазами, как ранним утром из окна комнаты Мелюдэ выпрыгнул не кто другой, как глупый железнодорожный чухонец.

Эти невинные развлечения были неожиданно прерваны. Как теперь помню роковое воскресенье, когда мы с Пепкой отправились в «Розу» вечером. Оба находились в самом хорошем настроении, как и следует людям, приготовившимся повеселиться. Когда я у кассы брал входной билет, меня кто-то тронул за руку. Оглядываюсь – Наденька Глазкова, которая улыбалась с какой-то особенной таинственностью. Молчит и улыбается с вызывающим кокетством. Я инстинктивно обернулся и встретился лицом к лицу с высокой, удивительно красивой девушкой, которая тоже смотрела на меня чуть-чуть прищуренными глазами и чуть-чуть улыбалась.

– Извините... – пробормотал я ни к селу ни к городу.

– Шура, позволь тебе представить Василия Ивановича, – рекомендовала меня Наденька, продолжая улыбаться... – Он сочиняет большой роман... Да.

Лицо Шуры вдруг приняло серьезное выражение, и она почти торжественно протянула мне свою руку. Я еще больше смутился и готов был наговорить Наденьке дерзостей, потому что она своей рекомендацией ставила меня в самое нелепое положение. Но вместо дерзостей я проговорил каким-то не своим голосом:

– Позвольте быть вашим кавалером.

Она просто и серьезно подала мне руку, и я торжественно ввел в залу своих дам. Вся эта немногосложная и ничтожная по содержанию сцена произошла на расстоянии каких-нибудь двух минут, но мне показалось, что это была сама вечность, что я уже не я, что все люди превратились в каких-то жалких букашек, что общая зала «Розы» ужасная мерзость, что со мной под руку идет все прошедшее, настоящее и будущее, что пол под ногами немного колеблется, что пахнет какими-то удивительными духами, что ножки Шуры отбивают пульс моего собственного сердца. Да, такие минуты не повторяются, как сама молодость. А Наденька Глазкова заглядывала мне в лицо и улыбалась. Я, должно быть, тоже улыбался и, должно быть, очень глупо улыбался... Но женщины умеют читать между строк, и Наденька отлично понимала, что делается у меня на душе. О, я готов был идти вот с этой незнакомкой Шурой под руку целую жизнь и чувствовал, как сердце замирает в груди от наплыва неизведанного чувства. Это была она, та первая любовь, которая приходит, как пожар, и не оставляет камня на камне. И теперь, через много лет, в воображении проносятся знакомые черты чудного девичьего лица, и какая-то запоздавшая тоска охватывает уставшее сердце. Да, это было чудное лицо, серьезное и наивное, с большими серыми глазами, удивительным цветом кожи, с строгими линиями, с выражением какой-то детской доверчивости. Темные волнистые волосы были собраны в одну косу, а на лбу зачесаны гладко, без противных кудряшек. Одетая была первая любовь в черное шелковое платье и черную накидку; черная шляпа, черные перчатки и черный зонтик дополняли этот костюм не по сезону. Именно черный цвет всего больше шел к ней, и она была так хороша, что не нуждалась в сезонных костюмах. Высокий рост придавал ей вид королевы, которая только что сошла с престола и милостиво вмешалась в толпу обыкновенных людишек.

– Меня зовут Александра Васильевна, – говорила она, усаживаясь к нашему столику.

Весь вечер пронесся в каком-то тумане. Я не помню, о чем шел разговор, что я сам говорил, – я даже не заметил, что Пепко куда-то исчез, и был очень удивлен, когда лакей подошел и сказал, что он меня вызывает в буфет. Пепко имел жалкий и таинственный вид. Он стоял у буфета с рюмкой водки в руках.

– Что такое случилось, Пепко?

– Очень приятная история... Сейчас еду в Петербург и задую эту гадину Федосью.

Пепко был бледен, губы дрожали, и мне показалось, что он сошел с ума. При чем этот трагический тон, рюмка водки, удушье Федосьи? Машинально выпив рюмку и позабыв закусить, Пепко отвел меня в сторону и прошептал:

– Она здесь... понимаешь? Захожу давеча в сад, чтобы увидеть Мелюдэ, а там на скамеечке сидит она.

– Да кто она?

– Ах, какой ты... ну, она, Любочка. Сейчас меня за рукав, слезы, упреки, – одним словом, полный репертуар. И вот все время мучила... Это ее проклятая Федосья подвела, то есть сказала мой адрес. Я с ней рассчитаюсь...

– Да ведь Любочка могла достать наш адрес и помимо Федосьи?

– Нет, уж я это знаю... оставь. Теперь одно спасенье – бежать. Все великие люди в подобных случаях так делали... Только дело в том, что и для трагедии нужны деньги, а у меня, кроме нескольких крейцеров и кредита в буфете, ничего нет.

Я с своей стороны мог бы прибавить, что и для любви тоже нужны деньги, но трагедия пересилила, и половина моих крейцеров перешла к Пепке. Он как-то особенно конфузливо взял деньги и проговорил:

– Я знаю, что ты будешь меня презирать... Я сам презираю себя. Да... Прощай. Если она придет к нам на дачу, скажи, что я утонул. Во всяком случае, я совсем не гожусь на ампулу белешвейного предмета... Ты только вникни: предмет... тьфу!

Признаться сказать, я совершенно безучастно отнесся к трагическому положению приятеля и мысленно соображал, хватит ли моих крейцеров, в случае, если Александра Васильевна захочет поужинать. Никогда еще я так не презирал свою бедность... Как-нибудь десять рублей могли меня сделать счастливым, потому что нельзя же было угощать богиню пивом и бутербродами.

– Прощай, Вася!

– Прощай, Пепко!

Я сейчас же забыл о Пепкиной трагедии и вспомнил о ней только в антракте, когда гулял под руку с Александрой Васильевной в трактирном садике. Любочка сидела на скамейке и ждала... Я узнал ее, но по малодушию сделал вид, что не узнаю, и прошел мимо. Это было бесцельно-глупо, и потом мне было совестно. Бедная девушка, вероятно, страдала, ожидая возвращения коварного «предмета». Александра Васильевна крепко опиралась на мою руку и в коротких словах рассказала свою биографию.

– Мама живет на Песках... Она получает небольшую пенсию. Раньше я работала на магазин... Когда будете в Петербурге, непременно заверните к нам. Слышите: непременно...

Эта просьба походила на то, если бы начали спрашивать землю вращаться около своей оси, и я великодушно обещал быть на Песках непременно. Потом мне удалось сказать что-то остроумное, и Александра Васильевна тихо засмеялась. Она удивительно хорошо смеялась и делалась еще красивее. Этот смех меня ободрил, и я уже начинал придумывать смешное, а девушка опять смеялась, смеялась больше потому, что стояла такая дивная белая ночь, что ей, девушке, было всего восемнадцать лет, что кавалер делал героические усилия быть остроумным, что вообще при таких обстоятельствах ничего не остается, как только смеяться.

Вечер промелькнул с какой-то сумасшедшей быстротой. Был один трагический момент, когда я предложил Александре Васильевне поужинать в одной из садовых беседок, – я даже

теперь, через двадцать лет, не могу себе представить, чем бы я мог заплатить за эту безумную роскошь. Но ведь моя богиня хотела есть, и я заметил, что она с жадностью посмотрела на соседний столик, где были поданы цыплята. Меня выручила Наденька Глазкова.

– Нет, мы не будем ужинать в ресторане, – заявила она с решительным видом, – и подадут грязно, и масло прогорклое... Вообще здесь не стоит ужинать, и мы это устроим лучше у нас дома. Не правда ли, Шура?

Ответом был голодный взгляд, обращенный на соседнего цыпленка. Бедная богиня очень хотела кушать... А я готов был расцеловать мою спасительницу Наденьку. Вообще это была замечательно милая девушка, которая в течение целого вечера упорно жертвовала собой, – больше того, она старалась оставаться незаметной, на что решаются очень немногие женщины. Я питал к ней благодарное чувство, которое было испорчено только одним эпизодом. Ресторан закрывался, и нам следовало уходить. Я вспомнил про несчастную Любочку, скитающуюся скорбной тенью в саду, и сообщил об этом Наденьке.

– Я ее видела... – равнодушно ответила девушка.

– Видели? Вы с ней здоровались?

– Нет...

Меня больше всего поразил самый тон, которым Наденька говорила. А, вероятно, Любочка страшно наскучалась и хочет тоже есть... Отчего бы ее не пригласить поужинать вместе с нами?

Наденька ответила на мой немой вопрос одной фразой:

– Она может уехать с последним поездом... Я вообще не понимаю, зачем она притащилась сюда и зачем прячется в саду. Вообще глупо...

Это была специально женская жестокость, которая в то время меня очень удивляла, а в данном случае как-то уже совсем не вязалась с проявленными в течение вечера Наденькой благородными качествами души и сердца.

Половина разноцветных фонариков в саду погасла сама, другую половину гасил сторож. В зале было уже совсем темно. Меня охватило какое-то жуткое чувство, точно что оборвалось в груди.

– Я имею дурную привычку крепко опираться на руку своего кавалера, – объяснила Александра Васильевна, когда мы выходили из «Розы».

– О, пожалуйста...

Наденька опять впала в самопожертвенное настроение, отказалась от моей другой руки и быстро пошла вперед одна, оставив нас *tete-a-tete*.<sup>[21]</sup> Впрочем, этот невинный маневр имел и свое специальное значение – именно, девушка, вероятно, хотела предупредить относительно ужина свою одну добрую мать без слов. Когда я остался один с Александрой Васильевной, первое чувство, которое неожиданно охватило меня, был страх, страх за собственное ничтожество, осмелившееся служить опорой совершенству. В довершение всего меня совершенно оставило остроумное настроение, и я решительно не мог ничего придумать, чем занять даму. Впрочем, она шагала такой усталой походкой, что не спасло бы никакое остроумие. Мы дошли до места почти молча, и Александра Васильевна только из вежливости удерживала голодную зевоту. Эта маленькая неудача служила только введением к следующей: одна добрая мать без слов встретила нас так сурово, что мысль о домашнем ужине могла показаться чуть не святотатством. По лицу Наденьки я заметил, что у нее только что вышло бурное объяснение с матерью, и она даже готова заплакать. Я удивился, где эта милая девушка взяла силы сказать мне:

– Вы, конечно, Василий Иванович, останетесь поужинать с нами...

Милая Наденька жертвовала собой еще раз, и можно себе представить ее положение, если бы я взял да и остался. Но я этого, конечно, не сделал и начал прощаться. Наденька понимала, как мне больно уходить в свою нору, и с особой выразительностью пожалала мне руку.

– Приходите завтра! – крикнула она мне вслед. – Я Шуру не отпущу...

Это было наградой за мою проникательность, – женщины ничего так не ценят, как это понимание без слов.

Я возвращался домой в каком-то чаду, напрасно стараясь связать в одно целое впечатления этого рокового вечера. Прежде всего, я ужасно досадовал на свою ненаходчивость при возвращении из «Розы». А между тем как мне много хотелось сказать Шура, мучительно хотелось. И все какие хорошие вещи... О, только она одна в целом мире могла понять меня, а я шел рядом с ней болван-болваном! Зато теперь – какие остроумные диалоги я вел с ней, как был красноречив, находчив и как непринужденно предьявлял ее вниманию сокровища своего ума. Было просто жаль, что Александра Васильевна лишена возможности видеть меня во всем блеске. Наверно, она составила себе не особенно лестное понятие о моей особе и даже, может быть, считает меня просто болваном... Но есть завтра – слышите, Шура? – есть солнце, которое взойдет завтра с специальной целью показать вам вашего покорного слугу совершенно в ином свете. Да, вы будете приятно изумлены, Шура, потому что еще никогда не встречали такого удивительного молодого человека. Завтра, завтра...

Мне хотелось петь, хотелось думать стихами, хотелось разбудить все Третье Парголово и сказать всем, что Шура красавица и что она завтра останется на весь день.

– Шура, Шура... – повторял я вслух, точно в этом имени скрыто было какое-то заклинание.

Странно, что первое, что обратило на себя мое внимание при возвращении в свою избушку, были... сапоги. Да, те высокие студенческие сапоги, в которых я обыкновенно ходил. Мне показалось, что они, эти сапоги, являлись оскорблением изящных прюнелевых ботинок, черных лайковых перчаток, черного зонтика, черной шляпы и особенно черного шелкового платья. Ведь это было нахальством, что такие нелепые сапожищи осмелились шагать рядом с прюнелевыми крошечными ботинками. А завтра... Позвольте, Пепко уехал в моих штиблетах, и я целый день должен буду оставаться «оригиналом». Свои штиблеты Пепко отдал в починку, надел мои и уехал... Что же это будет? Полцарства за самые скромные штиблеты... И как мне это давеча в голову не пришло, когда Пепко собрался удрать? Ах, изверг естества... Эта маленькая подробность привела меня в отчаяние и нагнала целый рой каких-то уже совсем бессвязных мыслей. Например, припоминая разговор с Александрой Васильевной в саду, я точно открыл трещину в том, что еще час назад было и естественно, и понятно, и просто – именно: одна добрая мать, получающая маленькую пенсию, адрес Пески, работа на магазин, и тут же шелковое платье, зонтик, перчатки и т. д. Мне вдруг захотелось вернуться на дачу Глазковых, вызвать Наденьку и спросить ее, что это значит. Да, узнать все сейчас же, разъяснить... Я весь задрожал при той мысли, что на мой вопрос Наденька только пожмет плечами и улыбнется, как улыбнулась давеча. Нет, это ужасно, это бесчеловечно, это... этому нет названия. Смертный приговор рядом с этим является милой шуткой...

Потом я сразу успокоился. Доказательство нелепости предыдущих сомнений было под рукой: стоило только закрыть глаза и представить себе это дивное лицо... Разве этот чистый взгляд осмелится омрачить хотя одна нечистая мысль? Она – совершенство, а все остальное пустяки. По естественной ассоциации идей я логически перешел к собственной особе. Во-первых, красив я или «немного лучше черта», как большинство мужчин? Как-то раньше я мало обращал внимания на свою наружность, а теперь испытывал мучительную потребность быть именно красивым, красивым только для того, чтобы иметь право думать о ней. Кажется, у меня выразительные глаза, правильный нос, хороший для мужчины рост, небольшие руки; но ведь это еще очень немного, больше, чем немного. У нас с Пепкой даже не было зеркала, и я не мог сейчас же проверить свои физические достоинства. Впрочем, для мужчины наружность – вещь не первой важности, и ее можно с успехом заменить громким именем, успехом, известностью; женщины летят на эти пустяки, как мотыльки на огонь. Да, я буду знаменит, черт возьми, и не для себя, а для нее... Она будет гордиться тем, что первая открыла во мне будущую знаменитость, когда остальной мир оставался еще в возмутительном неведении. Нет, вы все меня признаете, будете завидовать, а я буду думать о ней, жить для нее, дышать ею...

Одним словом, в моей голове несся какой-то ураган, и мысли летели вперед с страшной быстротой, как те английские скакуны, которые берут одно препятствие за другим с такой красивой энергией. В моей голове тоже происходила скачка на дорогой приз, какого еще не видал мир.

Эта внутренняя работа мысли и чувства делалась просто невыносимой благодаря тому, что не могла ничем проявиться во внешних формах. Бежавший позорно Пепко подвергался

большой опасности выслушать целую исповедь первой любви... У меня явилось даже подозрение, что не бежал ли он вместе и от меня, заподозрив двойную опасность. Вообще я к нему относился сейчас враждебно. Не угодно ли: человек убежал ни раньше, ни после, как именно сегодня, – убежал человек, испытывавший мое терпение своими исповедями самым бессовестным образом. Нет, как хотите, а это нехорошо, бессовестно, подло... Одним словом, не по-товарищески.

Я десять раз укладывался спать, и из этого ничего не выходило. Сон бежал от моих глаз, как выражался Пепко высоким слогом. Вдобавок в нашей избушке ужасно душно... Этот низкий потолок просто давил меня. Измучившись окончательно, я поднялся с своей постели, подошел к окну и открыл его. Вдруг мне показалось... Нет, это, вероятно, была тень. После некоторого колебания я взглянул в окно и увидел... Нет, я не увидел, а почувствовал как-то всем телом, что это она, несчастная Любочка, которая сидела на скамейке у нашей калитки. Какая она маленькая в этой позе... Настоящий ребенок. И поза такая беспомощная, как у замерзающего человека. У меня явилось давешнее малодушное желание не заметить ее, но я преодолел себя и тихо спросил:

– Это вы, Любочка?..

Она вскочила, сделала движение убежать, но только закрыла лицо руками и бессильно опустила на свою скамейку. О, какой ты мерзавец, Пепко!..

Одеться было делом одной минуты. Я торопился точно на пожар, а Любочка и не думала уходить. Она сидела по-прежнему на лавочке, в прежней убитой позе. Белая ночь придавала ее бледному лицу какой-то нехороший пепельный оттенок.

– Любочка, что вы тут делаете? – спрашивал я, выходя в калитку.

Она подняла на меня свои кроткие большие глаза с опухшими от слез веками. Меня охватила какая-то невыразимая жалость. Мне вдруг захотелось ее обнять, приласкать, наговорить тех слов, от которых делается тепло на душе. Помню, что больше всего меня подкупала в ней эта детская покорность и незащищенность.

– Любочка, вам холодно?

– Нет...

– Вы хотите есть?

– Нет...

– Вы устали?

– Нет... Если вам не трудно, дайте мне стакан воды.

Это была трогательная просьба. Только воды, и больше ничего. Она выпила залпом два стакана, и я чувствовал, как она дрожит. Да, нужно было предпринять что-то энергичное, решительное, что-то сделать, что-то сказать, а я думал о том, как давеча нехорошо поступил, сделав вид, что не узнал ее в саду. Кто знает, какие страшные мысли роятся в этой девичьей голове...

– Знаете что, Любочка, идите спать в нашу избушку, а я пойду гулять в парк. Мне все равно не спится, а до утра осталось немного... Потом мы поговорим серьезно.

Это предложение точно испугало ее. Любочка опять сделала такое движение, как человек, у которого единственное спасение в бегстве. Я понял, что это значило, и еще раз возненавидел Пепку: она не решалась переночевать в нашей избушке потому, что боялась возбудить ревнивые подозрения в моем друге. Мне сделалось обидно от такой постановки вопроса, точно я имел в виду воспользоваться ее незащищенным положением. «Она глупа до святости», – мелькнула у меня мысль в голове.

– Мне решительно ничего не нужно, – прошептала она в ответ на мои обидные мысли. – Ничего... Только, ради бога, не гоните меня.

– Послушайте, Любочка, ведь это сумасшествие! Да, настоящее сумасшествие... Ведь вы знаете, что Пепко уехал, вернее сказать – бежал?..

– Да, знаю...

– Зачем же вы остались в таком случае?

Она посмотрела на меня и совершенно серьезно ответила:

– Не знаю... Да мне и некуда идти... Я ничего не знаю.

– Послушайте, нужно же иметь хотя маленькое самолюбие: человек бежит от вас самым позорным образом, ведет себя, как... как... ну, как негодяй, если хотите знать.

– Что вы, что вы?! – испугалась еще раз Любочка, вскакивая. – Это я сама виновата... Да, сама, а Агафон Павлыч хороший.

– Хороший?... ха-ха!

Меня начала душить бессильная злость. Что вы будете тут делать или говорить?.. У Любочки, очевидно, голова была не в порядке. А она смотрела на меня полными ненависти глазами и тяжело дышала. «Он хороший, хороший, хороший»... говорили эти покорные глаза и вся ее фигура.

Наступила неловкая и тяжелая пауза. Небо сделалось серым, – близился рассвет. Где-то в дачном садике чирикнула первая птичка. Белая ночь кончалась. Любочка опять впала в свое полубезумие. В сущности я только теперь хорошенько рассмотрел ее. Она была почти



красива, вернее сказать – миловидна. Эти большие испуганные глаза смотрели с такой затаенной скорбью. Меня, между прочим, поразила одна особенность – современный женский костюм совсем не приспособлен для таких положений, в каком находилась сейчас Любочка. Шерстяная юбка была некрасиво смята, шляпа съехала набок, летняя накидка висела какой-то тряпкой, сложенный зонтик походил на сломанное крыло птицы; одним словом, все это не годилось для трагической обстановки, напоминая будничную дешевенькую суету.

– Нужно же что-нибудь делать, Любочка, – заговорил я, набираясь сил. – Так нельзя...

– Что нельзя?

– Да вот сидеть так...

– Идите спать... А я посижу здесь... Может быть, я вас компрометирую?

– А вы боитесь скомпрометировать себя, если пойдете и уснете в нашей избушке? Что может подумать о вашем поведении Пепко!.. Как это страшно...

– Вы его не любите...

– И даже очень не люблю...

Она закрыла лицо руками и зарыдала. Теперь уж я сделал движение в ожидании истерики.

– Я... я его так люблю... – шептала Любочка, не отнимая рук. – А вас ненавижу... Да, ненавижу, ненавижу, ненавижу!.. Вы его не любите и расстраиваете... Не от меня он убежал, а от вас.

– От меня?

– Да, вы, вы... Вы думаете, что я совсем дура и ничего не понимаю? Ха-ха!.. Вы нарочно увезли его и на дачу, чтобы спрятать от меня. Я все знаю... и ненавижу вас... всех...

Разговор принял совсем неожиданный оборот, и я немного растерялся в качестве опытного заговорщика и предателя.

– Вот что, Любочка... Идемте гулять?

– Не хочу... Я останусь здесь и дождусь его. Ведь когда-нибудь он вернется из города... Вот назло вам всем и буду сидеть.

Это, очевидно, был бред сумасшедшего. Я молча взял Любочку за руку и молча повел гулять. Она сначала отчаянно сопротивлялась, бранила меня, а потом вдруг стихла и покорилась. В сущности она от усталости едва держалась на ногах, и я боялся, что она повалится, как сноп. Положение не из красивых, и в душе я проклинал Пепку в тысячу первый раз. Да, прекрасная логика: он во всем обвинял Федосью, она во всем обвиняла меня, – мне оставалось только пожать руку Федосье, как товарищу по человеческой несправедливости.

– Куда вы меня тащите? – взмолилась Любочка, изнемогая.

– Не знаю... Войдите и в мое положение: что я буду делать с вами? Оставить вас я не могу, как это делают некоторые... Утешать – бесполезно.

Мы прошли два раза все Третье Парголово и остановились, наконец, на пустой горке, мимо которой спускалась тропинка на вокзал. Нашлась спасительная скамейка, на которую мы могли присесть. Солнце уже поднималось, – солнце холодное, без лучей. Перед нашими глазами разлеглось чухонское болото, перерезанное Финляндской железной дорогой; налево в пыльной мгле едва брезжился Петербург. Моя дама сидела безмолвно, как тень. Глаза у нее слипались, но она продолжала бороться со сном. Был момент, когда ей хотелось расплакаться, – я это видел по дрожащим губам, – но дневной свет, видимо, действовал на нее отрезвляющим образом.

– Бедный, где-то он провел ночь... – думала она вслух.

– Да, бедный... Черт бы его побрал!..

Она посмотрела на меня и улыбнулась.

– Воображаю, как вы меня проклинаете в душе, – проговорила она, продолжая улыбаться. – Целую ночь нянчитесь... Я вас, кажется, бранила?

– Да... Вернее сказать, вы сами не знали, что говорили.

– Миленкий, простите... Я так страдала, так измучилась... Идите, голубчик, спать, а я посижу здесь. С первым поездом уеду в Петербург... Кланяйтесь Агафону Павлычу и скажите, что он напрасно считает меня такой... такой нехорошей. Ведь только от дурных женщин бегают и скрываются...

На мой немой вопрос она сама ответила:

– Вы боитесь, что я опять приеду? Конечно, приеду, но на этот раз буду умнее и не буду лезть к нему на глаза... Хотя издали посмотреть... только посмотреть... Ведь я ничего не требую... Идите.

– Нет... Я все равно сегодня не буду спать.

– Почему?

– Я влюблен...

– Вы? Когда это случилось?

– Вчера, в восемь часов вечера...

– В Надю?

– Нет.

– Ах, да, эта высокая, с которой вы гуляли в саду. Она очень хорошенькая... Если бы я была такая, Агафон Павлыч не уехал бы в Петербург. Вы на ней женитесь? Да? Вы о ней думали все время? Как приятно думать о любимом человеке... Точно сам лучше делаешься... Как-то немножко и стыдно, и хорошо, и хочется плакать. Вчера я долго бродила мимо дач... Везде огоньки, все счастливы, у всех свой угол... Как им всем хорошо, а я должна была бродить одна, как собака, которую выгнали из кухни. И я все время думала...

– О чем?

– Ведь и мы могли бы так же жить на даче с Агафоном Павлычем... Я так бы ждала его каждый день, когда он вернется из города. Он приезжает со службы усталый, сердитый, а у меня все чисто, прибрано, обед вкусный... У нас была бы маленькая девочка, которую он обожает. Тихо, хорошо... Потом мы состарились бы, девочка уже замужем, и вдруг... Нет, это страшно! Мне представилось, что Агафон Павлыч умер раньше меня, и я хожу в трауре... Знаете, такая длинная-длинная вуаль из крепа... Переезжаю жить к дочери и все плачу, плачу... Каждый день хожу к нему на могилу, приношу цветов и опять плачу. Ведь никто не знает, какой он был хороший, добрый, как любил меня... Вы не смейтесь надо мной, Василий Иванович. Если вы действительно любите ту девушку, так все поймете...

– Я не смеюсь.

– И вдруг ничего нет... и мне жаль себя, ту девочку, которой никогда не будет... За что? Мне самой хочется умереть... Может быть, тогда Агафон Павлыч пожалеет меня, хорошо пожалеет... А я уж ничего не буду понимать, не буду мучиться... Вы думали когда-нибудь о смерти?

– Нет, как-то не случилось.

– Значит, вы еще не любите. Если человек любит, он все понимает, решительно все, и обо всем думает... Я целые дни сижу и думаю и не боюсь смерти, потому что люблю Агафона Павлыча. Он хороший...

Мне опять сделалось жаль Любочку, в которой мучительно умирал целый мир и все будущее. Она была права: любовь делала ее почти умной, и она многое понимала так, как в нормальном состоянии никогда не понимала. Ее наивная философия навевала на меня невольную грусть. В самом деле, от каких случайностей зависит иногда вся жизнь: не будь у нас соседка по комнатам «черкеса», мы никогда не познакомились бы с Любочкой, и сейчас эта Любочка не тосковала бы о «хорошем» Пепке. По аналогии я повторил про себя свою вчерашнюю встречу с Александрой Васильевной – тоже случайность и тоже... Дальше я старался ничего не думать, потому что мое солнце уже поднялось и решительный день наступил. А она, наверное, спит молодым, крепким сном и давно забыла о моем существовании...

Мы просидели на горке до первого поезда, отходившего в Петербург в восемь часов утра. Любочка заметно успокоилась, – вернее, она до того устала, что не могла даже горевать. Я проводил ее на вокзал.

– Желаю вам счастья... много счастья! – шепнула она, выглядывая из окна вагона.

Домой я вернулся, пошатываясь от усталости. Представьте мое изумление, когда в сенях я увидел спавшего мертвым сном Пепку. Он и не думал уезжать в Петербург и, как я догадывался, весело проводил время в обществе Мелюдэ и пьяного Гамма, пока я отваживался с Любочкой. Зачем нужно было обманывать еще меня? Мне ужасно хотелось пнуть его ногой, обругать, приколотить... Меня больше всего возмушало то, что человек спал спокойно после всех тех гадостей, какие наделал в течение одного вечера, – спрятался от обманутой девушки, обманул лучшего друга... Воображаю, как Пепко хохотал и дурачился с Мелюдэ, пропивая взятые у меня крейцеры.

– Пепко!

Пепко не шевелился, но я видел, что он проснулся и притворяется спящим. Это была последняя ложь...

– Пепко, я тебя презираю...

Мне показалось, что, когда я отвернулся, Пепко сдержанно хихикнул. Это животное было способно на все...

Я заснул, не раздеваясь. Это был даже не сон, а какая-то тяжесть, раздавившая меня. Меня разбудил осторожный стук в окно, – в окне мелькал черный зонтик, точно о переплет рамы билась крылом черная птица.

– Как вам не стыдно! – слышался голос Наденьки. – Вставайте и догоняйте нас с Шурой. Мы идем в парк.

Из-за косяка дверей выглядывала измятая рожа Пепки и самым нахальным образом подмигивала мне по адресу черного зонтика.

– Мало-помалу, не вдруг, постепенно, шаг за шагом падала... падала священная римская империя и совсем развалилась... – бормотал он, ухмыляясь.

Я ответил ему молчаливым презрением.

Я так торопился, что даже забыл о штиблетах и вспомнил об этом обстоятельстве только на улице, догоняя девушек. Я несся точно на крыльях. Помню, что я догнал их как раз напротив той дачи с качелями, на которой мы с Пепкой разыгрывали наш «роман девушки в белом платье». Эта девушка как раз была налицо, – она тихо раскачивалась на своей качели с книгой в руках. Мне показалось, что она с каким-то укором подняла на меня свои чудные глаза, точно я изменял ей каждым своим шагом. Но разве могло быть какое-нибудь сравнение этого ребенка с настоящей женской красотой, живым олицетворением которой являлась она, Александра Васильевна. При дневном свете она показалась мне еще лучше. Как она грациозно шла, какой рост, какое выражение лица... «Она покоится стыдливо в красе торжественной своей», мелькнули у меня в голове стихи Пушкина, а бедная девушка в белом платье все бледнела и бледнела, пока не растаяла, как снегурочка.

– Вы остаетесь на целый день? – говорил я, здороваясь с своей дамой сердца.

– Надя этого хочет... – наивно ответила она и улыбнулась, посмотрев на подругу. – Я еду вечером, с девятичасовым поездом.

Я чуть не вскрикнул: целый день счастья! Меня эта мысль точно испугала... Целый день – это побольше вечности. Мне почему-то припомнился вычитанный где-то Пепкой анекдот о Гете, скромно признавшемся перед смертью, что он был счастлив в жизни всего четверть часа. А я буду счастлив целый день, целую вечность... Самая обыкновенная прогулка по Шуваловскому парку для меня являлась мировым событием, перед которым бледнело все остальное. Это было торжественное шествие царицы, для которой светило солнце, цветы лили свой аромат, благоговейно шептали деревья, а воздух окружал светлым облаком... Я мог только удивляться слепоте встречавшихся на дороге людей, которые упорно не хотели замечать проходившего мимо них совершенства. Несчастные, они ничего не понимали, а между тем все кричало: гряди, голубица!..

Мы долго гуляли по всему парку, и мне казалось, что он принадлежит мне, и я показываю его своей избраннице. Наденька продолжала свою вчерашнюю политику и разными способами устраняла себя, предоставляя нам полную свободу. Наденька любила рвать цветы, хотя это и было строго воспрещено аншлагами; Наденька любила дурачиться, как козочка, и пряталась за деревьями; Наденька уставала и садилась на каждую скамейку отдыхать... А я опять шел под руку с Александрой Васильевной, опять чувствовал, как она опирается на мою руку, опять что-то рассказывал, и опять она так хорошо и доверчиво улыбалась.

– Скажите, пожалуйста, как пишут романы?.. – спрашивала она. – Я люблю читать романы... Ведь этого нельзя придумать, и где-нибудь все это было. Я всегда хотела познакомиться с романистом.

Наденька поусердствовала, и я должен был фигурировать в качестве реализовавшегося романиста. Это была ложь, но в данный момент я так верил в себя, что маленькая хронологическая неточность ничего не значила, – пока я печатал только рассказы у Ивана Иваныча «на затычку», но скоро, очень скоро все узнают, какие капитальные вещи я представлю удивленному миру. Положим, я забегал немного вперед своей славе, но важно верить в себя, в свою миссию, в свои идеалы. Одним словом, я разыгрывал роль романиста самым бессовестным образом и между прочим сейчас же воспользовался разработанным совместно с Пепкой романом девушки в белом платье, поставив героиней Александрой Васильевну и изменив начало. Я прямо взял нашу вчерашнюю встречу и к ней приделал роман нашей девушки в белом платье. На мою долю выпадала выигрышная роль героя, преодолевающего очень серьезные препятствия. В сущности я делал самый бессовестный плагиат и нисколько не стеснялся. Мой герой, то есть я, высказывал Александре Васильевне все то, что я чувствовал и переживал сам. Кроме того, я не пощадил своего друга и для контраста провел параллель несчастного романа Любочки и кое-что кстати позаимствовал из беседы с ней. Под конец я сам удивлялся самому себе, то есть своей находчивости, – ведь это было целое и обстоятельное объяснение в любви, замаскированное романической фабулой.

– И вы все это написали? – наивно удивлялась Александра Васильевна, окончательно убеждаясь в моем признании романиста.

– Да... то есть еще не кончил. Необходимо кое-что исправить, кое-что дополнить, вообще – закончить.

– Ах, как это интересно, Василий Иванович...

– Когда выйдет моя книга, я преподнесу ее вам первой...

– Мне? О, я очень благодарна...

Видимо, она не догадывалась, в чем заключается суть моего будущего романа, и не узнавала себя в нарисованной мной героине. Конечно, она немножко наивна... да. Даже – как это выразиться повежливее? – почти глупа той красивой и милой глупостью, которую самые умные и самые строгие мужчины так охотно прощают хорошему женщинам. Увы! она никогда не получила романа девушки в белом платье, потому что он так и остался в отделе неосуществившихся добрых намерений, хотя в данном случае и сослужил мне хорошую службу. Неужели Пепко прав, уверяя, что наши лучшие намерения никогда не осуществляются и каждый автор должен умереть, не исполнив того, что он считает лучшей частью самого себя? Только золотая посредственность довольна собой, а настоящий автор вечно мучится роковым сознанием, что мог бы сделать лучше, да и нет такой вещи, лучше которой нельзя было бы представить. Всякая форма – только жалкое приближение к авторскому замыслу...

Как это хорошо, когда чувствуешь, что она тебе верит и сам веришь себе... Именно так и было в данном случае. Александра Васильевна сама разболталась и так мило рассказывала мне разные мелочи из своей жизни.

– Вы только не смейтесь надо мной, – упрасивала она кокетливо.

– Почему вы думаете, что я буду смеяться над вами?

Она сделала серьезное лицо, посмотрела на меня и ответила с самой милой наивностью:

– Вы такой умный...

Мне оставалось только расписаться в собственной гениальности, что я сделал молчанием, хотя и смутился от собственного величия. Кажется, это уж немножко много, а главное – преждевременно. Впрочем, я так далеко зашел, что действительность совершенно тоннула в целом мире вымыслов и галлюцинаций. Я уже был знаменит по той простой причине, что она шла рядом со мной и так доверчиво опиралась на мою руку. Ведь я ее вел к такому светлому будущему и вперед отдавал ей всю свою славу, всю жизнь. И вековые деревья соглашались со мной, и плывшие в небе облака, и бродившие между деревьями тени...

Наденьке, наконец, надоело разыгрывать роль доброго гения, и она заявила без церемоний:

– Господа, я хочу есть... Голодна до бессовестности.

– Что же, отлично... Мы позавтракаем в ресторанчике доброй лесной феи, она же и ундина, – согласился я. – Это отсюда в двух шагах...

У меня в кармане был всего один рубль, и я колебался, как устроиться с ним: предложить дамам катанье на лодке или «легкий» завтрак. Наденька разрешила мои сомнения.

Мы весело отправились к доброй лесной фее, и я вперед рисовал себе этот уютный лесной уголок, который послужит приютом нашей любви, – в моем воображении она уже любила меня, и я говорил «мы». Я вперед любил этот приют и добрую лесную фею. Небольшая дачка совсем пряталась под столетними соснами.

– Вот и приют доброй лесной феи, – торжественно провозгласил я, вводя своих дам в палатку маленького садика.

Наденька уже раскрыла рот, чтобы рассмеяться, но взглянула на один из столиков, задрапированных акациями, и превратилась в немой вопрос. За столиком сидели Пепко и Любочка... Встреча была настолько неожиданна, что мы оба смутились и даже церемонно раскланялись, как дальние родственники. Любочка смотрела на меня торжествующими злыми глазами и улыбалась. Я ничего не понимал. Это был какой-то нелепый сон, и я с облаков упал прямо на землю. Пепко по присущей ему бессовестности подошел к Наденьке и попросил представить его «прелестной незнакомке», а я подошел к Любочке.

– Вы удивлены, да? – спрашивала она, подавая мне два пальца, и прибавила, сверкая глазами: – Ловко вы меня обманывали целую ночь, а я оказалась умнее вас. Доехала до Шувалова и сообразила все... Конечно, Агафон Павлыч должен быть дома, и вы меня все время водили за нос. Дождалась обратного поезда и вернулась... Ха-ха! Я видела, как вы погнались за своими дамами, и накрыла Агафона Павлыча. Он и не думал никуда уезжать... Я вам этого никогда, никогда не прощу!.. Вы бессовестный человек... Я даже не могла себе представить, что такие люди вообще могут быть. Вы – чудовище...

Мне ничего не оставалось, как только поднять плечи и сделать большие глаза. Я понял, что Пепко продал меня самым бессовестным образом и за мой счет вышел сух из воды.

– Вот и отлично, – повторял Пепко, потирая руки. – Мы тут позавтракаем совсем по-семейному...

Это бессовестное животное, кажется, рассчитывало на мой несчастный рубль, сохраняя за собой престиж любезного кавалера. Меня это окончательно возмутило. Вся прогулка была испорчена. В довершение всего Пепко смотрел на Александру Васильевну такими глазами, что мне хотелось «дать ему на морда», как говорил Гамм. А Пепко ничего не хотел замечать и даже подмигнул мне: дескать, знаем, что знаем. Мои дамы были недовольны обществом Любочки, к которой отнеслись почти враждебно. Недавняя непринужденность исчезла разом, и скромный завтрак прошел совсем скучно. Торжествовала одна Любочка и сама первая взяла Пепку за руку, когда мы поднялись.

Эта встреча отравила мне остальную часть дня, потому что Пепко не хотел отставать от нас со своей дамой и довел свою дерзость до того, что забрался на дачу к Глазковым и выкупил свое вторжение какой-то лестью одной доброй матери без слов. Последняя вообще благоволила к нему и оказывала некоторые знаки внимания. А мне нельзя было даже переговорить с Александрой Васильевной наедине, чтоб досказать конец моего романа.

Да, вторая часть дня совершенно пропала для меня... Дорогие минуты летели, как птицы, а солнце не хотело останавливаться. Вечер наступал с ужасающей быстротой. Моя любовь уже покрывалась холодными тенями и тяжелым предчувствием близившейся темноты.

– Вы меня проводите на вокзал... – устало проговорила Александра Васильевна, когда вечерний чай кончился и кое-где на дачах замелькали огоньки. – Мне пора домой...

О, милая, как она была хороша, завоевывая себе несколько свободных минут. Наденька не пошла провожать, сославшись на головную боль. Она же задержала Любочку под каким-то предлогом... Мы отправились вдвоем. Я нарочно замедлял шаги, чтобы опоздать на поезд и выгадать лишний час. Мы медленно спускались с горы, болтая о каких-то пустяках, а я испытывал жуткое чувство, точно расставался с своей дамой навсегда. Бывают пророческие сны и роковые предчувствия... В то же время я чувствовал, что сегодняшней день имеет решающее значение и что он не вернется никогда, что совершилось что-то такое огромное и подавляющее и что я уже не могу вернуться к своему прошлому. А маленькие ножки все шли вперед, к тому неизвестному будущему, которое должно было разлучить нас навсегда... Мне вдруг сделалось жаль себя, жаль за серенькое существование, за неизжитую молодость, за неудовлетворенный проблеск счастья. Ведь с ней уходила моя первая любовь, целый светлый мир, все будущее... Вот остается жить только маленькое расстояние, отделяющее нас от вокзала. Кто знает, что могло бы быть, если бы поезд опоздал, но поезда опаздывают совсем не тогда, когда это нужно. Он подошел к станции как раз в момент, когда подходили мы, так что я едва успел купить билет. Это уж второй раз сегодня я провожаю: там я рад был избавиться, а здесь готов был удержать поезд руками. У меня даже мелькнула мысль ехать провожать в город, но – увы! – в кармане оставался всего один пятак.

– До свидания... – говорила Александра Васильевна, появляясь в окне вагона. – Не забудьте, я вас буду ждать. Непременно...

Она что-то хотела еще сказать, но поезд уже тронулся, и сказанная ею фраза улетела на воздух.

Я возвращался домой в самом мрачном настроении, как человек, который нашел сокровище и сейчас же его потерял. Я почему-то припомнил психологию творчества, которую развивал Пепко, и горько усмехнулся. Она уже начиналась.

– Пепко, ты большой негодяй.

– Гм... Пожалуй, я не буду спорить. Но негодяй создан негодяем и не виноват, что природа создала его именно негодяем, а нехорошо то, когда люди порядочные, то есть те, которые считают себя порядочными, знают с негодяями. Скажи мне, кто твои друзья, и так далее.

– Это игра слов, а я говорю серьезно. Самое скверное то, что ты утратил всякий аппетит порядочности. Да... Ты еще можешь смеяться над собственными безобразиями, а это признак окончательного падения. Глухой не слышит звуков, слепой не видит света, а ты не чувствуешь тех гадостей, которые проделываешь. Одним словом, ты должен жениться на Любочке...

Заключение было так неожиданно, что Пепко сел на своем девственном ложе, как он называл матрац, посмотрел на меня удивленными глазами и расхохотался. Ничто меня так не выводило из себя, как этот дурацкий хохот. Я ненавидел Пепку в эти моменты и не скупился на дерзости. Его поведение в последнее время возмущало меня до глубины души, а теперь в особенности, потому что я весь был полон самыми возвышенными чувствами. Александра Васильевна являлась для меня мерой всех вещей, и, обличая Пепку, я думал о ней. Я был уверен, что она сказала бы то же самое, что говорил сейчас я сам.

– Послушай, время пророков миновало, – отвечал Пепко, успокоившись от хохота. – Да... Например, явись Исая или Иеремия и начни обличать прогрессирующую современность – им бы пришлось не сладко... Да и самое слово в наше время потеряло всякую цену, мы не верим словам, потому что берем их напрокат. Слово ветхого человека было полно крови, оно составляло его органическое продолжение, поэтому оно и имело громадное значение. Какой смысл твоего обличения? Ведь обличать имеет право только тот, кто сам не сделал ничего дурного, а ты сделаешь хуже, чем я. Если не сделал, то еще сделаешь. Вся разница между нами только в том, что я избалован женщинами... Разве я виноват?

– Женщинами? Ха-ха!.. Мелюдэ и Любочка...

– Гм... Совершенства на земле, к сожалению, нет, и опять-таки я в этом не виноват.

– Нет, уж извини: есть совершенство. Понимаешь: есть!..

Мой ответ был высказан с таким азартом, что Пепко посмотрел на меня испытующим оком, издал носовой свист и проговорил успокоенным тоном:

– По-ни-ма-ю... Мы влюблены. Что же, священная римская империя тоже была разрушена...

– Молчи, несчастный!..

Эта глупая по своему существу сцена заставила меня задуматься. Мне казалось, что Пепко был прав относительно моей предполагаемой преступности. Я даже немного покраснел, когда он высказал свою мысль, точно он видел мои собственные сомнения. Дело было так. Проходя мимо дачи с качелями, я машинально засмотрелся на девушку в белом платье, – она была как-то особенно хороша в этот роковой момент, хороша, как весеннее утро, когда ликует один свет и нет ни одной тени. Мне показалось, что и она тоже смотрит на меня, и я почувствовал какую-то сладкую истому. Потом у меня мелькнула в голове страшная мысль: я изменял Александре Васильевне... Разве я имел право смотреть на других женщин? Продолжая мысль Пепки о моей непроявившейся преступности, я пришел в недоумение. А если бы эта девушка в белом платье полюбила меня? По-настоящему полюбила... Ведь я по своей испорченности могу думать об этом, следовательно, допускаю такую возможность. И мне не было бы неприятно... О, какое чудовище я вынашивал в собственной груди! Пепко по крайней мере действует откровенно, как откровенно лесной зверь рвет другого зверя. Он – человек минуты и растворяется без остатка в настоящем, как брошенная в стакан воды крупинка соли. Я начинал чувствовать себя погибшим человеком и чувствовал, что единственное спасение – это увидеть Александру Васильевну, – один ее взгляд разогнал бы угнетавшие меня призраки.

Тут явилось непреодолимое препятствие, испортившее все. Ведь не мог же я явиться к ней в своих высоких сапогах... Сделав осмотр своего сборного репортерского костюма, я пришел к печальному заключению, что он удовлетворяет еще меньше, чем сапоги. Оставался компромисс, именно – добыть чужой костюм. Гардероб Пепки находился в положении излюбленной им разрушавшейся священной римской империи и заставлял желать многого. Студенты-товарищи разъехались по домам. Одним словом, скверно, как только может быть скверно. На меня напало отчаяние. В самом деле, судьба могла бы быть немного повежливее... Я поверил свое горе Пепке, и он отнесся к нему с большим сочувствием, чем тронул меня.

– Нет, в этих сапожищах невозможно, – размышлял он, оглядывая меня. – Слава и женщины не любят, когда к ним подходят в скверных сапогах. Да... Это, так сказать, мировой вопрос. Я даже подозреваю, что и священная римская империя разрушилась главным образом потому, что римляне не додумались до сапог.

– Отвяжись ты с своей римской империей!

– А она, значит, приглашала тебя к себе? Гм... Для начала недурно. Пикантная штучка...

– Не смей так говорить...

– Если взять за бока академию... – вслух думал Пепко. – Гришук выше тебя ростом, Фрей толще, Порфирыч санкюлот... гм... Ничего не выйдет, как ни верти. Молодин куда-то пропал... Да и неловко с такими франтиками амикошонствовать... Знаешь что, Вася...

Пепко повертел пальцем около лба и проговорил с авторитетом старшины присяжных заседателей:

– Тебе ничего не остается, как только кончить твой роман. Получишь деньги и тогда даже мне можешь оказать протекцию по части костюма!.. Мысль!.. Единственный выход... Одна нужда искусством двигала от века и побуждала человека на бремя тяжкое труда, как сказал Вильям Шекспир.

Пепко вторично угадал мою мысль. Я уже думал об этом, хотя не с экономической точки зрения. У меня явилась потребность именно в такой работе, которая открывала необъятный простор фантазии. Вот единственный случай, когда можно излить на бумагу все свои чувства, все свои мысли и заставить других чувствовать и думать то же самое. Это будет замаскированная исповедь, то, чего нельзя создать никаким трудом, никакой добросовестностью. Мне припомнилась аллегорическая картина, изображавшая происхождение живописи. Южная лунная ночь. У стены стоит молодой человек и молодая девушка. Он углем вычерчивает на стене абрис ее головки. Ах, как это справедливо и верно... Ведь и я буду делать то же, но только не в области живописи, которую Гейне называет плоской ложью, а создам чудный женский образ словом. Все остальное будет только фоном, подробностями, светотенью, а главное – она, которая выйдет в ореоле царицы.

– О, ты все это прочтешь и поймешь, какой человек тебя любит, – повторил я самому себе, принимаясь за работу с ожесточением. – Я буду достоин тебя...

Но этот порыв привел к целому ряду самых печальных открытий. Перечитав свои рукописи, я пришел к грустному заключению, что все написанное мной решительно никуда не годится, как плохая выдумка неопытного лгуна. Не было жизни, потому что не было знания жизни, и мои действующие лица походили на манекенов из папье-маше. Я только теперь понял, что придумывать жизнь нельзя, как нельзя довольствоваться фотографиями. За внешними абрисами, линиями и красками должны стоять живые люди, нужно их видеть именно живыми, чтобы писать. Это самый таинственный процесс в психологии творчества, еще более таинственный, чем зарождение какого-нибудь реально живого существа. В самом деле, какая страшная сила заложена в произведениях, созданные две тысячи лет назад и вызывающие у нас слезы на глазах сейчас. Это такая неизмеримо-громкая задача, перед которой цепенел ум. Нужно было быть избранником, солью земли, чтобы набраться решимости приступить к такой задаче. И, представьте себе, то, что называется классической литературой, самые выдающиеся произведения были написаны за много лет раньше, чем явилась критика с своим аршином. При чем тут эта критика, и как она бедна... Я много читал и нигде не нашел того, что сейчас раскрывалось перед моими глазами. Нет, неправда: в исповеди Ж. – Ж. Руссо есть одно место, где он близко подходил к истине, объясняя процесс зарождения своих произведений. Кстати, я припомнил афоризм Любочки, что влюбленный человек понимает все, как я сейчас понимал все. Да, все... Это смело сказано и может



вызвать снисходительную улыбку, но это правда, и я еще раз обращаюсь к сравнению: любовь – это молния, которая всполохом выхватывает громадную картину жизни, и вы видите эту картину в мельчайших подробностях, ускользающих от внимания в обыкновенное время.

Бывают такие моменты, когда человек начинает проверять себя, спускаясь в душевную глубину. Ведь себя нельзя обмануть, и нет суровее суда, как тот, который человек производит молча над самим собой. Эта психологическая анатомия не оставляет камня на камне. В такие только минуты мы делаемся искренними вполне. Проверяя самого себя, я пришел к выводам и заключениям самого неутешительного характера и внутренне обличил себя. Прежде всего, недоставало высокой нравственной чистоты, той чистоты, которую можно сравнить только с чистотой драгоценного металла, гарантированного природой от опасности окисления. Эту чистоту заменяла условная порядочность и самая обыкновенная нравственная чистоплотность. На этом скромном основании не могло развиваться в полную величину ни одно чувство, и оно появлялось на свет уже тронутым и саморазлагающимся, как новый лист растения, который разворачивается из почки с роковыми пятнами начинающегося гниения. Гнилостное заражение происходило еще в зародыше. Как видите, я нисколько не обманывал себя относительно собственной особы и меньше всего верил в так называемые молодые порывы. Эта беспощадная критика имела тот смысл, что таким душевным тоном среднего человека нельзя писать, потому что все исходит из таинственных глубин нашего чувства. Мой роман сейчас меня приводит в отчаяние, как величайшая нелепость, вылепленная с грехом пополам по чужому шаблону. Я в отчаянии швырнул свою рукопись в угол.

– Ты это что? – удивился Пепко, никогда не терявший присутствия духа и лишенный способности приходить в отчаяние. – Малодушие?.. Разочарование в собственной особе?

Я молчал и только смотрел на него злыми глазами. Эта самодовольная посредственность не могла ничего понять, так что слова были излишни. В Пепке я ненавидел сейчас самого себя.

– Мы желали быть великими... гм... – думал вслух Пепко, начиная шагать по конуре. – Желание по своему существу довольно скромное, как всякое стремление к совершенству, прогрессу и еще черт знает к чему-то зазвонистому, сногшибательному. Хе-хе... Прежде чем человек что-нибудь сделал, он разрешает вопрос о своей правоспособности на таковое величие и геройство. Очень недурно и даже мило... Настоящий большой талант вне всякой условной меры, вернее – он сам мера самому себе. Все эти рамочки, шаблоны и трафареты существуют только для жалкой посредственности... Настоящий большой человек никогда не будет думать, есть у него талант или нет, как не думает об этом река, когда в весеннее половодье выступает из берегов, как не думает соловей, который поет свою любовь. Вышло одно, именно – это томящая потребность выложить свою душу, охватить мир, подняться вверх... Даже самая добродетель теряет здесь всякую цену, потому что она никому не нужна, а нужны творчество, вдохновение, высокий порыв.

– Река, берущая начало из нечистого источника, не может быть чистой, то есть утолять жажду.

– Все это прописная мораль, батенька... Если уж на то пошло, то посмотри на меня: перед тобой стоит великий человек, который напишет «песни смерти». А ведь ты этого не замечал... Живешь вместе со мной и ничего не видишь... Я расплачусь за свои недостатки и пороки золотой монетой...

– Твое величие совершенно недоступно... невооруженному глазу.

– В тебе говорит зависть, мой друг, но ты еще можешь проторить себе путь к бессмертию, если впоследствии напишешь свои воспоминания о моей бурной юности. У всех великих людей были такие друзья, которые нагревали свои руки около огня их славы... Dixi. [22] Да, «песня смерти» – это вся философия жизни, потому что смерть – все, а жизнь – нуль.

Мое отчаяние продолжалось целую неделю, потом оно мне надоело, потом я окончательно махнул рукой на литературу. Не всякому быть писателем... Я старался не думать о писаной бумаге, хоть было и не легко расставаться с мыслью о грядущем величии. Началась опять будничная серенькая жизнь, походившая на дождливый день. Распрощавшись навсегда с собственным величием, я обратился к настоящему, а это настоящее, в лице редактора Ивана Ивановича, говорило:

– Что вы пишете мелочи, молодой человек? Вы написали бы нам вещицу побольше... Да-с. Главное – название. Что там ни говори, а название – все... Французы это отлично, батенька, понимают: «Огненная женщина», «Руки, полные крови, роз и золота». Можно подпустить что-нибудь таинственное в названии, чтобы у читателя заперло дух от одной обложки...

Первый месяц своей дачной жизни мы с Пепкой как-то совсем порвали и с «академией» и с Петербургом. Но «необходимость жевать» напомнила нам о том и о другом. Буквы а, е и о, которые Пепко называл своими кормилицами, давали ничтожный заработок, репортерской работы летом не было, вообще приходилось серьезно подумать о том, что и как жевать. А тут еще Любочка, которая начала систематически донимать Пепку. Она являлась ровно через день, как на службу, и теперь уже не стеснялась моим присутствием, чтобы разыгрывать сцены ревности, истерики и даже обмороки. Пепко только скрипел зубами от подавленной ярости, но ничего не мог поделать. При появлении Любочки я обыкновенно уходил, коварно предоставляя друга его собственной судьбе. Возвращаясь, я заставлял самую мирную картину: Пепко обладал секретом успокаивать Любочку. Мне казалось, что он пускал в ход тот же маневр, как хозяин моей первой квартиры. Он заговаривал Любочку пустыми словами. Она была счастлива, как поденка, и уезжала домой с улыбкой на лице. Пепко провожал ее тоже с улыбкой, а когда поезд отходил, впадал в моментальную ярость и начинал ругаться даже по-чухонски.

– Она из меня все жилы вытянула... Что я буду делать? Отчего я не турецкий султан и не могу бросить ее в воду, зашив предварительно в мешок? Отчего я не могу ее заточить куда-нибудь в монастырь, как делалось в доброе старое время? Проклятие вам, все женщины, все, все... Я чувствую, что меня оставляют последние силы, и я могу только воскликнуть с милашкой Нероном: какой великий артист погибает!.. Проклятие... и еще раз проклятие... О, я знаю, что такое женщина: это живая ложь, это притворство, это мертвая петля, это отрава...

– Послушай, ты говоришь, как старинный византийский хронограф...

– Женщина – это воплощение всяческой неправды и греха. Она создана на нашу погибель, вот эта самая милая женщина... И ведь какими детскими средствами они нас пугают – смешно сказать. Любочка твердит одно: утоплюсь, отравлюсь, брошусь под поезд. Нарочно читает газеты, вырезывает из них подходящие случаи самоубийства и преподносит их мне в назидание. Как это тебе понравится? И ведь знаю, отлично знаю, что не отравится и не утопится, а все-таки как-то жутко... Черт ее знает, что ей взбредет в башку! Благодарю покорно... Оставит еще записку: «Умираю от несчастной любви к такому-то студенту». Все газеты перепечатают, потом носа никуда нельзя будет показать... О, женщины, проклятие вам! Недаром в Китае считается верхом неприличия спросить почтенного человека о его жене или дочерях...

– Послушай, Пепко, ведь это прекрасная тема...

– Тема? Тьфу... Знаешь, чем все кончится: я убегу в Америку и осную там секту ненавистников женщин. В члены будут приниматься только те, кто даст клятву не говорить ни слова с женщиной, не смотреть на женщину и не думать о женщине.

– Бедные женщины!.. А я все-таки воспользуюсь твоей темой и даже название придумал: «Роман Любочки».

– А, черт, все равно... Катай Ивану Иванычу. Только название нужно другое... Что-нибудь этакое, понимаешь, забористое: «На волосок от гибели», «Бури сердца», «Тигр в юбке». Иван Иваныч с руками оторвет...

– Да, но... гм... Как-то претит, Пепко...

– Э, вздор! Печатаюсь у Ивана Ивановича, никто не мешает тебе сделаться Шекспиром... Это даже полезно, потому что расширяет горизонт. Необходимо пройти школу...

Пепко умел возвышаться до настоящего красноречия, как я уже говорил, но в данном случае его слова для меня были пустым звуком. Конечно, я писал кое-какие мелочи для Ивана Ивановича, но здесь шел вопрос о «большой вещице», а это уже совсем другое дело. У меня уже составилась целый план настоящего романа во вкусе Ивана Ивановича, и оставалось только осуществить его. Но даже в замысле мне все это казалось жалким предательством, почти изменой, потому что все это было только сделкой и подлаживаньем. Писать для настоящего большого журнала и писать для Ивана Ивановича – вещи несоизмеримые, и я вперед чувствовал давление невидимой руки. С этой именно точки зрения забракованный мною собственный роман показался мне особенно милым. Да, он выдуман, он вместо живых лиц дает манекенов, он не художественное произведение вообще, но зато он писался вполне свободно, писался для избранной публики, писался вообще с тем подъемом духа, который только и делает автора. А от Ивана Ивановича веяло спертым воздухом мелочной лавочки и ремесленничества, которое сводится на угождение публике. Тут не до идей и высоких помыслов... Я вперед предвидел, как от такой работы будет понижаться мой собственный душевный уровень, как я потеряю чуткость, язык, оригинальность и разменяюсь на мелочи. Вообще скверно. И это с самого начала, а что же будет потом?

Я опять перечитывал свой роман и начинал находить в нем некоторые достоинства, как описания природы, две-три удачных сцены, две-три характеристики. Есть авторы, которые выступают сразу в своем настоящем амплуа, и есть другие авторы, которые поднимаются к этому амплуа точно по лесенке. Вдумываясь в свое сомнительное детище, я отнес себя к последнему разряду. Да, впереди предстоял целый ряд неудач, разочарований и ошибок, и только этим путем я мог достигнуть цели. Я нисколько не обманывал себя и видел вперед этот тернистый путь. Что же, у всякого своя дорога... Ведь музыкант, прежде чем перейти к композиторству, должен пройти громадную школу, художник тоже, и одна теория ни тому, ни другому не дает еще ничего, кроме знания. Автору приходится сразу выступать композитором, и в этом громадная разница. Конечно, и у автора есть свой подражательный период, который только постепенно сменяется тем своим, что одно только и делает автора. В этом своем, как бы оно мало ни было, заключается весь автор; разница только в степени. Есть свои рядовые, офицеры, генералы и даже фельдфебеля и унтер-офицеры.

Все эти мысли и чувства проходили у меня довольно бессвязно, путались, сбивали друг друга и производили тот хаос, в котором трудно разобраться. А нужно было жить, нужно было работать... Ждать было нечего. Скрепя сердце я принялся за работу для Ивана Ивановича. Помню, как мне было совестно писать: «Роман в трех частях». Название пока еще не выяснилось, вернее – было несколько названий. Я старался писать потихоньку от Пепки, когда он пропадал в «Розе» или отправлялся с Любочкой гулять в парк. Стоял уже июль. Погода была жаркая, и работа туго подвигалась вперед. Мне все казалось, что я пишу не то, что следует, и начинаю торговать собой. Это было мучительное сознание, которое отравляло всю работу. Предо мной неотступно стоял Иван Иванович с своей жирной улыбкой и поощрительно говорил: «Ничего, уйдет на затычку»... А за ним стояла громадная толпа, которая требовала закрученной темы, кровавых эпизодов, экстравагантной завязки. Я начинал ненавидеть и эту толпу и самого Ивана Ивановича, которые совместно давили меня. Ведь, кажется, можно было написать хорошую «вещицу» и для этой толпы, о которой автор мог и не думать, но это только казалось, а в действительности получалось совсем не то: еще ни одно выдающееся произведение не появлялось на страницах изданий таких Иванов Ивановичей, как причудливая орхидея не появится где-нибудь около забора. Всякому овощу свое место и свое время.

Раз я сидел и писал в особенно унылом настроении, как пловец, от которого бежит желанный берег все дальше и дальше. Мне опротивела моя работа, и я продолжал ее только из упрямства. Все равно нужно было кончать так или иначе. У меня в характере было именно упрямство, а не выдержка характера, как у Пепки. Отсюда проистекали неисчислимые последствия, о которых после.

Итак, я сидел за своей работой. В раскрытое окно так и дышало летним зноем. Пепко проводил эти часы в «Розе», где проходил курс бильярдной игры или гулял в тени акаций и черемух с Мелюдэ. Где-то сонно жужжала муха, где-то слышалась ленивая перебранка наших милых хозяев, в окно летела пыль с шоссе.

– О юноша, который пренебрег радостями земли и предался сладкому труду, – раздался в окне знакомый голос.

Поднимаю голову и вижу улыбающееся и подмигивающее лицо Порфира Порфирыча. Он был, по обыкновению, навеселе, причмокивал и топтался на месте. Из-за его спины заглядывали в мое окно лица остальных членов «академии». Они были все тут налицо, и даже сам Спирька с его красным носом.

– Господа, пожалуйста... – приглашал я, пряча свою рукопись.

Компания ввалилась в нашу хибарку и наполнила все пространство, так что нечем сделалось дышать.

– Ото дворяга... – хрипло басил Гришук, который чуть не доставал головой потолка. – А где Пепко, сучий сын? Уехал и адреса не оставил, а мы же сами нашли.

– Не в этом дело... – бормотал Селезнев. – Мы хотели подышать свежим воздухом, как это делают теперь все порядочные люди, и сделать вам сюрприз. Адрес-то я разыскал... Зашел к Федосье и разыскал. Там еще познакомился с некоторой ученой девицей, которая тоже собирается к вам в гости. Говорит, что ее приглашал Пепко. А впрочем, не в этом дело...

Селезнев протянул сжатый кулак, и я понял, что у него есть деньги и что он опять предлагает мне братски разделить их.

– Что же мы будем здесь сидеть зря? – заговорил Спирька, вытирая свою рожу шелковым платком. – Мы ведь приехали подышать воздухом... Где у вас здесь воздух-то полагается?

Можно себе представить приятное изумление Пепки, когда вся «академия» ввалилась в садик «Розы». Он действительно гулял с Мелюдэ, которая при виде незнакомых мужчин вдруг почувствовала себя женщиной, взвизгнула и убежала.

– Это что? – спрашивал Спирька, провожая глазами убегающую даму. – Ах, нехорошо, молодой человек, и даже весьма вредно... Ужо вот маменьке напишу, какую вы здесь тень наводите.

Дальнейшие события последовали в обычном порядке. Явился «человек» с салфеткой, явилась бутылка водки, бутерброды, солянка, ботвинья и т. д. Фрей был, по обыкновению, молчалив, молча пил рюмку за рюмкой и молча сосал свою трубочку. Спирька раскраснелся, хлопал всех по плечу и предлагал всем денег. Гришук впал в тяжелое настроение, которое им овладевало после десятой рюмки. Селезнев причмокивал, бормотал, подмигивал и все носился с своим кулаком, в котором оказалась зажатой «красная бумага», то есть десять рублей. Пепко был на высоте призвания и распоряжался в качестве тароватого хозяина. Все равно Спирька заплатит за всех. У меня так шумело в голове, и я был рад, что опять вижу «академию». Люди в сущности очень хорошие... Настоящее веселье началось с появлением Гамма, которого Пепко отрекомендовал как своего лучшего друга.

– Ну, немецкая фигура, показывай свой воздух... – заплетавшимся языком приставал к нему Спирька. – Тут была эта штучка... Ах, развеяй горе веревочкой!..

День промелькнул незаметно, а там загорелись разноцветные фонарики, и таинственная мгла покрыла «Розу». Гремел хор, пьяный Спирька плясал вприсядку с Мелюдэ, целовал Гамма и вообще развернулся по-купчески. Пьяный Гришук спал в саду. Бодрствовал один Фрей, попрежнему пил и попрежнему сосал свою трубочку. Была уже полночь, когда Спирька бросил на пол хору двадцать пять рублей, обругал ни за что Гамма и заявил, что хочет дышать воздухом.

– Жена спросит... где был? Ну, а я скажу... ежели я дышал...

«Роза» уже закрывалась, когда мы очутились на улице, то есть на шоссе. Подняли даже Гришука, который только мотал головой. Пепко повел компанию через Второе Парголово. Мы шли по шоссе одной гурьбой. Кто-то затянул песню, кто-то подхватил, и мирные обитатели огласились неистовым ревом. Впереди шел Селезнев, выкидывая какие-то артикулы, как тамбур-мажор. Помню, как мы поровнялись с дачей, где жила «девушка в белом платье». В мезонине распахнулось окно, в нем показалось испуганное девичье лицо и сейчас же скрылось...

«Роман девушки в белом платье» был кончен.

Эту главу я мог бы назвать: «Пробуждение льва», как Пепко называл тот момент, когда просыпался утром.

– Мне кажется, что я только что родился, – уверял он, валяясь в постели. – Да... Ведь каждый день вечность, по крайней мере целый век. А когда я засыпаю, мне кажется, что я умираю. Каждое утро – это новое рождение, и только наше неисправимое легкомыслие скрывает от нас его великое значение и внутренний смысл. Я радуюсь, когда просыпаюсь, потому что чувствую каждой каплей крови, что живу и хочу жить... Ведь так немного дней отпущено нам на долю. Одним словом, пробуждение льва...

Рассуждения, несомненно, прекрасные; но то утро, которое я сейчас буду описывать, являлось ярким опровержением Пепкиной философии. Начать с того, что в собственном смысле утра уже не было, потому что солнце уже стояло над головой – значит, был летний полдень. Я проснулся от легкого стука в окно и сейчас же заснул. Стук повторился. Я с трудом поднял тяжелую вчерашним похмельем голову и увидел заглядывавшее в стекло женское лицо. Первая мысль была та, что это явилась Любочка.

– Пепко, вставай... К тебе.

– К черту... – мычал Пепко.

Он лежал на полу в самой растерзанной позе, как птица, которую раздавило колесом.

– Пепко, это свинство.

Пепко сел, покачал похмельной головой и, взглянув в окно, только развел руками. Он узнал медичку Анну Петровну. Я вчера совершенно забыл предупредить его, что она собирается к нам.

– Голубушка, Анна Петровна, подождите сушную малость, – взмолился Пепко, вскакивая горошком. – Вот так фунт!..

Я тоже поднялся. Трагичность нашего положения, кроме жестокого похмелья, заключалась главным образом в том, что даже войти в нашу избушку не было возможности: сени были забаррикадированы мертвыми телами «академии». Окончание вчерашнего дня пронеслось в очень смутных сценах, и я мог только удивляться, как попал к нам немец Гамм, которого Спирька хотел бить и который теперь спал, положив свою немецкую голову на русское брюхо Спирьки.

– Господа, вставайте... – сделал я попытку разбудить.

Ответил только один голос Спирьки, проговорив в изнеможении:

– Испить бы... Все нутро горит.

Потом голос прибавил умоляющим тоном:

– Где я?

В сенях было темно, и Спирька успокоился только тогда, когда при падавшем через дверь свете увидел спавшего Фрея, Гришука и Порфира Порфирыча. Все спали, как зарезанные. Пепко сделал попытку разбудить, но из этого ничего не вышло, и он трагически поднял руки кверху.

– Что я буду делать? О, что я буду делать?.. Это какой-то свиной хлев, а не жилище порядочных людей. Нечего сказать, товарищи...

– Ты иди сейчас с Анной Петровной гулять в парк, – советовал я, – а я тем временем все устрою. Ты потом найдешь нас в «Розе»...

– Но ведь у меня башка трещит, как у черта... Я ничего не понимаю, наконец. О, несчастный юноша!..

– Ничего, на свежем воздухе оправишься...

– Я чувствую себя свиньей, винной бочкой... Нет ли хоть нашатырного спирта?

– Ступай, ступай... Анна Петровна ждет. Оказывается, что ты сам приглашал ее в гости...

Большого наказания для Пепки нельзя было придумать. Я в окно поздоровался с гостьей и сказал, что Пепко сейчас выйдет. Анна Петровна сегодня выглядела свежее обыкновенного и казалась такой миловидной. В виде уступки летнему сезону на черной касторовой шляпе у нее был неумело прицеплен какой-то сиреневый бант. Вот посмеялась бы Наденька над этим наивным украшением, – она была великая мастерица по части дамских туалетов.

– К нам сейчас нельзя войти... – сбивчиво объяснял я. – Дача у нас крошечная, а вчера к нам приехали из города гости...

– А, понимаю, – протянула Анна Петровна одним звуком, и потрепанный черный зонтик в ее руке сделал нетерпеливое движение. – Я приехала, кажется, не во-время.

– Вы не можете приехать не во-время, – галантно заявил Пепко, показываясь в калитке. – Я вас давно поджидал... погода стоит отличная...

Анна Петровна с печальной улыбкой посмотрела на его измятое лицо, на опухшие красные глаза и как-то брезгливо подала свою маленькую худую ручку.

– Пока мы пройдемся по парку, Анна Петровна...

– Отлично... Я так давно не дышала свежим воздухом.

Пепко подошел ко мне и прошептал:

– Кажется, нам теперь лучше не ходить по Второму Парголово после вчерашнего концерта?

– Ступай в парк Третьим Парголовым... Нам теперь вход во Второе Парголово закрыт навсегда.

Этот вопрос Пепки поднял в моей памяти яркую картину нашего вчерашнего безобразия. Это было не теоретическое свинство, а настоящее, реальное. Да, теперь со Вторым Парголовым все кончено... Что подумала вчера о нас эта милая девушка в белом платье? Нет, это ужасно... Идет орава пьяных людей и горланит песни. Так могли сделать пьяные дворники, дачный мужик, чухонцы, возвращающиеся из города... И в числе этих забулдыг и трактирных завсегдатаев идет будущий русский писатель? О, он никогда не будет писателем... Слышите, девушка в белом платье: никогда! Меня охватило такое отчаяние, что я готов был расплакаться, как ребенок. Неужели это был я? Где же разум, характер, совесть, где самая простая порядочность? Достаточно было приехать пьяному купцу, чтобы мы все напились, как сапожники. Обидно, возмутительно, несправедливо... И как должна нас презирать вот эта серая девушка Анна Петровна, вся такая чистенькая, светлая и как-то печально-серьезная. Она явилась живой совестью нашего безобразного поведения... Об Александре Васильевне я старался не думать: это было святотатством.

– Послушайте, а где моя красная бумага? – умоляюще спрашивал хриплым голосом проснувшийся Селезнев.

Он шарил около себя руками и приходил в отчаяние: деньги были потеряны во время ночной прогулки. Этот случай рассмешил Спирьку до слез.

– Ах, Порфирыч, жаль мне тебя... Вот тебе и несгораемый шкаф! Ошибку давал...

Старик вскочил, оделся и побежал в парк разыскивать потерянные деньги, а Спирька лежал и хохотал.

– Говорил вчера: отдай мне на сохранение... Ах, прокурат, прокурат!.. Ну, да деньги дело наживное: не радуйся – нашел, не тужи – потерял.

Через час вся компания сидела опять в садике «Розы», и опять стояла бутылка водки, окруженная разной трактирной снедью. Все опохмелялись с каким-то молчаливым ожесточением, хлопая рюмку за рюмкой. Исключение представлял только один я, потому что не мог даже видеть, как другие пьют. Особенно усердствовал вернувшийся с безуспешных поисков Порфир Порфирыч и сейчас же захмелел. Спирька продолжал над ним потешаться и придумывал разные сентенции.

– Может быть, бедный человек нашел твои десять целковых, ну, богу помолится за тебя... Все же одним грехом меньше.

– Не в этом дело... гм... последние были.

– А я так делаю: постоянно молю бога, чтобы самому кого не обидеть, а ежели меня кто обидит – мне же лучше. Так-то, малиновая голова...

Гришук и Фрей упорно молчали, как люди, которые шли на что-то с отчаянной решимостью.

– Эй ты, зебра полосатая, еще ейн фляш! – приказывал Спирька трактирному человеку и хохотал: слово «зебра» ему казалось очень смешным.

«Академия» была уже на первом взводе, когда появился Пепко в сопровождении своей дамы. Меня удивила решимость его привести ее в этот вертеп и отрекомендовать «друзьям». По глазам девушки я заметил, что Пепко успел наговорить ей про «академиков» новость что, и она отнеслась ко всем с особенным почтением, потому что видела в них литераторов.

– Зачем ты затащил ее сюда? – журил я Пепку.

– Во-первых, дома у нас нет ни чаю, ни сахару, во-вторых, у меня башка трещит с похмелья, а дома ни одной капли водки, и в-третьих... да, в-третьих...

Пепко прищурил один глаз, покривил лицо и проговорил с особенной таинственностью, точно сообщил секрет величайшей важности:

– Я – несчастный человек, и больше ничего...

– Анна Петровна влюблена в тебя? – предупредил я исповедь.

– И даже очень... Три раза сказала, что скучает, потом начала обращать меня на путь истины... Трогательно! Точно с младенцем говорит... Одним словом, мне нельзя сказать с молоденькой женщиной двух слов, и я просто боялся остаться с ней дольше с глазу на глаз.

– Боялся, что она бросится к тебе на шею? Ах ты, шут гороховый...

Воображаю, как вознегодовала бы Анна Петровна, если бы только подозревала мысли Пепки. Мне вчуже было совестно за нее.

– Вы уж нас извините, барышня, – оправдывался Спирька за всех. – Человек не камень, в другой раз и опохмелиться захочет... Вышла у нас вчера небольшая ошибочка. Я так полагаю, что это не иначе, как от свежего воздуха. Ошибет человека, ну, он и закурит...

Девушка наскоро выпила стакан чаю и начала прощаться. Она поняла, кажется, в какое милое общество попала, особенно когда появилась Мелюдэ. Интересно было видеть, как встретились эти две девушки, представлявшие крайние полюсы своего женского рода. Мелюдэ с нахальством трактирной гетеры сделала вид, что не замечает Анны Петровны. Я постарался увести медичку.

– Я в первый раз вижу так близко этого сорта женщину... – говорила Анна Петровна с своей больной улыбкой. – Какая она красивая... Мне очень было интересно посмотреть на нее. Зачем вы меня увели?

– Нет, Анна Петровна, это не годится... Да и интересного мало. Лучше я вам расскажу...

Анна Петровна вздохнула и оглянулась, точно за ней по пятам гналась красивая тень этой жертвы общественного темперамента.

Появление «академии» имело роковое значение в нашем летнем сезоне, потому что послужило поворотным пунктом. Приходилось отсиживаться в своей избушке. На прогулки я выходил или ранним утром, или поздним вечером. Мне казалось, что все указывают на нас пальцами. Ничего не оставалось, как углубиться в роман для Ивана Иваныча, что я и делал. Правда, что эта роль падшего ангела доставалась нелегко, но человек может привыкнуть ко всему. Вообще было скверно и гадко на душе, и я долго не мог забыть нашей дикой прогулки по Второму Парголову. Специально для Пепки этот день принес некоторые специальные огорчения. Оказалось, что Анна Петровна приезжала с специальной миссией завести переговоры с Пепкой относительно Любочки, о положении которой она знала от Федосьи. Первая неудача не остановила медичку, и она явилась к нам вторично, но на этот раз вместо «академии» столкнулась с самой Любочкой, встретившей ее крайне враждебно, как явную соперницу. Произошла пренелепая сцена, причем Пепко очутился в положении свиньи, которую палят на огне со всех сторон.

– Вас кто просил заступаться за меня? – наступала Любочка на Анну Петровну с каким-то бабьим азартом. – Это мое дело...

– Да ведь я в ваших же интересах хотела поговорить с Агафоном Павловичем...

– Покорно благодарю... Знаю я, какие у вас интересы. Отбить хотите у меня Агафона Павловича, вот и весь сказ... Меня не проведете. А еще студентка!..

– Послушайте, вы забываетесь...

– Нет, это вы забываетесь и считаете меня круглой дурой. Не беспокойтесь, живая не дамся в руки. Не таковская... Самой дорожке стоит. Я ведь не посмотрю, что вы ученая, и прямо глаза выцарапаю... да. Я в ваши дела не мешаюсь: любите, кого хотите, а меня оставьте.

Дальше последовала непритворная истерика, угрозы по неизвестному адресу и вообще скандал в благородном семействе. Положение Пепки было самое отчаянное, и он молча скрежетал зубами.

– Значит, мне остается только уходить? – закончила сцену Анна Петровна, обращаясь к Пепке. – Я вступилась в это дело именно потому, что имею несчастье принадлежать к одной с вами корпорации, и могу только пожалеть...

– И уходите, и не нужно!.. – голосила Любочка. – Жениха вы себе ищете, вот что... Да не туда попали. Адрес не тот...

В сущности своим неистовым поведением Любочка спасла Пепку в глазах Анны Петровны.

– Это ужасно... ужасно... – повторяла она, когда я провожал ее на вокзал.

– Да, и не совсем красиво...

– И вы можете так спокойно говорить об этом? – возмущалась Анна Петровна уже по моему адресу. – Какая испорченность...

– Будемте справедливы, Анна Петровна: при чем же я-то тут? Поставьте себя на мое место. Вообще самая грустная ошибка.

– Хороша ошибка!.. И такая женщина... Нет, скажите мне, что могло их связать?

При всем желании дать основательный ответ на этот наивный вопрос, я только должен был пожать плечами. Мы говорили на двух разных языках.



Наш летний сезон закончился «историей серого человека», о которой я и расскажу здесь, хотя и приходится несколько забежать вперед.

Вторая половина нашего дачного сезона прошла довольно скучно. Мы редко показывались из дома и вели жизнь отшельников. Не думаю, что этим мы исправили свою репутацию, которую, как известно, достаточно потерять всего один раз. Пепко был особенно мрачен и отдыхал только в «Розе». Даже периодические нападения Любочки уже потеряли свой острый характер и, кажется, начинали надоедать ей самой. Она теперь ревновала Пепку к Анне Петровне, упорно и несправедливо, как это умеют делать только безнадежно влюбленные женщины.

– Черт возьми, она наводит на меня дурные мысли! – ругался Пепко, напрасно стараясь рассердиться. – Так я и в самом деле могу влюбиться в Анну Петровну... Она мне даже начинает нравиться. Я так не люблю, когда женщина первая начинает подавать реплики... Это мое несчастье, что женщины не могут видеть меня равнодушно...

– У тебя просто расстроенное воображение, Пепко. Могу тебя уверить, что твоя единственная победа – это Любочка...

Я начинал вообще замечать какую-то перемену в настроении Пепки. Отдавая должную дань концу лета, он часто принимал задумчивый вид и мурлыкал про себя:

...От ликующих,  
Праздно болтающих,  
Обагряющих руки в крови,  
Уведя меня в стан погибающих  
За великое дело любви.

Мне лично было как-то странно слышать эти слова именно от Пепки с его рафинированным индифферентизмом и органическим недоверием к каждому большому слову. В нем это недоверие прикрывалось целым фейерверком каких-то бурных парадоксов, афоризмов и полумыслей, потому что Пепко всегда держал камень за пазухой и относился с презрением как к другим, так и к самому себе.

Начались дождливые дни. Дунул холодный ветер. Пожелтевшие листья засыпали аллею парка. По усвоенному маршруту я почти ежедневно обходил все те места, которые казались мне освященными невидимым присутствием Александры Васильевны. Да, она проходила здесь, садилась отдохнуть, а сейчас холодный ветер точно отпел промелькнувшее короткое счастье. Да и было ли оно, это счастье? Оно начинало казаться мне мифом, выдумкой, плодом воображения... Но вот эти сосны и ели, которые видели ее, – значит, счастье было. Мое паломничество заканчивалось обыкновенно приютом доброй феи, она же и ундина. Помню, как мы подходили с Пепкой к этому приюту в дождливый и холодный осенний день. Ставни дачи были закрыты, в садике неизвестно откуда появились кучи сора, и на калитке была прилеплена бумажка с надписью: «ресторан закрыт». Пепко перечитал несколько раз эту бумажку, вздохнул и проговорил:

– Это нам повестка: пора удирать с дачи. На днях Мелюдэ тоже уезжает... Как будто даже чего-то жаль. Этакое, знаешь, подлое, слезливое чувство, а в сущности наплевать...

Я молчал, испытывая такое же подлое и слезливое чувство, – оно появилось с первым желтым листом.

Кстати, вместе с сезоном кончен был и мой роман. Получилась «объемистая» рукопись, которую я повез в город вместе с остальным скарбом. Свою работу я тщательно скрывал от Пепки, а он делал вид, что ничего не подозревает. «Федосьины покровы» мне показались особенно мрачными после летнего приволья.

– Это же удивительно, что на всем земном шаре нигде не нашлось места подлее, – ворчал Пепко. – Где-то синее южное небо, где-то плещет голубая морская волна, где-то растут пальмы и лотосы, а мы должны пропадать в этой подлой дыре... И ведь это только так кажется, что все это пока, так, до поры до времени, а настоящее еще будет там, впереди, –

ничего не будет, кроме деликатной перемены одной дыры на другую. Тьфу! Я вообще чувствую себя заживо погребенным, вроде шильонского узника. О, проклятие несправедливой судьбе!

Федосья встретила нас довольно холодно, а потом начала таинственно ухмыляться, поглядывая на Пепку. Анна Петровна попрежнему жила в своей каморке и попрежнему умела оставаться незаметной. Остальной состав жильцов возобновился почти в прежнем виде, за исключением Горгедзе, который кончил курс и уехал к себе на Кавказ. Да, все было попрежнему, как это умеет делать только скучное, бесцветное и вялое, – всякая энергия выражается переменами в том или другом смысле. «Федосьины покровы» таким образом являлись мерой своих обитателей. Все эти грустные мысли являлись в невольной связи с открывавшимся из нашего окна ландшафтом забора, осенним дождем и каким-то унынием, висевшим в самом воздухе.

В одно прекрасное утро я свернул в трубочку свой роман и отправился к Ивану Иванычу. Та же контора, тот же старичок секретарь и то же стереотипное приглашение зайти за ответом «недельки через две». Я был уверен в успехе и не волновался особенно. «Недельки» прошли быстро. Ответ я получил лично от самого Ивана Иваныча. Он вынес «объемистую рукопись», по привычке, как купец, взвесил ее на руке и изрек:

– А ведь вещичка-то не годится, молодой человек...

– Как не годится, Иван Иваныч!..

– А так... Вы знаете, что по существу дела мы не обязаны отвечать, а просто не подходит, и все тут. У вас удачнее маленькие рассказы...

У меня как-то вдруг закружилась голова от этого ответа. Пропадало около четырехсот рублей, распланированных вперед с особенной тщательностью. Ответ Ивана Иваныча прежде всего лишил возможности костюмироваться прилично, то есть иметь приятную возможность отправиться с визитом к Александре Васильевне. В первую минуту я даже как-то не поверил своим ушам.

– Да, не годится, – добродушно тянул Иван Иваныч, как хирург, который по всем правилам науки отрезывает голову живому человеку. – Приносите маленькую вещичку – напечатаю с удовольствием.

Это был вообще страшный удар. С возвращенной рукописью я отправился прямо в портерную, где заседала «академия». Налицо оказался один Фрей. Он молча выслушал меня и, не выпуская трубки, решил:

– Что-нибудь неспроста... Я разужнаю... Хотите пива?

Я чувствовал только одно, что вполне заслужил такой афронт: сама судьба карала за допущенный компромисс. Да, есть что-то такое, что справедливее нас.

Через несколько дней Фрей мне сообщил все «неспроста».

– У вас есть враг... Он передал Ивану Иванычу, что вы где-то говорили, что получаете с него по десяти рублей за каждого убитого человека. Он обиделся, и я его понимаю... Но вы не унывайте, мы устроим ваш роман где-нибудь в другом месте. Свет не клином сошелся.

– Ах, делайте, что хотите! Мне решительно все равно...

Это равнодушие, кажется, понравилось Фрею, хотя он по привычке и не высказал своих чувств. Он вообще напоминал одного из тех лоцманов, которые всю жизнь проводят чужие суда в самых опасных местах и настолько свыкаются с своим ответственным и рискованным делом, что даже не чувствуют этого.

Итак, с романом было все кончено. Впереди оставалось прежнее репортерство, мыкание по ученым обществам, вообще мелкий и малопроизводительный труд. А главное, оставалась связь с «академией», тем более что срок запрещения «Нашей газеты» истек, и машина пошла прежним ходом.

Мысль об Александре Васильевне не оставляла меня все время. Я с ней ложился и с ней вставал. Весь вопрос опять сводился на то, как явиться к ней «оригиналом». Я готов был продать душу черту, чтобы достать приличный костюм, и делал отчаянные попытки в этом направлении, которые, к сожалению, не привели ни к чему. Подходящего костюма не нашлось ни у одного из товарищей, то есть отдельные подробности находились, но из них еще не

получалось приличного целого. Положение, во всяком случае, получалось трагикомическое, и я не поверил своей тайны даже Пепке. Все равно он ничего бы не понял...

Здесь именно мне приходится забежать вперед, к февралю месяцу, когда в клубе художников, существовавшем в Троицком переулке, устраивался студенческий бал. У меня в этот вечер было заседание в Техническом обществе, но я предпочел отправиться на бал, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых репортеров и от них позаимствовать что-нибудь для отчета. Вопрос о костюме разрешился тем, что я достал у одной из товарищей летнюю серую пару. Никогда я не забуду этого костюма... Ничтожное по своей сущности стремление быть одетым, как другие, отравило мне весь вечер. Мне казалось, что трехтысячная толпа смотрит на одного меня, и все улыбаются, поглядывая на «серого человека». Чувство жуткое и неприятное, особенно когда все одеты во фраки и сюртуки. Я уныло бродил из зала в зал, тщетно отыскивая другого «серого человека». Как назло, такого alter ego не оказалось, и я опять чувствовал, что все смотрят на меня. Глупое чувство, нелепое, но оно меня мучило... В довершение всего встречаю Александру Васильевну, которая шла под руку с каким-то франтиком во фраке. Она сейчас же оставила его руку и обратилась ко мне с упреком:

– И вам не совестно? Нисколько?.. А я-то ждала вас...

– Александра Васильевна, я был серьезно болен, – соврал я с самым серьезным лицом.

– А как же Надя мне говорила, что вы здоровы и просто не хотите быть у меня?.. Вы просто бессовестный человек...

Она, кажется, еще никогда не была так красива, как сейчас. И опять в неизменном черном шелковом платье, еще сильнее вытенившем матовую белизну кожи. Она так просто взяла под руку «серого человека» и пошла по залам. Это уже было геройство, и я чувствовал себя на седьмом небе. Да, она была красива, настолько красива, что толпа почтительно расступалась перед ней, провожая нас почтительным шепотом. «Серый человек» шел под руку с признанной царицей бала и позабыл все на свете... Она о чем-то расспрашивала, он что-то отвечал, сознавая только одно, что она опять около него, цветущая, красивая, чудная, восхитительная, как греза поэта. Она опять смеялась, а «серый человек» держал себя с таким непринужденным видом, точно ему было все равно, или, вернее сказать, вся трехтысячная толпа превратилась в таких же серых человек. Свою смелость «серый человек» довел до того, что пригласил даму на кадрили, каковая и была исполнена визави с Пепкой, танцевавшим с Анной Петровной.

– Трогательная картина, – шепнул мне Пепко, выделявая solo во второй фигуре. – Похоже на семейную радость.

Анна Петровна с каким-то печальным изумлением смотрела на мою даму и участливо улыбалась мне.

– Какая красавица... – проговорила она, когда в шестой фигуре перешла в мои объятия. – Это даже несправедливо!..

После танцев Александра Васильевна захотела пить, и я был счастлив, что имел возможность предложить ей порцию мороженого. Мы сидели за мраморным столиком и болтали всякий вздор, который в передаче является уже полной бессмыслицей. Ее кавалер демонстративно прошел мимо нас уже три раза, но Александра Васильевна умышленно не замечала его, точно отвоевывала себе каждую четверть часа. Наконец, кончилось и мороженое. Она поднялась, подавая руку, и устало проговорила:

– Проводите меня в следующую комнату, где сидит мой... кавалер.

Последнее слово она выговорила с заметным усилием, а потом улыбнулась и прибавила:

– А вы все-таки бессовестный... Я жду вас.

– О, конечно. Я буду так счастлив видеть вас...

Сколько таких обещаний не выполняется никогда, гораздо больше, чем не сбывается снов. Но я верил в свои слова, отводя свою даму к ее компании. Я даже не посмотрел, кто там сидел, а отправился прямо в «мертвецкую», где сейчас же напился с горя и почувствовал себя «серым человеком» с новой силой. Откуда-то появился Пепко, освободившийся от дамы. Он тоже был мрачен. Опьяняла вся обстановка: шум голосов, пение, табачный дым. Когда я вышел в зал, публики оставалось едва одна половина. К моему удивлению, я заметил другого серого человека, который внимательно наблюдал меня. Я вдруг почувствовал облегчение,

точно встретил родного брата. Такой же точно летний костюм, такой же рост, и даже лицом походит на меня. Я пошел к нему, он двинулся навстречу мне. Потом... потом оказалось, что это было отражение в стенном зеркале моей собственной персоны. «Серый человек» так и остался в одиночестве.

В предыдущем очерке я забежал вперед, чтобы закончить историю «серого человека», а сейчас возвращусь к моменту, когда Фрей взял у меня рукопись романа. Через три дня он мне объявил:

– С января будет издаваться новый журнал «Кошница», материала у них нет, и они с удовольствием напечатают ваш роман. Только, чур, условие: не следует дешевить.

– Постараюсь...

– Да, да... Не забывайте, что не вы один, не следует сбивать цен.

Разговор происходил в трактире Агапыча, где мы снова водворились вместе с восстановлением деятельности «Нашей газеты». Притягательной силой являлись привычка к своему насиженному углу и некоторый кредит, который открывал Агапыч своим завсегдатаям. Вообще мы здесь чувствовали себя по-домашнему, как богатые люди в своих клубах. Прислуга давно уже выделила нас из остальной, случайной публики и относилась к нам по-родственному, чему немало способствовало и то, что в глазах этого трактирного человечества мы являлись представителями литературы. Лакеи с салфетками подмышкой являлись той благосклонной публикой, которая уже служила для каждого автора живым фоном. Литературные имена котировались на этой читательской бирже. Тут были уже твердые, установившиеся фирмы, как Порфир Порфирыч, рассказы которого лакеи читали врасос. К моему удивлению, я убедился, что тоже начинаю приобретать некоторое имя, хотя и нахожусь еще в периоде искуса. Седой лакей Степаныч как-то по-отечески шепнул мне:

– Помилуйте-с, читали мы ваши рассказы... Ничего-с, форменно, хоша супротив Порфира Порфирыча еще и не дошли-с. У них искра-с...

Это были первые пары той несчастной литературной славы, которая окутывает автора, как дым фабрику. Не скрою, что мне было приятно слышать отзыв Степаныча: искаженная, искалеченная и изувеченная условиями мелкого литературного рынка мысль неведомыми путями проникала к читателю, и еще более неведомыми путями возникала там писательская физиономия. Невыгодное для меня сравнение с Порфиром Порфирычем нисколько не было обидно: он писал не бог знает как хорошо, но у него была своя публика, с которой он умел говорить ее языком, ее радостями и горем, заботами и злобами дня. Принципиально великих людей нет, как принципиально нет холода; величие создается только нашим эгоизмом. Нивелирующей силой здесь является только одно чувство. С другой стороны, меня в отзыве Степаныча поразило то привилегированное положение, которое занимают по отношению к читателю беллетристы. Например, тот же Степаныч ценил и уважал Фрея, как «серьезного газетчика», но его симпатии были на стороне Порфира Порфирыча: «Они, Порфир Порфирыч, конечно, имеют свою большую неустойку, значит, прямо сказать, слабость, а промежду прочим, завернут такое тепленькое словечко в другой раз, что самого буфетчика Агапыча слезой прошибут-с)... Да, у нас уже была своя маленькая публика, которая делала нас общественным достоянием.

Кстати, во время моего разговора с Фреем относительно «Кошницы» из остальных членов «академии» присутствовал один Порфир Порфирыч. Он сидел в кресле и дремал. За последнее время старик сильно изменился и даже не мог пить. Жаль было смотреть на это осунувшееся пожелтевшее лицо с умными и такими жалкими глазами. Многолетнее искусственное возбуждение напитками сменилось теперь страдальчеством завязатого алкоголика. Притупленные и проржавевшие нервы возбуждались только по инерции, по привычке к знакомым словам: есть своя профессиональная энергия, которая переживает всего человека. Так сейчас, когда Фрей заговорил о «новом журнале», Порфир Порфирыч точно проснулся, причмокнул и даже подмигнул в пространство. Ага, новый журнал! Так-с... Отлично. «Кошница»? Превосходно, хотя название и с претензией!

– Весьма одобряю... – тихо проговорил старик, улыбаясь, и прибавил с грустной улыбкой: – Сколько будет новых журналов, когда нас уже и на свете не будет! И литератор будет другой... Народится этакой чистошлой и захватит литературу. Хе-хе... И еще горьким смехом посмеется над нами, своими предками, ибо мы были покрыты грязью и несовершенствами. Да, посмеется... А того не будет знать, через какие трущобы мы брели, какие тернии рвали нашу душу и как нас обманывали на каждом шагу блуждающие огоньки,

делавшие ночь еще темней. Чистоплюй он, и по своему чистоплюйству будет доволен всем, потому что будет думать только о себе. Вон название то какое: «Кошница»... Этак как будто и славянофильством попахивает и о присовокуплении чего-то говорит... А впрочем, не в этом дело-то, о юноша!

Старик закашлялся, схватившись за натруженную грудь, и долго не мог прийти в себя.

– Да, «Кошница»... – шептал он, вытирая слезы, выступившие от натуги. – Отчего не «Цевница»? А впрочем, юноша, не в этом дело... да. Мы в потемках кончим дни своего странствия в сей юдоли, а вы помните... да, помните, что литература священна. Еще семь тысяч мужей не преклоняло колен пред Ваалом... Ты написал печатный лист; чтобы его прочесть, нужно минимум четверть часа, а если ты автор, которого будет публика читать нарасхват, то нужно считать, что каждым таким листом ты отнимаешь у нее сто тысяч четвертей часа, или двадцать пять тысяч часов. Это составит... составит около тысячи дней, или около трех лет... Уже этот механический расчет представляет все величие твоего призвания, а посему гори правдой, не лукавствуй и не давай камень вместо хлеба. Не формальная правда нужна, не чистоплюйство, а та правда, которая там живет, в сердце... Маленький у тебя талант, крошечный, а ты еще пуще береги эту искорку, ибо она священна. Величайшая тайна – человеческое слово... Будь жрецом.

Отвлеченные рассуждения сделались теперь слабостью Порфира Порфирыча, точно он торопился высказать все, что наболело в душе. Трезвый он был совсем другой, и мне каждый раз делалось его жаль. За что пропал человек? Потом я знал, чем кончались эти старческие излияния: Порфир Порфирыч брал меня под руку, отводил в сторону и, оглядевшись, говорил шепотом:

– Помните... тогда... на даче? Ведь вы видели у меня тогда красную бумагу? И вдруг нет ничего... Нет – и кончено, все кончено.

– Послушайте, Порфир Порфирыч, не стоит даже говорить об этом... Вы заработаете десять таких красных бумаг, если захотите.

– Не стоит? Хе-хе... А почему же именно я должен был потерять деньги, а не кто-нибудь другой, третий, пятый, десятый? Конечно, десять рублей пустяки, но в них заключалась плата за квартиру, пища, одежда и пропой. Я теперь даже писать не могу... ей-богу! Как начну, так мне и полезет в башку эта красная бумага: ведь я должен снова заработать эти десять рублей, и у меня опускаются руки. И мне начинает казаться, что я их никогда не отработаю... Сколько бы ни написал, а красная бумага все-таки останется.

Бедняга начинал заговариваться. «Красная бумага» являлась для него роковым «пунктиком», и он постоянно возвращался к этой теме, как магнитная стрелка к северу. Все члены «академии» были посвящены им в эту тайну и решили, что у Порфирыча заяц в голове, как выражался Пепко. Потом Порфир Порфирыч скрылся с нашего горизонта; потом прошел слух, что он серьезно болен и лежит где-то в больнице, а потом в уличном листке, в котором он работал, появилось коротенькое известие о его смерти. Некролог, написанный дружеской рукой, в теплых выражениях вспоминал заслуги покойного, его незлобивость и даже «роковую слабость», которая взяла у литературы столько жертв. Между прочим, явился в газетке и посмертный рассказ старика «Бедный Йорик». Рассказ был слаб, вымучен, и от него уже веяло тлением, – внутренний человек умер раньше. Я припомнил, как Порфир Порфирыч, подмигивая и причмокивая, говорил:

– Эге, а мы, литераторы, умеем сводить концы... Разве собака умирает дома? И мы тоже...

На моих глазах это была еще первая литературная смерть, которая произвела сильное впечатление. В самом деле, какими неведомыми путями создается вот этот русский писатель, откуда он приходит, какая роковая сила выталкивает его на литературную ниву? Положим, что писатель Селезнев был маленький писатель, но здесь не в величине дело, как в одной ткани толщина и длина отдельных ниток теряется в общем. Есть роковые силы, которые заставляют человека делаться тем или другим, и я уверен, что никакой преступник не думает о скамье подсудимых, а тюремщик, который своим ключом замыкает ему весь вольный белый свет, никогда не думал быть тюремщиком.

«Академия» жалела Порфира Порфирыча и даже устроила по нем тризну, на которой главным образом обсуждались «теплые слова» некролога.

– Умер человек, так нет, и мертвому не дают покоя, – ворчал Фрей. – К чему эта похоронная ложь, и кому она нужна?..

– А все-таки... – спорил пьяный Гришук, – чтобы другие чувствовали... да.

– А ты пошел на похороны? Ты навестил его в больнице?

Вся «академия» была смущена этими простыми вопросами, и каждый постарался представить какое-нибудь доказательство своей невинности.

Меня удивило, что всех больше поражен был смертью Порфира Порфирыча мой друг Пепко.

– Да, вообще... – бормотал он виновато. – Черт знает, что такое, если разобрать!.. Помнишь его рассказ про «веревочку»? Собственно, благодаря ему мы и познакомились, а то, вероятно, никогда бы и не встретились. Да, странная вещь эта наша жизнь...

Как свежую могилу покрывает трава, так жизнь заставляет забывать недавние потери благодаря тем тысячам мелких забот и хлопот, которыми опутан человек. Поговорили о Порфире Порфирыче, пожалели старика – и забыли, уносимые вперед своими маленькими делами, соображениями и расчетами. Так, мне пришлось «устраивать» свой роман в «Кошнице». Ответ был получен сравнительно скоро, и Фрей сказал:

– Вот видите, у них нет материала... Да и где его взять по нынешним временам...

Я отправился в редакцию «Кошницы», которая помещалась в Троицком переулке. Бельэтаж. Двери отворил лакей, в переднюю выбежали два ирландских сеттера – вообще совсем другое, чем у Ивана Иваныча. Редакция помещалась в квартире издателя, который и принял меня. Это был господин под тридцать лет, южного типа, безукоризненно одетый и сиявший брильянтами.

– Это ваш роман? Он уже печатается... Кстати, ваши условия?

Я с некоторой робостью выговорил цифру, – лист был гораздо меньше, чем у Ивана Иваныча, и я назначил ту же цену, выгадывая на разнице.

– Что же, хорошо... – согласился сияющий господин. – Кстати, я только издатель, а редакцией заведует...

Он назвал фамилию редактора, сообщил его адрес и посмотрел на меня такими глазами, когда желают покойной ночи.

От издателя я полетел к редактору, который жил у Таврического сада. Это был очень милый и очень образованный человек в каком-то мундире.

– Очень рад с вами познакомиться... Вы уже видели нашего издателя? Очень хорошо... Я только редактор. – В этот момент я не придавал особенного значения этим словам, потому что был слишком счастлив, как, вероятно, счастлива та женщина, которую так мило обманывает любимый человек. Есть и такое счастье...

Роман принят, роман печатается не в газете, а в журнале «Кошница», – от этого хоть у кого закружится голова. Домой я вернулся в каком-то тумане и заключил Пепку в свои объятия, – дольше скрываться было невозможно.

– Пепко, мой роман печатается... Да, печатается! Понимаешь?..

– И ты рад? И я тоже рад... Значит, мы оба рады. На всякий случай поздравляю...

Изверг даже не спросил, где печатается мой роман, но я ему прощал вперед, потому что, очевидно, Пепко ревновал меня к моему первому успеху. Конечно, теперь все мне завидовали, весь земной шар...

С Пепкой что-то случилось, начиная с того, что он теперь отсиживался дома и выходил только утром на лекции. Федосья уже несколько раз иносказательно давала мне понять, что он влюблен в Анну Петровну. Единственным основанием для такого заключения было то, что Пепко по вечерам пил чай у Анны Петровны и таким образом осуществлял того «мужчину», который, по соображениям Федосьи, должен был быть у каждой женщины, как бывают детские болезни. Кстати, Федосья наносила Пепке систематический вред, и я только мог удивляться его терпению. Дело в том, что летом Федосья подружилась с Любочкой, и теперь Любочка почти каждый день приходила к ней. Они о чем-то вечно шептались, и Пепко жил в ожидании какого-нибудь скандала. С другой стороны, он не хотел уступать и казаться малодушным, а поэтому продолжал свои вечерние чаи у Анны Петровны. Часто случалось так, что Пепко сидит у медички, а Любочка – у Федосьи. Я не понимал в данном случае поведения Анны Петровны, которая раз уже имела крупную неприятность от Любочки. Впрочем, может быть, здесь объяснением могло служить то, что медичка считала себя выше всяких подозрений и тоже не желала уступать. Так или иначе, но скандал все-таки разыгрался; Любочка подкараулила вечером Анну Петровну на улице, бросилась на нее и, кажется, хотела откусить нос. К счастью, никого не было поблизости, и дело обошлось семейным образом. Любочка вбежала с воплями и причитаниями к Федосье и проявила большие наклонности к буйству, так что потребовалось вмешательство Пепки.

– Если вы еще раз явитесь сюда, я... я... – задыхаясь и сжимая кулаки, кричал Пепко. – Да, я...

Он схватил Любочку за плечи и вытолкнул на улицу. Получилась сцена, до последней степени возмутительная, так что мне пришлось вмешаться.

– Пепко, это гадость...

Пепко тяжело дышал и только смотрел на меня обезумевшими глазами. Он был бледен как полотно, и побелевшие губы шевелились беззвучно, как у китайской куклы. Сцена происходила в коридоре, и единственной свидетельницей была Федосья, наслаждавшаяся готовым вспыхнуть ратоборством. Обезумевший Пепко уже сделал шаг ко мне, лицо искривилось улыбкой, правая рука протянулась вперед, – вероятно, его бешенство обрушилось бы на меня, и мне, вероятно, пришлось бы разделить участь Любочки, но в этот трагический момент появилась в дверях Анна Петровна. Еще момент – и протянутая рука Пепки опустилась. Анна Петровна взяла его за плечо, повернула и втокнула к себе в комнату, как напроказившего ребенка. Он повиновался, и я заметил, как у него дрожали губы.

Распорядившись с Пепкой, Анна Петровна обратила теперь свое благосклонное внимание на меня.

– Вы... вы... вы... – шептала она хрипло. – Я вас ненавижу... да. Сейчас разыгралась дикая и нелепая сцена, но вы хуже в тысячу раз его с вашей бессильной добродетелью... У вас не хватит силенки даже на маленькое зло. Вы – ничтожность, приличная ничтожность... Да, да, да...

Это было повторением сцены с Любочкой ночью в Парголове, и я только рассмеялся. Моя улыбка окончательно взбесила Анну Петровну.

– И вы еще можете смеяться, несчастный? Наконец... наконец, если вы хотите знать... да, хотите... я его люблю... Он в тысячу раз лучше вас всех, да, лучше.

– Я могу только поздравить вас с счастливым приобретением...

– Вы – циник!!

Признаюсь, я тоже был взбешен. Если Любочка могла себе позволить неистовство, то она на это имела «полное римское право», как говорила Федосья. По-женски Любочка была вполне последовательна, потому что она была только женщиной и ничем другим. Но Анна Петровна совсем другое, – у нее должны были существовать некоторые задерживающие центры. Я подошел к двери в комнату Анны Петровны и крикнул:

– Эй ты, трус, выходи!.. Я имею сказать тебе несколько теплых слов, которые поднимут твою храбрость на приличную высоту!



За дверью послышалось рычание Пепки, а затем он одним прыжком был в дверях. Анна Петровна не растерялась и захлопнула у него дверь под носом, а мне величественным жестом показала на дверь моей комнаты. Я поклонился и пошел в противоположный конец коридора, к выходу. У меня горела голова, в висках стучала кровь, и я почему-то повторял про себя: «Нет, погодите, господа... да, погодите, черт возьми!» Я вышел на лестницу и нашел там Любочку, которая сидела на ступеньке, схватившись руками за голову. Это была живая статуя страдания.

– Любочка, идите домой. Вам нечего здесь делать, если не хотите, чтобы вас били... Нужно иметь хоть какую-нибудь гордость...

Любочка только глухо всхлипывала. Я насильно отнял от лица ее руку, – рука была холодна, как лед.

– Любочка, вы простудитесь... Сюит ли рисковать своим здоровьем из-за какого-то негодая.

– Он не виноват... – простонала Любочка. – Он хороший...

На меня напала непонятная жестокость... Я молча повернулся, хлопнул дверью и ушел к себе в комнату. Делать я ничего не мог. Голова точно была набита какой-то кашей. Походив по комнате, как зверь в клетке, я улегся на кушетке и пролежал так битый час. Кругом стояла мертвая тишина, точно «Федосьины покровы» вымерли поголовно и живым человеком остался я один.

«Нет, погодите, господа...» – повторял я про себя давешнюю бессмысленную фразу.

В самом деле, я-то тут при чем? Благодарю покорно... Режьтесь, отравляйтесь, деритесь, – я ничего больше знать не хочу и не разогну для вас пальца. Да-с, так и знайте... Свое негодование с Пепки я, по логике рассерженного человека, перенес на Анну Петровну... Вот вы какая, Анна Петровна! Отлично... Кто мог подумать про вас что-нибудь подобное! И какая энергия... Очень недурно, как в плохом театре, где комики говорят трагическим тоном, а трагики вызывают неудержимый смех. А потом, как это мило: полное повторение того, что говорила летом Любочка. О, женщины!.. как сказал Шекспир.

Сильные волнения у меня всегда заканчивались бессовестно-крепким сном, – вернейший признак посредственности, что меня сильно огорчало. Так было и в данном случае: я неожиданно заснул, продолжая давешнюю сцену, причем во сне оказался гораздо более находчивым и остроумным, чем в действительности. Вероятно, я так бы и проспал до утра, если бы меня не разбудил осторожный стук в дверь.

– Войдите...

Дверь скрипнула, зашуршало платье, и незнакомый женский голос проговорил:

– Да у вас совсем темно.

– Виноват... Я сейчас зажгу лампу.

Зажигая лампу, я чувствовал, что незнакомка пристально рассматривает меня.

– Вы, вероятно, удивлены, молодой человек, что к вам в одиннадцать часов ночи врывается совершенно незнакомая дама...

Голос был молодой и приятный, но его обладательница имела уже блеклый вид в той мере, в какой он нравится совсем неопытным юношам. На мой немой вопрос она объяснила:

– Я к вам по делу... Позвольте представиться: сестра Анны Петровны. Зовут меня Аграфеной... Вы, вероятно, догадываетесь о цели моего посещения?

– Ах, да... почти... Садитесь, пожалуйста.

Я только теперь рассмотрел ее хорошенько: шатенка, среднего роста, в коричневом платье не первой молодости, которое не скрывало очень солидных форм. Серые глаза, чуть-чуть подведенные, смотрели с веселой дерзостью. Меня поразили густые волосы, сложенные на затылке тяжелым узлом. Она медленно оглядела комнату, оглядела ветхий стул, который ей я подал, а потом села и спокойно перевела глаза на меня.

– Послушайте, молодой человек...

– Меня зовут Василием Ивановичем...

– Виновата, Василий Иванович... Скажите, пожалуйста, вам не совестно? Нисколько?

– Странный вопрос...

– Вы понимаете, о чем я говорю. По крайней мере вы должны испытывать неловкость, что заставили замужнюю женщину прийти к вам с объяснениями довольно интимного характера. Это не по-джентельменски...

– Я могу только удивляться, Аграфена Петровна, – именно, что вам за охота вмешиваться в чужие дела?..

– Как чужие? Ведь Анна Петровна – моя сестра, родная сестра. Положим, мы видимся очень редко, но все-таки сестра... У вас нет сестры-девушки? О, это очень ответственный пост... Она делает глупость, – я это сказала ей в глаза. Да... Она вас оскорбила давеча совершенно напрасно, – я ей это тоже высказала. Вы согласны? Ну, значит, вам нужно идти к ней и извиниться.

– ?

– Вы забываете, что сестра моя женщина, больше – девушка, и мужчина виноват всегда, особенно если выведет ее из себя.

Это была оригинальная логика, и серые глаза весело улыбнулись. Сделав небольшую паузу, она проговорила с расстановкой:

– Агафон Павлыч ваш друг? Моя бедная сестра имела несчастье его полюбить, а в этом состоянии женщина делается эгоисткой до жестокости. Я знаю историю этой несчастной Любочки и, представьте себе, жалею ее от души... Да, жалею, вернее сказать – жалела. Но сейчас мне ее нисколько не жаль... Может быть, я несправедлива, может быть, я ошибаюсь, но... но... Одним словом, что она может сделать, если он ее не любит, то есть Любочку?

Я засмеялся. Разве Пепко мог кого-нибудь любить? Этот ответ, видимо, обидел моего парламентаря.

– Аграфена Петровна, я все-таки не понимаю, что вам нужно от меня?

– Я уже сказала вам... А затем моя сестра надеется исправить вашего друга. Я подозреваю, что эта миссия именно и увлекает ее. Что делать, мы, женщины, все страдаем неизлечимой доверчивостью. Многие она приписывает вашему дурному влиянию.

Это уже было слишком, и я расхохотался. Моя собеседница закусил губы и вызывающе посмотрела на меня. Потом она точно передумала и опять улыбнулась.

– Все-таки вы сделаете по-моему, пойдете и извинитесь... да. Это вы сделаете для меня... Скажу больше, – вы меня проводите, потому что уже поздно. Вы этому рады, конечно, потому что избавляетесь от меня...

– Хорошо. Я согласен... Но только извинюсь не сегодня.

– О, это решительно все равно...

У нее явилось усталое выражение, и она с трудом сдержала зевоту.

Я отправился ее провожать. Стояла холодная зимняя ночь, но она отказалась от извозчика и пошла пешком. Нужно было идти на Выборгскую сторону, куда-то на Сампсониевский проспект. Она сама меня взяла под руку и дорогой рассказала, что у нее есть муж, который постоянно ее обманывает (как все мужчины), что, кроме того, есть дочь, девочка лет восьми, что ей вообще скучно и что она, наконец, презирает всех мужчин.

– Не стоит жить, – закончила она свою исповедь. – А сегодня у меня какая-то особенная тоска... К сестре я попала совершенно случайно – и вдруг попадаю на эту глупую историю. Я серьезно против ее увлечения...

Мы остановились у подъезда. Внутренно я был рад, что и моя миссия закончилась. Моя дама что-то медлила и устало проговорила:

– Муж возвращается только в два часа ночи... девочка давно спит...

Она с тоской посмотрела на меня, крепко пожала мою руку и молодым движением скрылась в дверях. Я стоял на тротуаре и думал: какая странная дама, по крайней мере для первой встречи. Тогда еще не было изобретено всеобъясняющее слово «психопатка».

Когда я вернулся домой, Пепко спал на своей кровати невинным сном грудного младенца. Меня это даже не возмутило... Что же, счастлив тот, кто может спать так крепко.

Первая книжка нового журнала «Кошница» должна была выйти первого января, но этому благочестивому намерению помешали разные непредвиденные обстоятельства, и книжка вышла только в конце января. Понятно, что я ждал с нетерпением этого события: это был первый опыт моего журнального «тиснения»...

Объявление о выходе «Кошницы» я прочел в газете. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что у моего романа было изменено заглавие – вместо «Больной совести» получились «Удары судьбы». В новом названии чувствовалось какое-то роковое пророчество. Мало этого, роман был подписан просто инициалами, а неизвестная рука мне приделала псевдоним «Запорожец», что выходило и крикливо и помпезно. Пепко, прочитав объявление, расхохотался и проговорил:

– «Для начала недурно», как сказал турок, посаженный на кол... Да, не вредно, господин Запорожец, а удары судьбы были провиденциальным назначением каждого доброго запорожца... На всякий случай поздравляю «с полем», как говорят охотники, когда убита первая дичь.

Мне была совершенно понятна затаенная ревность Пепки: он печатался только в газетах, а тут настоящий журнал, хотя и «Кошница». Собственно, и к названию и к псевдониму Пепко был совершенно равнодушен, но, кроме начинающейся славы, он провидел и другую сторону – получение гонорара «кучкой», ибо «причиталось» по приблизительному расчету мне получить около ста рублей. У меня никогда не бывало ста рублей, и эта цифра точно жгла мой мозг, и мне делалось даже совестно, что я из богемы делаю скачок прямо в заколдованный круг Ротшильдов.

– Невинные восторги первого авторства погибают в неравной борьбе с томящей жаждой получить первый гонорар, – резюмировал Пепко мое настроение: – тут тебе и святое искусство, и служение истине, добру и красоте, и призвание, и лучшие идеи века, и вклад во всемирную сокровищницу своей скромной лепты вдовицы, и тут же душевный вопль: «Подайте мне мой двугривенный!» Я уверен, что литература упала, – это факт, не требующий доказательств, – от двух причин: перевелись на белом свете меценаты, которые авторам давали случаи понюхать, чем пахнет жареное, а с другой – авторы нынешние не нюхают табака. Ты не смейся, – это гораздо серьезнее, чем ты думаешь, и упадок современной поэзии находится в прямой зависимости от брошенной привычки набивать себе нос табаком. Вот прекрасная тема для диссертации...

– А как же классические поэты?

– О, я убежден, что и они нюхали табак, а потом человечество на целую тысячу лет забыло об этом, пока Колумб снова не открыл табак уже в Америке. Да, так что было бы в доброе старое время? Ты написал свои «Удары судьбы», несешь их меценату... Меценат дает их читать своему любимому арапу, а потом жертвует тебе золотую табакерку, кафтан с своего меценатского плеча, сапоги, штанишки и отпускает корм с своей кухни. По торжественным дням ты сочиняешь ему оды и получаешь новую мзду не за обычай. Но ты уже получаешь известность... Выступает женщина – чудная женщина доброго старого времени, богомольная безбожница, суеверная, ласковая, красивая – да, всегда красивая. Она уже заметила тебя, пролила слезу и вытащит тебя за ушко в люди. А теперь что: отправишься ты в свою «Кошницу», получишь свой двугривенный, – и все тут. Публика совсем не интересуется тобой, как не интересуется клоуном, который на ее благосклонных глазах сорвался с трапеции и проломил себе башку.

– Это, кажется, относится ближе к твоим «Песням смерти», чем к моей скромной прозе.

– Ты прав, против собственного желания... Да, теперь время скверной прозы, а священный огонь поэзии обрекает на самую подлую нищету. Живой пример у тебя на глазах... Я не виноват, что родился слишком поздно. Представь себе, лежит этакий восточный деспотище, который даже не может ничего желать, – до того он пресыщен всем... Сегодня он отрубил уши тридцати тысячам человек, которые имели дерзость защищать свое отечество, вчера он превратил в пепел цветущую страну, третьего дня избил младенцев в собственном государстве; у него дремлет в смертельной истоме целый сад красавиц, ожидающих его ласки, как трава в зной ждет капли дождя, а деспотище уже ничего не может и для

развлечения кромсает придворную челядь! И вдруг является посланец богов – поэт, то есть я... Да, это я вхожу к деспотищу в своем вретисе и подношу ему несколько чудных газелей, где воспеваются любовь, молодость, красота... Я – сладчайший Фирдуси, я – Гафиз. У деспотища от моих стихов зашипало в носу, деспотище проливает слезу... И посланник богов получает мзду в виде целого стада верблюдов, другого стада гаремных красавиц, достигших предельного возраста, и еще, и еще. Или: Луишка Каторз. заскучал... Лик короля-солнца покрыт зловещими морщинами, и вдруг опять я с напудренным, вспененным и наркотизированным стихом – и морщины на челе Луишки Каторза разглаживаются, а глаза делают безмолвно знак какому-нибудь маршалу осчастливить меня на всю жизнь. Я скромно целую руку у последней королевской метрессы, делаю реверанс и удаляюсь к благополучию. Или: русский вельможа... Он все съел, все выпил и страдает одышкой. У него тяжелые ночи, как у страсбургского гуся, у которого вся жизнь сосредоточивается в одной печенке. И вдруг является поэт, который пишет оду на смерть российского Цинцинната. Да, вот что я такое... А сейчас я должен питаться всего тремя буквами, да и те вынужден тащить на улицу, в кабак.

– Да, ты потерял много времени совершенно напрасно...

– И мне ничего не остается, как купить табакерку на свой собственный счет и открыть новую эру в поэзии. Dixi.

Действительность не оправдала тех надежд, с какими я шел в первый раз в редакцию «Кошницы». Во-первых, издателя не оказалось дома, и «человек» не мог сказать, когда он бывает дома.

– Да ведь бывает же он когда-нибудь дома? – приставал я, охваченный первой тенью сомнения.

– Сегодня были-с...

– А завтра?

– Не могу знать-с... Иногда они уезжают из дому дня на три.

Я чувствовал, что издатель дома и что меня просто-напросто «не принимают». Кстати, я в первый раз даже не заметил фамилии издателя и прочитал ее в первый раз на обертке журнала: С. Я. Райский. Пепко видел в ней залог несомненного блаженства, что для первого раза не оправдалось.

Пришлось уйти не солоно хлебавши. Признаюсь, меня охватило мрачное предчувствие, что дело как будто неладно. Вдобавок, в надежде на получение гонорара, я издержал последние гроши и сейчас не имел денег даже на конку. Пришлось шагать пешком к Таврическому саду. «Только редактор» оказался дома и принял меня с изысканной любезностью.

– Поздравляю... Это ваш первый опыт, кажется?

– Да, первый...

– Вы, конечно, понимаете, что он мог бы быть и лучше, но первому блину многое прощается...

Эта развязность «только редактора» немного кольнула меня, и я без предисловий перешел к вопросу о гонораре.

– Я уже вас предупреждал, что я только редактор и в хозяйственную часть журнала не вмешиваюсь. Я такой же сотрудник, как и вы...

– Послушайте, от кого же я могу получить сведения о сроке получения гонорара? Для меня это очень важный вопрос... При редакции полагается обыкновенно контора.

– Да, да... Но у нас дело новое, и пока никакой конторы не существует, а ее совмещает в себе Райский. Он немножко легкомысленный человек и не признает никаких сроков...

Одним словом, я вернулся ни с чем, кроме тяжелого предчувствия, что мой первый блин выйдет комом. Мое положение было до того скверное, что я даже не мог ничего говорить, когда в трактире Агапыча встретил «академию». Пепко так и сверлил меня глазами, изнемогая от любопытства. Он даже заглядывал мне в карманы, точно я по меньшей мере спрятал Голконду. Меня это взорвало, и я его обругал.

– Ты глуп до святости, мой друг.

– Послушай, это не по-товарищески – скрывать сокровище.

– Убирайся к черту!..

Пепко почувствовал, что стряслась какая-то беда, и в качестве истинного друга тайно торжествовал. Фрей хмурился и старался не смотреть на меня. Это было скверным знаком... Наконец, он отвел меня в сторону и конфиденциально сообщил:

– А знаете, этот Райский просто мазурик, из мелких клубных шулеров. Я слишком поздно узнал... Необходимо действовать энергично.

Я рассказал свой первый «опыт», и брови Фрея приняли угрожающее положение, а трубочка захрипела.

На следующий день я, конечно, опять не застал Райского; то же было и еще на следующий день. Отворявший дверь лакей смотрел на меня с полным равнодушием человека, привыкшего и не к таким видам. Эта скотина с каждым разом приобретала все более и более замороженный вид. Я оставил издателю письмо и в течение целой недели мучился ожиданием ответа, но его не последовало.

– Возьмите рукопись, и ну их к черту! – советовал Фрей.

– Это неудобно: может быть, и заплатят!

Брови Фрея сильно сомневались в возможности такого исхода, а мне в утешение оставалась только вера, – не хотелось расстаться с блестящей иллюзией.

«Только редактор» был постоянно дома и вечно что-то такое строчил. Он старался успокоить меня разными остроумными предположениями, не забывая выгораживать свою личную неприкосновенность.

– Да, мы разделяем общую участь, – повторял он. – Вы видите, что я постоянно работаю. Одних рукописей сколько приходится перечитывать, а потом поправлять их.

– А как вы думаете, Райский заплатит что-нибудь?

Этот вопрос заставил руки «только редактора» раскинуться в такой форме, точно я пригвождал его к кресту.

– Могу сказать только про себя и о себе, что я... Знаете французскую поговорку: «La plus jolie fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a».<sup>[23]</sup>

Поговорку я слышал в первый раз, и она стоила мне около пятисот рублей.

«Только редактор» для меня лично навсегда остался неразрешимой загадкой, как шестой палец. Он имел специальное образование, знал три языка, где-то служил и кончил тем, что сделался редактором сомнительного журнала «Кошница». Можно проследить даже периоды появления таких никому не нужных журналов, которые разделяют печальную участь писем, отправленных без адреса. Какими путями зарождается мысль о таких журналах, как они осуществляются и как находятся люди, которые решаются отдавать им и деньги, и труд, и энергию? Впоследствии я встречал много таких людей, которые как-то бочком всю жизнь проведут «около литературы». Замечательно то, что именно эти люди с особенной беззаветностью преданы литературе и для нее готовы пожертвовать всем. Впрочем, есть целая категория так называемых «друзей артистов», и к ней примыкают «друзья литературы». В этой пестрой и оригинальной среде много лишнего, и подчас сюда вторгаются даже совсем нежелательные элементы, как издатель Райский.

Опыт с «Кошницей» имел для меня только то значение, что послужил предостережением не делать таких опытов в другой раз.

Сгоряча я было махнул рукой на свои «Удары судьбы», но Фрей смотрел на дело иначе.

– Нет, так нельзя, – упрямо повторял он. – С какой стати каким-то прохвостам бросать пятьсот рублей? Мы испортим им характер...

– Что же делать?

– А к мировому!

– Знаете, как-то неудобно начинать литературную деятельность с прошения к мировому.

– Вздор! Я сам пойду за вас... Так нельзя, государь мой! Это грабеж на большой дороге...

Мне было тяжело и обидно даже думать о таком обороте дела, и я употреблял все усилия, чтобы кончить дело миром. Опять начались бесплодные хождения к «только редактору», который ударял себя в грудь и говорил:

– Посмотрите на меня: я работаю больше вас и тоже ничего не получаю.

– Это, во-первых, дело вкуса, а во-вторых – плохое утешение для меня.

– Нет, извините, чужие несчастья – наше лучшее утешение. Мы – друзья по несчастью.

Когда я намекнул относительно вчинения иска законным порядком, «только редактор», видимо, струсил и вручил мне двадцать пять рублей.

– Ага, я говорил!.. – торжествовал Фрей. – Впрочем, первая ласточка еще не делает весны... И мы все-таки вчиним иск, черт меня побори!..

Мне дорого обошлась эта «первая ласточка». Если бы я слушал Фрея и вчинил иск немедленно, то получил бы деньги, как это было с другими сотрудниками, о чем я узнал позже; но я надеялся на уверения «только редактора» и затянул дело. Потом я получил еще двадцать пять рублей, итого – пятьдесят. Кстати, это – все, что я получил за роман в семнадцать печатных листов, изданный вдобавок отдельно без моего согласия.

А жизнь шла своим чередом, загромождая путь к славе бесплодным камением и евангельскими терниями. В неудаче с первым романом я начинал видеть достойную кару за сделку с совестью. А не пиши романов для сомнительных изданий, не имей дела с сомнительными людьми... Человек, наделавший ошибок и глупостей, с трогательной настойчивостью предается отыскиванию истинного виновника, а в данном случае он был налицо, это – я сам. Следующим моментом этой философии впавшего в ошибку человека является скромное желание искупить ее деянием противоположного характера, покрывающего содеянное прегрешение. Да, нужно было искупление, нужна очистительная жертва... А она была тут, налицо. Я добыл заброшенные рукописи и принялся их перечитывать с жадностью. Да, в них было и чистое и хорошее, то, для чего стоит жить, а главное – нет принижающего подлаживанья к кому-то и чему-то. Много незрелого, вымученного, придуманного и все-таки хорошего. Я с какой-то жадностью перечитывал свой первый роман, потерпевший фиаско уже в двух редакциях, и невольно пришел к заключению, что ко мне там были несправедливы. Один редактор «толстого журнала» говорил, что слишком много описаний и мало сцен, а другой – что описаний мало. Где же правда? Кстати, я припомнил Пепку, который серьезно верил в мой талант и предсказывал даже литературную будущность. Милый Пепко... Он пока один ценил меня... Что же, другие потом убедятся, как они ошибались, то есть даже не ошибались, а просто не заметили, какой умный человек замешался среди них. И умный и талантливый... Да, работать, работать, работать! К черту все сомнения!.. Хотя, с другой стороны, если подумать, что в России сто миллионов населения, что интеллигенции наберется около миллиона, что из этого миллиона в течение десяти лет выдвинется всего одно или, много, два литературных дарования, – нет, эта комбинация приводила меня в отчаяние, потому что приходилось самого себя считать избранныком, солью земли, тем счастливым номером, на который падает выигрыш в двести тысяч. Нет, выиграть двести тысяч даже легче (два раза в год можно выиграть), чем сделаться писателем. А сколько тысяч неудачников, ожесточенных самолюбий, озлобленных умов и неудовлетворенных самомнений на этом тернистом пути – настоящий дремучий лес! А какая

масса растрачивается никому не нужного труда, энергии, лучших чувств, просто физической силы, чтобы получалась вся эта мякина и шелуха!

Эти предварительные родовые схватки творческих мук доводили меня до отчаяния. Я хватался за перо и начинал писать, чтобы потом уничтожить написанное. Выступала другая сторона дела: существует русская литература, немецкая, французская, итальянская, английская, классическая, целый ряд восточных, – о чем не было писано, какие вопросы не были затронуты, какие изгибы души и самые сокровенные движения чувства не были трактованы на все лады! Я перебирал классические произведения и приходил к печальному заключению, что все уже написано и что я родился немного поздно. Что можно было сказать нового на этом пире избранных? Какое новое слово можно принести в этот мир князей мысли? Наконец, каждый человек является продуктом своего времени, своих обстоятельств, условий своей жизни... Да, хорошо писать заграничному автору, когда там жизнь бьет ключом, когда он родится на свет уже культурным, когда в самом воздухе висит эта культурная тонкость понимания, – одним словом, этот заграничный автор несет в себе громадное культурное наследство, а мы рядом с ним нищие, те жалкие нищие, которые прячут в тряпки собранные по грошикам чужие двугривенные. Много ли у нас своего? Ведь лучшие наши произведения – только подражания, более или менее удачные, лучшим заграничным образцам... Да иначе и не могло быть, потому что у нас, собственно, и жизни нет. Автор должен ее придумывать, прикрашивать, сдабривать вот эту несуществующую жизнь... Я прикинул свое собственное «поле зрения» и пришел в ужас. Да разве можно быть автором, заживо похоронив себя в каких-нибудь «Федосьиных покровках»? Здесь можно только задыхаться, и ни одна здоровая мысль не пробьется в эту проклятую дыру, а чувства должны атрофироваться, как атрофируются глаза рыб, попавших в подземные озера.

Позвольте, да и это все уже давно сказано лучшими русскими людьми, сказано талантливо, убедительно, красиво! Неужели ново только то, что хорошо позабыто? «Несовершенство» нашей русской жизни – избитый конек всех русских авторов, но ведь это только отрицательная сторона, а должна быть и положительная. Иначе нельзя было бы и жить, дышать, думать... Где эта жизнь? Где эти таинственные родники, из которых сочилась многострадальная русская история? Где те пути-дороженьки и роковые росстани (направо поедешь – сам сыт, конь голоден, налево – конь сыт, сам голоден, а прямо поедешь – не видать ни коня, ни головы), по которым ездили могучие родные богатыри? Нет, жизнь есть, она должна быть...

Я писал, перечитывал написанное и рвал.

Действительность выражалась в редком хождении на лекции и в репортерстве. Тут еще ярче выступала печальная истина, что мы плетемся в хвосте Европы и питаемся от крох, падающих со стола европейской науки. Наши ученые имена не шли дальше добросовестных компиляций, связанных с грехом пополам собственной отсебятиной. Исключений было так мало, а остальное подавляющее большинство представляло ту жалкую посредственность, которая заклеена в Вагнере у Гете. Мое репортерство открывало мне изнанку этой русской науки и тех лилипутов, которые присосались к ней с незапамятных времен. По своим обязанностям репортера я попал на самые боевые пункты этой ученой трагикомедии и был *au courant*<sup>[24]</sup> русской доброй науки. Свои отчеты я попрежнему приносил в трактир Агапыча, где попрежнему священнодействовал Фрей. Я искренне полюбил этого фанатика газетного дела, – только такими людьми и держится мир. Кроме газеты, для него ничего не существовало, и он всегда был на своем посту.

– А, черт... – ругался однажды Фрей, просматривая телеграммы.

– Что такое случилось?

– А вот, полюбуйтесь...

Фрей ткнул пальцем на телеграммы о герцеговинском восстании. Я не понял его негодования.

– Что же тут дурного, полковник? Люди хотят освободиться от ига... Турецкие зверства, наконец...

– Э, батенька, стара штука... А скверно то, что вот из таких пустяков загораются большие события. Да... Там этих братушек сколько угодно: сербы, болгары, Македония. Ну, мы заступимся за них, загорится война – вот вам, то есть нам, репортерам, и мат. Кто будет читать наши ученые общества и разные известия о пожарах, убийствах, банковых крахах и



юбилеях? Ложись и умирай... Публику хлебом не корми, а только подавай войну. Вот на этом самом теперь все газетчики и наигрывают, кроме «Нашей газеты». Одним словом, дрянное дело. Порохом пахнет...

Фрей предсказал войну, хотя знал об истинном положении дел на Балканском полуострове не больше других, то есть ровно ничего. Русско-турецкая война открыла нам и Сербию и Болгарию, о которых мы знали столько же, сколько о китайских делах. Русское общество ухватилось за славян с особенным азартом, потому что нужен же был какой-нибудь интерес. Сразу выплыли какие-то никому не известные деятели, ораторы, радетели и просто жалобные люди, взасос читавшие последние известия о новых турецких зверствах.

Фрей находился в каком-то ожесточенном настроении и с особенным удовольствием ухватился за мое дело, как я ни уговаривал его бросить.

– Нет, постой, так нельзя... – мрачно говорил он, пряпывая в карман полученную от меня доверенность. – Этак с живого человека будут кожу драть, а он будет «покорно благодарю» говорить.

Подано было прошение мировому судье, и к делу приобщены три книжки «Кошницы», в которых печатался мой роман. Я был в камере только публикой. Со стороны Райского никто не явился, и мировой судья присудил Василию Попову четыреста пятьдесят шесть рублей. Это решение было обжаловано Райским, и дело перешло в съезд мировых судей. Дальше мне было совестно беспокоить Фрея; через две недели я выступил в съезде уже лично. Съезд утвердил решение мирового судьи, потому что противная сторона опять не явилась, и я получил исполнительный лист.

– Так-то будет лучше, – торжествовал Фрей, перечитывая этот ценный документ. – Мы им покажем.

Однако нам так и не удалось «им показать», потому что Райский скрылся из Петербурга неизвестно куда, а имущество журнала находилось в типографии. Судебный пристав отказал производить взыскание, так как не было ни редакции, ни конторы, ни склада изданий... В течение восьми недель я ходил в съезд с своим исполнительным листом, чтобы разрешить вопрос, но неперемные члены только пожимали плечами и просили зайти еще. Наконец, нашелся один добрый человек, который вошел в мое положение.

– Вы давно ходите к нам с этим исполнительным листом?

– Да вот уже два месяца...

– Да? Знаете, что я вам посоветую: бросьте это дело... Все равно ничего не выйдет.

– Я сам начинаю об этом догадываться...

– Да, да...

Фрей даже зарычал, когда я предложил свой исполнительный лист ему на память. Он хотел еще куда-то жаловаться, искать местожительство Райского и т. д., но я его уговорил бросить всю эту комедию.

– Послушайте, я считал вас умнее, Попов...

– Что делать: таков уродился.

Пепко, узнавший об исходе дела, остался совершенно равнодушен и даже по своему коварству, кажется, тайно торжествовал. У нас вообще установились крайне неловкие отношения, выход из которых был один – разойтись. Мы не говорили между собой по целым неделям. Очевидно, Пепко находился под влиянием Анны Петровны, продолжавшей меня ненавидеть с женской последовательностью. Нет ничего хуже таких отношений, особенно когда связан необходимостью прозябать в одной конуре.

– Послушай, ты должен быть мне благодарен, – заметил Пепко, принимая какой-то великодушный вид. – Да, благодарен. Ведь я мог бы тебе сказать, что все это можно бы предвидеть и что именно я это предвидел и так далее. Но я этого не делаю, и ты чувствуй.

Все эти тревожления, усиленная работа и не менее усиленное пьянство привели меня к естественному концу. Кстати, о пьянстве. Может быть, я начал именно с того, чем должен кончить русский писатель. Я уже говорил выше об условиях работы и образе нашей жизни. С семи часов вечера я обыкновенно уходил на работу, то есть в заседание какого-нибудь общества. Домой возвращаться приходилось уже поздно, в полночь. Затем Федосья будила меня в шесть часов утра. Нужно было написать отчет к восьми часам и немедленно снести в редакцию, то есть трактир Агапыча. В своей специальности я уже набил руку и вполне усвоил репортерскую привычку писать о совершенно незнакомых вещах с развязностью завязтого специалиста. Обвинять же репортерское незнание, пожалуй, несправедливо, потому что поневоле приходится репортеру писать обо всем, а маленькая газетная кляча не обязана быть Гумбольдтом.

Итак, мы работали, работали и пили. Приходишь к Агапычу, Фрей на своем посту и кто-нибудь из членов «академии». Такое деловое утро начиналось обыкновенно с водки. Трактирный «человек» даже не спрашивал, что нужно, а без предупреждения подавал графинчик водки. Фрей методически выпивал две рюмки, закусывал водку соленым огурцом, нюхал корочку черного хлеба и делался нормальным Фреем. Я водки с утра не мог пить, а спрашивал себе бутылку пива. Это быстро вошло в привычку. Начинать сосать пьяный червячок, если не выпьешь своей порции. Выпитое натошак пиво быстро дурманило, и вместе с тем чувствовалось какое-то облегчение, – совершенно особенное чувство, какое испытывается при прекращении зубной боли. В первый момент не верится, что эта боль утихла, и как-то повторяешь ее про себя и только потом привыкнешь быть попрежнему здоровым. Так и при пьянстве: количество выпитого не играет здесь особенной роли, потому что большая или меньшая «приемность» слишком субъективна. Выпив свою бутылку пива, я всегда испытывал приятное возбуждение, точно снимал с себя какую-то тяжесть. Затем этого заряда энергии начало недоставать, и пришлось пить другую бутылку. И так изо дня в день. Мысль о выпивке являлась с раннего утра. Я сознавал, что это нехорошо, что это вредно, глупо, и все-таки повторял свои порции. Молодой организм быстро поддается излишествам. Вечером являлась выпивка уже не в счет и в неопределенных размерах. Если не было заседания, я все чаще и чаще возвращался домой сильно под хмельком.

Настоящей многолетней привычки еще не могло быть, но пьянство было. Про себя я утешался рассуждением каждого пьяницы, что вот возьму и брошу, а сегодня это только так, пока. Сколько людей на Руси гибнет от жестокого пьянства, а между тем, чего, кажется, проще отказаться от одной рюмки, всего от одной. Я быстро пошел по избитой дорожке и усвоил эту пьяную логику. К моему счастью, явился протест со стороны организма, что меня и спасло от окончательного падения. Началось с простого недомогания, бессонницы, плохого аппетита и лихорадки. Я не обращал на такие пустяки внимания и старался избавиться от них усиленной дозой напитков. Наконец, все завершилось кризисом, и в одно прекрасное утро я почувствовал, что серьезно болен и что продолжать прежний образ жизни невозможно. Это было органическое темное чувство, вызывавшее страшную тяжесть, апатию и неспособность к какой бы то ни было работе.

Странная вещь болезни вообще, и у них есть своя философия. По крайней мере это было верно лично для меня. Сколько передумаешь, переживаешь и переживешь в течение какого-нибудь одного дня. Первым ощущением у меня являлось то, как будто какая-то невидимая рука взяла тебя и вывела из круга здоровых людей. С каждым ударом сердца эта отчужденность усиливалась, и с роковой быстротой увеличивалось расстояние, отделявшее тебя от жизни. Теперь все сосредоточивалось где-то там, внутри, где незримо работала какая-то разрушительная сила. Еще вчера был здоров и не думал о здоровье, а сегодня уже пронеслась в воздухе грозная мысль об уничтожении, о смерти, о собственной ничтожности. Все, что делал, к чему стремился, о чем заботился, все это теперь являлось в совершенно другом свете. В самом деле, какое ничтожество каждый отдельный человек, взятый только сам по себе, и как мало дела всем остальным ничтожествам, если одним ничтожеством сделается меньше. От больных не сторонятся только из вежливости, из вежливости выслушивают их жалобы и очень рады, когда могут опять вернуться в общество своих здоровых людей. Все это я с особенной яркостью видел на моем друге Пепке и не обвинял его, потому что сам, вероятно, сделал бы то же самое.

Да, я лежал на своей кушетке, считал лихорадочный пульс, обливался холодным потом и думал о смерти. Кажется, Некрасов сказал, что хорошо молодым умереть. Я с этим не мог согласиться и как-то весь затаился, как прячется подстреленная птица. Да и к кому было идти с своей болью, когда всякому только до себя! А как страшно сознавать, что каждый день все ближе и ближе подвигает тебя к роковой развязке, к тому огромному неизвестному, о котором здоровые люди думают меньше всего.

Но я ошибался. За мной следила смешная и нелепая по существу женщина Федосья. Мы с ней периодически враждовали и ссорились, но сейчас она видела во мне больного и отнеслась с чисто женским участием. Получалась трогательная картина, когда она приносила то чашку бульона, то какие-то сухари, то кусок жареной говядины.

– Что вы все лежите, Попов?.. – ворчала она. – Пошли бы прогуляться, а то одурь возьмет... Вон ночью как сегодня кашляли!

– Ничего, пройдет...

– А отчего вы в клинику не хотите сходить?

– Незачем...

К клинике Федосья возвращалась с особенной настойчивостью, и это меня начинало злить.

– Вам хочется избавиться от меня, – заметил я ей довольно грубым тоном. – Бойтесь, что я умру у вас...

Федосья что-то прибирала в нашей комнате, остановилась и с удивлением посмотрела на меня. Она не обиделась, а только удивилась. Я ей платил черной неблагодарностью за ее женскую доброту. В другое время она ответила бы соответствующей же грубостью, но сейчас только посмотрела на меня такими жалеющими добрыми глазами. Мне сделалось совестно, и я в первый раз подумал, что вот живу у Федосьи скоро два года, а ни разу даже не подумал, что это и хорошая и, главное, добрая женщина. Да... А когда я умру, она, может быть, одна проводит меня на кладбище, искренне поплачет над могилой и будет по-женски хорошо жалеть. Она и сейчас жалела, хотя и надоедала своей клиникой. Да, мне сделалось совестно, и я посмотрел на эту смешную Федосью совсем другими глазами.

Убедившись, что с клиникой ничего не поделаешь, Федосья обратилась к другим средствам. Она недолюбливала жиличку Анну Петровну, в которой ревновала женщину, но для меня примирилась с ней. Я это сразу понял, когда в одно прекрасное февральское утро Анна Петровна постучала в дверь моей комнаты и попросила позволения войти.

– Пожалуйста...

Девушка вошла с немного сконфуженным видом, вероятно, припоминая нашу ссору из-за Любочки.

– Вы больны, Попов?

– Да, что-то нездоровится... Так, пустяки.

– Какие же пустяки... Вы ничего не будете иметь, если я вас выслушаю?

– Вы, кажется, начинаете смотреть на меня, как на медицинский препарат?

Медичка строго сложила губы и сделала вид, что не расслышала моего ответа.

– Впрочем, как хотите... – поправился я. – Вам полезно поупражняться в перкуссии...

– Да, да, именно полезно.

Я отдался в ее распоряжение и стал вслушиваться в постукивание молотка, который разыгрывал на моей груди оригинальную мелодию. Левое легкое было благополучно, нижняя часть правого тоже, а в верхушке его послышался характерный тупой звук, точно там не было хозяина дома и все было заперто. Анна Петровна припала ухом к пойманному очагу и не выдержала, вскрикнув с какой-то радостью:

– Взвизгивает... да, совершенно ясно взвизгивает!..

Она радовалась, как охотник, выследивший интересную дичь, и совершенно забыла обо мне. Я отлично понимал, что означает этот медицинский термин, и почувствовал, как у меня перед глазами заходили темные круги и «Федосьины покровы» точно пошатнулись. Я

очнулся от легкого обморока только благодаря холодной воде, которой меня отпаивала Анна Петровна.

– Ничего... это бывает... – бормотала она смущенно. – Если уехать в Крым и взять там весну...

– Еще лучше, если уехать в Ментону... да. У меня притупление правого легкого?

– Да...

– Приятное открытие...

– Проклятый петербургский климат...

– И многое другое... Впрочем, очень благодарен вам.

– Необходимо урегулировать питание... хорошее вино... легкий моцион...

– Послушайте, не будем говорить об этом, Анна Петровна... У меня в кармане ровно двугривенный, а работать сейчас я не могу. Впрочем, все это пустяки...

Притупление легкого – это начало форменной чахотки. Из ста случаев один шанс остаться в живых, особенно когда в кармане двугривенный. Вот когда пригодились бы пропавшие за Райским деньги. Да, это был почти смертный приговор, а остальное все придет само собой в свое время. И время стояло проклятое: конец февраля. До петербургской кислой весны было еще далеко. Меня охватило вполне понятное отчаяние... Благодаря занятиям в медицинской академии я отлично знал, как систематически пойдет весь процесс, пока из живого человека не получится cadaver.<sup>[25]</sup> Неужели все кончено и нет спасения? Я носил уже смерть в собственной груди, и будущее заключалось только в постепенном разложении живого тела. Молодой неокрепший организм так быстро реагирует в таких случаях, и пламя жизни потухает, как те светильники, в которые евангельские девы позабыли налить масла.

О, как я помню эту ужасную ночь!.. Это была ночь итога, ночь нравственной сводки всего сделанного и мук за несделанное, непережитое, неосуществленное. Прежде всего больная мысль унесла меня на родной благодатный юг, под родную кровлю. Да, там еще ничего не знают, да и не должны ничего знать, пока все не разрешится в ту или другую сторону. Бедная мать... Как она будет плакать и убиваться, как убивались и плакали те матери, детьми которых вымощены петербургские кладбища. Приехать домой больным и отравить себе последние дни видом чужих страданий – нет, это невозможно. Тем более что во всем виноват я сам, и только я сам. Моя болезнь – только результат беспутной, нехорошей жизни, а я не имею права огорчать других, получая достойную кару за свое недостойное поведение.

Да, я по косточкам разобрал всю свою недолгую жизнь и пришел к убеждению, что еще раз виноват сам. Одно пьянство чего стоило и другие излишества! Если бы можно было начать жить снова... Неужели нет спасенья и со мной умрет все будущее? По скрытой ассоциации идей я припомнил Александру Васильевну, какой я видел ее на балу. Ведь это было так недавно, чуть не на днях... Да, она такая молодая, свежая, полная сил... На меня смотрели эти чудные девичьи глаза, а в них смотрело счастье, любовь и целый ряд детских глаз – да, глаза тех наших детей, в которых мы должны были продолжиться и которых мы никогда-никогда не увидим. Мне безумно захотелось видеть ее и сказать, как я ее любил, как мы были бы счастливы, как прошли бы всю жизнь рука об руку... Разве написать ей? Может быть, она придет...

А кругом стояла немая ночь. В коридоре почикивали дешевенькие стенные часы. Кругом темнота. Такая же ночь и на душе, а вместо дешевеньких часов отбивает такт измученное сердце. Я сел на своей кушетке и смотрел в темное пространство, из которого выступал целый ряд картин. Голые ноги повесившегося канатчика, пьяная улыбка Порфира Порфирыча, заплаканные глаза Любочки... Меня охватывала мучительная жажда жизни, именно – жажда. Я не хочу умирать... слышите?.. Я хочу жить, любить, работать, давать жизнь другим. Не правда ли, я ведь еще так молод, и это было бы величайшей несправедливостью – умереть на рассвете жизни. Я, наконец, не настолько испорченный человек, чтобы не мог исправиться. Ведь живут же никому не нужные старики и старухи, калеки и нищие, разбойники и просто негодяи, безнадежные пьяницы и совсем лишние люди? Зачем именно я должен умереть?..

Болезнь с неудержимой быстротой шла вперед. Я уже решил, что все кончено. Что же, другие умирают, а теперь моя очередь, – и только. Вещь по своему существу не только обыкновенная, но даже прозаичная. Конечно, жаль, но все равно ничего не поделаешь. Человек, который, провожая знакомых, случайно остался в вагоне и едет совсем не туда, куда ему нужно, – вот то ощущение, которое меня преследовало неотступно.

Но я не был один. Федосья зорко следила за мной и не оставляла своими заботами. Мне пришлось тяжелым личным опытом убедиться, сколько настоящей хорошей доброты заложила природа в это неуклюжее и ворчливое существо. Да, это была добрая женщина, не головной добротой, а так, просто, потому что другой она не умела и не могла быть.

– А я вам парного молока добыла... – как-то конфузливо-сурово сообщала Федосья, глядя куда-нибудь в сторону. – У дворника есть курицы, так тоже скоро нестись будут. Свежее яичко хорошо скушать. Вот если бы красного вина добыть...

На последнем пункте политическая экономия Федосьи делала остановку. Бутылка вина на худой конец стоила рубль, а где его взять... Мои ресурсы были плохи. Оставалась надежда на родных, – как было ни тяжело, но мне пришлось просить у них денег. За последние полтора года я не получал «из дома» ни гроша и решил просить помощи, только вынужденный крайностью. Отец и мать, конечно, догадаются, что случилась какая-то беда, но обойти этот роковой вопрос не было никакой возможности.

Кроме физической стороны, Федосью занимала и психология болезни. Она решила про себя, что мне вредно оставаться одному, с неотвязной мыслью о своей болезни, и старалась развлекать меня, что оказалось труднее вопросов питания. По вечерам Федосья приходила в мою комнату, становилась у двери и рассказывала какой-нибудь интересный случай из своей жизни: как ее три раза обкрадывали, как она лежала больная в клинике, как ее ударил на улице пьяный мастеровой, как она чуть не утонула в Неве, как за нее сватался пьянчугачиновник и т. д. О себе она говорила, как о постороннем человеке, и все эти воспоминания сводились обязательно на что-нибудь неприятное. Вся жизнь Федосьи составляла одну сплошную неприятность. Когда этот личный материал исчерпался, Федосья перешла к жильцам, и я мог только удивляться ее наблюдательности. Она, как оказалось, отлично понимала бедствовавшую в ее конурах молодость и делала меткие характеристики. Впрочем, чужие злоключения и ошибки Федосья понимала по личному горькому опыту.

Раз Федосья заявила с бутылкой дешевого красного вина. Заметив мой недовольный взгляд, она поспешила оправдаться:

– Не мое вино-то... И бутылка почата... Это муж у Аграфены Петровны был именинник, так вино-то и осталось. Все равно так же бы слопали... Я как-то забежала к ней, ну, разговорились, ну, она мне сама и сует бутылку. А я не просила... Ей-богу, не просила. Она добрая...

Мне было совестно пользоваться любезностью почти совсем незнакомой женщины, тем более что у меня явилось подозрение относительно правдивости Федосьи. Наверно, она просила, а это являлось уже чуть не милостыней.

– Не хочу я вина... – решительно заявил я. – Не хочу, – и все тут.

Федосья отличалась большим упрямством и повела дело другим путем. В этот же день явилась ко мне сама Аграфена Петровна.

– Вы это что капризничаете? – напустилась она на меня без всяких предисловий. – Это я сама послала вам вино... Все равно испортилось бы. Я не пью, а мужу вредно пить. Одним словом, вздор...

Она осмотрела комнату и только покачала головой. На окне не было шторы, по углам пыль, мебель жалкая, – одним словом, одна мерзость. Мое девственное ложе тоже возбудило негодование Аграфены Петровны. Результатом этой ревизии явилось совершенно неожиданное заключение:

– Мы с вами будем играть в карты...

– Я не умею.

– А я научу. Будем играть в рамс... Я ужасно люблю. А вам необходимо развлечься немного, чтобы не думать о болезни. Сегодня у нас что? Да, равенство... Скоро весна, на дачу поедем, а пока в картишки поиграем. Мне одной-то тоже не весело. Сидишь-сидишь, и одурь возьмет. Баб я терпеть не могу, а одной скучно... Я вас живо выучу. Как жаль, что сегодня карт не захватила с собой, а еще думала... Этакая тетеря...

Аграфена Петровна была немного странная женщина и поражала неожиданными фантазиями. Одна из таких фантазий – ухаживать за «больным студентом». Хорошо было то, что она все делала как-то заразительно просто, с вечной улыбкой. На меня действовала больше всего именно эта простота. Так и пахло каким-то домашним теплом, уютным спокойствием и улыбающейся добротой. Каждое появление Аграфены Петровны сопровождалось какой-нибудь реформой: один раз переставлен был письменный стол, в другой – моя кушетка, в третий – стулья. Свою ненависть к Пепке она переносила и на его вещи и говорила: «Ну, этот и так живет»...

Вечера за картами проходили действительно веселые. Аграфена Петровна ужасно волновалась и доходила до обвинения меня в подтасовке. Кажется, в репертуар развлечения больного входили и карточные ссоры. В антракты Аграфена Петровна прилаживалась к столу, по-бабьи подпирала щеку одной рукой и говорила:

– Ну, рассказывайте что-нибудь... Вы ведь были влюблены в эту пухляку Наденьку. Не отпирайтесь, пожалуйста, я все знаю... Рассказывайте. Я люблю, когда рассказывают про любовь... Ведь вы были влюблены? да?

– Да, но только не в Наденьку.

– А в кого? Хотите, я сама съезжу к ней с письмом?.. Она, наверно, не знает, что вы больны. О, как это хорошо – любить!.. Особенно когда весна, цветы, соловей... Вы любите луну? Когда я смотрю на луну, мне почему-то хочется плакать.

Эти разговоры вызвали во мне желание поделиться своей тайной. Все равно умру, и никто не узнает. Аграфена Петровна выслушала мою исповедь с широко раскрытыми глазами и в такт рассказа качала головой.

– И только? – удивилась она, когда я кончил.

– Что же вам еще нужно?

– Как что? Даже ни разу не поцеловать хорошенькой девушки? Да вы просто мямля и тюфяк... Вас никогда женщины не будут любить. Не может же девушка первая броситься на шею к мужчине... Первый шаг должен сделать он.

– Я не хотел повторять историю с Любочкой...

– Что же, она сама виновата, если позволила себе слишком много. Есть известная граница... да. Не забывайте, что жизнь так и пройдет меж пальцев, а спохватитесь – уже поздно. Я вашего Пепку презираю, но он не теряет напрасно времени. Он – настоящий мужчина.

– Извините меня, но я вас не понимаю...

– А вы – мямля... Что же будет, если молодые люди не будут целовать девушек?.. Всё книжки да книжки, а когда же жить?.. Хотите, я съезжу к этой Александре Васильевне и привезу ее сюда? Адрес узнаю в адресном столе или у Наденьки.

– Нет, нет...

– Ну, это другое дело: значит, вы ее не любили по-настоящему. Если она любит, то придет... Пешком придет и меня еще благодарить будет.

Мое здоровье ухудшалось с каждым днем. Особенно донимал холодный пот. Сидишь – и вдруг всего точно обольет холодной водой, а потом сейчас же наступало страшное бессилие. Я чувствовал, как жизнь выходила всеми порами и уничтожение близилось. Особенно тяжелы были бессонные ночи... Чего-чего не передумаешь в такую ночь! Обидно было то, что наступала весна, все готовились к ней, в газетах появились объявления о дачах... А там, на юге, уже совсем хорошо. Скоро тронутся реки, выплывет первая зеленая травка, весело запестреют первые цветы. Мысль о доме все чаще и чаще посещала меня, подрывая нежелание огорчать родную семью своей смертью на глазах у всех. Кажется, я решил бы уехать на юг, если бы не Аграфена Петровна.

Она явилась раз с известием, что наняла дачу.

– Будем вместе жить, – решила она за меня. – Я буду ухаживать за вами... У вас будет своя комната; я сама готовлю обед и откормлю вас. Все зависит от еды, а лекарства – пустяки...

– А где вы наняли дачу?

– В Третьем Парголове... Там отлично. Один Шуваловский парк чего стоит... Кстати, у вас там есть свои приятные воспоминания. Одним словом, все отлично...

Мне оставалось только благодарить за внимание. Оставалась надежда на чистый воздух начинавшейся Финляндской возвышенности. Да, там хорошо...

Я плохо помню, как время дотянулось до конца апреля. Взглянув на себя в зеркало, я даже испугался: это был какой-то живой скелет.

Мой друг Пепко совершенно забыл обо мне, предоставив меня своей участи. Это было жестоко, но молодость склонна думать только о самой себе, – ведь мир существует только для нее и принадлежит ей. Мы почти не говорили. Пепко изредка справлялся о моем здоровье и издавал неопределенный носовой звук, выражавший его неудовольствие:

– Да... Гм...

Он почти все время проводил в комнате у Анны Петровны и был счастлив.

Накануне отъезда Аграфена Петровна пришла собрать мои вещи и уложила все в чемодан. Вещей было так немного, а место еще оставалось. Она так посмотрела кругом, что мне показалось, что она и меня с удовольствием тоже уложила бы в чемодан. Я невольно засмеялся.

– Вы это чему смеетесь, мямля?

Она присела ко мне на кушетку, пощупала мой лоб, покачала головой, а потом быстро наклонилась и поцеловала прямо в губы с энергией, излишней для больных. Через ее плечо я видел, как в дверях показалась фигура Пепки и благочестиво скрылась.

Перед самым отъездом на дачу ко мне завернула Любочка. Она имела самый несчастный вид: исхудала, пожелтела и не обращала даже внимания на свой костюм, – последняя степень женского отчаяния. Она даже не знала, зачем пришла, что ей нужно было сказать и что делать. Это была тень живого человека. У меня сжалось сердце при виде убитой девушки. Все что-то делали, куда-то стремились, чего-то желали и на что-то надеялись; одна она была выкинута из этого живого круга, обреченная на специально женскую муку мученическую. Зашла в мою комнату, огляделась кругом с каким-то детским удивлением и присела на стул, забыв даже поздороваться с хозяином.

– Как поживаете, Любочка?

– Я? не стоит говорить...

Она даже улыбнулась какой-то большой улыбкой. Я не знал, что говорить и что делать с ней. Ее безмолвное присутствие начинало меня тяготить. Есть известная граница, до которой чужое горе нас трогает, а дальше этой границы оно начинает раздражать, как плач или крик. Именно так и я посмотрел на Любочку. Что же в самом деле, ведь нельзя же заставить человека полюбить насильно! Я не оправдывал Пепку, но, с другой стороны, и Любочка разыгрывала трагедию не по нашему серенькому времени. Что такое любовь? Разве может быть любовь без взаимности? Представление об этом чувстве у меня, признаюсь, было довольно смутное, и я не мог понять, как это люди теряют голову и всякое самообладание. Опять является вопрос о границах... Потом мне было как-то совестно за Анну Петровну, являвшуюся в роли злой разлучницы. Как будто и нехорошо... Возникал неразрешимый вопрос о женском соперничестве, не предусмотренный никакими кодексами и сводами законов. Для меня ясно было одно, – именно, что Анна Петровна, охваченная эгоизмом собственного чувства, устраняла Любочку без всякого сожаления, и поэтому я смотрел на настоящую живую Любочку, сидевшую передо мной, с тем сожалением, на какое она имела право рассчитывать.

– Вам что-нибудь нужно, Любочка?

– Мне? Нет, ничего не нужно... Ах, нет, очень, очень нужно...

Любочка поднялась и кинулась мне в ноги.

– Уговорите Агафона Павлыча... Он вас послушает... – шептала она, заливаясь слезами. – Вы все знаете... Скажите ему...

– Любочка, встаньте...

– Не встану, если вы не пообещаете. Умру вот здесь... у вас... Ну, что вам стоит? Вы мне дайте честное слово, самое честное слово...

Несчастливая ничего не понимала и ничего не желала понимать. Я ее насильно поднял, усадил и дал воды. У меня от слабости кружилась голова и дрожали ноги. Затем я, по логике всякой слабости, возненавидел Любочку. Что она ко мне-то пристает, когда я сам едва дышу? Довольно этой комедии. Ничего знать не хочу. До свидания... Любочка смотрела на меня широко раскрытыми глазами и только теперь заметила, как я хорош, – краше в гроб кладут.

– Я больше не буду, Василий Иванович... – как-то по-детски покорно проговорила она, поднимаясь со стула. – Я уйду сейчас... Вы больны.

– Да, да, болен, черт возьми! Умираю, а вы ко мне лезете с вашими пустяками... Какое мне дело до вас? Зачем вы пришли ко мне?

Когда Любочка вышла, не простившись со мной, у меня начался пароксизм жестокой лихорадки. И опять этот пот... В последнее время начали появляться признаки апатии. Э, не все ли равно, когда ни умереть? Да и стоит ли жить вообще, когда столько гадостей кругом и когда в самом тебе эти же гадости таятся в зачаточном состоянии, потому что не выпало еще подходящего случая им реализоваться. И что такое смерть сама по себе? Во-первых – абсолютный покой, во-вторых – вопрос моей личной хронологии. Ведь все равно умирать когда-нибудь придется, сколько ни живи, и только одна иллюзия, что мне не нужно умирать и не нужно умирать именно сейчас, в данный момент. В болезнях есть своя философия.



На дачу я готовился переезжать в очень дурном настроении. Мне все казалось, что этого не следовало делать. К чему тревожить и себя и других, когда все уже решено. Мне казалось, что еду не я, а только тень того, что составляло мое я. Будет обидно видеть столько здоровых, цветущих людей, которые ехали на дачу не умирать, а жить. У них счастливые номера, а мой вышел в погашение.

Мой добрый гений Аграфена Петровна сама уложила мои вещи, покачивая головой над их скудным репертуаром. Она вообще относилась ко мне, как к ребенку, что подавало повод к довольно забавным сценам. Мне даже нравилось подчиняться чужой воле, чтобы только самому ничего не решать и ни о чем не думать. Это был эгоизм безнадежно больного человека. Ухаживая за мной, Аграфена Петровна постоянно повторяла:

– Андрей Иванович всегда так делает... Андрей Иванович это любит... Андрей Иванович терпеть не может, чтобы кто-нибудь подходил к его письменному столу.

Одним словом, этот неизвестный мне Андрей Иванович, казалось, наполнял всю вселенную и для Аграфены Петровны являлся чем-то вроде той атмосферы, которая окружает земной шар. Выражаясь фигурально, можно было подумать, что она дышала им. Я понимал только одно, что дома этот всеобъемлющий и всенаполняющий Андрей Иванович являлся только дорогим гостем, а делала всю «домашность» одна Аграфена Петровна: она и дачу нанимала, и все укладывала, и перевозила на дачу весь скарб, и там все приводила в новый порядок, и делала все так, чтобы Андрею Ивановичу было и удобно, и беззаботно, и хорошо. Разве Андрей Иванович понимает что-нибудь в этих домашних дрызгах? Он лампы не умеет зажечь. Я почему-то вперед возненавидел этого трутня, который потерял всякий облик мужчины, как главы дома. Да, мужчина должен строить свое гнездо, оберегать и защищать его, а не сваливать всю работу на женские плечи. Меня возмущало это добровольное рабство Аграфены Петровны, и я понял, что в медичке Анне Петровне есть родственные черты: она точно так же ухаживала за своим Пепкой и так же его баловала. Одним словом, обе сестры принадлежали к типу тех женщин, которые создают культ мужчины и всю жизнь служат кому-нибудь. Несчастливая Любочка принадлежала к этому же типу, хотя ей и выпал дурной номер...

Пепку я видел совсем мало. Между нами установились какие-то глупые, натянутые отношения. Я чувствовал, что он меня ненавидит, и понимал, что единственным основанием этой ненависти было только то, что я все-таки оставался живым свидетелем его истории с Любочкой. Он видел во мне какой-то упрек себе и помеху своему счастью, и я уверен, что был бы рад моей смерти. О, Пепко был величайший эгоист, который думал, что мир скромно существует только для него! Перед моим отъездом он соблаговолил сказать мне несколько теплых слов:

– Всего лучшего, collega... Надеюсь, что ты не будешь терять даром своего маленького дачного времени. Аграфена Петровна такая добрая... Желаю успеха.

Это был намек на тот поцелуй, свидетелем которого невольно сделался Пепко. Он по своей испорченности самые чистые движения женской души объяснял какой-нибудь гнусностью, и я жалел только об одном, что был настолько слаб, что не имел силы проломить Пепкину башку. Я мог только краснеть остатками крови и молча скрежетал зубами.

– А ты куда помещаешь свою особу на лето? – спросил я, чтобы сказать что-нибудь.

– Не знаю еще хорошенько: в Павловск или в Ораниенбаум.

У Пепки были совершенно необъяснимые движения души, как в данном случае. Для чего он важничал и врал прямо в глаза? Павловск и Ораниенбаум были так же далеки от Пепки, как Голконда и те белые медведи, которые должны были превратиться в ковры для Пепкиных ног. По-моему, Пепко был просто маниак. Раз он мне совершенно серьезно сказал:

– Ты обратил внимание на мой профиль? Это профиль человека, который ездит на резине, имеет свои собственные дома, дачу в Крыму, лакея, который докладывает каждый день о состоянии погоды, – одним словом, живет порядочным человеком. По-моему, все зависит от профиля... Возьми историю Греции и Рима – вся сила заключалась только в профиле.

Забавнее всего было то, что профиль Пепки требовал серьезных поправок и даже снисхождения, но он серьезно гордился им и при разговоре часто поворачивал голову в три четверти, как настоящий актер.

Аграфена Петровна уехала на дачу раньше, чтобы окончательно все там приготовить. Я должен был тронуться с места только через два дня. Помню, как свежий весенний воздух пьянил меня и как моя голова кружилась в смертельной истоме. Я едва доехал до Финляндского вокзала, хотя до него было рукой подать. Весенняя дачная суета раздражала меня. Куда они все торопятся, о чем хлопочут, чему радуются, когда нужно только одно – чтобы не кружилась голова и не ныла зловеще грудь? Мне казалось, что вокзал – это моя собственная голова и что в этой собственной голове торопятся, бегут и кружатся все эти пассажиры. Я чувствовал, как все куда-то плывет, сливаясь в одну мутную полосу. Из этого забытья меня выводил какой-то неугомонный пассажир, жужжавший около меня, как осенняя муха. Это был мужчина в критическом возрасте, в котелке и золотом пенсне. Сначала он потерял свои вещи, потом свою даму в синей вуали, потом еще что-то – вообще он ужасно суетился, представляя своей особой типичный образчик дачного мужа. Дама в синей вуали, видимо, капризничала и говорила несчастному очень обидные и ядовитые вещи, потому что он делал умоляющее лицо и начинал виновато улыбаться, как только что наказанная собака. Чтобы искупить свои прегрешения, он пускался на отчаянное средство: навешивал на себя все картонки, узелки, пакеты и свертки, брал в руки саквояжи, подмышки два дамских зонтика и превращался в одного из тех фокусников, которые вытаскивают все эти вещи из собственного носа и с торжеством удаляются со сцены, нагруженные, как верблюды. Этот маневр бедняге удавался, и дама в синей вуали улыбалась. Мне эта немая сцена семейного дачного счастья порядочно надоела, и я хотел переменить место, чтобы избавиться от дачного мужа, начинавшего уже поглядывать на меня с заискивающей улыбкой человека, который вот-вот любезно заговорит с вами о погоде. Но мой маневр не удался. Я только что поднялся, как дачный муж остановил меня.

– Извините, пожалуйста... – бормотал он. – Если я не ошибаюсь, вы Василий Иванович Попов?

– К вашим услугам...

– Представьте себе, я узнал вас по описанию жены... Ведь вы едете в Третье Парголово? Ваши вещи отправлены раньше? Видите, как я все знаю...

Мне оставалось только удивляться догадливости дачного мужа, который взял меня под локоть, таинственно отвел меня в сторону и проговорил шепотом:

– Имею честь представиться: Андрей Иванович... Слышали?... Хе-хе... До некоторой степени ваш хозяин, то есть я-то тут ни при чем, а все Агриппина, да. Так вот видите ли... гм... да... Я провожаю в Шувалово одну даму... да... моя дальняя родственница... да... Так вы того... В случае, зайдет разговор, ради бога не проболтайте Агриппине... Она такая нервная... Одним словом, вы понимаете мое положение.

– О, совершенно понимаю...

Дачный муж схватил меня за руку и крепко пожал ее, точно давал взятку.

– Мне сорок лет, и в эти года показаться смешным – смерть... – бормотал он, заискивающе улыбаясь. – Вы меня понимаете, одним словом...

Дама в синей вуали сделала демонстративное движение, и Андрей Иванович бросился к ней с такой поспешностью, как бегут вытаскивать из воды утопающего.

Для начала встреча вышла недурная. Знаменитый Андрей Иванович, не умевший зажечь лампы, проявлял настоящий талант выючного животного. Эта чета повторяла с небольшими вариациями моих первых квартирных хозяев.

Я опять в Третьем Парголове. У нас исправляет обязанность дачи простая деревенская изба, оклеенная внутри дешевенькими дачными обоями... Мое помещение вверху, на чердаке, – летняя комната, – ужасно напоминает большой гроб, потому что потолок сделан именно гробовой крышкой. Ничего, скверно, особенно в холодные дни. Вся жизнь семьи Андрея Ивановича выяснилась до мельчайших подробностей в несколько дней, как жизнь большинства петербургских чиновничьих семей. Дома Андрей Иванович изображал из себя божка-мужчину и пользовался всеми привилегиями своего божественного состояния. Доходило до того, что «Агриппина» знала все его похождения и снисходила. Это унижение меня возмущало.

– Да ведь он мужчина? – удивлялась в свою очередь Агриппина. – У него каждый год новая привязанность... Но я совершенно спокойна, потому что знаю, что он никуда от меня не уйдет...

– Действительно, счастье большое, – иронически соглашался я.

– А как бы вы думали? О, вы совсем не знаете жизни... Потом, он ни одной ночи не провел вне дома. Где бы ни был, а домой все-таки вернется... Это много значит. Теперь он ухаживает за этой старой девой... Не делает чести его вкусу – и только.

Сам Андрей Иванович в шутовском тоне очень любил поговорить о своей новой привязанности и даже требовал внимания Агриппины к ней. В одно прекрасное утро незнакомка в синей вуали сидела у нас на балконе и кисло улыбалась. Я только теперь хорошенько рассмотрел ее. Блондинка, с грязноватым цветом волос, лицо маленькое, покрытое веснушками, детская картавость и претензии на манеры женщины «из общества». Звали ее Анжеликой Карловной. Меня лично она возмущала, как живое воплощение всевозможной кислоты. Очевидно, желание познакомиться с Агриппиной было ее капризом, и Андрей Иванович крутился, как береста на огне. Терпимость Аграфены Петровны меня тоже возмущала.

– О, у Агриппины своя политика! – объяснял мне конфиденциально Андрей Иванович. – Ей нравится, что я нравлюсь женщинам... А это главное. Хе-хе... Анжелика в меня влюблена, как кошка.

Это было повторением мании Пепки, что все женщины влюблены в него. Но за Пепкой была молодость и острый ум, а тут ровно ничего. Мне лично было жаль дочери Андрея Ивановича, семилетней Любочки, которая должна быть свидетельницей маминого терпения и папашиних успехов. Детские глаза смотрели так чисто и так доверчиво, и мне вчуже делалось совестно за бессовестного петербургского чиновника.

Мое здоровье быстро начало поправляться. Это было настоящее чудо, которому я был обязан только начинавшемуся финляндскому предгорью. Целые дни я проводил в Шуваловском парке, где дышал озонированным воздухом финляндского леса. Может быть, молодость брала свое, но я свое исцеление приписываю только парку. Да, я приехал сюда умирающим, а через две недели почувствовал уже облегчение и первый прилив сил: пораженная верхушка легкого начала рубцеваться. Я не верил, что спокойно начинаю спать, что у меня явился аппетит, что весь мир точно изменился сразу, а главное – на душе было так хорошо и радостно. Нужно иметь свою привычку даже к здоровью, как я убедился по личному опыту. Просыпаясь утром, я задавал себе целый экзамен и упорно подыскивал какие-нибудь признаки болезни. Но их не было, кроме слабости. Аграфена Петровна ухаживала за мной, как мать, и торжествовала. Я чувствовал постоянно на себе ее пристальный взгляд, и это внимание доставляло мне удовольствие. Иногда Аграфена Петровна начинала тревожиться и производила мне свой собственный экзамен: на первом плане аппетит, потом сон, потом настроение духа.

– Все болезни бывают от огорчений, – уверяла она совершенно серьезно. – Уж это верно... Как у человека неприятность, так он и заболевает. Я это знаю по себе.

Утром, напившись парного молока, я уходил в Шуваловский парк и гулял здесь часа три, вспоминая прошлое лето и отдаваясь тем юношеским мечтам, которые несутся в голове, как весенние облачка. И жутко, и хорошо, и какая-то смутная тоска охватывает... Я вспоминал Александру Васильевну, – где-то она теперь, бедная? – мне именно казалось, что она бедная и

что я почему-то должен ее жалеть. Потом мне хотелось ее от чего-то защищать, утешить, приласкать – просто унести в какой-то неведомый край, где и светло, и хорошо, и цветут сказочные цветы, и поют удивительные птицы, и поэтически журчат фонтаны, и гуляет «девушка в белом платье», такая чудная и свежая, как только что распустившийся цветок. Нет, хорошо жить! Мысль о смерти, как грозовая туча, унеслась далеко-далеко. Да, мы будем жить, девушка в белом платье, и вы живите, и все пусть живут, и пусть все любят друг друга. Не нужно слез, горя, нужды, неправды... Это радостное и восторженное настроение нарушалось только воспоминанием о бедном Порфире Порфирыче, – я именно теперь почему-то часто думал о нем и тоже жалел бедного старика, как Александру Васильевну. Вот он уже не увидит больше ни этого солнца, ни этой небесной синевы, ни зелени, ни цветов... Мысль о смерти теперь придавала особенно интенсивную окраску всему живому. Как коротка жизнь, как мало у каждого осталось впереди дней и как нужно ими пользоваться, чтобы не прожить даром. Я мечтал с открытыми глазами, подавленный этой жаждой жизни. Повторялись прошлогодние муки творчества, и мне иногда казалось, что я начинаю сходить с ума. Меня окружала уже целая толпа моих будущих героев и героинь, которым я дам жизнь. Я их уже чувствовал и почти видел, то есть видел опять самого себя в разных положениях. Я любил всех этих женщин, я им всем говорил такие хорошие слова, я объяснял им самих себя, и они отвечали мне такими благодарными улыбками, влюбленными взглядами, – да, они будут любить меня, ловить каждое мое слово и будут счастливы.

Переложить этот бред на бумагу, конечно, не было никакой физической возможности, и я ограничивался тем, что заносил отдельные сцены, характеристики и описания в свою записную книжку. Может быть, все это было смешно, но мне доставляло громадное наслаждение быть таким смешным мечтателем. Я идеализировал встречавшихся в парке дачников и в них продолжал свои мечты. Неужели можно удовлетвориться одной своей жизнью? Нет, жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячу сердец – вот где настоящая жизнь и настоящее счастье! В порыве такого отождествления я раз машинально забрел на чужую дачу и очень сконфузился, увидев реальных людей.

Это возвышенное настроение совпадало с твердым намерением начать новую жизнь. Да, все старое кончено и никогда больше не повторится. Прощай, милая «академия», прощай, о ты, коварный друг Пепко!.. Я с ужасом припоминал последние два года, проведенные в этом милом обществе. Взять хоть прошлое пьяное лето с кутежами в «Розе» и разными дурацкими похождениями до пьяного безобразия включительно. Кончено, все кончено... Будем жить по-новому, по-другому. Я даже ни разу не прошел мимо своей прошлогодней избушки, не заглянул в «Розу», не полюбопытствовал, как живет во Втором Парголове «девушка в белом платье».

Раз я гулял в парке, занятый планом какой-то фантастической легенды, – мне было уже тесно в рамках обыкновенного существования обыкновенных смертных, – как меня окликнул знакомый голос. Я оглянулся и остолбенел: меня догонял Пепко. Он был в летнем порванном пальто и с газетой в руках, – признак недурной...

– Вася, постой...

– Пепко, ты ли это? Ведь ты живешь в Павловске?

– Как ты легкомыслен, мой друг... Кто живет в Павловске? Разжиревшая буржуазия, гнусные аристократы, бюрократы, гвардейцы, а я – мыслящий пролетариат. Представь себе, что я живу в двух шагах от тебя, – знаешь Заманиловку? Это по дороге к доброй фее... Я, брат, нынче шабаш: ни-ни. Запрещено все.

Пепко тревожно посмотрел в соседнюю аллею, где на скамейке виднелась женская фигура, и сбавил шаг.

– Я тоже шабаш, – признался я.

– Ты-то с какой стати? – укоризненно заметил Пепко и сделал неодобрительное движение головой. – Впрочем, всякий дурак по-своему с ума сходит.

Потом он остановился, трагическим жестом указал на скамью с женской фигурой и трагически проговорил:

– Видишь – скамья? Кажется, просто... На скамье сидит дама – кажется, еще проще? Да... А между тем это не скамья и не дама, а мое несчастье, моя погибель, моя могила. Да, да, да... Она, то есть дама, а не скамья, довела меня до того, что я разорвал самые священные

узы дружбы, я готов был отречься даже от своей одной доброй матери... Она стоит над моей душой и сторожит каждую мысль, – одним словом, это самое ужасное из всех рабств... Вот сейчас я разговариваю с тобой, а сам трепещу... А чего боюсь? Боюсь, голубчик, этих слез, этих немых упреков, этого вечного домашнего сыска... Я больше не принадлежу себе, как не принадлежит самой себе какая-нибудь вещь домашнего обихода. Боже мой, как я завидую тебе, то есть твоей свободе! Я когда увидел тебя, первой мыслью было броситься, догнать и сказать: «Милый, родной, беги от женщины»... О, я знаю, что такое женщина! И знаешь, что в женщинах самое ужасное: они все напоминают друг друга, как дождевые капли. Образованная Анна Петровна делает то же самое, что делала глупенькая Любочка... Она меня ревнует даже к неодушевленным предметам, к моим тайным мыслям. А самое скверное то, мой друг, что Анна Петровна – умная, развитая, хорошая женщина... О, от этой, брат, никуда не уйдешь! Она, брат, все видит... Она создаст из жизни такую пытку, что позавидовал бы сам святой отец Игнатий Лойола. Знаешь, иногда я мечтаю, – потихоньку от нее мечтаю, – отчего я не женился на Федосье? Чтобы она, Федосья, была старая и рябая, и чтобы у нее был любовник, скверный солдат, и чтобы этот скверный солдат меня бил...

– Пепко, ты по своей привычке преувеличиваешь... Вероятно, какая-нибудь самая обыкновенная семейная ссоришка.

Пепко захохотал, а потом спохватился, закрыл рот рукой и даже спрятался за меня. Потом он взял меня за руку и повел назад.

– Пусть она там злится, а я хочу быть свободным хоть на один миг. Да, всего на один миг. Кажется, самое скромное желание? Ты думаешь, она нас не видит?... О, все видит! Потом будет проникать мне в душу – понимаешь, прямо в душу. Ну, все равно... Сядем вот здесь. Я хочу себя чувствовать тем Пепкой, каким ты меня знал тогда...

Мы сели. Пепко развернул свою газету, поискал что-то глазами и расхохотался, как это с ним случалось, – расхохотался без всякой видимой причины.

– На, читай... – ткнул он мне газету, отмечая ногтем столбец.

Газета трактовала о герцеговинском восстании и что-то такое о Сербии. Я за время своей болезни отстал от печатной бумаги и никак не мог понять, что могло интересовать Пепку.

– Ты не понимаешь? – удивлялся Пепко.

– Ровно ничего не понимаю...

– А независимость Сербии? Зверства турок? Первые добровольцы? И теперь не понимаешь? Ха-ха!.. Так я тебе скажу: это мое спасение, мой последний ход... Ты видишь, вон там сидит на скамейке дама и злится, а человек, на которого она злится, возьмет да и уйдет добровольцем освобождать братьев славян от турецкого зверства. Ведь это, голубчик, целая идея... Я даже во сне вижу этих турок. Во мне просыпается наша славянская стихийная тяга на Восток...

– Ну, это будет не совсем на Восток.

– Э, не все ли равно!..

– Анна Петровна знает твои намерения?

– В том-то и дело, что ничего не знает... ха-ха!.. Хочу умереть за братьев и хоть этим искупить свои прегрешения. Да... Серьезно тебе говорю... У меня это клином засело в башку. Ты только представь себе картину: поработанная страна, с одной стороны, а с другой – наш исторический враг... Сколько там пролито русской крови, сколько положено голов, а идея все-таки не достигнута. Умереть со знаменем в руках, умереть за святое дело – да разве может быть счастье выше?

– Однако Анна Петровна...

– Вот, вот... Что мне может сказать Анна Петровна, когда я в одно прекрасное утро объявлюсь перед ней добровольцем? Ведь умные-то книжки все за меня, а тут я еще поеду корреспондентом от «Нашей газеты». Ха-ха... Ради бога, все это между нами. Величайший секрет... Я хотел сказать тебе... хотел...

Пепко как-то сразу сорвался с места и, не простившись со мной, бросился догонять уходящую Анну Петровну. Пепко был неисправим...

Славянский патриотизм Пепки мне показался для первого раза просто мальчишеской выходкой, одной из тех смешных штук, какие он любил выделять время от времени. Но вышло гораздо серьезнее. Он дня через два после нашей встречи зашел ко мне и потащил в «Розу».

– Зачем идти в трактир? – слабо протестовал я. – Напились бы чаю у меня и потолковали...

– Нет, не могу, Вася. Мне нужен этот трактирный воздух... И чтобы трактир был такой, с грязной: салфетки коробом, заржавленные, у лакеев фраки в пятнах, посуда разномастная, у буфетчика красный нос, – одним словом, полное великолепие. Да... Я ведь, кроме чая, ни-ни.

Последнему я позволил себе не поверить.

– Стакан чаю, – приказал Пепко грязному лакею и посмотрел на него таким вызывающим взглядом, точно спросил яду.

Мне доктор советовал для восстановления сил пить пиво, и стоицизм Пепки подвергался серьезному искусу. Но он выдержал свое «отчаяние» с полной бодростью духа, потому что страдал жаждой высказаться и поделиться своим настроением. На него напала временем неудержимая общительность. Прихлебывая чай, Пепко начал говорить с торопливостью человека, за которым кто-то гонится и вот-вот сейчас схватит.

– Видишь ли, Вася... я много думал... Ночи даже не сплю. В самом деле, если разобраться: какая наша жизнь? Одно сплошное свинство... Мы даже любить не умеем, а только тянем один из другого жилы... Да... Мне просто опротивело жить, есть, дышать, смотреть. Понимаешь: не хочу. Для чего я сейчас хлебаю вот это пойло? Неизвестно, а пойло негодное и ненужное. И все так... Мы всю жизнь именно делаем то, что нам не нужно. Я дошел до того, что эту ложь вижу даже в неодушевленных предметах: вот возьми хоть этот трактирный садишко – ведь деревья только притворяются деревьями, а в сущности это зеленые лакеи, которые должны прикрывать своей тенью пьяниц, влюбленные парочки и всякую остальную трактирную гадость. Понимаешь, я не верю вот этим зеленым листьям – они тоже лгут, потому что в сущности не листья, а черт знает что. Разве служающий, буфетчик, тапер – люди? Мне кажется, что и стулья притворяются стульями, столы – столами, салфетки – салфетками и что больше всех притворяюсь я, сидящий на этих стульях и утирающий свою морду этими салфетками. Ты меня понимаешь?

– Порыв раскаяния в национальном стиле. Остается только выйти куда-нибудь на Красную площадь, подняться на высокое место лобное и оттуда раскланяться на все четыре стороны: «Прости, народ православный».

– Да, да, именно. Так делал Иван Грозный, Стенька Разин, Емелька Пугачев... Это наше. Ни Мария Антуанетта, ни Луишка Сез так не делали, когда их привели к гильотине. Да, это наше... И за этим, знаешь, что стоит: мучительнейшая жажда подвига, искупления. Ведь в каждом русском человеке сидит именно такой подвижник. Я нынче читаю жития русских угодников и вижу, что они в себе воплотили нашу исконную русскую покаянно-подвижническую черту. Это стихийная сила, с которой даже невозможно считаться. Они, подвижники, тоже ушли от окружавшего их свинства и мучительным подвигом достигли желаемого просветления, то есть настоящего, того, для чего только и стоит жить. И мне надоело жить, и я тоже мучительно ищу подвига, искупления...

– Одним словом, желалось быть добровольцем?

– Да, да... Ты представь себе, что и другие тоже мучатся, как я, и тоже ищут подвига. Мы не знаем друг друга, но уже вперед делаемся братьями по душе.

– Извини, я сделаю одно замечание: большую роль в данном случае играет декоративная сторона. Каждый вперед воображает себя уже героем, который жертвует собой за любовь к ближнему, – эта мысль красиво окутывается пороховым дымом, освещается блеском выстрелов, а ухо слышит мольбы угнетенных братьев, стоны раненых, рыдания женщин и детей. Ты, вероятно, встречал охотников бегать на пожары? Тоже декоративная слабость...

– Ну, уж извини, пожалуйста. Тоже русская черта: по всякому поводу предаваться дешевенькому скептицизму. Ничего ты не понимаешь, Вася, и мне просто жаль, этак просто, по-хорошему жаль... Да, я могу ошибиться, я преувеличиваю, идеализирую, – все, что хочешь, но все-таки я переживаю известный подъем духа и делаюсь лучше.

В доказательство Пепко достал из кармана целую пачку вырезок из газет, в которых описывались всевозможные турецкие зверства над беззащитными. По свойственному Пепке деспотизму он заставил меня выслушать весь этот материал, рассортированный с величайшей аккуратностью: зверства над мужчинами, зверства над женщинами, зверства над детьми и зверства вообще. В нужных местах Пепко делал трагические паузы и вызывающе смотрел на меня, точно я только что приготовился к совершению какого-нибудь турецкого зверства.

– Вася, пойдем вместе, – закончил Пепко, бережно укладывая драгоценные материалы. – Ей-богу... А то ведь исподличаешься, очерстеешь, заржавеешь.

– Ты забываешь, что я только что начал поправляться. Кстати, что Анна Петровна?

– Пока она ничего не знает... Я ей который день читаю о зверствах. Знаешь, нужно подготовить постепенно. Только, кажется, она не из тех, которые способны признавать чужие горести. Она эгоистка, как ты и как все вы. Она, во всяком случае, не понимает моего настроения, а настроение – все.

– Еще один нескромный вопрос: что Любочка? Она перед отъездом на дачу приходила ко мне...

– Она, конечно, разыскала меня в Заманиловке и устраивает мне скандалы. Придет к даче, сядет на лавочку и сидит целый день... Знаешь, это хуже всего. Моя Анна Петровна пилит-пилит меня... А при чем же я тут?.. Могу сказать, что женщины в нравственном отношении слишком специализируются. Да и какая это нравственность...

– И вдруг ты уезжаешь добровольцем, избавляясь разом от двух бед: не будет сидеть Любочка против дачи, и не будет пилить Анна Петровна... Это недурно...

– К сожалению, ты прав... Подводная часть мужской храбрости всегда готовится у себя дома. Эти милые женщины кого угодно доведут до геройства, которому человечество потом удивляется, разиня рот. О, как я теперь ненавижу всех женщин!.. Представь себе, что у тебя жестоко болит зуб, – вот что такое женщина, с той разницей, что от зубной боли есть лекарство, больной зуб, наконец, можно выдернуть.

Пепко начал просто одолевать меня своим добровольческим настроением, и не прошло двух дней, чтоб он не тащил меня в «Розу» поделиться новыми зверствами. Дома Андрей Иванович тоже читал жене о зверствах, так что я сам готов был превратиться в башибузука. Дело дошло до того, что Пепко и Андрей Иванович соединились и принялись вместе устраивать в Шувалове какие-то герцеговинские вечера. Нужно заметить, что Аграфена Петровна относилась к Пепке как-то подозрительно и до сих пор не могла примириться с его ролью зятя. Для меня это было задачей. В последнее время Пепко начал приходить к нам, но старался не попадаться Аграфене Петровне на глаза.

– Ты ее боишься? – спросил я его однажды.

– Агриппины? О да... Недостает, чтобы еще она бросилась мне на шею. Будет. Довольно... Я презираю всех женщин.

Относительно герцеговинских вечеров Аграфена Петровна составила себе сейчас же свое собственное мнение.

– Два дурака сошлись, – коротко объяснила она. – Еще мой-то Андрей Иванович поумнее будет... Он хлопчет для Анжелики, чтобы ее на публику выставить билетершей или благотворительной продавщицей. А Пепко сам не знает, чего хочет. Удивляюсь я сестре Анюте...

Аграфена Петровна обыкновенно не договаривала, чему она удивляется, и только строго подбирала губы. Вообще это была странная женщина. Как-то ни с того ни с сего развеселится, потом так же ни с того ни с сего по-бабьи пригорюнится. К Андрею Ивановичу она относилась, как к младенцу, и даже входила в его любовные горести, когда Андрей Иванович начинал, например, ревновать Анжелику к какому-то офицеру.

– Это она тебя подвинчивает, – объясняла Аграфена Петровна. – Все женщины так делают, когда начинают сомневаться в мужчине... Значит, Анжелика дорожит тобой.

– Ты в этом уверена, Агриппина?

– Спроси кого угодно... Даже Василий Иванович понимает, а тебе-то стыдно не знать таких пустяков.

Относительно моей невинности Аграфена Петровна любила иногда прогуляться, и я чувствовал, что начинаю превращаться в младенца номер второй. В манере держать себя у нее было что-то мягкое и ласково-угнетающее, и мне это не нравилось. Еще больше мне не нравилось любопытство Аграфены Петровны. По некоторым намекам я догадался, что она читает мои письма и мои рукописи. Это уже было слишком, и я раз откровенно ей заметил, что нехорошо простираť свое любопытство так далеко. Она вся вспыхнула и отреклась от всего начисто, как отпираются иногда дети.

– За кого вы меня принимаете, Василий Иванович? – повторяла она, напрасно стараясь попасть в тон несправедливо обиженного человека. – И, наконец, какое мне дело...

– Я так, к слову...

В конце концов я сам уверился, что она права, и даже попросил извинения. Этого было достаточно, чтобы Аграфена Петровна расхохоталась и заявила:

– Читала, все читала... Не могла никак удержаться. И даже плакала над одной главой... Женское любопытство одолело. А вы сами виноваты, зачем не прячете того, чего я не должна читать. Не могу... Пойду убирать комнату, так меня и потянет взглянуть хоть одним глазком, что он такое пишет. Ах, если бы я умела писать...

– Сейчас бы Андрея Ивановича описали?

– Нет, другое...

У Аграфены Петровны явилось серьезное лицо, и она с печальной улыбкой проговорила:

– Я написала бы, что думает и чувствует одинокая женщина... Ведь все женщины в конце концов остаются одинокими. Вот вы этого-то, главного, и не понимаете, Василий Иванович...

Вместе с выздоровлением у меня явилась неудержимая потребность к творчеству. Я еще раз перебрал все свои бумаги, еще раз проверил написанное и еще раз убедился, что вся эта писаная бумага никуда не годится. Пережитая болезнь открыла мне глаза на многое, чего я раньше не понимал и не замечал. Приходилось начинать с новых опытов. Это была увлекательная работа, тем более что я уже не думал ни о редакциях, ни о публике, ни о критике, – не все ли равно, как там или здесь отнесутся к моей работе? Важно одно, именно, чтобы она до известной степени удовлетворяла самого автора и служила выражением его внутреннего человека. В этом все, а остальное пустяки. Журналы могут не печатать, публика не читать, критики разносить, – все это может быть одной случайностью, а важно только одно, именно, что у автора есть свое собственное содержание, свое я. Конечно, до известной степени он явится подражателем кого-нибудь из своих любимых авторов-предшественников, – это неизбежно, как детские болезни, – но автор начинается только там, где начинает проявлять свое я, где внесет свое новое, маленькое новое, но все-таки свое. До сих пор я дальше Ивана Ивановича и «Кошницы» не мог пойти именно потому, что только бессознательно кому-то подражал, что писал о людях понаслышке, придумывал и высиживал жизнь.

Плодом этого нового подъема моего творчества явилась небольшая повесть «Межеумок», которую я потихоньку свез в Петербург и передал в знаменитую редакцию самого влиятельного журнала. Домашняя уверенность и литературная храбрость сразу оставили меня, когда я очутился в редакционной приемной. Мне казалось, что здесь еще слышатся шаги тех знаменитостей, которые когда-то работали здесь, а нынешние знаменитости проходят вот этой же дверью, садятся на эти стулья, дышат этим же воздухом. Меня еще никогда не охватывало такое сознание собственной ничтожности... Принимал статьи высокий представительный старик с удивительно добрыми глазами. Он был так изысканно вежлив, так предупредительно внимателен, что я ушел из знаменитой редакции со спокойным сердцем.

Ответ по обычаю через две недели. Иду, имея в виду встретить того же любвеобильного старичка европейца. Увы, его не оказалось в редакции, а его место заступил какой-то улыбающийся черненький молодой человек с живыми темными глазами. Он юркнул в



соседнюю дверь, а на его место появился взъерошенный пожилой господин с выпуклыми остановившимися глазами. В его руках была моя рукопись. Он посмотрел на меня через очки и хриплым голосом проговорил:

– Мы таких вещей не принимаем...

Я вылетел из редакции бомбой, даже забыл в передней свои калоши. Это было незаслуженное оскорбление... И от кого? Я его узнал по портретам. Это был громадный литературный человек, а в его ответе для меня заключалось еще восемь лет неудач.

Неудача «Межеумка» сильно меня обескуражила, хотя я и готовился вперед ко всевозможным неудачам. Уж слишком резкий отказ, а фраза знаменитого человека несколько дней стояла у меня в ушах. Это почти смертный приговор. Вероятно, у меня был очень некрасивый вид, потому что даже Пепко заметил и с участием спросил:

– Опять обзатылили?

– Да и еще как...

Я рассказал свою «дерзость» и результаты оной, до уничтожающей фразы включительно.

– «Мы таких статей не принимаем»? – повторил Пепко ответ знаменитого человека, видимо, его смакуя. – Ну, а ты что же?

– Я? Кажется, я походил на собаку, которая хотела проникнуть в кухню и вместо кости получила палку... Вообще подлое чувство. День полного отчаяния, день отчаяния половинного, день просто сомнения в самом себе и в заключение такой вывод: он прав по своему...

– Ах ты, мякиш!

– Не, не мякиш... Я буду там печататься и добьюсь своего. Эти неудачи меня только ободряют... Немного передохну – и опять за работу...

– История первого портного? Что же, не вредно... Могу только сочувствовать. Да... У нас вон тоже неудача: кассирша сбежала. А мы с Андреем Ивановичем все-таки не унываем... да.

– Нашли занятие...

– И прекрасное занятие. Мы уже отправили триста рублей в славянский комитет. Лепта двовицы по размерам, а все-таки лепта. Если бы каждый мог внести столько.

Пепко, как известно из предыдущего, жил взрывами, переходя с сумасшедшей быстротой от одного настроения к другому. Теперь он почему-то занялся мной и моими делами. Этот прилив дружеской нежности дошел до того, что раз Пепко явился ко мне в час ночи, разбудил меня, уселся ко мне на кровать и, тяжело дыша, заговорил:

– Знаешь, я все время думаю...

– Постой, который теперь час?

– Два... то есть второй.

– Да ты с ума сошел, Пепко... Что такое случилось?

– Мне нужно серьезно поговорить с тобой о «Межеумке». Я прочитал рукопись и отправлюсь с ней в редакцию для некоторых объяснений. Видишь ли, он тебя оскорбил... Это нехорошо, очень нехорошо. Он слишком большой человек, а ты суцая литературная ничтожность. Да... Значит, он должен быть вежлив прежде всего. Это minimum... Допустим, что ты написал неудачную статью, – это еще не беда и ни для кого не обидно. Даже опытный автор может написать неудачную статью... Занятие, во всяком случае, скромное. Я приду к нему и скажу: «Милостивый государь, я вас очень люблю, уважаю и ценю, и это мне дает право прийти к вам и сказать, что мне больно, – да, больно видеть ваши отношения к начинающим авторам»... О, я ему все скажу! Я буду красноречив... Ведь он нанес тебе оскорбление.

– Послушай, ты, кажется, рехнулся?.. С какой стати ты полезешь объясняться?.. Оскорбителен был тон, – да, но ты прими во внимание, сколько тысяч рукописей ему приходится перечитывать; поневоле человек озlobится на нашего брата, неудачников. На его месте ты, вероятно, стал бы кусаться...

– Нет, нет, этого дела так нельзя оставлять. Я скажу ему несколько теплых слов.

– Редакции не обязаны мотивировать свои отказы и отвечать по существу дела: для этого не хватило бы времени. Если каждый отвергнутый автор полезет с объяснениями, когда же он

сам будет писать?.. Нет, это дело нужно оставить.

Мне стоило большого труда успокоить Пепку. Он кончил тем, что принялся ругать меня, колотил в стену кулаками и вообще проявил формальное бешенство.

– Вася, ты глуп... о, как ты глуп! С каким удовольствием я сейчас вздул бы тебя...

– Ты сядь, Пепко... Странно, что твои добрые намерения заканчиваются непременно мордобитием.

– Дерево деревянное!.. Ветчина!.. олух!..

За этим пароксизмом последовал быстрый упадок сил. Пепко сел на пол и умолк. В единственное окно моего гроба глядело уже летнее утро. Какой-то нерешительный свет бродил по дешевеньким обоям, по расщелявшемуся деревянному полу, по гробовой крышке-потолку, точно чего-то искал и не находил. Пепко сидел, презрительно мотал головой и, взглядывая на меня, еще более презрительно фыркал. Потом он достал из кармана несколько написанных листов и, бросив их мне в физиономию, проворчал:

– На, черт тебя возьми...

– Что это такое?

– А вот, читай... Целую неделю корпел. Знаешь, я открыл, наконец, секрет сделаться великим писателем. Да... И как видишь, это совсем не так трудно. Когда ты прочтешь, то сейчас же превратишься в мудреца. Посмотрим тогда, что он скажет... Ха-ха!.. Да, будем посмотреть...

Просматривая Пепкину работу, я несколько раз вопросительно смотрел на автора, – кажется, мой бедный друг серьезно тронулся. Всех листов было шесть, и у каждого свое заглавие: «Старосветские помещики», «Ермолай и Валетка», «Максим Максимыч» и т. д. Дальше следовало что-то вроде счета из ресторана: с одной стороны шли рубрики, а с другой – цифры.

– Пепко, извини, это выше моего понимания...

– Ага!.. Я взял у каждого знаменитого автора по рассказу и произвел самый точный химический анализ, вернее – анатомическое вскрытие. Вот не угодно ли: вступление – двадцать три строки, вводная сцена – сорок семь строк, описание летнего утра – семнадцать строк, вывод главного действующего лица – тридцать две строки, завязка – пятнадцать строк, размышления автора – пятьдесят девять строк, сцена действия – сто строк, описание природы, лирическое отступление, две параллельные сцены – у меня все высчитано, голубчик. И посмотри, что из этого выходит... Лист шестой: сравнительный анализ – у Гоголя столько-то строк занимают описания природы, столько-то характеристики, столько-то сцены, столько-то лирические отступления; у Лермонтова – столько-то, у Тургенева – столько-то, у Льва Толстого – столько-то. Затем сравнительный порядок, в котором расположены эти отдельные части у каждого автора, – одним словом, решительно все. Еще ни одна бестия-критик не додумался до подобного точного метода исследования, а в этом весь секрет упадка нашей критики, что уже не составляет ни для кого тайны.

– Пепко, да ведь здесь недостает только масштаба... Ты авторов меряешь аршином.

– А ты слушай: я анатомировал твоего «Межеумка» и убедился, что ты ближе всего подходишь к Гоголю. Да... Ведь это целое открытие, и тебе только остается им воспользоваться. Прежде чем писать что-нибудь, сделай сценарий: тут описание природы столько-то строк, тут выход героини, там любовная сцена, – одним словом, все как на ладони. Знаешь, я хотел высчитать, сколько каждый автор употребил имен существительных, прилагательных, глаголов, наречий, затем, сколько у него главных предложений и придаточных, многоточий, знаков восклицаний и т. д. Не хватило терпения, да и сделать это может только какой-нибудь немец. Нашелся такой подлец Карл Иванович, который высчитал, сколько раз у Цицерона встречается союз *ut* во всех его сочинениях.

Мне показалось, что Пепко серьезно рехнулся, и я в тот же день отправился к нему на дачу. Это был мой первый визит. Анна Петровна, как все молодые жены, ревновала мужа больше всего к его старым друзьям, служившим для нее олицетворением тех пороков, какими страдал муж; ведь сам он, конечно, хороший, милый, чудесный, если бы не проклятые друзья. История известная, и я до сих пор старался не отягощать Анну Петровну своим присутствием, да и роль олицетворенного порока мне не нравилась. К моему счастью, Анны

Петровны не оказалось дома, а Пепко шагал по дачному садику в гимназическом ранце. Оказалось, что ранец был набит камнями, и он вперед приучал себя к трудностям предстоявшей боевой жизни.

– Я уж теперь могу сделать пять тысяч шагов без одышки, – объяснял он. – Впрочем, зависит от питания... Ведь я уже целый месяц питаюсь солдатским пайком. Труднее всего перелезть в роще через забор...

– Это еще что такое?

– А видишь ли, забор для меня заменяет горы... Сначала я мог перелезть всего сорок раз, а сейчас уже достиг до сотни. Вот, не хочешь ли попробовать?

– Нет, благодарю. Я ведь не собираюсь поступать в герои...

Пепко огляделся, подмигнул мне и шепотом сообщил:

– Я сделал чудное открытие, Вася... Ха-ха!.. Знаешь, я раньше очень страдал... ну, в семейной жизни это случается. Seriously страдал... да. А теперь, брат, шалишь... Например, Анюта меня оскорбит... понимаешь? Мне обидно... Раньше я дня на два терял расположение духа, а теперь надену ранец – и в парк. При легких огорчениях достаточно сделать две тысячи шагов, при серьезных тысячи четыре – и все как рукой снимет. Дело в том, что нужно создать физический противовес внутренней душевной тяжести – и равновесие восстанавливается. Не правда ли, как это удобно? Анюта, например, говорит: «ты – негодяй», – это стоит двести шагов; «ты испортил мне всю жизнь», – ну, это триста пятьдесят, даже все четыреста; «ты – пьяница и умрешь под забором», – это всего пятьдесят шагов, а когда она начинает плакать, – тут уж прямо тысяча. У меня есть таблицы, где я веду строгую отчетность и даже высчитываю те ошибки, которые у астрономов подводятся под личное уравнение. У меня, братику, все по счету, ибо цифра составляет душу мира, как говорили еще пифагорейцы.

Пепко опять был мил, как ребенок, и я чувствовал, что опять начинаю его любить. В нем была эта проклятая черта русского характера, за которую можно простить человеку все... Он меня заразил даже своим славянским патриотизмом, особенно когда вспыхнуло сербское восстание. Где-то далеко-далеко рубили лес, и щепки долетали до нас... На вокзале я встретил уже несколько братушек в расшитых куртках, в каких-то шапочках и шароварах. Откуда они взялись? В газетах шел набат, – Фрей был прав. Общество было охвачено движением. Все радовались чему-то. Чувствовался подъем и мысли и чувства. Теперь, почти через двадцать лет, трудно об этом судить, но движение было, и такое хорошее движение, заражавшее всех, от гимназиста до седовласого старца.

Мы раз отправились с Аграфеной Петровной в Шувалово на вечер, устроенный Пепкой и Андреем Ивановичем уже в пользу сербов. Публики было много. На каждом шагу – возбужденные лица. У буфета кто-то кричал: живио!.. Хор любителей пел сербские песни, оркестр играл сербские мотивы. Вообще в самом воздухе стояло что-то захватывающее, возбуждающее и хорошее. Сейчас это движение осмеяно и подвергнуто беспощадной критике, а тогда было хорошо. Я даже начинал завидовать Пепке, который даже в мелочах проявлял такую кипучую деятельность. Одна Аграфена Петровна смотрела на оживленную публику грустными глазами и потихоньку вздыхала. Мне казалось, что она жалела, что не может накормить всех этих угнетенных герцеговинцев, сербов и болгар, – кормить кого-нибудь было ее слабостью. Она была слишком женщина...

– Живио! – кричал Пепко, подбегая к нам.

– Вот танцевать-то как будто нехорошо, Агафон Павлыч, – оговорила его Аграфена Петровна. – Там зверства, а вы танцуете...

Из Шувалова мы возвращались с Аграфеной Петровной вдвоем; дорога парком в летнюю теплую ночь была чудная. Я находился под впечатлением сербского вечера и еще раз завидовал Пепке. Мы шли пешком и даже немного заблудились.

– Присядемте... Я устала.

Садовая скамейка была к нашим услугам. Аграфена Петровна села и долго молчала, выводя на песке зонтиком какие-то фигуры. Через зеленую листву, точно опыленную серебристым лунным светом, глядела на нас бездонная синева ночного неба. Я замечтался и

очнулся только от тихих всхлипываний моей дамы, – она плакала с открытыми глазами, и крупные слезы падали прямо на песок.

– Аграфена Петровна, что с вами?

Заплаканные глаза смотрели на меня, а потом голова Аграфены Петровны очутилась на моем плече.

– Милый, милый, как я... я счастлива.

Когда женщина первая делает признание в любви, мужчина попадает в крайне неловкое положение. Я помню, что поцеловал ее в лоб, что потом это горячее заплаканное лицо прижалось к моему лицу, что... Прежние романисты ставили на этом пункте целую страницу точек, а я ограничусь тремя.

Что может быть хуже обмана, особенно обмана в той интимной области, где все должно освещаться искренним чувством... И я шел по этой торной дороге лжи и обмана, усыпленный первой женской лаской, первыми признаниями и поцелуями. Давно ли я обличал Пепку, а теперь делал то же, нет – гораздо хуже. Не скрою, что мне временами делалось ужасно совестно, я начинал презирать себя, но ласковый женский шепот тушил эти последние проблески. Разве вся история – не обман? И герой и нищий одинаковы, особенно когда дело касается собственности, которая сама идет к своему вору с ласками и поцелуями. И все-таки я презирал себя, молча и сосредоточенно, как иногда презирал Аграфену Петровну, Андрея Ивановича, Пепку и весь род людской вообще, точно все были виноваты моей собственной виной. Мне было обидно, что так нелепо поместились мои первые восторги; ведь я даже не любил Аграфены Петровны, а отдавался простому физическому влечению. Где же идеалы, где та светлая и чистая, которая носилась в тумане юношеских грез? Меня охватывало чувство позора и стыда.

– Вы, кажется, предаетесь угрызениям совести? – заметила однажды Аграфена Петровна с улыбкой. – Успокойтесь, мой милый... Мы с Андреем Ивановичем только играем в мужа и жену, по старой памяти.

– Тем хуже... Я-то при чем тут?

Меня удивляло ее спокойствие. Она решительно ничем не выдавала себя и оставалась такой же, какой была раньше. Я был уверен, что ее даже совесть не мучила. Она просто шла своей дорогой, полная сегодняшним днем, как это умеют делать женщины. Впрочем, должен сознаться, что трудно ее и винить: будь другой муж – и ничего бы не было. К самому себе я всегда был строг и называл вещи их собственными именами, хотя гораздо удобнее ненавидеть и прощать свои собственные пороки и недостатки, когда их находишь в других людях. До этого я еще не дошел. Да, я пил из отравленного источника и, как пьяница, хотел пить и пить без конца. К Андрею Ивановичу у меня было смешанное чувство ненависти, презрения и ревности; ведь никто так не ревнует, как любовник. Меня, конечно, главным образом волновали картины прошлого счастья Андрея Ивановича. В душу закрадывалось то подлое чувство собственности, которое из мужчины делает самца.

Пепку я старался совсем не встречать и даже избегал его. Впрочем, ему было не до меня. События разгорались. Уже весь Балканский полуостров был охвачен могучей мыслью о национальной независимости.

– Представьте себе, этот сумасшедший Пепко едет на войну, – заявила однажды Аграфена Петровна (она говорила «сумашедчий», как горничная). – Анюта прибежала ко мне...

– Неужели едет? – удивлялся я самым бессовестным образом.

– Да, да... В добровольцы поступает. И Анюта тоже сумашедчая... Как же, помилуйте, и она туда же за ним!.. И что она только нашла в нем... Удивляюсь, удивляюсь!..

Я расхохотался внутренно. Мечты Пепки хотя на время избавиться от жены рушились самым позорным образом. Жена ехала вместе с ним... Это уже входило в область комедии. То-то он в последнее время совсем глаз не показывает. Тоже есть кое-какая совесть. Ловко, Анна Петровна... Я про себя злорадствовал по адресу своего друга, точно желал выместить на нем свое собственное свинство. Я даже с нетерпением ждал случая, когда, наконец, увижу женатого добровольца. Как-то все геройство Пепки уничтожалось одним этим словом: жена. Получалась обидная нелепость идти на войну с женой. Одним словом, только Пепко мог очутиться в таком дурацком положении.

– Анюта едет фельдшерницей, – объяснила Аграфена Петровна. – Что же, оно, может, и хорошо, а притом и муж все-таки на глазах. Мало ли что на войне может случиться... Эти лупоглазые турчанки как раз изведут добра молодца.

Движимая родственным патриотизмом, Аграфена Петровна усиленно что-то шила, проявляя сестринскую любовь. Она даже раза два всплакнула над работой, так, по-бабы всплакнула, потому что и глаза на мокром месте и война – страшное слово.

Наступил день отъезда. Пепко не завернул даже проститься, а написал коротенькую записку с просьбой приехать на Варшавский вокзал.

– Что же, надо проводить, – решила Аграфена Петровна. – Все-таки родственники...

Она ходила уже целых два дня с заплаканными глазами, и, как мне казалось, ей самой нравилось это родственное горе и то, что она может поплакать на определенную тему. Кстати, она заготовила целую корзину съестного, – голодные они там, так пусть покушают.

Варшавский вокзал имел необычно оживленный вид. Зала и платформа были битком набиты. Большинство составляла провожающая публика. Все лица имели возбужденно-торжественный вид. Толпу охватило то хорошее общественное чувство, которое из будней делает праздник. И барин, и мужик, и мещанин, и купец – все точно приподнялись. Да, совершалось что-то необычно хорошее, трогательное и братское. Это было написано у всех в глазах, в движениях, в тоне голоса. Это движение впоследствии было осмеяно, а сами добровольцы сделались притчей во языцех, но это просто несправедливо, вернее сказать – дурная русская привычка обращать все в позорище. Как сейчас вижу эту разношерстную и разномастную толпу добровольцев, состоявшую главным образом из отставных солдат. Как-то странно было видеть самые обыкновенные лица, которые сделались необыкновенными. Положим, что в массе эти кучки добровольцев были плодом газетного поджиганья, патриотических речей, таких же разговоров и главным образом того, что дома уж очень тошно жилось. Но были и другие сюжеты. Я невольно полюбовался двумя братьями-добровольцами – старший с офицерской выправкой, а младший просто хороший юнец. Оба такие славные и серьезные. Их никто не провожал, и они держались в сторонке от общей волны. Трогательно было смотреть, как старший брат ухаживал за красавцем младшим. Эти знали, куда идут и зачем идут.

Я боялся за Пепку, именно боялся за его настроение, которое могло испортить общий тон. Но он оказался на высоте задачи. Ничего театрального и деланого. Я его еще никогда не видал таким простым. Немного резала глаза только зеленая веточка, пришипленная, как у всех добровольцев, к шапке. Около Пепки уже юлил какой-то доброволец из отставных солдат, заглядывавший ему в лицо и повторявший без всякого повода:

– Ах, ваше благородие, мне бы хучь одного турку прикончить... Неужто господь-батюшка не приведет?... Уж я бы... ах ты, братец ты мой...

Пепко уже успел заручиться ординарцем, и солдат таскал его вещи, суетился и повеличивал «вашим благородием». У Пепки вообще было что-то привлекающее к себе. Когда Пепко сконфузился немного при виде корзины с съестным, которую Аграфена Петровна привезла на вокзал, выручил солдат.

– Позвольте, сударыня... У нас все уйдет... Как же можно, ваше высокоблагородие. Можно сказать: дар божий. Уйдет... Тут еще, ваше высокоблагородие, одна женщина, желающая нащеп провианту.

– Какая женщина?

Притиснутая толпой, стояла наша Федосья. Она протягивала молча какой-то узелок.

– Проводить пришла, Агафон Павлыч, – виновато повторяла она, точно оправдывалась за свою смелость. – Бывало, ссорились... так уж вы того...

Растроганный этой лептой вдовицы, Пепко заключил в свои объятия Федосью и по-русски расцеловал ее из щеки в щеку. Эта ничтожная сцена произвела на всех впечатление: Аграфена Петровна отвернулась и начала сморкаться, Анна Петровна плотно сжала губы и моргала, стараясь подавить просившиеся слезы, у меня тоже сдавило горло, точно прихлынула какая-то теплая волна. Потом толпа нас разъединила, и я почувствовал, как Федосья тянет меня куда-то за рукав. Я пошел за ней. В самом дальнем уголке вокзала сидела Любочка, одетая в черное. Она казалась девочкой. Худенькое бледное личико совсем вытянулось и глядело такими трогательно-напуганными глазами.

– В сестры в милосердные записалась... – объяснила Федосья.

– Здравствуйте, Любочка... И вы на войну?

– Не знаю... Куда повезут, Василий Иваныч. Не поминайте лихом...

Пепкин солдат очутился опять около нас и куда-то потащил Любочкин багаж.

– Ты это куда поволок? – уцепилась за него Федосья.

– А как же? – удивился и обиделся солдат. – Вместих все едем... Одна компания. Значит, у их благородия супруга на манер милосердной сестры, и вот они в том же роде... Уж я потрафлю, не беспокойтесь, только бы привел господь сокрушить хучь в одном роде это самое турецкое челмо... а-ах, боже мой!..

Солдат являлся в роли той роковой судьбы, от которой не уйдешь. Любочка только опустила глаза. Я уверен, что она сейчас не думала о Пепке. Ей просто нужно было куда-нибудь поместить свое изболевшее чувство, – она тоже искала своего бабьего подвига и была так хороша своей кроткой простотой.

– И что только будет... – шептала Федосья, покачивая головой. – Откуда взялся этот проклятуший солдатишко... Люба, а ты не сумлевайся, потому как теперь не об этом следовало думать. Записалась в сестры – ну, значит, конец.

Хлопотавшие с отправкой добровольцев члены Славянского общества усаживали свою беспокойную публику в вагоны. Из залы публика хлынула на платформу. Безучастными оставались одни буфетные человеки и фрачные лакеи, – их трудно было прошибить. Пепко разыскал меня, отвел в сторону и торопливо заговорил:

– Мне давно хотелось сказать тебе, Вася... да, сказать... ах, нехорошо, Вася!.. Мне больно тебе это говорить...

– Да ты о чем?

– А ты не знаешь, о чем? Перестань... ах, нехорошо!.. Может быть, не увидимся, Вася... все равно... Одним словом, мне жаль тебя. Нельзя так... Где твои идеалы? Ты только представь себе, что это кто-нибудь другой сделал... Лучше бы уж тебе ехать вместе с нами добровольцем. Вообще скверное предисловие к той настоящей жизни, о которой мы когда-то вместе мечтали.

Я чувствовал, как вся кровь хлынула мне в голову и как все у меня завертелось пред глазами, точно кто меня ударил. Было даже это ощущение физической боли.

– Мне странно слышать это именно от тебя, Пепко... – бормотал я и неожиданно прибавил: – А ты видел Любочку?

– Да, она едет вместе с нами... Я говорил с ней. Только ты ошибаешься: это совсем другое. Тут была хоть тень чувства и увлечения, а не одно холодное свинство...

– Послушай, ты говоришь о том, чего не знаешь, и позволяешь себе слишком много... да.

Мне вдруг захотелось сказать Пепке что-нибудь такое обидное и несправедливое, но раздался уже второй звонок, и мы расстались совершенно холодно.

Помню, как я стоял в толпе чужим человеком. Обидные слезы душили меня, и в то же время мне хотелось во всем обвинить Пепку. Вот рассаженные по вагонам добровольцы запели «Спаси, господи, люди твоя», и толпа, как один человек, обнажила головы. Все были охвачены одним жутким чувством. Рядом со мной стоял купец, толстый и бородастый, и плакал какими-то детскими слезами... У меня тоже катились слезы. А знакомый с детства церковный мотив разрастался и широкой волной покрыл всю платформу, – пел стоявший рядом купец, пел официант с салфеткой подмышкой, пела Федосья... Подступала одна общая волна, которая была сильнее того пара, который должен был сейчас унести горсть добровольцев.

Трогательный момент был нарушен только Пепкиным солдатом. Он как-то кубарем выскочил без шапки из вагона и кинулся к члену Славянского общества.

– Вашескорodie, шапку украли... Что же это такое?.. Можно сказать, душу полагать готов, а они, подлецы, например, шапку... Каким же манером, я, например, в Сербию? Все в шапках, а я один оглашенный...

Солдата едва успокоили и как-то засунули обратно в вагон. Поезд тронулся, а за ним поплыл и торжественный церковный мотив...



Осенью, когда я с дачи вернулся в гостеприимные недра «Федосьиных покровов», на мое имя было получено толстое письмо с заграничным штемпелем. Это было первое заграничное письмо для меня, и я сейчас же узнал руку Пепки. Мое сердце невольно забилося, когда я разрывал конверт. Как хотите, а в молодые годы узы дружбы составляют все. Мелким почерком Пепки было написано целых пять листов.

«Белград, военный госпиталь (потихоньку от жены, которая следит за мной, как рыба за червяком, извивающимся на крючке), койка № 37. Милый, дорогой друг... Извини, что я так давно не писал тебе, то есть не писал совсем. Главной причиной этому было то, что, уезжая в Сербию, я ненавидел тебя самым благородным манером, как сорок тысяч благородных братьев, возведенные в квадрат. Да... Потом – это уж роковая черта всякой истинной дружбы – я совсем позабыл о твоём существовании. Итак, я не писал тебе и сейчас пишу только потому, что лежу в госпитале уже второй месяц и скучаю, как, вероятно, будут скучать только будущие читатели твоих будущих произведений. Потом – я ненавижу проклятых братушек и всю эту опереточную войну... Еще потом – моя любезная супруга не отходит от меня, и я ненавижу ее больше того, если бы сложить Сербию и Болгарию вместе и помножить эти прелестные страны на Герцеговину, Боснию и Черногорию. Одним словом, ты уже предчувствуешь излитие священной эссенции дружбы и с мужеством еще раненого добровольца пускаешься в чашу дружеских признаний и конфессьонов. Милый друг, представь себе самую смешную картину: раненый Пепко лежит в военном госпитале в Белграде... Он сейчас походит на одну из тех восковых фигур, какие показываются на ярмарочных балаганах, это – смешной, выцветший и захватанный руками дрянной манекен, к которому нельзя дотронуться, чтобы не нарушить семейного счастья какой-нибудь добродетельной моли. Я иногда думаю, что для полноты картины недостает только твоей раненой персоны... Вдвоем оно все-таки веселее – поругались бы хоть для развлечения. Постой, главное-то, почему я пишу тебе, я и забыл сказать – пишу сие, братику... да, пишу... Помнишь романс:

Не говори, что молодость сгубила,  
Ты ревностью истерзана моей...  
Не говори: близка моя могила,  
А ты цветка весеннего свежей.

Помнишь, еще провизор пел тогда у Наденьки? Неидет он у меня из башки вторую неделю – лежу и повторяю его про себя. Повторял, повторял, да и додумался: ведь это про меня сказано, да и про тебя тоже. Ты раскинь умом, вникни, и восчувствуешь некоторую подлую тоску... Я свое настроение скрыл даже от своей любезной супруги, которая любит ковыряться у меня в душе и, как кошка, выцарапывает самые тайные мысли. У женщин, братику, на это есть какой-то чертовский нюх... Прямо носом чувуют, где жареным пахнет. Как-то у нас в лагерях появилась одна сербочка-маркитантка... Мордашка у нее, я тебе скажу, как у котенка, и в глазенках этакая приглашающая пожарная тревога, – одним словом, фрукт. Ты знаешь мое несчастье: женщины не могут меня видеть равнодушно. Ну, и тут альте гешихте: сколько было офицеров, а она в меня влюбилась – сразу врезалась. Время военное, сегодня жив, а завтра неизвестно, – ну, я, признаюсь, немного того... Приходит она ко мне этак в палатку, рубашечка на ней в сборочках, расшитая курточка, а я ее этак за рукав и начинаю курточку расстегивать... Жметса, хихикает, а тельце у нее такое смугленькое, на верхней губе усики... Расстегиваю я эти национальные пуговики, как вдруг кто-то меня сзади бац: в самое ухо. Супружница... Табло. Побежала сейчас же к Черняеву развод просить, – ну, а он, натурально, говорит, что это не его дело и что в наказание пошлет меня в секрет на линию. Одним словом, спас меня генерал... И как же был я рад, когда так дешево отделался. Как видишь, политические события иногда зависят черт знает от чего, от каких-то серебряных пуговок... Кстати, увы! – сербочки моей уж нет – фюить! сбежала с каким-то казачьим офицером в Расею. До сих пор жаль... фруктик был правильный и все в порядке. А я разве виноват, что она сама первая мне на шею бросается, да еще в поенное время?.. Тсс... Грядет сама, и я прячу свои грешные конфессьоны, как улилка рога...»

Письмо было скомкано. Пепко, вероятно, прятал его куда-нибудь под подушку, когда показалась сама, то есть Анна Петровна. Следующий лист был написан уже другими чернилами – тоже результат семейной инквизиции. Мне очень понравился беспорядочный тон этого удивительного послания, – Пепко не думал, а гонялся за мыслями, как выпущенная в первый раз в поле молодая собака. Милый Пепко, как я его опять любил, и он опять был весь на этих смятых исписанных листах. Он вежливо предоставлял мне право восстанавливать связь между отдельными частями его письма и отыскивать смысл. Следующий лист начинался так:

«Извини за невольный перерыв: семейное счастье всегда идет скачками... Возвращаюсь к прерванному повествованию. Позволь сначала отрекомендоваться: я – герой, я делал всеобщую историю, пролитая мною кровь послужит Иловайскому материалом для самоновейшей истории, я – ординарец при генерале Черняеве, я, то есть моя персона, покрыта ранами (жаль, что милые турки ранили меня довольно невежливо, ибо я не могу даже показать публике своих почетных шрамов и рубцов), наконец, я в скором времени кавалер сербского ордена Такова... И вдруг герой, то есть я, влопался в gross скандал с сербочкой, и моя супруга сжила бы меня со свету, если бы не любезность милых турок. Между нами, братику: все эти братушки решительно дрянь, а в турок я влюблен. Чудный народ... И, знаешь, я решил, что остаюсь в Турции. Да, остаюсь, и со временем натурализируюсь, как делают немцы. Чудный народ, одним словом, и я влюблен в каждого турка. Сколько в них природного благородства, храбрости, вежливости – просто даже обидно за свое холуйство. Представь себе, что у них нет самых величайших наших зол, как пьянство и проституция... Затем у них нет старых дев. Я презираю нашу фальшивую цивилизацию и сделаюсь турком. Феска очень идет к моей фотографии... Раз на рекогносцировке я попал в турецкую деревушку, захожу в один дом, чтобы выпить, – вижу, сидит на полу на ковре старый-старый турок с седой длинной бородой и читает коран. Вся деревня бежала, а старик остался. Никогда не забуду, как он посмотрел на меня... Мне вдруг сделалось стыдно. Я прочитал в его глазах глубокое и справедливое презрение к моей персоне, к моему военному мундиру, к выражению лица, к торопливым движениям. Старик не боялся смерти, и я походил на собаку, которая неожиданно наскочила на волка и поджала хвост. Кстати, этого старика потом нашли убитым, и кто бы, ты думал, убил его? Помнишь солдата-добровольца, который при нашем отъезде из Петербурга устроил скандал с шапкой? Он его и убил... Впоследствии сам мне сознался. Впрочем, я забегаю вперед. Начинаю с начала. Как я уже писал выше, после скандала с сербочкой Черняев отправил меня на линию. Я давно вызывался в охотничью команду, ну, и получил. С позиции нас отправили в секрет человек пять. Хорошо. Со мной был и тот солдат, который скандалил из-за шапки. Засели мы в кукурузе на две ночи. Трудно это здоровому человеку вылежать двое суток без признаков жизни, а тут еще и курить нельзя. Начался холодище, зуб на зуб не попадает. Сидели-сидели, тощица... Я даже рассердился: какая это война? Так, черт знает что такое... Только тут я понял, как-то всем телом понял, какая колоссальная бессмыслица эта война. Только и развлечения, что смотришь, как снаряды над головой летают. Тррах-тррах!.. Кто-то кого-то желает уничтожить, одним словом. И представь себе, какая бессмыслица: ведь я их люблю, этих милых турок, а они в меня палят... Сначала я трусил, а потом надоело бояться – очень уж скучно было сидеть в этой проклятой кукурузе. И потом этикие жалобные мысли в башку лезут... А вдруг убьют? Даже этак вперед жалеешь самого себя: а там родина, родной угол, одна добрая мать – всего надумаешься. Вообще не советую тебе, братику, поступать в герои, потому что это, во-первых, во-вторых и в-третьих, скучно... Посадят в кукурузу – и сиди дураком. А между тем нужно, кому-нибудь сидеть нужно, чтобы кто-то кого-то убивал... И какое это геройство: прячешься, как заяц в капусте. Меня утешал только мой солдат, который трусил еще больше меня... Вот он тут мне и признался про турка, которого убил. Было это ночью. Сидим и дремлем. Солдат как схватит меня за руку: „Ваше благородие, ён...“ – „Кто он?“ – спрашиваю, а у самого мороз по коже. – „Да тот, седой турок, которого я тогда изничтожил... Вот сейчас провалиться: в кукурузе прошел и этак меня перстом поманил. Ох, не к добру это, ваше благородие!“ Я его обругал, а потом оказалось, что солдат был прав. Утром турецкие аванпосты выдвинулись, началась перестрелка; братушки, конечно, бежали, как зайцы, а мы были обойдены левым флангом. Даже бежать было некуда... Нас выручила разорвавшаяся над нашими головами шрапнель: мой солдат был убит наповал, а я очнулся только в госпитале. Видишь, как скучно делается всемирная история: не будь серебряных пуговок у сербочки, не сидел бы я два дня героем в кукурузе и не был бы ранен шальной шрапнелью. А затем не лежал бы я в лазарете и не пришел бы к печальному выводу, что – увы! – молодость прошла... Меня это открытие сильно озадачило, и я...»

Дальше следовал перерыв, а продолжение написано на новой бумаге и новыми чернилами.

«Братику, мне кажется, что я никогда не кончу своего письма – в самый интересный момент ворвалась моя дражайшая... Ох, как я ненавижу всех женщин, начиная с праматери Евы, благодаря маленькой любезности которой появился весь род людской. Да, я ненавижу, потому что женщины всегда мешали мне в самый интересный момент. Милый братику, думал ли ты о старости? О, она теперь сидит у моего изголовья и любит новую жертвой... Братику, миленький, мне страшно, когда я думаю о старости. Где рой тех чудных красавиц, которые должны были целовать меня? где те виллы, в которых я должен был жить? где те подвиги, которые передали бы мое имя благодарному потомству? Червь, ничтожество, эссенция праха... Я и раньше частенько задумывался над этим, говорил на эту тему, но впереди все-таки оставалось что-то вроде слабой надежды, а сейчас я чувствую всей своей грешной плотью, что ничего не будет и что остается только скромно тянуть до благополучного отбытия в небытие... Боже мой, где же вы, молодые грезы? где мечты о счастье? где ты, молодая дерзость?.. Я лежу на своей койке № 37 и жалею себя... Да, жалею себя и тебя тоже жалею. Кто-то другой взял все лучшее в жизни, этого другого любили те красавицы, о которых мы мечтали в бессонные ночи, другой пил полной чашей от радости жизни, наслаждался чудесами святого искусства, – я ненавижу этого другого, потому что всю молодость просидел в кукурузе... У меня сейчас слезы на глазах, милый, и мне стыдно их, стыдно, и хочется, чтобы ты пожалел меня. Я часто думал о тебе, даже там, когда сидел в кукурузе, составил новую теорию словесности. Жаль, что не было с собой карандаша и бумаги, а то я осчастливил бы человечество. Да... И вот к такому человеку подкралась злодейка старость, и я чувствую ее холодное дыхание. Отдайте мне мои двадцать лет, отдайте мою молодость, мои мечты, мое веселье... Я ведь еще даже не начинал жить и страстно хочу жить – жить не своей одной жизнью, а тысячью других жизней, любить, плакать и смеяться. Знаешь, кто мне это говорил? Любочка... Кстати... да... гм... Она потихоньку приходит ко мне в госпиталь, присядет на кровать и смотрит – не глазами смотрит, а вся смотрит. Лицо у нее бледное, строгое, глубокое... И как она умеет любить! Недавно сидела-сидела, легонько вздохнула и говорит: „А вы пожалеете, Агафон Павлыч, что тогда оттолкнули меня... Дело прошлое, я уж теперь перемучилась, а все-таки пожалеете“. И сказала правду, братику... Ты испытал чувство ненависти? Я ненавижу свою жену... Ненавижу ее голос, походку, самоуверенную улыбку, порядочность – все, все, все. Хуже: я ее боюсь!.. Это последняя степень мужского падения. О, отдайте мне мои двадцать лет... Чувствую, что никогда не кончу, а поэтому лобзаю тебя, мой товарищ по несчастью, – и твоя юность тоже сделалась достоянием всепожирающего времени. Твой друг и кавалер ордена Такова – Пепко».

В постскриптуме стояла лаконическая фраза:

«Приезжай в Белград, и перейдем в турки, – это единственный исход из нашей бесшабашной жизни».

Письмо Пепки для меня было ударом. Да, он был прав, милый Пепко... Не молодость прошла, а юность, и особенно скверно прошла она для меня. Пепко по крайней мере утешался тем, что не было еще женщины, которая отнеслась бы к нему равнодушно, мог, наконец, ненавидеть женщин, причинявших ему столько неприятностей, а я даже не мог сказать и этого. Моя жизнь складывалась уже совсем кисло. Даже своим романом с Аграфеной Петровной я не мог похвастаться, потому что она во мне любила не меня даже, а собственное неудовлетворенное чувство. Я это отлично понимал. Сама по себе она была очень хорошая женщина, с здоровыми инстинктами и честная – не головной честностью, а по натуре. В ней была только одна порабащивающая черта – это та женская покорность, которая делает из мужчины раба. Ей никогда и ничего не было нужно, она ничего не требовала и была счастлива сознанием, что ее тоже любят – так, немножко, а все-таки любят. Меня эта покорность часто возмущала. Потом, у нас не было будущего, и мы о нем никогда не говорили, как не говорят в присутствии труднობольного о смерти. А самое ужасное – над нами висел дрянной обман. Вообще положение было самое скверное, особенно принимая во внимание, что в него отлилась моя юность. Письмо Пепки только иллюстрировало эту скверность. Я его разорвал в клочья, как собственный обвинительный акт, и пролежал на своей кушетке в молчаливом отчаянии целый день.

– Молодость прошла – отлично... – злобно повторял я про себя. – Значит, она никому не нужна; значит, выпал скверный номер; значит, вообще наплевать. Пусть другие живут, наслаждаются, радуются... Черт с ними, с этими другими. Все равно и жирный король и тощий нищий в конце концов сделаются достоянием господ червей, как сказал Шекспир, а в том числе и другие.

Мрачные мысли Пепки ответили на то настроение, которое я скрывал от самого себя. Мне было и обидно и больно, и в то же время я не мог не согласиться с Пепкой. Да, мой друг был прав, тысячу раз прав, хотя от этой правды ни ему, ни мне и не было легче. Приходилось ставить крест на грустный опыт первых двадцати пяти лет, вернее – на последние семь-восемь годов. Вместо жизни получался неясный призрак, что-то вроде тех китайских теней, какие показывают детям. Где же настоящая жизнь? когда она наступит? Боже мой, ведь ни один день не вернется... Как отлично понимал я обуревавшую Пепку жажду жизни – я страдал еще сильнее.

Итак, я лежал у себя на кушетке и предавался самому отчаянному самоедству. Не хотелось ничего делать, читать, работать, двигаться, просто смотреть. На улице трещали экипажи, с Невы доносились свистки пароходов: это другой торопился по своим счастливым делам, другой ехал куда-то мимо, одни «Федосьины покровы» незыблемо оставались на месте, а я сидел в них и точил самого себя, как могильный червь. Меня не интересовало больше, кто живет за перегородкой рядом, где жил «черкес», кто другие жильцы, – не все ли равно? Федосья держалась со мной как-то странно. Она, конечно, пронюхала про мои отношения к Аграфене Петровне и делала благочестивое лицо, когда та изредка приходила навестить меня.

– Ну, уж... – говорила Федосья, оставляя весь свет в неизвестности, что она хотела сказать этими словами.

Аграфена Петровна из женской деликатности всегда являлась под каким-нибудь предлогом, одним из которых были письма от сестры Анюты из Сербии.

– А ведь он совсем порядочный, ваш Пепко, – удивлялась Аграфена Петровна, перечитывая мне вслух письма сестры. – Кто бы мог ожидать... Анюта совершенно счастлива. Глупая она, хоть и образованная. Нашла в кого влюбиться... Удивляюсь я этим образованным девицам, как они ничего не понимают.

К другим Аграфена Петровна относилась, как все женщины, очень строго, забывая свой собственный грустный опыт. Меня больше всего интересовала политика Анны Петровны, не желавшей даже сестре выдать свои семейные тайны. Я, конечно, молчал, оставляя Аграфену Петровну в счастливой уверенности, что все обстоит благополучно. Вероятно, и Аграфена Петровна писала про себя сестре то же самое. В сущности говоря, сестры обманывали друг друга самым трогательным образом. Я был невольным свидетелем этого обмана и думал, что

ведь самое счастье не есть ли обман? И как немного нужно этого обмана, чтобы человек почувствовал себя счастливым...

Для меня лично эти «счастливые» письма Анны Петровны имели специально дурные последствия. Дело в том, что после каждого такого письма Аграфена Петровна испытывала известный упадок духа, потихоньку вздыхала и поднимала разные грустные темы.

– Удивительно это, Василий Иванович, отчего одним счастье, а другим так, сумерки какие-то, – говорила она задумчиво. – Ну, подумайте, за что?

– Право, не знаю, – отвечал я совершенно серьезно.

– И что обидно: это ни от кого не зависит... Будь ты хоть разумница, будь красавица, принцесса, королевская дочь – все равно...

– Ведь и мужчины то же самое.

– Нет, мужчины совсем наоборот... Взять вот хоть вас. Вот сейчас сидим мы с вами, разговариваем, а где-нибудь растет девушка, которую вы полюбите, и женитесь, заведете деток... Я это к слову говорю, а не из ревности. Я даже рада буду вашему счастью... Дай бог всего хорошего и вам и вашей девушке. А под окошечком у вас все-таки пройду...

– Аграфена Петровна, как это вам хочется говорить глупости...

– Нет, в самом деле пройду... У вас будет огонек гореть, а я по тротуару и пройду. Вам-то хорошо, а я... Что же, у всякого своя судьба, и я буду рада, что вы счастливы. Может быть, когда-нибудь и меня вспомните в такой вечерок. Жена-то, конечно, ничего не знает – молодые ничего не понимают, а у вас свои мысли в голове.

У Аграфены Петровны появлялись даже слезы на глазах от этих чувствительных размышлений, и она вперед ревновала меня к своей неизвестной счастливой сопернице.

– Ежели разобрать, так что я для вас, Василий Иванович? Так, игрушка... Мало ли нашего брата, дур-баб. А оно все-таки как-то обидно... И ваше дело молодое, жить захотите... да. Оно уж все так на свете делается... Скучно вам со мной, ведь я вижу.

Меня убивали не эти разговоры, а то, как Аграфена Петровна смотрела на меня, – так смотрят только на дорогих покойников. Удивительно, сколько может передать такой взгляд... И слов никаких не нужно, да и слов-то таких нет. От таких чувствительных разговоров у меня делалось ужасно скверно на душе, до того скверно, что и не расскажешь. Да, скверно... И вместе с тем являлась вперед какая-то жалость вот к этой самой Аграфене Петровне. Ведь в самом деле она пойдет под окошечком, а я буду сидеть и думать о ней. Ко всем этим приятным вещам нужно прибавить еще мужа Аграфены Петровны, который в течение лета совсем сжился со мной и во время приступов откровенности блудного мужа поверял мне свои тайны. Сначала я его презирал, потом ревновал и, наконец, начал смотреть на него, как на своего alter ego. В нем жила эта неуловимая жажда разнообразия, удовлетворявшаяся маленьким настоящим. Я заметил, что он прежде всего идеализировал тех женщин, за которыми ухаживал, – ведь и герцогини так же устроены.

– Вы рассмотрите-ка под микроскопом каждую женщину и найдите разницу, – предлагал он. – Эту разницу мы любим только в себе, в своих ощущениях, и счастливы, если данный номер вызывает в нас эти эмоции. В нас – все, а женщины – случайность, вернее – маленькая подробность... Почему нам нравится, когда в наших руках сладко трепещет молодое женское тело, а глаза смотрят испуганно и доверчиво? Мы хотим пережить сами этот сладкий испуг пробудившейся страсти, эти первые восторги, эту доверчивость к неизведанной силе...

Мне приходилось еще в первый раз встречать развратника *pur sang*,<sup>[26]</sup> и меня радовало, что я сам не такой и не буду таким. Ах, я мог делать ошибки, глупости, но никогда не дойду до того, чтобы наслаждаться «трепетом молодого женского тела», – одна терминология чего стоит! Я еще мог любить в женщине человека, а не одну самку. Откровенные беседы с этим откровенным мужем поднимали меня в собственном мнении. Это было какое-то отречение человечества... Ничто живое уже не могло поднять душу. О нет, я не такой! С другой стороны, являлась мысль, что ведь и он, этот заматавшийся петербургский чиновник, родился тоже не таким, а дошел до своего настоящего длинным путем и что я, повидимому, иду именно по этому пути. Вот тут и выплывал вопрос об alter ego.

Раз мы сидели в трактире, и он задумчиво спросил:

– Вам сколько лет?

– Двадцать пять...

– О, еще успеете все пройти.

Он так гадко засмеялся, точно радовался, что отыскал во мне родственные черты. Неужели я буду когда-нибудь таким? Уж лучше тогда умереть...

В общем я проходил тяжелый житейский опыт и не пожелал бы его никому другому. Письмо Пепки только рельефнее объяснило мне ту степень, до какой я дошел. Мое отчаяние было вполне понятно.

Теперь я выходил из дому только по вечерам и любил долго бродить по улицам. Обычно я уходил с своей ненавистной Петербургской стороны в город. Сколько здесь было богатых домов, какие великолепные экипажи неслись мимо, и я наслаждался собственным ничтожеством, останавливаясь перед окнами богатых магазинов, у ярко освещенных подъездов, в местах, где скоплялась глазеющая праздная публика. Времени у меня было достаточно, и я бродил до мертвой усталости, а потом отправлялся в трактир Агапыча, где заседали остававшиеся члены распадавшейся «академии». Здесь все было по-старому. Я возненавидел трактир, трактирных завсегдатаев и все, что носило на себе проклятую печать трактира.

– Где это вы пропадаете? – спросил меня раз Фрей, остававшийся на своем посту.

– А так... Сам не умею хорошенько сказать. Скучно...

Фрей издал неопределенный звук, засосал свою трубочку и не стал больше расспрашивать. У него было достаточно своей собственной работы. Хроника падала. Публика рвала нарасхват только известия с театра войны, относясь ко всему остальному совершенно равнодушно. Да и что могла интересного дать наша русская жизнь? Заседания ученых обществ, пожары, убийства и только на закуску какой-нибудь крупный скандал, вроде расхищения банковской кассы. Да и самые скандалы скоро приелись, потому что устраивались по общему шаблону. Одним словом, мат... Фрей предчувствовал, что дело пойдет дальше и не ограничится одной сербской войной.

Меня лично теперь ничто не интересовало. Война так война... Что же из этого? В сущности это была громадная комедия, в которой стороны совершенно не понимали друг друга. Наживался один юркий газетчик – неужели для этого стоило воевать? Мной вообще овладел пессимизм, и пессимизм нехороший, потому что он развивался на подкладке личных неудач. Я думал только о себе и этой меркой мерял все остальное.

Не знаю почему, но это бродяжничество по улицам меня успокаивало, и я возвращался домой с аппетитом жизни, – есть желание жить, как есть желание питаться. Меня начинало пугать развивавшаяся старческая апатия – это уже была смерть заживо. Глядя на других, я начинал точно приходиться в себя. Являлось то, что называется самочувствием. Выздоровливающие хорошо знают этот переход от апатии к самочувствию и аппетиту жизни.

Репортерская работа шла своим чередом и почти совсем меня не интересовала, как всякое ремесло. Я уже пережил острый период первых опытов, когда волновала каждая печатная строчка. Точно так же я относился к сотрудничеству у Ивана Ивановича: написал рассказ, получил деньги, – и конец. Наше недоразумение, вызванное романом, давно было забыто. Одним словом, я шаг за шагом превращался в настоящую газетную крысу и под руководством такого фанатика, как Фрей, вероятно, сделался бы хроникером. Я уже входил во вкус беспорядочной газетной работы и, главное, начинал чувствовать себя дома, – это большое чувство в каждой профессии.

Мое стремление к большой литературе на время как-то совсем заглохло. Я старался даже не думать об этом больном месте. Целый ворох рукописей лежал одной связкой в уголке, и я не решался к ним прикоснуться, как больной боится разбередить свою рану. Получалось что-то вроде литературной летаргии. К прежнему репертуару заражавших меня чувств прибавилась озлобленность неудачника. И тут были другие, не только составлявшие себе к двадцати пяти годам имя, но уже умиравшие, свершив в литературе все земное. Я, конечно, знал наперечет всех настоящих русских беллетристов и особенно следил за начинающей фракцией. Относительно последних я проявлял положительное зверство, третируя их, как мальчишек и выскочек. Если бы представить схему моих мыслей и разговоров на эту тему, получалось бы следующее.

Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Лев Толстой... Лев Толстой, Достоевский, Гончаров, Тургенев, Гоголь, Лермонтов, Пушкин.

Этим синодиком все исчерпывалось, а остальное шло на затычку... Для окончательного растерзания нового автора я имел два самых страшных слова: Белинский и Добролюбов. Тут уж конец всему начинающему, и я злобно торжествовал. Ну-тка, вы, нынешние, попробуйте перелезть через этот забор? Лучше и не пробуйте, господа, потому что Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Лев Толстой все сказали, не оставив вам даже объедков. Я злился и торжествовал, изливая накопившийся яд систематического неудачника на своих воображаемых конкурентов. Впрочем, себя я выделял на особую полочку и верил, что, сложись обстоятельства чуть-чуть иначе, из меня выработался бы настоящий автор. Да-с, настоящий... Я вошел во вкус этого всеуничтожающего настроения и даже начинал подумывать, не кроется ли во мне таланта литературного критика, просто злобного, а может быть, даже и мертвозлобного. Уж я бы задал всей этой мелюзге, да и из признанных корифеев повывергал бы красное перо. Конечно, это нужно сделать складно, а не так, как делал увлекавшийся Писарев. Черт с ней, с беллетристикой, лучше самому взять палку, чем подставлять спину. Да и прием готов вперед: все эти начинающие мерзавцы...

Итак, я лежал и злобствовал. Занятия в университете были брошены, да и раньше я относился к ним спустя рукава. Сейчас я посвящал себя служению родной литературе в окончательной форме. Если не выйдет беллетрист, то наверно уж получится критик, в достаточной мере злобный. В видах приготовления к этому ответственному посту я серьезно занялся пробелами своего образования, причем открыл целые пропасти самого возмутительного неведения. В сущности, говоря между нами, я не знал основательно ничего, а только бросался на все, хватал вершки, усваивал с грехом пополам терминологию, кое-какие теоремы и летел дальше. Это были жалкие лохмотья знания, а критику сие не полагается. Я записался в две библиотеки, натащил самых мудреных книг и углубился в бездну знания. Это было что-то вроде запоя. Книги читались систематически, со множеством выписок, чтобы впоследствии блеснуть эрудицией! Французы это называют брать быка за рога...

Раз утром я был особенно злобно настроен. Начинались уже заморозки. Единственное окно моей комнаты отпотело. Чувствовалась болотная сырость, заползавшая сквозь ветхие, прогнившие насквозь стены. Комната имела при таком освещении очень некрасивый вид, и невольно являлась мысль, что ведь есть же в Петербурге хорошие, светлые, сухие и теплые комнаты. Да, есть, как есть несколько миллионов светлых больших окон, за которыми сидят эти другие... Я серьезно раздумался на эту благодарную тему и даже чувствовал какое-то приятное ожесточение: и живите в светлых, высоких, теплых и сухих комнатах, смотрите в большие светлые окна, а я буду отсиживаться в своей конуре, как цепная собака, которая когда-нибудь да сорвется с своей цепи.

– Попов, вас спрашивает какой-то жандарм... – прервала мои размышления Федосья, ворвавшаяся в комнату с побелевшим лицом.

– Какой жандарм?

– Какие бывают жандармы: синий...

Я отворил дверь и пригласил «синего» жандарма войти, – это был Пепко в синем сербском мундире. Со страху Федосья видела только один синий цвет, а не разобрала, что

Пепко был не в мундире русского покроя, а в сербской куцой курточке. Можно себе представить ее удивление, когда жандарм бросился ко мне на шею и принялся горячо целовать, а потом проделал то же самое с ней.

– Ох, Агафон Павлыч, вот напугал-то... А я как взглянула, так и обомлела: весь синий... жандарм...

– О женщина, ты видишь перед собой героя, – заявлял немного сконфуженный этой маленькой комедией Пепко. – Жалею, что не могу тебе представить в виде доказательства свои раны... Да, настоящий герой, хотя и синий.

Федосья прислонилась к косяку и заплакала. Она еще раньше оплакивала много раз героизм Пепки, особенно когда Аграфена Петровна читала ей письма сестры, а теперь Пепко стоял перед ней цел и невредим. Меня, признаться, эта вступительная сцена рассмешила до слез. Злейший враг не мог бы придумать Пепке более скверного эффекта, какой устроила Федосья в простоте сердца. Ведь он целую дорогу лелеял мысль о том, как явится в «Федосьины покровы» в своем добровольческом мундире. И вдруг все попорчено испугавшейся глупой бабой... Он в смущении отстегнул свою боевую саблю и повесил на гвоздь, на котором раньше висела гитара.

– Моя старшая дочь будет с гордостью указывать на нее своим детям, – объяснил он совершенно серьезно.

– Le sabre de mon pere?<sup>[27]</sup> – съязвил я. – Кстати, разве у тебя в виду имеется приращение семейства?

– Ну, до этого мы еще не дошли с Анной Петровной, но теоретически у всякого индивидуума в интересах продолжения вида должна быть старшая дочь... Я даже люблю эту теоретическую старшую дочь.

Пепко расстегнул свою военную курточку, сел на стул, как-то особенно широко расставив ноги, и сделал паузу, ожидая от меня знаков восторга. Увы! он их не дождался, а даже, наоборот, почувствовал, что мы сейчас были гораздо дальше друг от друга, чем до его отъезда в Сербию. Достаточно сказать, что я даже не ответил ему на его белградское письмо. Вид у него был прежний, с заметной военной выправкой, – он точно постоянно хотел сделать налево кругом. Подстриженные усы придавали вид сторожа при клинике.

Пока Анна Петровна поселилась у сестры, а Пепко остался у меня. Очевидно, это было последствие какой-нибудь дорожной размолвки, которую оба тщательно скрывали. Пепко повесил свою амуницию на стенку, облекся в один из моих костюмов и предался сладкому ничегонеделанию. Он по целым дням валялся на кровати и говорил в пространство.

– Как ты глуп, господин Василий Попов, – ораторствовал он, болтая ногами. – Да, глуп, ибо не понимаешь величайшего счастья быть самим собой и только самим собой. Дорого бы я дал за собственную свободу, чтоб опять поселиться в этой дыре и опять мыслить и страдать. Сладчайший ширазский шейх Саади, нет – персидский Гейне, Гафиз, сказал: «назначен птице лес, пустыня льву, духан Гафизу», а нам с тобой «Федосьины покровы». Ты не понимаешь собственного счастья, как здоровый не ценит своего здоровья, а между тем именно такая комната – идеал для всякого будущего знаменитого человека... Не в чертогах, не в виллах и палатах задумывались великие мысли, а вот в таких язвилах и тараканьих щелях. Тебя давит потолок – мечтай о высоких палатах; тебе мало свету – воображай залитую солнцем страну; тебя пробирает цыганская дрожь – лети на благословенный юг; ты заключен в четырех стенах, как мышь в мышеловке, – мечтай о свободе, и так далее. Только голодный мечтает об изысканных кушаньях, а пресыщенный богач отвертывается от них в бессильной ярости. Кажется, я выражаюсь достаточно ясно? Это, милый мой идиот, величайший из законов, закон контрастов; на нем выстроен весь наш многогрешный мир, а не на трех китах, как думает достопочтенная Федосья.

– Ну, а когда ты в турка будешь превращаться?

– Это дело серьезное, братику... Сперва-наперво я съезжу в Сибирь повидаться с одной доброй матерью, потом разведусь с женой и потом уже сделаюсь правоверным.

– Да ведь для этого нужны деньги?

– Деньги будут... Это вздор. Устрою приличный гаремец, – я не выношу одиночества. Гораздо приличнее, когда четыре жены... Там я буду чувствовать себя господином, а не



стреноженным мужем своей жены. Да-с... И женщина на Востоке, несмотря на кажущееся рабство, в тысячу раз счастливее. Возьмем хоть нашу Федосью... Я покупаю, например, ее на невольничьем рынке за несколько лир. Хорошо. Сейчас полагается ей соответствующий костюм, харч и почетная должность главной надзирательницы моего гарема. Целый министерский пост, и ее жизнь полна. Здесь она только прозябала, а там будет чувствовать себя человеком. Ты, конечно, тоже пойдешь в правоверные?

– Нет... я, кажется, сделаюсь критиком.

– Э, братику, стара штука. Ты эту мысль у меня украл... да.

– Ну, уж извини, пожалуйста... Своим умом дошел.

– А я раньше тебя об этом думал и могу представить тебе письменные тому доказательства. Положим, что я тщательно скрывал это...

– Ты, кажется, вообще намерен скрыть от публики все свои таланты.

– Нет, кроме шуток, ей-богу, думал запузыривать по критике. Ведь это очень легко... Это не то, что самому писать, а только ругай направо и налево. И потом: власть, братику, а у меня деспотический характер. Автор-то помалчивает да почесывается, а я его накаливаю, я его накаливаю...

– А если тебя самого примется накаливать другой критик?

– Голубчик, да ведь это и есть хлеб насущный: и я ему не пирогами буду откладывать, а пропишу такую вселенскую смазь, что благосклонный читатель только ахнет. Я даже сам буду себя ругать, конечно, под другим псевдонимом, а публике и любопытно посмотреть, как два критика друг друга за волосы таскают и в морду друг другу плюют. Зрелище весьма поучительное... Да, думал, да раздумал. Не стоит... Хочу кончить дни своего странствия турецким джентльменом. Теперь много англичан переходят в турий... Ты только представь себе этакого пашу, Пепко-паша, эффенди Пепко – и фамилия готова...

Меня возмущало, что Пепко говорил глупости серьезным тоном. А в сущности он занят был совершенно другим. Отдохнув с неделю, он засел готовиться на кандидата прав. Юридическими науками он занимался и раньше, во время своих кочевок с одного факультета на другой, и теперь принялся восстанавливать приобретенные когда-то знания. У него была удивительно счастливая память, а потом дьявольское терпение.

– К рождеству я отваяю всю юриспруденцию, – коротко объяснил он мне. – Я двух зайцев ловлю: во-первых, получаю кандидатский диплом, а во-вторых – избавляюсь на целых три месяца от семейной неволи... Под предлогом подготовки к экзамену я опять буду жить с тобой, и да будете благословенны вы, Федосьины покровы. Под вашей сенью я упыюсь сладким медом науки...

С войны Пепко вывез целый словарь пышных восточных сравнений и любил теперь употреблять их к месту и не к месту. Углубившись в права, Пепко решительно позабыл целый мир и с утра до ночи зубрил, наполняя воздух цитатами, статьями закона, датами, ссылками, распространенными толкованиями и определениями. Получалось что-то вроде мельницы, беспощадно моловшей булыжник и зерно науки. Он приводил меня в отчаяние своим зубрением.

Действительно, к рождеству все было кончено, и Пепко получил кандидата прав. Вернувшись с экзамена, он швырнул все учебники и заявил:

– Я еще никогда не был в таком глупом положении, как сейчас... У меня и морда сделалась глупа.

Только вынесши этот искуc, Пепко отправился в трактир Агапыча и пьянствовал без просыпа три дня и три ночи, пока не очутился в участке. Он был последователен... Анна Петровна обвинила, конечно, меня, что я развращаю ее мужа. Из-за этого даже возникло некоторое крупное недоразумение между сестрами, потому что Аграфена Петровна обвиняла Пепку как раз в том же по отношению ко мне.

В течение всего времени, как Пепко жил у меня по возвращении из Сербии, у нас не было сказано ни одного слова о его белградском письме. Мы точно боялись заключавшейся в нем печальной правды, вернее – боялись затронуть вопрос о глупо потраченной юности. Вместе с тем и Пепке и мне очень хотелось поговорить на эту тему, и в то же время оба сдерживались и откладывали день за днем, как это делают хронические больные, которые откладывают визит к доктору, чтобы хоть еще немного оттянуть роковой диагноз.

– Какую величайшую глупость я сделал! – в отчаянии заявил Пепко, когда проснулся после трехдневного кутежа в моей комнате.

– Кажется, это не должно бы тебя удивлять.

– Нет, серьезно, Вася.

Пепко сел на кровати, покрутил головой и начал думать вслух:

– Я, говоря между нами, сваял дурака... да. На кой черт я сдавал на кандидата прав? Ну, на что мне это кандидатство?.. Все юридические науки основаны на определении прав сильного; все законы написаны победителями и насильниками, чтобы не затруднять себя приисканием какой-нибудь формулировки для каждой новой несправедливости. Поэтому лучшими юристами навсегда останутся римляне, как первостатейные хищники. Потом писал законы феодал, военный диктатор, крепостник, а впоследствии будет писать капитал, в котором рафинировались все виды рабства. Он, биржевик, потребует санкционирования этих прав, своего рода канонизации, и будет прав, потому что все остальные права основаны на том же единственном праве – праве сильного.

– Чем же, наконец, ты хотел бы быть?

– Профессором монгольских наречий... Это дало бы мне право ежегодно отправляться куда-нибудь в экспедицию. Слава богу, Азия велика, а у меня к ней влечение, род недуга... Подозреваю, что во мне притаился тот самый татарин, о котором говорил Наполеон. Да... Теперь бы уж я делал приготовления к экспедиции, газеты трубили бы о «смелом молодом путешественнике», а там пустыня, тигры, опасности, голодовки и чудесные спасения. Потом возвращение из экспедиции, доклады по ученым обществам, лекции, статьи в журналах и орации. Женщины бегали бы за мной, как за итальянским тенором...

– Прибавь, что благодаря такой славной экспедиции ты удрал бы от собственной жены по крайней мере на год...

– И это имеет свою тайную прелесть.

– Ну, а теперь ты как думаешь устраиваться?

– Да я уж устроился... Разве я тебе не говорил? Имею честь рекомендоваться: вольнослушатель технологического института. Да... Я люблю математику вообще, как единственную чистую науку, которая по самой природе не допускает лени, а затем наш век – век по преимуществу техники. Не юрист, не воин, не философ перестроит весь строй нашей жизни, а техник... Да, в этом задача нашего века, и я хочу деятельно участвовать в ее разрешении. Будущая всеобщая история уже готовится в мастерских, выковывается под паровым молотом, блестит яркой звездочкой в электрическом фонаре и скоро полетит по воздуху. Да, здесь бьется главный пульс и здесь центр жизни...

Как я ни привык ко всевозможным выходкам Пепки, но меня все-таки удивляли его странные отношения к жене. Он изредка навещал ее и возвращался в «Федосьины покровы» злой. Что за сцены происходили у этой оригинальной четы, я не знал и не желал знать. Аграфена Петровна стеснялась теперь приходиться ко мне запросто, и мы виделись тоже редко. О сестре она не любила говорить.

Так наступила зима и прошли святки. В нашей жизни никаких особенных перемен не случилось, и мы так же скучали. Я опять писал повесть для толстого журнала и опять мучился. Раз вечером сижу, работаю, вдруг отворяется дверь, и Пепко вводит какого-то низенького старичка с окладистой седой бородой.

– Вот он... – указал на меня Пепко.

Старец смотрел на меня темными глазами и протягивал руку.

Что-то знакомое было в этом лице, в глазах, в самой манере подавать руку. Я как-то сконфузился я пробормотал:

– Извините, не имею чести знать...

– Не признали, Вася... то есть Василий Иванович?

Именно звук голоса перенес меня через ряд лет в далекий край, к раннему детству, под родное небо. Старец был старинный знакомый нашей семьи и когда-то носил меня на руках. Я уже окончательно сконфузился, точно вор, пойманный с поличным.

– Никифор Евграфыч...

– Он самый... Давненько не видались, Василий Иванович. А я адрес-то ваш затерял и на память искал по Санкт-Петербургу. Да вот, на счастье, они встретились, Агафон Павлыч...

– Представь себе, Вася, какая случайность, – объяснял Пепко. – Иду по улице и вижу: идет предо мной старичок и номера у домов читает. Я так сразу и подумал: наверно, провинциал. Обогнал его и оглянулся... А он ко мне. «Извините, говорит, не знаете ли господина Попова?» – «К вашим услугам: Попов»... Вышло, что Федот, да не тот... Ну, разговорились. Оказалось, что он тебя разыскивает.

– Поистине, гора с горой только не сходится... – философствовал старец, оглядывая с любопытством провинциала нашу убогую обстановку. – А квартирка-то, Василий Иванович, того...

– Не красна изба углами, а пирогами, – объяснил Пепко.

Пепко вообще почему-то ухаживал за старичком я всячески старался ему угодить. Появился самовар, полбутылка водки, колбаса в бумажке, несколько пирожков из ближайшего трактира и две бутылки пива. Старичок сидел на кушетке и рассказывал далекие новости.

– Анна-то Ивановна, аптекарша, померла от родов... Двое ребятишек осталось. Полицеймейстер у нас новый, барон Краус... Помните деревянные ряды, где о Николине дне торжок был? Сгорели еще в позапрошлом году... Теперь церковь новую строим. Не знаю уж, как господь поможет... Дядюшка-то ваш, Гаврила Павлыч, ножку себе сломали... Очень уж они любили лошадей диких объезжать, ну, а тут им и попадись не лошадь, а прямо сказать – зверь. Замертво принесли домой дядюшку-то... Архирея нам нового обещают, а старой-то, Мисаил, на покой выпросился. Хороший был архирей... В третьем году купца убили. Это еще до чугунки, – теперь ведь под нас чугунку подвели.

Пепко накинулся на старца с какой-то непонятной для меня жадностью и засыпал его вопросами. Ему все было нужно знать, до судьбы моих тетушек включительно.

– Хорошо у вас там, на юге, а? – резюмировал он свой допрос.

– Уж на что лучше, Агафон Павлыч... Так хорошо, что помирать не надо. Я в первый раз в Питере, так даже страшно с непривычки. Все куда-то бегут, торопятся, точно на пожар... Тесненько живете. Вот бы Василью Ивановичу домой съездить, стариков проведать. То есть в самый бы раз... Давненько не бывали в наших палестинах.

– Конечно, Васька поедет, – решил за меня Пепко. – Я ему давно это говорю... Всего три дня дороги.

– Вот, вот... Отдохнули бы у родителей. И родителям приятно... Не чужие люди.

– Я тоже домой поеду, к себе в Сибирь, – объяснял Пепко. – У меня мамаша... Славная такая старушенция.

– Так, так... Родителей всегда нужно уважать, Агафон Павлыч.

Появление старичка нагнало на Пепку целый строй новых мыслей и чувств. Он просто бредил наяву и не дал мне спать целую ночь.

– В самом деле, Вася, поезжай домой. Право, лучше будет... Разве мы здесь живем? Так, призрак какой-то, кошмар... Там придешь в себя и будешь работать по-настоящему. Столицы только берут все от провинции, а сами ничего не дают. Это несправедливо... А провинция, брат, – все. Помнишь былинку об Илье Муромце: как упадет на землю, так в нем силы и прибавится. В этом, брат, сказалась глубокая народная мудрость: вся сила из родной земли

прет. Так-то! – Подумав немного, Пепко неожиданно даже для себя прибавил: – А что, если бы у этого иконописного старца занять рупь серебра?

Дня через два старичок опять пришел. Он был озабочен какими-то делами, и Пепко в качестве юриста дал ему несколько хороших советов. Это их сблизило окончательно. Меня удивляло только одно, что Пепко хлопотал больше всего о моем отъезде. Меня это, наконец, возмущало. Какая ему в самом деле забота обо мне? Пусть едет сам, если нравится. С другой стороны, мысль о поездке занимала меня все больше и больше. Потянуло на родину... В течение последних трех лет я как-то редко думал на эту тему и все откладывал. Теперь уже нечего было ждать.

– В самом деле, Василий Иванович, вот как махнем, – соблазнял меня старичок. – В лучшем виде... А как тятенька с маменькой обрадуются! Курса вы, положим, не кончили, а на службу можете поступить. Молодой человек, все впереди... А там устройтесь – и о другом можно подумать. Разыщем этакую жар-птицу... Хе-хе!.. По человечеству будем думать...

Еще накануне отъезда я не знал, уеду или останусь. Вопрос заключался в Аграфене Петровне. Она уже знала через сестру о моем намерении и первая одобрила этот план.

– Поезжайте, голубчик... – с твердостью уговаривала она. – Нужно все это кончить. Скучно будет, а все-таки лучше...

Что может быть грустнее таких прощальных разговоров? Я, кажется, еще никогда не чувствовал себя так скверно. Но нужно было решиться.

– Я всего на две недели, – говорил я, не знаю для чего. – Что я буду делать там, в провинции?

– Все-таки поезжайте... с богом.

Дебаркадер Николаевского вокзала. Паровоз уже пускает клубы черного дыма. Мой старичок ужасно хлопочет, как все непривычные путешественники. Меня провожают Пепко, Аграфена Петровна и Фрей. Пепко по случаю проводов сильно навеселе и коснеющим языком повторяет:

– Ты, землячок, поскорее к нашим полям возвратись... легче дышать... поклонись храмам селенья родного. О, я и сам уеду... Все к черту! Фрей, едем вместе в Сибирь... да...

Второй звонок. Пепко отвел меня в сторону.

– Вот что, Вася... – заговорил он торопливо. – Помнишь, я тебе из Белграда тогда писал? Кончено, брат... Молодость кончена. Э, плевать... Я, брат, на себя крест поставил.

Третий звонок. У меня глаза затуманивает слезой, но я сдерживаюсь. У Пепки глаза тоже красные. Меня почему-то начинает раздражать злость.

Обер-кондуктор дает свисток. Я смотрю в окно вагона. Платформа точно дрогнула и поплыла назад, унося с собой Фрею, Пепку и Аграфену Петровну.

– Живио! – крикнул Пепко ни к селу ни к городу.

– Слава тебе, господи... – вслух молится мой старичок, откладывая кресты. – Донес бы господь живыми...

Скоро Петербург остался позади, а с ним осталась позади и «светлая юность»... Я думал о Пепке и чувствовал, как его люблю. Его дальнейшую историю расскажу как-нибудь потом.

## Комментарии

### Золото\*

Впервые напечатан в журнале «Северный вестник», 1892 год, № № 1–6. При жизни писателя переиздавался в 1895, 1902, 1912 годах.

Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Золото», издание товарищества «Просвещение», СПб, 1912 год, с исправлением погрешностей текста по предшествующим изданиям.

Тема растлевающей власти золота волновала творческое сознание Мамина-Сибиряка на протяжении многих лет и ассоциировалась в его представлении с разрушительной властью капитала.

Впервые эта тема привлекла внимание писателя в студенческие годы. В 1876 году в журнале «Сын отечества» (№ № 2,3) был напечатан его рассказ «Старик», в котором значительное место занимают картины быта золотоискателей. В других произведениях этих лет: роман «В водовороте страстей» (впервые опубликован под псевдонимом А. Томский в «Журнале русских и переводных романов и путешествий» в 1876 году, апрель–июнь) и неопубликованный роман «Семья Бахаревых» (1878)<sup>[28]</sup> – писатель также, хотя и эпизодически, обращался к золотоискательской теме.

Вообще эта тема – одна из самых устойчивых в творчестве Мамина-Сибиряка. Помимо публицистических произведений «От Урала до Москвы» (1881–1882), писем «С Урала» (1884), «Город Екатеринбург» (1889) и др., Мамин-Сибиряк посвящает теме золота большое количество художественных произведений. Это очерки «В горах» и «Золотуха» (1883), рассказ «Золотая ночь» (1884), роман «Дикое счастье» (1884), очерк «Золотое гнездо» (1885), пьеса «Золотопромышленники» (1887), рассказы, очерки, повести «В болоте» (1885), «На „Шестом номере“» (1886), «Клад» (1889), «Подснежник» и «Глупая Окся» (1889), «Пир горой» (1894), «В последний раз» (1903) и другие. Некоторые из этих произведений явились своеобразными эскизами романа «Золото».

Среди многочисленных произведений Мамина-Сибиряка о жизни рабочих-старателей и золотопромышленников роману «Золото» принадлежит первое место.

Общественно-историческое значение романа не только в правдивом изображении жизни и быта рабочих золотых промыслов, но и в раскрытии форм борьбы, которые характеризовали начальный этап организованного рабочего движения.

Замысел романа вполне оформился к середине 1891 года. В письме к А. С. Маминой от 23 июня этого года автор сообщал: «...Пишу роман о золоте для „Северного вестника“, роман о хлебе для „Наблюдателя“ и исторический роман (о Пугачевщине в Зауралье) для „Исторического вестника“» (Рукописный отдел Гос. библ. СССР имени В. И. Ленина). Но, видимо, Мамин-Сибиряк был занят подготовкой к печати повестей «Верный раб» и «Братья Гордеевы». Работа над «Золотом» была фактически начата в первой половине сентября 1891 года. «Прошлая неделя, – сообщал писатель А. С. Мамина в письме от 15 сентября 1891 года, – для меня ознаменовалась тем, что я „сел“ за большую работу, именно, начал большой роман „Золото“. Описываю в нем Березовский завод, конечно, с некоторыми изменениями и дополнениями против действительности. Роман будет печататься в „Северном вестнике“ с январской книжки».

Как и предполагалось, роман начал печататься в январской книжке «Северного вестника», но к этому времени работа над ним была далека до завершения. 23 февраля 1892 года писатель сообщал своей матери: «...На днях кончил четвертую часть романа, а теперь осталась одна пятая и последняя» (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Собрание сочинений. Свердловск. 1949, т. 6, стр. 359). И, наконец, 2 марта 1892 года он писал о ходе работы над романом: «... Начал сегодня последнюю часть своего „Золота“ и теперь занят исключительно ей» (там же).

Роман «Золото» получил отрицательные отзывы либерально-народнической критики, для которой была неприемлема трезвая правда романа из рабочей жизни. Газета «Неделя» (1895, № 2) упрекала Мамина-Сибиряка в том, что в романе якобы «...жизнь изображена с внешней стороны».

Известный либерально-народнический журнал «Русское богатство» (1894, № 12), против направления которого в это время вел борьбу В. И. Ленин, писал об «излишестве трезвой правды» в романе Мамина-Сибиряка и не соглашался признать типическими «черты нравов заводского рабочего люда».

Высокую оценку «Золота» дал журнал «Мир божий» (1895, № 7), для которого роман Мамина-Сибиряка – это талантливая, большая картина, «широко и мастерски написанная». В заслугу автору критик журнала ставил знание народной жизни и мастерство в ее изображении. «Г. Мамин, – писал критик этого журнала, – с обычным талантом выводит тип за типом различных представителей промыслового люда, не знавшего иной правды, кроме „стихийной“, о которой так плачутся „народные благодетели“».

Талант автора романа «Золото», по словам критика, проявляется в мастерстве эпических картин и характеров. «В этом отношении роман г. Мамина „Золото“ безупречен. Писатель, обладающий меньшим талантом, пролил бы слезу сочувствия и над женой Ермошки и над загубленной жизнью Кожина, но вряд ли вызвал бы ответную слезу у читателя... Эпический тон... объективное отношение автора, не позволяющего себе никаких подчеркиваний или лирических отступлений, придает роману художественную законченность, а яркий и колоритный язык, сжатый и сильный, делает его одним из лучших произведений г. Мамина...»

В 1912 году большевистская «Правда» отметила большое общественно-историческое значение творчества Мамина-Сибиряка. «Правда» выделила те произведения, в которых правдиво изображена губительная власть капитала. «В „Уральских рассказах“, в „Горном гнезде“, в „Приваловских миллионах“, в „Золоте“, – писала „Правда“, – вы видите, как вокруг золота совершается вакханалия; идет ломка старых патриархальных отношений, и при этом не садится ни человеческая жизнь, ни простые человеческие отношения, ни знания, ни культура. Над горнозаводским рабочим свистит плеть, все мало-мальски порядочное спивается, из-за крупницы золотого наследия совершаются невероятные мошенничества...» («Дюктябрьская „Правда“ об искусстве и литературе». М. 1937, стр. 166).

*Посвящается Марусе* – Марии Морицевне Абрамовой, жене писателя; умерла 22 марта 1892 года.

*Кошемный* – войлочный (от кошма – войлок).

*На... виноходеце закопачивает* – здесь: едет на иноходце.

*Спажинки* – конец жатвы, осень.

*Очесливый* – вежливый, почтительный.

*Ширп* – ширф или шурф – разведочная дудка, яма.

*Ортовые работы* – подземные работы.

*Березит* – род гранита.

*Тростить* – здесь: повторять одно и то же.

### **Черты из жизни Пепко\***

Впервые напечатан в журнале «Русское богатство», 1894 год, №№ 1–10 с подзаголовком «Очерки». Журнальный текст романа был разбит на восемь частей. Каждая часть имела свое заглавие и отдельную нумерацию глав: часть первая – «Веребочка» (главы I–IV), часть вторая – «Федосьины покровы» (главы I–IV), часть третья – «Дела и дни» (главы I–IV), часть четвертая – «Мы делаем сезон» (главы I–XIII), часть пятая – «Первый блин» (главы I–III), часть шестая – «Первый блин» (главы IV, VII, VIII), часть седьмая – «Обман» (главы I–V) и часть восьмая – «Конец» (главы I–IV).

Роман при жизни писателя выходил отдельным изданием в 1895, 1901 и в 1909 годах. В первом отдельном издании подзаголовки «Очерки» изменен на «Роман», наименования разделов сняты.

Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Черты из жизни Пепко», СПб, 1909 год.

Роман «Черты из жизни Пепко» строится на материале, хорошо известном автору. Литературные мытарства начинающего писателя Василия Попова даже в мелких деталях совпадают с историей первых литературных опытов Мамина-Сибиряка. В этой части роман «Черты из жизни Пепко» автобиографичен. Репортерство Василия Попова; в «Нашей газете», его работа в мещанском журнале Ивана Ивановича, столкновение с бесчестными издателями, обманувшими неопытного автора романа «Удары судьбы», – во всем этом нашли отражение подлинные факты из жизни Мамина-Сибиряка: его репортерские опыты в газете «Русский мир», печатание первых рассказов в журналах «Сын отечества» и «Кругозор» и, наконец, публикация романа «В водовороте страстей» в «Журнале русских и переводных романов и путешествий», затем отдельное его издание предприимчивым издателем журнала.<sup>[29]</sup> Достоверность многих фактов подтверждается письмами Мамина-Сибиряка 1870-х годов и другими документами. Размышления героя романа о губительном воздействии на молодых писателей душной атмосферы мещанских изданий и его суждения по вопросам эстетики близки взглядам Мамина-Сибиряка.

Значение произведения не ограничивается точностью и правдивостью передачи ранней литературной биографии автора. В нем даны широкие художественные обобщения, рисующие тяжелую судьбу литератора-разночинца, вынужденного растрачивать молодые силы в борьбе с различными невзгодами и препятствиями. Роман написан с большим остроумием, живостью и тонким юмором.

При несомненных достоинствах он все же страдает некоторой односторонностью. Изображенные в нем события развертываются в пору оживленной борьбы передовых сил России за коренное изменение русской жизни. Но герои романа, если не считать славянских увлечений Пепко, изолированы от этой борьбы. Литературные искания Василия Попова слабо связаны с его общественными интересами. Это тем более досадно, что автор романа, многие факты из жизни которого как бы повторяет Василий Попов, в 1870-е годы проявлял самый живой интерес к общественной жизни.

Появление в печати романа вызвало многочисленные отзывы периодической прессы. Критики отмечали мастерство автора романа и его яркий, колоритный язык, но в оценке содержания произведения резко расходились. Так, например, критик «Русской мысли» (1894, № 4) еще во время печатания произведения весьма положительно отозвался о романе, отметив своеобразие избранной автором темы и оригинальность ее разработки: «Г. Мамин выбрал одну из тем, к сожалению, не особенно часто разрабатываемых нашей беллетристкой, – жизнь нашей учащейся молодежи и начинающих литераторов, жизнь той интеллигентной гольфтыбы-богема, из которой выходят впоследствии я деятели на разных поприщах общественной жизни... Это совсем особый, только русской жизни свойственный тип, изображение которого – дело нелегкое. Нам думается, что г. Мамину удалось схватить некоторые, по крайней мере, внешние черты этого типа, его, так сказать, прирожденное благородство, необычную способность к самоотречению и самоограничению... Эта богема вечно голодает и вечно, сама того не замечая, совершает поистине героические дела любви и самоотвержения ради друга своего».

Когда роман был напечатан, «Русская мысль» (1894, № 11) оценила роман значительно строже и, отметив талант автора, особенно проявившийся в реальности и точности рисунка, указала, что Мамин-Сибиряк создал героев-одиночек и тем самым погрешил против действительности: «...было бы... неправдой утверждать, что в семидесятых годах интеллигентное общество, в принципе, конечно, состояло из таких одиночек, что они типичны для того времени». Критик игнорировал богатство содержания произведения и отождествил его с индивидуальными судьбами Василия Попова и Пепки. Все же он признал значительную общественную роль романа, которая, по его словам, заключалась в том, что роман заставлял думать, «нет ли в нас самих и еще более в окружающих нас условиях жизни элементов, которые при своем развитии могут поставить нас в такое ужасное положение», в каком оказались Пепко и Попов.

Рецензент газеты «Русские ведомости» (1894, № 351) оценил «Черты из жизни Пепко» как талантливое, мастерски написанное произведение: «Ни кричащих тонов, ни деланности, ни желания уверить читателя в необходимости тех чувств, которых недостает самому автору, как это мы замечаем у очень многих современных авторов, здесь нет и следа... Как истинный художник, автор не сгущает красок и выставляет перед нами в высшей степени реальные и говорящие фигуры». В оценке содержания романа критик «Русских ведомостей» придерживался либеральных принципов своей газеты и вину за неудачные судьбы возложил

на самих героев, не подвергая сомнению условий общественной жизни и не связывая с ними формирование лиц и характеров.

*«Я – раб, я – царь, я – червь, я – бог...»* – измененный стих из оды «Бог» Г. Р. Державина (1743–1816); у Державина: «Я царь, – я раб, – я червь, – я бог!».

*Знаете, как сказано у Гафиза: «Пустыня льву, лес птице и кабак Гафизу».* – Гафиз (Хафиз) (ум. в 1389) – поэт-классик таджикской и иранской литературы; цитируемые слова взяты из стихотворения Хафиза «Уж если все от века решено» и в переводе А. А. Фета читаются так:

Указан птице лес, пустыня льву  
Трактир Гафизу...

*«Надо мной певала матушка...»* – из стихотворения Н. А. Некрасова «Калистрат».

*Автомедон* – извозчик, ямщик (шутливое); *Автомедон* – имя возницы Ахиллеса, героя древнегреческой поэмы «Илиада».

*Гоги и магоги* – здесь: влиятельные лица, воротилы, от имени легендарного свирепого царя Гог и название его народа Магог, упоминаемых в Библии.

*Лука Жидята* – новгородский епископ XI века, автор «Почтения к братии», одного из первых русских произведений духовной литературы.

*...«угрюмый пасынок природы»* – измененные слова из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник»; у Пушкина: «...печальный пасынок природы».

*...ни манже, ни буар* – ни есть, ни пить (франц. manger, boire).

*«Только станет смеркаться немножко»* – начальные слова одноименного стихотворения А. А. Фета (1820–1892);

*«Вьется ласточка сизокрылая»* – стихотворение Н. П. Грекова (1810–1866)

*«...унылая среднерусская равнина с ее врачующим простором, разливы могучих рек...»* – выражения из поэмы Н. А. Некрасова «Тишина» и из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Родина»; у Некрасова:

Все рожь кругом, как степь живая,  
Ни замков, ни морей, ни гор...  
Спасибо, сторона родная,  
За твой врачующий простор!

У Лермонтова: «Разливы рек ее, подобные морям».

*...был беден, как Иов...* – см. т. IV, стр. 560.

*«Выставляется первая рама...»* – из стихотворения А. Н. Майкова:

Весна! выставляется первая рама –  
И в комнату шум ворвался,  
И благовест ближнего храма.  
И говор народа, и стук колеса.

*...Вот и девятая верста... «Вы на чем изволили повихнуться? Ах да, вы испанский король Фердинанд...»* – В Удельной, на девятой версте от Петербурга, расположена психиатрическая больница; королем Фердинандом воображал себя сумасшедший Поприщин, персонаж повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего».

*Шмандкухен* – здесь лакомый кусочек (от нем. Schmant – сливки и Kuchen – пирожное).

*Швамдрюбер* (нем. Schwammdruber) – ну бросим это!



*А время проходит, те лучшие годы...* – измененные слова из стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно»; у Лермонтова:

А годы проходят – все лучшие годы!

*«Она покоится стыдливо в красе торжественной своей»* – из стихотворения А. С. Пушкина «Красавица».

*«Руки, полные крови, роз и золота».* – Имеется в виду наименование романа Арсена Гуссе «Руки, полные золота, полные роз и полные крови». Русский перевод его под таким названием вышел в 1874 году. СПб., Изд. Бобовкина.

*От ликующих, праздно болтающих...* – строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час».

*С января будет издаваться новый журнал «Кошница».* – Мамин-Сибиряк здесь назвал «Кошницей» «Журнал русских и переводных романов и путешествий», издававшийся в 1876 году с января по июнь А. Траншелем; редактором журнала был Александр Кехрибарджи.

*Кошница* – корзина, плетуха.

*...у моего романа было изменено заглавие – вместо «Больной совести» получились «Удары судьбы»... неизвестная рука мне приделала псевдоним «Запорожец».* – Первоначальное наименование романа Мамин-Сибиряка, история напечатания которого отражается здесь, было «Виноватые». В «Журнале русских и переводных романов и путешествий» он вышел под названием «В водовороте страстей» и был подписан псевдонимом А. Томский. Затем А. Траншель в том же году напечатал роман отдельным изданием. В истории с гонораром за этот роман отразились также подлинные факты из жизни Мамин-Сибиряка.

*Газель* (газелла) – тип стихосложения, характерный для восточной поэзии; в газели рифма первых двух строк повторяется затем в каждой четной строке, а нечетные остаются без рифмы.

*Луицка Каторз* – так Пепко называет французского короля Людовика XIV (от франц. Louis Cuatorze).

*Цинциннат* (V в. до н. э.) – римский консул, защитник интересов патрициев; образ Цинцинната идеализирован в легендах.

*Голконда* – крепость и развалины древнего города в Индии; славилась своими богатствами.

*Кажется, Некрасов сказал, что хорошо молодым умереть.* – Имеется в виду стихотворение Некрасова:

Не рыдай так безумно над ним,  
Хорошо умереть молодым!

*Перкуссия* – метод врачебного исследования, выстукивание тела молоточком или пальцами для определения состояния органов по звуку.

*Луицка Сез* – Людовик XVI (от франц. Louis Seize). Стр. 413. *Я его узнал по портретам.* – Речь идет о М. Е. Салтыкове-Щедрине.

*Конфесъен* – здесь: исповедь, от конфессиональный (церковное, устарелое) – вероисповедный (лат. confessio – признание).

*Не говори, что молодость сгубила...* – из стихотворения Н. А. Некрасова «Тяжелый крест достался ей на долю».

*Табло* (от франц. tableau) – сцена, жанровая картинка.

*А. Груздев и С. Груздева*

---

**notes**

## Примечания

Неравный брак. – Ред.

2

Восетта – в прошлый раз.

3

На золотник выйти – найти золотоносный пласт с содержанием золота в 100 пудах песку 1 золотник.

Якшить – от татарского слова якши: да, поддакивать, дружить.

Галиться – насмехаться.



6

Дивно – порядчно, достатчно.

комедия окончена... (итал.)

невзгоды... (лат.)

9

разумеется (лат.).

**10**

в полном составе (лат.).

местный колорит (франц.).

Жребий брошен (лат.).

стрелка (франц.).



про себя (франц.).

на лоне природы (нем.).

дети мои... (франц.)

коллегию составляют трое (лат.).

Здесь – на свежем воздухе (франц.).

Здесь – в дополнение (франц.).

Увеселительная прогулка (франц.).

наедине (франц.).



Я кончил (лат.).

«Даже самая красивая девушка не может дать больше того, чем она располагает»  
(франц.).

в курсе (франц.).

труп (лат.).

чистокровного (франц.).

Сабля моего отца? (франц.)

«Семья Бахаревых» является одной из ранних рукописных редакций «Приваловских миллионов». См. примечания ко IX тому.

Подробнее об этом см. в статье «Начальные годы литературной деятельности Д. Н. Мамина-Сибиряка». «Ученые записки» Ленинградского государственного педагогического института имени Герцена. Челябинск – Ленинград. 1947, стр. 177–207.